

С. Н. Сергеев-Ценский

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

С. Н. Сергеев-Ценский



НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

«Сельская библиотека Нечерноземья»
издается по решению Коллегии Госкомиздата РСФСР
для тружеников села Нечерноземной зоны РСФСР



С. Н. Сергеев-Ценский

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

РОМАН
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Москва
«Современник»
1985

Р2
С32

Тексты печатаются по последнему прижизненному Собранию сочинений С. Н. Сергеева-Ценского (М.: Худож. лит., 1955—1956)

Составление и примечания *В. К. Козлова*

Предисловие *В. А. Чалмаева*

Иллюстрации *Геннадия Саленкова*

С $\frac{4702010200-186}{М106(03)-85}$ 117 — 85

ББК84Р7
Р2

«С СОЛНЦЕМ В КРОВИ»

Это, знаете ли, страшно хорошо — быть рожденным с солнцем в крови...

А. М. Горький

...Есть несколько устойчивых географических, природных и — что более важно — жизненно-философских координат, своеобразных нерушимых знаков в художественном мире Сергея Николаевича Сергеева-Ценского, одного из замечательных русских реалистов XX века. Знаки эти как бы указывают на близкую и самую «желанную» атмосферу для раздумий и догадок писателя о сущности изменчивой жизни.

Прежде всего — это солнце... Оно — непременно южное, не то, что на Севере «неохотно и несмело... смотрит на поля» (Тютчев), — сияет над его художественным миром. И море — тоже не свинцово-серое, не холодное, а лазурное, с «поющими», теплыми волнами... Ночью волны эти «рассыпаются» на веслах светящимися, фосфоресцирующими потоками.

Ему нужен был юг — блаженный, полуденный край России! Здесь всюду простор, здесь глаз натыкается разве что на белых чаек, качающихся на волнах, словно их «припаяло к воде». Здесь высятся маяки в розоватом на рассвете тумане, отслоившемся от гор. Образ русской Таврии, мелодию открытой крымской красоты в звучном пейзаже Сергеева-Ценского «развивают», как резкие созвучия, иссиня-черные веретена кипарисов, что ввинчиваются в струящийся зной полдня. Звучат в этом оркестре и охристо-желтые скаты гор, и сухая жара, что хватает землю крепкой хваткой, и все сложное «взаимодействие» моря и солнца. Особенно на заре, когда... «по морю *стрельнула вдоль дальнего берега золотистая стрелка* — вот-вот позолотеет сразу все море» (здесь и далее выделено мной. — *В. Ч.*). Это нерасторжимое единство ветра, моря, солнца, простора, заставляющее забыть о холодном небосклоне Севера, о чародейке-Зиме. Это полнозвучие словно погружает Сергеева-Ценского в особое состояние тютчевского волшебного сна, когда

Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой...

(«Сон на море»)

Море и крымские берега стали такой естественной декорацией к созданной Сергеевым-Ценским эпопее «Севастопольская страда» — летописи осады «русской Трои», Севастополя, и к повести «Синопский бой», и к романам многотомной эпопеи «Преображение России», что критики, современники писателя, порой говорили даже о... «веянии античного, боспорского жизнеощущения» в «крымской поэзии света» Ценского. О том, что у него «мир — это движение световых частиц». И наконец, о том, что «Ценский идет к солнцу, как шли к нему аргонавты»...

Кажется, писатель и жил-то вечно в одной Алуште. И почти невозможно вписать фигуру этого «аргонавта» с запорожскими усами в изначальные «рамки» его жизни — в степные дали Тамбовщины, в то село Преображенское, где он в 1875 году родился; в тихие украинские ночи Глухова, где он, будущий «властелин словесных тайн» (Горький), окончил учительский институт... Лишь ставшая естественной добавка к фамилии — «Ценский» (название главной «текучей воды» среди родных тамбовских черноземов — речки Цны — возвращала к истокам незаурядной писательской биографии, на ту землю, где учительствовал в земской школе отец писателя, кстати участник обороны Севастополя в 1854—1855 годах.

Назад, к началу лет своих, будущего создателя «Преображения России» возвращало очень многое. И хотя, прежде чем поселиться в Алуште (в 1906 году), в своей писательской мастерской, пришлось ему долго учительствовать в Киевском, Харьковском, Одесском, Московском и Рижском учебных округах, преподавать и физику, и естествознание, и математику, и анатомию, и — не без особого удовольствия — рисование с натуры, и черчение, он не забывал полей своего детства. Он любил хотя бы мысленно пробегать, чуть воспарив душой, по этим русским полям... Равнина, огражденная спокойными реками, затаившими в глубине небыстрое свое течение, рождала в нем ощущение бесконечности жизни, говорила о мощи неразвернувшихся сил, пробуждала ожидания.

Томителен российский уездный быт, раздражает его вялое «потребление дней», много дрязг, но кто, родившийся здесь, не испытывал, проезжая через эту однообразную равнину, которая поистине «ровнем-гладнем разметнулась на полсвета» (Гоголь), обостренного чувства родства со всем, что жило и живет на ней, жажды вновь видеть эти дали?

В самом конце XIX столетия Сергеев-Ценский отбывал воинскую повинность и получил чин прапорщика запаса. В этом же чине будущий автор «Воинского начальника», «Медвежонка» и «Бабаева» призывался в армию во время русско-японской войны...

К тому моменту, когда писателя вынесло из тревожных сумерек российской провинции в солнечную Алушту — на целых пятьдесят два года! — в собственную творческую мастерскую, он глубоко знал провинциальный, особенно уездный, и армейский, отчасти монастырский быт, знал нужды и беды угасающего усадебного дворянства и крестьян в

развалившейся общине. Знал быт уездных врачей, мелких чиновников, офицеров, дуреющих в своих кочевьях по военным городкам и от скуки донашивающих романтические одежды то Грушницкого, то чеховского Соленого из «Трех сестер». Он понимал и «Русь бродячую» — неприкаянных босяков, «нищебродов», живописных гуляк поденщиков, набитых всяческими житейскими познаниями. «Вместе с Ильей Ильичом Обломовым я готов повторять: «Трогает жизнь, — везде достает!» — шутливо говорил Сергеев-Ценский об этом «трогающем», незаметно обступающем воздействии жизни, о возникшем в пространстве своей памяти богатстве всяческих «прикосновений», «замет», впечатлений.

Когда-то кольцовский косарь, выйдя в степь раздольную, что расстилается ковыль-травой, говорил:

Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась!

Эта понадвинувшаяся в XX веке на Крым, на Новороссию, степь, а точнее говоря, многоукладная Россия — вообще-то она «двигалась» сюда, к теплым морям, еще со времен Петра Великого! — не покидала никогда мысли и чувства Сергеева-Ценского. Она была всегда перед его глазами, всегда — «на слуху», она утяжеляла, «заземляла» его восторженные грезы и томления, создавала в его рассказах и романах чудесную пересечку разнородных радостей, тревог.

В этом легко убедиться, читая, скажем, небольшое произведение — поэму «Неторопливое солнце» (1911).

С одной стороны, в поэме сам автор — тридцатишестилетний богатырь — Сергеев-Ценский, с утонченной душой эстета, страстно одержимый всеобщей для времени Блока и Рахманинова жаждой одухотворить мир, стремлением «безумно жить» (Блок), зовет читателя на «орлиные» высоты:

«Сядьте здесь, на большой высоте над морем, избочите голову, как это делают птицы... пусть будет только светлое яркое море перед вами и вы, и нá море вон один, вон другой, вон третий, точно в другом мире — так далеко, как лебеди белые, белеют баркасы-парусники. Крикните им вдруг: «Эй, кораблики!» Громче кричите: «Эй, кораблики! Вы куда это плывете, кораблики?» Пусть они выплыли из какой-нибудь зачарованной страны, пусть плывут они в страны, совсем неслыханные, пусть паруса у них вечные, мачты вечные, матросы вечные... Пусть не будет хотя бы для них одних так обидно мала земля... «Эй, кораблики!»

Это вдохновение человека, возмущенного «теснотой» удушливых подземелий обыденщины. Призыв этот родствен мечте чеховских сестер о выдуманной Москве! Еще немного, кажется, продлить эти звуки по высоте, сделать бесплотнее поступь повествования, почти уже «бегущего по

волнам», и улетишь за край русской земли... Возникнет зачарованная, неслыханная страна «Гринландия» Александра Грина!..

Но вдруг, с другой стороны, рядом с воздушной грезой и не менее внятно зазвучит в поэме рассказ обычного печника Федора — земляка писателя. Полет фантазии продолжается, но опасность рабства у выдуманных образов исчезает. Словно распечатан уголок уездного быта, вдруг пахнет таким по-лесковски живописным... И открывается иная — теплая, черноземная даль:

«Я Моршанского уезду... Город Моршанский знаешь? Не знаешь, а у нас там собор знаменитый. Собор у нас там — вы-со-та!.. Его ведь выше Ивана Великого купцы наши *умудрили возвесть*; туды-сюды — хвать запрещение: выше Ивана Великого не смей! Так его и *сгадили весь план: купол обкорнали,* весь, и *венциальные окна* — ни к чему по четыре с половиной аршина, а их по двенадцати надо было аршинов: четыре сажня, ты то пойми!.. У нас дьякон там был, Краснопевцев, — как хватит «Многая лета», *так и стекла вон.* Ну, конечно, *во всю силу голоса ему воспрещали...»*

Тамбовские черноземы надышали в грудь Сергеева-Ценского столько здоровья и силы, что он, поэт и прозаик, никогда не укладывался ни в бесплотные часто схемы поэтики символизма, ни в жестко логический канон талантливой драматургии своего друга Леонида Андреева. Интонации и напевы, говорящие о мощи, о земном плодородии таланта, теплота и яркость словесных красок, запахи тамбовских осенних садов, ощутимые в слове, даже привычка щедро «гнать слова стадами» и неуловимое искусство одомашнивать в фантазиях античного Пана, превращая его в «добродушного лохматого русского лешего, со свирелью в коричневых лапах», — все это рождалось в художнике благодаря неразрывной связи с понадвинувшейся на Черное море южнорусской степью, печалью и силой полей.

Это о себе, выходце из края лоснящихся и дымящихся от тайной силы земных пластов, из края, где конопля душной стеной опоясывала села, сказал он в «Лесной топи»:

«Земля всосалась в него в те жутко колдовские весенние дни, когда подымают ярину для посева и когда, щедрая, она бросает в воздух свою силу в виде струистого синего пара, и в те пряные летние дни, когда цветут хлеба целомудренно-незаметными зелеными цветами. Тогда она вошла и на всю жизнь одни и те же *замесила в нем густые и степенные, простые мысли, такие же простые, как комья чернозема...»*

* * *

Степенные мысли и здоровые жизнеощущения в Сергееве-Ценском, типичном интеллигенте из низовой России, утверждали себя, обнаруживали несокрушимую силу всхожести в катастрофически тревожное вре-

мя — время русско-японской войны, революции 1905 года, «распутинщины» и либерального ренегатства.

Безвременье! Рвались или истончались до предела животворные нити многих гуманистических традиций. Хотя живы были — к моменту творческого дебюта Сергеева-Ценского — и Л. Н. Толстой, и А. П. Чехов. Обнаруживались — в творчестве многих символистов — неустранимые противоречия между души высокими порывами и воплощением, извращавшим их.

Не менее кричащие противоречия — на иной основе! — обозначились и в творчестве самого Л. Н. Толстого. С глубокой грустью писал М. В. Нестеров в 1906 году, побывав в Ясной Поляне, о резком несоответствии своему времени «толстовщины», игры в проповедничество: «Сколько это барское легкомыслие и непоследовательность, «блуд мысли», погубило слабых сердцем и умом... Он же, «как некий бог», не ведая своей силы, заманивая слабых, оставляет их барахтаться в своих разбитых, покалеченных идеалах...»

Утрата подлинной народности, замена ее мотивами «раскаяния» перед мужиком, испуг перед застойностью быта, перед чеховским «оврагом» провинции, выливавшийся в поиск «путей к невозможному» (А. Белый), капитуляция перед силой вещей, утрата исторического оптимизма... И наконец, процесс «разрушения личности» (его отметил Горький) — характерные черты того времени.

Все это, наряду с мучительным движением художественной мысли тех лет, Сергеев-Ценский, учитель из провинции, должен был осмыслить, оценить. Долгое время — без наставников.

...Известно, что первым профессиональным писателем, которого встретил Сергеев-Ценский, был приехавший в Алушту (после высылки из Балаклавы) осенью 1906 года Александр Куприн. До этой встречи молодой Сергеев-Ценский посылал по почте свои произведения в журналы «Русская мысль», «Мир божий», «Современный мир», «Образование», «Журнал для всех», «Новый путь» и не бывал ни в одной редакции.

«Поединок» (1905) Куприна, с беспощадной правдивостью раскрывший механизм оболванивания, обезличивания людей из народа в царской армии, поставил этого писателя в ряды выдающихся мастеров реализма, «изящных формовщиков слова и знатоков пластики» (Горький). Падение Порт-Артура, пролог капитуляции царизма, разгром русской эскадры в Цусимском проливе обостряли интерес к купринской армейской повести. И к его рассказу «Штабс-капитан Рыбников» (1906).

Преувеличивать значение этих коротких встреч для Сергеева-Ценского, видимо, не следует. Встретил он Куприна в не лучшую для того минуту. Роман «Нищие», задуманный Куприным как продолжение «Поединка», у него не ладился. Отношение Куприна к Горькому, от которого в «Поединке» «все смелое и буйное» (из письма А. Куприна М. Горькому от 5 мая 1905 года), в это время менялось... И менялось,

судя по замыслу неосуществленной юмористической поэмы Куприна о Горьком, «великом полиглоте», пустившемся «в заморские края» («Путешествие русского за границу»), явно в худшую сторону. Да и спутник (а часто и говорливый собутыльник) Куприна поэт А. Рославлев, человек богемного склада, правда талантливый стилизатор под церковно-духовную литературу («Сказ о пчелке — божьей работнице», «Сказ о солнцевом Ратае»), автор известной и ныне песни «Над полями да над чистыми», скорее уводил их беседы от «темы Горького», чем приближал к ней. А Горький, может быть, всего острее интересовал тогда Сергеева-Ценского!

И все же Куприн, художник из «созвездия Большого Максима» (как говорили о писателях круга Горького), для Сергеева-Ценского — автора сборника стихов «Думы и грезы» (1901), стихотворений в прозе «Тундра» (1903), «Верю!» (1904), «Взмах крыльев» (1904), большой повести «Сад» (1905) — был в то время поистине «маяком в тумане». В одиночку, в глуши русской провинции «определяться в событиях», общественных и литературных, нелегко. Куприн — это и начало прямого пути Сергеева-Ценского в Петербург, к издателям... Это и ясное понимание того, чем стали в Москве горьковские «Среды», объединившие в канун революции 1905 года молодых реалистов Телешова, Вересаева, Андреева, Бунина, Серафимовича, Чирикова, Скитальца, Найденова, Гусева-Оренбургского и других. Все это круг будущих друзей, частично — единоверцев Ценского.

Куприн ввел молодого прозаика в атмосферу споров и борьбы между реализмом множеством новейших течений, «штурмовавших» реализм. А вернее — натурализм. Если учесть, что Сергеев-Ценский тоже не терпел плоскостного реализма, тоже рвался от плоского факта к чему-то более значительному, чем эта видимость реализма, к раскрытию сущности мира через человека, то потребность его «познать своих», опереться на опыт истинных друзей, обостренная за годы скитаний в провинции, особенно понятна. Сколько раз он натыкался там, ища души родной, не на совет, а на возмущенный окрик:

— Ты что это — лучше Пушкина захотел написать, а?

* * *

...«Лучше Пушкина» молодой поэт и прозаик — самостоятельно открывший для себя (что, конечно, было вызовом провинции, ее скуке, пошлости и обыденности!) гордую и одинокую личность в драмах норвежца Генрика Ибсена, создателя «Пер Гюнта», «Норы», «Строителя Сольнеса» и «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» [1] — написать не стре-

---

[1] Экзальтация поклонения Г. Ибсену, М. Метерлинку и отчасти К. Гамсуну была порой так неистова — как новым Ричардсонам! — что Л. Андреев, высмеивая эту экзальтацию, назвал один из своих фельетонов в московском «Курьере» так: «Когда мы, живые, едим поросенка»...

мился. Он даже Чехова, так близко от него, тихо побеждавшего сумрачную силу обывательщины, усредненность человеческих душ, в тот миг едва ли видел в роли учителя. В период создания «Тундры», «Маски», «Бреда», «Лесной топи», «Убийства» и других ранних рассказов-аллегорий, повестей Сергеев-Ценский не чуждался опыта символистов, искал любой опоры для орлиного взлета над обыденностью (даже в модном А. Шопенгауэре), он называл свои рассказы и повести, презирая традиционализм, то стихотворениями, то поэмами в прозе.

Однако склонности к громким вещаниям, пророчествам, присущим символистам, молодой Ценский не знал. Он никогда не приглашал, подобно Леониду Андрееву, своего читателя и зрителя к умозрительному сотворчеству: «Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека... Неудержимо влекомый временем... томимый предчувствиями, волнуемый надеждами, он покорно совершит круг железного предначертания» (Л. Андреев «Жизнь человека»). Железных циркулей для предначертаний в руках у мечтателей и бунтарей Сергеева-Ценского не было. Если и являлся у него герой с железной волей, с мукой и тягостной навязчивостью — тягостной для себя и других! — проводивший в жизнь свою программу «плавания против течения», то это был персонаж... чем-то напоминавший незабвенного штабс-капитана Василия Соленого из «Трех сестер», убившего барона Тузенбаха с холодным угрюмством на бессмысленной, чисто провинциальной дуэли. Таков, например, герой рассказа Сергеева-Ценского «Маска» (1904) очередной «студент» Хохлов.

Чеховский Соленый не выносит, когда при нем безвольные, расслабленные люди начинают вяло мечтать, рядить жизнь в маски высокого, чистого существования. И особенно тогда, когда эти цыплячьи речи вдруг увлекают умных женщин! Услышав такие речи в устах Тузенбаха, он *(тонким голосом)* передразнивает его: «Цып, цып, цып... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать»...

Герой Ценского эту же цыплячью жизнь, переряженную в маски, стремится немедленно, сейчас же унизить, оскорбить, вернуть к ее истине. По существу, тоже вызвать на дуэль! Выйдя однажды из дома после ссоры с отцом, окунувшись в вечернюю мглу провинциального городка, которая просачивалась в его мозг, как тысяча плотных, серых мыслей, попав в толпу, похожую на липкий клубок змей, он неожиданно увидел целый маскарад. Ах, эти малые и большие маскарады — их много будет в русской словесности начала XX века, включая сплошной маскарад в «Черных масках» Леонида Андреева с герцогом Лоренцо в роли распорядителя! Маскарад у Ценского — простоватый... Есть на нем и маски, игравшие роли «Евы» и «Адама» и «20-е число» — заветное число, выплатной день для многих «людей 20-го числа», чиновников! А кто-то «из всего лица сделал длинный, как хобот, красный нос»... Маскарад герою случайно «подвернулся», но для возбужденного созна-

ния его это зрелище мгновенно стало невыносимым. Но еще более тягостным стало для Хохлова другое видение: городской голова, купец Чинников, один из многих без маски, оказался вдруг более поддельным, чем люди в масках... Если лицо Чинникова — не маска, то неужели вся человеческая цивилизация своим итогом может считать начертанное на этом лице самодовольство и пошлость?

«— Снимите маску!.. Маску сними,— противно смотреть! — злобно закричал Хохлов.

— Это вы, должно быть, ошиблись, господин студент, это мое собственное лицо,— трусливо оглянулся купец.

— Это — человеческое лицо!.. Разве может быть такое человеческое лицо?.. Лицо? Человеческое?»

В этих беспорядочных вопросах, восклицаниях звучит и вызов, и отчаяние, и ужас перед жизнью. Что же это такое — если живые лица хуже масок? Будочник, уводя студента в участок и не понимая кипения мозговой игры, укоряет и «успокаивает» его:

«Которые люди теперь спать легли, а вы будите...»

* * *

В «Ревизоре» гоголевский городничий кричит: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего...» Подобный гоголевскому крик, но уже крик протеста против условий жизни, погружающих в спячку, делающих ненужной энергию и талант, солнце в крови,— повторяется у Сергеева-Ценского многократно. И в рассказе «Дифтерит», где энергичный хозяин, преобразивший свой надел, обвиняет лень, пассивность, уродливую круговую поруку нерадивых, «хваленую» мужицкую общину:

«Но будь же энергичен, черт возьми, не сиди нюней, не лопай водки на последние деньги, не продавайся кулаку за грош... Голову на плечах все-таки носи, а не кочан капусты! Хоть в своей-то сфере что-нибудь понимай!.. До последнего времени все они сохами пахали, я показал им пример, плуги завел. Прежде кое-кто из них и знал про плуги, да как, говорят, его заведешь? Задразнят! Вот она где сила-то клоповая — задразнят! Плуг заведи — задразнят! Баба себе по-городскому платье сшей — задразнят; мальчишку своего в город учить отдай — задразнят!.. Мир! Община!.. Вот она у нас в чем община проявляется: запьянствуй — не задразнят, а плуг заведи — засмеют...»

И в повести «Сад» Алексей Шевардин, студент земледельческого училища, арендовавший сад в деревне Татьяновке, сжатой в серый комок, казавшейся «беспомощной, маленькой, жалкой и лишней, точно костер из сухой перегнившей соломы», тоже кричит «спящим». Он потрясен сонной одурью деревни, властью тьмы, обилием праздных нищих, бессилием молитв («Шевардину показалось, что все это старая сказка старой няньки»)... И в то же время именно здесь, в этой «жалкой и

лишней» Татьяновке, Алексей Шевардин, доселе не знавший меры своей любви к земле, осознает это чувство во всей его силе, хотя и не забывает о горе ее и нищете.

И героиня поэмы «Недра» Варенька, дежурившая у постели умирающей бабушки, совершая чудесную ночную прогулку по городку с Костей, во время которой глухой уездный быт предстает перед ней тоже царством сказки (ей милы и лавка, и паровая мельница, и сапожная мастерская с рисунком и надписью: «Константинопольский сапожный мастер — Асанов»; теперь надпись облупилась, осталось одно ушко сапога),— и вдруг осознает, что «из земли не выпадешь, и из души не выпадет земля; пока недалеко ушло детское, вся душа еще земляная — снежная, дождевая, цветочная, *обнадеженная солнечной лаской* самое меньшее на сто лет».

...Но герой «Сада» Шевардин очень быстро стряхивает с души эту солнечную ласку и с отчаянием, с дерзостью внезапного пробуждения приходит к идее мести. Кому? Тому, кто сковал красоту земли, энергию людей, сделал воплощенную сказку запуганной и немой. Графу! Протест Шевардина — выстрел в графа — не пробудил, однако, сознания деревенского люда.

* * *

Язык прозы Сергеева-Ценского — от стихотворений и поэм в прозе, включая такие шедевры, как «Печаль полей» (1909), «Недра» (1913), до романа «Бабаев» (1907), интимнейшего романа «Валя» (1914), где главный герой — память, и законченного незадолго до смерти романа «Весна в Крыму» (1958),— этот сложный язык сейчас надо словно бы вспоминать, оживлять в себе, соотнося с явлениями русской художественной культуры начала XX века. Конечно, можно сказать, что язык Сергеева-Ценского — это «стихия лиризма, прозрачного, как воздух золотой осенью» (Н. Любимов). Можно вспомнить для пояснения этого языка намеков, напевных переживаний строки А. Блока:

Здесь тишина цветет и движет
Тяжелым кораблем души...

Но это будет далеко не полное определение стилистики и «Движений», и «Печали полей», и «Медвежонка».

Создатель «Печали полей» признавался, что его влечет повышенно-эмоциональный, красочный, образно говоря — «трепетный» реализм, «словесная чувственность» (Бунин), влечет поэзия в прозе, без упрощенной описательности: «Грешен,— люблю я эквилибристику настроений, зарево метафор, скачку через препятствия обыденщины. Простоты не выношу». И в известной мере прав В. Р. Щербина, говоря о привкусе словесной вычурности (солнце «хохочет» и «качается, как цирковой акробат», у сумасшедшего голос «повисает в темноте, сверкая, как ста-

лактит») в некоторых этюдах, зарисовках писателя, отмечая и избыточный импрессионизм, и отвлеченный символизм.

Эти просчеты, если их так можно назвать, вероятно, были неизбежны и даже необходимы — ведь природа тоже творит лучшее при помощи изобилия, а не экономии! — если учесть давнюю любовь автора «Бабаева», «Медвежонка» и «Движений» к живописности и несомненное воздействие на него новаторских литературных течений XX века. Ведь чтобы создать такой маленький шедевр стиля, синтез наглядности и одухотворенности в описании начала пожара в «Маяке в тумане» (1933), увидеть *«змеиные головки рождавшихся огоньков»,* шевелящиеся в соломе и стружках, добавив, что «эти *маленькие новорожденные огоньки страдают большим любопытством,*— для этого надо пройти большой путь проб и исканий. Надо также помнить, что Сергеев-Ценский вступил в русскую литературу в сложнейший момент, когда одной из форм протеста против буржуазной стандартизации жизни, пошлости и скуки, против засилья быта, бессобытийности стал своеобразный культ самоуглубленности, культ поэтической одержимости, влечений к таинственному и даже дисгармоничному в природе и человеке. Нужны были антиподы элементарной «ясности» и «гармоничности» буржуазных истуканов из горьковского «Города желтого дьявола» или автоматизму жизни «Господина из Сан-Франциско», так ужаснувшему И. А. Бунина при близком с ним соприкосновении!

Всячески культивировалась острота восприятия жизни, иррационального в ней, ее быстротечности, призрачности, непостижимости. Чего стоит сам по себе видимый, разграфленный, «ясный» мир? Это лишь кубики, которые якобы получают связь и смысл «за пределами видимости», благодаря близости «конца истории», близости смерти! В «Недрах» юные герои Варенька и Костя совершают поэтичнейшую прогулку, время от времени вспоминая, что где-то умирает, сходит под вечны своды бабушка. В романе «Валя», где героиня вообще живет лишь в памяти ее мужа архитектора Дивеева, где она же, ушедшая из жизни, становится объектом подражания для театральной хищницы Натальи Львовны Добычиной, делающейся «похожей» на Валю, смерть выступает «декоратором» ярких кулис, «режиссером» всех переживаний. Смерть словно подсказывает Дивееву слова утешения:

Молодого, былого
нет давно и меня...

...Если реальный человек — былой центр вещного мира — это в сущности скучный буржуазный истукан, купец Чинников, ходячая маска, то... долой этого «реального человека», с его чревоугодием, с описаниями его варварского преуспевания! Вытолкнуть его! Ему нет места даже — это одна из установок множества течений в символизме — в об-

лагороженной вымыслом действительности. Идеализм символистов был воинствующий.

Однако, отдавая дань символизму, Сергеев-Ценский, в силу своего реалистического мировидения, не мог не обнаружить социального понимания действительности.

* * *

В мае 1906 года Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Старый порядок проходит, и терпеливость русского народа проходит, а что выйдет — неизвестно».

Годы творческой зрелости Сергеева-Ценского — время создания романа «Бабаев» (1907), поэмы «Печаль полей» (1909), повести «Медвежонок» (1912), романа «Валя» (1914), открывшего серию романов «Преображение России»,— совпали с эпохой, трудной для здорового таланта реалиста, не надломленного — при всей чуткости к плодотворному в исканиях новейших течений! — верного реалистической традиции, гуманизму классической эпохи. Таланту, менее твердо стоящему на почве реализма, надломиться, извратить представление о народности в эти годы было чрезвычайно легко.

Что оказывалось порой в центре внимания читающей публики, как воплощение народности, как «голос земли»? Сергеев-Ценский не мог, конечно, не заметить запестревшую именно в 1909 году(когда он создавал свою «Печаль полей») на петербургской литературной улице очередную новинку — повесть о хлыстах Пимена Карпова «Пламень». Словно бычий красный язык — изгибающаяся полоса пламени на обложке, овал из терниев, в которых «завязли» нагие фигуры исступленных отроков и отроковиц... С первой же страницы надвигались на читателя картонные кошмары радений «сатанаилов», окружавших беснующуюся девицу Неонилу. Автор — расчетливый курянин из города Рыльска — казалось, грозно ополчился против премудрой петербургской интеллигенции. Однако в салоне Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, как и в башне «литературного колдуна» Вяч. Иванова, были давно готовы «ниши», пустые до времени, для подобных «экспертов» по народной душе, косноязычных вещателей, ряженных под старинку. Для «мужичков», наделенных пороками вкривь и вкось обличаемого ими города! О «Пламени» много и всерьез писали мудрейшие «простаки» — Д. Мережковский, В. Розанов, Д. Философов — увидевшие в нем едва ли не слово самой Руси.

«Печаль полей» Сергеева-Ценского — великая поэма о подлинной мощи народной России, о ее близком и грозном пробуждении. Это поэма, чуждая символистскому мифотворчеству. Это чудесная элегия, грустное раздумье над русской действительностью и ее неразвернутыми возможностями.

Молчащие вешние поля... простор, облака над пашнями, густой и

бездонный запах чернозема... Силач Никита Дехтянский ощущает эту силу чернозема всей широченной грудью: земля надышала пар, повисший над полями, от нее завязывается причудливая игра стихий в небе... И сразу же после этих картин, говорящих о могуществе природы, возникает картина бессилия, запустения, обреченности в барском доме помещика Ознобишина, картина мук его жены Анны. Брак Ознобишина не просто бесплодный. Над ним тяготеет проклятье: шестеро детей родились у Анны мертворожденными, и «с каждыми новыми неудавшимися родами у Анны рос испуг перед тем, невидным».

Смелы и выразительны в поэме краски, передающие эти контрасты!

Ознобишин держит в усадьбе своры охотничьих собак, выезжает на охоту на кабардинце. И на манер былых хозяев имения даже проявляет некую хозяйственную хватку, вкус к прогрессу: в его Сухотинке строится винокуренный завод... Но кому нужна эта «деловитость», свяжет ли она людей, если в центре интересов стоит обреченная семья, стоят люди, от которых весь предметный мир, мощные силы природы словно отодвинулись, отрешились?

Анна живет лишь надеждами на счастливый исход седьмой своей беременности: «Надежды эти были бескрылые, мягкие, робкие, надломленные, но безумно, безвыходно дорогие, и чем меньше их было, тем они были важнее и заметней... Анна часто задумчиво перебирала их, точно монахиня четки...»

Ознобишин не верит в рок, в силу случая, он кажется активным, жизнедеятельным. Он ходит на стройку, говорит рабочим «бог на помочь», прислушивается к сочному чмокающему визгу фуганков, рубанков: «Все хотел поверить в то, что он здесь хозяин, что это он задумал сделать завод, и все хотел поверить, и не было где-то в самой глубине его веры в то, что хозяин здесь он». Вещи, предметы в мире, тем более люди, словно «уловив», что в центр всего поставлен выморочный, безвольный человек, у которого нет будущего, «отвечают» на его суету безразличием: они рассыпаются, утрачивают взаимное притяжение, смысл своего существования. Бессмыслица, случайность всех дел, поступков, зыбкость благополучия все же доходят до Ознобишина, и он не раз, среди прочих бесед, доискивается ответа.

«— А зачем я этот завод строю, ты знаешь? — перебивал Ознобишин.

— Зачем?.. Известно зачем! — с суровым лицом говорил Фома Иваныч.

— Будто знаешь? — вглядывался в него Ознобишин».

«Зазор» между роскошно-красочным предметным миром и внутренней тоской, недоверием к прочности этого мира, своеобразный отлет души — куда? в какую высь? — у Сергеева-Ценского то расширяется, то сужается. В «Печали полей» образуется противоречивейшее сочетание безумной любви к жизни, к ее вещной красоте, с глубочайшей меланхо-

лией, с разобщенностью угасающего рода с миром вещей. Недоверие к жизни порождает самоиронию. И невозможность поверить в прочность своего места в жизни, горькое сознание быстротечности жизни и бесцельности ее.

Печаль самого автора поэмы, часто замирающего среди простора с чисто гоголевским томлением души, тоже стоящего перед всей Русью, обратившей на него «полные ожидания очи» (Гоголь),— полна глубокой веры и надежды. Писатель не говорит прямо, что скрытая сила земли будет разбужена революцией. Но нет места в его помыслах и для «чуда», расколдующего «чары» оцепеневшего Ознобишина. Как к живым обращается он к полям:

«Поля мои! Вот я стою среди вас один, обнажив перед вами темя. Кричу вам, вы слышите? Треплет волосы ветер,— это вы дышите, что ли? Серые, ровные, все видные насквозь и вдаль, все — грусть безвременья, все — тайна,— стою среди вас потерянный и один...

Я вас чую, как рану, сердцем во всю ширину вашу. Только слово, только одно внятное слово,— *ведь вы живые*. Ведь ваши тоску-глаза я уже вижу где-то,— там, на краю света. Только слово одно,— я слушаю... Нет! Передо мною пусто, и вы молчите, и печаль ваша — моя печаль.

Поля-страдальцы, мои поля, родина моя,— я припал к сырой и теплой груди твоей и по-ребячески крепко, забыв обо всем, целую».

Живые поля — это сам народ, великая страна, которая неизбежно разродится великим деянием, настоящим движением. Поэтому в молчании и покое полей больше энергии, чем в псевдоделовой суете Ознобишина, а в их печали — больше светлой надежды... Поразительно емка и гармонична в «Печали полей» взаимосвязь героев и пейзажа: герои как будто входят в пейзаж, как в среду, наполненную таинственной, внешне молчаливой жизнью, входят в стихию, управляющую их судьбой. Села вокруг Сухотинки — это те же грибы боровики, что вытолкнула, вспухая и трескаясь, земля, а «коричнево-зипунные сухотинцы» живут «на земле, из земли; земля и тысячи случаев, то злых, то добрых, чередуясь, правили ими, как они комьями чернозема».

«Печаль полей», как и появившаяся в 1910 году «Деревня» И. А. Бунина, была итогом огромного внутреннего движения, раздумий художника о судьбе России. И к поэме Сергеева-Ценского можно отнести высокую оценку «Деревни» А. М. Горького, высказанную в декабре 1910 года в письме к И. А. Бунину: «...я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности, тогда серьезные люди скажут: «Помимо первостепенной художественной ценности своей «Деревня» Бунина была толчком, который заставил русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы еще и не думали о России как о целом,— это произведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически...»

* * *

В 1914 году, когда началась первая мировая война, Сергеев-Ценский был, как прапорщик запаса, взят в ополчение, служба его проходила в Севастополе. Наблюдения этих лет легли в основу романа «Зауряд-полк» (1934). В августе 1915 года он был освобожден от службы и вернулся в Алушту, где и встретил сначала Февральскую, а затем Октябрьскую революцию 1917 года. Начался новый, по-своему плодотворный период в жизни художника — период продолжения серии романов «Преображение России», создания «Севастопольской страды».

...В конце своего творческого пути Сергеев-Ценский рассказал о событиях между двумя революциями, событиях весны и лета 1917 года, в романе «Весна в Крыму» (1958)... Это — роман-исповедь. В мастерской главного героя романа художника Алексея Фомича Сыромолотова февраль 1917 года как бы выдвинул из тени, обострил одну надежду: наконец-то будет выставлена давно «томящаяся» вдали от народа картина «Демонстрация перед Зимним дворцом». Художник Сыромолотов — отчасти второе «я» писателя — искренне рад свершившемуся, особенно отречению царя на станции Дно: «И название станции-то какое, а? — почти кричал он, обращаясь к жене.— Точно нарочно придумано для этой страшной истории! Дошел до дна!» Но и после падения царизма идет война, движутся эшелоны с ранеными, жертвами бойни, витийствуют «маргариновые вожди» из Временного правительства». Чуткий художник все чаще слышит глухой ропот: «Это разве революция, товарищи, какая необходима нашей России? Это реформа, не больше, не меньше»... И его картина, которой он отдал все силы души, так и не пробилась на выставки. Вплоть до октября 1917 года, когда свершилась подлинно народная революция, *его* революция.

«Жизнь писателя должна быть подвигом» — так называлась статья Сергеева-Ценского, лауреата Государственной премии (за эпопею «Севастопольская страда», 1937—1939), академика, которой он в ноябре 1958 года, за месяц до смерти, приветствовал работу учредительного съезда писателей РСФСР. «Наше национальное богатство — это родная русская речь, которая звучит на огромных пространствах, от океана до океана»,— писал Сергеев-Ценский, старейшина русской советской литературы. Он вспомнил, как образец непрерывного творческого подвига, жизнь А. М. Горького, путь Михаила Шолохова... Но и собственный путь Сергеева-Ценского, властелина словесных тайн, не терпевшего жалких подделок под искусство, остался в памяти миллионов читателей как воплощение неустанного творческого горения, жажды «искать, всегда искать», образец подвижнической любви к Родине. Это путь к солнечной правде, путь человека, рожденного с солнцем в крови.

Виктор Чалмаев



ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

●

ПОЛУБОГ

Стихотворение в прозе

В богатом Коринфе у дома знатного Мегакла стояли рапсоды и пели. Было двое рапсодов — молодой и старик. Дряхлым, разбитым голосом пел сначала старик, а молодой хмуро подыгрывал ему на семиструнной кифаре.

О чем же может петь старик? Он пел о том, что в старину жарче грело солнце, тяжелее росли плоды, пьянее было вино. Он пел о том, что в старину жили герои, но никто не пришел им на смену. Он пел о том, как в темных пропастях Галеса бродят печальные людские тени.

У Мегакла было пиршество. На длинной веранде за столом возлежали гости и пили густое кипрское вино из дорогих кубков.

И никто не слыхал старика.

Но кончил он, и запел молодой рапсод, запел звучным и властным голосом новые, непривычные для слуха песни. Могучим мастером были скованы песни и славили гордый человеческий ум.

«Человек — полубог,— говорили песни,— но придет время, и он будет богом».

«Человек — в мечтах, — говорили песни, — но придет время, и мечты будут делом».

«Туда, в сверкающую глубину новых веков, как прикованный, смотрит взор».

«Придет время, когда о том, что было, не будут лепетать и младенцы».

«Весь полный настоящим, весь творец будущего, непокорный и всем владеющий, будет стоять человек на побежденной им земле!»

«А когда овладеет он всем, то будет богом».

И еще звучали последние звуки голоса и кифары, когда поднялись из-за стола гости Мегакла посмотреть на певца.

А он стоял молодой и стройный, с черными кудрями и гордым взглядом.

— Кто сложил эти песни? — спросили гости.

— Я слышал их,— отвечал рапсод,— еще мальчиком в родной Эанфии от Демада, изгнанника из Афин.

На другой день морем через Коринфский залив в маленькую Эанфию поехали трое богатых юношей, чтобы почтить Демада, как полубога.

— Он должен быть высок, как эта мачта! — говорил один из них, сияя глазами.

— Он должен быть могуч, как это море в бурю! — говорил другой.

— Он должен быть прекрасен, как вечерняя звезда на этом небе! — мечтательно говорил третий.

В маленькой Эанфии им показали Демада, изгнанника из Афин.

На грязной циновке на дворе сидел дряхлый калека. Голова его серела остатками спутанных, всклокоченных волос.

Черными, костлявыми руками сосредоточенно и жадно искал он в изорванной тунике паразитов.

1898

ПЕЧАЛЬ ПОЛЕЙ

Поэма

Глава первая

I

Силач Никита Дехтянский, который на ярмарках на потеху мясникам и краснорядцам плясал весь обвешанный пудовыми гирями, носил лошадей и железные полосы вязал в узлы, ехал ночью весенними полями и пел песню.

Не знал никаких подходящих и легких слов Никита и пел:

И-и-э-э-эх да-да-а...
А-а-а-э-эхх да-а...

Кузов телеги качался, как люлька, колеса внизу бормотали, и фыркала лошадь — степенная, старая хозяйственная коняга; умела она глядеть только в землю и на земле видела только дороги; шла коротконогим шагом и слушала, как пел Никита, поскрипывали колеса, вздыхали поля.

Чуть зеленоватая луна вверху глядела сквозь облака, точно чье-то голое тело сквозь дырявое одеяло, и большое разметавшееся кругом неясное тело полей медленно двигалось куда-то рядом с телегой.

Никита был приземистый и широкий во всю телегу. Лежал на свежей соломе, и видно было ему небо и поля, оснеженные луной: все те же поля,— лет сорок он видел их такими,— и небо то же.

Немного пьян был Никита от выпитой водки, запаха полей и своей силы, и простыми казались ему поля и небо. «Зеленя тянут,— думал Никита.— Дожжички идут,— вот поэтому тянут... правильно! Ишь болока ладнаются... правильная весна, май месяц. Гляди, опять утречком дожжик прыснет... А то нет нешто? О-бязательно прыснет...» И пел:

Э-э-эх да эх ты-ы-ы!
И-и-и-эх да дда-а...

Перепела били с разных сторон, точно спеша щелкали крепкие орехи. Дальние, самые дальние казались ласковей и нежнее, а у ближних был такой сочный, росистый задор, будто они и выросли из земли вместе с зеленями и вот именно ими что-то торопилась сказать земля.

Никита делал голос нарочно жалобным, когда тянул концы: нельзя было иначе петь ту песню, которую он придумал.

Густым, бездонным черноземом пахло с полей: сырой — он был слышнее ночью. Никита вдыхал его широченной грудью и представлял сытую черную корову с двухведерным выменем парного молока: будто паслась в зеленях корова, смотрела на него боком и взматывала хвостом.

Пар навис над полями, низенький, синеватый и теплый: это земля надышала за ночь.

По лугам, по низинам, ближе к земной глубине, пар стоял гуще и мягче: на луне далеко было видно,— сколько глазом захватишь,— всё ровные поля в пору.

Жаворонки вскрикивали вдруг по-дневному торопливо: кто-то беспокоил их на кочках — сычи, или суслики, или зайцы.

Телега дрожала во всех суставах, проваливалась в выбоины, бормотала по-стариковски. От луны к земле протянулись лучи, как дождь при солнце,— сквозные и мягкие.

Показалось Никите, что плохо идет лошадь, и он прикрикнул:

— Н-но, идет она! — и чуть потянул за вожжи. Лошадь фыркнула, мотнула головою; хотела было побежать трусцой,— раздумала, пошла шагом.

А-а-а-ах ты да ну-у...
А-на-а на да э-э-э... —

полусонно промычал Никита: спать хотелось.

У облаков, ближе к луне, чуть пожелтели щеки, а дальше они растянулись мягкие, темно-серые, чуть зеленые, точно июньское сено с поёмных лугов, разбросанное в рядах для сушки.

Жирные были облака и ленивые, но умные какие-то, и Никита думал о них уверенно: «Ладнаются... Утречком дожжик будет».

Старую извечную работу чувствовал кругом Никита и понимал нутром, что облакам и не нужно было спешить, как не нужно спешить и его старой коняге. Все было сочное, здоровое кругом — и земля и небо — и все работало

и отдыхало, работало и отдыхало. Почему-то думалось еще, что земле, с натугой засеянной во всех бороздах, как человеку, приятно будет летом, когда поставят копны почаще.

От привязанной сзади мазницы пахло крепким березовым дегтем: только что купил в городе. Верст десять еще оставалось до Дехтянки.

Разомлели поля от сна. «Родимые!» — ласково думал о них Никита.

Потихоньку тянул:

И-и-э-э-э-э-ы-ы-ы...—

и закрывал уже глаза: спать хотелось.

Из перепелиного боя сплелась какая-то длинная сеть с тонкими ячейками. В эту сеть попали клочья облаков — зеленых, как речная тина, несколько звезд и кусок месяца. Сеть потянул кто-то следом за телегой, а потом уже стало видно, что тянут невод. Тянули дехтянские мужики, и узнал их всех Никита.

Вода в реке была теплая; на том берегу гоготали гуси... Долго тянули невод. У берегов шли голые, кричали, нагибаясь, хлопали палками по воде,— желтели спины.

Потом опять, точно в просветы, стало слышно, как бьют перепела и, качаясь, скрипит телега, а Никите очень хотелось узнать, много ли вытянут, и хотелось, чтобы больше...

Больно ударил кто-то кнутом Никиту, и он вскочил. Темно было. Протер глаза. Рубашка была чуть мокрая: сеялся дождь. Кричал около кто-то длинный, за ним еще трое-четверо-пятеро. Солома в телеге намокла; посвежело. Собака лаяла около колес. Сопела рядом чья-то чужая лошадь. Дальше еще лошади — в темноте и дожде чуть видно. Сосновым тесом пахло.

— Черт! — ругался длинный.— Что стал поперек дороги,— проехать нельзя! Леший!.. Видишь, канава сбоку, культяпый черт?

Оглянулся Никита на свою лошадь,— в зеленях: подняла голову и жует. Телега поперек дороги; дорога узкая.

— Но-о, плохой! — дернул за вожжу и повернул на дорогу.

— Видишь, с кладью едем,— не унялся длинный,— лес везем?.. Мы тебе сворачивать в зеленя будем, ахряб?

— Ну что ж?.. Ехал да уснул — такое дело,— во весь рот зевнул Никита.

Почесался. Вспомнил, что думал о дожде, и сказал:

— Так и знал, что дожжик пойдет: болока ладнались... В Сухотинку, што ль?

Знал, что в селе Сухотинке строят винокуренный завод и часто туда тянулись обозы то с кирпичом, то с лесом, знал, что и эти в Сухотинку.

— Трогай знай!.. В Сухотинку не в Сухотинку — ты себе трогай,— отозвался длинный.

— Строгой какой! — Никита разглядел, что от дождя он накрыл картуз и плечи рядниной и что еще откуда-то с задних возов подошли двое, и тронул:

— Н-но, милой!

Лошадь дернула, прошла шагов пять и стала: вожжа засекла ногу.

— Дурачей, черт! Кнута хочешь!.. Чего опять стал? — закричал длинный.

— Я-то дурачей, а ты, должно, дураче меня,— сказал Никита, слезая.

— Обротник, дьявол!

— Еще дураче меня,— опять так же сказал Никита и качнул не спеша головой.

— Снохач! — хрипнул длинный.

Не было снохи у Никиты.

— Эх ты, жулик нескладный! Что свой купорос выливаешь? — засмеялся, чуть-чуть удивляясь, Никита.

Он выпрастывал вожжу из-под ноги лошади, нагнувшись к самой бабке и вдыхая, точно высасывая, вкусно сырую навозную землю, когда сзади ударили его кнутом вдоль спины.

— Вот тебе, черту!

Никита осерчал не сразу. Он повернулся, взметнул глазами на черную толпу гогочущих подводчиков, провел тыльной частью руки по сутулой спине и спросил всех тихо:

— Это к чему же?

Потому и спросил, что не понял, зачем его ударил длинный.

Но подводчикам надоел Никита и дождь и ночь. Подводчики были городские — в пиджаках и сапогах. Окружив Никиту, заорали все сразу. Двое с двух сторон начали хлестать старую лошаденку. Лошаденка испуганно рванула, загремела по дороге, а Никита остался.

— Идолы! — плюнул он наземь.

Побежал было догонять лошадь, да кто-то сзади толкнул его и сшиб картуз.

Тогда и случилось то, о чем после долго говорили и в Сухотинке, и в Дехтянке Большой, и в Дехтянке Малой, и в городе на лесных пристанях.

Никита бросился на длинного, сбил его с ног, примял по-медвежьи, и когда остальные семеро кинулись его выручать, разогнал их далеко по зеленям. Потом подошел к подводам (подвод было четырнадцать) и, хватаясь руками за колеса, с маху одну за другой опрокинул их все в канаву вместе с лошадьми.

Потом нашел недалеко впереди свою конягу, уселся и закричал назад ядовитое и простое:

— Вот тебе и завод Сухотинский!

Подождал немного, послушал, как ругались, грозились и кричали, пробуя поднять крайний воз, и добавил:

— А теперь, должно, простоите должее. Н-но, идет!..— дернул лошадь и затрусил рысцой.

Когда, кое-как оправившись, поздно утром приехал обоз и узнали об этом в Сухотинке,— недавно почувствовавшая себя в седьмой раз беременной Анна Ознобишина, жена сухотинского помещика, почему-то сочла это дурным знаком.

Она ушла в дальнюю аллею сада, где никто не мог бы ее видеть, и там долго плакала от каких-то темных предчувствий, которых не поняли бы ни ясный день вблизи, ни близкие люди, занятые суетой постройки.

II

Завод в Сухотинке начали строить рано, чуть стаял снег. По полям, еще серым от недавнего половодья, стягивали сюда камень, лес и рабочих.

Поля здесь были терпеливые и мирные, как стада овец. Недалеко от Сухотинки, чистенький, беленький, стоял монастырь — Ольгина пустынь, и как-то шло это к полям, что теперь, в Великий пост, длинно-длинно звонили в одинокий колокол.

Ничего не было высокого в полях, и как-то хорошо было видеть, что выше всего золотели в небе кресты церквей.

И посреди будущего завода на мачтовом бревне тоже водрузили саженный крест и зачем-то обмотали его камчатным полотенцем.

На закладке завода отслужили молебен, целый день потом угощали гостей и священника с причтом, и подрядчик Фома Иваныч поставил своим рабочим ведро водки.

Барский дом в Сухотинке был большой, старый, каменный, со множеством низких и пустых комнат. Из окон его, теперь кое-где открытых, весело было слушать, как сочно стучали топоры, обтесывая пахучие бревна. Иногда каменщики пели.

Завод строили на выгоне за липовой аллеей, и видны были только верхушки лесов да крест, но представлялось ясно, как подымется там трехэтажное, деловитое с виду здание и будет глядеть на поля, как хозяин. И этому будущему хозяину полей служило теперь все, что было в усадьбе: лошади, люди и сам Ознобишин — высокий, тонкий, лет сорока, с розовой круглой головой, остриженной до самой кожи.

Всегда со складным аршином, в нахлобученном синем картузе, сутулый и сухой, с прямой и узкой красной бородою, сновал по постройкам Фома Иваныч, отмерял, рассчитывал, кричал на рабочих:

— Борзей, ребята, а ну, борзей!

Ознобишин говорил с ним шутливо:

— Ну, признавайся, разбойник, сколько тяпнешь?

— Что вы, барин,—возмущался Фома Иваныч,— мы по чести! Дешево и то взяли... Не то тяпнуть,— дай бог концы с концами свести... Как своих не доложу, то и слава богу!

— Пой, пой, брат! Тяни лазаря! — хлопал его по сухой спине Ознобишин.— Какие вы все петь мастера! И где учились!

— Как же пой?.. Цены-то, цены-то на все как взбодрили! Тут запоешь, чесаркой запоешь... Только и славы будет, что завод построил... да что дома зря не болтался... Потому — дела теперь тупые!..

— А зачем я этот завод строю, ты знаешь? — перебивал Ознобишин.

— Зачем?.. Известно зачем! — с суровым лицом говорил Фома Иваныч.

— Будто знаешь? — вглядывался в него Ознобишин.

— Известно — доходы будете получать... Маленькое дело — завод! Тут обернуться можно... завод!

И не глядел на Ознобишина, утопивши глаза в полях.

— Знаешь, значит... Вот поди ж ты какой! А я так нет,— говорил, уже не смеясь, Ознобишин.

Иногда на постройке появлялась сестра Анны — девочка

лет двенадцати, Маша. С серьезным, озабоченным видом, привыкшая только хохотать и куролесить, она ходила между грудами красного кирпича и желтых досок, натыкалась на известковые ямы и спрашивала Фому Иваныча, показывая пальцем:

— Зачем это?

— Известка, барышня,— отвечал Фома Иваныч.

— Зачем известка?

— Известка? А как же без известки? Без известки кирпичи бы не держались; без известки нельзя,— изумлялся, улыбаясь, Фома Иваныч.

— А-а! — тянула Маша и потом спрашивала опять: — А бревна зачем?

— Балочки?.. Это — балочки... Потолки утверждать... А до крыши дойдем — опор чтобы был,— стропила ставить.

— А-а! — соглашалась Маша и кивала головою.

Все время напряженно слушающей была Анна,— от этого лицо ее было как у глухих. Лицо было все из округлых вечерних линий; они не ослепляют глаза, но в них покой: это усталый день протянул руку ночи.

Шестеро детей могло бы быть у Анны — четыре девочки и два мальчика; могло бы, но не было их,— умирали нерожденными. Выделялся из тела какой-то яд, убивавший их то на шестом, то на седьмом месяце утробной жизни, и с каждыми новыми неудавшимися родами у Анны рос испуг перед *тем*, невидным.

В комнатах дома, широкого и низкого, казалось, были заперты эти немые поля кругом — пусто было и глухо, и не наполнял их ни молодой звонкий голос Маши, ни рассыпчатый упругий голос Ознобишина.

Комнаты были жуткие, и для Анны каждая жила своей особой жизнью: жива была тем, кто в ней умер когда-то, давно,— все равно, сколько лет назад; ясно чудилось, что в каждой умер кто-то. Представлялись отравленные, повешенные, засеченные кнутом.

Жив еще был восьмидесятилетний дед Ознобишина, посадивший внука хозяйничать в Сухотинке, а сам разъезжавший где-то по большим ярмаркам, по городам, там, где сильнее билась жила жизни, и пропадавший целыми месяцами. До Сухотинки редко доходили о нем слухи.

В одной из дальних комнат дома был еще столетний старик, прадед Ознобишина. Лежал в постели, позабытый и жизнью и смертью, сухой, скорченный, с обтянутым голым черепом, огромным над маленьким темным лицом.

Смотрел на всех тусклыми, как две свечи в ночной церкви, глазами, жевал губами, кроткими и тонкими, и не говорил уже ни слова: все забыл.

III

Ознобишин охотился и потому держал красногонов. Были два волкодава — мудрый старик Целуй и молодой Приемыш, и смычка желтомордых заячьих гончих.

Целуй был ширококостый, весь черный, одноглазый пес. От старости он взмылил кое-где сединою, отяжелел, но все еще был непобедимо крепок. Стаю, и всю усадьбу, и деревню вокруг усадьбы держал в порядке — в каком-то своем собачьем порядке, не всегда понятном для людей.

На охоте он вел весь гон и трубил низкими нотами, и если случалось кому-нибудь из молодых обогнать его и зарваться вперед, то Целуй догонял его злыми бросками, хватал за холку, учительски трепал и отбрасывал вбок. Когда же в холодные зимы подходил близко бродячий волк и выл и лопоухая молодежь от страха забивалась в подполье, когда собаки постарше начинали вопросительно толпиться около крыльца, на котором дремал Целуй, и тоже выли,— Целуй медленно просыпался, ежился, оглядывался кругом и слушал: чесался толстой лапой, зевал и деловито тянулся, выправляя члены сначала на передних, потом на задних ногах. Когда же он начинал трубить отрывисто и глухо (он никогда не выл и не лаял — только трубил),— это значило, что стая должна была сходиться в круг. Если долго не являлись люди, Целуй вел свою свору сам, и смутно слышалась потом со стороны снежных полей перекличка собачьего гона: труба Целуя, визгливые подголоски гончих сук, неокрепший переходный голос Приемыша. А когда стая возвращалась назад с красными фыркающими мордами,— в усадьбе знали, что волк затравлен.

Летом Целуй сам обходил утиные болота и распугивал, как хозяин, сельских ребятишек, гоняющих палками бескрылых утят; заходившим в сад свиньям начисто отгрызал хвосты и уши, а когда шел по усадьбе или по сельской улице, опустив голову и холодно прищурив глаз, все уступали ему дорогу.

Кроме гончих, были еще собаки — простые, бесхитростные дворняги, неуклюжие, с пухлой шерстью. Красногоны смотрели на них презрительно и держались от них в стороне.

Для охоты Ознобишин вырастил верхового кабардинца с тонкой запрокинутой головой и зобатой шеей. Хорошо он ходил под седлом, золотистый, сухоногий, никогда не устававший и не знавший некрасивых движений, и за зайцами по осенним полям скакал, как большущий заяц.

Звали его Дядей, и по-человечески точно различал он все оттенки, какие вкладывали в это имя. Любил, когда звали его протяжно: «Дя-я-дюшка... Дя-я-дюшка... Дя-я-денька...» — тогда он ласково кивал головой и протягивал мягкие губы, точно для поцелуя. Скажут коротко: «Дядя» — вздрогнет, вздернет голову, поставит уши торчком и чем-то фиолетовым, пугливым озарит глаза.

Кончики ушей у него были черные, бабки — белые. Четырехлетний карапуз, сынишка приказчика Витька, когда обходил по утрам конюшню, обязательно взбирался по Дядиным ногам вверх, как по деревянным столбам, и Дядя только добродушно отмахивался от него холеным хвостом и подрагивал теплой кожей от щекотки.

Конюшня была просторная, как и всё в Сухотинке. Целый день звучно жевали лошади, а сколько их — точно не знал Ознобишин. Только кучер Серапион, которого для упрощения звали Скорпионом, иногда от скуки брал мел и на деревянных дощечках над стойлами выводил медленными квадратными буквами их имена: «Кабыла Сартиха, кабыла смелая, жирибец змей...» Были восьмивершковые орловцы, красиво скованные полукровки, зубатые киргизы, даже червонные тонкие эстонцы и шведки с дюжими шеями.

По темным стойлам бродили козлы, поблескивали загадочными глазами, мекали, и вид у них был забывчиво занятой, туго-озабоченный, как у рачительных домовых. На перекладинах, клювами вниз, висели убитые сороки.

Отец Витьки, Прокофий, долго служивший в Сухотинке, одержим был страстью к голубям всяких пород, и рядом с его флигелем, распыжившись во все стороны от добавочных ящиков и пристроек, неуклюже расселась на столбах голубятня с хитрыми дверцами и проволочными сетками от кошек.

В тихие вечера, когда свободен был Прокофий, начиналась эта странная, увлекавшая всю усадьбу забава. Точно на парад или на бал, выпускались на крышу голубятни все эти трубачи и щиграши, чистые ленточные и ленточные тульские, монахи и галочки, скакуны и винтовые — охорашивались, выправляли крылья, переминались на не-

видных лапках, может быть, чуть волновались, как артисты перед выходом. Потом Прокофий тихо начинал ссовывать их шестом, точно заигрывал с ними, как деревенский парень с девками-подростками, и они жеманились, переглядывались, сползали с крыши и опять подлетывали, карабкались на конек и усаживались, как резьба, раскрашенная в самые чистые и в то же время нежные тона.

Опять доставал их ползучий шест. Перелетали на крышу флигеля, вглядывались в розовые облака на западе, нанизанные на последние лучи, в верхушки лип и ласковое небо над собою; самцы начинали гуркотать и кивать зобами.

Но Прокофий — этот головастый человек с мягкими усами, заползающими в рот, — не давал им покоя: ухал, свистал, хлопал шестом по крыше; Витька, пыжась, горячо ругал их и бросал в них комьями земли.

Наконец воротникастый винтовой, за мешок овса купленный Прокофием в городе, красивый старик с голубым воротником на белой шее, размашисто снимался, делал в воздухе пять-шесть ленивых остановок, точно купался и нырял, потом садился на крышу дома. За ним срывался другой, коричневый до красноты, белоголовый турман-трубач, подымался невысоко и мягко падал оттуда кубарем через голову оборотами, точно веревку вил. За этим скромная галочка вспархивала и кружилась томно и нежно, будто чья-то невидная рука обмахивалась шелковым черным платочком.

И вдруг, звучно крича крыльями, отрывалась от крыш вся стая, и начиналось то удивительное представление, которое так любил Прокофий. Голуби то неподвижно плавали, как ястреба, то шарахались кверху и оттуда летели комом, потом распускали парашюты и танцевали на кончиках крыльев, то кругами подымались страшно высоко, почти пропадали из глаз, реяли мушиными точками, и радостен был их взлет Прокофию.

В стороне от стаи маячили два скакуна; эти не летали со стаей: искали поблизости других голубей.

— Скакуны-то какие! — восторженно хвалил их внизу Прокофий. — Просто им и цены нет... Не то какого-нибудь чужака, — всю бы охоту отбили, — истинный крест... Так бы и была здесь вся охота, только что охот здесь нет...

Голос у Прокофия был лучезарный какой-то, или это казалось так оттого, что глаза у него лучились: на загорелом морщинистом, жестком лице совсем мальчишеские большие глаза, такие же, как у Витьки.

Так много было у него любви к голубям, что заразил он ею всю усадьбу. Даже сам Ознобишин умел отличить длинноногого скакуна от пестрого щиграша и трубача от винтового.

Небо после захода солнца бывает всегда испуганно легким, и тяжелеет земля, и в этом небе так тревожно было следить, как возвращалась бог знает с каких свежих высот стая.

Суживали и суживали круги, выявлялись яснее и четче, и вот уже заметно было, как вперебой один перед другим падали и отталкивались на резиновых крыльях, перевертывались и снова падали, и долго красовались усталые, дрожа и трепеща извивами мягких, заволоченных сумерками тонов, точно несли с собой благословение чьето, того, кто выше земли и неба, или просто это языки Святого духа спускались на усадьбу.

Два сада было — верхний и нижний, а между ними кругом дома цветник.

С закрученных клумб сползали на усыпанные песком дорожки густые ковры из портулаков, и над ними сочными, хоть выжми, грудами теснились левкои, ирисы, маки, ночная красавица, девица в зелени, резеда, тюльпаны — и все это било вверх пестрым фонтаном роз.

Приходили на поливку желтые, красные, синие девки из села, и их с лейками, как петух кур, водил по клумбам садовник Илья, сухой старичок в белом фартуке.

Колдовал он по целым зимам в теплых до истомы подземельях большой оранжереи, где пушистые персики вылеживались в печурках и цвели лимоны, а летом на высокой средней клумбе заводил цветочный календарь и рано утром, когда все спали, как гном, приходил и менял числа.

Просыпаясь, Маша, всегда ярко одетая, сновала, как большая бабочка, по цветам и кричала Илье:

— Ну, смотри! Вчера было седьмое — теперь восьмое. Как ты это делаешь? Илья, ну как?

— Секрет! — расставлял руки Илья и улыбался добрым детским лицом, насквозь пропитанным цветами.

А осенью он дарил ей большие яблоки, титовки, на которых по красной стороне проступали зеленые слова: «Барышне Маше», и уверял, что так яблоки выросли сами.

Неусыпно баловал и холил деревья в садах, за каждым смотрел по-стариковски зорко, как нянька, и на поливке говорил о них, как говорят о людях:

— Эти получили почти что по десять ведер вчера, а эти тоже свою долю, что им полагается, сегодня, и аминь... Больше уж проси не проси — не дам до дождей.

И если Анна, обходя с ним сад, останавливалась перед какой-нибудь тощей грушей и спрашивала:

— А отчего-то у этой крона слабая, а?

Илья отвечал тихо, точно боялся, чтобы не услышала груша:

— Прихварывает... Будет ли жива, неизвестно... Нужно будет корень посмотреть... Да вот еще что: золы дать...

От возможности поправить грушу золою он сам ободрялся и повышал голос:

— Ну да — и скорей всего отойдет... Вернее всего, поправится... Золы дать, и только...

И тут же мимоходом срезал у нее две-три лишние ветки и замазывал пластырем раны. И когда Анна всматривалась в деревья, то видела, что каждое действительно имело свое лицо. Подтянутые благовоспитанные груши были похожи на светских барышень или чопорных старых дев, яблони — на рассыпчатых сдобных поповен, сливы — на кудрявых ребят, которые забегались на жаре, устали и теперь присели отдохнуть у дорожек и покопаться в земле.

Весной в кустах жимолости и жасмина, своенравно густых до того, что брошены были Ильей без призора, целые ночи гремели соловьи... О чем? Каждому в усадьбе о том, что ему было надо,— Анне о ребенке.

Все, что видела и слышала Анна, все, чего касалась она в темноте и беззвучии, говорило ей только о нем. Звезды светили, левкои пахли, пекли хлебы, кормили породистых поросят — все это было,— это знала Анна,— но было, как сон, как туман, в котором только *он* мог, просто и весело шутя и смеясь, найти концы и начала.

Привез ли воды краснощекий кучеренок Федька, убрали ль пышную рожь, начались ли осенние заморозки, пролетели ли ночью, ближе к утру, когда небо лиловое, дикие утки — не было во всем этом ни красоты, ни смысла, потому что не было *его*.

И жизнь Анны была не жизнь, а борьба, упорная и хитрая, почти заячья, даже и спящая с открытыми глазами,— как бы не опрокинулось на нее слепое и не смяло.

Чтобы обмануть слепое, она размеренно и спокойно вела хозяйство, вышивала, вязала, шила и с женою Ильи,

суровою бабой, кухаркой Катериной, подолгу говорила по вечерам о завтрашнем обеде.

Земную силу, сырую и бездонную, не уставая, отовсюду черпала Анна, чтобы опереться на что-то огромное и опрочнеть, и туго связывала одну с другою неугасимые мелкие заботы.

Как сквозные колокола, спускались на усадьбу дни, и Анна вела им чуткий непропускающий счет. Каждый день был отмечен чем-нибудь своим, большим и важным, о чем не говорила Анна.

Рядом с тою жизнью, которую видели все, шла в ней, волнуясь, то подымаясь, то падая, своя — густейший отстой жизни, где все было неясно, сказочно и тревожно.

Но для того, чтобы выразить кому-нибудь эту жизнь, не было слов.

IV

Село Сухотинка тянулось вдоль дороги двумя порядками изб. Крыльями от него отмахнули к прудам огороды, к полям — гумна и риги. Село было пушисто-зеленое весною, тощее, пыльное летом, ослепительно желтое от новой соломы осенью и нахлобученное, сизое зимой.

Слишком просторно было в полях,— оттого так тесно жались друг к другу избы. И от старой, засиженной мухами люльки до новенького соснового гроба проходила на миру, на виду у всех каждая жизнь: на миру работала и любила, плясала и пела, грешила и каялась, плакала и пила.

Широкие завалинки слышали из года в год все одни и те же посконные и ржаные мужицкие мысли, плотно вбитые, как колодка в сапог, в поговорки и присказки, в «а то нешто» и в «то-то и оно».

Жили, точно совершали старинный обряд сухотинцы, поклоняясь земле и небу. Часто горели и строили новые избы, как алтари. О, как шли к этим сутулым полям эти избы — срубы из бревен, крытые соломой!

Когда хочет подняться из земли молодой боровик, вспухает и трескается земля.

Это земля и вспухла тут, в том месте, где села потом Сухотинка,— потрескалась и рассыпалась комьями, выпустив из своих недр на волю порядки изб. Давно это было: спокон веку. Так стали жить коричневозипунные сухотинцы, волосатые, медленные и тугие — на земле, из земли,

земля, и тысяча случаев, то злых, то добрых, чередуясь, правили ими, как они комьями чернозема.

Небольшую деревянную церковку построил для них столетний прадед Ознобишина, и степенный священник, о. Леонид, которого сухотинцы упорно звали Нелидой, чинно служил в ней для них обедни и вечерни, свадьбы и отпевания и ссорился с ними за то, что все норовили помолиться богу бесплатно.

Двое сборщиков на построение нового храма, неглупые и непьющие мужики, отправились в разные концы с кружками и листками. По дорогам, изморщинившим лицо полей, они разносили миллионы раз повторенные слова:

«Милостивые радетели, православные христиане! Не оскорбите нашей просьбы! Храм строим в селе Сухотинке... Есть храм деревянный, но очень ветхий, так что не только зимою служению невозможность, по причине морозов, но и летом от дождей промокает. Православные христиане, радетели, не оскорбите! Строим храм каменный, во имя Рождества пресвятые богородицы. Дайте, что милость ваша, от щедрот ваших, и царь небесный не оставит подающих без награждения».

Одного прихода с Сухотинкой и рядом с нею вкраплены были в поля две деревни: Сухой Карай и Лешая Поляна.

Сухотинские бабы носили платки на головах просто в обвяз, сухокарайские делали на голове два рога, а лешеполянские оставляли с двух сторон концы, как висячие уши; и сухотинцы тягуче якали — говорили: «тялушка на бярягу», сухокарайцы поджимисто йкали: «тилушка на биригу», а лешеполянцы тяжело и густо ыкали: «тылушка на бырыгу».

V

В конце сада, где когда-то копали очень глубокий пруд и насыпали бугор земли, дед Ознобишина устроил деревянный флигель. Молния сожгла его. На другой год дед построил на том же высоком месте другой такой же точно флигель; и опять его сожгло молнией. Упрямый старик приказал поставить каменный дом и на железной крыше укрепить громоотводы. Дом возвели и бросили, даже не вставляли оконных рам.

Теперь в нем поместили артели рабочих: плотников, каменщиков, штукатуров,— и рядом с жизнью усадьбы зароилась другая жизнь.

Артели были пришлые, но те же поля, уползающие за горизонт, вспоили и их бескрайностью и пустотой.

В холщовых фартуках и рубахах, плотные, приземистые, с тяжелой поступью не спеша работающих людей, они заняли пустые комнаты прочно и так вплотную, что через несколько дней казалось уж, что они жили тут целые года; все уголки насквозь пропитались ими: их сапогами, онучами, чайниками, ложками, инструментом, ковригами черного хлеба и едким рабочим потом.

Было много артельного ладу, и весело было. По праздникам играли в козанки и лапту; мячики шили из кожаных опорков; все просили Прокофия купить им в городе большой резиновый, какой-то особый, литой и обязательно черный мяч, но Прокофий забывал об этом.

Ходили по ночам в село к бабам. В селе устраивали на них облавы и били чем попадя. Артельные в отместку ловили сухотинцев, кого попало, и тоже били. И как-то так неучетно и неуемно, днями и ночами разбрасывалась повсюду кругом их упругая сила, немногодумная, но всегда знающая ясно, что и зачем.

Клали ли, легко подбрасывая снизу, кирпич на кирпич — знали, что выйдут стены; стругали ли лутки и фрамуги — знали, что выйдут в этих стенах просветы; тесали ли кроквы и мурлаты — знали, что накроют ими дом.

Отсылали деньги домой, свято копя их в тряпице, а когда получал кто-нибудь письмо из дому, читали его скопом и понимали все одинаково, потому что дома у каждого была корова, которая могла или отелиться, или пасть от сибирской язвы, десятина земли, взятая в аренду, и сорок душ родных и соседей, из которых каждый мог прислать по поклону.

Старшего в артели плотников звали Лобизной за большой и лысый лоб, старшего у каменщиков Иван Митрич «С дуриной» — за простоватость и сугубую честность. Но приметнее их был стекольщик и плотник Иголкин, самый большой говорун, шутник и песенник, низенький, совсем без шеи, косой на один глаз и рябой. Хорошо боролся по-башкирски, как-то сразу приседая на колени и перешвыривая противника через голову, вверх ногами. Он же носил с собою закрома загадок, побасенок, шуток, набранных в разных концах земли, и ими заваливал всех и на работе и на отдыхе. Остановится перед каким-нибудь тяжелым парнем и скажет вдруг, прищурясь:

— Шел Тень, сел Тень на пень, проплакал весь день... А в траве-то шебуршит... Что к чему? Не знаешь? Ишь ты... Ну, этак: летели две птахи рядом; одна-то села на дом, а другая-то на Дон... Что к чему?

Парень думает, а Иголкин смеется. Лобизна вел расходы, и когда случалось на ужин купить на селе парного молока и баранок, таких сухих, что и разломить их было нельзя,— он разгрызал их зубами, накладывал в чашку и крестил. Артель вынимала из мешков ложки и садилась есть. Было это по-евангельски просто, размеренно и нежно.

Лобизна без конца курил трубку. Табак у него был такой, что от него у молодых першило в горле и они кашляли и чихали.

— Табак у тебя, Лобизна, тяжелый,— крутили они головами.

— Табак ничего... Хороший табак... Корни,— отвечал Лобизна.

— И грех ведь... Ты бы не курил... Старый ты человек, а грешишь...

— «Грех» нельзя сказать,— затягиваясь, говорил Лобизна (говорил он рассудительно, не спеша, любовно выплавляя каждое слово),— греха нет в табаку... Греха нет, а ошибка есть... Ошибка — это так... Что в чаю, что в кофею, что в табаку — три ошибки — три естества.

Затягивался снова и потом лил спорые, тугие слова, все одинакие, как восковые свечи.

— Спрашивал я у священника свово, отца Василия, так тот говорит: «Не могу тебе истинно сказать. И мы курим и нюхаем, да ведь где — в алтаре, за престолом, в отдушины дым пускаем, а что нюхаем, так это всегда: дьячок апостола читает, а мы за обе ноздри: вот оно!.. А что от табаку — от табаку вред такой: из церкви выгоняет. Больше ничего... Иной стоит молится, а курить захотелось — вон! — вот и ошибка. Ведь вот, например, насчет чаю: святые чай пили, не то что мы — и спасались...» У меня вот дома книга есть — житие Тихона Задонского,— пил ведь чай-то! После ранней обедни завсегда пил.

— А вот сталоверы не курят,— сам видал! Ни в жисть не курят,— пробовал кто-нибудь укорить старика.

— Ну, сталоверы...— Лобизна знающе мотал головой.— В священных книгах насчет их прямо сказано: с кем хочешь водись, а сталоверов обходи кругом... Вот они какие, сталоверы.

Лобизна умел говорить так уверенно, точно вколачивал

гвоздь с широкой шляпкой, и переспорить его было нельзя.

«С дуриной» по природе своей был мечтателем, из тех, что бродят по святым местам и ждут чуда. Этот не любил говорить о том, что видел, но жадно ловил всякие странные слухи, даже самые нелепые, один другого сказочней. То расскажет о том, что где-то на большом тракту какой-то ревнитель построил для прохожего народа огромный дом, в котором можно прожить сколько угодно и не платить денег.

— А ты видал? — спросят его.

— Кого? Дом-то?

— Дом-то.

— Обязательно все видать надо,— отстаивает себя «С дуриной».— Сказывали люди. Сказывали — кругом это степь; сколько тебе ни иттить — степь... Ни-че-во... Деревца — ни боже ты мой! В зубах поковырять нечем... И вдруг дом стоит: огромадный... Тыща комнат. Вошел ты,— народ везде чистый, убрано все это... «Проходящий?» — спрашивают. «Проходящий».— «В баню его...» Тут и начинается. В бане во всю чистую одежу оденут, из бани за стол: ешь чего хочешь, сколько хочешь... Наелся, значит, горницу тебе дадут — отдыхай. Отдохнул, встал,— опять за тобой уход... Садик есть, крылечки везде... Хочешь сядь, хочешь ляжь,— чего хочешь...

— Да где это? — сомневалась артель.

— А на тракту на большом...

— Все тракты нам эти хорошо известны, а дома такого нет,— говорил Иголкин.

— Ан вот есть,— слабо защищался «С дуриной».— И ничего с тебя не берут, и уход, и живи сколько хочешь.

— Этак бы в этом доме все как есть и жили, голова дурья,— возмущался Иголкин.

— Ну что ж... Люди ложь, и я то ж,— кротко соглашался «С дуриной», но потом вспоминал или мост длиною верст в двести, или богача, каждую ночь спускавшего в карты по миллиону, или быка с лошадиной головой.

Иголкин был самый бывалый изо всей артели, но родные поля, его поля, где он вырос, крепко держали его в плену, и все, что он видел, кроме них, казалось ему смешным и глупым, просто каким-то неосновательным и ненужным.

— А вот там, чуть подальше,— говорил, например, он,— там хохлы идут. Ну, смешные, ну, чудные,— не приведи, прямо, бог! «Хиба ж це» да «хиба ж як» — все у них «хи-

ба»... Шибку за гривенник вставишь,— по-нашему стекло, по-ихнему «шибка»...— ведь вот чудно: как говорить зачнут — ничего не понятно. Вставишь эту самую шибку,— пустяки, гривенник цена,— нет, она тебе, хохлушка это, хозяйка — «маты» по-ихнему — тащит, это самое, тебе сала кусок... Ну, огромадный, на себе волокет: «На, ридный...» Возьмешь это, аж досада. «Расточительница ты, скажешь, дома свово». А она-то не понимает, думает, спасибо сказал: «Кушай, ридненький, кушай».

— Вот дура! — искренне вставляет артель.

У Лобизны голос был корявый, землистый, у «С дуриной» мягкий и слащавый — девичий, у Иголкина крепкий и какой-то глаженый, без зацеп.

— А хохлы сами тоже... Петро́ там какой-нибудь... (У них все на «о» ударяют: Петро́, Ивано́.) Возьмет кнут,— а они «батиг» зовут,— батиг этот самый возьмет да денег семь целковых, и — идет на ярманку коня покупать... Краюшку хлеба жует — ходит... «Скики цей кинь стоит?» — «Сто рублей». — «Отто ж хиба сказилси!» Подался дальше и все краюшку жует. «А цей кинь скики?» — «Двести рублей».— «Сказилси!..» А у него-то всего их и есть семь целковых. Цельный день ходит. Тот сто, тот двести, а он все ходит: хиба сказились... Без цыгана в жисть ничего не купит — вот народ простой. Цыган их в день человек двадцать обдурит: побожится, покрестится: «Эх, птица не лошица,— море перескочит — хвоста не замочит,— бери,— готово дело, вынимай гроши...» Простой народ, страсть!.. Наши супротив его куда-а!.. Поговори ему об чем хорошем, он тебе не только... он тебе четверть овса насыпет, не то что сала... Вот народ!

Так же высмеивались все, кого ни приходилось видеть Иголкину, и больше всего это смешное и было понятно всем. Верблюды вместо лошадей — смешно, соленая вода в море — смешно, горы, на которых и летом снег,— тоже смешно. Все было смешно, что не было этими тихими, как стада, рабочими полями, такими же вальковатыми, сутулыми, как они сами, не спеша уползающими за горизонт.

Но смеялись и над Ознобишиным и, строя ему завод, смеялись и над заводом.

По ночам делали бредень из рубах и вылавливали карасей из пруда, обходили как-то и караульщика и собак и воровали огурцы из парников, а по субботам выпрашивали на чай, лукаво снимая шапки, и пили.

Глава вторая

1

Когда сказала Анна Ознобишину, что забеременела в седьмой раз, то так это было.

Было утро, хорошее строгое утро, какое бывает только в середине мая, и от деревьев у крыльца на песчаные дорожки как упали, так и не сходили тени. Твердое было все и на земле и в небе, готовилось жить долго — тысячу лет. Анна стояла на крыльце. Ознобишин внизу бросал куски белого хлеба красногону Целую. Собака не спеша ловила их яркой пастью и жевала сыто, и сытый вид был у лип и цветочных клумб, у стеклянных шаров, сверкавших на солнце, у новых деревянных сараев и вдали у синих полей.

— А ты знаешь... — сказала вдруг Анна и замолчала.

— Что знаю? — повернул к ней лицо Ознобишин.

— Нет... Потом.

— Скажи, что?

— Нет... После скажу.

Ознобишин пригляделся к ней — к этому пробору в темных волосах, к лицу прозрачному и чистому, собранному в тонкий овал, и к карим глазам, золотистым от проглоченного ими солнца. Как любил он ее, как молился ей и как боялся!

— Важное? — спросил он снова.

Анна вспыхнула, ничего не ответила и отвернулась.

И в обед, когда тени от лип сбежались ближе к стволам и в их кругах то здесь, то там жарко спали собаки, а у вьюнка, начавшего уже опутывать крыльцо, свернулись нежные атласные воронки цветов, Анна долго смотрела на мужа, молча старалась угадать в нем что-то, и когда он спросил ее:

— Ну скажи же, что? — она улыбнулась тихо и влево и вправо покачала головой.

Только вечером, когда ушло солнце и тени разлеглись сплошь, Ознобишин услышал:

— Я... у меня... ребенок.

— Анна!.. Опять?

— Да.

Анна знала, что́ окрасит лицо мужа: испуг и радость, не знала только, что радости будет больше, поэтому и выбрала вечер, когда неясно видно.

Гудели майские жуки, от них домовитой и хлопотливой была земля. О, она не засыпала — она только копила силы. Дышала кистями вязов, сережками лещины, яблонями и грушами в цвету... И с полей низами ползли к усадьбе вздохи, и первые звезды начинали, неуверенно дрожа, прокалывать кое-где небо.

Ознобишин притянулся к Анне близко, насколько мог. Бережно ощупал ее тонкие руки, милые ямочки в сгибе локтей, девически нежную шею. Все, что знал о ней,— вспомнил, все, что знал о ней,— было страдание: красивое, глубокое, радостное, больное, тихое, оплаканное бессонными ночами. Тени шестерых нерожденных видел в ней Ознобишин, и теперь к шестерым откуда-то из глубин шел седьмой... Тени шестерых отодвинулись, чтобы дать ему место. Из каких-то туманных, запутанных, как мокрые сети, дней жизни выплывал и становился все отчетливей призрак, почему-то белый, как дети в пеленках. Призрак этот круглился все больше и придвигался ближе и делался, наконец, томительно страшным, как всякий смысл. И когда Ознобишин представил это, он не спросил, а только подумал вслух:

— Опять?

И Анна не ответила, или ответила, но не ему, а каким-то своим, большим и сложным мыслям:

— Опять.

Ровно на голову выше Анны был Ознобишин, но в этот вечер себя представлял он маленьким, ее — огромной. Он охватывал ее руками, чтобы почувствовать, что вот она вся здесь, рядом с ним, что нигде ее нет больше, только здесь,— но она росла. Из аллеи сада она как-то непонятно, но ощутимо расплывалась по всей усадьбе, потом дорогами по всем полям. И свою родную,— как будто никогда не знал он ее, и только подумал, что знает, и когда захотел вдруг по-дневному ясно представить ее лицо,— не мог представить; хотел и не мог собрать его точно, черту к черте: не его она была, эта Анна.

Теперь, когда вечерние тени сгущались в ночь, это было и непонятно и понятно, как детская молитва. Ничего не говорила больше Анна, и кругом было тихо, но то, что совершалось в ней, знал Ознобишин.

От тяжелой росистой травы кругом и от цветов, ночных цветов, только теперь раскрывших свои головки, пахло так же, как от волос Анны.

Внизу под ногами и дальше и шире кругом, в тех черных дымящихся земных пластах, где живут и ветвятся и сосут влагу всеми мочками корни, теплело и струилось что-то так же заботливо и бесшумно, как в нежном теле Анны.

И где-нибудь на межах, в полях гнезда пышной ромашки и шалфей тихо и загадочно белели теперь так же, как в жидкой темноте белело странное лицо Анны.

И горячо било что-то вдруг в голову Ознобишина, как в забытый колокол: в седьмой раз! И число это, и наступавшая ночь, и звезды, задрожавшие во всех углах сада,— все было страшно.

Чуть виден был дом: блестела недавно крашенная крыша. Чуть видна была красная полоска окна столетнего: спал столетний, и горела лампада.

Маша набегалась за день и легла в этот вечер рано. В саду где-то начала летать маленькая сплюшка и плакала. Замелькали летучие мыши, и жуки гудели ровно и безостановочно, точно закипала вода в котле.

А в Ознобишине тяжелела мысль: «В седьмой раз». Как-то неприкрыто грубо стало между ним и Анной это число; почему-то показалось оно живым и самым безжалостным из всех чисел. А потом, постепенно, надо всеми числами проступило сурово то, чему нет числа, и надо всеми смыслами земными то, в чем нет смысла.

Тоска это была или радость,— не знал Ознобишин. Широкой ладонью он захватил узкую руку Анны и сжал.

— Больно так! — откачнулась от него Анна.

— Мне тоже больно,— кротко сказал Ознобишин.

Тянуло тягучей сыростью с полей. Жуки гудели гулко. И от всего дома осталась видна в темноте только узенькая, жалко-грустная полоса красного света над окном столетнего.

Рано утром на дрожках выехал из усадьбы Ознобишин и приехал только к обеду. Приехал веселый, сильный, опаленный солнцем.

— Где ты был? — спросила Анна.

— Там! — махнул рукой в поля и широко улыбнулся Ознобишин.

И радостно догадалась Анна, что там он думал о седьмом ребенке и поверил в то, что он родится живым.

II

К Фоме Иванычу пришел молодой, хрупкий малый. Назвался Игнатом. Пыльный был, усталый, бесщекий, — только глаза сияли. Просился на работу.

— А ты что же это... по какой части? — расстановисто спросил Фома Иваныч.

— Резчик я... по дереву резчик,— сказал Игнат,

— Таких нам не надо,— отозвался Фома Иваныч, запустил руку в красную бородку и прищурил глаз. — Резчиков нам не требуется...— Подумал и добавил: — Не церковь строим.

— Всякий дом — церковь господу, — весело сказал Игнат.

— Ну, ты тоже...— покосился Фома Иваныч.— А кабак если?.. Молодой кобелек — брехать не можешь.

— Кабак? Что ж! И в храме торжище сделали, а Христос пришел с бичом и изгнал... Кабак человек с собою носит, а место невинно.

— А мы вот как раз винокуренный завод строим,— ухмыльнулся Фома Иваныч.

— И вино невинно, укоризненно пьянство.

— Поговорить любишь,— крякнул Фома Иваныч,— нам таких не надо.

— Я проходящий. Дорога мне дальняя. Добился так, что ничего нет,— подошло так, понимаешь,— потому и прошу.

— Что прилип? Сказал: не надо, и махай с богом.

— Брат! А ты что же все «не надо» да «не надо»? — улыбнулся одними бровями Игнат. — «Не надо» — легко сказать, а мне теперь куда же? К зверю не пойдешь,— всё к человеку... Резчика не надо,— рабочим возьми. Что ни что, например, носить буду.

Говорил он, плотно чеканя слова, и подкачивал как-то вслед словам головою, отчего слова выходили еще круглее.

Но Фома Иваныч чмыхнул в руку:

— Но-сить!.. Сам на щучьем меху, а тоже но-сить! Тебя самого носить надо.

— Всех нас господь носит, все им живы,— это ты правильно сказал. Ни единый волос не упадет без его на то воли. О нем-бо живем и движемся и есмы.

— Говоришь ты... говоришь ты все-таки складно,—

покрутил головой Фома Иваныч.— Как отец дьякон говоришь... и где только учился?..

— Учился у простого человека, у сына плотника, а звали его Иисус Назарей,— у него и учился,— четко ответил Игнат.

Фома Иваныч посмотрел на него, осерьезил лицо, подумал и принял таскать кирпичи на стены за тридцать копеек в день.

А стены с каждым днем вкрадчиво ползли выше: кончали уже второй этаж. Лохматые леса пеленали завод, как младенца, и неясно было пока, каким он выйдет. Но весь выгон за липовой аллеей и все просторное и чистое место между усадьбой и Сухотинкой было сплошь занято им и тем, что сделали для него: известковыми ямами, сараем для плотников, кучами бревен, досок и кирпича, стружек и щебня.

На постройке хорошо было по утрам, когда только что принимались за работу. Тогда было и сытно, и вольно кругом от отдохнувшей за ночь силы, а отдохнувшая сила — всегда веселая сила. Тогда весело шутили друг над другом, весело смеялись и шаловливо пробовали петь.

Ознобишин любил выходить сюда, проснувшись с солнцем, и прямой, в высоких орошенных сапогах, в белой шляпе, с толстой корявой палкой ходил среди стукотни и веселой бестолочи работы. Кланялись ему рабочие, — он говорил им «бог на помочь», прислушивался к сочному чмокающему визгу фуганков, рубанков и шершебков, к звонким молоткам плотников и к осторожным сухим молоточкам каменщиков, вглядывался в эти красные, синие и белые рубахи, темные на спине от пота, вдыхал крепкий сосновый запах, все хотел поверить в то, что он здесь хозяин, что это он задумал сделать завод, — и вот строят ему завод, все хотел поверить, и не было где-то в самой глубине его веры в то, что хозяин здесь он. И поднимавшееся важно старое полевое солнце было свое,— завод же — чужой.

Таскал кирпичи на стены Игнат вместе с двумя сухотинскими парнями: привешивали на спину козулю из доски и дерюги и клали кирпичи, как на полку, один на другой по три в ряд. Клали ему бабью ношу — двадцать штук; парням больше. От тяжести у слабого Игната к обеду начинала болеть шея, к вечеру — спина и ноги, но

другая сила, жившая в его серых глазах, сухих скулах и складках рта, не сдавалась. Это он, один изо всех, пришедший бог знает откуда и неизвестно куда идущий, доподлинно знал, что и зачем творится под солнцем.

Когда садовник Илья с целым отрядом девок обирал гусениц в саду, Игнат говорил ему:

— Зачем ты это? Ведь бог их зачем-нибудь создал на свет, а ты истребляешь... Зачем?

— Кого это истребляю?

— Червей.

— Червей?

Илья смотрел на него долго и с огромным изумлением: никто не задавал ему такого вопроса, и никогда не думал он сам, что такой вопрос мог прийти кому-нибудь в голову.

— А как же? Отдать им на съедение все: ешьте, сударики!

— Все не съедят; съедят сколько им положено, а сколько тебе положено — это оставят. Каждый червь, он не без ума делает: в каждом черве — бог... Как что живое — значит, в нем бог.

— А во мне тоже бог?

— Бог.

— А в волке тоже бог?

— Бог.

— А если волк, например, съесть меня захотел, — может он?

— Как бог захочет, так и будет. Бог не допустит — и волк не съест. Волку что бог прикажет, то он и ест... А ты и вовсе — червей не ешь, а зря их душишь... Когда сотника италийского, Корнилия, Петр-апостол в истинную веру обращал, было ему видение: все нечистые животные, — и голос с неба: «Петр, заколи и яждь!» Вот как промышляет. Только глас его слушать надо, — он и скажет... Вот что, брат.

Илья махал на него руками, пятился и уходил, как от чумного.

Старику Лобизне, курившему свою крепчайшую трубку и часто и сочно плевавшему наземь, Игнат говорил почти в детском испуге:

— Нельзя это — плевать на землю, что ты!

— Куды же мне плевать? — спрашивал старик.

— Сырая земля, она — мать наша! На нее плюешь — на мать плюешь.

— Чудило-мученик! — ласково сплевывал Лобизна. —

Было у нас два чудака — баран да ты: баран сдох, один ты остался.

Собаки как-то странно сразу полюбили Игната. В огромные крепкозубые пасти он клал голые руки, и собаки только виляли хвостами, преданно глядели ему в глаза и ждали, когда он вынет.

— Хорошо с тобой воровать ходить, — искренне восхищался им в это время Иголкин.— Где собака на цепи,— ты ей счас руку: милая, жуй! Она и не пикнет. А товарищ твой — работу работай.

— Как это? — спрашивал Игнат.

— Так. На денежку — рак, на копеечку — два. Понял? — смеялся Иголкин.

— Без ума это ты говоришь, брат! — укорял его Игнат.— Как можно?

— Нельзя только на небо влезть, и то влезают.

— Правду найти нельзя, а не это! Вон чего нельзя-то: правду! Больно далеко спрятали, по-хозяйски,— спрятали да заперли, а ключ — в море... Клубок-то разматывать надо всем сообща, а ты его больше путаешь... — подступал Игнат.

— Мо-ло-дой! — смеялся над ним Иголкин. — Ну-ка: нос на меле, плес на руле, хвост в корабле,— что к чему?.. То-то что не знаешь, говорок... Чижик ты! — хлопал его по худой спине, и над Игнатом весело смеялись.

— Что ж, смеяться легко, — говорил Игнат. — Легче всего на свете надо всем смеяться, только ни к чему это. Ною вон за сто двадцать лет до потопа повелено было ковчег строить. Смеялись все: зачем строит, а потом как настал, только он один и спасся из всех,— а их сколько было!.. А кто смеялся — погибли позорной смертью; вон он к чему, смех, ведет!

Ознобишин заметил Игната, и Анна тоже. Анна пришла как-то на постройку одна, стала издали и смотрела. И видала, что Игнат и Иголкин ближе всех к ней стояли рядом, а когда повернулась она и пошла к дому, то слышала чутким ухом, как насмешливо о ней, тонкой, чуть понурой, сказал Иголкин:

— Кругла-а на все четыре угла!

И как остановил его Игнат шепотом:

— Брат! Что ты? Разве можно?

Анна не обернулась и пошла дальше, но потом поче-

му-то долго думала об Иголкине, боясь его, и об Игнате грустно и нежно. И потом долго росли они в ней оба и, выросши, ушли каждый в свою череду: в черную ушел Иголкин, в белую — Игнат.

Не сливаясь, слоились в Анне эти две череды: добрая и злая. В доброй — белой — роились, странно сочетаясь одна с другой, набранные отовсюду, как пчелиные соты с разных цветов, надежды.

Надежды эти были бескрылые, мягкие, робкие, надломленные, но безумно, безвыходно дорогие, и чем меньше их было, тем они были важнее и заметней. Как-то все они были на счету, как-то всех их видно было со всех сторон, и Анна часто задумчиво перебирала их, точно монахиня четки, и в этом много было для нее тихой, ото всех на свете таящейся радости. А черного была сплошная туча, и глядеть в глаза этой туче боялась Анна. Но носила в себе и ее, всю из конца в конец цельно скованную из одной спокойной власти. И только когда прибавлялось к ней, как теперь, новое звено, на Анну спускалась жуткая сосущая тоска. Объяснить, почему это, не могла Анна; она металась, чего-то ища по комнатам, по аллеям и узеньким глухим дорожкам в саду, на дворе, между цветочными клумбами, и с трудом понимала то, что ей говорили муж или Маша.

III

Обедали в кругу около постройки. День был яркий, весь насквозь ломкий и звонкий, как весенние льдинки,— или так только казалось Игнату, когда говорил он никому и всем:

— Господи, день-то какой! Если бы не человек землю гадил,— хороша бы земля-то как была, ведь ты подумай!.. И что это так люди, и зачем? Почему это им все мало?.. Один другого грабит, один от другого хоронится, на двери замки вешает, а? Где бы жить — радоваться, а ты смотри по сторонам, как бы тебя дубинкой не огрели... Господи! Помолиться если,— обязательно чтоб тут возле тебя липовый бог был: то Никола-угодник, то Варвара-мученица, а нет чтобы поглядел округ себя, шапку снял: «Хорошо у тебя, господи, так ли хорошо,— сказать нельзя!» Вот и помолился. А что у тебя рубаха худа,— об этом чего просить? Об этом в земь лбом нечего тыкать: он и сам видит, что худа.

— А попы тогда как же? Выходит, они без занятиев будут? — спросил «С дуриной».

— Попы? Это для ихнего обихода, это чтобы порядок у них был... Вон ее как, жизнь, возвели горбом; на горбу и попу место. А ты не горбись если,— вот дыханию и свобода; горбушку сними — прямо и станешь.

— Без горбушек хлеба не пекут,— подхватил Лобизна,— без горбушек нельзя... Скажи-ка так бабам,— в отделку засмеют.

Игнат ел из котла кулеш вместе со всеми; но теперь бросил есть, прилип к Лобизне серыми ясными глазами:

— Брат! Ведь лжа всё, на лже основа! Если бы на правде!.. Правда — она гласит, только гласит она вон как: «И бысть у них как бы одно тело и одна душа, и все было общее...» Это у христиан первых... Вон какое устройство было, а теперь, а теперь что?

— Ты молокан? — хитро спросил Иголкин.

— Какой молокан?

— Куда же ты идешь? К ним идешь?

— Я иду ищу, где без злобы люди живут. Найду и сяду.

— В монастырь тебе надо,— сказал кто-то.

— Зачем в монастырь! — махнул рукой Игнат. — Монастыри эти тоже на Каиновом пути стоят. Пойду я в братство. Есть, говорили мне. Дойти только.

— Небось женатый?

— Нет, я холостой... Зачем мне?

— Небось отца-мать кормить надо, а ты зря ходишь.

— Нет, отец у меня богатый,— сказал Игнат.— Отец у меня чужими руками сколько, бог с ним,— награбил!..

— А тебе не дал!

— А я и не взял ничего... Опричь посошка да сумочки, ничего не взял. Только сказал, что уйду,— и ушел. Эх, братики! Ведь оно где ни где, а есть. Это говорится только: я да ты, а нас, может, и нет совсем. Одна она воля божия всеми командует! Любовь-то божия ведь она одна? Ведь вон что сделать-то можно, если подумать головой: горы ворочать можно, если бы без злобы всё. Царство-то небесное,— это уж Христос ясно сказал,— зовется только небесное, а его на земле устроить надо. Это все равно как человеку загадка такая дана: «Вот тебе земля,— устрой на ней царство небесное». Как Адаму-Еве господь сказал: «Вот вам земля,— плодитесь и множитесь и наполняйте землю и господствуйте над нею»,— вон как сказано было. А у нас к чему свело? Кто кого на земле душит? Ты над

землей-то господствуй, а брата Авеля не убивай! Все люди — люди, все — ровни, а от кого на земле тесно? Все от человека и тесно... Почему тесно?

И хорошее, такое же яркое и ломкое и легкое, как этот день, стало лицо у Игната. Широких скул не было заметно; перестали как-то видеть, есть ли у него щеки, или нет; есть ли узелки на его тонких пальцах, или нет; обедает он, стоя на коленях у котелка, или молится.

Но Иголкин, бесшеий, рябой и красный, как спелая садовая клубника, весь хитро светящийся изнутри, прищурился и сказал, кротко хлебая кулеш:

— А вот сорока кирпичей ты не донесешь.

— Я-то? — спросил Игнат, не понявши.

— Ты-то.

И как-то так это вышло неожиданно круто, что все вдруг засмеялись.

Иголкин прочно сидел на своем месте, точно всосавшись в землю, но показалось, что он подкатился к Игнату совсем близко и вровень с его широкими глазами засветил свои — узенькие, хитрые и смешливые.

— Сорок кирпичей?

— А то... Как вообще все люди носят... А я, например, и шестьдесят носил.

Игнат посмотрел с маху на красные тяжелые кладки кирпича и на легкое чуть-чуть синее небо над ними; потом скользнул глазами по лесам, по которым столько уж раз подымался он привычно... С детства его, слабого, все дразнили: не осилишь, не подымешь, не донесешь.

— А может, и донесу? — на задор задором ответил он Иголкину.

Иголкин фыркнул:

— Подтопчешься.

— Небось-небось.

— На все ноги.

— Небось, брат.

— На бутылку водки, может, поспорить?

— Зачем мне водка? Я не пью.

— Что ж ты все о себе? Ты о людях подумай: пить-то ведь я буду.

И заговорили кругом:

— Он жадный: на водку его не разоришь.

— Святые, они завсегда так: только бы им.

Посмотрел на всех Игнат, и потускнело в нем что-то. Протянул Иголкину потную руку.

— Давай поспорим, что же.

— Только чтоб к ужину.

— К ужину.

На повисшую на худой спине Игната деревянную козулю Иголкин накладывал кирпичи не спеша, выбирая все цельные и считая вслух. Игнат молчал, все ниже сутуля спину. А когда положен был сороковой кирпич и Игнат тронулся с места, покачнувшись так тяжело, точно держали его за ноги,— Иголкин свистнул:

— Эге-ге, брат!

И всем стало ясно, и яснее всех самому Игнату, что он проспорил. Но что-то сверкнуло в нем хмельное, и, обернувшись к Иголкину, Игнат сказал:

— Думаешь, бог допустит надо мной посмеяться? Нет, брат! Не допустит!

Скрипели и гнулись под каждым медленным шагом доски лесов, поперечины цеплялись за носки и каблуки опорков. В сорок шагов длиною вытянулся каждый неровный, тряский шаг. Шею сразу точно налило чугуном, и свело спину. И от ног к глазам через все тело протиснулись темные волны, сначала редкие, а потом все чаще-чаще, и мутно стало.

На первой площадке, там, где начинался второй этаж, он остановился перевести дух и глянул вниз: прыгали и не хотели стать пятна лиц, ярких рубах и рук.

— Что, что, брат, взопрел? — кричал снизу Иголкин. И засмеялся гулко.

Игнату стало вдруг страшно, и он начал беззвучно шептать: «Господи, как же это?» Уж не пошел — пополз дальше, согнувшись. Пригнулся лицом чуть не к самым доскам лесов, а ноги ставил близко одну к другой и упирался иногда в переборки руками.

Снизу видно было, как медленно полз Игнат. Завод, закутанный в леса, был огромный, ни о чем не думающий, стоял так, как будто век уже стоял на этом месте и до скончания века будет стоять, а на четвероногом Игнате, почти затерянном среди досок и балок, тяжело ехали кирпичи. Бросили есть кулеш. С ломтями черного хлеба в руках обернулись все, как один, добродушно оскалив зубы; смеялись над ним:

— Ого-го-го! Пополз! Глянь!

И говорили об Иголкине:

— Ну, Иголкин! И что выдумает, рябой шут!

А Иголкин, отойдя от лесов так, что видны были все

их повороты, зорко следил маленькими веселыми глазками за каждым движением Игната и, искренне огорчаясь им, кричал:

— Зубами зачаливай! Слышишь, зубами! Эй!.. Вот неспособный!.. Нужен тебе поп от чертей да гроб от червей — только всего!

А когда не кричал он и не говорили в кругу рабочие, было так тихо, что вместе со скрипом досок слышно было, как дышал Игнат — часто и хрипло, как запаленная лошадь.

И вдруг упал он.

На подъеме, там, где леса делали крутой поворот, хотел он,— так показалось снизу,— скинуть с себя козулю, но оступился зыбкой ногой, неловко зацепился за широкую щель носком опорка и в незабранный досками боковой пролет, глухо ахнув, упал головою вниз. И сорок кирпичей погнались за ним, проводили его до самой земли, и здесь уже, раздавив его ребра, раскатились в стороны с довольным гулом.

Сбежались и повернули Игната лицом кверху. Он был жив, но изо рта его, тяжело дышавшего, узко сочилась кровь, икал, вздергивал левой ногой, мелко дрожал синим земляным лицом и не глядел ни на людей, ни на небо, прочно стиснув веки.

И сказал Фома Иваныч, горячо хлопнув себя по сухим бедрам:

— Оглашенный! И куда тебя, холеру, перла нечистая сила! На водку польстился!

«С дуриной» сказал, побелев и онемело уронив руки:

— Страсти, страсти господние!.. Вот грех!

И Лобизна толкнул локтем Иголкина, прибавив ядовито:

— Пропала твоя водка, Иголкин! Вот и выспорить выспорил, а не выпьешь.

В это время Анна с Ильей, срезавши с крупной чайной розы маленькую яркую почку, бережно прививала ее на колючую ветку шиповника. Шиповник не давался сделать надрез, как не дается в ковку молодая лошадь,— он колол ей тонкие пальцы, и Илья крепким ногтем сковыривал шипы, а маленькая почка в руке Анны ждала, и рука чуть дрожала от какого-то сладострастия материнства:

привьется почка, и этой же осенью, быть может, зацветет шиповник большими розово-желтыми цветами.

Но от внезапного шума с постройки вздрогнула Анна и уронила розовую почку. Шум был не веселый рабочий шум, а другой — тревожный, и от него, еще ничего не зная, начала уже привычно холодеть и сжиматься, уходить куда-то внутрь Анна: кто хочет спрятаться, становится вдруг ниже ростом.

Но когда сказали, прибежавши, что упал с лесов Игнат, нельзя было удержать Анну. Чуткая, точно за сто верст слышала каждый шорох, широко открыла глаза и пошла к заводу, подошла тем летучим шагом, когда не чувствуют уже в теле ничего, кроме сердца: сердце идет.

Дня уже не было! Солнце осталось только затем, чтобы можно было увидеть и вобрать завод и на земле под ним того, кто упал.

Ярко сверкнули, не сливаясь, красная рубаха какого-то парня, светло-синяя борода Лобизны, выгнутый над затылком слинявший и мягкий картуз Фомы Иваныча, потом еще пятна — мельче, тусклее — и леса — высокие, все до последнего бревна с необрубленной корой, все до последней доски, выбеленной известью, выпуклые, четкие и тихие.

— Где? Где? — шевелила губами Анна, но слова не вылетали. Охватил уже глубокий и победный испуг, еще неясный, еще неизвестно, почему такой глубокий и сплошной, но уже качал он ее в себе всю с головы до ног, как дитя в люльке.

— Где же? Где? — шевелила губами и шла ближе, ближе...

Игнат не открывал глаз, и в Анну, когда она наклонилась над ним, так и вошло вплотную слепое, бесщекое, скуластое лицо с живою, притаившейся полоской крови у губ: так ящерица в поле вдруг притаится у камня, дышит и хитро смотрит, а камень слеп. На кустиках белесой лебеды тяжело горели разбрызганные капли. Валялись неприбранные кирпичи, свалившие Игната.

Спокойно было лицо его с гладким девичьим лбом, а руки дрожали, и левая нога, обутая в опорок, вздергивалась вдруг, сгибая колено, и потом тихо, недоумевающе водила носком.

— Отходит,— сказал «С дуриной».

— Обмер... а не отходит! — злобно, но тихо поправил Фома Иваныч; вытащил грязный красный платок и концом его вытер губы Игната.

Солнце стояло прямо над головой,— от этого, что ли, пожелтело в глазах Анны: желтые стены, желтая земля, желтый Игнат, желтые руки у Фомы Иваныча, желтые тяжелые сапоги кругом, то в желтой извести, то в опилках. Потом двинулось все щербатыми кругами: хочется удержать одно — нельзя, ушло уже, движется другое, и завод — не завод уже, и Игнат — не Игнат, и дня нет.

Это слышала когда-то Анна и раньше; земля расступалась, точно открывалась крышка органа, поднялась откуда-то туча звуков, повисла над Анной,— и день пропал. Звуки были — лица, слепые и зрячие, звуки были — ладони, белые и черные, тонкие, не знавшие труда, и широкие, в мозолях; и ноги, по всем дорогам и без дорог без отдыха мерявшие землю,— тоже были звуки. И все подымалось, падало, струилось, строилось, рушилось, и чей-то детский голосок в душе (появлялся вдруг там такой тонкий-тонкий) перекрикивал все звуки: «Мама! Это зачем?»

Облило душу болью. Все было — боль и брызгало в Анну теми же горячими каплями, которые рдели сейчас на траве. Тонкий детский голосок рос в ней от этих капель, как полевой цветок от ночной росы. В звуках органа земного была торопливая, упругая, гибкая сила творящих. Все они двигались куда-то кругами, но останавливал их детский голосок: кричал,— и размягчалась упругость. И свет какой-то полз не от солнца, а от него; какой-то теплый, ни на что кругом не похожий свет вычертил на земле тело Игната, и опять стал детским испуганным голоском, и спросил ее: «Мама! Это зачем?..»

От дома подошел, спеша, Ознобишин, заглянул в глаза Анне, как девочку, бережно взял ее на руки, все еще стоявшую на коленях, и понес в дом.

IV

Увезли Игната в больницу в город, и настал вечер, а Анна сидела в спальне на своей кровати, белая, безжизненно бросив вдоль колен руки. Окна были отворены, густо пахло сиренью и левкоями, и слышно было, как на заводе, точно ничего не случилось там, стучали звонко топоры, кончая день.

— Это просто несчастный случай,— говорил Ознобишин Анне.— Видишь ли, поспорили, и Игнат не осилил... Сорок кирпичей... Все носят, даже больше носят. Виноват еще Фома Иваныч: нужно было заделать пролеты с

боков. Недосмотрел, говорит... Может быть, он поправится.

— Кровь! — вздрогнув, сказала Анна.

— Может быть, поправится: он молодой, еще растет...

— Кровь! — повторила Анна и добавила вдруг: — Мы не будем кончать завода.

— Нельзя, его должны будут кончить,— пожал плечами Ознобишин.

— Я не хочу!

— Нельзя.

— Хорошо, пусть один только остов — одни стены... и крышу... И пусть не ставят машин.

— Поставят,— сказал Ознобишин.

— Нет-нет! — почти крикнула Анна.— Я не хочу!

— Значит, ты знаешь, зачем мы строим завод? — спросил Ознобишин.

— Знаю,— тихо ответила Анна.

И замолчал Ознобишин. Он тоже знал, что кровь Игната была не на лебеде около завода, а здесь, в душе Анны, что это в ней светилось какое-то случайно вспыхнувшее белое пятно, и вот теперь его заволокло кровью. От этого в нем самом болезненно сжалось сердце, почудилась ржавая соль крови во рту, и что-то привычно сухое, размягчаясь, начало колыхаться.

И почему-то вспомнил он о столетнем: вот лежит сейчас в своей комнате столетний, который все забыл. Но, может быть, живет он какою-то своею страшной, все видящей и знающей жизнью, и, может быть, если войти к нему сейчас в комнату, он повернет голову, взглянет и ободряюще улыбнется.

И с таким же странным, немного робким чувством, с каким он шел в детстве по кладбищу, Ознобишин незаметно оставил Анну и по пустым длинным комнатам пошел к нему, осторожно ступая на носки и бережно неся высокое тело. Мимо окон, мимо густого запаха сирени, мимо плотневших сумерек дошел до его двери, такой же широкой и задумчивой, как все двери в доме, и стал: зачем было идти к столетнему? Но некуда было больше идти, ни в этом доме, ни около завода, ни в усадьбе.

Ознобишин тихо отворил двери. Пробиваясь сквозь сумерки, уже горела золотою точкой лампадка. От этого в комнате было все слоисто-синее, как дым от кадила. И проступил старик: сначала череп — голый и огромный, потом изгиб поднятых колен, потом свисшая правая рука и только после всего маленькое вдавленное лицо со ском-

канными временем чертами. Долго силился разглядеть его глаза Ознобишин. Встретился наконец с ними. Глядели на него оскорбительно спокойно, и как-то жутко ему стало вдруг: такие они были пустые, странные, мертвые в живом. Поглядели на него с минуту совершенно неподвижно, и потом так же пусто стали глядеть мимо него, в двери. Потом повернулась и голова и на высокой подушке стала вровень с коленями. Синели сумерки, и золотела, потрескивая, лампадка. Ознобишин передернул ноздрями от обступившего его запаха тела столетнего и вышел.

Но когда пришел он к Анне, тогда сумерки стали еще гуще, и левкои слышнее, и жуткая тишина комнат отчетливей,— и потому сказал он ей весело:

— Заходил сейчас туда,— он качнул головою к комнате столетнего,— странно: посмотрел на меня и улыбнулся.

— Как? — вся оживилась Анна.

— Так как-то... ласково улыбнулся... странно! — И, сам улыбаясь, Ознобишин пожал плечами.

— Пойдем к нему! — вдруг заспешив, поднялась Анна, провела рукой по волосам, быстро поправила платок на шее.— Пойдем сейчас!.. Или... Я одна...— Пошла было, но оглянулась на него и добавила неуверенно: — Нет, вместе пойдем.

И опять стал в дверях столетнего Ознобишин и на этот раз еще настойчивей, ощущая подле себя ищущую душу Анны, ждал: вот улыбнется столетний.

Но так же золотела лампадка и выплывал из синевы гладкий череп, а столетний так же смотрел на них обоих пустыми глазами, только Анне почудилось что-то в его лице, и она шепнула Ознобишину радостно:

— Я видела!.. Он и мне улыбнулся!.. А ты видел?

И Ознобишин ответил облегченно:

— Как же не видеть? — видел.

А голова столетнего уже повернулась, как и прежде, и тупо уперлась в потолок вровень с коленями.

Глава третья

I

Струилась земля на горизонте, широко отовсюду вливаясь в небо. Это были их брачные дни, дни июля, и только затем и поднималось солнце, чтобы могли они целиком

во всю ширь отдаваться друг другу при его свете. О, нужно было зорко следить солнцу, чтобы не было земли неневестной ни на один муравьиный шаг!

От яркой сурепицы, от донника, шалфея и кашки медово-сочен был воздух, как-то непроходимо густ и сочен, и млеющие дали, видные и невидные ясно, были сотканы из одних только запахов, ставших красками, и красок, которые пели.

Душно цвели хлеба. Нахлынули к межам и дорогам и, нагнувши головы с разбега, ребячливо глядели, серебристо смеялись и толкали друг друга в жаркой тесноте. В каждом колосе справлялся праздник любви открытой и ясной, и там, где-то под ногами, какие-то темные недра тоже дрожали от нерассказанного счастья воспоминаний и надежд. Это они и теснились сквозь трубочки трав взглянуть на солнце, на праздник жизни кругом, как древние старухи, выползающие к причастию в церковь из темных изб.

Рожь выгнало уже камыш камышом, сизые овсы кудряво колосились, лен убрался в голубенькие платочки, и на гречиху начала летать пчела.

Вечерами трава вдоль дороги между хлебами становилась горячей, красно-оранжевой, а белые гуси в ней синими, точно окунуло их в жидкую синьку. Из-за скомканной около горизонта кучи лиловых облаков, уже утопивших солнце, лучи прорывались в одиночку то здесь, то там и звонко раскланивались с полями. Какие нежные становились поля, все махровые, мягкие, изжелта-розово-голубые!

Небольшой табун мухортых сухотинских лошадок пасся на парах по ночам, и в теплой темноте грустно горели огоньки костров, и о чем-то давно известном земле, как о чем-то сокрыто-новом, болтали до зари ребята.

Отливались в Анне дни, как монеты с самой тонкой чеканкой. Каждый день был битком набит солнцем, цветами, заботами об обеде, чае, здоровом сне. Часто пешком ходили с Машей в поля, приносили оттуда корзины разных цветущих теперь трав, и от них в доме во всех комнатах нежно пахло полями.

От солнца, как всегда летом, загорела Анна, и вошла в нее упругость, похожая на силу. Походка стала легкой, волнистой, веселой. Ознобишин по вечерам в саду, когда всходила поздняя красная луна и засыпали деревья, долго ходил с нею молча по аллеям. В это время просыпалась

в нем вся та страдающая нежность, с которой он любил Анну. В это время в тишине и жидкой темноте почти ощутительным казалось, как выходит что-то изо всех пор земли, слегка шурша, подымает траву и опавшие листья, развешивается по низким сучьям кленов и вязов, и кругом становилось тревожно и тесно от каких-то теней, всюду искавших воплощения. Тогда на Ознобишина спускалась откуда-то открытая ясность: все в нем понимало все кругом, и, тихо обнимая Анну, он слушал шорохи и мягкие ночные шумы. В эти немногие мгновения он ощущал, не сознавая, что его нет, нигде нет, и что это счастье. Но о чем-нибудь простом вдруг спрашивала Анна: о заводе, о сенокосе, о майских жуках — и вставала ночь, красная луна сквозь деревья, томность цветов на клумбах и обида — давняя страшная обида, медленно гложущая жизнь.

II

Пришел как-то за хлебом Дёма с бахчей — старичок маленький, колченогий, с дубленой кожей на непролазно заросшем лице. Попросил у Анны налить в синюю чашечку святой водицы.

— Зачем тебе? — спросила Анна.

— Крыса, видишь ли, крыса, матушка барыня, в колодезь попала, вот для нее,— ответил Дёма, мигая глазами.— Ранее того был случай, тоже крыса в колодезь упала, ну, у меня, признаться, вода тогда была,— от глаз я, когда глаза болят,— была в пузыречке... Влил. А теперь вот опять, другая еще... И долго уж она там... мокла-то, говорю, долго... Гребостно! — Смотрел Дёма на Анну чуть красными, слабыми, стариковскими глазами; посмотрит и опустит их в землю, и долго думает, что еще нужно сказать, чтобы все как следует было понятно: надумает что — и опять посмотрит.

— Вытащил я ее ведром,— ну, нехороша уж стала: склизкая, и кость лезет... А воды-то свяченой, ее уж и нет... для очищения, стало быть.

Одной рукой охватил он каравай хлеба, завернутый в старый вытертый зипун, другой держал синенькую чашку, обвязанную тряпицей. На руках его, шершавых от работы, на всех пальцах и на ладонях были четкие черные трещины, как на земле в засуху, и голос у него был непокорный, землистый:

— Чтобы, стало быть, влить в колодезь теперь... для очищения.

— Бедный, бедный,— тихо сказала Анна. Взяла его чашку, сняла желтую корявую тряпицу, налила святой воды из бутылки, стоявшей в кухне у образов, налила столько, чтобы не расплескать на ходу, и бережно завязала снова тряпицей. А когда подала ее Дёме, то не выдержала его глаз, красных, благодарных и радостных, тонкой светящейся рукой провела по его руке и опять сказала:

— Бедный, бедный!

И долго смотрела с крыльца, как шел он, бодрящийся и колченогий, точно старый приласканный пес, унося к себе в шалаш святую воду.

В это время звонили к вечерне: в Сухотинке — церковный сторож Михей, и в Ольгиной пу́стыни — десятилетняя сиротка Таня. И отсюда туда шел колокол задорный и как будто немного сердитый и звонкий, а оттуда сюда приходил другой — тоненький, истаявший, как восковая свечка, но еще слышный чуть-чуть, потому что оттуда дул ветер.

— Динь! Ди-инь! Ди-инь! — тонко, как комарик, пела маленькая Таня, с черными, как вишенки, глазами.

— Бом! Бо-ом! Бо-ом! — густо отзывался Михей, кряжистый, с могучей лысиной во все темя.

И, глядя вслед уходившему Дёме, Анна вспомнила, что приходил он как-то раньше за хлебом, с двумя куцыми собачонками и с серенькой кошечкой, которую нес в руках, чтобы не порвали гончие. Вспомнила, что спросила его тогда, откуда у него кошка, и он ответил:

— Живет у меня в шалаше... прижилась... Ласковая уж очень: куда я, туда и она. По бахче в обход иду, так все впятером и ходим: петух еще у меня... И петух тоже с нами. Ну, озорной только! Табак возле шалаша посадил,— надо ему: все чисто своим носом взял и выклевал, пра!..— Говорил это, а глаза были такие же чуть красные и добрые.

Пропадал Дёма за поворотом из усадьбы к бахчам, спускалось солнце ближе к земле, и золотел воздух, а колокола все звонили:

— Бом! Бо-ом! Бо-ом! — отсюда.

— Динь! Ди-инь! Ди-инь! — оттуда.

Так перекликались Михей и Таня, старый и малый, сухотинские поля с ольгинскими полями.

На поденной в саду работала молодая баба Устя с годовалым ребенком. Ребенка укачала,— спал под деревом,— сама полола. Подошла Анна, загляделась на него, сказала ласково: «Спит мальчонка!» А на другой день мальчонка заболел, и к вечеру пришла с ним Устя, а с нею две старухи: мать ее, Секлетея, и другая — Паня Шалая.

Все трое стали у крыльца в ряд; праздник был,— стояли в белых поневах и говорили просто:

— Сглазила, барыня... Беда с ним! Кричит — мочи нет. Сними глаз, сделай милость.

У Усти лицо было круглое, жаркое от загара и глаза невнятные, серые: не то робкие — вот отойдут дальше, прячась, не то доверчивые — вот подойдут ближе, краснея. Ребенка держала неотрывно-крепко, так, как будто и не было его: был просто нарост спереди на ее теле, одетом сплошь в белую поневу.

Секлетея, высокая баба с длинной желтой шеей, как сказала, что нужно было, так и стояла, ожидая молча, а Паня Шалая, вся из бойких морщинок на темном лице, объясняла, кланяясь низко:

— Пожелай, барыня,—пожелать только надо: ни зла, ни напасти младенцу божию Еракомону...

— Нет такого имени,— сказала Анна.

— Не отрекайся, барыня, грех будет... Есть ишь такое имя,— июня двенадцатого память. Лошадь их попову одоньку теребила,— вот потому и дано: «Не тереби, дескать, мою одоньку!..» Арсентия за этот день память, Онофрия память, Петрова память,— не дал их, родимая, а это дал... в наказание... И как звать его, толком не знают,— вот!

— Рачком зовем,— вставила Устя.

Все сделала Анна, что просили: обмыла икону, обрызгала тихо личико, закатившееся от звонкого плача, слушала, как бормотала над ним Паня Шалая, крестя его часто и плюя наземь:

— Крестом Христа призываю, крестом врага отгоняю... спасова рука, богородицын замок, ангели, архангели, скрепи сердце мое, храни душу мою... Крест на мене, крест на спине, весь я в крестах, как овца в арепьях. Враг, сатана, откатись от меня!..

Шептала Анна: «Бедные, бедные!» Знала их, видела их просто, как свою душу, как поля вдали, со всеми дорогами и межами: сплелись-расплелись, сошлись-разо-

шлись межа с межой, дорога с дорогой, и кто скажет, куда они ведут, кого и зачем? Легли по земле вот теперь, когда вечер, приготовились отдыхать, натрудившись за день, дышат вокруг себя на версты и версты темным, тяжелым, безрадостным и густым, глядят кротко и, может быть, молятся всем простором: «Враг, сатана, откатись!»

Дала полотна на рубашку, золотой крестик Еракомону, и пошли, кланяясь и крестясь. А в это время пели на липе два репела, напыжив красные грудки, вперебой говоря что-то свое росистое, пахнущее травою. Никогда не пели так близко от крыльца, и никогда Анна не слушала птичьих песен так чутко, как в этот вечер.

И еще в этот вечер облака на западе переливчато горели тремя цветами: пурпурным, оранжевым и палевым, а потом так нежно и тихо лиловели, синели, серели, все уходя от земли; а земля жадно настигала их где-то внизу, перебрасывая к ним легкие мосты из сумерек, земля не хотела расстаться с ними и на ночь: это были их брачные дни.

По большаку с полей шла Анна с Машей. Тонкая, гибкая Анна была как девочка рядом с крепкой Машей. В маково-красном была Маша, в белом Анна, и поступь у Анны была волнистая, легкая, а Маша делала шаги четкие, ровные и звонкие. Несли цветы: чабер, бледные колокольчики, зверобой, розовый шпажник. Садилось солнце, и хлеба слышнее цвели к ночи.

Сидя, двигался тихо им навстречу, низко расстилаясь над землей, калека-безногий. Упирался в кочковатые колеи руками, подымал на них тело с култышками, прочно подбитыми лубком,— опускал и опять захватывал дорогу руками. Так незаметно в дорожной пыли катился тихо.

— Господи!.. Ты откуда?— спросила Анна.

— Я-то?.. Дальний.

— А... идешь куда?

— По деревням больше.

— Ты один?

— Как один? У меня двое братьев есть, тоже, как я, калеки — от рождения калеки, не думай, чтоб так,— отец-мать есть... те справные.

— От рождения калеки?— протяжно спросила Маша.— Как от рождения?

— Почему такое это — никто не знает: так рожались.

Голос у калеки был шершавый, пыльный, снизу вверх катился, цепляясь:

— Я — середний. Нас-то с братом уж знали, а как младший, Павел, рожался, народу сколько сошлось посмотреть, какой этот будет,— страсть!.. Глядь,— этот тоже урод.

— Урод?! — испугалась вдруг чего-то Анна.

— Урод,— весело повторил он.— Как есть такой же самый, и ноги так же... Так мы и ходим все, Христовым именем... Кто где,— так все и ходим.

— Как же ты не боишься?— спросила Маша.

— Я-то?— Калека ухмыльнулся хитро.— А бог?

— Ну-у, бог!— махнула рукою Маша.

И сразу потемнело изжеванное мелкое лицо калеки, сморщилось, стало свирепым.

— Ты!— крикнул он хрипло.— Ты смотри! Ты об человеке так можешь, а бога не смей! За бога всякому глаза выдеру!

— Нет-нет!— вскрикнула Анна.— Нет!..

Звенело в ушах ее жестокое слово «урод», и это оно, такое тяжелое и нелепое, опустило ее наземь, в дорожную пыль, рядом с калекой, это оно кинуло ее руки ему на плечи, оно приблизило ее лицо к его лицу и заставило сказать спеша:

— Нет! Он видит... слышит! Он все видит! Как же можно, чтобы он обидел,— он?..— И смотрела в его глаза своими испуганными, большими, чистыми глазами, и от этих глаз менялось лицо калеки: ширилось, мягчело, потухало.

— Про братьев — это я зря,— сказал он вдруг степенно.— Братьев нету... Отца с матерью тоже нету... Это я тоже так... Говорю так только, а их нету: померли. А калека я не сроду вовсе, а тоже не так давно, трех лет нет; на порубке бревном отдавило ноги,— отрезали... А это не сроду вовсе...— И на Машу глядел теперь виновато, застенчиво и кротко.

Дала ему денег Анна и, вся еще полная испепелившим испугом, смотрела, как уползал он в вечер большака и сизых хлебов, подымал легкую пыль. Шептала: «Бедный, бедный!»

Вот остановился он, поглядел назад, встретился глазами с Анной, снял картуз, надел его снова,— пополз дальше. И облачко пыли за ним стлалось.

А в это время сизые, как от мороза, хлеба кланялись любовно Анне.

С землей и небом и со всем темным человеческим страданием в них хотела слиться Анна. Шла к ним простая и звучная. Пела боль и кругом и в ней, и так неслыханно тяжело было ощущать, как колыхались и земля и небо от этой боли: пенились на земле краски цветущего, а внизу под ними зияли чернота и боль; цвело небо голубым, палевым и лиловым, а вверху над ним дрожали холод и боль. И потому боялась думать об этом Анна: думала о цветах, о солнце, о том, что радость жить, что счастье жить, пить воздух, дышать цветами, следить, как утром от земли подымается небо, как вечером оно ложится на землю... радость носить свое тело, не зная о том, что его носишь, и величайшая радость носить в себе какую-то новую, еще небывалую на земле жизнь (о, жизнь же, боже!), которая придет, настанет и укоренится в земле, как молодой сочный росток, и свободно и легко подымет голову к небу.

Когда думала об этом, то утихала боль; думала порывами, точно плыла вразмашку, и во всем теле ее не было ни одной тонкой жилки, ни одной капли крови, которая не думала бы об этом назойливо, испуганно и страстно.

И сны старалась видеть Анна легкие и голубые. Когда видела темные, просыпалась и потом как-то перекладывала себя снова, чтобы утонуть в голубом. Это можно было. Можно было нажать в себе какую-то бережно закрытую дверь, чтобы открылось голубое. И, даже проснувшись уже, можно было долго еще лежать, веря, что это не было сном и что это только отблеск того, что впереди, что идет и будет.

III

А на заводе выводили стропила над двухэтажными крыльями, и желтое горячее дерево рядами прорвало небо, отняло от него угловатые куски лазури и было радо. На заводе изо дня в день упорно прибывало что-то точное, заранее решенное, измеренное и взвешенное, как необходимость.

Верхом сидя на толстой крокве, Лобизна, пригнув-

шись, выверял отвесом балки и время от времени говорил евангельски спокойно:

— Ладно, живет!

Фома Иваныч то здесь, то там ярко краснел бородкой, истово махал руками и кричал, и от этого как-то закруглялось все, точно сшивалось одною ниткой.

«С дуриной» выгонял третий этаж, и Иголкин шутками сверлил работу, как крот землю.

Об Игнате, медленно умиравшем в больнице, забыли. Ждали архитектора, который должен был осмотреть постройку, с чем-то согласиться и чему-то дать новый толчок.

Белые руки были у архитектора, галстук в виде цветка и стыдливая небольшая лысинка на темени. Он был моложе Ознобишина годами, старше лицом, ниже его, суетливей и веселее, и когда говорил с ним, придумывал для него шутливые имена и снисходительно улыбался, а от улыбки по лицу его около носа и глаз брызгали серые мелкие морщинки.

Он осмотрел постройку, как осматривал ее и раньше,— бегло обойдя ее внутри и вдоль лесов, но привычными глазами заметил что-то и, играя тростью, долго говорил Фоме Иванычу, часто вставляя в речь:

— Безобразие, почтеннейший! Разве так можно? За это бьют!

И Фома Иваныч время от времени объяснял:

— Это уж что говорить! Хоть бейте, хоть нет,— за такие цены нельзя... И рабочего тоже: как оплатируешь, так и получаешь... Оплата — голова: она всем телом главирует, а то как же?

Или сдавался:

— Это мы обменим... Об этом не беспокойтесь... Это в нашей воле.

Ознобишину в саду за завтраком говорил архитектор:

— Редкостный завод выйдет, дядюшка! Редкостный, правду говорю!..

— Да-да, конечно...— лениво отзывался Ознобишин,— завод большой.

— Не в том дело, что он большой,— удобный, детка моя, вот что!.. Заводы всякие бывают: есть удобные, есть неудобные, есть просто плохие, а этот — редкость.

И потом он долго говорил, почему этот завод, который упрямо рос на выгоне за липовой аллеей,— редкостный завод. Он говорил об этом, любя и зная, и в глазах его, снисходительно старых, зажглось много горячих светящих-

ся искр. И Ознобишин, живо следя за его речью, видел что человеческая мысль долго работала над этим сооружением-заводом, долго искала совершенного, делая в поисках хитрые обдуманные извороты, и что этот завод, его завод — лучшее, что она нашла.

Он видел, что архитектор знает это, но сам он чувствовал что-то еще, глубокое, как омут, в чем тонули архитектор с его стыдливой лысинкой и морщинками около глаз и завод со всеми лесами. И просто и серьезно он сказал архитектору:

— Нет. Это — не то.

— Почему же не то? Что же то? — обиделся архитектор.

— То?..

Ознобишин привычно взглянул на то место стола, за которым постоянно сидела Анна. Теперь ее не было: она плохо спала ночью, еще не встала, может быть, не встанет и к вечеру и завтра... И добавил Ознобишин:

— Что такое «то», я не знаю.

— Тогда зачем мы строим завод?— спросил архитектор.

Так много удивления и обидной жалости к нему вылилось откуда-то на городское лицо архитектора, что Ознобишин сказал кротко:

— Я не знаю, зачем завод,— это правда... И когда начал строить,— тоже не знал. У моего прадеда стоял в подвале сундук, обитый железом, а в нем — деньги. Остатки сундука достались мне,— из них вот растет завод, просто, как из зерна дерево. В подвале зерно прозябло, а там растет... Там растет,— махнул рукою он в сторону постройки,— на выгоне, а не здесь.

И опять посмотрел на то место, где должна была сидеть, но не сидела Анна.

Но архитектор стал веселее, заволокся чем-то подмигивающим и хитрым, и, слегка хлопая Ознобишина по колену, он говорил смеясь:

— Ох, этот мне нынешний народ! Огромное дело затевает, а сам как перепел глаза отводит: не знаю, зачем!.. Юноша, выпьем?

Сидела Маша и смотрела на него по-деревенски пристально, не улыбаясь, докрасна раскалив на крепком солнце круглые детские щеки,— и ее заметил архитектор. Он прищурился ласково и маслено и шутя потянулся к ней губами:

— Милочка! Щечки какие!

Маша обиженно вспыхнула до самых глаз, карих, больших и спокойных, шевельнула бровями, вскочила, сказала с растерянной расстановкой:

— Я вовсе не Милочка!.. Я — Маша!

И ушла, про себя качнув головою.

Глава четвертая

I

Солнца стало ненужно много. День за днем оно все прибывало, точно вода в половодье. Ежедневно опрокидывались на поля колючие лучи, разбегались по бороздам, цепко впивались в колосья, жадно пили воды земли и медленно скрывались вечерами, как воры, тяжелые от добычи.

Ветром приносило и стелило по полям желтый дым каких-то, далеких или близких, пожаров. Этот дым делал все тоскливым, вчерашним, тысячу раз прожитым. На хлебах вспыхнули ржавые полосы и пятна, как проказа.

И против солнца, исподволь ставшего врагом земли, гибнущие поля подняли самое святое, что было на них, — крестную силу: старенького о. Леонида, старые хоругви, старый-старый колокольный звон.

С сухотинскими вместе братски вышли в поля сухокарайцы и лешеполянцы, мужики, бабы и ребята, вышли скопом, как на мирскую работу, от которой отлынивать грех.

Чуть позади золотого о. Леонида шли Ознобишин и Анна. Анна несла иконку, черную и легкую, и вместе с нею чувство бездумной святости — вздохи полей, обожженных солнцем.

Ознобишин искал глазами и находил вверху тихо плывущих куда-то ястребов. Два или три, сами чуть видные, зорко пасли поля. Видели вот теперь крестный ход и, может быть, где-нибудь в Дехтянке другой и третий. Слушали знойные звоны.

— «Дождь даждь земли жаждущей, спасе», — скрипуче пел о. Леонид, и этого уже не слыхали ястреба.

Крестились мужики, отбрасывая с кирпичных лбов липнущие косицы. Ревниво следили бабы, чтобы окропил поп и их полосы, не пропуская. Васильковое кропило су-

етливо брызгало на пыльные съеженные живые васильки. Лица хоругвей впереди качались при каждом шаге и сверкали, и сзади Ознобишина старик кузнец Пров Солодянкин говорил солдату Чалову с шипучей злобой:

— Ты что это распятие на плечо положил? А? Что это тебе, ружье? Обращаться с распятием не можешь, эх, дуб!

Ознобишин знал многих из тех, кто шел с ним рядом. О, слишком долго шли они с ним вместе и рядом, чтобы их не знать!

Почти под ногами у него путались белоголовые ребятишки и, забегая вперед, робко заглядывали снизу в глаза ему и Анне и, как зачарованные, долго не могли отвести васильковых глаз.

Серапион в легкой коляске в одну лошадь шагом ехал сзади толпы, франтовато блестя чищеной сбруей и синим плисом новой безрукавки. Иногда, вспомнив о нем, Ознобишин заботливо поддерживал за руку Анну и боязливо спрашивал:

— Ты не устала? Может быть, домой поедем?

— Нет, хорошо здесь,— отвечала Анна.

И, всматриваясь в ее лицо с такими милыми и среди дня вечерними чертами, Ознобишин видел, что ей действительно хорошо, как-то непонятно хорошо и покойно, и начинал снова выискивать ястребов вверху.

А в Анне сама собой создавалась детски-бессвязная молитва. Поля, должно быть, тоже молились так сами, когда тосковали от зноя. Молитва была неясная: о теплых, и крупных каплях дождя, о сочной зеленой силе, о силе земной, о мягком, плывучем, творящем, вечно творящем без отдыха и заботы, о сыром и сочном, о звонком голосе и круглых щеках. Молитва была бессвязная, как вздохи полей: о том, чтобы зори были росисты насквозь от земли до неба, чтобы густо били перепела по ночам и жаворонки пели, чтобы розовые, туго налитые ребячьи ноги не кололо сухой травой, чтобы текло все кругом, не уставая, сытным молоком и медом.

Черненькую маленькую иконку несла Анна, и ноги ее вязли в дорожной пыли, но вся она была там, где ястреба, и выше ястребов — там, где поля, и ниже полей.

Из канав вдоль дороги пахло прелым пыльным бурьяном, пахло удушливо и едко: это схоронилась там отцеженная густая тоска полей.

Дали мутно желтели, и солнце было все то же раскаленное солнце, обезумевшее от собственного зноя.

Долго ходили люди.

Вернулись только вечером, окропившие все поля, омолившие каждый колос, усталые, пыльные, потные, но с мягким округлым сознанием, что сделали для полей все, что могли, и что от засухи к дождям пробита дверь: где-то идут и вот-вот, может быть, этой же ночью придут вызванные заклинанием небесные коровы — тучи.

Дня через четыре (дождя не было) к вечеру, сговорясь, тайно от мужиков, бабы с полными ведрами на коромыслах потянулись к задворкам, где около кладбища в прошлом году схоронили убитого мужиками конокрада, цыгана Митьку.

Обливали могилу водой ведро за ведром (сырая стала могила) и приговаривали, сначала весело, потом, с сумерками, все боязливей:

— Не утаивай, Митя, дожжу, не серчай: хлеб посох...

А старуха Паня Шалая ударилась о могилу, испачкалась грязью, причитая, стала выть, как ведьма, и долго выла.

Дождя не было.

Только на восьмой день пришли тучи, но не те, которых звали. Ждали черных и теплых, как земля, густых и курчавых, как овчина, а пришли синевато-белые, холодные, насмешливые, презрительно косившиеся на землю. Облегли небо с одного до другого края, перемигнулись молнией и захохотали.

Среди дня это было, ровно в полдень, и, окруженные ими со всех сторон, потемневшие Сухотинка и усадьба ясно чувствовали, что это не гром, а хохот. Оглянет все, что внизу, змеисто улыбнется и захохочет. Жутко было. Витька прятался в подол матери и спрашивал оттуда шепотом:

— Мама, а мама! А если молонья мне в лобик вдарит, шишка вскочит?

Торопливо загоняли птицу и мелкий скот, ахали, качали головами, кружились в суете и в закружившейся от ветра пыли,— а небо раскатисто хохотало.

Показалось, что куда-то тяжело и трудно везли там плотно набитые мешки граду, но от тяжести они прорвались и лопнули по всем швам как раз над сухотинскими полями.

Полчаса тянулся градобой и подмигивало небо, и только, когда в лоск легли хлеба, полил мягкий и ласковый обидно ненужный дождь.

II

Приехала казначея из Ольгиной пу́стыни, мать Феодора, старушка белая, крепкая и круглая. Привезла своего рукоделья тонкие детские свивальники, обшитые кружевами, и большую просфору, вынутую о здравии Анны.

Шесть раз уже раньше, когда старый глаз ее замечал перемену в Анне, она привозила что-нибудь детское, так же таинственно весело, как привезла теперь, и все это было освящено, омолено и пахло кадильным ладаном.

Правивший лошадью сизый старичок, который жил при пу́стыни и которого за это дразнили «Божьим», кормил на конюшне лошадь овсом, а Феодора сидела в гостиной, мелкими рюмочками пила вишневую наливку, вся мягкая среди мягкой мебели, и говорила мягко:

— Засту́пница, родная моя, она денно и нощно предстоит, денно и нощно... Это мы все в суете, в мелкоте, в рассудке, а она, матушка, она — молельница! Молит за всех нас грешных, прямо у самого престола стоит, за всех нас: за слабых, за пьяных, за всех молит, молельница.

И сама уже немного пьяная, с розовыми пятнами на плещущих щеках, точно распустившая в себе яблоневый сад, цвела словами:

— Ты думаешь, скорбь она твою не видит? Видит, матушка, все видит!.. Да кабы скорби нашей не было, и радость бы откуда взялась? А большая скорбь — и радость большая будет,— будет, это знай, родная моя! Только на всё свои сроки положены. Там уже она приготовлена, радость, а только срока ждет, вот ее и нет... Придет в свой черед, терпеть надо.

— Я жду. И терплю ведь я,— сказала Анна.

В открытые окна день входил густой и зеленый, настоянный на зелени сада. Иволгу слышно было, маленького дятла, шмелей, еще какие-то дневные, заботой рожденные звуки. Но здесь, в низкой, уставленной креслами гостиной, день ежился и отходил к углам. Чехлы у кресел были серые, и то, что было в комнате,— не день, не вечер и не утро,— казалось таким же серым, только где-то вверху, в синеве и свете, перед престолом предстояла мать и молилась мать на коленях с опущенной скорбной головой и сложенными на груди руками.

У Феодоры были светлые глаза в сетчатых темных ме-

шочках век. Смотрела на Анну ласково и говорила то, что говорила уже когда-то раньше:

— У меня ведь в миру был ребенок... ребеночек, был, как же... Гришей звали... Давно, вот давно уж, почитай, лет сорок. Грехи тяжкие!.. Смеялись тогда подруги,— я незамужняя была, вот и смеялись: «На двадцать первом году Пронька сделала беду: четвертого числа без мужа сына принесла...» Хи-хи... Четвертого мая он как раз родился... Меня-то в миру Февроньей звали, а мальчика, сынка-то,— Гришей.

И в то самое время, когда говорила о своем ребенке мать Феодора, вся пепельно теплясь от мягкой грусти воспоминаний, в Анне в первый раз ощутилось живое. Чувство это было знакомое уже, но такое жданное, такое хрупко-бережно-дорогое, что Анна приподнялась вдруг, широко посмотрела — и долго смотрела — в глаза Феодоре, не видя их, видя серое, потом медленно села глубже в кресло, сжала себя руками и слушала.

Робко, как цыпленок в скорлупу яйца, как молоточек часов в бездну времени, стучался в первый раз в жизнь тот новый, кто незаметно вот уже четвертый месяц рос в ней неслышно. Как в окошко к ней постучался тонкими пальчиками: тук-тук-тук... подождал и опять постучался: тук-тук-тук-тук — чаще, нетерпеливей, слышнее.

Она ждала и знала, но радость этой внезапной близости к нему тихо закачала перед ней и мать Феодору в кресле, и стол с графином наливки, ягодами и орехами, и фамильные портреты на стенах, завешенные кисеею.

Золотые пыльные лучи из окон замигали по всей комнате, как чьи-то бесплотные крылья, шмели загудели где-то совсем рядом, и мать Феодора растворилась в этом гуденье и в этих пыльных лучах: ее не слышно было, слышно было тихий перебой внутри, в себе: тик-тик, тик-тик... Так кузнечики в полях над самой землей внизу колышут июльский жаркий воздух сплошным стрекотаньем,— и кажется, что живет земля.

Но Феодора не растворилась в пыльных лучах; она сидела, как паучок в коконе, и говорила о Грише:

— До четырых годков дожил мальчик; умный какой обозначился,— дивовались все... Собачонка у него была Жучка,— молился вечером: «Помилуй, господи, мамашку, папашку, Жучку и всех сродственников ее...» Хи-хи!.. Издохла она,— сам ее закопал, своими руками могилку сделал, дерном обложил... «Теперь, говорит, мамашка, по-

ставь над ней собачий крестик». — «Да какой еще собачий крестик! Что выдумал неподобное!» — «Вот, говорит, какой!.. Совсем-совсем как человечий, только маленький!..» Вот как о собачке своей заботился: в христианскую веру обратил, хи-хи-хи... От горлышка умер... А я в монастырь пошла.

Только смутный отголосок слов Феодоры долетел до Анны, полной своим. Но отголосок этот будил в ней больное, ревнивое, то, что было раздавлено в ней когда-то и не могло затянуться временем и зажить. Нерожденные...— в эту минуту больше, чем когда-либо прежде, казалось ей, что они родились и жили. Часто думая о них в тишине старых, все видевших комнат, она дала им имена, и называла по именам своих четырех девочек и двух мальчиков, и ей, когда забывалась она, действительно чудилось, что они где-то здесь, с нею, что они и не были мертвыми, не умерли, не могли умереть: вот где-то в дальних комнатах или в саду, по заброшенным аллеям, они бегают, и если вслушаться пристальней, слышно станет, как шумят, хохочут и проказят.

Радостно застучало снова внутри, и, чуть улыбаясь и вся стыдясь, сказала вдруг Анна:

— У меня тоже Гриша был...— И поправилась смело:— Есть.

Вспомнила, что действительно первого из своих нерожденных назвала Гришей.

И что-то незначащее, но милое вспомнила из того, что будто бы он говорил и делал:

— Посмотрел на месяц,— полнолуние тогда было,— и говорит: «Мама, где это горит такая лампа? Какая большая-большая лампа!»

Мать Феодора встретила ее широкие радостные глаза своими, долго уже каждый день встречавшими и провожавшими солнце, и не удивилась, не встревожилась, как будто поняла в ней что-то сердцем, и ответила, всплеснув пухлыми руками:

— Вот хорошо как!

— Да,— качнула головой Анна, не улыбаясь даже концами губ. — Локоны у него были длинные, русые. Остригли его. Провел он ладошкой по головке: «Вот, говорит, я теперь и голенький: как звездочка». Три года ему тогда было.

— Умный какой! — очень искренне удивилась и покачала головой Феодора.



— Ножки у него были такие толстые-толстые... катался, как шарик... Купаться в воде как любил: фыркает, ручонками хлопает, хохочет!— вспомнила Анна небывшее, но такое желанное, как будто было.

— Купаться они любят... купаться, если вода теплая, очень любят,— кивала головой Феодора, примиренно наблюдая Анну.

А перед Анной ожили вдруг все шестеро в тех привычных для нее образах, какие сложились в ней давно и от нее не уходили.

— Девочка... Оля... маленькая, бедовая... подбежит ко мне, ухватит за подол,— глазенки продувные, черные, как уголечки, горят,— шепелявит: «Мама, мама, потери тровожку и ш пешком!» Творожок с сахарным песком любила.

— Это она с Пасхи так, должно быть: пасху ела, вот ей и запало в ум,— проворно догадалась Феодора.

— Пасху?.. Любила, да любила же!.. Полные щеки набьет и жует, жует... Все у меня пасху любили. И яблоки любили... Ведь как смешно: зелень крадучись ели,— кислые, в рот нельзя взять,— нет, жуют!

— И еще им лучше это кажется, чем спелые, приятней,— вставила Феодора и засмеялась прощающим смешком.

Так велика была внезапная радость Анны оттого, что застучал в первый раз ее седьмой ребенок (и сейчас стучал с небольшими обдуманными промежутками), что ушел от нее день со шмелями, иволгой и зеленью, ушла мать Феодора, обыкновенная, всегдашняя мать Феодора, ушла она сама от себя, Анна прежняя от новой Анны, и глаза ее, и все лицо, и даже голос ее казался другим Феодоре, как Феодора казалась ей другой.

И в то, что протянулось между ними новое, тихо, как сумеречные птички, влетали слова Анны:

— А то вот еще раз — другая девочка, Лиза,— пятый годик ей пошел,— гляжу как-то вечером, стоит одна вот в этой комнате и со всех, со всех гардин на окнах бахрому срезает. «Что ты делаешь?»— говорю. «Махорочки эти мне ходить мешают, за головку цепляются, вот я их и долой... Это уж так нужно, мама, ты не знаешь... И посмотри, как я ножницами хорошо умею!» Я стою, смотрю, а она режет: «Посмотри, мамочка, как хорошо!» Пять гардин так испортила, пока я ножницы отняла.

— Дети!.. Они чудные! У них все просто так это: что вздумается им, возьмут и сделают,— объяснила Феодора.

Анна придвинулась ближе к ней.

— Нет, что! Мальчик еще,— другой мальчик, Митя, трех лет, может быть, так трех с половиной,— отбился от няньки,— уснула нянька,— пошел бродить по усадьбе... Куда зашел, неизвестно, кинулись искать, нет нигде... Долго искали, измучились,— вдруг несет его какой-то черный мужик: он уж за усадьбу вышел к селу,— вот какой! Я на него от страха кричать стала, ведь бог знает что думала: может быть, украл кто, может быть, в пруд, в колодец упал, а он слушал-слушал, показал пальчиком на мужика, и что же? «Вот он, говорит, черный, а добрее, чем ты, белая!» А? Каково! Клопик такой маленький, а?

— Митя? Вот поди же!— серьезно закачала головой Феодора, как будто давно знала и про Митю, и про то, что он сказал, когда ему было три года.

— В церковь его к обедне взяла,— говорила Анна,— а у нас ведь около царских врат икона божьей матери новая и письмо дорогое; вот он на коленочки стал, смотрит на нее и шепчет: «Голубая, золотая, красивая, милая, хорошая...» — «Что ты шепчешь, говорю, Митя?» А он мне: «Не мешай мне, мамочка,— я молюсь». И опять: «Голубая, золотая, красивая...»

— Милый какой!— тихо отозвалась Феодора.— И как такая молитва не будет ей угодна, господи?..— Перекрестилась, посмотрела на Анну, а на глаза проступили слезы.

И так — как-то незаметно и долго — день золотел и зеленел за окнами, а здесь, в гостиной, было странное время: не день, не вечер и не утро; дятел звонил за окнами, и иволга пела, а здесь звучали странные, сами себе неверящие и вдруг как-то внезапно поверившие слова; что-то было за окнами: сон или явь, быль или сказка,— но было ведь все это летнее: небо, и липы, и вязы, и цветы, а здесь не было ведь того, о чем говорили, но говорили об этом так, как будто оно не могло не быть. Какую-то бесконечную разноцветную шелковую нить вытягивала из себя Анна, и как живое веретено принимала эту нить Феодора. И как-то сначала трепетно и робко, а потом все увереннней и сочнее становились в устах Анны гордые слова: «Мама», «мамочка», «мама»... Кругло и тепло как-то было в

гостиной от этих первых человеческих слов. И мать Феодора не пила уж наливки; она подалась вперед, кивала головой и слушала. Мост прошел между ними; то, что забыла почти, но не могла забыть Феодора, вспоминала, хотя не могла же вспомнить Анна. Но повисло уже над обеими детское: вечно нежное, вечно теплое, то тревожное, то радостное, неизвестно — умное или глупое,— для всех одно, и начало и конец жизни. И в этом детском обе слились, и тут уже не было ни сна, ни яви, ни возможности, ни чуда: ширь мерещилась, выход какой-то в огромное из этой жизни реял и сквозил за словами.

Но раздался за окнами Машин голос, звонкий, яркий, полносочный, как июльская груша-скороспелка, и ворвался сюда и здесь поставил на прежнее место золотистые пыльные лучи, рубиновый графин наливки, кресла, портреты и мать Феодору. Как-то закачалось все и стало явью, и Анна стыдливо закрыла лицо руками, тихо улыбнулась из-под ладоней и сказала:

— Да нет, конечно... ведь это Маша все! Росла на моих глазах... Что же я выдумываю, господи! зачем?.. Все — Маша...

И вбежала Маша из сада — жаркая, рослая, пышная для своих двенадцати лет, со свежим-свежим, умытым солнцем лицом. Вбежала звонкая.

— Аня, Аня! Посмотри — жук!

Жук был двурогий, большой, как рак с клешнями, коричнево-красный, несокрушимо крепкий на вид.

— Это — вредный, деточка, деревья портит, — сказала Феодора.

— Как портит?

— Ест их, деревья, вот ест, тем и портит.

Анна улыбнулась Маше, прижала ее к себе всем телом и сладострастно, как это делают только матери, ущипнула ее за плечо.

— Больно так!— вскинула на нее большие глаза Маша.

— Ну что ты, больно! Ты моя тугая, как вилочек, тебя и ущипнуть до боли нельзя!— И спрятала Анна в ней свое лицо, вдруг просиявшее от страшной, идущей изнутри ее радости, что вот еще несколько месяцев, и зимою, скоро после Нового года... будет, будет, будет!

Рассолодевшая от долгого дня, дороги и наливки, мать Феодора смотрела на них, истомно улыбаясь, и вздыхала по-монастырски:

— Родные мои! Дорогие мои! Славные мои!..

— А ты помнишь,— спросила Машу Анна,— как приехала к нам бабушка Нина? Шесть лет тебе тогда было... Умерла уж бабушка, и тогда-то была старенькая... за грибами пошла,— помнишь?— тебя взяла... Она — слепенькая, ты — востроглазая, ты впереди, она сзади. Идет в платочке, с клюкой, с лукошком, и все-то на тебя ворчит, что ты грибы пропускаешь, а она находит,— так ведь?.. А это ты ей сама и находила, а чтобы ей видно было, возьмешь, листья отвернешь, а сама дальше... И ведь не говорила ей ничего, мать Феодора, и виду не показывала... Ах ты, обидеть ее боялась... Помнишь?

— Помню, — сказала Маша.

— Та зачем же это?

— Так,— пожала Маша плечами.

— А помнишь, как гости к нам приехали, говорят тебе: «А мы медведя привезли!» А ты: «Где он?» — «В прихожей сидит...» Ты туда, а медведя нет. Прибежала ко мне: «Аня, Аня! Они сказали, что медведь, а это неправда!» — «Ну и хорошо, что неправда! Тоже радость какая — медведь!» — «Нет, как же это: они сказали, сказали, а это неправда!» Да как зальешься!.. Ведь как плакала, мать Феодора, насилу утешить могли.

— Родные мои! Дорогие мои! — кивала головой вся — одна нежная старая улыбка — Феодора.

— Как ты это запомнила все? — удивилась Маша.— Я забыла уж, а ты помнишь.

— На это у меня память, это я помню,— просто ответила Анна.

И мать Феодора заплакала вдруг, бормоча:

— Господи, как же не помнить, как не помнить!

III

А на заводе на крышу третьего этажа прибили звонко последний лист железа и последнюю оконную раму вставили и застеклили.

Снова приехал молодой архитектор — принимать постройку. При нем и Ознобишине снимали леса с грохотом, с песнями, с криками, дружно и весело: снимать леса — это ли не веселая работа?

И когда из-под белой пыли известки и красной кирпичной пыли осели вниз груды досок и бревен и стройно поднялся завод, Ознобишин долго смотрел на него, все думая о том же старом: зачем он его построил?

— Ну что, не игрушка разве? Игрушка! — весело махал перед ним руками вертлявый архитектор.

— Бездушный он какой-то,— сказал Ознобишин.— И конечно — игрушка!.. Потому и игрушка, что бездушный... Я тоже об этом думаю: бездушный.

— Вдунем душу!.. И человека бог слепил из красной глины, чтобы было во что душу вдунуть, чтобы только было во что вдунуть, а вдунул потом... Детеныш!

И, смеясь и подмигивая чему-то, архитектор ободряюще похлопал Ознобишина по плечу. И в первый раз теперь он, построивший завод из красной глины, неприятен стал Ознобишину, и тот покосился на него с высоты своего большого роста и сказал холодно:

— Я не о том.

Поздравляли их обоих рабочие, качали, кричали «ура», и Ознобишин дал им на водку.

Потом разрешенно пили, пили упорно и долго: рабочие тут же около завода, и в комнатах дома — Ознобишин, архитектор и о. Леонид.

У рабочих так это было.

На зеленой от недавнего дождя луговине поставили зеленое конское ведро с водкой, на ведро привесили жестяной ржавый корец, сели вкруг и так же деловито и сообща, как строили завод, пили, делая гулкие глотки, потом сплевывали, морщились, вытирали губы ладонями и заедали сухою воблой и кренделями.

Потом играли в лапту — все, и старый Лобизна, и когда брал в руки лапту Лобизна, чтобы ударить мяч, он бережно клал возле себя трубку, плевал на ладони, жестоко замахивался, избочив голову:

— Ну и засвечу свечку на два поля!

И всегда давал промах. Зато ловко выходило это у Иголкина, так же ловко, как и все, что он делал.

Песню пели свирепыми голосами:

Как у наших на завалинке
Растеряли чулки-валенки,
А н-нам все равно, вали-вали, вали!
А н-нам все равно, подваливай, вали!

Ухали, подсвистывали, притопывали ногами. Разморило. Вспотели. Час за часом набухали лица, краснели глаза, деревенел язык. Подрался кто-то с кем-то из молодых,— разняли.

Выпили корец за корцом все ведро и еще купили. Затеяли орлянку, протоптав каблуками круг.

Шесть гармоник было, и на всех играли все время: гынатур-гынатур-гынатурра!..

Уж очень хорошо светило солнце, и зелена была лужайка после дождя,— и один за другим, как мухи к меду, неосторожно прилипали к ней рабочие из усадьбы и кое-кто из сухотинских, а к вечеру были пьяны все, даже кучер Серапион и Прокофий.

Серапион так и заснул где-то потом на цветочной клумбе, окончательно подмяв под себя и резеду и левкой, а Прокофий кое-как дошел до флигеля, сел на крыльцо, свесил тяжелую голову и говорил Витьке:

— Ты, Вить... ты... мой отцовский приказ тебе: ты не женись!.. Ты... этих глупостей... никогда не женись!.. А если жена, например... так ты ее ножиком... и зарежь ее... ножиком... во!

Витька смотрел на него, глубоко запустивши в рот палец, а жена Прокофия все тащила его в комнату, захвативши сзади под мышки, толкала его в спину коленями, надрывалась и не могла втащить и ругала его крикливо, просто и сильно.

И сухонький Илья-садовник тоже был пьян, только мирно и грустно: он забился в оранжерею, сел там в душном, отравленном пряными запахами уголке и, подперев руками подбородок, горько плакал.

В доме в двенадцать часов ночи вот что случилось. Играл на старом рояле о. Леонид. Переливались на столе пьяные огоньки в бутылках и стаканах. У архитектора помутнели глаза, растрепались волосы и выбился набок галстук. Тяжело смотрел Ознобишин. Анна скучающе сидела вся здесь и не здесь, и не уходила еще спать Маша.

На рояле играла иногда Анна, только выбирала для этого дождливые дни, длинные вечера, сумерки, и играла грустное, потому что была это жалоба кому-то. Но о. Леонид, высоко взбрасывая руки в широких рукавах подряс-

ника, точно летая около непослушных ему клавишей, вырывал из рояля звуки шумного старого вальса. Вальс этот не хотел выходить, звуки долго толкались у самой крышки рояля, прячась один за другой, но упрямый священник заставил их вытянуться наконец по три в ряд, сдвинуться с места и закружиться по комнате.

И от этих смешных толпящихся звуков сонное лицо архитектора ожило, и почему-то долго и пьяно начал он смотреть на Анну, а Ознобишин это видел.

У о. Леонида вспархивала жидкая серая косичка,— так низко он наклонялся над роялем и потом вдруг высоко вскидывал голову,— и ходенем ходили широкие сухие плечи; но слышны были только его звуки, как неясный шум,— сам он был не нужен Ознобишину, как будто и не было его вовсе. Точно не было и Маши. Точно не было и посуды на столе, и желтых, и красных, и лиловых огоньков в стекле бутылок и стаканов, не было мебели и стен. В зыбком тумане плавали перед ним две пары глаз: архитектора и Анны. Глаза его были мутные, сытые, знающие только то, что вблизи, и назойливо и неприкрыто шли к ее глазам, а ее глаза уходили, опускаясь.

Неприязнь к архитектору началась еще там, на выгоне, около завода; здесь до этого позднего часа она все росла, и теперь, когда он увидел его глаза,— это была уже ненависть, от которой душно.

Но архитектор вскочил, качаясь и гремя стульями, подошел к Анне и сказал ей:

— Я хочу... танцевать с вами...

— Нет-нет!— в странном испуге попятилась от него Анна.

— Вы — легкая, тонкая. Вы должны танцевать, как... змея!..— глядя на нее все теми же глазами, путаясь в словах, потный и липкий, говорил архитектор и уже взял ее за хрупкую кисть руки.

Сказано было меньше, чем говорили глаза, и руки его чудились уже вокруг всего тела Анны.

Страшно стало Ознобишину. Точно неслыханное святотатство совершалось, и вот уже готово куда-то провалиться все, во что он верил. И закричал он архитектору:

— Прочь!

Ему заплакать хотелось, и раздавить он его хотел,

и мог бы его раздавить, но путался сам в неясных, испуганных, то слишком громких, то очень тихих словах:

— Ее? Святую?.. Ее, кроткую?.. Ты?..

И потом как-то сразу прояснело: ушла Анна, перестал играть о. Леонид, в передней одевался архитектор, и на конюшне Федька-кучеренок запрягал в легкую линейку с фонарями резвую лошадь.

Глава пятая

I

Ушли рабочие, и стало сосредоточенней, напряженней и тише в усадьбе. Что-то пришло на их место с опустевших полей, ковыляя шагом за скрипучими возами с хлебом (убрали уже хлеба), и незаметно поселилось здесь, где-то на гумнах, в ригах и овинах, где-то между липами, у которых начали желтеть листья, и около дома, между клумбами, на которых умирало лето и распускались уже какие-то немного жуткие, резко окрашенные осенние цветы.

И небо стало придвигаться ближе-ближе, с каждым днем все заметнее суживая круг и нависая тяжелей и плотнее.

Где-то рождались несмелые еще туманы, чуть пахнущие дымом из печей; по утрам они цепко прижимались к земле и долго не хотели подниматься, ржавя траву и обрушивая наземь листья.

И в нижнем саду, где были вековые вязы, дубы и клены, где распыжилась влажная гущина лесного орешника и курчавился папоротник, стали слышны по ночам вой и хохот. Хохотал хозяин ночей пронзительно, подло и веще.

Сначала в усадьбе не ждали этого хохота, и когда раздавался он, сыро шевеля темноту,— испуганно вздрагивали, оглядывались и поводили, как от тесных тисков, плечами; а потом ждали уже, что вот настанет ночь, и будет

кто-то насмешливо фыркать, выть, клектать горлом. Даже Маша морщилась, затыкала уши, топала ногой и вскрикивала удивленно: «Какой противный!»

— Гагач это,— говорил Ознобишину сумрачный бородатый Михайло, ночной сторож.

— Филин?— переспрашивал Ознобишин.

— Гагач,— упрямо повторял Михайло.

— Какой гагач?

— Потому именно и гагач: гогочет.

— Птица?

— Птица.

— Убить ее надо. Возьми ружье на ночь.

— Ее нельзя убить,— сурово говорил Михайло,— она не дастся... И увидать ее нельзя: никто не видал.

— Так что ж она, так гоготать и будет?

— А как же?.. А захочет когда уйти, уйдет.

У Михайлы был твердый, никогда не смеющийся рот и тяжелый взгляд исподлобья.

Потом чьи-то яйца, по виду гусиные, нашли внизу в широком дупле.

— Гагачьи,— сказал Михайло.

— Положить под наседку надо,— узнаем, какой гагач,— отозвался Ознобишин.

Но Михайло не хотел уступить тайны; он только качнул в сторону головой:

— Их нельзя под наседку: не дадутся.

— Как же они могут не даться? Что ты?

Михайло подумал и знающе ответил:

— Болтыши выйдут.

И так как Анна совсем не могла слышать этих криков и мягкими подушками наглухо закрывала окна, то Ознобишин одну ночь всю до рассвета проходил с ружьем в саду.

Ночь была темная, и протискивался сквозь сад ветер; повсюду пропихивал, шипя, сырое тело и бросал сверху мокрые листья в лицо Ознобишину. Путаные дорожки, так знакомые с детства, то прятались в кусты, то вздувались жилами корней, и ревниво сплетались повсюду сучья, хороня тайну.

Уверенно водила его за собой ночная птица; он не видел ее, видела его она; он был слепой тут, где для нее сквозила ночь. Мягко летала она вверху, и когда он пробирался ощупью в одном конце сада, она издевалась над ним в другом.

Несколько раз глухо стрелял Ознобишин, стрелял куда-то в темное наугад, по слуху, но после каждого выстрела только встрепанно лаяли собаки да Михайло-сторож говорил, идя сзади:

— Зря, барин: она не дастся.

Но на другую ночь уже не хохотало в саду, и Анна сняла с окон подушки.

Получили письмо от деда: хотел скоро приехать. Знали, что приедет на день, на два, как всегда, но почему-то радостно это было. О просторы! Где-то в них бродит дед, не уставший от жизни!.. Зачем? Чего ищет? Часто думала о нем Анна.

И теперь, как всегда перед его приездом, в усадьбе повсюду скребли, мели и мыли, как-то обновлялись, как-то хотели принарядиться, помолодеть, и, хоть и знали, что не нужно это, усиленно мыли, чистили и мели.

Молодые ясени были обглоданы козами еще весною, и никто не замечал этого; теперь Илья старательно обмазал их, перевязал, подставил к ним колья и, так как козы жили на конюшне, несколько раз принимался едко ругаться из-за этого с Серапионом.

Серапион без устали с раннего утра до вечера чистил лошадей и стойла; Прокофий озабоченно запоминал, куда и сколько выходит овса, сена, половы, сколько чего в закромах и овине, какой умолот дала рожь, какой пшеница. И Катерина о чем-то начинала сокрушаться на кухне; и Маша обнимала Анну, прыгала, хлопала в ладоши и кричала: «Дед! Дед!»: И Ознобишин, незаметно для самого себя, приводил внутри себя все в какую-то осенне-четкую ясность.

II

Приехал дед, здоровенный, широкоплечий, не поддавшийся и восьмидесяти годам времени: просквозили как-то через его тело эти года, ни за что не зацепившись. Только обелили волосы, вытянули брови, а щеки и нос сделали лилово-сизыми, — но от этой копны седых волос, непомерно вы-

сокий, длиннобородый, бровастый, он стал как-то мудро красив, как редко бывает в жизни.

В тонкой, плотно сидевшей на нем поддевке, широко и легко еще шагая, он обошел вместе с внуком усадьбу. Голубей для него погонял Прокофий, оранжерею показал Илья, Серапион — конюшню. Все похвалил дед и надо всем посмеялся: козла пощекотал под бородою, Дядю похлопал по крупу, Прокофию обещал бердянских голубей.

— Знаешь, какие бердянские?

— Как же, барин, — взволновался Прокофий. — Золото. Как завьются, так в трубу не увидишь... и следа и звания нет, — вон какие!.. У нас их нет.

— Пришлю.

— Как пришлете, покорнейше благодарю... А то в третьем годе обещали пару египетских прислать, а вместо их хоря прислали.

— Ну? — засмеялся дед. — Неужто хоря? Помнишь, значит? А ты забудь... А может, и теперь ястреба пришлю.

В оранжерее размашистым движением, но нарочно, задел и свалил на кирпичный пол горшок хризантем и потом с пристальным удовольствием смотрел, как неодобрительно покачал сухоньким лицом Илья, собирая черепки и землю.

— Эх, неосторожность!— сказал ему дед врастяжку.

— Тесновато у нас, — извинился за своих питомцев Илья.

Но когда он прятал пышнобелый, чуть помятый цветок, чтобы посадить его потом в другую банку, — дед взял его и медленно оборвал все головки.

— Поднесу-ка Анне букет, — подмигнул он Ознобишину бровями, и потом ходил и рвал в огромный, как веник, пук самые редкие цветы, искоса лукаво следя, как хмурился Илья и чуть пожимал плечами под неуклюжим новым пиджаком, надетым для его приезда.

Ласковый самовар гудел на столе. Сидел дед в широкой белой рубахе и сам весь белый, свежий и веселый.

— Какой ты еще молодой, дед! — осмотрел его Ознобишин, любуясь.

— Не очень и старый, — отозвался старик.

— Рыщешь по полям, с кем бы тебе силой померяться... поленица уда́лая!.. Ты думаешь о чем-нибудь?

— О чем, например? — удивился дед.

— Как бы тебе сказать, о чем... — замялся Ознобишин. — Видишь ли: в старину люди в монастырях думали, в пещерах. Должно быть, хорошо думать в пещерах, а?.. Или в лесу где-нибудь, где сосны... Непременно там и мысли будут густейшие, как смола: есть где им отстояться, а в полях нельзя. Я вот потому и спросил: нет в полях мыслей и быть не может.

— Почему нет?

— Ветром выдувает: просторно очень.

— А мне и не нужно, — отмахнулся рукою дед, — мне и без них хорошо. Вот нашел, о чем горевать. Пес с ними!..

Под опущенными веками глубились желтые коршуниные, лукавые глаза. Ознобишин смотрел в них любопытно, чуть прищурясь; и Анна молча оценивала их обоих, мужа и деда.

Цельный ознобишинский размах, без усилий закругленный в деде, чуть просвечивал в муже двумя-тремя пятнами, и за это его, единого и любимого, было жаль. А у Маши, когда она глядела на деда, так и не сходила с лица удивленная красная деревенская улыбка.

Смолоду дед делал все, чтобы утопить силу, но какой-то неистребимый запас ее был ему отпущен полями, — что с этой силой делать, так и не мог он узнать.

И теперь видел Ознобишин, что дед все такой же, каким он знал его давно, с детства; что вот где-то в зажиме морщин на угловатом лбу как засело давным-давно что-то свое, дедовское, так и не могла вытравить этого жизнь: был клейменым — и остался. И еще показалось ему ярко, что жизнь — весы, а дед поднялся как-то, когда зазевалась жизнь, в самую середину коромысла, где стрелка на равновесе, поднялся и устроился там. Но там — уверенность страшного земного покоя, тяга земли, куда сходится все добро и все зло, чтобы перестать быть добром и злом, и все страданья и радости, чтобы утихнуть.

И от одной возможности этого покоя не в себе, а в деде Ознобишину стало душно от зависти.

— Значит, ты... тягу земли нашел? — с трудом спросил он деда.

— И не искал, — ну ее в омут, — опять отмахнулся попрежнему дед.

— Ты не понял... Тягу земли, — понимаешь?.. Равновес всего... всего, что есть?

— Ну?.. не искал же!

— А я бы искал, — медленно сказал Ознобишин. — Иначе незачем и ездить.

— Тягу земли я не искал, — расстановисто повторил дед,— а ведь хорошо на земле и без этой тяги... Зачем себя люди мучают, это мне неизвестно, нет. Знать я ровным счетом ничего не знаю и не хочу: бремя. А вот посмотреть, отчего не посмотреть... Захотел, чтобы земля была новая, — ан она и новая... Захотел голубую лошадь увидеть — и увидишь, — только захотеть надо... Я вот как сюда ехал, в Загрядчине волов видал... на водопое, в речке... Ох, да и волы! Рога аршина по два, сами сизые — страсть!.. Вечером ехал, солнце-то этим косым их обхватило, аж дымятся... Хорошо!.. Рассказать об этом нельзя, а вот как умирать буду,— говорят, тогда всю жизнь вспоминают,— их-то, волов-то этих, я уж обязательно вспомню... Да, да, да!.. Вспомню.

И как будто нашел что-то огромное, обвел всех жаркими глазами.

Ознобишин заметил, как он, говоря, жирно намазывал медом длинный кусок белого хлеба; руки у него были большие, с расставленными, как у птиц, пальцами, волосатые и волосы серые.

Вот он откусил прямо от целого куска, широко открыв рот и хищно вытянув нижнюю челюсть, и Ознобишин спросил сухо:

— Это и все, что ты видел?

— Все,— сказал дед, весело посмотрел на него и добавил: — А вот мед в этом году славный.

Сидел широкий, веселый, упрямый, заняв собою полкомнаты и полжизни: как-то отсасывал ото всех, кто был с ним вместе, по глотку жизни, и от этого так наливчато краснел, пышнел и густо веселел сам.

Но к Ознобишину от этого веселого упрямства подкатило что-то задорное, и он сказал с усмешкой:

— А тягу земли все-таки не нашел.

— Нет, для тебя оставил, — отшутился дед.

— Я ее не буду искать,— сказал Ознобишин, в упор глядя на деда.

— Ну и отлично, — кивнул дед.

— Не буду, потому что нашел, — выкрикнул Ознобишин.

— Ой ли?.. Где?.. — плавно пригнулся к нему дед.

— Здесь, — тихо и твердо ответил Ознобишин.

Он плашмя провел глазами по Анне, по ее чуть прикры-

тому лицу, сквозным рукам, по всему телу, близкому, теплому, робкому, и добавил глухо:

— Найти нашел, а вот поднять не могу.

— Тяжела? — сузил глаза дед.

— Тяжела.

— А из себя она какая?

— А тебе и это знать нужно? — улыбнулся вдруг во все лицо Ознобишин. — Хочешь знать, а?.. Ведь хочешь же, хочешь знать, а?.. А я не скажу.

И засмеялся ненужным смехом, и почему-то от этого смеха стал вдруг безумным и старым, старее деда.

Пошел дождь с обеда, и за ним незаметно было, как село солнце и как ушли вслед за солнцем поля. Обложило весь большой многодумный дом тихой, как сон, сумеречной влагой, и мысли у всех стали влажны. Ходил по комнате Ознобишин, слушая стук своих шагов; сидел и смотрел в окно дед, согнув воловью спину; вязала Анна.

— Ты никого не замуровал тут в стены, дед? — спросил вдруг глухо Ознобишин.

Дед повернул к нему голову, долго смотрел и не ответил.

Ознобишин прошел еще раз по комнате и еще раз. Остановился, постучал костяшками пальцев в толстую стену и сказал так же глухо, скучно:

— Вот здесь, кажется, пусто, а?.. Он истлел, а пустота осталась... а, дед?

— Наследства лишу, — коротко ответил дед.

— Нет, в самом деле, отчего бы тебе этого не сделать? — живо подхватил Ознобишин. — Глушь, тоска, комнат много... у тебя сила страшная... Ночью, — понимаешь, ночью, когда все спали, — ты разобрал кирпичи, заложил в стену его, а он был связан — ни рукой, ни ногой не двинет, и рот забит, — потом сложил кирпичи опять, как были, оклеил обоями... Потом эту половину дома запер и уехал... Приехал летом, отворил окна...

— Наследства лишу, — перебил, уже улыбнувшись, дед.

— Что же ты сделал такого, расскажи? Сделал же ты что-нибудь страшное?.. Должно быть, сделал, у тебя такой вид... Расскажи, что ли... видишь — тоска. Огня мы зажи-

гать не будем, если не хочешь, будем сумерничать, а ты говори.

— Страшное? — спросил дед.

— Да. Только страшное. Расскажешь?

— Дурак! Ничего нет страшного, — просто ответил дед.

Залегало что-то в углах, и из других комнат низом и вдоль стен прокрадывалось передночное темное, зеленя их лица.

Анна взвешивала глазами тяжелую посадку деда и смутную душу его чувствовала так же близко, как свою душу.

— Ничего? — остановился Ознобишин. — Ого, дед! Это не потому ли тебе не страшно, что сам ты страшен?.. А мне вот бывает страшно по ночам: я слаб, значит... Проснешься иногда ночью, — тоска...

— Ты — последыш,— размеренно сказал дед.— У тебя все не то, кость не та... Умрешь, — некому будет Сухотинку оставить, прахом пойдет...

Анна вздрогнула, опустила вязанье.

— Рожь в этом году... два пуда с копны намолотили, — испуганно круто перебил вдруг Ознобишин; выждал момент и добавил: — И солома никуда не годна.

Дед удивленно посмотрел на него, соображая, и спросил зачем-то:

— Град?

— И град, и так вообще... — Ознобишин махнул рукою, сгорбился и медленно вышел из комнаты.

За его шагами, еще долго слышными где-то, поволоклось отсюда то ненужное, что было в нем; стало просторней между дедом и Анной.

Анна ясно видела в сумерках острый взгляд деда из-под треугольных бровей.

— Это зачем же он обо ржи-то? — усмехнулся дед. — Наступил я ему, видно, на мозоль ножищей... Эхе-хе... Сына ждешь?

— Жду,— твердо сказала Анна.— Не знаю, кто будет... Может быть, сын.

Старик нагнул голову еще ниже и ниже свесил руки с колен.

— Дело хорошее...— сказал он.— А будет?

— Будет! — строго ответила Анна.

— Ой ли?.. Живой?

— Живой! — поспешно вскрикнула Анна, точно только и ждала этого вопроса. — Живой, живой будет!.. Те были мертвые, а этот живой будет!

— Чувствуешь, значит? — усмехнулся дед. — Дело хорошее... А какой месяц носишь?

— Пятый начался.

— До того-то не довалило или перевалило?

— Нет еще... — запнулась Анна. — Ты ведь знаешь... те старше были.

— Значит, и этот умрет, — спокойно сказал старик.

Анна сжалась, как под нахлынувшей со всех сторон водой, вобрала в себя ноги, руки, мысли и ответила, упрямо качнув головою:

— Нет! Живой будет!

— Эх ты! — чуть засмеялся дед, и не выбрал нот для своего смеха: просто взял, какие попались; попались ворчащие, хриплые, как у больших овчарок.

— Да разве родился уже кто-нибудь живым? Попытки были. Ты, я — всё попытки, а до сих пор еще не родился никто.

— Как не родился? — испугалась Анна.

— Не родился... Не то это все... мертвецы рождаются... Не может быть обречен на смерть мозг человеческий, — вот что пойми. А если обречен, значит, мертвецом и родился.

— Тебе... тебе умирать страшно? — догадалась и тихо, обрадованно даже, спросила Анна.

— Да я и не умру так скоро, — ответил дед. — До отцовских-то лет доживу, — это решено... Проживу, пожалуй, и больше: я здоровее... Ведь у меня еще зубы целы, вот что!..

И он звонко щекнул зубами, точно раздавил кость, приподнялся и стал — высокий, грузный, а Анна в эту минуту раз и навсегда почувствовала ясно, какая она хрупкая, тонкая, почти бесплотная: не на что было опереться тому, кто рос в ней. И опять куда-то пропала гибкая и тугая уверенность, что он родится живым.

Но вспомнилось другое, вечное, детское и с детства оставшееся светлым на всю жизнь. Теперь в сумерки так и показалось мягко сверкающим шаром, поднявшимся от земли, вверх, сквозь дождь за окнами. И Анна сказала торопливо:

— Есть ведь бессмертие, нашли люди!

— Дети? — спросил дед.

— Рай, ответила Анна, и, точно боясь, что он засмеется, она подошла к нему, обхватила его мясистую левую руку обеими руками и повторяла страстно: — Есть, есть, есть!..

— Должен бы быть, — сказал старик. — Что ж ты... хлопочешь? Мне тоже в это иногда хочется поверить... Я ведь верю, иногда верю... Из зависти просто... Темно, зажечь бы лампу нужно.

— А ребенок? Ребенок? — тянула его за руку Анна.

— А в ребенка не верю... Нет никаких возможностей в него верить... И ты не верь.

И когда Анна и от его слов, и от бегло сверкнувших, как летние зарницы, предчувствий бессильно обмякла на его руке, дед смущенно добавил:

— Ну-ну-ну... дурочка. Мне-то что? Верь, если хочешь... Если нужно... Разве я знаю, что тебе нужно?..

В наступившую уже влажную и густую, как мокрая овчина, темноту вкрапились шаги и струйки желтого света: шел Ознобишин, чтобы позвать их к чаю.

Ночью в ту комнату, где лежал столетний и где горела для него лампадка, так как в темноте он воюще плакал от страха, вошел дед.

В халате и туфлях, мягкий и неслышный, занял он всю небольшую комнату, пропитанную запахом заживо тлеющего тела, сел в ногах, долго смотрел на пустоглазую голову неспавшего отца, на розовую с белыми кружочками лампадку, на окно, закрытое ставнем; долго слушал тишину в доме, и когда показалось ему — нигде никого и комната, как часовня, он сказал тихо:

— Здравствуй!.. — Подождал немного и повторил: — Батя, здравствуй!.. Эх ты!.. Сон-трава.

Столетний смотрел на него пристально, сгустивши как-то складки около глаз, но это были страшные глаза, без мысли. Лампадный свет расплывался на его обтянутой голой голове маслянистым желтым кругом; в тени были руки — две стиснутых черных костяшки; теплое одеяло облегло его тело со всех сторон и казалось серою шерстью. Сын осматривал отца долго и внимательно с головы до ног: улыбнулся, кашлянул негромко, потер ладони.

— Вот штука, — сказал он, — а? Штука, говорю. Жить-жить и потом все забыть... Забыть и все-таки жить... а? Как звали тебя, ведь забыл?.. Забыл. Как же это ты — жив еще, а уже мертвый?.. Ни альфы, ни омеги... Душа-то... души-то ведь уж нет, а? Пошлет господь ангела за твоей душой, ан-

гел и вернется ни с чем: «Украли, скажет, господи, душу-то, нет души... » Кто украл? Враг. Кому же больше? Враг рода человеческого.

Голос свой дед понизил, и оттого в комнате стоял густой рокот.

— Батя... враг-то, мой-то враг от меня уходит... а? Спаси, сохрани и помилуй, господи, — дед перекрестился. — Вот я о чем... Я о себе это. Сам с собой поговорить вслух пришел. Уходит. На людях еще храбрюсь, а один уж не то: куда ни ткну перстом, — пусто. В стенку что стучать, — ты вот сюда постучи, здесь пустота так пустота...

Собака залаяла вдруг под самым окном — какая-то дворняга с широким горлом. Старик поднялся вдруг, запахнул халат. Встревоженно оглядел окно и дверь. Прислушался. Был как вор, забравшийся в клеть. А столетний смотрел на него с тихим испугом.

Отбежала собака и залаяла где-то дальше.

Дед согнулся, махнул тихо рукой и опять сел на хряснувшую под ним кровать.

— Кому тут подслушивать?.. Могила. Тут всяк себя слушает... Тут сам себя никто не поймет... Батя! Долго езжу, все езжу, смотрю... Видел много, а все не сыт; весь мой грех в этом: не сыт... Я и в прошлом году в это время у тебя был... и в позапрошлом тоже... Отчет давал... А в чем отчет, ей-богу, не знаю... Я ведь не грешу, гляжу только... Ох, и широко же, — конца краю нет, а ступить некуда... То есть для ноги твердого места нет, вот я о чем... А отчет, — потому что нужно же кому-нибудь сказать все, что есть... Это хорошо, что ты не слышишь... Это еще, пожалуй, лучше... а то бы кто знает?.. Сам для себя говорю.

Дед придвинулся ближе к лицу столетнего и сказал вдруг тихо:

— Жалости ни к кому не чувствую — вот мой грех. Теперь я остался один: без жалости человек уж совсем один... Что ветер, что я... так мы и гоняемся друг за дружкой... Душу-то, вот как у тебя, придет враг и вынет... Жалость вынул, теперь уж кончено...

Хрустнул пальцами на руках и потом заговорил, странно спеша:

— Девицу раз одну — гулящую девицу — в лес увез. Раздел. Голую на муравьище посадил, ей-богу. Внук-то сегодня,— он глуп, а почти что догадался... Руки связал и рот забил... Сел на корточки около и все ей в лицо смотрел — вот так, в глаза самые... Да ведь и зрелище!.. Муравьи ее

поедом едят; корежит ее; красная; слезы текут... А я смотрю... Долго смотрел. Безгласная: кричать ей нельзя... Смотрел и никакой жалости не чувствовал — вот грех!.. Развязал ее потом, муравьев отряхнул... Оделась... денег дал... Да ведь ты что думаешь? Рада еще была, что много денег дал: целовать лезла, ей-богу. Выходит, что и жалости тут неоткудова взяться. Не все, значит, и пожалеть можно? Вот уж и не грех. А то старичку одному святому бороду раз поджег спичкой. А зачем поджег? Так все... Думал: жалко станет, не подожгу. В скиту это, в монастырьке... Пришел к нему будто за очищением духовным, на колени перед ним стал — все честь честью, а он на лавке сидел, бороду свесил... Борода длинная, жесткая... смешалась с моей, — насилу распутал. Он-то говорит, а я спичку наготовил, чирк потихоньку — и пошло. На чутье старик был тупой, на ухо тоже... Кричит мне что-то, наставления-то свои, а мне смешно, а волосы трещат... Ведь сколько истлело бороды-то! Как вскочит он вдруг, хвать рукой за бороду, — взвыл ведь, на что святой. Так ему образа божьего жалко стало... «Да ты что же это, злодей?» Да «анафема», да «изверг»... хорошо ругался старик... Какая уж тут жалость?.. А я поднялся выше его головы на две, да и старше, да и святости во мне, пожалуй, больше, потому что ищу, а он уж нашел... смотрел на его бороду, — хохот берет... А тут уж из сеней в дверь лезут... то да се... Вклад в монастырек пришлось сделать... за бесчестье-то... да!..

Дед махнул рукой, чуть смеясь, чмыхнул носом.

— А то еще так было. В поле как-то... шел, смотрю, слепой в холодке под ветлой спит, а поводырь-мальчонка жуков ловит. И ведь вот придет же в голову! Отозвал мальчонку: «Огадь, говорю, слепенького... Огадишь, гривенник дам». Такой тихий, видно, слепенький, пожилой, худищий,— а жалости к нему нет... Думал, мальчишка не огадит, побоится, — нет, огадил-таки. Слепой выть, а тот на меня кричать, будто это я: маленький, а хитрый. Потом ко мне: «Давай гривенник». А я не дал,—вот ведь. Не дал и пошел дальше. Додумался-таки и мальчонку обидеть. И не то чтобы его за издевку наказать, а так... Обидел, и все...

И дед вдруг улыбнулся большим лицом. Заколыхалась улыбка, плотная и резкая, как сетка из проволоки. Не шла она ни к этой комнате с лампадкой, ни к этой ночи. Даже столетний вглядывался в нее пристальней, чем глядел всегда, и начинал морщиться невнятно. А дед наклонился к нему и прошептал:

— Хоть в палачи, — вот до чего дошел; костенею. На мертвых смотреть пробовал — и не жалко... К тебе, значит, иду. А? Человека перестал чувствовать, — совсем...

Близки были их лица: большое и сырое у деда, — сухое, черное у столетнего, и вдруг заметил дед, как лицо отца начало кривиться. Было похоже на то, что до каких-то далеко спрятанных тайников его мысли дошла улыбка сына и он хочет тоже улыбнуться ей в ответ. В густых складках век он утопил глаза, так что остались только две искристо-жуткие точки, губы подобрал к нахлобученному носу, приоткрыв темную впадину рта, и гладкий широкий лоб его стал веселый. Дед отодвинулся, заметив это, и глядел с тем напряжением, с каким разглядывают весною дети первое насекомое, ползущее по земле.

— Ишь как это у тебя выходит, — искренне изумился он. И глядел. Но столетний уже сбирал с лица гримасу, как сбирают крошки со стола, стягивал ее изо всех углов и прятал, и, чтобы вызвать ее снова, дед, низко наклонясь к нему, медленно стал улыбаться.

Дом был переполнен тишиною, как-то до краев был налит ею, отчего она начинала уже звучать неясно, а дед, нагнувшись так, чтобы свет падал ему в лицо, улыбался то просто, как дети, то лукаво подмигивая, то хихикая беззвучно, как это делают идиоты.

Но столетний смотрел на него с ужасом, готовый завыть. Глаза его четко округлились, губы вытянулись в хоботок, и, заметив, что он пугается, дед сдвинул брови, дико оскалил зубы и медленно ладонь правой руки с растопыренными пальцами стал приближать к его лицу.

Сморщился и заплакал вдруг столетний, воя, хлюпая носом, точно потухла лампадка. Дед выпрямился, оглянулся на двери.

— Ну, будет уж!.. Э-э, как ты здорово!.. Будет, видел уж! Оставь! Какой чудак!..

Так плакал столетний, как плачут самые маленькие, грудные, недавно рожденные дети, и перед глазами деда мелькнуло большое, почему-то красное колесо и сделало полный оборот. В одной общей точке слились восход и закат жизни. Дед представил себе отца, каким помнил его давным-давно, с детства, — жилистым, красным, с громовым смехом и с вечной, такой живою, точно часть его самого, глупой поговоркой: «Ну-с, и вот сам Мартын с балалайкой». Какие-то веселые глаза его, точно два осколка хрусталя на солнце, припомнил вдруг так ярко, что за-

жмурился от их блеска. Представил того — и увидел этого рядом. И перед размеренным бесшумным ходом времени над полями погасло то крикливое, с чем он пришел сюда ночью. Дед почувствовал, что он стал меньше ростом, мягче костями и жилами, легче весом, беспомощней и робче. Забылось как-то сразу то, что он хотел сказать еще столетнему. Многое, страшно многое, горевшее в нем, потухло и забылось.

Согнулись в коленях ноги. Локтями он оперся на ребро отцовской кровати; трогательно долго смотрел в его внимательное лицо, потом поцеловал кипарисовую руку и вышел, тихо притворив дверь.

Подали лошадей. Уезжал дед опять куда-то в нутро полей.

С утра, когда приказал он запрягать, солнце расшвыряло сырые тучи и присмотрелось было весело к земле — к желтым жнивам, к деревням и дорогам, потом опять ему стало скучно видеть одно и то же и задернуло оно сплошь все синие окна. Стало темно, сиверко. Тонкокапельный дождик, надоедливый, сизый, захватил даль. Взмокла лошадиная шерсть. Жирный кузов фаэтона чванно плакал. Серапион с козел хмуро косился на крыльцо, где прощался дед с Ознобишиным и Анной.

Сивобородый, ставший еще выше от длинной бурки, он говорил Ознобишину:

— Это мы ведь просто привыкли к земле, потому и живем. Ну, а попробуй только появись на земле кто-нибудь, кто побольше человека... Умер бы он от тоски в одночасье — и больше ничего.

Усталое лицо было у деда, и как-то больно отозвались его слова в Анне. Попали в тонкую глубоко спрятанную струну, о которой и не знала Анна, что она есть, а она была. Показалось вдруг, что не хотели рождаться *они, те,* прежние шесть, на эту землю, и потому и не родились.

— Останься, — дотронулась до него Анна. — Куда ехать?

Глаза у нее были испуганные, большие, требующие, молящие.

Дед долго смотрел на нее и сказал ей тихо:

— Вот кого мне жалко: тебя жалко... Этим я еще и жив.

Оглянулся на небо и землю в дожде и добавил:

— А ехать некуда. Это правда.

— Останься, поживи, конечно... Куда ехать, — отозвался и Ознобишин.

— Ехать некуда,— повторил дед.

И Маша, которая стояла тут же в своем маково-красном платье, звонко закричала Серапиону:

— Скорпион, отпрягай! Марш в конюшню!

— Ну, прощайте все же! — сказал, вдруг встряхнувшись от этого крика, дед. — Поеду.

— Куда? Не нужно ехать, — схватилась за его бурку Анна.

— Ехать тошно, — улыбнулся дед. — А ведь сидеть-то на месте еще ведь тошней... Поеду, уж так и быть, привычка.

И он уехал.

Сизый дождь глотал колокольчик, собачий лай, лошадиное фырканье, топот копыт и черный верх фаэтона.

— Почему все ездит дед? — испуганно спросила Маша. — Ему нельзя иначе?

— Нельзя, — подумавши, ответил Ознобишин.

И все трое вобрали в себя из этого заболоченного тучами неба и загрязненной дождем земли одну общую мысль: «Если бы куда-нибудь уехать! Если бы можно было куда-нибудь, во что-нибудь другое уехать!»

Переглянулись, передернули плечами от обступившей их сырости и вошли снова в придавленный к земле дом.

Глава шестая

1

Над полями, уползающими за горизонт, опоясанными длинными дорогами, логами, узкими оврагами, неслышно и невидно, но плотно и тяжело повисло нерожденное. Что-то хотела родить земля,— что? — не леса, не горы, не тучи,— что-то хотела родить и не могла.

Прижались к ней здесь и там усадьбы, деревни, села, растерянные на пустом просторе, робко подняли позолоченные головы церкви, принесло откуда-то с ветром и посеяло песни, унылые, как ветер, широкие, как поля, и пошла, шатаясь, эта голая, ничем не прикрытая жизнь изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год — одна и та же.

Куда скроешься в полях? отовсюду видно. Это поля ско-

вали для всех одну сплошную душу, и она прошла изгибами по всем,— у всех одна: яровое, озимое, толока, жук-кузька, засуха, град, баба, лошадь, праздники и посты, мир, тот свет, и надо всем этим распорядительный мозолистый неутомимый рабочий бог в небе.

Птиц — веселых лесных колокольчиков — нет в полях. Вороны, галки, грачи, и кобчики, и чибисы, и овсянки — все невеселые птицы. Даже у сусликов в полях грустные свисты.

Грустят весенние зори, грустят покосы, грустят, наливаясь, хлеба.

Весенние дни полей — дни истомно-буйных зеленых надежд. Почти нет веры, еле теплится тысячекратно обманутая и осмеянная, но от ласковой любви и она готова вспыхнуть пожаром. Силою теплых дождей напоен и храбро пыжится каждый угловатый ком чернозема. Взапуски тянутся отовсюду, спеша и смеясь, тоненькие трубочки былинок; выпускают из своей гущи жаворонков в небо; пьют ночные росы и тянутся выше, выше, по брюхо приземистой каурой сельской лошаденке и еще, и еще выше. Пока не остановятся вдруг, не оглянутся кругом и, испуганные, не начнут поспешно отцветать, желтеть и вянуть.

Там, где в летнюю пору под тихим солнцем вызревает, золотея, посеянное людьми и густы и тяжелы колосья,— там урожаю рады гумна, о нерожденном тоскуют поля. Прислушайся,—жалуются глухим горизонтам: «Не то!»

Спят горизонты, всюду одинаково брошенные, безжалостно точные круги. Обчертила какая-то темная сила — давно, спокон века, и ушла: кто снимет чары?

А когда остригут поля, как стригут нагулявших волну овец, сразу становится как-то ненужно и пусто, жалко, приниженно и робко, и у осенних туч, как милости, просят поля закутать их с головы до ног снегом, чтобы не видеть смеющегося над ними неба.

Какое страшное напряжение, какую неслыханную силу пустила в ход земля, чтобы что-нибудь большое выбросить из себя под ласку солнца,— и ничего!

Поля мои! Вот я стою среди вас один, обнажив перед вами темя. Кричу вам, вы слышите? Треплет волосы ветер,— это вы дышите, что ли? Серые, ровные, все видные насквозь и вдаль, все — грусть безвременья, все — божья тайна,— стою среди вас потерянный и один.

Детство мое, любовь моя, вера моя! Смотрю на вас, на восток и на запад, а в глазах туман от слез. Это в детстве,

что ли, в зеленом апрельском детстве, вы глядели на меня таким бездонным взором, кротким и строгим? И вот стою я и жду теперь, стою и слушаю чутко,— откликнитесь!

Я вас чую, как рану, сердцем во всю ширину вашу. Только слово, только одно внятное слово,— ведь вы живые. Ведь ваши тоску-глаза я уже вижу где-то — там, на краю света. Только слово одно,— я слушаю... Нет! Передо мною пусто, и вы молчите, и печаль ваша — моя печаль.

Поля-страдальцы, мои поля, родина моя, я припал к сырой и теплой груди твоей и по-ребячески крепко, забыв обо всем, целую.

II

Было шесть часов утра, когда выехал в поля Ознобишин с гончими и кучеренком Федькой.

Стояла свежая изморозь, шириной во все поля. Воздух от нее сделался сухим, стеклянно-звонким и ломким, как первый ледок на лужах.

С молодых тополей около каменной ограды еще не опали листья, и стояли тополи в сизом тумане дублено-желтые, как толпа мужиков в нагольных тулупах.

Все как-то чуть посутулилось и окрепло: конюшни, риги, деревенские избы, звонкие дороги и поля. Все как-то на глазах готовилось к зиме, точно глянцевитая антоновка, вымытая, твердая, отобранная впрок.

Солнце никак не могло пробиться сквозь густые сизые дымы, только обдавало их красноватым плеском, отчего у полей не было горизонтов. Было так странно молодо все — лошади, гончие,— так любовно охвачено свежим концом октября, так подымалось на дыбы, рвалось и визжало — даже ременные поводья, даже яркие Федькины щеки.

У Дяди под Ознобишиным гарцевал каждый точеный мускул, отрывисто билась каждая видная жилка под тонкой кожей, и на лошадь Федьки, горбоносого донца бурой масти, Дядя весело косился смеясь.

Тесно выехали вместе — черноглазый Федька в серой смушковой шапке и Ознобишин, но когда обогнули Сухотинку со стороны риг, Ознобишин направил Федьку с гончими далеко стороной, лешеполянскими парами, подождал, когда он пропал в тумане, потом исподволь пустил Дядю.

Дядя нес его радостно. Точно зеркала были у него слева и справа, так красиво держал он тонкую умную голову и лебедь-шею. Не сбиваясь, как под барабан в строю, четко давил мягкие кочки сухими ногами. Раздувал розовые

ноздри и оглядывался по сторонам, кому бы заржать на бегу звонко и весело.

Осенняя бодрость как-то сквозь пальцы рук прозвенела по всему телу Ознобишина, и тело стряхнуло ночное. Он видел, как с каждым шагом ширина полей без горизонтов заражает Дядю, как развертываются стальные пружины его ног, твердеют уши: что ни вздохнет — вольет в кованую грудь полведра густого осеннего вина, от которого и камни пьянеют.

Перемахнул через овраг с алыми глиняными боками и потом пошел иноходью по целине. Осеребренное жнивье внизу чуть дымилось; почему-то пахло хлебной опарой. Небо над головой белесо голубело, и сизые дымы неслышно разрывались и сползали вниз, а внизу вспыхивали, прохваченные солнцем.

Когда уходил из спальни Ознобишин, Анна спала и была в темноте неясной, как это солнце. Он вспомнил, как тихо-тихо, боясь дышать, он одевался, отворял тугую дверь и как в шестой комнате от спальни — в столовой — он ходил на цыпочках и вздрагивал, когда скрипела половица.

И теперь здесь, где он был один с полями, за самого себя, за свою любовь и страх стало стыдно.

— Ну, вперед! — зло крикнул он Дяде в самое ухо и, больно закусив губы, снизу вверх повернул трензеля.

Дядя шарахнулся влево, затанцевал и скачками, совсем простыми и вольными, как скачут неоседланные лошади, играя, кинулся вперед.

Ломкий воздух вокруг бурлил и звенел, расступаясь и падая вниз. Ознобишин упруго стоял на стременах согнувшись, чуть касаясь Дядиных ушей.

Золотистая Дядина шерсть смешалась с желтым жнивьем, частые копыта слились в гул — растворилась в свежем и бурном память о той, что осталась сзади.

«Я один, один я, один, один...» — быстро чеканила мысль, стараясь поспеть за бегом.

«Я один, один я, один!»

На межах торчал чернобыльник, хватался сухими стариковскими лапами, отскакивал и качался строго. В узкой теплой куртке было тесно плечам, но мысли здесь, на просторе, было так же тесно. Нагнув голову, жмурил глаза навстречу поднятому ветру и упрямо все чертил и чертил поля, как стекло алмазом:

«Я один, один я, один!»

Это вышло так неожиданно странно: кралась где-то за

конским бегом память,— и ничего не сделалось, и Дядя скакал, как в забытьи, а она настигла, хохоча бросилась в душу ярким пятном, и вспомнил вдруг Ознобишин, что не затворил, уходя, двери в спальне. Представилось, что, может быть, теперь, разбуженная светом и утренним шумом, проснулась и не может уже уснуть Анна.

С размаху остановил Дядю,— поехал шагом. Не было уже полей,— была Анна. Встала глубже и шире полей, нежная, тонкая, больная неутоленным материнством, вечно, сколько знал ее Ознобишин, рвавшаяся от опостылевшей своей жизни куда-то в новую, свою и не свою.

Святым и отчетливо страшным показалось это отсюда. Будущее сосало кровь того, что жило. Где-то невидно и неслышно — вон там, в тумане, в солнце, под жнивьем внизу — притаилось и сосет. И уйти от него нельзя, потому что оно везде. Обволокло землю всю сплошь, не забыв ни одного вершка пространства, плотно прижалось ко всему и сосет.

Ознобишин тоскливо оглянулся кругом и бросил поводья.

А сбоку слышно стало,— кого-то гнали. Болезненно, точно кололи их, вскрикивали на бегу то дальше, то ближе гончие: «А... а... а!..» — и шмелиным шелестом над самой землей гудел Целуй: связывал все крики толстой веревкой, чтобы не рассыпать их по полю.

По захлебисто-частому лаю слышно было, что гонят матерого зайца и что он хитро путает следы, а собаки неотступно заметают его следы своими: не бросаются наперерез, не окружают его стаей, только вьют сзади его те же самые, его же путаные петли, и никуда он не уйдет от них,— не может уйти: выбьется из сил и сядет, спрятав уши.

Вдали пропадающим рядом шли синие ветлы на дороге в Дехтянку, и затуманенно донеслась оттуда бестолковая стукотня пустых телег.

Дядя поднял голову, почуял там кобылу и высоко заржал круглыми перекатами, а когда отозвалась оттуда кобыла, заржал снова.

III

По сто пудов снега, мягкого и липкого, висело на каждом дереве в саду. Аллеи стали как коридоры из нежнейшего лилового мрамора. Выпал он ночью, этот снег, и теперь стало лукаво-затаенно везде, куда ни глядел Ознобишин.

Так и спрашивало что-то отовсюду широкоглазым мальчишеским шепотом: «А что? А что?» — и сияло в теплых изломах.

На липах были сплошные тяжелые рясы, на кленах скатерти, а яблони просто зацвели вдруг так пышно и густо, как не цвели весной. И пахло кругом свежими, бог знает где собранными, зимними ароматами, в тысячу раз более тонкими, чем запахи цветов.

Ни ночи уже, ни утра еще не было: было просто лилово все кругом — торжественно, тихо и молилось. А Ознобишин вышел с ружьем, заряженным волчьей картечью, и крался по-волчьи мимо людской и сарая, оставляя в снегу черные следы.

Снился путаный длинный сон ночью: забытые на дорогах кресты, ветер, сумерки, душный мелкий дождь и дед. Дед, наклоняясь, щекотал бородой лицо Ознобишина, и дедовы глаза смеялись над Анной. Эти сытые глаза, кругло засевшие в набухшие веки, простые человеческие глаза, ясные, как небо в мае,— они смотрели как-то сквозь дороги с забытыми крестами и смеялись над ним и Анной. В душном дожде не было видно тела деда,— может быть, этот дождь и был его тело,— не видно было ни ног, ни рук, ни плеч, только остро щекотала лицо борода, и глаза, загораясь откуда-то издали и медленно щурясь, жутко смеялись над жизнью, над ним, над Анной.

Когда проснулся к утру Ознобишин и присмотрелся к Анне, он увидел в первый раз, какая она страшная во сне. От болезни или от кошмара — почему-то двигала челюстью, дергала лицом и отчетливо сквозь тяжелое дыханье скрипела зубами. Лицо было опавшее, серое, глаза ввалились, как у мертвой,— и здесь в полусвете таким удивительно простым и ярким представилось Ознобишину, что можно поставить ружье прикладом на носок левой ноги и нажать курок носком правой, а картечь встретить открытым ртом.

В лиловой аллее снег был живой: шевелились тихо рясы лип и скатерти кленов; с яблонь то здесь, то там украдкой падали пухлые клочья. Все с головой окунулось в этот нежный настой из ушедшей ночи и непришедшего дня: густо и тепло было. Серыми пятнами расплылись в воздухе далекие петушьи крики из птичника. Кудлатая дворняга, бурая со спины и желтая к брюху, медвежеголовая и лисохвостая, откуда-то сзади неслышно подобралась к нему по его следам, заглянула снизу в глаза и мягко бросилась ему на грудь с тихим визгом.

По лиловому прошли синие влажные пятна и розовые изгибы. Отчеканился в разных местах темный, придавленный снегом переплет нависших веток. Какая-то мелкая птичка — синица или лозиновка — близко перелетела, слабо пискнув. И все думали деревья об огромном могучем зимнем покое, который спустился на них вот именно в эту ночь и ляжет прочно.

Анна!.. Лежала теперь страшная и скрипела зубами, борясь с кем-то темным во сне.

Ознобишин всмотрелся во все так внимательно, нежно, спокойно, как глядят прощаясь, и только теперь почувствовал, как глубоко любит он землю: и утро, и снег, и кудлатого пса, и петуший крик, и ружье с витыми стволами.

Точно повернулась какая-то ручка двери и открыла: нависли на сучьях лиловые облака, каких никогда не было раньше; говорилась сказка, которую говорит земля только детству, окутала душу теплотою, мудростью и неясным светом, при котором виднее глубь, и Ознобишин понял, что не нажмет курка пальцем правой ноги,— что нельзя этого сделать в такое утро.

По теплому снегу, по такому же, каким был он только в раннем детстве, пробрался он мимо сплошь закутанных кустов жасмина, чилиги, бирючины, мимо скамеек, покрытых снежными узкими пуховиками, шел, увязая, купаясь в снегу, падавшем с веток, и уже две кудлатых дворняги, Жулик и Шарик, путались за ним, застревая по брюхо и мотая круглыми головами; и слева из-за старой смутной решетчатой ограды ползло чуть слышное повизгиванье породистых поросят, этаких белых мордатых живчиков, копошащихся теперь в теплом хлеву; и сорока сорвалась откуда-то снизу, отчетливо застрекотала,— недовольно, страшно недовольно,— и — скок-скок — унесла длинный хвост в чащу веток.

А справа проглянули поля.

Мутно-матово-синие чуть выплывали из-за низкого неба. Простые и гладкие, загадочные, бездонно глубокие, близкие и родные поля... И Ознобишин сел на мягкую скамейку на отлете сада, положил рядом с собой ружье и смотрел, как они тихо выявлялись и раздвигались все шире-шире.

Собаки легли у ног.

Это была заутреня в старой сельской церкви, непременно деревянной, такой же, как в Сухотинке. Если вслушаться,— слышно бы было,— и Ознобишин слушал и слышал,— как пелась где-то здесь вблизи глубочайшая и красивейшая песня из всех, когда-либо сложенных богу:

«Слава в вышних богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

Издалека, ласково и робко вступали в русло песни тонкие, как кристаллы снежинок, детские голоса, оплаканные и чистые,— вились и падали, и густой синей волной,— вон тою, что была ближе к горизонту,— захлестывали их пожилые, в морщинах:

«Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемтися, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея».

Это было нестройно, если вслушаться лучше, и плохо спелись, и слишком туго разгибались голоса, и свечи казались тусклы, а сторож Михей, затопивший печь в притворе, поставил туда подогреть миску вчерашних щей, и домовито пахло ими, ладаном и овчиной, но отчего-то не было для Ознобишина вот теперь, когда он смотрел и слушал, ничего святее и выше. И было ясно еще, что Михей, тот же самый, хлопотливый, низенький старичок с мощной красной лысиной во все темя, стоит теперь на колокольне и звонит, а звуки плывут вниз по стенам и уходят в землю, и земля гудит под ногами — вся земля, вместе с озимями, селами, дорогами, гудит, как огромный колокол навстречу солнцу:

«Во свете Твоем узрим свет».

Шел мороз вместе с солнцем, только выше его. Красноватый столб прямиком выполз в небо. Долго выползал, увязнув в дымчатой сини. Вот закруглился и воткнулся концом в небо, концом в поля. Потом дуга красного круга, продолговатая, узкая, перерезала столб вверху,— вышел крест.

Над сухотинскими, или дехтянскими, или какими-то еще, или надо всеми полями сплошь встал и стоял отлитый из холода крест. Долго смотрел на него Ознобишин. Улыбнулся, поднялся, отряхнул снег. Почувствовал гулкую дедовскую силу в плечах; взял ружье... Эй, погоди еще ставить крест над полями!

Прикинул ружье на прицел, так что мушка пришлась в самом перегибе дуги, и выстрелил. Куда-то в поля ушла картечь,— крест остался. Проснулись гончие. Молодой волкодав Приемыш завертелся по снегу, нюхая во все стороны, лая, взмахивая ушами. Целуй строго смотрел на Ознобишина одним глазом и думал. Остановился и поглядел в его сторону и кругом бородатый Михайло-сторож; шел куда-то с вилами,— оставил вилы, медленно снял шапку, поклонился. С вяза, около, от ухнувшего вы-

стрела сполз и упал широкий ком снега; мягко чмокнул снег на земле и рассыпался синенькой кучкой; а немного погодя с соседней ветки упал другой.

— Ты плохо спала... Что-нибудь снилось?— спросил Ознобишин Анну.

— Нет... Не помню,— может, и снилось... А что?

Она уже встала, оделась, только волосы были нечесаны и лицо опухшее, заброшенное, желтое.

— Скрипела зубами...— сам скрипнув зубами, ответил Ознобишин.— И вообще как-то так... Может быть, доктора нужно?

— Нет, не нужно.

Всмотрелся Ознобишин: нечеловеческая гордость стояла у нее в глазах, суживая веки.

«Сила?— спросил себя он и ответил:— Да, сила,— и добавил, пугливо улыбнувшись:— Эй, погоди еще ставить крест над полями!»

— Стрелял в кого-то?— спросила Анна.

— Да, сороку убил,— ответил Ознобишин и холодными с воздуха губами поцеловал ее в теплый лоб.

IV

Снега лежали палевые, розовые, голубые. Палевые они были на плоских низинах, розовые — на взлобьях, голубые — под карнизами сугробов.

В густом синем инее липы возле дома стояли пухлые и важные — боялись пошевельнуться. Галки на их верхушках чернели нахохленные и строгие и никуда не улетали, хотя внизу и ходили люди. Снег был густой, холодный и протяжно мурлыкал под ногами. Пахло снегом.

Небо стояло страшно высоко и было чуть синим, и какое-то наивное яркое солнце, небольшое и ничем не прикрытое, хотело куда-нибудь спрятаться от следившей за ним луны и не могло: луна притаилась где-то над ним вверху и глядела.

Это было после обеда в Николин день, когда Ознобишин выезжал из конюшни на широких санях, а Анна и Маша стояли около крыльца, тепло одетые для катанья, и ждали, когда он подъедет.

Еще с вечера гадали, что будет в этом месяце: написали на двух билетиках — на одном «счастье», на другом «несчастье» — и положили под образами, а утром, до чая,

вынули наудачу. Вынимала Анна, вышло «счастье», и теперь ей казалось не страшно, что на дороге будут ухабы, резкий ветер, что у лошадей, у пары стоялых огромных жеребцов, слишком яркие глаза на звериных, уже вспененных мордах.

Вот они оглянулись оба на крыльцо и смотрят; густо пахнут конюшней; взматывают головами; мелко звякают бубенцы. Вот уже грызутся друг с другом и рычат, как львы. Гривы у них толсто-свалявшиеся, высокие, и лоснится шерсть, вороная, с голубым отливом.

Ознобишин по-кучерски намотал на руки вожжи, перегнулся:

— Вот прокачу на горячих... Эх ты!..

Крикнул как-то так дико и с такой надсадой, что стало жутко. Жеребцы прянули ушами и вздыбились от крика. Стоял около Серапион, смотрел узкими киргизскими глазами, скалил зубы.

— Я не поеду! Я боюсь! — вдруг испугалась Анна.

— Эх т-ты! Вот прокачу! — чуть тише крикнул Ознобишин.

Напряженное лицо его от выпитой за обедом водки было красно, и бесмысленно выкатились из него наружу почему-то дерзкие, холодные глаза, как преломившие солнце ледяшки.

— Ну, идем! Идем же! — засмеялась Маша и потащила Анну за рукав.— Ведь счастье вышло!

Палевое, розовое, голубое нахлынуло на Анну, и две пары глаз, таких давно знакомых, карих, теплых у Маши и светлых, дерзких у мужа, забросали ее неясным, мягким, как хлопья снега. И *то* в ней тоже радовалось чему-то: чудилось, что хлопало ручонками.

— Они обомнутся — ничего, — сказал Серапион. — Вы — только с вожжами ровнее, барин. Как, значит, пустили их в полвожжи...

— Не учи! Что учишь? — перебил Ознобишин.

— Я не учу, барин... зачем учить?..

Серапион обиделся и замолчал.

Оглянувшись зачем-то кругом, осторожно и тихо Анна села в сани рядом с Машей и укутала ноги в медвежью полость.

Так ясно почудилось, что ему, скрытому в ней, хочется посмотреть поля.

Ознобишин сыто крякнул, как крякают старые огромнобородые кучера, откинул назад голову в остроконечной

лисьей шапке и откуда-то изнутри выжал тесное: «Этьно!» — и шевельнул вожжами.

Жеребцы рванулись сразу вбок, один направо, другой налево, так что Анна ахнула и подалась вперед, ухватившись рукой за Машу, потом прижалась к своим коленям и сидела так, онемев.

Полозья внизу чертили и резали, и это отдавалось во всем теле. Белое волочилось мимо, вырывалось из-под ног чудовища впереди, летело клочьями с обеих сторон, а чудовище было многоногое, черное, как в детской сказке, звонкое, с горячими ноздрями.

Остро пахло им, и кожаной сбруей, и снегом и, то отставая, то нагоняя сани, впивалось в Анну: «Что же это? Зачем я еду?» А рядом Машино лицо все напряглось от восторга, и над самой головой нависла, отвалившись, спина мужа.

Мелькнула сбоку красная кирпичная рига, потом ворота с разбитыми львами, потом завод. Завод зарябил в глазах сквозь снежную муть заплаканно-черными окнами, и вспомнился малый Игнат, как лежал он под лесами разбитой грудой. Почему-то легче стало,— не могла объяснить Анна.

Снега бело распахнулись со всех сторон. Бег у саней был легкий, плывучий. Жеребцы звериным безудержем брали поля. Что-то широкогрудо екало в них при каждом шаге.

— Милая! — жалась к Анне Маша с какими-то пунцовыми от счастья глазами.

Анна вместе с запахом снега, сбруи и лошадей впитывала сочные детские губы Маши и разрезы больших радостных глаз. Думала почти вслух: «У меня были такие же... И у него будут...» Знала уже по движениям, что будет мальчик; мысленно звала его Ваней. Будет такой же, как Маша, белый, сочный, точно яблоко царский налив. Не могла удержаться и, наклонившись, долго целовала Машу в холодные щеки и губы. Слушала, как кругло движется он в ней, и представляла, что его целует.

Бурым хвостом раскинулся за сугробами порядок сухотинских изб, весь мягкий и теплый в упругом воздухе. Лилово дымили трубы шестью столбами.

Вот повернула круто дорога и осталась одна, только одна среди тополей... Тянула поземка, выела в насте узкие частые ложбинки, точно покрыла черепицей. Поля и небо.

Охватило белым простором, и — опьянел Ознобишин. Обернувшись, улыбнулся всем мясисто-красным лицом, поднял над лошадьми вожжи, зачем-то сказал, напрягаясь: «Аль мы у бога последние?» Просто сказал, и голос у него стал вдруг полный и новый, отчеканенный где-то в глубине и струнный.

Бывает так, что захочет вдруг забыть себя человек — все забыть: то, чем жил и что прожил; то, чего боялся и что́ любил: свою походку, свое лицо, свой голос, свое имя и имя того, кто с ним рядом, огромный опыт долгих лет, мудрость жизни,— все опрокинуть, растоптать и забыть.

И по голосу и по лицу мужа Анна догадалась о чем-то, спросила испуганно:

— Что ты?

Ознобишин поднялся на облучке, вытянулся над лошадьми, гикнул, вправо и влево со всего размаха ударил концами вожжей.

Анна еще не успела осмыслить, как бросилось срыву все куда-то вперед, точно в глубокую снежную падь с откоса,— захлестнуло, заухало, закружилось,— шумно в ушах, мутно и мокро перед глазами. Вскрикнула и сама не слыхала крика.

Жеребцы ударили задом и понесли.

Огромная сила, скопившаяся в них в темноте конюшни, точно заржала во всю пасть, швыряя сани по ухабам. Высоко подняты головы навстречу полям, и в перебое копыт ежесекундно опережающая сама себя радость, и буря бега, и бешенство, и клокочущая страсть разметать в мелкие щепки все, что с боков и сзади.

Анна вскрикнула раз и два. Оглянулась белыми глазами. Ясно вспомнила, что нельзя пугаться, и, когда вспомнила, осела, сжалась, стиснула зубы.

Порвались постромки. Низкие ветловые сучья сбили шапку Ознобишина, больно ударили по лицу Анну и Машу. Засыпало снегом глаза, оледенило щеки. Слышала, как хотел, отвалившись далеко назад, остановить лошадей муж и не мог, как вдруг начала звонко плакать Маша, а сама тихонько отстегивала, согнувшись, полость и придвигала ноги к борту саней.

Старалась дышать спокойно и ровно и думать о чем-то другом, о ненужном: об Игнате, о двух билетиках, о крещенской воде. Только бы не испугаться, потому что ее испуг был бы его смертью.

Сидела сжавшись, сдавивши зубы, и ждала, и когда накренились сани в ухабе, вбок и вперед, быстро и ловко, с непонятной легкостью лунатиков, выбросилась из саней в сугроб, мягко упавши на бок и окунувши в снег руки до плеч. Смутно видела повернутое к ней лицо Маши, голову мужа, сбившийся ковер саней. Унеслось куда-то все в жуткой скачке, а она осталась.

Снег забился в рукава и холодно таял там; синий, сплошной лежал кругом. Солнце пряталось от луны в небе. Пропали сани в сугробах.

А в Анну уже кралась уверенность в том, что страшное прошло, что он не почувствовал ни падения, ни испуга, что он только устал от свежего воздуха, снега и скрипа полозьев и хочет спать...

— Спи, мой хороший мальчик!

Охватила его руками и слушала, согнувшись. Не было ничего кругом: забыла о Маше, о муже, о себе самой,— просто была его колыбелью. Подумала, что нужно домой: лечь в мягкую постель и лежать долго. Поднялась и, тихо ступая, пошла по раскатанной дороге. Шла, размеренно качаясь, как люлька в избе...

— Спи, мой хороший мальчик!

Еле видно было верхушки лип и крышу завода. Не смеркалось еще, но уже хотело смеркаться. Ветер стал резче — гуще и синей поземка. Холод плотно смыкался со всех сторон. Анна стала чувствовать боль от ушиба в правом колене и снег, растаявший около локтей. Но шла деревянно и упрямо, вся остывшая снаружи и теплая внутри, как снега, под которыми хранится озимь.

Вот спит он теперь в ней, как озимь. Спит спокойно.

— Спи, мой хороший мальчик!

Почти около самых ворот со львами встретился на клячонке сухотинский мужик, старик Онуфрий. Снял желтую древнюю шапку, поздравил с праздником, и как-то ясно стало Анне, что вот, кроме нее, есть старый Онуфрий и у него праздник, и так крепко закупоренный ею испуг вдруг победно хлынул и заставил ее вздрогнуть и стать.

— Лошади разбили, Онуфрий,— тихо сказала она старику.

— Ась? — потянулся к ней старик.

— Лошади! Лошади! — закричала Анна.— Кататься ездили... Понесли... Я, и сестра, и барин!..

— А-а! — протянул Онуфрий и закивал головой.

Придвинул к ней красное, облохмаченное клочьями

волос лицо с мутными глазами и обледенелым ртом и ждал еще слов.

— Барин там... и сестра там...— махнула в поле Анна.— Понесли их... Лошади понесли!

— Удержуть,— сказал старик.

— Что ты?

— Говорю,— праздник ноне, езда... Будучи насустречь какие ехать,— удержуть! — громче и беспокойнее заговорил старик, растопырив правую руку. Подумал и добавил уверенно:— Стренуть!

В усадьбе липы стояли такие же спокойные и важные, лиловые и тяжелые, и галки возились перед сном на их верхушках.

V

С забинтованной и подвязанной, прокушенной лошадью рукою, лихорадочно дрожа, понурый и бледный, Ознобишин сидел ночью около постели Анны и говорил:

— Это, должно быть, потому, что вся жизнь не то, вся жизнь какая-то подделка под жизнь, а жизни нет на самом деле... Ты меня прости, Анна. Ведь изо дня в день одно и то же, ведь все ждешь и боишься, боишься и ждешь, а жизнь-то, может быть, только в одном — крикнул: «Эх ты!» — и бросайся вниз головой, на рога к черту... Может быть, потому я и винокуренный завод строю, что пьяному море поколено... Я не знаю, зачем его строю. И вообще, что я знаю? И кто-нибудь знает?

— Тебе не больно? — спросила Анна.

— Нет, это что!.. А вот ты... ты меня прости.

Ознобишин притянулся к ней головою и добавил, стиснув зубы:

— Я их завтра же до смерти загоню! До смерти! Обоих! Честное слово!

— Оставь! Зачем? — испугалась Анна.

— Нет, как же я мог?.. Если бы я один или только с Машей, а то ведь ты, ты была... Как же я мог?

— Забыл? — медленно спросила Анна.

Резким движением села на кровати. Небольшое овальное, чуть оплывшее, как всегда у беременных женщин, лицо ее покраснело и показалось Ознобишину молитвенно-огромным, как в детстве лики икон.

— Забыл, думаешь? Нет, не то...— отвел от нее глаза Ознобишин.

— Ты его убить хотел? Говори, убить хотел? — спросила она жестоко.

Ознобишин думал сказать что-то примиряюще теплое, но такое новое лицо стало у Анны, что он молчал.

Странное таинство совершалось между ними. Поля за окнами не спали в снегу: они просочились отовсюду к этому ненужно закутанному большому дому, заняли подполье. Сквозь невидные щели стали вдоль стен пустые и иззябшие, точно пришли искать защиты у тех, кто не мог защитить. И всей душою сплошь прикоснулись к ним Ознобишин и Анна.

— Что ты говоришь? — похолодел Ознобишин, опутанный гибкими глазами Анны.

На свету ночника глаза эти дробились, казались мельче, больше числом. Десятки глаз, мгновенно увидевших в нем что-то, о чем он и сам не знал.

Прокушенная рука ныла.

— Ты хотел его убить, да! — уверенно повторила Анна. Это показалось ей таким страшным, страшнее всего в мире, что она сидела окостенев; только белые губы шевелились: — Ты хотел его убить, потому что... потому что тебе опостылело...

— Что опостылело?

— Все! Я... деревня... жизнь... вся жизнь... и я, я, я..., такая, такая вот!..

Она оглянула свой живот и тонкие руки, упавшие вдоль колен, потом задрожала крупной зыбкой дрожью.

— Нет, ты его не убьешь! Я не дам, не дам!.. — вскрикнула и потянулась к нему головой и руками, всем телом. — Не дам убить!

Гневная и страшная сила зажглась в ней, тонкой и слабой, и горячо вспыхнула белая кожа на лице, так что глазам стало больно.

— Постой. Что ты?.. Не то это... Зачем?.. — говорил, отшатнувшись, Ознобишин.

— Я знаю, знаю! — кричала Анна, и Ознобишин чувствовал, что вот она стоит странная, как древняя колдунья, и читает в его глазах своими какими-то непрежними глазами. Читает то, как темны ночи, как долги дни, как однажды, тихим утром, хотел он пойти и застрелиться где-то в саду в глубокой аллее и как хотел сегодня сломать голову и себе, и лошадям, и всей жизни, какая была около. Как-то смутно и пьяно, но хотел именно этого, и теперь вспомнил.

— Пойми, не то ведь это, не то, — возбужденно повторял

он.— Ведь это седьмой ребенок... Кто это,— черт или дьявол,— кто это смеется? Разве мне легко? Почему те умерли? Кто ответит? А если ответит точно, до последней запятой точно, разве от этого будет легче? Разве легче?

И здоровой правой рукой Ознобишин схватил стул и что было силы, скрипнув зубами, ударил его ножками о пол: ножки хряснули, подломились.

— Зачем ты? — вздрогнула Анна, побелела снова и еле слышно сказала, что думала: — Ведь ему уже почти семь месяцев,— те моложе были.

— Он... тоже умрет! — глухо сказал Ознобишин.

— Нет! — твердо сказала Анна.

— Умрет! — повторил он.

— Нет! — сказала она еще тверже и качнула упрямо головой.

— Так, значит, для него я строю завод?

— Для него! — качнула головой Анна.

— Вот для кого!.. Теперь я понял.— Ознобишин улыбнулся медленно, сначала болезненно и мутно, потом яснее. Посмотрел прямо в глаза Анне и спросил: — Я хочу его послушать... послушать, как он там... Можно?

И недоверчиво, но уже по-детски просто глядя на него, Анна заботливо сказала:

— Только не дави головою. Можно.

И легла, обнажив живот, и Ознобишин, наклонившись, осторожно, как степные охотники к земле, припал ухом к тому месту, где был он, и долго и свято слушал.

— Поцелуй его! — приказала она.

Ознобишин нежно прикоснулся к ней губами.

— И меня поцелуй!.. И руки... и ноги... и грудь... Согрей меня, я озябла. Милый, озябла!

Целовал ее, такую хрупкую, такую дорогую, застывшую на холоде жизни, и слушал, как с огромных закутанных в снега полей подбегал скучный ветер и лениво толкался в окна.

Как-то несколько дней спустя Анна вошла в комнату столетнего с букетом оранжерейной герани. Точно вымоченные в теплой крови,— такие красные, вещие были цветы. Запах от них шел густой, кадильный. У Анны праздничный благовест гудел в душе. Утро еще не распустилось в день, и синие тени бродили по стенам.

Столетний не спал. Когда вошла Анна, он повернул к

ней глаза, маленькие и жмурые под огромным черепом, и внимательно оглядел ее, и цветы, и двери.

Лежал он так же, как всегда, высоко подняв согнутые под одеялом колена.

Анна ставила цветы медленно, полная смутным удивлением к этому, прожившему такую долгую жизнь, и, когда посмотрела на него сбоку,— показалось ей: поднялась рука столетнего, указала на ее крутой живот, и спросил он:

— Правнук?

Спросил не по-могильному глухо, а молодо, отчетливо, весело даже:

— Правнук?

Оглушенная Анна обернулась к нему, тихо, боясь вздохнуть, но по-прежнему, как прикованные, лежали на одеяле кипарисные руки, ввалившиеся губы были обидно стиснуты, только глаза глядели на нее в упор — внимательно, просто и без мысли.

Глава седьмая

1

То, во что не хотели верить, но чего ждали тайно, началось просто и зловеще.

Утром, когда небо было густое от снежных туч и воздух волжкий, как это бывает всегда перед мокрым снегом, и что-то давило в низких комнатах так, что тяжело было дышать и ходить,— Анна ощутила, вставши с постели, старое, такое знакомое, такое страшное: ребенок отяжелел так же, как прежние шесть, и почти не шевелился.

Прислушалась, онемев. Поймала широкими глазами тусклые окна. Медленно, но до крови прокусила нижнюю губу. Потом выкатились на глаза крупные тонкие беззвучные слезы; точно хранились они где-то глубоко, непохожие на все другие, и теперь настало им время выйти и взглянуть на свет.

Анна сделала в спальне пять-шесть торопливых шагов. Остановилась. Прислушалась. Резко билось сердце,— только свое,— не его сердце.

Ознобишина не было. Он встал рано, и Анна видела сквозь сон, как он долго сидел около ее постели, глядел на ее тонкие руки, потом оделся и вышел.

По пустой комнате, как по звериной клетке, она мета-

лась, останавливалась в углах, сжимала высокий живот руками, слушала. Была только тяжесть,— не та, радостная, а новая, больная тяжесть, и страшное сознание, что он умирает... не умер еще, жив еще, но умирает, умирает — умрет.

И когда вспыхнуло в ней это неотразимо ярко, она вздрогнула всем телом от ужаса, вскрикнула и поседела.

Как была неодетая, бросилась из спальни куда-то к людям, которые должны были спасти.

Страшная, широкоглазая, белая, тонкая,— но с выпуклым тяжелым животом, хлопая дверями, бросалась она из комнаты в комнату и кричала:

— Акушерку! Ради бога!.. Доктора! Доктора!

Комнат было много, таких пустых, с серыми окнами.

— Ради бога! Кто-нибудь! Кто-нибудь, ради бога! — исступленно кричала Анна.

Уходили мгновенья, отрезаемые шагами, только мгновенья,— и никого не было в комнатах: только двери хлопали и скрипели,— комнаты молчали.

И в столовой, где на длинном столе белели стеклянный кувшин с парным молоком и тяжелая серебряная чашка, из которой пил Ознобишин, Анна остановилась, согнулась от внезапной, такой знакомой боли и, схватив чашку, визгливо воя, швырнула в окно. Зазвенели разбитые стекла, и со двора вбежала красная от холода с ведром ледяной воды Катерина.

Опустившейся на диван Анне показалось, что у нее лицо в огне, что нет никакой Катерины, что это ворвался клок красного пламени, распустивши от себя внизу полотнище дыма, что стекла все еще лопаются, звенят, что в доме пожар, что надо спасать ребенка.

Анна лежала еще в забытьи на диване в столовой, когда поднялась на ноги вся усадьба. Точно поняли все, что только этой надеждой, слабой надеждой на чудо, и держалась тут жизнь и вот теперь готова рухнуть.

Сам Ознобишин, запалив лошадей, скакал за акушеркой в Малую Дехтянку и за доктором в Большую.

Акушерка, рослая плотная немка в синих очках, с солдатским шагом тяжелых ног, донага раздела Анну, провела шершавыми пальцами по ее покорному телу и спросила, плотно чеканя слова:

— У вас есть по-оли внизу бруха?

И Анна ответила, что боли есть, что все боль, что все горит в ней, но он жив еще,— только нужно что-то сделать,

чтобы он вышел живым: если пробудет в ней еще один только день — умрет.

Объяснила это торопливо, приподняв голову и сияя красными пятнами на щеках, а немка твердо отвечала ей, чуть кивая:

— Д-да! Д-да!

И медленно закатывала рукава на толстых руках.

Грели воду. Приносили и выносили тазы. Со всей усадьбы в дом сошлись любопытные женщины; толкались на кухне, подбирались тихонько к дверям спальни, все порывались что-то делать и слушали и спрашивали шепотом Машу.

Когда Ознобишин привез доктора, угрюмого старого человека, и ввел его поспешно в спальню, он не узнал Анны. Того, что он привык осязать в ней взглядом, детской боязливости, стеклянной хрупкости, не было, осталась только ее прозрачность. К широким глазам, к тонкой коже лица и рук, к каждой маленькой, издали ясно видной жилке прихлынула изнутри страшная жажда чуда, пустыня жажды... не за себя, за него,— это знал Ознобишин.

Четверо было, кроме нее, в спальне: он, доктор, немка и Катерина,— и за всех хваталась она жуткими огромными глазами, как железными крючьями.

Ознобишин судорожно и неловко, как повешенный, поводил шеей, слезилось лицо Катерины, на сырых щеках акушерки засквозила растерянность, у доктора заметно дрожали руки.

Сквозь окна протискивался в спальню какой-то понизовый свет: это светили снега полей, а не солнце,— подошли и глядели поля, сдвинувшись со всех горизонтов.

Открытый всем, кругло лежал вздрагивающий живот Анны, а под ним, еле сдерживая его тяжесть, звучно дышала она и спрашивала всех глазами. Отворачивалась Катерина, опускал голову Ознобишин, ненужно заботливо мотала длинный бинт акушерка.

Доктора никогда не видала раньше Анна, и потому, что не видала, думала, что он спасет.

У него был такой строгий сухой нос, и резкие выпуклые брови, и седина, нелгущая седина в волосах. Пугливо-доверчиво вглядывалась в него Анна, боялась спросить и хотела спросить, и когда спросила наконец, шевеля с трудом губами, то испугалась.

— Лежите спокойно! — приказал доктор.

— Он не умер еще. Я знаю... Вы думаете, что он мертвый? Живой! — вопросительно, спеша говорила Анна.

— Конечно, живой! Кто же говорит, что мертвый? — отозвался доктор.

И, повиснув на нем глазами, Анна увидела, что он, с такой нелгущей сединою, солгал.

Но нельзя было поверить в то, во что было бы безумно верить: Анна откачнулась ото всех и сказала, улыбнувшись:

— Да что вы все думаете, что он мертвый? Ведь он живой!.. Я ведь чувствую, что живой!..

Улыбнулась, но на ее тихую и хитрую, как у помешанных, улыбку посмотрели с испугом.

Тогда началось последнее.

Анна нервно провела рукой по животу и сказала просто и твердо:

— Нужно разрезать здесь и его вынуть.— Чуть сдвинула брови и смотрела на доктора в упор.

— Этого нельзя сделать,— сказал доктор, передернув плечами,— и не нужно... Зачем?

— Нужно! — закричала вдруг Анна, поднявшись.— Пусть я умру, пусть умру,— он жить будет. Не смеете вы! Должны вы! Отравится он во мне!.. Умрет!.. Как вы смеете! Режьте! Сейчас же режьте!

— Анна! — сказал и отвел глаза Ознобишин.

— Мне все равно! Все равно!.. Палачи вы! — исступленно кричала Анна; голос стал круглый и звонкий, как стеклянный шар.

Вскочила и бросилась на шею к этому чужому сутулому старику.

— Голубчик! Доктор! Я вас прошу! Прошу вас! Мне все равно ведь: не жить мне! Разрежьте и выньте. Голубчик!

Все пыталась поцеловать его в сухую обветренную щеку, и все отдергивался он, сдерживая ее руками, бормотал что-то, притворно сердился, упрашивал лечь.

Подошел Ознобишин с акушеркой,— и он, чуткий и свой, и она, тупая и чужая,— оба одинаково лишние и немые.

И Катерина с испуганным простым лицом наклонилась к самым ее глазам и сказала, как говорят малым детям:

— Что вы, барыня, что вы! Ведь он все равно уж помер, зачем же резать?

Охватили, не выпуская, боли рождения и тянулись долго. К вечеру Анна родила мальчика. Ребенок был мертв, как прежние шесть,— истощенный, безобразный, легкий на вид.

— Легковоздушный какой! — соболезнующе покачала головой Катерина.

II

Около месяца еще прожила Анна, но жила уже странной сонной жизнью. Онемела; в доме стало двое немых, и дом сделался тихим-тихим: весь в снегу, низкокрыший, ненужно большой и беззвучный.

Ни кровинки не осталось на лице Анны. Какая-то бестелесность, которая пряталась в ней всю жизнь, теперь вышла и хозяйственно заняла все уголки. Руки стали вялые и легкие, еле переставлялись ноги, и ничем не победимый холод столпился около ее кровати и замораживал в ней память, желания, мысли. Кутали ее в теплые одеяла, целыми днями топили печь,— холода нельзя было выжить.

По утрам, просыпаясь раньше ее, Ознобишин часами сидел около ее постели, следил, как она дышит, терпеливо, совершенно забывая о себе, ждал, когда она повернет голову и взглянет. Думал о длинной зиме, о заводе, о странной болезни этой близкой ему женщины с такими ясными жилками на руках, как будто нет у нее кожи.

Когда же она просыпалась, он радостно целовал ее, полную ночным, бережно целовал и ждал, что она скажет. Но она с недоумением оглядывала его, и спальню, и новый день, который зачем-то нужно было ей прожить, потом засыпала снова.

Приехала проведать ее мать Феодора,— и на нее смотрела, как на новый день, и не слушала, что она говорила: засыпала или притворялась спящей.

Притихла и Маша,— как-то вытянулась и выросла, а глаза стали строже.

— Что с ней? — тихо спрашивала она Ознобишина об Анне.

— Не знаю! — отвечал он.

— И никто не знает?

— Никто не знает!

— Может быть, доктор знает?

— Нет, не знает.

Маша задумывалась и спрашивала шепотом:

— Она, должно быть, помрет?

— Помрет,— твердо отвечал Ознобишин.

Он представлял чудо: выздоровела и снова забеременела Анна и снова ждет ребенка,— но это было уже так жутко мучительно, что он вздрагивал и добавлял:

— Непременно помрет!

И когда Маша спрашивала:

— Она, должно быть, скоро помрет?

Он уже уверенно, уже не думая, отвечал:

— Скоро!

И Маша уходила плакать в свою комнату, он — в свою.

III

Умерла Анна утром. Ознобишин видел, что она проснулась, так же, как всегда, в недоумении оглядела его, спальню и тусклый день и потом умерла, точно смертельно испугалась, что приходится прожить зачем-то еще и этот лишний, совершенно лишний день. Умерла тихо, как уснула.

Тот холод, который все время жался к ее кровати, теперь со всех сторон хлынул в нее, как в крепость с разбитыми воротами: остановил сердце, отяжелил руки, откинул голову, ровно и прямо вытянул ноги. И не выходил уже из нее,— так и остался в ней, холод зимних полей, покрытых снегом.

Труп обмыли, одели в белое, положили на стол под образами.

Ночь, которую провели около мертвой Ознобишин и Маша, была странная ночь, очень долгая, тихая и пустынная, как дороги зимой.

Читать над покойницей привезли из Ольгиной пу́стыни двух монахинь, но они только что перед этим приехали в монастырь: читали над другим покойником,— устали и отпросились спать. Тут же в соседней комнате легли и уснули, оставив на столе закапанную воском рыжую книгу.

Садовник Илья принес корзину белых, лиловых и розовых гиацинтов, тихо потоптался у двери, чуть кашлянул в руку, перекрестился три раза и тихо вышел.

При зажженных в разных концах комнаты восковых свечах, при этом болезненном, точно все время умирающем, оранжевом свете Ознобишин и Маша тихо раскладывали цветы около тела Анны. И когда легкое, как у полевого жаворонка, тело все окропилось нежными цветами, показалось обоим, что это не цветы, а тело пахло — святым, нерассказанным, весенними полями.

Отошли в дальний угол — сначала Ознобишин, за ним Маша, и долго смотрели на Анну; когда переглянулись потом, то Маша увидела, как странно помолодел от горя он, а он увидел, что намного старше стала Маша.

Анна была вся прямая и белая, с легкими излучинами на лице, окрашенными от свечей в желтый цвет, и Маша поняла, почему сказал Ознобишин:

— Если из ее праха родится вдруг молния, кто об этом узнает?.. И она не узнает.

— Зачем над покойником читают? — спросила Маша.— Это нужно?

— Не знаю,— сказал Ознобишин и добавил: — Это что ж... это хорошо, что читают.

— Я буду читать,— сказала Маша.

Она развернула книгу; славянские буквы, крупные, четкие, расползлись перед глазами, как живые, потом бойко сползлись в живые строчки.

— Нужно с начала читать? — спросила Маша.— Или как-нибудь можно?

— Как хочешь,— ответил Ознобишин, но тут же почему-то испугался того, что сказал, точно обидел этим мертвую, и добавил поспешно: — Конечно, с начала нужно, как же еще? Если хочешь читать — то с начала...

Он прошел, крадучись на носках, возле самой стены, сырой, с синими от белых ставней окнами, и сел в углу.

На стене напротив, странные при свечах, висели и мигали портреты. Из потускневших рам, нигде уже не отливавших золотом, они выявлялись просто, точно глядели в окна того света. Языки свечей и желтые круги от них мутно плавали перед глазами Ознобишина, и оттого портреты колыхались.

— «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, на седалищи губителей не се́де...» — начала читать Маша.

Голос у нее был робкий, читала она сбивчиво, иногда ставя ударения не там, где надо.

На дворе,— слышно было,— настойчиво, мокрым плывучим лаем лаяла собака, и ветер упрямо скреб полку крыши.

Анна лежала так, что видна была Ознобишину вся со сложенными на груди руками, и Машу он видел перед старым аналоем тоже всю — круглое лицо, трудно поднятые брови, гладкий причес.

Жуткое сходство находил Ознобишин в этой совсем и навсегда умершей, до последней мысли изжитой, и в этой, начинающей жить. Даже робкий, запинающийся голос был точно не ее, а Анны; точно обронила она его, уходя из жиз-

ни, и звонкая Маша, сорванцом летая по комнатам, его нашла.

Все хотелось остановить Машу, но так же трудно, как начала, она читала дальше:

— «Мнози глаголют: кто явит нам благая? знаменася на нас свет лица Твоего, Господи...»

И таким испуганно-ясным казалось Ознобишину, что вот уже расплывается в желтизне свечей Маша, что уже нет почти и не будет Маши, станет Анна.

Зачаровывали, колдуя, поскребыванье ветра, хлипкий лай собаки, странные слова, такие большие с детства.

Напряженно вытянув шею, вгляделся Ознобишин в портрет матери. В черном чепце с кружевной наколкой и в черном платье, страстотерпицей глядела мать. Не видал этого раньше Ознобишин, но теперь он чувствовал неотторжимо, что такою и была она всегда.

Чуть дрожа, он встал и так же крадучись подошел к портрету вплоть, как подходят просить благословения. Сквозь копоть времени, сквозь видные краски и холст глянула ему в душу страстотерпица Анна.

Рядом с нею висел портрет отца Ознобишина, убитого бешеным быком,— ярко взятое, резкое бритое лицо с прочными щеками. Но немного дальше, у косяка дверей приникла к стене бабка, первая жена деда. В капоре, подвязанном розовыми лентами на голой шее, высоколобая, тонко вылепленная каким-то художником, вполоборота, точно на ходу встретилась глазами с Ознобишиным. Хоть бы одна надменная черта у этой крепостницы: не было даже сытой улыбки. На молодом, умиляюще красивом лице сиреневые сумерки, вечер и тоска.

Он обернулся, долго смотрел на мертвую, потом на портрет бабки: две Анны.

Пол начал холодеть под ногами; холодная неловкость обвила пальцы рук,— это шло от покойницы. Маша, уже вся покорная чему-то большому, ушла в кисею кадильных слов.

Монахини за дверью спали заливистым теплым сном вконец уставших баб; и через четыре комнаты, в глуби дома, один, сиро и тихо, как забытый в поле костер, потухал столетний.

Серая жуть, от которой так робко хочется забиться куда-то в угол, охватила Ознобишина не сразу. Сначала прошли перед глазами свечи. Они сдвинулись со своих мест так просто, точно кто-то бережно, чтобы не закапать пла-

тья, снимал их и с ними шел. Сквозь стены,— как будто вовсе и не было стен,— проходила отчетливо гулкая толпа, шла прямо в снежные поля и несла свечи. Но на место снятых тут же зажигались другие и опять снимались.

На Маше было платье с красными кружочками, перехваченное кожаным поясом. Эти кружочки стали кровавыми, как гвоздные раны, и так же отчетливо, как слова псалмов и храп монахинь, слышна стала жестокая работа распятия: деловитые удары молотков, кряхтенье палачей и острая, изумленно звонкая, не верящая самой себе боль в теле.

Ознобишин хотел что-то сказать вслух, остановить Машу, но все слова, какие были для этого нужны, забыл.

— «Страсти ради нищих и воздыхания убогих ныне воскресну, глаголет Господь»,— строго читала Маша, точно строила мосты для идущей теперь где-то в неземном Анны.

От портретов отделялись глаза: каждая пара глаз — глаза Анны.

Около глаз закруглились желтоватые, сладко пахнущие гиацинтом лица: каждое лицо — лицо Анны.

Все в белом, с желтыми извивами от свечей, легко толпились они и шли в поля. Там, где шли они, темно-синие ночные луга зацветали желтым.

И простой, полевой, всем доступный Христос, с посохом и сумою, с русыми неприкрытыми волосами, светился там, впереди их, как большая свеча: встретил их и повел куда-то.

— Куда, господи? — спросила Анна.

Была она впереди всех, но платье на ней было все в кровавых пятнах, как у Маши.

И Христос ответил:

— Я знаю!

У Анны стало совсем Машино лицо, и, изогнувшись, как это делала Маша, она просила тихо:

— Это правда?

Маша читала:

— «Скажи ми, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз».

«Се пяди положил еси дни мои, и состав мой яко ничто же пред Тобою: обаче всяческая суета всяк человек живый».

«Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует и не весть, кому соберет я...»

Тут Маша остановилась, устало провела рукой по лицу, оглянулась на Ознобишина, изогнув круто голову, и спросила:

— Это правда?

С этим тихим вопросом и вошла в Ознобишина жуть.

Конца не было: без конца на восток и на запад распахнулись дедовские поля и тесно охватили душу. На глазах во всю ширину их росла Анна в белом,— и вот уже слились в одно — тело и поля.

Ознобишин четко видел, как разжимались пальцы Анны, отбрасывали снег, рылись в нем, кидали его столбами кверху. От этого дыбилась, кружась, метель. Голос у метели был, как голос Анны. Что-то кричала Анна полям, что-то длинное, как причитания, но однозвучное, такое же, как была вся ее жизнь. Рылась в снежных полях и искала там, чего не нашла в жизни.

Окаменелый, сквозь стены и окна в поля смотрел Ознобишин и не мог оторваться от лица Анны, странного, перекошенного невиданным страданием и самой страшной ясностью в мире — ясностью кротких.

Не было ничего прежнего ни в одной черте, и все-таки это было лицо Анны. В нестерпимом холоде, от которого леденели глаза Ознобишина, Анна щупала длинными-длинными пальцами каждую ложбину полей, и дороги с сосновыми вешками, и озими под настом и пронзительно, воюще кричала — выла, как метель.

Тело Анны в белом, осыпанное свежими цветами, лежало нарядное и тихое, как сонное, и Маша, которой ничего не ответил Ознобишин, бесшумно подошла к мертвой вплотную и смотрела.

От седых волос Анна казалась старухой. Маша, помнившая ее одну с раннего детства, подумала вдруг с испугом: «Может быть, это не Анна?»

Она откачнулась было, но лицо, преображенное смертью, не отпустило: этот сухой, легкий лоб без морщин, острый нос, белые губы и глаза под круглыми веками притянули ее еще ближе. И было ли это от желтых свечей, зыбких стен и синих окон, или от звеневшей в голове усталости, которой полна была ночь, только Маша увидела вдруг, что Анна шевелится. Точеные пальцы, державшие молитву, неясно перебрали и шевельнули листом, и немного колыхнулись брови — наискось, слева направо.

— Аня, хорошая, Аня, милая-милая...— шепотом сказала Маша от страха и закрестилась часто, чтобы смотреть

в лицо сестры сквозь сетку своих пальцев, как сквозь закрытое наглухо окно,— смотреть и не видеть.

Но ласкающе-мягко жаль стало ее, прежнюю, и стыдно было бояться ее теперь, когда только сердце ее перестало биться. Маша дотронулась до цветка у ее ног, взяла его тихо и положила на другое место, выше.

Упруго толкался в ставни ветер, как большая корова с выпуклым животом; собака тоскливо лаяла; храп монахинь стал тише. У одной свечи, в изголовье Анны, согнулся фитиль, и воск начал оплывать и капать на бронзовый подсвечник. Не глядя на мертвую, боком, Маша пошла и отогнула свечку. Покосилась на Ознобишина, но он сидел, вковавши глаза в одну точку, жалкий, странный, и нечего было ему сказать.

На резные ножки стола свисали концы простынь, Маша неловко повела головою, оглядела ноги покойницы в серых туфлях и любопытно и любовно тихо задела их локтем. Подождала, вся стянувшись и притаясь, одно-два мгновенья и робко провела глазами вплоть до лица: лицо было такое же, как восковые свечи,— гладкое, желтое.

— Аня! — тихо шепнула Маша, прислонив ладонь ко рту так, чтобы не услышал Ознобишин. Подождала и сказала слышнее:— Аня... милая...— И потом, переступивши вперед шаг и еще шаг, туда, где пальцы Анны держали молитву, Маша медленно протянула правую руку и коснулась правой же руки Анны. Отдернула вмиг, но пронизало уже мертвым холодом все тело и показалось ясно, как губы сестры довольно улыбнулись и приоткрылись глаза.

— Ай, страшно... А-ай! — не помня себя, крикнула Маша. Широко раскинув руки, кричала и билась, как раненая.

Подбежал Ознобишин. Проснулись монахини и одна за другою,— сначала толстая, грудастая, с овечьим лицом, за нею низенькая, белая, в веснушках,— встрепанные, на ходу оправляясь, завертелись около Маши, ахая и крестясь, еще горячие и тяжелые от сна, с мутными, неокрепшими глазами.

Но Ознобишину, прижавшему к себе крупно вздрагивавшую Машу, понятно было, что в муке этой ночи приняла она от мертвой Анны таинственное помазание на длинную печаль жизни, которая никогда не может оборваться вдруг, а не глядя ткет свою крепкую нить и на ходу, то здесь, то там, передает ее из рук в руки.

IV

Ехали из Сухотинки Ознобишин и Маша. Целый день провели за укладкой вещей и собрались только к вечеру, когда стемнело. Но тихо было, неснежно, морозно, и Серапион, и лошади, и сам Ознобишин хорошо знали дорогу.

Тайна каждой входящей в мир ночи — сумерки густели упруго и стойко. Поля под ними укрывались холодным, синим, потом серели, тухли, и только к наезженным дорогам то с той, то с другой стороны вытягивали любопытные сугробы с завороченными, как уши, карнизами.

От саней и лошадей, запряженных цугом, от меховой полости и ушатой шапки Серапиона пахло еще усадьбой — многокомнатным домом, конюшней, заводом,— но наплывал, пробиваясь отовсюду, запах полей: терпкий, почти смолистый, почти живой.

Обозначилось плотно небо, и нерассказанно, до немого безумия мудро, заняли в нем извечные места звезды.

А колокольчик и бубенцы на лошадях и скрип и раскаты полозьев,— как-то ощутимо понятно было, что все оставалось здесь же вблизи и никуда не уходило: ни в поля, ни в небо.

— Тебе не холодно? — пусто спросил Ознобишин Машу:

— Нет, мне тепло,— так же пусто ответила она.

И надолго замолчали оба.

Изредка Серапион ненужно чмокал на лошадей и до смешной грусти ловко хлопал над их головами длинным кнутом.

Наткнулись на длинную мерзлую кочку; сильно избочились и встряхнулись всем корпусом сани.

— Поехали на ночь глядя,— серьезно, как взрослая, сказала Маша,— лучше бы днем ехать.

— Ничего,— отозвался Ознобишин.— Днем снег яркий. Дни пошли ясные...— Помолчал и добавил:— Глаза у меня что-то болят — не могу на такой снег смотреть: слезы текут.

— Мы когда приедем в Сухотинку? — спросила Маша.

— Только еще поехали, а уж «когда приедем»,— присмотрелся к ней Ознобишин.— К середине поста — потеплеет — приедем.

— Когда куры нестись начнут,— подумав о чем-то, сказала Маша.

И Ознобишин изумленно вслушался, как просто и серьезно она сказала это, так же, как говорила бы Анна.

Рядом с ним она сидела полная смутных, новых для нее мыслей. Они входили в нее с облизанных вьюгой сугробов, входили туда, где недавно еще рождался и беспричинно звенел золотистый смех, и они проворно занимали его место.

Показалось Ознобишину вдруг, что, если нечаянно пристально оглядеть поля, он увидит там Анну такою, как тогда, ночью, мутно блеснет щелями полуглаз и ищуще раскинет руки по всем снегам.

Боялся глядеть в поля, но Маша сказала:

— Когда приедем, привезем Анне памятник на могилу... Такой, чтобы летел ангел, а в руках у него ребеночек смеялся... Хорошо?

И Ознобишин понял, что уже не увидит Анну в полях, потому что она — рядом. От этого тесно стало ему, как было тесно деду.

Вот по таким же сугробистым немым просторам где-то кружил теперь дед — один, до бесприютности вольный, седой, как зима, поленица удалая. Меряет, насколько глубока жизнь; нашел ли такое место, где она всего глубже? И сколько лет еще отпущено ему, чтобы искать и ничего не найти?

Но позавидовал деду Ознобишин: ездит и ищет, верит в то, что уйдет от пустоты и простора,— уйти нельзя, но легко жить, если верить, поэтому и живет так долго дед.

Холод звезд безостановочно лился вниз. Это и не звезды были: прямо за иссиня-темным небом, проколотым в тысячах мест, таился огромный, чистый, всемирный холод, и только миллионная доля его сочилась вниз на поля, но и от нее застывала мысль и безразлично начинало стучать сердце.

На перекрестке дорог, там, где откинулся влево зимний путь в Большую Дехтянку, как расплывчатое пятно, как сгусток ночи, встретился Никита,— существо могучее, темное, пашущее, сеющее, собирающее урожаи,— плодотворец полей.

Ехал он из города, лежал ничком в санях на соломе и негромко пел:

Э-э-э-э да э-э-э-ы-ых...
Э-э-э-их да-а-а-а...

Даже старому Серапиону жутко стало от этого невнятного воя в пустых полях. Крякнул он, кашлянул и выдавил вслед Никите:

— Одна была у волка песня, и ту перенял.

Но поля понимали Никиту, и Никита понимал поля.

Вот уже утонул он в них со своей конягой и песней, и опять стало пусто.

В бубенчиках глухо билось запертое.

На изломах дороги дымно поблескивали шапки сугробов, укутанных в синие зипуны, и вешки торчали над ними, как скучные метлы.

Лошади, фыркая, нагнув головы и вытягиваясь одна за другой, упорно разматывали ногами клубок дороги, а поля подхватывали и бросали его все дальше, дальше.

— На постоялом, в Загрядчине будем чай пить...— сказала Маша.— Хорошо, что взяли свой хлеб, а то там дали бы черствый и какой-нибудь грязный, да?

Ознобишин вздрогнул от этой маленькой, земной, такой знакомой заботы и торопливо ответил:

— Да, Анна.

1909

УЛЫБКИ

Стихотворение в прозе

Из Карабáха в Партенит едем мы на палубе яхты «Титания»: я, Тимофей — маляр, две барышни-московки, караим-студент, двое мелких купцов откуда-то из средних губерний, перс с чадрами и несколько человек рабочих и татар.

Ясное небо, солнце, сентябрь, и от берегов к морю сильно тянет приторным осенним медом. Все есть в этом меду: виноградники, грушевые сады, кипарисы... И совершенно голые сизые и красные скалы на берегу тоже как будто пахнут каленым камнем.

С моря, откуда-то из сини и шири, всплывает свой запах — соленый и крепкий, а яхта дышит свежей обветренной смолой и терпкой пенькою мокрых канатов.

В потоках солнца и запахов круглятся лица: сливочно-белые, мягкие, чуть веснушчатые, но еще не успевшие загореть у девиц-московок; прожженные до костей, просушенные, как вобла, дубленые, складчатые — у татар; вздутые, пылающе-красные, с облупившейся на носу кожей — у купцов; оливковое гладкое, широкоскулое — у студента-караима; кофейное, с синим лоском от небольшой смоляной бороды и пота — у перса; и разнокалиберные, волосатые, оплывшие, разных цветов и оттенков — у кучки русских рабочих, свалившихся ближе к носу яхты со своими неизбежными туго набитыми, перевязанными красным кушаком, грязными холщовыми мешками.

Ошеломляюще много солнца кругом. Над палубой распялили тент — не помогает. Солнце вонзилось в тело тысячью клиньев, растопырило его, рассквозило — и теперь в нем теплота и лень: ни о чем не хочется думать.

Тимофей, рядом со мною, весь переливисто сияет. Ярко золотится на нем широкий соломенный бриль, парусиновый рабочий пиджак, белая жилетка и брюки — все заляпано цветными полосами и пятнами, как палитра; сорокалетние

щеки его горьмя горят, подожженные снизу длинными рыжими усами; весь он точно наскоро сколочен из каких-то нестерпимо ярких обрывков и обломков, и смотреть на него больно глазам.

Тимофей — охотник. В сентябре начинается птичий перелет через море. Теперь тянут перепела, и вот именно о них говорит мне он и по-детски, как осколками стекол, блестит серыми глазами.

Непонятно мне, как через такое огромное море перелетают нелепые кургузые перепелки, которые и на земле-то далеко не летят, а Тимофей это знает.

— Дергачи их ведут,— объясняет мне Тимофей.

— Как дергачи?

— Так, очень просто,— снисходительно улыбается Тимофей.— Сейчас, значит, в России на полях они все... Дергачи — а то «коростели» их еще зовут — как вечер, заря отошла, подымаются это и начнут разлетываться, вот так, кругами, подымается один и кричит... Не то чтобы по-своему, по-дергачиному,— прямо как дрофиня кричит... Подумаешь, какая такая огромная птица кричит, а это дергач. И вот, значит, к этому месту, какие дальние — лётом, какие ближние — ко́том по земле, сма́лят перепела эти — тыщи!.. Подойди к этому месту — сразу фуррр,— так и брызнут. Ну, так чтобы очень уж далеко,— нет; отбегут и сядут — голову в кочку — и шабаш, спрятался, не найдешь: страсть птица смешная!.. А потом, значит, в ночь — в лет. Вожаки эти, дергачи, передо́м, перепела следом и сма́лят. Жирные, отъедаются, с шумом с большим летят... И ведь вот дергач, сказать,— какой летун? Ни пера, ни крыла, только ноги да шея,— сгонишь его с места, как пьяный туда-сюда шатает, а вот ему дай разлететься только: размялся, разлетелся — по-ле-тел! И уж тут тебе летит — прямо пуля!.. Вожаки, они это, как козлы в стаде. Застопорил если — стоп, вся стая села; в море упал — вся стая туда к черту, в море... Был у нас такой случай. Летели ночью, а их тут с гор как дунуло ветром, да дождь, холод,— да ведь тут их бездна легла; на базаре, на пристани это да по берегу — большие тыщи их тогда прямо руками набрали. Уж полиция вступилась: не смей трогать. Так они на базаре-то — вот смех был! — разбеглись везде, прямо как мыши, так и зашуршели везде... Добегит до стенки, голову в ямку спрячет, сидит — не жукнет... Птица ведь дикая, а поди ты, сидит, как цыпленок: прямо смотреть жалость брала...

Тимофей говорит, все время улыбаясь и всячески дейст-

вуя руками. У него большой кадык под давно не бритым подбородком и голос рокочущий, мягкий. Я не знаю, чему так улыбается он, но эта улыбка — ласковая сетка разных мелких морщинок — как-то притягивает, втягивает, всасывает меня во что-то радостное, в детство.

Я давно уже знаю Тимофея. У меня на даче он красил новые полы, и когда полы покоробились и встали буграми в пазах, он ощупывал их руками и говорил удивленно:

— Ишь ты как!

— Прошпаклевал плохо,— замечал я.

— Не-ет! Нет, это не от шпаклевки зависимость,— качал головою Тимофей, и хорошим таким, замечательно душевным голосом разгадывал загадку.— Это просто сфуговать надо было, а мы не догадались.

И когда на окрашенном им же балконе в то же лето потрескалась и облупилась белая краска и я сказал ему укоризненно: «Мелом красил?» — он улыбнулся длинно, так же как улыбался вот теперь, и ответил:

— Не-ет! Еще какие замечательные белила были!.. Нет... Это от солнца.

Я смотрю на Тимофеевы глаза, усы и щеки, на колючий широкий подбородок, на низковатый морщинистый лоб, вижу, как все это движется, живет, вкладывается целиком в каждое его слово, и как-то становится все страшно внимательным в моей душе, точно я никогда не видал, как смеются и говорят люди; и слова его для меня не слова: я их осязаю, вижу, и, боясь, как бы не порвалось их цветное кружево, я говорю о перепелках:

— Ловят их небось на перелете?

— У-у, а как же! — живо подхватывает Тимофей.— И ловят и бьют — всячески. Много истребляют... Истребление большое... Ружьями по кустам (только иди днем, в каждом кусту перепел, а нет — два), пугнул, стрельнул — и готово... А татары, те их палками прямо бьют — чаталы, палки такие из карагача режут, ветки у него это... ветвление такое частое,— обрежут ветки так на четверть — палка не палка — кавадратная совсем, как бросит перепелу в лет, лучше ружья убивает... Чуть-чуть ее стоит только самую малость задеть сучком, так и падет: жирная, подлая... А вот турки в своей земле, те прямо сети на них ставят, как на рыбу, к телеграфной проволоке привяжут, как летят они, так прямо в сеть головой и есть. Утром идет с мешком, никакой себе спешки не знает, столько их наберет, большие тыщи!.. Только они их там не то что в еду, на сало топят: сало вытопят,

а мясо бросят — вот черти! А из них ведь, если пилав с помидорами сварить, отца-мать забудешь, как звали... А вот здешние турки на них с ястребами ходят — так небольшие ястребки вроде кобчика, выучат их (а выучат как? — не кормят), на руках носят и ходят по кустам с палкой. Ширнет туда-сюда — перепел: он ястреба пырь — тот за ним, догнал, сшиб, тут же и драть зачнет: долб-долб, а на груди колокольчик. Турка к нему — а он так на гайтане, на шнурке на таком, с ним и летает. Подойдет, за гайтан цап — есть, голубчик. Перепелку отберет, в мешок, а сам дальше, опять по кустам ширять. А ястребки эти завзятые такие,— на кого хочешь кинутся, не то на перепелку: гуси летят — на гусей, дрофы — на дроф; смотреть — смех берет. Ведь сам-то прыщ, вот так — крылья косяком, серенький, ну, кобылка у него, значит, здоровая,— кобылкой и бьет... Гуси-то где летят?.. А он еще выше их подымается да как свистнет оттуда,— как буря прямо. Гуси — кто куда: гогот, кто в эту сторону, кто в другую, другой назад, а из него, из гуся, из одного таких десять ястребов выйдет... Я вот раз видал, как он их это, как ударил сверху,— кто куда, а один прямо турманом вниз! Оголоушил он гуся,— сила у того еще есть, а только понятия никакого нет: куда ему лететь, что ему делать,— прямо рассудка нет: кружится и падает, кружится и падает... Надо мной как раз и падал. Вот, думаю, ловко: домой с гусем приду. И уж так его видно стало, ястребка-то: сидит на груди, прижался и долбит, как дятел какой: долб — долб — долб... Я это руки вверх: т-ты, черт! — как крикну,— ястреб сорвался, вбок, а гусь это (море счас тут было,— по берегу я шел), гусь в море как зашумит... Ну, очухался там, поплыл... Ястребок вертелся-вертелся,— пободался!.. Куда этот гусь делся,— так и не досмотрел я... Ну и жалко ж было: прямо вот-вот в руках был... Чуть бы чуть еще,— и был... А то еще раз видал, как в дрофу ударил: так от нее перья и посыпались. Ну, дрофу он, конечно, только сшибить наземь может, потом уж когда-когда драть зачнет: работы ему с дрофой тьма!.. Сверчок ведь, чистый сверчок, а поди ты, кобылка у него какая!..— и, говоря это, Тимофей обводит меня и сидящих напротив барышень своим сияющим взглядом.

У «Титании» мягкий и плавный ход, и море на редкость спокойное, гладкое море, и на горизонте собираются легкие, как пух, облака-барашки, и солнце льется вокруг, растворенное в морском пару,— но всего этого нет, потому что есть другое: улыбаются Тимофею барышни-московки.

Они сидят в тени под тентом, и улыбки у них — это только округлые, млеющие, лиловые пятна около светлых глаз, у крыльев носа, в слегка приподнятых углах рта и в длинных ямочках щек. На обеих белые войлочные лопухи, приткнутые шпильками, у обеих голые шеи и кофточки-матроски, но они едва ли сестры.

— А дрофа большая? — несмело спрашивает одна.— Сколько фунтов?

— Дрофа-то? До полпуда бывает,— поспешно отвечает Тимофей и тут же вспоминает что-то: — С пятнадцатого июля на нее охота... Дрофа — она здесь зиму продолжает, только в стаях она зимой, в гуртах... Дрофу, ее бить надо в жару... Так, если градусов двадцать — двадцать пять — ни за что не подпустит, а вот тридцать два так, тридцать три, а сорок еще того лучше,— вот когда она сидит, как гусыня, крылья распущены, и, значит, дремит. Свободно тогда на выстрел подползай — на семьдесят шагов подпустит... А стрепет — вот еще из ихней породы,— вот чутка птица, уж и чутка!.. Поведет глазком,— ать! — за-чесал по стерне!.. Трудно́ его убить, стрепета...

Мы идем близко от берега, и над нами вьются и кричат какие-то очень цветистые, желтокрылые, синеголовые птицы. Летают они косяком; отбросятся в сторону и потом сразу вот уж опять здесь — повиснут в воздухе и кричат.

— Какие это? — наперебой спрашивают барышни.

— Это — пчелоеды,— отвечает Тимофей улыбаясь,— щуры-пчелоеды, пчелками питаются... Ден пять у нас тут потолкутся и в лет... Как перепел летит, так и щур,— в одно время... И ведь сюда назад как летят, тоже к одному времени подгоняют,— вот чудно!.. Сколько птиц летит,— у всякой свое время... На баркасе выедешь в перелет, вот весною, когда рыбу ловить далеко уходишь,— верст за десять стаи-то летят... Так, верите, несчастные такие, уморенные бывают, за баркас цапаются лапками, за борта-то... Возьмешь рукой, положишь — лежит, как неживая, и глазки закатит. Не то на живот,— прямо на бок ляжет и двошит. Привезешь их на берег — вот рады, вот защебетают — чи-чи-чи-чи... Ах ты, господи! И как это малая такая тварь, а все она знает, куда ей лететь — все делает, как лучше не надо,— вот ведь! Значит, так уж дано им, чего и человек не поймет...

Тянутся в сторону Тимофея купцы. Они едят виноград, хрустя косточками, ничего не выплевывая и добросовестно все глотая, едят прямо с кисти, захватывая губами снизу

по нескольку ягод, и на лицах у них блаженная усталость от сытости. У обоих фигуры широкие, сырые. В картузах, в плотных суконных тужурках и в сапогах под лак. Приехали, должно быть, скупать фрукты.

— Ивана Сковородку, кровельщика, знаете? — спрашивает меня Тимофей.

— Рыжий, что ли?.. Знаю,— вспоминаю я.

— Вот, вот, рыжий... Нет у нас больше такого охотника, как Иван Сковородка! Вот уж ходок! Безо всякой собаки, без ничего, вышел это с вечера, задрал голову, как гусар,— по-дал-ся! Зайцев, например, если... и как он их найдет и где найдет, не двух, так одного он уж обязательно тащит... Нюхом одним жив... И где они лежат знает, и все, весь обиход ихний... удивление! Середь дня в жару, тогда заяц сонный,— он их чуть не руками, безо всякого ружья берет... Заяц — он спать здоровый; напасется за ночь и спит...

— Руками прямо? — переспрашивает один из купцов, участливо улыбаясь одними глазами.

— Прямо руками... Ну, палкой по голове для оглушения вдарит, потом заберет...

— А вы и рыбу ловите? — спрашивает другой, снимая зачем-то картуз с лысины...

— Как же! У нас сеть с зятем есть, крючья... Сейчас вот скумбрия пошла, султанка,— когда время есть, выедешь... Весной — белуга, а то камбала... Лобанов не ели? Вот рыба вкусна!.. Лобанов острогой ночью по камням бить,— вот охота веселая... Мы ведь для этого лодку-плоскодонку справили,— обращается ко мне Тимофей.— Назвали мы эту лодку «Гагара». Такая сердцеедка подлая: плывет, нос задрала — и ника-ких! Чуть веслом в какую сторону толкнешь,— по-вер-нулась вся сразу — точь-в-точь гагара: куда голова смотрит, там она и вся. В тихую погоду, да если ночь темная — удовольствие!.. Лосось вот тоже или ерш морской... Крабов одних настволить сколько можно... Красная рыба, конечно, не попадет, а вот мелочь эта...

— Красная рыба — она живущая,— неожиданно вставляет один из купцов.— Какие случаи бывают: стерлядь, например. Прирежут ее, конечно, как поймают,— шевéлится; домой привезут за сколько там верст,— шевéлится... Да ведь что! — на кусочки изрежут, так кусочки-то эти и те — можете представить — шевéлятся!..

— Ну да — живущая,— поддерживает другой.— Осетер вот тоже... Зимнее время его поймают, оглушают по голове,— на мороз... называется он тогда пылкого морозу —

кость! На токарный станок клади... И сколько время в таком он виде лежит — и в лавках лежит и в вагонах едет,— зиму цельную... Товар! Все равно как брус дубовый!.. А в горячую воду его ежели,— что вы думаете? — ведь оживает, говорят: на немного хоть, на сколько-то минут, а оживает... Насколько это верно, не могу вам сказать в точности...

Начинает улыбаться студент-караим. Он улыбается не сразу, а толчками: выпустит на скуластое лицо кончик таящейся в нем улыбки и тут же спрячет, потом посмотрит на Тимофея, на купцов — и выпустит какую-то точную часть: четверть, треть, половину; но вот уже непобедимо, змейкой, ползет она из него вся, сколько есть в нем, во всю ширину лица — и скулы вливаются в поднятые щеки, и совсем узенькими щелками смотрят косо лежащие глаза.

Он пробует тихо голос, как пробуют бритву перед бритьем, и вдруг неожиданно рокочет молодым баском:

— А я-я-я влюблен в одни глаза!..

И так все время потом, пока мы едем, он улыбается, молчит, открыто и молодо смотрит на море, на высокие мачты яхты, на нас с Тимофеем, на барышень и татар, да вдруг как хватит сразу:

— А я-я-я... влюблен в одни глаза!..

И чувствуется, что это не просто мотив звучит в нем,— что он действительно влюблен в какие-то глаза, и только их видит сейчас и о них поет, а до всех нас нет ему никакого дела.

Барышни толкают друг друга, мягко жмутся друг к другу и тихонько фыркают в платки, а потом долго делают вид, что утирают пот.

Перс с чадрами наблюдает их, мечтательно вглядываясь в их лица, потом нечаянно вспоминает, что он — с чадрами, схватывает свою корзину, улыбается, широко раздвинув в стороны обе половины лоснящегося лица, ощеривая белые, лопаточками, зубы, и говорит протяжно:

— О-о бон марше! О-о бон марше, мадам! Л-лечебные, первый сорт!

Он ставит перед ними корзину и ловко выхватывает оттуда чадры: желтые, голубые, лиловые.

— Не нужно нам,— защищаются барышни,— лечебные!.. У вас тут все лечебное.

— Лечебные, первый сорт,— не смущается перс и все развивает свертки, и чадры летят на барышень разноцветным потоком, легкие, как воздух.

Барышни ничего не покупают, и он видит, что они не

купят, но ему нравится стоять перед ними на корточках, смотреть снизу вверх в их улыбающиеся лица, подбрасывать перед ними чадры... Он уже говорит что-то о деньгах и душе:

— Менэ рази денга дорог?.. Це-це... менэ душа дорог!..

Говорит о родине:

— Кунжут есть, хылапок есть, а-апельцин есть, льимон есть, виноград есть, ячимень есть, рис есть... Перса — все есть!

Говорит об арабах:

— Араб лошади любит... Жырибец не любит, кобыл любит... Шесть тыщ туман [1] кобыл пылотить, це-це...

На нем кавказская черкеска, чувяки; высокую смушковую шапку он сдвинул с мокрого лба на бритый затылок и все широко улыбается и говорит.

И у рабочих на носу палубы заяснело что-то. Не знаю, пошло ли это перекатною волной от Тимофея, или это прямо вылилось из солнца и запаха моря... Прежде там ели с хлебом мелкие, как яблоки, дыни, и какой-то пожилой, дюжий, с красным шрамом от переносья через всю левую щеку, пытал другого, чернявого, похожего на цыгана:

— Тебя как звать-то?

— Алексей звать, — отвечал чернявый.

— Какой Алексей-то? Алексеев много: Алексей человек божий, с гор потоки, а то Алексей митрополит, а то есть еще разные... Алексей, один он, что ли?.. В чье имя крещен? Когда память?

— Алексей, и все.

— Говорю, Алексей-то какой?

— Какой, какой... Чего пристал?.. Я этих делов не знаю.

— Ангела своего не знаешь?

— Мало бы что.

— Совсем ты, должно, не Алексей.

— А то кто же?

— Может — Иван... А может — Митрий... А может — татарин какой...

Теперь Алексей рассказывает что-то, и до меня доносится:

— Какой вереблюд: однокочий есть, а то, например, двукочий... Однокочий у нас в степу полтораста рублей стоит, двукочий — так, например, сто двадцать, сто с четвертной... Однокочий, он терпеливее: что на еду, что на работу, — на все способней; двукочий пожиже...

---

[1] Туман — иранская монета.

Густо разлеглись на своих мешках, повернули к солнцу лица и слушают.

Кувыркаются морские свиньи у самых бортов; потом видно, как они по три — по четыре в ряд, ныряя винтом, мчатся наперегонки с яхтой. Отстают, обгоняют. В кучке рабочих крики и хохот:

— Глянь! Глянь-кась! Вот черти гладкие,— глянь!.. Го-го-го!..

Надоело свиньям: отбросились в сторону и там играют всей стаей, притворно гоняясь одна за другой: подскочат, согнувшись в дугу, должно быть посмотрят на яхту, подмигнут лукавым глазом и шлепнут в воду.

Гудок. «Титания» — такая большая, белая, плавная, а гудок у нее пронзительный, визгливый. Барышни затыкают уши и хохочут.

— Точно павлина кричит,— ухмыляется им Тимофей.— А то вот бакланы, как в стаи собьются, по утрам точь-в-точь так же кричат...

Замелькали синими пятнами матросы.

Грек-билетер, маленький, суетливый, бегает, отбирая билеты. Ждет лодка с двумя гребцами.

Какое море здесь!.. На берегу крутые, красные потрескавшиеся пластами скалы; море изорвало их отражение в мелкие треугольные клочья. Каждая волна взяла себе клочок, окаймила его голубым, лиловым, чуть-чуть желтым переливом и качает игриво, любовно, ласково.

Чистенький, сухой небольшой пляж раскинулся между скал, как забытая купальщиками простыня. Дачи мреют сквозь гущину кипарисов. Дороги почему-то розовые и бегут между пожелтевшими виноградниками куда-то очень далеко, высоко, круто — туда, где все краски гладко слизаны и полиняли нежно.

Стадо прозрачных, как студень, медуз отдалось теплу и висит лениво между яхтой и лодкой. Осторожно гребет голорукий турок в яркой феске, а другой — высокий, горбоносый,— стоя, откинул голову с блещущими зубами и белками глаз, впился в матроса с «концом», сучит в воздухе крупными кистями рук и ждет каната. И как раз над его головой вползла в радушное небо по-домашнему взлохмаченная буковым лесом синяя круглая голова Чечель-горы.

Сходящий здесь вместе со мною Тимофей направляет руку куда-то в темный ее овраг и говорит мне таинственно:

— Кунье место.

1909

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

Поэма

И здесь, где плескалось море внизу, а вверху сзади стояли горы, где кипарисы купались в голубом зное и розовые тропинки вились по сожженным соломенно-желтым скатам,— и здесь, как везде, каменщики пили больше, чем плотники, кузнецы больше, чем каменщики, слесаря больше, чем кузнецы, больше же всех пили печники и штукатуры.

Бог знает, может быть, в извести и глине, в белой и желтой земле, заложено какое-нибудь неизвестное пьяное бродило и от одного вида их неудержимо тянет простого, близкого земле человека к вину — только найти трезвого печника было невозможно.

Шесть раз ходил в городок с дачи Пикулина дворник Назар — нужно было поправить плиту на кухне,— печники пили. И когда попался наконец рано утром хромой Федор, неизвестно где и как проведший ночь, но теперь почти свежий и способный к работе, Назар неотступно стоял перед ним, пока не убедил пойти на дачу.

— Да ведь в гору! — думал увильнуть Федор.

— Ну что ж? Далеко?.. Ах ты ж, господи!.. Я, когда работал, обыденкой за десять верст ходил.

— Нога у меня!.. Видишь, нога хромая.

— Ну что ж, нога! Я раз ногу-то в кровь растер, а за сколько верст ходил! Не пойдешь — не поешь... Вон сторожка в лесу, видишь? Семнадцать верст ходу, а по черной работе и там бывал.

— Бывал-бывал... Везде он бывал... А я и в Ерусалиме бывал, пуп земли видал и прикладывался.

Федор — бородатый, рыжий, нос огромный, вверху костяной, внизу сизый; глаза — серые щелки; картуз внахлобучку, без полей, задряпанный, вытертый; волосы старые, дьячковские; фартук — из грязи, сала, холстины, глины,

извести и смолы; штаны — сорока цветов. Говорит басом: шея с огромным кадыком,— должно быть, смолоду хорошо пел и теперь поет, когда сильно пьян. Голову любит подбрасывать бодро и когда говорит, то сразу всем телом: и глазами, и шеей, и длинным носом, и бородою, и даже хромой ногой. А Назар — молодой еще, но какой-то весь сгалявшийся, залежалый, как сухой веник: хочется подержать его в кипятке, распарить. Скулы у него торчат, усы белесые, еле видные, бороды нет — не растет; бровями все время озабоченно думает.

Городок весь каменный и черепичный, — совсем маленький: одна церковь, две мечети. На раскаленной набережной, забранной от моря бетонной стеной, сгрудились мелкие лавчонки.

— Хочешь воды зельтельской? — спрашивает сурово Федор Назара. — Ежели хочешь, на, пей. — И сам цедит в стакан из сифона и бросает на прилавок две копейки. Старый лавочник Мустафа сидит, смотрит, курит трубку; зачем подыматься ему, когда и без него все найдут! Самое трудное у него — отрезать халвы сколько надо; но многие и это делают хорошо.

Медленно проходит мимо страшно тучная дама, вся в белом и под белым зонтиком с кружевом. От зонтика на серой мостовой синеватая тень с маленьким золотым зайчиком в середине: должно быть, зонтик дырявый. Остановился чей-то сильный рыжий сеттер над самой бетонной стеной, четко врезался в синеву моря и задумчиво смотрит, а в море белые чайки, точно их припаяло к воде, качаются вместе с рябью, а дальше — идут не идут возле самого горизонта два, три, четыре баркаса-парусника и совсем выпадает — еле держит глаз — пароход.

На перевал к даче идти тяжело. Тропинка взбирается на него хитрыми изворотами по сыпучему шиферу, и снизу вид у нее, как у балованной гончей на охоте.

— Как это, — не понимаю я этих людей! — ворчит Федор. — Что теперь, зима? Непременно тебе плиту? На дворе готовить не можешь? Эх, народ нежный!

И несколько раз садится он отдыхать и потирает с большой любовью отвердевшее колено.

— Ведь это я ее как? — говорит Назару. — Я ее простым манером сломал: с лестницы спускался — вот от базара сейчас к речке лестница вниз — был немного тово, а дожжик шел, и ступеньки... они, стало быть, камень, склизкие, — упал, и, значит, самый хрящик в коленке хрясь — по-

полам!.. Сказал доктор в нашей больнице — серебряными нитками сшивать. Ну, таким манером тут они только не могут, а надо в настоящую ехать, в губернскую, там зашьют. Там бы зашили, а? Там бы это — пус-стяк! А только туда ехать — мелочи нет.

— Пьянство нашего брата губит. Это все равно — чистый яд.

— Говорю тебе: лестница каменная, склизкая и дожжик шел... Пьянство! Что ж я до этого так никогда и не пил? Обдумай умом.

На перевале, откуда до дачи Пикулина двести — триста шагов. Назар вспоминает вдруг, что ведет Федора так, как поймал на улице, — с голыми руками. Хорошо, конечно, и так, но лучше бы с печным снарядом.

Назар серчает.

— У тебя голова есть?.. Есть или нет ее вовсе, головы?

— Есть. У меня все есть, я вот только на ногу спорчен, а то я, брат, еще иному старику та-ак могу показать...

— А понятия в тебе нет, в голове!.. Что ж ты пошел, а струменту не взял?

— А у нас какой струмент? Молоток, гельм да сокол — и весь струмент. Милой! Долго его взять, скажи, ежель очень умный? Сходить только надо, — ну, конечно, мне от моей хромоты...

— Схо-дить! Ты когда пришел, — сиди. Он, струмент, у тебя где? На квартере?

— Зачем? На квартере — там ничего нет. Где работал, стало быть, там. Вот у Николая Иваныча беседки белил...

— Ты уж сиди, ты скажи только где, — схожу сам. Эх, народ!

— Куда ж ты сходишь, когда его найти надо, что к чему? Он ведь у меня не в одном месте, струмент.

— Шут хромой! У Николая Иваныча — сказал?

— Там я действительно беседки белил — там, значит, кисть с ведеркой, гельма нет. А гельм, это лопаточка наша называемая, гельм с соколом — почитай что он у Курт-Али в саду. Сокол, он, положим, без надобности, только полутерок взять да вот еще грохот, глину сеять.

— Значит, его у Курт-Али взять?

— У Курт-Али зачем? Там грохота нет. Грохот, он... кажись, я его у докторши оставил... Вот у этой, как ее, черт?.. Зубная она, в очках ходит... Вот она еще околь этого... грек такой черный, печку я там поправлял. Да сбоку на базаре,

как снизка от аптеки иттить, — третья лавка... Третья или она — четвертая...

— Что это ты совсем вроде полоумного стал, как бочка сухая, а?

— Совсем как бочка. Верно.

— Весь рассыпался, клепок не соберешь... Голова-то у тебя есть?

Когда уходит Назар в городок за печным инструментом, Федор выразительно подмигивает ему и щелкает себя пальцем пониже скулы.

Спереди горы лиловые, сзади, за перевалом, зеленые, — буковый лес. В этом лесу видны просеки, отдельные буки, дымок костра, — так это все близко, мягко и кудряво, а горы спереди сами как длинный дым, уходящий в море клубами. Внизу городок. Отсюда, сверху, Федор отличает ясно: рыбацкий ресторан Николая Иваныча около моста, ветлы над речкой, каменные ряды на базаре, и сад Курт-Али, и купальни. Городок густо облепил бугор, и на самой вышке бугра встала старинная генуэзская башня, серая, круглая, с обвалившимся краем. Все это, если сощурить глаза, похоже отсюда на большой пестрый волчок, с очень удобной ручкой. А дальше от города по речной долине легли темные виноградники и сады, расчерченные дорогами, плетнями, высокими тополями с сухими верхушками, иссиня-черными столетними кипарисами, сараями.

От подъема в гору Федор устал. Картуза он не снимает — так привык к нему, точно это волосы, и спит в картузе, — но хорошо, что потное под мокрой рубашкой, ноющее тело щекочет низовой ветер.

Вот мелькнул синей рубахой на изгибе тропинки внизу Назар, а скоро опять мелькает: входит в улицу, явно спеша. «Колготной!» — говорит о нем вслух Федор, крутя головою, и губы вытягивает трубой. Сбоку дача Пикулина; видно около кухни длинную бабу с ребенком на руках, но туда не хочет идти Федор. Кругом дачи — чужая земля, по ней бродят тонкомордые коровы; трава давно высохла, — обгрызают кусты, влажно сопят, тяжко дышат большими животами. Появляется вдруг осторожный, как мышонок, белый маленький мальчишка, смотрит из-за куста синим глазом, потом вдруг молча со всех ног отбегает прочь; с ним корноухий серый щенок: остановился, тявкнул, покатился пух-

лым шариком, наткнулся на кочку, перекинулся на спину, остановился, тявкнул, покатился опять.

На самой ближней из лиловых гор, если присмотреться пристальней, можно различить красноватые огромные щербатые скалы с синими тенями; внизу под ними каменный обвал, когда-то засыпавший татарскую деревню. Теперь эта деревня правее, ближе к морю, а ниже ее вся гора разрисована, точно нарочно, шершаво обведенными пятнами; больше желто-белесых — это спелая пшеница; скоро начнут ее жать. А еще правее, еще ближе к морю, в сине-розовом мреют белые точки: это тоже деревня — Куру-Узéнь. Но от солнца сплошного все струится и движется и тает. Посвистывают иванчики на кустах, а слева слышно, как стучат тяжелые арбы на белом шоссе.

И можно сидеть здесь долго, очень долго и ни о чем не думать: можно просто смотреть, слушать, курить крепкую махорку, кашлять, и опять слушать, и опять смотреть.

Когда приносит наконец сердитый Назар гельм, и грохот, и кисть с белым ведерком, солнце стоит уже высоко: десятый час.

Такое славное море, голубое, с нежными жилками. Горы веселые. Дует несильный упругий ветер с гор: хорошо, не жарко.

Зиновья, лобастая, длинная, желтая синеглазая баба, Назарова жена, качает на руках сынишку Ванятку и вспоминает вдруг:

— Зайчонок вчера вот это место сидел — серенькой, цыбулястый, до чего чудной!.. Я это из дверей вышла, он как уши торчмя, как стрякнет! В балку кубарем... и-и чудной!

И тут же кстати вспоминает еще о деревенском зайчонке, прежнем, своем, орловском:

— Я раз овес вязала, зайчонка нашла, моло-оденький, прямо мягкий, как мыша! Вот, право, ей-богу, испугалась как! Таки и закатала его в сноп, а он спал, должно не слыхал. Связали мы ему, бабы, ноги задние горохом, плетью, чтоб не убег, а он ишь убег: перегрыз зубами завязку эту нашу да убег. Вот тоже чудной какой был, ногастый да серый!..

Говорит радостно, спеша, точно давно ждала этого случая, и Федор отлично понимает, как ей надо ответить:

— Вот и видно сразу, что бабы: нашли чем зайца связать — заячьим кушаньем... Народ вострый!

В стороне от дачи за колючей проволокой ограды на общественной земле, где растет мелкий карагач, ежегодно объедаемый скотом, два турка в ярких фесках распялили силок и ловят на жука-скрипача сорокопута. Бог знает, зачем им сорокопут. От невысоких мимоз около дачи легли талые перистые кружевные тени. Мимозы цветут теперь розовым пухом и сладко пахнут. Сухой Назар окапывает их киркой и штыковой лопатой, хекает и сопит. Может быть, нужно окапывать их, может быть, нет, но скуластое белобрысое лицо его в крупном поту. Сквозь жадные до простора длинные ветки мимоз море кажется невиданно голубым. Благолепие и радость. Что это топчет ожесточенно ногой и лопатой Назар?

— Страсть не люблю их, вредных: широконожка! — говорит он Федору. А Федор тут же — протирает сыроватую глину через грохот.

— За что ты ее? Не нравится тебе костюм ихний?

— Страсть не люблю!

— Гм... Так она, кажется, ничего себе... И ножки желтые.

— Вредная! Глянь-ка, вертится, как змей! А? Значит, у ней какая-нибудь гадость на уме, а то зачем ей, как змею?.. Ишь, пополам посек, а она все свою злость точит... во-от!

И потом опять копает Назар, хекает и сопит. Кажется, что ему просто хочется выкопать еще сороконожку и раздавить, а мимозы окапывать не нужно. И когда пропотеет все лицо его насквозь, он, наклоняясь, вытирает его рукавом синей рубахи в сгибе левого локтя, где она чище, и потом копает опять.

Заиграла шарманка внизу у моря, где дачи гуще. Эти дачи внизу выбиваются наружу из тугой смоляной зелени то куском белой стены с двумя-тремя окнами и балконом, то красным, то серым пятном крыши, и вместе с запахом нижней зелени, расплавляясь в солнечном воздухе, доплывают сюда звуки шарманки. Здесь они не режут уха, здесь они согласованы с небом, морем, цикадами. Но Зиновье хочется, чтобы трещало, звенело, рыдало около нее. У нее такие стремящиеся вниз текучие, жадные глаза, когда поспешно идет она к проволоке своей ограды с пушистым, как утенок, Ваняткой на руках.

— Ах, до крайности хорошо как играет!.. Кабы не Ва-

нятка да не обед готовить, побежала б я туда сломя голову!

И еще делает два-три порывистых шага; различает еще и гулкий бубен.

— А в бубен как!.. Ишь!.. Ишь ты!.. Ишь!..

Может быть, хочется ей повертеться под музыку, пощелкать пальцами, похлопать в ладоши, положить кому-то новому голову на плечо,— мечтательна молодая женская душа. Стоит Зиновья, худая, длинная, восхищенная, смотрит назад, на сухого Назара, смотрит вперед, на нижние дачи, где шарманка, прижимает крепко Ванятку — и на глазах у нее почему-то слезы.

И когда откуда-то из божьего мира вокруг прибегает шестилетний Фанаска, старший Назаров сын, за куском черного хлеба, чтобы опять поспешно уйти и раствориться в божьем мире,— Назар встречает его:

— Ты что же это, бегоулец, все бы тебе шататься беспутя? Нет дома посидеть?.. А за ухи хочешь?

«Бегоулец» — белоголовый, волосы на затылке торчком, от солнца выцвели, нос облупился, глаза, как у матери, голубые, глядят исподлобья.

— Муравья видишь? Он тебе со всего берет взятку: хоть ему цветок, хоть труп палый... Вот у него учись, у муравья.

Фанаска слушает и молчит. На муравьев он смотрит, и даже один залез на его босую и крепкую, красную, как сосновый сучок, ногу: Фанаска стряхнул его другой ногой, почесался, оглянулся, тоскливо погрыз кулак,— видно, что ему очень скучно.

— Ты как это трудиться не хочешь? — не отстает Назар.— Ты у меня трудись смотри, а то на декох посажу.

С весны начал было Назар учить Фанаску буквам, но Фанаска все удивлялся, почему «а»; почему «бе»... «Бе,— повторял он вслед за отцом,— гы-гы... бе!» Потом азбука приводила его в непобедимый ужас, и только брался за нее Назар, Фанаска стремительно бросался вон из кухни, забивался в гущину виноградника, пропадал. Пришлось отложить до зимы, но пока должен он был полоть траву цапкой, ходить за водой в бассейн, обирать гусениц с маленьких яблонь-карликов и многое еще. А кругом в божьем мире было столько удивительных вещей. Захотел идти направо — ступай направо, захотел идти налево — иди налево; везде хлопочут жуки, рыщут ящерицы, подлетывают

с треском кузнечики с красными крыльями; Фанаска ловит их, держит за голову, говорит нараспев:

Кузнец-кузнец, дай деготьку,
А то гол'ву оторву!

И кузнец боится и дает. Или снимет зеленого червяка с листа и внушает:

Червяк-червяк, дай п'утину,
Червяк-червяк, дай п'утину...

И червяк дает паутину. Так все кругом понимает Фанаску и живет с ним в ладу.

На одном кусту боярышника — каждый день приходит смотреть Фанаска — «зябриково» гнездо: четыре зеленых яичка; а то есть такая балка, в ней «дохлая барашковая голова с рогами»... Иногда он говорит об этом шепотом матери, чтоб и она знала.

От кухни недалеко разбросался мелкий дубнячок. Корни у него тысячелетние, и все время, год за годом, упорно выбегает из них толпа сочнейших веток с крупными листьями, твердыми и блестящими, точно из лакированной зеленой кожи.

Назар смотрит упорно на этот дубнячок и говорит строго Фанаске:

— Сейчас принеси топор поди: повырубáть надо. И всегда, кроме этого, от этих кустов — вша.

Новые дома среди старых мшистых деревьев или среди серых потресканных скал — до чего они нестерпимы для глаз, и как хороши в такой обстановке домá, над которыми не спеша поработало солнце: стерло лоск штукатурки, отодрало масляную краску с дерева балконов, с железа водосточных труб, приобщило к природному, своему, обняло по-родному, усыновило.

Дача Пикулина новая — только весной закончили,— так и блестит вся свежими красками. Дачников здесь нет: далеко от города, высоко, трудно подниматься. Хозяина тоже нет пока,— приедет осенью; один Назар.

Но солнце, вечный хозяин земли, знает на земле каждую пядь; и осенью придется Назару объяснять Пикулину, отчего это по крыше поперек прошли частые белые полосы.

— Это от застоя, ваше превосходительство,— скажет Назар, подобострастно шевеля бровями,— застой росы та-

кой: ночью краску выест, а днем еще хужей: жара. Кроме этого, соль морская.

— Со-оль?

— Так точно, соль вредная. Уж крышу здесь неминуючи через год опять красить.

И Пикулин, старик исправник, коллежский советник, горбоносый, с висячими красными бритыми щеками, покачает головою и скажет сочно:

— Р-рас-ход!

Разметал Федор весь плохо слепленный дымоход плиты, наворочал на полу груду закопченных кирпичей, пропитал всю кухню гарью и сажей, набил себе в бороду черных хлопьев, накурил крепчайшей махоркой, возился над глиной, весь дымный, занял собою всю кухню, выгнал Зиновью с Ваняткой на солнце к порогу...

Горел возле самого порога маленький, шипучий, мокрый на вид огонек; кипятилась вода в котелке; ползал пушистый Ванятка; чистила Зиновья мелкую камсу, слушала Федора.

А Федор говорит все время, не уставая, обо всем, о чем угодно. Увидит Пукета, Фанаскина щенка из татарских овчарок, у которого Назар для злости обрезал уши, говорит о собаках:

— Уж ежель держать собаку, так держать собаку, чтоб была она собакой, а не так... Чтоб она днем — на цепе, ночью — чтоб она спущена и к дому свому чтоб, а нини, ни боже мой никого, чтоб духу-звания близко не допускать... У нас, когда я был еще маленький, две собаки на дворе были: одна... да нет, обе они здоровущие,— вот такие телята. Ну, одна только глупая, вот как человек глупый все мелет, все мелет, и эта своим чередом: все лает, все лает, — и внимания на нее никто не обращает, все бесперечь брешет... А другой зато был — он молчок, о-он лежит себе, брат, посмотрит глазом, одним ухом прослушает, опять будто его в сон клонит; а ворота у нас далеко от дома, шагов двести, а то и больше; хрясть там кто-нибудь ночью — он рот разинет: ам!! — ну, тут уж вставай, раз его голос услыхали, живым духом вставай, иди: он по-пустому молоть не будет.

Увидит ли, села на окно синица и тут же с испуганным свистом дала стречка, заговорит о синице, мимоходом передразнив татар:



— «Э-э, знако́м, большой птица, нехороший, оно — вор, называемый синиц,— говядину клевал, порвал,— э-э, вор!..» И не думай, что шутки. У меня дядя по свиной части, свиней скупали на туши. И вот ведь туши свиные, скажем,— у нас их как освежуют, опалят, оскоблют,— в холке разрез такой разрезают — сколь жирна, показать, стало быть, какой толщины сало,— и в клеть на крюк... И вот ты от соседа не стереги, от соседской собаки не стереги, а за синицей смотри да смотри. Она, синица, невеликая вещь, а на холку сядет, как начнет раскомаривать,— как крыса оборвет!.. Большую шкоду делает. Продавать потом тушу повези — страм! Всякому в глаза кидается: каким манером это могло? Или это зверь, или это пес?.. А этому зверю всей долины́ — без четверти вершок... «Такой большой птица — вор!..»

И тут же вспоминает кстати Федор:

— Я ведь и сам резник был, да еще какой я резник был знаменитый — по восемнадцать овец в день разделывал!.. Была у меня такая сила, что в селе нашем — не шути селом нашим: две церкви,— ну, известно уж, у нас кулачки — на какую я стену встал, та и гонит... У меня рука очень жесткая,— попробуй, возьми своей рукой... Мне, ежель скотина девять-десять пудов,— никаких мне помощников не надо: за рога, на колени, р-раз ее в горловой позвонок, и без последствий... Свинья ежель пудов четырех, тоже я все один.

Увидит мелкую рыбешку камсу в руках у Зиновьи, говорит о рыбе:

— Какая здесь на рыбу дороговизть: лобан свежий татарчата носят — вынь-положь восемь гривен за штуку, а в этой штуке весу — только кота накормить... В Петровском, на Кавказе, я на службе служил — вот где рыба нипочем: сорок копеек пуд — сазан, щука, какую хочешь!.. Куда вместо мяса нам это заменяло, да без мослов, почитай, выходит вес чистый. Так у нас за Великий пост экономии столько загнали,— цельную Пасху пьянством занимались.

На море видно, как турки — большая артель, человек тридцать — близко от берега, укрепив в воде столбы, растянули прямоугольником огромную красную сеть на кефаль; на столбах устроили сторожевые вышки, сидят на них по двое, по трое — следят за стаями. На берегу у них дюжина лодок, косые палатки, какой-то скарб... А ближе к городу — цветные кабинки на синеватом пляже, и ку-

пальщики, и столько лениво лежащих на песке, и кто-то катается на двух яликах вперегонку — все прозрачное, легкое, голубое... Но каждый день это, к этому привыкла Зиновья, а Федор говорит о своем:

— Я Моршанского уезду... Город Моршанский знаешь? Не знаешь, а у нас там собор знаменитый. Собор у нас там — вы-со-та!.. Его ведь выше Ивана Великого купцы наши умудрили возвесть; туды-сюды — хвать, запрещение: выше Ивана Великого не смей!.. Так его и сгадили весь план: купол обкорнали весь, и венциальные окна — ни к чему по четыре с половиной аршина, а их по двенадцати надо было аршинов: четыре сажня, ты то пойми!.. У нас дьякон там был, Краснопевцев,— как хватит «Многая лета», так и стекла вон. Ну, конечно, во всю силу голоса ему воспрещали... Из себя страсть какой видный, грива — во-о!.. И, бывалыча, всегда он пьян: купечество — всякому лестно, как такого дьякона не угостить?.. Побыл у нас год, а его к архиерею, побыл у архиерея год, а его в Святейший синод требуют... Теперь небось такой шишкой стал,— сзаду богу намолишься.

Рассказал о дьяконе,— пошли монахи, потом какой-то помещик Можаров, потом казачьи лошади...

И к тому времени, как подошел потный Назар к кухне, Федор сидел уже на пороге, рядом с Зиновьей, Ваняткой и огоньком, и говорил мирно о кладах:

— Чабан один барашку пас... На дудочке себе играет на кургане,— это под самой Керчью, Золотая гора называется; сидит,— и сидеть ему очень удобно на плите на такой — каменная плита, гладкая; сидит раз, а тут, значит, дожжем ее подмыло, не очень уж она плотно к земле припавши; бу-ултых он с ней в яму,— скрозь земь провалился, пропал. Ищут-поищут хозявы чабана — барашка — есть, а чабан пропал. Что за оказия, чабана нет? Барашка — вся чисто целая, а его и духу-звания нет. Вот другого наняли. А барашка,— где ее стан, она привычная, прет средь дня на Золотую гору, одна к одной головами, в круг, как ей обыкновение... Только этот новый подходит — голос человечий. Откуда это из ямы голос человечий подается? «Ты кто там?» — «Чабан».— «Как туда попал?» — «То-се». Бежит новый к своим хозяевам грекам: вон где он проявился,— сквозь землю провалился, шабаш! Те, греки,— народ хитрый — веревки, лопаты, да туда. Оказалась пещера, в пещере — два гроба, а возле — колодец, цибарка на цепе, а дальше, спустя место, ворота... Со скольких

это годов — никто не знает. Ну, конечно, кувшины такие старинные, золото, серебро. Вот какие, значит, вещи подходящие — это они, греки, себе обшарили все: пожалуйте теперь желающая полиция клад опечатывать... А сами в Керчи домов себе понакупили двухэтажных.

— Да, говорится — двухэтажный, а заместо того — бумажный,— вставляет Назар.

— Ты вот говоришь, а теперь по Митридат-горе ребята татарские ходят, землю мелкую собирают, просеивают: монетки находят золотые. А то есть такие турки,— чем занимаются, никому это неизвестно, а небось богато живут: со щупами ходят. Как день, они щупы в руки — палки такие вострые — и идут, по горе ходят, так, будто прогулка это у них, а сами хитро землю щупают: может, где подастся поглубже. Подалась — вот и готово дело: заметку поставят, ночью кирки на плечи, гайда на это место... Мало находят, что ли? А не хочешь,— тетка у моей жены в Керчи погреб себе копала, две генуецких вазы нашла: одна ваза золотая — полнехонька с золотом, другая серебряная — с серебром полна. Не скажу, что она раньше того бедная была: по двадцати тысячев на трех сыновей положила, а как эти вазы еще — так она на дочь — сорок тысячев!.. Жена моя службу у ней имела, горничной, а когда вместо кухарки. Она ей: «Вот дом приставской (взял под залог три тысячи, а отдавать — наворовать не поспел), вот этот дом, а при доме сад (хороший, четь десятины!) — вам с мужем, корову куплю вам, — живите». А она, стерва... в нашем быту гнуться надо, а у ней с теткой недостаток разговору вышел, из-за бабьих пустяков не помирились, — она от тетки по щеке получила, да сдачи ей. Та ее, конечно, за хвост на улицу... Вот почему у нас бедность.

— Да у тебя и жены-то нет, хромой, что врешь все?

— Как нет? Здесь нет — в Керчи есть. С другим печником живет,— вот уж, почитай, лет пятнадцать она с ним... Я в это дело не вникаю: хочет он с нею жить, значит, мог он с ней ладу добиться, — ну и живи.

И подмигивает Федор одним глазом.

— Ты что это мне все про клады? — сурово спрашивает Назар.

— Что?.. Думаешь — не бывает?.. Э-э, брат!

— Ты за кладом хочешь? Поспешай-поспешай, а то другой кто найдет... Поспешай.

Удивляется Федор:

— От моей хромоты мне теперь на Палац-гору? Эк ты,

умен!.. Мое теперь дело пустынное, ровное... Раньше таким бы манером...

— Клад — вот он клад! — с азартом стучит себя пальцем по лбу Назар.— Ежели у кого шарик работает!.. Две руки тебе даны, вот это тебе кла-ад!.. Ты только на людей не тянись, не нагоняй лени — вот тебе клад!.. Ах-ах, народ!

Федор смотрит на него, не понимая, отчего он так осерчал. Когда люди серчают возле него, ему тоскливо, и кажется, что он голоден, и хочется выпить водки.

— Поднеси-ка мне рюмочку,— подмигивая, примирительно тихо говорит он Назару.— И ежели две, то еще того лучше... И, может, есть у тебя огурец малосольный закусить.

Стоят они друг против друга, один молодой, сухоскулый, весь подобранный, легкий, другой — носатый, колченогий, сильно оборванный долгими рядами лет: запах от него грязный и пьяный, руки у него дрожат; кладет кирпич «на кантик» — ложится «на плац».

Но Зиновья смотрит на Федора любовно, достает ему водку, рюмку, морщинистый огурец. Простые русские бабы любят угощать и потчевать, и в то время как Назар отвернулся, глядит в окно на море, барабанит пальцами в подоконник, Зиновья, синеглазая, улыбается Федору, грешному, пьяному. Простые русские бабы почему-то матерински любят неправильных мужиков.

Есть какая-то на земле своя солнечная правда, человеку этого не дано знать, человек только чувствует это смутно, когда вдруг возьмет да поверит сказке о том, например, что никогда не разлюбит, никогда не состарится, никогда не умрет. Сядьте здесь, на большой высоте над морем, избочите голову, как это делают птицы, тогда все вам покажется новым; забудьте, что влево верст за сто такой-то город, вправо верст за сто — такой-то: пусть будет только светлое яркое море перед вами и вы, и на́ море вон один, вон другой, вон третий, точно в другом мире — так далеко, как лебеди белые, белеют баркасы-парусники. Крикните им вдруг: «Эй, кораблики!» Громче кричите: «Эй, кораблики! Вы куда это плывете, кораблики?» Пусть они выплыли из какой-нибудь зачарованной страны, пусть плывут они в страны, совсем неслыханные, пусть паруса у них вечные, мачты вечные, матросы вечные... Пусть не будет хотя бы для них одних так обидно мала земля... «Эй, кораблики!»

Для сна после обеда Федор не выбирал места: он лег позади кухни в тени так, как был, прямо на землю, только лицо обернул фартуком, чтобы не кусала муха.

И сразу мягка, и тепла, и родна ему стала земля.

А Назар внизу около дачи. Здесь все требует его глаза: и молодые павлонии, у которых от горной сухой земли и солнца каждый день колпачками беспомощно обвисают широкие клейкие листья: нужно их напоить, как усталых рабочих коняг; и виноград, у которого сочные доходные чубуки выгнало длиннее чем в сажень: нужно сделать ему широким ножом вторую чеканку; кисти в наливе: нужно осыпать их вторично серой. И нужно выбелить густо известью толь на крыше беседки в нижнем саду и залепить трещины в цементных ступеньках лестницы, чтобы не расселись совсем.

— Положили прямо на глину бетон, ах, гады! — ковыряя ногтем трещину, говорил Зиновье Назар.— А для бетону глина — да это же чистый яд!

И Фанаску тут же держит Назар: то пошлет его за мочалой, то за секатором, и, когда отрезает длинную ветку персика, начинающую подсыхать, Фанаска спрашивает удивленно: «На кой?» — и осторожно подымает ветку.

Эти часы — третий, четвертый, пятый — душны даже здесь в саду, на перевале. Густо пахнет вялым виноградным листом, около земли припеченным, желтым; земля горячая, не устоишь босиком; цикады трещат лениво; высоко, где, кажется, еще жарче, вьются орлы; на поздние черешни садятся с довольными криками стаи молодых большеротых скворцов, и Зиновья бросает в них неловко, по-бабьи, комьями земли и кричит: «Кши, окаянная сила!» Скворцы улетают с ягодами в клювах, а потом хитро подбираются вновь. Длинный толстый желтобрюх давно уже лежал на куче прошлогодних сухих чубуков и сладко грелся, но, заслышав близко Назара, зашуршал и пропал в дубняке. Земля — и тут же над землею солнце: так оно низко и велико. Только успел Назар пройтись известью по черной смолистой толевой крыше, и уж она побелела, повеселело в саду и кругом: белое издалека видно; в белом человека больше всего.

Утром солнце шире, к вечеру — уже. Брызнувшее по всему небу с утра — к вечеру стекается оно в одно русло, и вот ее уж почти определенно видно, солнечную реку: это бывает здесь в шестом часу, когда жестко звенят по-деловому ведра у большого бассейна. Колодца здесь нет, вода дож-

девая, с крыш. Назар, разнося ее по деревьям, по неровной покатой кочковато вскопанной почве, упруго и устало ставит ноги. Много посадок около дачи, и вьются по резному балкону настурция и вьюнок: это час их рабочего водопоя; пахнет сырою землей и цветами.

Раза два хотел послать Назар Зиновью или Фанаску на кухню посмотреть, как работает печник, и все находилось для них другое дело.

Но когда приходится пройти с ведрами мимо кухни — полить помидоры на грядках, Назар видит Федора: спит Федор.

Спросонья Федор ничего не может понять: где это он, как попал сюда, почему кричит на него этот скуластый малый?.. А спросонья он даже и на Федора не совсем похож: картуз в обтяжку тот же, и длинный, сизый нос тот же, и та же борода — путаный лес, но как будто ему лет на десять больше: что-то отняла у него на время земля.

— Ты ж явился сюда зачем? — возмущенно кричит Назар.— Спать? Ты спать?— и ныряет тонкою шеей, и нижет его злыми глазами, и водит перед его носом жилистой, узловатой, в подсученном рукаве рукой.

Федор смотрит долго на него, на белую стену кухни, на молодой миндальник, возле которого он спал, на желтое солнце, которое клонит к закату, зевает глубоко и мирно, скребет под картузом и тянется в карман за кисетом.

— Да-а... Это я поспал... Таким манером,— я ведь эту ночь допоздна кружил...— И улыбается, подмигивая красным глазом.

— Ты мне что это: кружил?! Это — не касается! Как ты мне сказал, сегодня кончишь, а заместо того только все развертел? Когда ж ты ее сегодня кончишь?

Федор свернул цигарку, откусил лишнее зубами, зачерпнул табаку из кисета, и много старой медленной мудрости его в том, что говорит он Назару:

— Сегодня ее кончить или же завтра ее кончить — одна ведь ей цена: плита. Придет время — и кончу.

— Ты что же это за босяк за такой? — наседает Назар.— Как сам на себя не надеешься, ты бы мне сказал: разбуди... Босяк!..

А Федор удивляется, еще не совсем очнувшись:

— Ну и колготной ты мужик!.. Смотрю-смотрю на тебя — страсть колготной!.. Ежели б я поденный, тогда ты полное право имеешь, конечно, надо мной свой сурьез показать, ну, однако, я сдельно взялся! Хочу — работаю, хо-

чу я — сплю: как мне хочется... Почему ж это ты такой колготной?

— Ты к делу приставлен — значит, нужно тебе свое дело исполнять! — кричит Назар.— Полну кухню каменю навалил и думать забыл? Пролетарист!

— Гм... Стало быть, после всего этого должен я увойти,— говорит Федор.

Когда он начинает серчать, то употребляет иногда слова исковерканные, местные, считая, должно быть, что сказать этак полезнее, чем просто. Он подымается, и это долго и трудно: он подбирает под себя здоровую правую ногу, рядом с ней прочно упирает правую руку, а левую относит подальше вперед, наклоняется в пояснице, чуть не касаясь земли бородой, чтобы упереться здоровым коленом, и когда встает наконец на обе ноги, то дрожит, весь красный, и трудно дышит.

— Ты сейчас же у меня иди и кончай! — кричит Назар.

— Нет, я увойду,— говорит Федор.

Фанаска прибегает снизу и широко смотрит, и корноухий Пукет, ничего не желая понимать, игриво старается укусить его за пятку. Подымается сюда и тонкая Зиновья, голова к голове с пухлым, белым Ваняткой, и от больших на худом лице синих глаз ее все кругло голубеет в глазах Федора, и непременно уж хочется быть удалым и щедрым.

— Увойду! — повторяет он.— Как ты тут так надо мной озоруешь,— эге-ге, брат! — поищи других.

Он подбрасывает голову, одергивает фартук, выправляет рубаху и, волоча прямую ногу, бодро выходит на дорожку, посыпанную морским гравием.

— Как же ты это делать смеешь? — озадачен Назар.

— Так и смею.

— Ну, ты ж с меня денег своих...

— А подавись деньгами! — лихо вставляет Федор.

Если бы Зиновья подошла к нему ближе, что-нибудь сказала Назару, что-нибудь сказала ему, может быть, он и остался бы и сложил бы боров, но Зиновья недоуменно глядит и молчит.

И идет Федор к пикулинской калитке — пьяный и старый, сутулый и хромой, грешный и гордый.

Точно ломаются где-то страшно далеко тонкие-тонкие-тонкие льдинки: это солнце заходит за горы.

Солнце здесь подымается из-за моря и потому очень

рано — ничто ему не мешает, а заходит за ближние зеленые высокие горы, и еще нет и шести часов, а уж подходит солнечная река к буковой плотине. Горы ощетинились этими редкими буками, как кабаньи спины, и теперь каждый сук отчетливо черен, точно почернел от святого страха, переплескивает через плотину солнце, кажется, медленно гнет буки, тончит сучья, глотает листья, — свергается куда-то вниз, не видно куда.

А по скатам, в неглубоких балках уже начинают мягко стелиться остроконечные, чуть розоватые, как розовая пыль, тени. Потом они расползутся по круглым дубовым кустам вблизи, по серым круглым, как притаившиеся ежи, шапкам перекати-поля, по растрепанным колючим молочаям. Тени эти сквозные, в них все задумается, станет свежее дышать.

Черные дрозды начали уж беспокойно искать веток сухих и высоких, откуда бы им все было видно. Это их час. Как только солнце переплескивает за горы, они кричат что-то, ужасно волнуясь, что именно — неизвестно. Они косноязычно-оторванно чекают, изумленно-высоко всплескивают горлом, начинают и не знают конца, кончают и забывают начало, и подпрыгивают выше, и вздергивают хвостами. Но, может быть, это были бы красивейшие песни солнцу, если бы не мешало волнение. Потом, когда исчезнет последний луч и только странной формы облака подымутся над горами, огненные и золотые, дрозды станут грустнее, тише; а когда и облака погаснут — замолчат дрозды.

Начинают расходиться с перевала коровы, воровато обгрызая на ходу кусты. Теперь Федор видит, что они — стадо, что есть у них пастух, выдубленный солнцем татарчонок, и что это он гонит их в город, по дворам. Крепко пахнет от них вечерним парным молоком и хлевом.

Вспугнутая стадом, пролетает низко над землею из куста в куст головастая, косокрылая, слепая птица: это сплюшка. Стемнеет — и начнет она ввертывать в ночь, как тугой буравчик, нестерпимо жалостное: сплю-ю... плю-ю... тлю-ю...

Городок — в огне. Теперь это совсем волчок, размалеванный так по-детски крикливо, что глаза колет; пять минут погорит — погаснет.

По морю стрельнула вдоль дальнего берега золотистая стрелка — вот-вот позолотеет сразу все море. Тогда оно станет трогательно-вдумчивым, усталым, осядет ниже. А потом и небо на горизонте станет тяжелее его: пепельное

и лиловое, а море выкатится из этого неба, как огромнейший круглый глаз, широко изумленный. Потом успокоится глаз, и придут часы долгой прохлады, тонкой темноты, воспоминаний, недомолвок, грусти и странных мечтаний, и сказок, и радостной, прочной, как земля, убежденности в том, что из-за моря подымется в свое время такое же спокойное солнце и настанет завтра.

Федор идет вниз с перевала, осторожно выставляя хромую ногу, идет долго, иногда сердито бормочет и трясет бородой. И когда проходит уже половину спуска, вспоминает, что оставил у Назара грохот, ведро и кисть, а гельм захватил только потому, что нечаянно сунул его за фартук, когда ложился спать. Если бы оставил где-нибудь в городе — к этому он привык, но идти сюда — далеко и трудно. Он ругается крепко-крепко, сопит, плюет наземь, потом машет рукой и медленно движется дальше: кому нужно будет — тот сходит.

1911

НЕДРА

Поэма

I

Шел ей девяносто шестой год,— пожалуй, даже и нельзя уже было сказать «шел»: бабушка все время сидела в кресле-качалке, больше дремала, чем смотрела и слушала, и едва ли сознавала ясно, что идет время. Череп облысел — прикрывала его черным чепцом; бессчетно много было морщинок коричневых на ее лице — все еще большом, с орлиным носом,— и держалась еще дряблая дородность в теле.

В середине апреля часто стала впадать бабушка в долгие забытья; думали, что от пьяного весеннего воздуха, но знакомый доктор предположил близость смерти. Тогда в комнату бабушки стали чаще заглядывать днем, а ночью поочередно дежурили ее внучки и правнучки, чтобы в момент смерти быть около незапамятно старой, ворчливой, любимой, когда-то победно красивой, прожившей длинную жизнь.

Была своеобразная таинственность и жуткость в том, как стерегли смерть. В доме следили приход ее пять человек: старый чиновник губернского правления, Никандр Порфирьич, женатый на дочери умирающей, Ольге Ивановне, их сын, пострадавший за убеждения, женившийся в Сибири и теперь приехавший с женой в родной город искать какого-нибудь места, и баба-законница кухарка Лукерья.

Потом приезжали посменно две внучки, обе замужние, жившие в том же городе, полнокровные, очень деятельные, сентиментальные, и три правнучки, двоюродные сестры: Лиза, просватанная за инженера Строгова, Даша — невеста поручика Головачева и Варенька, самая младшая, лет шестнадцати.

Тянулось это около двух недель,— все кто-то откладывал нежеланное, но жданное, и уж началось какое-то соревнование в том, кому предназначено увидеть последние

минуты бабушкиной жизни, и было только любопытство игроцкое, как в карточной игре, а боязни никакой не осталось.

Старик Никандр Порфирьич — чиновник — был человек скромный: придя со службы, спал, а потом сидел у себя в кабинетике и допоздна рисовал акварелью морские виды (хотя в натуре моря никогда не видал): синюю воду — белые корабли, или зеленую воду — белые облака, или голубую воду — белых чаек; только три краски у него и было: белила, гуммигут и берлинская лазурь. Любил дали, а берегов не любил, почему и не держал для них красок.

Бывший ссыльный, сын его, такой же скромный, как и отец, занимался математикой, просто так, как любитель: пользы от этих занятий извлечь не мог. Оба они, забившись в кабинетик, старались не мешать друг другу: мало говорили, даже мало покашливали и совсем не курили, ни тот, ни другой. А в остальном доме —и в столовой, и в гостиной, и в спальне, и в комнате бабушки — везде было шумно, болтливо, хлопотливо: там жили.

Приезжая, ужинали, болтали о чем-то своем, неистощимо женском, потом, когда в доме укладывались спать, шли на дежурство в комнату бабушки. В комнате стояла для дежурной свежепостланная кровать, на которой спать воспрещалось, но можно было лежать и читать при свече книгу. Книгу выбрали толстую — роман с нескончаемой любовью, — и редко кто знал, как называется роман, и никого, по обыкновению, не занимало, кто автор, и то, что прочитывалось за ночь, через день забывалось бесследно, и загнутые уголки страниц вечно путали, путали и крестики среди текста, которые делали шпилькой,— но свеча и толстый роман — это уж так повелось.

Когда дежурила старшая внучка умиравшей, Серафима Павловна, она просила еще чайник холодного чаю и вазочку клубничного варенья; помешивала тихо звякавшей ложечкой и пила. Очень это любила: холодный чай, клубничное варенье и как ложечка звякает,— без этого не могла.

Прасковья же Павловна любила фисташки: нагрызала их за ночь огромную кучу. Кроме того, в свое дежурство мыла здесь волосы дождевой водой: для этого всегда хранилась у Ольги Ивановны дождевая вода в кадушке, и был какой-то свой мыльный состав, в который она верила и секрет которого обещалась передать Прасковье Павловне перед своей смертью.

Лиза, дочь Серафимы Павловны, приходила с какой-ни-

будь работой: вышивала подушку, вязала ридикюль, метила платки — готовила приданое к очень скорой свадьбе, а сестра ее Даша писала длинные-длинные письма своему поручику, который был теперь в командировке в соседнем городе, обучал не то ополченцев, не то запасных, и аккуратно ей отвечал, хотя и не столь длинно (ведь он был занят службой), но нежно; и два-три последние его письма Даша всегда носила с собою, чтобы украдкой перечесть и продумать.

Обе были высокие, полногрудые, на обеих хорошо сидели всякие платья, даже и не модные, и обеим завидовала вслух Варенька-коротышка:

— Какие у вас фигуры шикарные!

— А ты тоже подтянешься,— говорила Лиза,— тебе ведь еще года три расти.

— Да-а... подтянусь на вершочек на какой-нибудь... У нас есть ученица в седьмом классе, Завьялова, еще меньше меня, толстая, краснощекая, ее «самоварчиком» зовут... Не хочу быть «самоварчиком».

— У тебя глазены красивые, и цвет лица идеальный, и вся ты милая-милая! — говорила нежная от писем Даша.

— Милая?.. Правда, милая?.. Дай я тебя, Дашуня, поцелую за это.

У Вареньки матери не было — года три назад померла; отец ее, тоже уездный чиновник, как и муж Ольги Ивановны, от тоски по покойнице иногда попивал.

Домик у него был старенький и сильно заложен, без всякой надежды на выкуп; половина его сдавалась жильцам, а в трех комнатках жили сами; на дворе собака Тузик, а в амбаре вместе с курами кролики.

Тузика Варенька купила сама на базаре в прошлом году, в октябре: захотелось завести комнатную собачку, а на базаре случайно попался приезжий мужик с продажными щенками.

— Ах какие смешные! — вскрикнула Варенька, увидев щенят в дерюге.— Комнатные?

— Самые комнатные,— сказал приезжий мужик.

— Какой породы?

— Породы — бог их знает: господские.

— Вырастут — маленькие будут?

— Самые маленькие,— сказал мужик.

Тут увидела Варенька огромного лохматого пса, привязанного к задку мужицкой телеги, такого же черного, как щенки.

— Это их... «мама»?! — вскрикнула Варенька.

— Какая ж «мама», барышня? Извольте посмотреть — кобелек! — и мужик поднял псу заднюю ногу.

Варенька не смутилась; о том, что кобелек может быть их «папа», не спросила; отобрала лучшего щенка и принесла. Комнатный щенок за зиму вырос так, что и на дворе ему тесно было, а кухарка жаловалась, что много ест.

Двух кроликов Тузик тоже съел по незнанию, что есть их нельзя; осталось восемь. Когда Варенька ставила на окно свой хрипучий дешевый граммофон, кролики выползали из амбара, один за другим — прыг-прыг — подбирались к окошку, становились на задние лапы, озирались один на другого, развешивали уши и слушали.

Варенька всплескивала руками и хохотала и звала неистово кухарку Степаниду посмотреть.

У Вареньки была уже крестница, двухлетняя теперь девочка Люба, дочка квартирантов, с мягонькими белыми волосиками, с синими глазками,— и она с ней возилась все свободное от гимназии время.

Любила кормить ее конфетами, пришпиливать ей бантики розовые и синие, вертеть ее, как куколку, и припевать:

Делай ручкой хлоп-хлоп-хлоп,
Делай ножкой топ-топ-топ.
И туда и сюда повернемся без труда!

Без ума от радости, когда крестница в первый раз назвала ее по имени; правда, назвала не Варей, а Калей, но так вышло еще забавнее и милее:Каля... Любила спрашивать ее при других:

— Как меня зовут, Любочка? Я — кто?

— Каля.

Потом хохот до слез и звонкие поцелуи.

А теперь, недавно, девочка ходила в саду по крупному рыжему гравию, которым посыпали дорожки, и сказала:

— Я... хожу... по сухарей.

И так это понравилось Вареньке, что несколько дней она только и повторяла это Любочкино: «Я хожу по сухарей», вспомнит — и прыснет счастливо.

Но и о себе она думала упорно: надвигается настоящая взрослая жизнь: что в ней, в этой жизни? Готова ли она к ней?

И однажды, неуклонно каллиграфически, по всем правилам своего учителя чистописания, написала она письмо в Лондон к какому-то известному из газетных реклам гра-

фологу «с покорнейшей просьбой» определить по ее почерку, какой у нее характер.

На ответ приложила две марки, но ответа почему-то не получила, и насчет своего характера была в затруднении: каков он?

II

Удивительный выдался вечер, когда Вареньке пришел черед вторично дежурить.

Первый раз она храбро выдержала целую ночь, и утром, когда тихо посвистывала носом сонная бабушка, вся такая желтая-желтая, как шафран, а Лукерья уже завозилась на кухне, Варенька потянулась сладко, сделала крестик в романе, приоткрыла ставень, отворила форточку, глотнула росистого солнца, пахучего, клейкого сада, всего-всего утренне-радостно-апрельского, сколько могла вобрать, а потом неумойкой оделась, побежала спать домой («домой» же — это недалеко было, через улицу), и когда проснулась к обеду, как-то даже и рассказать нечего было: читала, на бабушку иногда смотрела, бабушка посвистывала легонько,— а страшного ничего.

Теперь же, когда шла она опять вечером, попался на улице семиклассник Костя Орешкин — нескладень и неряха. Когда были еще маленькие, приготовишки, звал ее «ослицей ширабахскою» (и откуда взял такое?), а теперь вздумал ухаживать, и так это у него смешно выходит, и такой стал глупый; и голос ломается надвое: то дискант, то бас.

Спросил (басом):

— Куда это, Варенька?

— А тебе зачем?.. К бабушке.

— Ну что ж... (дискантом) я подожду.

— Ого! Подожди-ка!.. Все жданки поешь. Утром выйду.

— Ну-у? Ночевать будешь у бабушки?

Рассказала, что с бабушкой и как дежурят,— в пяти словах...

— И вот бабушка... и вот мы все: Ольга Ивановна, тетя Серафима Павловна, тетя Прасковья Павловна, и Даша, и Лиза, и я... и вот целую-целую ночь... и роман... И вот... Покойной ночи, а я уж пойду, ведь меня ждут.

А когда прощались, все никак не хотел он выпустить ее руку, и рука стала потная, так что она даже осерчала и выругала его ослом ширабахским, а он промолчал смиренно, как будто так и надо.

Очень нравилось Вареньке у Ольги Ивановны. Войдешь — обдаст геранью; это ведь только от герани в комнатах так тепло, и уютно, и оранжерееЧно.

Говорила Ольге Ивановне:

— Уверяют, что самый это размещанский цветок — герань! Какие глупости!.. Ну и пусть размещанский, пусть! А мне вот нравится, и все тут! И когда я выйду замуж...

Она хотела добавить, что тогда заведет себе обстановку совсем как у Ольги Ивановны: и такие же шкафы с резьбой: на посудном — птицы, носами вниз, лапки связаны; на гардеробном — розы гирляндами и ленты бантиками; а на книжном — просто так, строго: колонны по бокам, с прямыми выемками и с коронками, как на судейских фуражках (книжному шкафу, конечно, ни птицы, ни розы не идут); и такую же заведет большую бронзовую лампу над столом, на которой два медведя лезли на дерево к пчелиному улью — умильные-умильные мишки, привычные-привычные, лезут и лезут уже сколько лет; и такие же занавески на окнах, и драпри над дверьми, и пол чтоб всегда был так же чисто-чисто выметен-вымыт; и на столе в гостиной чтобы всегда две большие вазы: с фруктами — одна, с орехами — другая...

Многое еще хотела добавить, но добавляла не то, что хотела, а другое:

— Вот только что я совсем-совсем не хочу замуж!.. Зачем?

А Ольга Ивановна, у которой и теперь даже, в шестьдесят лет, волосы были густые и черные, а лицо свежее, добротное, хлопала ее по-плечу шутя (такая была ухватка) и подхватывала смеясь:

— Дурочка-дурочка! И что перепелок ловит?! Как это замуж не хотеть?

У нее все были какие-то смешные присловья, каждый раз новые.

Самовар, начищенный Лукерьей как-то так искусно, что весь покрылся яркими кружочками, вовсю трубил и парил на столе, точно хотел сорваться и проскакать лихо; швейная машинка трещала; половину комнаты заняло облако серого с голубым отливом легкого шевиота, такого ослепительного, что Варенька даже ахнула. В этом облаке за машинкой сидела Нина Андреевна, сибирская, с бигуди в волосах, и делала строчку, а Ольга Ивановна промывала изюм и сушеные сливы для завтрашнего компота. Все было радостно Вареньке: материю щупала, смотрела на свет и

нюхала, примеряла, завернувшись в нее перед зеркалом, и говорила: «Вот прелесть!» Из-под руки у Ольги Ивановны стащила размокшую черносливину, шаловливо прыгала с нею во рту и приговаривала: «Ух, вкусно!»

На стене висел на розовых ленточках новый для Вареньки какой-то портфель для бумаг, по зеленому кастору вышитый крупной сиренью и левкоями.

— Какой милый! — восхитилась Варенька.— Это откуда?

— Хвасталась Лиза, что сама вышивала,— объяснила Ольга Ивановна,— ан в лотерею билет на мое счастье взяла. Скрыть хотела, да совесть зазрила — принесла.

В клетке над дверью дремал на жердочке дубонос, мокроперый, бесхвостый, нахохленный. Он один только не нравился Вареньке.

— Некрасивый,— сказала о нем Варенька, поджав губы.

А Ольга Ивановна подхватила:

— И-и, некрасивый! Чем носовитей, тем и красовитей. Хотела его на Благовещенье — птичий праздник — на волю выпустить, да поскупилась... Да куда ему тут и лететь-то? Еще кто сожрет.

III

Когда Варенька осталась на дежурстве и чинно взяла роман, она долго, сосредоточенно щелкала листами, чтобы найти свою заметку. Нашла, а читать было лень — бросила. Смотрела на свечку, щурила глаза от желтых лучей, думала: вот после Пасхи пойдут экзамены... Заядлая троечница, по убеждению... Ничего, все равно дадут кончить: ни в одном классе не сидела... Потом — восьмой, серое платье... А потом что? Курсы?.. И Лиза не была на курсах, и Даша не была... и какой толк от этих курсов? Так только — мода...

Комната бабушки была небольшая, в одно окно. Обои старенькие, желтые, с синими цветочками; лавандой пахло.

Присмотрелась Варенька к бабушке, спокойно сидящей,— показалось, что бабушка на нее тоже смотрит...

— Вы не спите, бабушка?

Как-то неловко стало; а в доме тихо.

— Вам что-нибудь подать, бабушка?

Встала и подошла со свечой.

Бабушка действительно смотрела на нее, только спокойно; ласково уж разучилась смотреть — смотрела или

спокойно, или обиженно; если спокойно, значит, ничего не надо.

Одевали ее чистенько, только во все черное, как монашенку. Еще зимой бабушка чуть не каждый день ходила в церковь, и теперь, когда приносили ей просвирку от ранней, была явно рада, целовала ее и клала на столик. Много их скопилось возле нее на столике, точно и не бабушка сидит, а просвирня.

От свечки бабушка щурилась, и глаза стали узенькие, и в них по золотой точке.

— Ва-ренька...— слабо сказала бабушка вдруг.— Варенька...— и шевельнула рукой.

Варенька обомлела, на пол поставила свечку, стала на колени возле качалки; уж неделю никому ничего не говорила бабушка, только или простонет, или кивнет головой, а теперь назвала ее ясно: Варенька.

Подождала, не скажет ли еще чего-нибудь; смотрела на бабушку восторженно и робко, как на икону. Ничего больше не сказала, только поманила пальцем и веками глаз, и когда Варенька положила голову ей на колено, погладила ее неожиданно крепко, точно сукно оттирала, и глядела спокойно, но как будто по-прежнему ласково...

Потом скоро сползла рука, глаза закрылись,— забылась бабушка, тихо засвистела носиком.

Варенька встала с колен осторожно, чтобы не будить, взяла свечу, села на свою кровать к роману тоже осторожно, чтобы не скрипнуть, а самой так почему-то хорошо было оттого, что позвала и погладила ее бабушка, даже хоть бы и рассказать сейчас кому-нибудь, если бы был кто. Начала читать — не поняла ничего; перевернула листик назад, чтобы вспомнить,— и там не поняла.

Так минут десять прошло; читать не хотелось, все мечталось о чем-то и с бабушкой в качалке хорошо так было.

...Стук в окошко — слабенький, так что не повернула даже головы Варя, только прислушалась. Потом опять, немного сильнее... Окошко было низкое и прямо в сад, и когда Варенька, замерев, поднялась к нему со свечкой, она уж догадалась, что это не зов из другого мира, а Костя Орешкин. Его и видно стало, когда отворила ставень: нескладный, шея длинная, ворот блузы расстегнут, лицо робкое.

— Ты что это? — спросила Варенька в стекло очень тихо.

А Костя Орешкин улыбался застенчиво.

Когда улыбался он так, Вареньке всегда хотелось на

него прикрикнуть шутя: уж очень детская была улыбка. Но теперь она только погрозила пальцем, косясь на бабушку, и прошептала:

— Какой глупый!.. Когда бабушка спит... Бабушка! — сказала громко.— А, бабушка! — еще громче.

Бабушка свистела носиком.

Тогда Варенька приоткрыла окно.

— Ты зачем это пришел?

— Может, мы... погуляем?

— Ты с ума сошел! Когда я дежурю...

Костя подвинулся к самому окну, такой же робкий.

— Мы бы немного... по саду.

— Ты как сюда попал? Калитка разве не заперта?

— Нет, я через ограду... Там ведь дырка в ограде — планка одна вынута.

— Вот глупый!

— Очень уж ночь хорошая! — вздохнул робкий Костя.

А ночь была такая, что только подышать ею минуту, и вот уж усидеть нельзя.

В саду было несколько груш-скороспелок; теперь (весна была ранняя) как раз они зацвели и ночью пахли куда крепче, чем днем. Потом соловьи... не в этом — тут их пугали кошки,— в соседнем саду, капитана Морозова,— у него насчет кошек было строже.

Груши и соловьи были только заметнее, а о всех других запахах и других звуках, так перемешанных, таких особенно теплых, апрельских, таких уездно-городских, подумать словами как-то даже и невозможно было. Усидеть на месте нельзя, а почему — бог знает. Почему иногда человеку каждый корявый сучок — родной брат, каждая козявка — сестра, и к парной земле хочется припасть губами?

С вечера прошел маленький дождик, и теперь еще пахучей стало, чем раньше. Даже и та трава, которой еще не было, которая завтра еще пробьется на свет, и та уж пахла.

От луны сад внизу расписало тенями, и от свечки в окне, за Костей, в куст барбариса полезла тень.

— На минутку можно бы...— сказала Варенька.

— Ну да, а то на сколько же? — просиял Костя.

— Как же?.. В окно?.. Нет — застучу.

— Я помогу, ничего,— и протянул руки.

— На, платок мой теплый возьми.

— Да ведь и так тепло.

— Ну все-таки,— и, поставив ногу на подоконник, еще раз оглянулась на бабушку.

Из сада, насколько могла, притянула внутренний ставень и закрыла окно, чтобы на свет не залезло что-нибудь такое, чего не нужно. И когда очутилась в саду рядом с Костей,— «Вот спасибо тебе!» — сказал Костя.

IV

Из-под теплого платка, накинутого на голову, снизу вверх на длинного Костю птичкой смотрела Варенька: а что он сделает? а что он скажет? а как поглядит?.. Теперь, ночью, все это было так таинственно: и то, что тополи над головой шуршат, как жуки, и то, что груши пахнут крепче, и то, что тени от сучьев так же черны, как сучья, и то, что дышать так легко и сладко, и то, что бабушка зачем-то благословила ее (иначе она никак не хотела назвать того, как ее вспомнила бабушка), и то, что Костя какой-то новый, и с ним хорошо.

— Видишь ли, Костя,— сказала она подумав,— я вот только за бабушку боюсь, а то бы мы с тобой и по улицам погуляли.

— За бабушку что же бояться?— сказал Костя радостно.— У нее ведь болезни никакой нет: у нее marasmus senilis.

— Что, что?

— Старческая дряхлость, а не болезнь... Долго она еще тянуть может.

— Что ты! Доктор сказал... а иначе — зачем же нам и дежурить?

— Так у вас времени больно много.

— Какой ты грубый, Костя! Я не пойду с тобой.

— Ну что ты... ну прости... Доктора, ведь они мало о человеке знают... Только то, что он должен когда-нибудь помереть... Это я так... Ну, пойдем.

— А где же тут планка вынута?

— Она вот здесь; она не вынута — ее отодвинуть можно.

— Это ты ее и сломал, здесь все планки были целые.

— Что ты, Варенька! Совсем не я.

— Ты, ты, ты,— уж не притворяйся, я ведь все равно никому не скажу.

И когда Костя помогает ей пробраться сквозь ограду на улицу, Варенька чувствует, как бережно прикасаются к ней его большие руки; ей весело; ей хочется засмеяться звонко; но смеяться звонко нельзя: ночь, и она доверчиво и благодарно прижимается к Косте плечом.

На улице еще светлее. Безобидные собаки где-то лают.

мелкие; сказать лишь: «Шарик, Шарик! Ты что с ума сходишь? Ах, Шарик, Шарик!» — вот уж и завилял хвостом. Вдоль улицы — белые акации одна в одну, как пышные букеты. Прямо под луну попала «Белошвейная специальность белья и метки»,— так и сияют буквы, а ближе — кусочек ржавой черной жести над калиткой; лет десять назад на нем была надпись: «Константинопольский сапожный мастир — Асанов»; теперь облупилось, осталось одно ушко сапога.

Лет десять назад тут на углу была рубленая низенькая кривая хата, мимо которой боялась ходить Варенька, а теперь поставили дом приличный — белый, в полтора этажа, и на улицу палисадник.

— Я так не люблю, так не люблю, что я брюнетка!— почему-то говорит Варенька, вздохнув.— Когда я была совсем маленькая, ложусь, бывало, спать, молюсь: «Господи, ты ведь все можешь... Ну что тебе стоит? Сделай, чтоб я была блондинкой, чтоб у меня пышные белокурые волосы и чтоб вились... Боженька, сделай!» Очень я усердно молилась, ты не думай... Вставала утром, бегом к зеркалу: нет, такая же!.. Ревела я тогда, как телушка.

— Зачем тебе блондинкой?

— А затем... что ты ничего не понимаешь в этих вещах.

— Нет, понимаю.

— А два года назад... ну да, в третьем годе... поехала я к подруге Кашинцевой на дачу в Святогорский монастырь, на каникулах... Вот где хорошо было! Сколько на лодке катались, грибы в лесу собирали!.. Ну хорошо. И там ведь много дачников, красный ряд есть. Купила я себе материи на кофточку, и вот как-то меньше, чем надо; всего-то и меньше на пол-аршинчика, а кофточки не сошьешь. Покупала вечером, лавки закрылись... Ну ладно, думаю: завтра докуплю... А ночью вдруг пожар, ты представь,— красные лавки горят! Бежим смотреть, а я только об одном: пусть себе горят, если так им захотелось, только бы моя не сгорела: нигде больше такой материи не было — ну нигде. Вот я молилась!.. И ты вообрази: она-то, моя-то самая лавка, именно и загорелась! Вся сгорела, дотла... Пропала моя кофточка! И говорили, что лавочник сам поджег, знаешь, чтобы страховку получить.

Идут мимо паровой мельницы Балабана, где теперь слабо освещены запыленные окна, гудит паровичок, работает ночная смена. Костя невольно суживает шаги длинных ног, чтобы не опережать Вареньку, и оттого походка

его становится нетвердой, а Варенька вся так люба земле: шаги ее незаметно упруги, плавны, точно она не сама идет, а несет ее улица. Иногда она останавливается, оглядывает все кругом, шумно вдыхает воздух вздернутым подвижным носиком и, по-мальчишечьи встряхивая головой, говорит: «Ух, здорово!»

Точно есть какая-то тайная согласованность неба, земли и всего, что есть на земле, и она ее чует.

У Кости не умирает бабушка, но он стыдлив: представляется древняя в черном, одинокая, брошенная, и ее ему почему-то жаль. Когда крался он по саду к единственному окошку, сквозь ставни которого пробивался свет, такой удачей казалось, что вот появится Варенька в окне, если он постучит тихо. Теперь она идет с ним рядом далеко в ночь, и к этому он никак не может привыкнуть, до того это странно хорошо. Потому-то, когда говорит он, у него обрывается не совсем послушный голос, и он больше следит за ее словами, чем говорит сам, но отвечать старается по-большому. А Варенька говорит, как идет: так же бойко, упруго и без усилий. Просто это ее природные дары: ходить, говорить, смеяться звонко, хлопать в ладоши, вскрикивать, изумляться.

— У нас скоро свадьба, то есть Лиза, сестра, выходит замуж. И так неудобно эта свадьба,— как раз когда экзамены: десятого мая. А ты танцуешь, Костя?— внезапно спрашивает Варенька.

— Ну вот еще глупости! — конфузится Костя.

— Я бы на твоем месте, Костя, все-таки училась бы танцам. Как же так? Ты ведь не в лесу жить собираешься? Молодой человек должен...

— Это шаблон,— слабо возмущается Костя.— Шаблоннейший шаблон!

— Что ж! Не так страшно... И земля кружится по шаблону.

И тут же, кстати, вспоминает Варенька о французе:

— Какой наш француз смешной!.. Спросили мы его: «Мосье Сизо, правда ли, говорят, что земля — шар?» А он встал в позу и отвечает: «Cette question est très difficile». Понимаешь? — Это очень трудный вопрос. Уж мы хохотали! У меня, говорит, жена из Африки, но она не черная, нет elle n'est pas noire!

— Но... достаточно все-таки черна,— вставляет Костя.

— Ну конечно!.. Взял еще моду почему-то брать за подбородок пальцем. «Mademoiselle, а скажить...» — и за

подбородок... Я на него так посмотрела недавно, когда он ко мне подошел, что он... сразу ручки в карманчик и даже на носочки поднялся... Ей-богу, хотела подсчечину дать!

— Что да-ать?

— Подсчечину.

— Пощечину,— мягко поправляет Костя.

— Ну, все равно... А ты знаешь стихи:

Regardez, ma chère[1] сестрица,
Quel joli[2] идет garçon!..[3]
Но увы, — il faut[4] молиться.
Нам пора á la maison[5].

— Знаешь?

— Нет, не знаю. Хорошие стихи.

Костя смеется добродушно. Ведь Варенька это нарочно, и она миленькая — ей все простительно.

Между звезд, теплых и ласковых, два облачка, и у них иззелена-светлые края. Черепичные крыши небольших домов кажутся теперь такими легкими, почти невесомыми; кое-где не спят еще, и так созвучно светит издали каждое желтое окошко. Тротуаров тут нет — песочек; шаги тихи, собаки лают вяло; садами пахнет...

И пока идут они между двумя рядами молчаливых домишек, так много есть о чем говорить Вареньке. Говорит, между прочим, и о портнихе Мавре Брюшковой, которая всем рекомендуется, что она — Тася Потемкина: «Потемкина! Тася Потемкина!» — и руку сует... Как начала ее тетя Параша жучить: «Почему же у вас на вывеске М. Брюшкова?» — «Это, говорит, моя компаньонка». — «Значит, она хозяйка, а вы — мастерица?» — «Нет, что вы!.. Я — хозяйка!» — «А почему же вашей Брюшковой никто в глаза не видал?» — «Ах, Прасковья Павловна! Я уж вам скажу, только вы никому-никому, бога ради!.. Это моя фамилия — Брюшкова, но, согласитесь сами, кому же лестно такую фамилию носить? А Потемкина — так красиво: Тася Потемкина!.. Это я из романа взяла... Только, бога ради, уж вы, Прасковья Павловна, никому, пожалуйста, никому!»

Говорит о военном докторе Кречмане:

---

[1] Посмотрите, милая (*франц.*).
[2] Какой красивый (*франц.*).
[3] Молодой человек (*франц.*).
[4] Надо (*франц.*).
[5] Домой (*франц.*)

— Знаешь ведь, такой смешной, в черных очках ходит... Когда на Соборной площади кашляет — кха! кха! — на Почтовой улице слышно. Покупать по магазинам идет, напишут ему счета, он их, как солдат, в фуражку прячет. А встретился с дамой знакомой, фуражечку наотлет — галан-кавалер,— полетели записочки во все стороны! А Кречман за ними бегом, палкой их ловит, очки падают, из обоих карманов платки торчат,— господи, косоножка! В гости к нам иногда заходит — вот смешной бывает какой, особенно когда подопьет!

...А Иван Андрияныч, инженер, вот за которого Лиза выходит, он не особенный из себя — так, лупоглазенький,— смотрит на меня, щеку кривит. «Вы что это щеку кривите? Думаете, хорошо?.. Кто, говорю, так делает? Никто так не делает!» — «А это, говорит, у меня просто зуб болит... Ой, как болит!» — «Да вы бы его вырвали!» — «Ох, не могу!» — «Почему не можете?» — «Как раз это тот самый зуб, какой я против вас имею!» Всегда что-нибудь сморозит вообще...

Говорит Варенька, точно все спешит рассказать,— и о классной даме Павлунчике, которая «отличилась недавно», и о «началке Евдохе», и о том, каков за последнее время стал ихний батюшка, «père Антонин».

Костя слушает, и ему так нравится ее голос, теперь, ночью, пониженный, и от этого какой-то волнующе-красивый, и нравится, что у нее так много веселого обо всех.

Отец Кости — человек мрачный. Он — по хлебной части. Чай пьет вприкуску. Дома — скупо, тесно, грязно, но Костя никому из чужих не жалуется на это: он стыдлив.

Около большого сада купца Стрекачова останавливаются послушать соловья, который лучше морозовского: звончее, колен больше, и они чище.

— Должно быть, старый,— замечает Костя.

— Нет, он просто талантливый,— говорит Варенька.

Луна над этим садом как-то особенно хрустальна и велика на просторе, и глаза Вареньки загадочно блистают. Кажется Косте, что нет и не может быть ничего прекраснее их, и горячим лицом он тянется к ним и касается их невольно. Серчает Варенька.

— Без глупостей!— говорит она резко.— И я этого так не люблю, так не люблю!

Она стоит некоторое время надувшись и потом, четко ставя ноги, идет назад.

— Куда ты? Варя!

— Я — домой... И не смей провожать — я одна.

— Зачем ты так? — волнуясь, стремительно догоняет ее Костя. — Варенька!.. — Догнал; идут рядом.

— Я с тобой просто гулять вышла, просто, так, ну... а ты...

— Я больше не буду этого, прости... Я нечаянно... не серчай...

Несколько времени молча идут назад, но от этой ночи назад идти нельзя — только вперед можно.

— Хочешь, еще погуляем немного, только без глупостей, — говорит наконец Варенька.

И, повернувшись, они идут снова в ночь, и замечает о себе Варенька, подобрев:

— Я капризуля страшная, ты не думай... я и ногами топать могу, и кричать могу, — ты меня еще не знаешь как следует...

Вышли на улицу, кое-где освещенную, несмотря на ночь; главная, Дворянская — магазины.

Вот гастрономический Стрекачова, большой, с зеркальными окнами; внутри горит лампа-молния и гореть будет до часу ночи: при магазине клуб. В окнах так много консервных жестянок разных цветов, ветчина, фрукты, вина, и огромный пухлый кот — желтый, с белыми полосками поперек, сидит на прилавке и куксится.

Вскрикивает Варенька:

— Ах, котище какой! Вот прелесть!.. Страх как люблю!.. — Ей хочется добавить: непременно заведу такого, но она добавляет: — Это он от мышей.

— А сам небось втихомолочку пользуется, — говорит Костя смеясь.

— Если бы пользовался, его бы не оставили, что ты!

— Да ведь щекочет в носу... ветчина, например.

— Ну что ж... щекочет: он — ученый.

— До трех часов потерпит, пожалуй, а уж потом...

— Почему это до трех именно?

— Не знаю уж... так мне кажется.

— Это ты по себе судишь?

— Я — куда там! Я бы и часу не утерпел, ха-ха!

— Эх, ты!.. Да не хохочи по-лешему!.. А вон яфские апельсины, вкусные-вкусные... Ну, пойдем посмотрим, какие теперь перчатки модные.

В галантерейном освещена витрина — только не уличным фонарем, а луною. Длинные перчатки развешаны крест-накрест.

— Вон какая теперь мода: белые, лайковые, пуговки черные, большие...

— Всегда они такие были!

— Нет, не всегда! Что ты? Много ты знаешь!.. А вот корсеты — посмотрим пойдем.

— Ну зачем еще корсеты, дрянь!

— И вовсе не дрянь... Какой ты, Костя, грубый! Тебя просят,— ты должен идти... Вот видишь, голубой с сеткой на всю фигуру? Это — парижский.

— Пойдем к реке,— предлагает Костя,— там теперь замечательно.

— А бабушка?— вспоминает Варенька.— И то уж как далеко ушли!

— Ничего, я думаю.

— Может быть, и ничего... Я бы почувствовала. Я тогда почувствую... Ведь у меня рéфлексы очень сильные.

— Рефлéксы, — мягко поправляет Костя.

— Ну, все равно... И вот эти мои ре...рéфлексы...

— Рефлéксы...

— Что это ты ко мне все придираешься, Костя?.. Думаешь, это очень хорошо?

— Ну, я не буду... Ты на меня не серчай...

Какой-то одинокий пьяный, в нахлобученной фуражке, весь намеленный, должно быть рабочий с мельницы, полз навстречу, покаянно бурча:

— Как поро-сенок... Пятьдесят два года мне, а я... как поросенок...

Поравнявшись, сделал крутой зигзаг и чуть не придавил Вареньку. Костя ловко поставил руку ребром между ней и пьяным и пояснил взрослым басом:

— Деривация влево, почтенный!

А Варенька, прижавшись к нему, сказала:

— О господи! Вот еще!..— И подумала тут же: «Через год Костя — студент... Студенту уж и жениться можно?..— И потом еще подумала:— Он ведь и не бедный, из купцов... Его, если подстричь, одеть прилично и чтоб он не сутулился так,— он будет даже красивый...»

V

Полукругом мягким и лунным, чуть задымленным от ночного пара, река подходила к берегу с двумя мостками для баб-полоскалок, а за рекой — дубовая Хлебинина роща, где дубы огромные, старинные, где росли ландыши,

где устраивались маевки. Над рекой повсюду теперь горластый, влажный, упругий рокот лягушек — к дождю или к вёдру, к чему они там задают свои балы и концерты? Сзади — за спиной — линия невзрачных домишек, и от них жилой, печной запах; несколько крашеных лодок в воде у причалов, две-три скамейки на берегу, и надо всем вверху очень далекое свежее небо в мелких звездах, и так ясно, что перед этим небом все дела человеческие, великие и малые, равны. Но это только с первого взгляда так: во все нужно вглядеться пристально, послушать, подышать светлой речкой, идущей издалека, различить несколько слабых сырых огоньков вдали, вспомнить детство.

Для этого нужно сесть на одну из истерзанных перочинными ножичками и исписанных карандашами стареньких скамеек, сесть плотней и сидеть долго и молча: смотреть, слушать и думать; не говорить, потому что слова отпугивают то, что приходит.

Тогда будет исподволь просачиваться внутрь какая-то одна для всего в мире... как назвать это? — душа ли, тайна ли, мысль, или вечность, или как еще, — все равно, как ни назови, все будет не то, потому что нет слова для этого... и все зазвучит согласно, и к одной какой-то общей точке схода, от всего кругом пройдут через тебя горизонтали.

Небо ниже спустится, и ближе звезды, и лягушки в реке не будут горланить, — вот странность! — то есть они будут, но их будет слышно, насколько нужно, и сырые огоньки вдали подсохнут, и отражение от лодок, и причалов, и бабьих мостков — все это будет ничуть не тише лягушек, и глухих речных бучил, и Шариков у запертых калиток. И яснее все станет в тишине: чему же и с чем же спорить?..

Эти пристальные к жизни тихие минуты, если сбылись они, их нужно беречь, как святыню, — они редки. Они приходят из недр жизни и все преображают, неизвестно как: и темную дубовую Хлебинину рощу, и жуткость реки, на дне которой с той стороны переплелись корни, и выпьи крики, которые в другое время пугают.

И чужое тепло рядом незаметно так и просто становится твоим теплом, и даже странно как-то думать о нем, что оно — чужое.

— Это напротив, кажется, утонул ваш гимназист Казанский в прошлом году? — спрашивает Варенька тихо.

— Да, напротив... Плавал плохо, судорогой руку свело...— так же тихо отвечает Костя.

Его большая рука лежит на Варенькином плече. Варенька прикорнула к нему головой в своем теплом платке; и от этого платка чуть тревожно, хорошо пахнет.

— А ты умеешь плавать?

— Еще бы, я-то!

— Я тоже умею. Я далеко плаваю.

И потом опять долго сидят и молчат.

Когда детское не ушло еще из души, таким все кажется глазастым и большим, и захолустно-тихоуездного нет, потому что по своей орбите какой-то движется в душе весь целиком нерасчлененный мир. Куда он? — Бог его знает. И пока неважно это — куда. Из земли не выпадешь, и из души не выпадет земля; пока недалеко ушло детское, вся душа еще земляная — снежная, дождевая, цветочная, обнадеженная солнечной лаской самое меньшее на сто лет.

Перед звездами все человечьи дела равны, но ведь и все звездные дела равны перед землей, что бы про них ни выдумывали звездочеты. Вот упала звезда, оставив после себя на одну секунду, на одно только мгновение зеленый пушистый хвост...

Чуть подымает голову Варенька:

— Ты слыхал, говорят, Хлебинину рощу покупали какие-то, и там будто хотели устроить... завод, что ли?..

— Маслобойку... Это для виду только, а потом перепродать.

— Ну да... А Хлебинин не продал. Молодец. А то бы нам летом и ездить некуда.

— Зачем же ему продавать? Он и так богат. А со временем тем более: может быть, железная дорога к нам пройдет — цены вырастут.

— И куда же, ты подумай, моя крестница Любочка за ландышами пошла бы, как мы ходили?.. Правда?

— Правда,— смеется Костя...

— Она ведь у меня удивительная!.. Я ее спросила в прошлом году, чуть она говорить начала: «Кого ты, Любочка, больше любишь: меня или свою маму?» Она говорит: «А!» — «Кого, Любочка?» — «А!» — «Меня или маму?» — «А-а». (Чуть не плачет, бедная.) — «А... динаково, что ли?» — «Да»,— говорит.

— Ах, хорошо!— смеется Костя.

Летучие мыши иногда налетают, пропархивают мимо

и как будто попискивают на лету. С той стороны, кроме соловьев и лягушек, слышится иногда треск, точно небольшая трещотка то в одном месте, то в другом.

— А ты знаешь, Костя, кто это трещит?

— А это птица такая... называется она...

— Хорошо, не надо... Я тоже знаю: козодой! А что?

— Козодой.

Варенька прижимается к Косте крепче, точно козодой своим треском что-то такое, какую-то тонкую ниточку разорвал между ними. Потом еще какую-то ниточку разрывает налетевший на Костю жук; потом еще одну — плеск весла около далеко где-то поставленных ятерей.

Двигалась ночь в своей последнеапрельской работе близко и густо; ясно было, как хлопотала неугомонно и на реке, и в Хлебининой роще, и сзади, в домишках, и там, на лугах, где огоньки,— а они двое сидели и слушали, как двигалась ночь, и когда говорили, то все о чем-нибудь маленьком, полудетском, согласном с этой близкой землей, все дела которой равны перед звездным судом.

Какой-то запоздалый извозчик протарахтел и разбудил собак недалеко от них в недавно замощенном переулке. Костя погладил тихо Варино плечо:

— Как-то бабушка твоя теперь, Варя?

— Я только-только вспомнила про бабушку, а ты сказал!— подняла удивленно голову Варенька.— Почему ты это угадал так?.. Знаешь что, мы все-таки пойдем уж — будет, правда?— И, точно до конца продумав все, она добавила просто:— Ты, Костя, хороший. Дай я поцелую тебя крепко-крепко.

VI

Только когда забрезжило мутное молоко на востоке, и почернели влажные сучья акаций, и два соловья перебойщики — один в саду капитана Морозова, другой в стрекачовском саду — стали слышнее, и уж свежо стало, так что прозябла Варенька, она простилась с Костей Орешкиным около сломанной планки бабушкиной ограды. По саду пробежала бегом (а Костя не уходил, смотрел), на бегу думала: «А вдруг что-нибудь с бабушкой случилось, а меня не было!..» Побежала к желтенькой рыхлой полоске своего окна, отодвинула ставень, пригляделась: сидела по-прежнему бабушка в качалке, спала, а свеча отгорела

уж наполовину; в комнате было тихо, желто, лавандой пахло, а на ее кровати спал корешком кверху толстый роман.

Влезла Варенька так ловко и бесшумно, как самый опытный вор. Постояла около бабушки, постояла около зеркала у комода — пригладила волосы, постояла еще у окна и потом плотно прикрыла его и заперла на задвижку ставень, и стало так, как будто все время сидела здесь, и представилось вдруг, что войдет Ольга Ивановна, шмурыгая туфлями, в ковровом пестром платке поверх рубахи и спросит: «Ты никуда не уходила, Варя?» А она вздернет плечами обиженно: «Как же я могла бы уйти, раз я дежурю?»

Поправила свечку, прилегла на подушку, пахнувшую со вчерашнего любимыми Дашиными духами Coeurde Jeannette, взяла было книгу, но такими бледными, жалкими, тошными показались мелко упечатанные страницы, захватанные в нижних уголках, а ночь, за окном не оставшаяся, а вошедшая сюда с нею, была так полным переполнена, так тяжело ложилась на веки, что куда же было бороться с нею?.. И Варенька заснула крепчайшим весенним сном.

Баба-законница, Лукерья, успела уже сбегать к столяру Маурину, которому Ольга Ивановна загодя заказала приличный гроб, и теперь степенно, между делом, голосила для порядка над положенной на столе бабушкой; Никандр Порфирьевич, как всегда в будние дни, ушел скромненько на службу; Иван Никандрович, теребя бородку, ходил по узенькой аллее в саду и думал о солнце, цветах, жизни, смерти, о жужелицах и величинах бесконечно малых; Нина Андреевна давно, украдкой, приготовила уж свою материю и машинку и ждала только удобного времени, чтобы приступить к стукотливой строчке, и вообще шел уже деловой девятый час, когда Ольга Ивановна, тряся за плечо, будила Вареньку.

— А?.. Я сейчас... Я еще немножко...— бормотала Варенька, не открывая глаз.

— Зева ты, зева, соня ты, соня!.. Вставай — бабушка умерла.

И тут же вскочила Варенька. И так стало странно вдруг, что бабушка умерла: ведь только что была живая; не страшно, а именно странно: когда же?.. И может быть, бабушка не умерла бы так скоро, если бы она, Варенька, не заснула? И может быть, и она не заснула бы, если бы

не ушла гулять?.. Стала вдруг совсем маленькой грешной девочкой, ухватилась за платье Ольги Ивановны и заплакала навзрыд.

А Ольга Ивановна утешала:

— Ну что ты, дурочка, что?.. Смерть пришла, и все... Поди умойся... Потом за монашками сходишь, чтобы почитать пришли. Я уж договорилась с ними третьего дня, они знают.

И ушла хлопотать по хозяйству, сильно стуча башмаками. Она, как жандарм, ходила: раз-два, раз-два; на верхней губе усики и на нижней, в бородавке пять волосков, и голос низкий.

От укоряющего солнца некуда было девать глаз: на графине с водою солнце, на медном подсвечнике солнце, колючим золотом пронизана была занавеска, яркий-ярчайший зяблик гремел за окном; но глаза искали бабушку; и когда увидала черное уж не в привычной качалке, а на столе — вздрогнула и вскрикнула.

Через час Варенька шла в Вознесенский монастырь по тем же улицам, по каким ходила с Костей, но теперь это были всегдашние улицы: все дневное — всегдашнее.

У матери-казначеи, белой-рассыпчатой, только что пришедшей от поздней обедни, выпила чашку чаю с медом. Двух монахинь обещала казначея прислать после вечерни, пожалела бабушку-молельницу, пожалела и Ольгу Ивановну: хлопоты.

В обед сошлись у Ольги Ивановны: Серафима Павловна, и Прасковья Павловна, и Даша, пахнувшая духами «Coeur de Jeannette», и Лиза с дюжиной платков в ридикюле. И при виде бабушки становились у всех мокрые глаза, а при виде Вареньки, убитой горем, высыхали.

Выговаривали ей шутливо:

— Ах, сплюшка, сплюшка!.. Ишь, не нам, а тебе это выпало, а ты не устерегла.

И у всех тесны были обнимающие изгибы мягких рук и влажны губы.

Но Варенька никому не сказала, что случилось ночью, как назвала ее бабушка, как благословила, и когда она, не сознавая еще ясно, поняла, на что благословила,— бабушка умерла, уснула тихо навеки, точно исполнила последнее, что хотелось исполнить, и дальше уже незачем ей было дремать в кресле-качалке — жить. От этого-то теперь на столе у нее такой спокойный вид отдыхающей по

праву: дождалась, когда последнюю правнучку, самую младшую, озарила весенняя любовь... дождалась и умерла.

И когда вечером, придя домой, Варенька подумала обо всем, что было в этот день, она вспомнила ярко только Костю, как он постучался в ставень,— точно из другого мира зов,— и какое у него было тогда робкое лицо; вспомнила и то (это после), как он поцеловал ее застенчиво около сада Стрекачова, а когда она осерчала притворно, сказал тихо: «Я больше не буду этого... Я — нечаянно... не серчай!..»

Вырвав из тетради четвертушку графленой бумаги, Варенька вывела на ней мелким, но старательным красивым почерком: «Милый — милый — милый, родной мой Костя!..»

Это было первое ее письмо, в которое хотелось ей вместить так много: и смерть бабушки, и то, что она благословила, и все прошлое свое до этой ночи, и свои чувства. Но бумага была мала, и писалось, все только это: «Милый — милый — милый, родной мой Костя!..»

И, исписав так всю четвертушку, Варенька заплакала от тихой радости, что может сказать это так значительно и просто теперь и что будет говорить это часто-часто, долго-долго — целую жизнь: «Милый — милый — милый, родной мой Костя!..»

1912

БЛИЖНИЙ

Рассказ

I

Чиновник одного из петербургских департаментов Иван Петрович Чекалов, господин сухой, корректный, лет под сорок, представленный к производству в коллежские советники, тщательно выбритый, как артист, имеющий проседь на висках и освобожденное от волос темя, ехал в середине октября в вагоне второго класса в Петербург из Крыма. На курьерский поезд он не попал — не было мест; поезд был почтовый, грязноватый, набитый битком, долго стоял на каждой станции — это раздражало. В Крыму Чекалов не отдохнул, как думал; виноградом расстроил пищеварение и теперь чувствовал себя обманутым, желчным.

Он устроился наверху, но ночью совсем не спал, утром же его поминутно будили, так что даже и днем не хотелось подыматься. Читал газету, а буквы прыгали. И все, кто сидел внизу, казались чрезвычайно противны: и какая-то дама, очень черная, похожая на караимку, которая искала шпильку от шляпы по всему купе и ахала, успокаивалась на время, недолго сидела, сосредоточенно соображая, но вдруг опять, вскочив, начинала стремительно шарить по всем углам; и студент-технолог, какой-то весь молочный, белокурый, немецкого типа, с очень гладенько причесанными реденькими волосами и мутным цветом глаз; и старый седобородый кавказец, казачий офицер, с одной звездочкой на погоне и солдатским золотым «Георгием» с бантом на бешмете.

Еще сидели, судя по видным сверху носкам калош, двое — мужчина и женщина. У мужчины был пожилой степной хозяйственный бас, а что женщина была молода и не безобразна, видно было по тому, что в коридоре мимо открытой двери купе все прохаживался низенький прыщеватый жандармский ротмистр, поглядывал на нее косым влажным глазом и пощипывал белесый обкусанный ус.

Но и эта невидная небезобразная женщина была противна Чекалову.

Зачем-то топили по-зимнему много. Вентилятор вверху не открывался. Было душно, сухо, неряшливо, шумно, тесно, и сильно пахло не то новой клеенкой, не то жженой пробкой, не то щенком.

Через открытую дверь видно было все целиком окно в коридоре, а в окно — поля. В окне, как в одной и той же раме, все менялись картины, и если бы Чекалов был художник, может быть, он бы и любовался этим низким, длинным синим набухшим облаком, например, и ждал: а как оно пойдет дальше? А какой примет тон?.. Или эта речонка — какой она даст излом вот сейчас?.. А теперь к этому пару с сухим перекати-полем, ух, хорошо бы жирную, драную, сырую, черную пахоть в соседи!.. А ну? — Есть!.. Но Чекалову с этими клочками полей в окне было скучно, как с китайцами: все — немые, все с косицами, все — на одно лицо. По своей удобной петербургской квартире он тосковал и в Крыму: человеку за лампу и ванную он все-таки больше был признателен, чем богу за солнце и море. От неба он в Петербурге успел уже так отвыкнуть, что первый день в Крыму чувствовал себя даже как-то неловко: до того кругом чересчур светло и ясно, как будто ты совсем и не одет и тебя насквозь видно. В дороге ничего ни поучительного, ни просто любопытного он не видел, только одни неудобства, и думал, что со временем, когда поезда будут ходить по двести верст в час, так мило это будет: заснуть в Севастополе, проснуться в Петербурге.

Фигуру он имел сытую, несколько намеренно ленивую; на крупном синем подбородке поместилась неожиданная круглая ямочка, и это очень нравилось дамам. Его служебное положение теперь и в будущем и уменье устроиться тоже нравилось многим дамам, но на такую чересчур дорогую собственность, как жена, Иван Петрович пока не посягал. Он ценил два перстня на руке начальника отделения Юлия Адольфовича Эмерика; это была изящная работа и милые камни: четыре топаза с рубином в середине и кошачий глаз. Одно время он любил меха: как-то один его сослуживец, переведенный в Сибирь, прислал ему красивую кунью шкуру, с этого и началось. Теперь у него были четыре голубых песца, редкостные шиншилла, чернобурая лиса и белый волк — все по случаю. Но меха надоели, и трудно было с ними. Потом он увлекся старин-

ными камеями, которых не портила моль и которые говорили о серьезности и прихотливом вкусе. Теперь его занимали перстни и набалдашники палок.

Конверты для писем он покупал какие-то уж очень необычайной выделки и, написав письмо и надушив его, долго думал над тем, как наклеить марку, чтобы вышло не по-казенному в правом или левом углу и не по-мещански на заклейке, а на каком-нибудь совсем неожиданном месте.

Удивляться чему-нибудь он считал, конечно, дурным тоном; он и без того верил в широту человеческого ума и беспредельный размах натуры. Если же попадалось что-нибудь такое, что вообще и всеми считалось исключительным, то в таких случаях он умел невысоко и неторопливо поднять руку, шевельнуть большим пальцем, точно откупоривал пробку, и с весом произнести: «Да!.. Это номер!..»

Было мучительно жуткое в его жизни — это когда он начал лысеть. Потом он свыкся с этим, конечно, как свыкаются все.

Когда же пришел к непобедимо ясному выводу, что мясная пища страшно вредит здоровью, круто перешел на вегетарианский стол.

II

В Курске дама со шпилькой вышла; мужских калош тоже уже не было заметно. Дама другая, небезобразная, живо беседовала уже в дверях купе с жандармским ротмистром, и ротмистр, изгибаясь, все хихикал, повизгивая, как дрозд. Студент и старик оставались: оба ехали куда-то дальше.

Чекалов смотрел вниз на старика с особой брезгливостью. Все в нем было ему противно: и его неопрятная шинель, и облезлая папаха, и нанковые шаровары, и желтые, может быть, несколько месяцев не чищенные сапоги, и широкий крепкий рубчатый ноготь с черной каемкой на большом шишковатом пальце правой руки, и чин его... Что это значит — одна звездочка на казачьем погоне?.. Штык-юнкер? Подхорунжий?.. Чекалов вообще не любил военных и всех, кто носил серую шинель, но подхорунжий этот тем более был какой-то перелицованный капрал; если бы он не был так стар и так грязен, то, пожалуй, мог бы служить курьером у них в департаменте.

Он и сам, этот старик, казалось, чувствовал себя не

совсем ловко: он на всех глядел предупредительно и внимательно, молчал и всматривался, а глаза у него были большие, серые, в сухих морщинистых орбитах.

Раз как-то он вздумал заговорить со студентом. Осматривая зачем-то свой длинный, остро отточенный кинжал и заметив, что и студент смотрит с любопытством на блестящее лезвие, сказал поспешно:

— Его и медведь боится!

— А-а, боится?.. — Студент нагнулся поближе к кинжалу и протянул: — Вещица серьезная.

— Шашки не боится — кинжала боится... Почему?— Сделал очень строгое лицо и добавил: — Лапами хватать ему нельзя — вострый... И оттуда вострый, и отсюда вострый — никак.

Студент помолчал и спросил:

— А вы откуда едете?

— Владикавказ!

— Гм... А куда едете?

— Петербург!

Студент кашлянул, замолчал и уткнулся в какую-то книгу, а старик долго смотрел на него вопросительно: не спросит ли еще чего-нибудь, ожидающе жевал губами, но, не дождавшись, принялся, точно дело делал, упорно глядеть в окно; и глядел долго.

Потом как-то около Орла он вздумал вступить в чужой разговор — небезобразной дамы в дверях и визгливого ротмистра в коридоре — о женах:

— Как это говорит жена: с мужем жить нельзя?.. Почему это нельзя?.. Ты посмотри эту нельзю, и оказалось, никакой нельзи нет: можьно!.. Туды-сюды — пощунял ее хорошо — можьно!

На слове «пощунял» старик сильно сюсюкнул, и никто не понял этого слова, а дама, обернувшись, весело спросила больше студента, чем старика:

— Что-о? Послюнявил? — и, должно быть, чтобы не рассмеяться, обратилась к старику: — Вы мусульманин?

— Нет, православный!

Старик снял папаху, обнажив совершенно голый череп, высокий и вместительный, и, перекрестившись, добавил о себе еще:

— Я — осетин.— И пожевал челюстью.

Он браво оглядел всех, явно ожидая, не спросит ли кто-нибудь еще о чем-нибудь, но никто не спросил, и ста-

рик опять уперся глазами в окошко, а день был без конца пасмурный, мелко дождливый.

Часам к пяти вечера стало уже заметно темнеть. Что старик целый день не ел ничего, это видел Чекалов. Теперь он развязал свой желтый кожаный, похожий на ранец чемодан, опоясанный веревочкой, вынул оттуда кусок белого овечьего катыка, водку и серебряный стаканчик; чтобы выпить стаканчик, страшно разинул рот. Заел сыром, ворочая челюстью, как жерновом, потом выпил другой стаканчик и третий. Чуть покраснел; спрятал сыр и водку; вытащил пару попорченных яблок; угостил ими студента:

— Ешьте!

— Да нет, знаете ли, я не хочу, — улыбнулся студент.

— Не хочу, не хочу, как это не хочу? Ешьте! — Серые глаза явно обиделись.

Студент, подумав, начал лениво и продолжительно чистить яблоко своим новеньким перочинным ножичком, а старик покачивал головою, следя за его белыми руками, сам же так страшно работал огромной челюстью, всюду по груди волоча и трепля бороду, что Чекалов даже отвернулся, гадливо зажмурясь.

В Туле дама перешла в купе к ротмистру, а к ним сел высокий длинноволосый, профессорской внешности, новый пассажир, седой, в тяжелой шубе и шапке.

На вокзале Чекалов обедал, а придя, не хотел уже лезть наверх. Он сел рядом с новым пассажиром и только придумал, о чем заговорить с ним, как подхорунжий, уже улегшийся и накрывшийся шинелью, поднял голову:

— Ты что же не ложишься спать, дед?

— А? Это мне?.. Ничего, я лягу,— мирно улыбнулся профессор.

— А ты ему освободи, — твое вон наверху место! — повернулся подхорунжий к Чекалову.

— Что? — удивился Чекалов. — Это... ты мне тычешь?

— Куда тычешь?.. Ты день-деньской спал, никто не мешал, а ты сел — человеку мешаешь... Всякий спать обязан!

Чекалов подумал и решил на него не серчать: старый, глупый и пьяный.

— Спи себе,— сказал он брезгливо; он поднялся и обратился к профессору:— Располагайтесь, пожалуйста!— а сам вышел из купе в коридор.

— Да я не хочу!.. Да мне и ехать недолго,— всполошился профессор.— Куда вы?

Из коридора Чекалов невольно прислушался, не скажет ли чего подхорунжий, но, наведя порядок, старик только ворчнул что-то про себя, совсем невнятно, по-петушиному, и тут же залился бурливым храпом. Войдя снова в купе, Чекалов долго говорил с профессором, оказавшимся управляющим большого подмосковного кирпичного завода, о последних новостях из газет, о морских купаньях и винограде, о ценах на кирпич прежде, лет десять назад, и теперь.

III

В Москву приехали часов в десять. Выходя из вагона, Чекалов выпустил из виду старика, но, садясь на извозчика, он увидел знакомую серую шинель и черную папаху, белый угол подушки и желтый чемодан; все это проворно прыгало под дождем по мокрым, скользким камням мостовой к подошедшему вагону трамвая. И Чекалов подумал: «Экий старикашка ходкий!..»

В Москве Чекалову было как-то всегда не по себе: этого растрепанного города он не любил. Все, что напоминало здесь Петербург, казалось незаконно присвоенным, а что было свое, местное, ему было решительно чужим: все эти трактиры вместо ресторанов, специалисты по шитью поддевок, пьяные городовые на постах, драные извозчики, Кремли и Трубные площади, Плющихи и Самотеки,— бог с ними!

Когда он приехал на Николаевский вокзал, от которого пахнуло уже близким Петербургом, не торопясь закусил у буфета, выпил пива, которое велел подогреть, чтобы не простудить горла, взял газету и уселся ждать поезда,— подошел подхорунжий, весь в свежих блестках дождя.

— А вы уже здесь?.. На извозчике?

Чекалов немного подумал, отвечать ему или не стоит, и ответил, не подымая глаз от газеты:

— Да, на извозчике.

— Ну вот... А я на трамвае за пятачок! Небось гривен шесть дали?

— Восемь.

— Во-семь?.. М-м... Ну, как это вы — семьдесят пять копеек лишних!.. Очень жалко!— прищелкнул языком и закачал папахой.

Чекалов длительно и строго посмотрел на него, закрылся, раздраженно шурша газетой, и ничего не сказал.

— Нужно бы тут щец съесть, а?.. — спросил несмело старик.

— Ну и съешь! — сквозь зубы, зло бросил Чекалов.

Старичок постоял немного, поглядел кругом, застегнул шинель на все пуговицы и, бодрясь, пошел к одному из столов.

Ел он, перекрестясь и снявши папаху, съел все до последней капустинки, и лысина у него крупно пропотела, но официант, рослый мужчина в густых подусниках, отнесся к нему без уважения, когда он уплатил за щи.

Потом Чекалов заметил, как старичок быстро поднялся и преданно взял под козырек, когда проходил мимо военный врач с малиново-красными отворотами. Врач только глянул на подхорунжего вбок. Минуту спустя опять вскочил подхорунжий — откозырял какому-то лесничему в зеленых отворотах; толстый и брюзгливый лесничий несколько удивленно приложил к козырьку указательный палец.

Когда подан был поезд и Иван Петрович пошел, пряча газету, за своим носильщиком, он увидел, выходя на перрон, как впереди его, шагах в двадцати, бойко шныряла в толпе серая шинель и над ней черная папаха.

Один только оказался в поезде вагон второго класса, и в среднем отделении, «для некурящих», они опять встретились, и старикашка обратился к Чекалову, как к хорошему знакомому, поощрительно:

— Что ж это вы запоздали?.. А я уже здесь. Вот место свободное,— эй ты, носильщик! — и указал рядом с собою свободный диван.

Чекалов молча прошел дальше, — не хотелось со стариком, но везде уже толпился народ. Пришлось опять устроиться рядом с подхорунжим, который хоть и не курил, но носил с собой застарелый запах большого количества давно когда-то выкуренного табаку... От стариков вообще какой-то запах.

В полутемноте кондуктор, пришедший проверять билеты, разглядел только неказистый сапог и нанковые шаровары старика и, протягивая ему обратно зеленый билет, сказал внушительно:

— Вы не в свой класс попали: перейдите в третий.

— Как не в свой? — Старик вскочил и указал на погон,— Офицерский!.. Билет офицерский!

Кондуктор извинился и отошел.

— Вот слепой!.. Никогда этого не случалось... м-м... Как это? — обратился к Чекалову старик удрученно и обиженно, даже и губы вытянул, как делают дети. Чекалов сделал вид, что очень занят раскладкой постели.

За Клином старик уже храпел, а Чекалов никак не мог приспособиться к этому гурливому храпу; очень долго ворочался, очень часто поправлял подушку, а старика искренне проклинал.

Не заметил, когда забылся наконец, но когда проснулся, было еще совсем темно — чуть-чуть синело окошко; голова была мутная, болело в висках... Старик кричал буфетному мальчишке со станции:

— А?.. Чай-кофе?.. Это какая станция?

— Тверь.

— Тверь?.. А теперь какой час?

— Пять часов.

— Пять? Кто же ночью тебе, в пять часов, чай-кофе пить будет? Эх, умный!

Мальчишка побежал дальше, выкрикивая: «Чай-кофе! Чай-кофе!» — а старик ворчал возмущенно:

— Ночью — чай-кофе! Какие теперь чаи?.. Ночью!

— Да замолчи ты, вот черт окаянный! — осерчал Чекалов, даже поднялся на локте.

— М-м... Какой теперь чай-кофий? — обратился к нему старик.

— Вы что меня разбудили, а?.. Зачем?.. Теперь уж я не засну, вы понимаете?

— Меня разбудили, а не я! Мм... я!.. Как же так я? Бегает тут: чай-кофий!.. И как это допускают? А вдруг он что утянет?

И старик быстро подскочил нашаривать глазами свой рыжий, веревочкой подпоясанный чемодан. Нашел его и что-то еще проворчал.

Чекалов плюнул, повернулся к нему спиной, закрыл голову углом одеяла, а сам думал тоскливо: «Разве теперь уснешь?.. Теперь уж не уснешь... Экая дубина нетесаная!»

Так он пролежал с больною головою, ворочаясь и скрипя зубами, часов до семи утра, когда окна уж побелели. Озлобленно он думал, что теперь, после бессонной ночи, выпадет еще много волос, еще заметнее станет лысинка на темени, а между тем спать можно бы было, если бы не этот беспокойный старикашка, черт бы его побрал.

Старикашка же, умывшись, расчесывал бороду металлическим гребешком направо и налево от подбородка — веером. Волосы в бороде были толстые, плотно прикрученные один к одному, и жирно блестели, точно из серебра с чернью кропотливой кавказской работы. Причесав бороду, надел папаху, вынул из чемодана медный чайник с припаянным носиком. Заметив, что смотрит на него Чекалов, сказал ему:

— Доброго утра.

Ничего не ответил Чекалов.

— Скоро буфет — Вышний Волочек какой-то... Кипятку возьму, чай пить. Теперь — время, а то — ночью. Ночью каждый человек спать обязан, а они — «чай-кофе». Как можь-но!

— Э-э,— поморщился Чекалов и встал, и пиджак надевал он с такой досадой, что даже под мышками лопнуло.

Около уборной он долго ждал с полотенцем и мылом. Двадцать раз перечитал надпись на двери: «Просят занимать уборную не более 10—15 минут». Смотрел на часы, озлобленно думал: «Нет категоричности — вот в чем несчастие наше! Даже в пустой дурацкой надписи нет приказания, нет строгого тона: «Не более 10—15...» Нелепо. Не математично... И фраза какая-то нерусская, и придумал ее какой-нибудь Шульце или Блох...»

Когда из уборной вышла наконец толстоносая перепудренная дама, с плохо сделанной роскошной прической из очень жидких рыжих с проседью волос, и Чекалов, брезгливо умывшись грязноватой теплой водой, вышел на площадку, поезд уже подходил к довольно большой станции, и старикашка с чайником браво стоял уже у открытой двери.

Прямо против поезда с одной стороны торчал вокзал и была надпись: «Буфет 3-го класса», но кондуктор, проходя мимо старика с чайником, занято и привычно бросил: «Этот вокзал не действует: с той стороны». До вокзала же с той стороны было далеко: какая-то длинная деревянная лестница, широкий помост и опять лестница...

— Пять минут, а?.. Можь-но успеть? — оглянулся на Чекалова старик, спрашивая серыми глазами.

— Успеешь! — тяжело глянул на него Чекалов. — Вы, приятель, везде успеете.

— Ну да, я — успею... Можь-но успеть!

И когда спрыгнул с подножек, вышло это у него по-молодому легко, и молодым петушком встряхнулся от прыжка золотой «Георгий».

Чекалов остался на площадке и смотрел, как бежал с чайником по лестнице вверх старик; думал лениво: «Дал бы проводнику пятачок — нет, дурак, бежит сам». Утро было сырое, серое. Кирпичный бесформенный, как сарай, вокзал смутно краснел в капризном дыму от паровоза, и около вокзала чернели скучные пятна людей. Земля между рельсами была гнусная, грязная. Шныряли носильщики, на бегу сморкаясь. Спеша выбрасывали из багажного вагона вдали новые ящики с чем-то небьющимся. Провезли на тачке кожаные мешки с почтой, и проследовали за ними вразвалку два обшарпанных почтальона. Среди суетни и беготни и тягучих нудных гудков незаметно подошел вдруг встречный поезд, остановился и закрыл собою новый вокзал: остался перед глазами с другой стороны тот, в котором буфет не действовал. Чекалов скучно смотрел на заплаканные, кисейкой завешенные изнутри окна этого заштатного вокзала, в котором, должно быть, жили служащие, из которого по вечерам выходили, должно быть, сцепившись по две и по три, жалкие станционные барышни, выходили к приходу поездов, вертелись, глазели и улыбались проезжим, разговаривали и смеялись преувеличенно громко, а потом ложились спать на опостылевшие постели.

Дали второй звонок, и тут же третий. Чекалов думал, что это другому поезду, но бежал и свистел примелькавшийся глазу свой кондуктор, и вдруг поезд зашатался, дернулся под ногами и пошел. Поезд пошел, а старика не было видно. И с сознанием человека, который всегда умен: «Ага, остался,— довольно и злорадно подумал Чекалов.— Или остался, или во встречный поезд свой медный чайник принес... Вот тебе и «можь-но».

И так же скучно смотрел он на отодвигавшуюся кирпичную стену, на остающиеся окна в кисейках, на серую полосу неба, опять поползшую рядом, и лениво думал: «Едва ли пять минут стоял поезд: что-то уж очень мало, не три ли?.. Должно быть, идет с опозданием». И привычно посмотрел на часы: было двадцать минут восьмого. Потом пошел в вагон на свое место.

Вагон — помещение тесное, и какой бы милый человек ни покинул его, всегда легче и свободней чувствует себя тот, кто остался. И теперь, без старика, Чекалов по-

тянулся всем телом, хрустнув связками, вынул дорожную щеточку, чтобы почистить брюки, и когда поставил для удобства ногу на стариково место, то мелькнула мыслишка о старике, что, пожалуй, попал он все-таки на этот поезд, только не в свой вагон,— теперь пробирается с чайником. И вдруг поезд дернулся, протащился немного и стал, и через окна слышны были свистки и крики. Кто-то спросил кондуктора: «Что это?» Кто-то сказал: «Должно быть, семафор закрыт». Но кондуктор пробежал мимо, не отвечая. За ним так же молча другой. А проводник, молодой малый с запачканным носом, вдруг крикнул по-деревенски, артельным оборотом:

— Братцы мои! Неужто кого задавили?

И, побледневший, Чекалов сердцем поверил, что задавили непременно, и задавили не «кого-то», а *его,* старика с чайником, с «Георгием», с одной звездочкой... не кого-то, а именно его.

И сердце так больно вдруг дернулось, как поезд, и сжалось в кулачок. И сразу представил он ясно не чьи-то, а такие знакомые серые широкие старые глаза, когда он бежал с чайником, догонял поезд, — глаза, напряженно меряющие расстояние, выбирающие момент, когда подбросить тело на подножку, за что ухватиться правой рукой с этим твердым ногтем на большом пальце. Представил не чьи-то, а его ноги в мягких рыжих сапогах, его нанковые шаровары, его бешмет, его облезлую папаху с красным верхом... Бежал так же смело, как в старину, когда был молод, на турецкие окопы,— ведь за что-то дали же ему «Георгия» всех четырех степеней и звездочку на погоны... Подпрыгнул, и изменили руки или помешал чайник,— сорвался и попал под колеса и вот теперь задавлен... не кто-то, а он задавлен.

И забыл о себе Чекалов. Волнуясь, раньше других спрыгнул он с подножки вагона, заспешил туда, где чернела толпа. А в мыслях было: «Почему именно здесь? Вышний Волочек, шестнадцатое октября, утро, двадцать минут восьмого... вот именно теперь, здесь!..» И была еще слабая надежда: «Может быть, не он?» — подлая надежда, потому что от нее было легче.

Но, подходя поспешно, услыхал уже, крикнули:

— Военный!.. Казак!

«Не он!» — облегченно подумал Чекалов; он ждал: «старик», — на момент совсем забыл, что старик — казак. Через момент вспомнил. Через момент услышал: «Ста-

рик!» — а еще через момент увидел у кого-то в руках такую знакомую облезлую папаху с красным верхом.

От перебоев сердца остановился. Смотрел в толпу людей, что-то кричавших, а понимал с трудом. Не хотел даже, — страшно было понять. Похолодел. И мысли были несмелые: «Можь-но успеть?» — «У-спеешь!.. Вы, приятель, везде успеете...» «Как это вышло так? Зачем?.. Несчастный случай? И причин ему нет? Никаких причин?.. А может быть, в каждом несчастном случае кто-нибудь виноват?»

Подошел он к толпе, потому что кругом него все бежали. Уже несли старика на вокзал, несли, как что-то маленькое. Кондуктор кричал:

— Господа, садитесь в вагоны!

Кто-то кричал ему:

— Мерзавцы! Людей давите!

Еще чей-то пронзительный женский голос:

— Господа, кто доктор?.. Доктора нет ли в поезде? Доктора!..

Русый лохматый мужик в шапчонке посмотрел прямо в глаза Чекалову и сказал сообщительно:

— Хуть сто дохторей!.. Теперь ему без последствий.

И рукой махнул, и глаза у него были строгие, так что Чекалов даже вздрогнул.

Потом все было очень остро и больно для глаза, очень беспорядочно: красный вокзал, мокрая деревянная лестница, по которой давеча бежал старик и по которой теперь его несли, деревья без листьев, фуражка начальника станции, раздражающе яркая, чей-то лохматый рыжий ус, два студента без шапок, солдатские шинели внакидку, баба с ребенком, якоря на детской матроске...

— Что? Насмерть? — спросила, готовая ахнуть, толстая, давешняя, с пудрой на лице дама; а Чекалов только посмотрел на нее с испугом.

«Как насмерть? Не может быть!.. Почему насмерть? Помяло».

Стараясь не слушать, что кричат кругом, тискался на вокзал, подымался по деревянной лестнице вдоль трех полосок из густых кровавых пятен, которые обходили... Тискаясь, думал: «Кто же все-таки он? Зачем ехал? Почему же так хотел, видимо, рассказать об этом он, и никто не спросил?.. И я не спросил!..» А прежний молоточек все стучал: «Можь-но успеть?» — «Успе-ешь!.. Вы, приятель, везде успеете». Хотелось взглянуть на старика (на

«своего» старика), и трудно было за чужими спинами. Но протолкался все-таки вперед, тяжело дыша. Увидел знакомый рыжий сапог — не все тело, а один сапог — в руках у того самого проводника с запачканным носом и артельным голосом, стоял сапог прочно, как надетый на колодку, и проводник держал его несколько на отлет, потому что из него капала кровь.

— Э-э...— болезненно сморщил лицо Чекалов и хотел уже повернуть назад, когда впереди в просвете мелькнул и рукав бешмета: повисший, пустой, порванный, мокрый, грязный... правый рукав...

— Куда ж они руку девали? — вслух сказал Чекалов, ни к кому не обращаясь, про себя.

И представил, как эту руку — давешнюю, которой расчесывал бороду старик, руку широкую, рабочую, шишковатую в каждом суставе пальцев, с этими ногтями — круглыми, толстыми, желтыми — засунули наспех, как потерянную вещь, в глубокий карман бешмета.

— Что же это? Всего истерзало? — спросил Чекалов бородатого носильщика рядом.

— Известно,— сказал носильщик сурово.

— Неужели умер? — спросил Чекалов, упершись глазами в рябую щеку носильщика.

— Два раза не помирают, — ответил носильщик, — а все один.

И хоть не ответил он прямо, Чекалов поверил в то, что старика задавило насмерть.

Он набрал полную грудь воздуха, с минуту простоял на платформе и, в то время как все выходили уже обратно и начальник станции кричал: «Прошу, господа, садитесь!.. Сейчас отправится поезд!.. Давай звонок!» — решительно вошел: видно было, где положили старика,— нужно было его посмотреть. Около тела стоял станционный жандарм. Лицо старика было накрыто платком, темным от крови.

— Откройте, пожалуйста,— попросил робко Чекалов.

— Нельзя. Садитесь, господа, в поезд, а то останетесь...— он даже заслонил тело собою, и Чекалов удивился.

— Нельзя? Как так нельзя?.. Мне? — И показалось так естественно это — спросить:— Кому же можно, если мне нельзя?

Он хотел бы добавить, что из всех людей, здесь около тела, и в поезде, и на станции, и кругом — только он один

знал старика, знал о нем так много: как он говорил, ел яблоки, или сыр, или щи, как хотел, чтобы все спали, потому что трудно ехать и не спать, как показывал кинжал, как развязывал чемодан, вынимал чайник, как спрашивал: «Можьно успеть?» — и какие у него были при этом глаза...

— Вы, стало быть, ихний родственник?— догадался жандарм и услужливо приоткрыл лицо старика.

Чекалов присмотрелся, нагнувшись,— и произошло ли это от плохого пищеварения, расстроенного виноградом, или от спертого воздуха вокзала, или от двух бессонных ночей, или, наконец, от страшного вида этого лица, еще четверть часа назад такого отчетливо-живого, — только Чекалов перестал сознавать.

Грузный, он повалился в сторону жандарма, и тот, не сдержав его тяжести, бережно, через носок сапога опустил его на затоптанный пол рядом с телом.

1912

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Этюд

Мы сидим с Володей около дачи на новых дверных коробках, приготовленных для флигеля.

Направо от нас — горы, налево — невысокий, длинный бугор, за которым далеко внизу неслышный городок, а прямо перед нами — море. Володя — это мой дворник, старик, старше меня ровно вдвое. На лбу у него — полумесяц: когда-то лошадь ударила копытом. Выше виска, по той же причине, у него плешь. Об этом он мне рассказывал так:

— Была мне в голову такая рана, что двадцать докторей в больнице возле меня стояли, в один голос удивлялись и плечами жали. «Ты, говорят, все чувства имеешь?» — «Я, говорю, все до одного чувства имею».— «И понятие в тебе неповрежденное?» — «И понятие во мне, говорю, все целое». — «Ну, говорят, ты — старого воску... Теперь уж таких мало осталось... Почесть таких больше и нет... Если б из нас кому любому такую рану в голову,— моментально б через две минуты готов...» Трубочку такую, градусник мне под мышку суют,— смотрят: сорок пять градусов.

— Как будто таких градусов и не бывает,— попробовал я возразить.

Но спокойно сказал Володя, глядя на меня с прищуром:

— А то разве бывает?.. Известно, никогда не бывает... Никогда ни у кого и не было... А у меня было.

Может быть, и было: старик здоровый и, главное,— очень упрямый. Поступил он ко мне два года назад, и целый год — я ему «вы», он мне «ты»; теперь уж и я ему говорю «ты» и зову Володей, а не Владимиром. Старик крепкий, красный, волосатый, и сапоги пуда два. Хвост моему Серому он подвязывает так долго и так старатель-

но, что мне их обоих жалко — и его и Серого: зачем столько лишнего труда?

— Володь, брось-ка ты эти штуковины,— сказал я ему как-то:— А то осерчает Серый да приставит тебе звезду к полумесяцу — совсем будешь тогда турецкий святой.

Серый действительно косится назад фиолетовым глазом и фыркает неодобрительно, но Володя мне не верит:

— Этот?.. Серый?.. Мне?.. Сказал тоже!

— Да зачем ему хвост подвязывать, не пойму? Пусть себе болтается, как хочет...

— Как это «как хочет»?— И посмотрел на меня Володя строго.— «Как хочет» — это только у татар так, у народа неудобного... Только бы им по кофейням шалты-балты да с кухарками любовь крутить по балкам. Да они, татары, сколько бы дали, кабы их научить, так хвосты подвязывать, знаешь?.. Доро-гую бы цену дали (с прищуром).

— Так ты бы им сказал, Володя, а?.. Что тебе?.. Открыл бы свой секрет.

— Ска-за-ал!.. Сказал тоже!.. Помру, не скажу!

— Почему же ты это так?

— А вот и так... Помру, не скажу!

И не скажет, это правда: старик упрямый.

Обычно Володя или тюкает где-нибудь цапкой или киркой в саду, или что-нибудь поливает, или возится в сарае, а я — у себя, с книгами. Но сегодня мы праздны, и на Володе новая ситцевая, красным горошком рубаха и новый синий картуз, и вымыты около бассейна сапоги слоновьи.

Я знаю, что его уж тянет в городок, покрасоваться на набережной, на пристани, купить семечек на копейку, потом, потолкавшись, зайти в рыбацкий ресторан, около речки, или в винную лавочку. Но он хочет обзаконить это: он хочет дождаться двух часов дня, когда прибудет почта. По солнцу, конечно, он угадает время, подымется и скажет:

— Ну что ж... Дай-кась пойду на почту доскачу!

Одернет рубаху, поправит картуз, чтобы стоял геройски, кашлянет в руку и пойдет. Почему-то он всегда говорит: «Доскачу», «добегу», «живо слётаю» (это при его-то сапогах!) — и ходит долго.

Это будет в два часа, но пока еще рано, и мы можем посидеть праздно, поговорить кое о чем, благо на нас льется такое солнце и от ясного моря нельзя отвести глаз.

— Нонче, брат, и птица гнезда не вьет, — такой день!— говорит Володя.

А тут как раз какая-то зелененькая с тупым носиком юркнула с пушинкой в густой кипарис, и я киваю на нее:

— Как не вьет, когда вон пух таскает?

— Да это ты какую увидел?.. Небось турурок?

— Этого я уж не знаю — только вьет, грешный.

— Турурок уж отвился — он теперь яйца кладет.

— Что ты мне — яйца! Говорю — пух таскает!

— Ну, может, где подложить для мягкости, а то давно уж он отвился — «вьет»! Он еще в феврале отвился... Однако нонче и яйца клади тоже с опаской: такой день!

— Ну, уж это ты, брат!..

— Известно, а то как же! У нас в селе один мужик... Игнат или его Роман звали — забыл я... Замечание сделал, какие у курей яйца изнесены на Благовешшенье, так черточки прочертил... У трех курей три яйца заметил. Положил под наседку яйца-то эти три штуки — вот зачали цыплаки выводиться,— все три уроды! Один — об двух головах, другой — об трех ногах (истинный бог,— сам я видал!), а тре-тий... вот забыл я, родимец его,— что у третьего... Мм... забыл, чума его знает... А ведь — диви бы кто — сам видал!

— Три хвоста,— пытаюсь я догадаться

— Не хвоста, а крыла три,— вспомнил!.. Известно что — три крыла! Хвосты ни к чему — крыла три... Известно: один — об двух головах, другой — об трех ногах, третий — об трех крылах: вот-те все и уроды...

— Та-ак... Ну и пусть...

Некоторое время мы молчим. Смотрим на буковый лес на горах, который теперь пока еще чуть-чуть с прозеленью — синеват, точно парижской зеленью с известью покрашен от короедов.

А недели через две все уж зазеленеет в нем, и горы будут, как тонкорунные овцы; очертания же у них и теперь уж кудрявы и мирны.

— А вот волков тут нет, — говорит с сожалением Володя.— Бывалыча, у нас-то стерегешь сосунов в ночном, а уж он тут,— из кустов лезет мордой,— «тты, гад лобастый!..» А то я раз пахал на кобыле, а сосун следом... Я себе иду безо внимания, соху правлю, чегой-то вдруг кобыла стала, храпит? Глянул назад, а уж он сосуна сгреб!

Я к нему — ах, чума те переломай! Я вырываю, а он себе тянет, я себе рву, а он себе... Ведь зарезал, проклятый гад!

— Отогнал все-таки?

— Кого отогнал?

— Да его-то?

— Что ж отогнал, когда он уж зарезал? Гм... чудное дело! Тут уж толков чуть... Я его за задние ноги вытягиваю, а он за глотку сгреб. Сосун-то какой был, добро! Не хуже бы нашего Серого, только гнеденький.

Если дать Володе волю вспоминать, он многое вспомнит. Как и я — он бобыль, но у него через край полная жизнь позади, и очень крепко сбитая жизнь. В будни он серьезен и зол даже: будни — работа, но сегодня, когда даже турурок гнезда не вьет и курица нестись не смеет,— день благой вести, в ожидании которой мы умышленно праздны; и отчего же мне не дать ему воли вспоминать?

Так, еще оказалось — корова у Володи была необыкновенно хороша:

— Ну, такая же огромадная — хол-мо-гор! Вымя — во, беремя, а дойки — в стакан толщины! Стадо идет, а она поперед всех, вроде какой генерал... Пастух только попробуй ударь ее кнутом, ну, тогда шабаш: спасайся куда на дерево, и день цельный с него не слазь, и к стаду не подходи... Отелилась, телка у ней обманным образом взяли, продали — тут и началось. Бабу — ее первую с ног сшибла: не брухтала ничего, а только ногой на руку наступила, вывих иcделала — так с повязкой баба цельный Великий пост и прогуляла. А уж потом всех под итог — прямо никого к себе не подпускала, и кто мимо идет, и тех с ног сшибает (не рогами, а вот этим местом, грудью) и шарит и нюхает: если смирно лежит,— ничего, а встать захотел,— что ты думаешь? — опять сшибла, смотрит... и все везде по одеже нюхает: телка не этот ли взял?.. До чего чудна: по дворам ходила — вот штука-то! Ходит — ревет. Поревет, послушает — мотанет хвостом — дальше ходу... А телка в другое даже совсем в село Сушки — попу отцу Семену продали. За двадцать! А?.. Жадный-жадный поп, а ведь дал. Ну уж и телок был!.. Крест истинный — красота!..

Я Володю слушать люблю: во мне и самом есть много исконно сельского. И долго бы я еще готов его слушать,— благо оба мы сегодня праздны,— но близится роковой час.

— Никак время итить,— говорит Володя и смотрит на солнце уверенно, даже глаз не щурит.— Посмотреть потить в ящик, может, письмо тебе есть.

Благая весть!.. Но я говорю привычно:

— Ну, от кого же?.. Хоть газет-то не растеряй.

— Вона!.. Зачем их терять?

— И все-таки ты, Володя, скорее бы как-нибудь,— слышишь?

— А чего мне?.. Я живой рукой доскачу.

Подымается, кашляет в руку, гладит седую бороду, поправляет новый картуз, чтобы стоял геройски, и вот уж задвигались двухпудовые ходилища. И на земле моей только я, зеленый турурок в кипарисе, Серый в конюшне, шмели над цветущим миндалем, ящерицы между санталином и петушками... и солнце везде.

Я люблю землю — вообще землю и свою.

Иногда говорит мне Володя:

— Зачем ты столько комнатей это настроил? Ты бы их хоть под дачи отдал, кому желающим.

— Что это, Володя, зачем же мне с дачниками возиться?

— Это, известно, возня... И он этого, дачник, не понимает, чтобы бережно: где виноград оборвет, где грушню... Ветки зря обломает — известно... А тогда к чему же их строить?

Я и сам не знаю, признаться, зачем у меня столько комнат сейчас, и зачем я строю еще какой-то флигель, в который, быть может, никогда не загляну, и зачем буду (а непременно буду) строить еще. Но мне, как начинается весна, неудержимо хочется для земли что-то сделать. Деревьев я понасажал на ней везде, где можно, и каждую весну почему-то строюсь. Должно быть, у нас с землею брачный союз, и каждая весна — пора моей сильнейшей любви к ней, и я не хочу оставить ее неплодной. И пускай стоят на ней ненужные мне дома: это я просто подношу ей свои весенние подарки, и она их кокетливо носит — эти белые стены, и красивые крыши из черепицы, и резные балконы, и лестницы — как молодица новые кофточки и шали.

И земля мне платит за это тишиною: и утро, и полдень, и вечер — тут все мое. И деревья здесь все мои питомцы, и мне кажется, что они это чуют, когда я под-

хожу к ним: такой у них тогда родной, улыбчатый вид. Пусть я — чужой людям, но морю, но горам, но этим моим пестролистым кленам, и ясеням, и туям, этим штамбовым чайным розам, у которых теперь листочки так стыдливо красны,— я родной: кто их у меня отнимет? На горах кругом знаю я каждый камень... На море не поставишь вешек, но на глаз я отчетливо помню места, куда выезжал с рыбаками за белугой, за камбалой, за камсой — мелкой рыбешкой, смирной и плотной в огромных стаях, живой пищей, приготовленной морем в таком изобилии, что на всех хватает...

Время идет спокойное, переполненное облаками, проползающими над безволчьим лесом, который ясно зеленеет на глазах. Отвлечешься от него, займешься чем-нибудь другим, потом посмотришь вдруг — насколько же он стал зеленее! Это миллионы листочков развернулись одновременно на шаг мелкой козявки... А к вечеру что будет там!..

Я знаю, что Володя уселся теперь уж с кем-нибудь на пристани, лущит семечки (у него еще полон рот зубов),— потом, ради милой компании и праздника, пойдет выпить и еще вспомнит что-нибудь из прошлого о живом... Знаю, но жду все-таки: вот заскрипит калитка наверху, застучат сапоги слоновьи.

Заглянул к Серому — фыркнул и закивал головой: так он со мной здоровается ежедневно. Треплю его по шее:

— Ну, Серый, жуешь?.. Жуй, жуй... Завтра мы с тобой поедем, прогуляемся куда-нибудь подальше.

Он понимает: кивает головой... Уж он покажет рыси: чуть застоится — ему и удержу нет.

День проходит неслышно, и вот уж немного осталось солнца: подошло уже к самому гребню Бабухан-горы. От последних лучей его все в прощальной тревоге.

Иду на бугор посмотреть: не скачет ли Володя... с благою вестью... Я и сам не знаю ясно, о чем должна быть эта благая весть, но если осознать ее и представить отчетливо, разве будет она тогда благая?

Длинная, закрученная дорога вниз, конечно, пуста. У меня за спиной горят еще по-последнему буки на Бабухане, а в городке уже тень. Над речкой туман синей полоской, как сигарный дым. Как струны, вытянулись три тонких белых минарета, на которых скоро начнут кричать уже татарчата. За городком другие горы, выше моих, с ка-

менными верхушками. На верхушках этих дрожит теперь последний луч: это прощаются с ними на ночь мои горы.

Хорошо и широко... И свободно дышать... И возникает в душе молитва, похожая на изречение из Корана: «Нет мира, кроме земного мира, и человек да будет поэт его!»

Да будет... Но почему же нет Володи с благою вестью? Эх, плох ты, плох, благовещенский дед!

Уж и смеркается: здесь это сразу. На высокие черешни перед домом прилетела стайка репелов. Попоют перед сном и спрячутся на ночь в густейшие лавровишни: так ежедневно.

Еще минут десять ожиданий, прощаний, передночной возни кругом, как в огромной детской, и подходит ночное. Затворяю ставни, как ежедневно... А-а! Наконец-то! Скрипит калитка: благая весть!

Шмурыгают и стучат ближе сапоги Володи... Вот он... Конечно, он пьян, и козырек его геройского картуза набок. Но качается он только в пояснице,— на ноги крепок.

— Ну?

— Вот, на... газеты.

Я жду.

— А насчет письмов...

Мне кажется, он начнет сейчас шарить по карманам. Я жду. Но он говорит, продолжая:

— Насчет письмов... нет нам с тобой ни письма, ни бумажечки...

Вот и все. Кончилось Благовещенье.

Иду в комнаты. Зажигаю лампу. Раскладываю привычно газеты...

Значит, нет благой вести?.. Ну что ж... Я обойдусь. Значит, нет благой вести?.. Ну что ж... Я как-нибудь обойдусь... Значит, нет?.. Значит, совсем нет?.. Ну что ж... Я обойдусь...

1912

ГРИФ И ГРАФ

Рассказ

I

Коля Житнухин, мальчик лет пятнадцати, утром, когда, после сильного прибоя, утихло море, пошел с мешком подальше вдоль берега, не выкинуло ли где камсы.

Близко к городу незачем было ходить: тут, конечно, чем свет все было подобрано, и Коля забрался в глухие места. После долгого шторма странная стояла тишина, и море режуще сверкало, и берега пахли морем, а солнце грело, как греет оно в феврале на юге, когда небо чисто и не дует ни с севера, ни с востока.

Белые стада чаек паслись на голубом недалеко от берега; тем вероятнее казалось Коле, что вот выйдет он подальше за камни, на укромный пляж,— и вдруг яркая кипень сонной камсы, переброшенной на взмыве какого-нибудь девятого вала... расставь мешок и греби в него рыбу, как гравий...

Коля зашел далеко, наткнулся на круглый мыс, который надо было огибать с тылу по чуть заметной козьей тропинке; а когда обогнул он его и новый кусок синеватого пляжа открылся,— сколько ни смотрел Коля, никаких ярких залежей камсы на нем не заметил, только совсем недалеко, снизу, шел густой запах падали.

Тропинка к морю была тут очень крута и вилась между камней, угловатых, огромных. Но когда Коля высунулся из-за камней и брезгливо глянул вниз, он увидел орла на выброшенном дохлом дельфине.

Орел-стервятник, истемна-серый, с голой, синей, как у индюка, шеей, рвал красные клочья дельфиньего мяса и глотал, тряся головою,— рвал и глотал жадно,— должно быть, сильно был голоден. Сидел он спиною к берегу и не заметил Коли, а Коля, едва только разглядел орла, весь насторожился, как дикарь-охотник, затаил дыхание и скосил глаза под ноги,— нет ли мелкого камня.

Камень фунта в три весом был, и он осторожно за ним нагнулся.

Круглый голыш, обточенный когда-то морем, ловко пришелся к ладони и пальцам, Коля крикнул и,— чуть только орел, оглянувшись, развернул крылья и подпрыгнул, чтобы подняться,— бросил в него голыш.

Крылья эти были слишком огромная цель, чтобы промахнуться,— и орел не взлетел: он упал на бок на пляж рядом с падалью и забил одним только крылом, а другое подвернулось под него и вывернулось светлой изнанкой перьев.

— Попал!— крикнул Коля радостно кому-то — морю, солнцу или гранитным глыбам около себя — и сбежал вниз.

От радости удачи он, дикарь теперь, перестал даже замечать вонь от развороченной туши дельфина. Он видел только орла, и орел снизу, совершенно ошеломленный, смотрел на него, как на свою гибель, и шипел разинутым клювом. Он упирался здоровым крылом в песок и греб когтями, чтобы отскочить от земли и ринуться в надморье,— но мешало подвернувшееся перебитое крыло. Глаза его на момент испугали мальчика, он отступил на шаг.

А тут сорвалась с голубой воды чайка и очень удивилась тому, что случилось на берегу. Подхватилась косокрыло и пропищала над Колиной головой:

— И-и-и!

И другая появилась за нею следом. И третья.

Кружились и визжали пронзительно:

— И-и-и!

Коля оглянулся — никого поблизости: пустой крутой берег, дохлый дельфин, чайки над головою — уже целая стая — и орел с огненными глазами, лежащий навзничь.

Стало немного страшно, и мутило от вони.

— Ты, черт!— крикнул Коля, чтобы себя ободрить, и бросил в орла мешком, а когда бросил, покрывши им грозный клюв и прижатые к груди когти, то сразу решил вместо камсы принести домой орла.

— Нет, брат, постой!— кричал он орлу, входя в азарт.— Ты не очень!

Он орудовал мешком, как маленький паук, к которому в сети попалась большая муха: подбегал и отскакивал, пытаясь набросить ему мешок на голову со страшным клювом, и набросил, и как раз в это время, преодолевши

боль в крыле, поднялся на ноги орел и стал по грудь Коле, а Коля сразу сзади одернул книзу мешок.

Мешок был джутовый, новый, крепкий и длинный. Орел стоял в нем ослепленный, растерявшийся, неподвижный.

— И-и-и!— необыкновенно выразительно визжали со всех сторон чайки, никогда не видавшие подобного: орла в мешке.

А Коля разгорячился. Он растопырил руки, кинулся на мешок с добычей, свалил его подножкой и очень ловко и быстро стянул бечевой орлу ноги, так что только черные когти, высунувшись из мешка, могли распускаться и сжиматься, а сами ноги не двигались.

Потом он схватил мешок поперек, в охапку, и начал, поддерживая его коленом, карабкаться с ним вверх по той же тропинке между угловатыми гранитами, а за его спиной изумленно визжали чайки и отравляюще вонял дельфин.

Дом отца Коли, плотника Якова Кузьмича, был на отшибе. Не нужно было идти с мешком через весь город.

Чтобы орел не задохнулся в плотном мешке, Коля прорезал финкой щель против его клюва и нес мешок на спине, приладивши веревки. И спина Коли скоро почувствовала теплоту и тяжесть орлиного тела и взмокла сплошь.

Только черный Абдулла-хромой, в бараньей шапке, встретился на берегу: бросал сеть на мелкую кефаль, отчаянно ковыляя. Но не хотелось ему показывать орла, обошел его стороною.

— Э-эй!.. Чево несешь?.. Ка-амса?— крикнул Абдулла.

— Камса!— крикнул Коля.

На косогоре в кустах встретились ребята, вышедшие с топорами и веревками за дровами.

— Эй, Колька!.. Корчи тягнешь?— крикнули ребята.

— Ну да, корчи!— отозвался Коля и пошел не останавливаясь.

А когда подходил к дому, возившийся в земле карапуз, трехлетний братишка его, Ванятка, увидавши снизу в мешке орлиные лапы, очень оживился и залопотал:

— Пухук!.. Пухук!.. Пут-пух!.. Пух!..

— Ага!.. Петух, конечно, а то кто же,— согласился Коля.— Петушка тебе несу!

И только старшей сестре своей, Ксюте, старшей его и по школе на два класса, войдя во двор, где она кормила кур, сказал Коля устало, хрипло, но гордо:

— Живого орла притащил!

Ксюта поправила голой рукой ленту в русой косе и не поверила:

— Ври больше.

— «Ври»?.. А это тебе что? Цапля?

Развязал мешок и медленно начал стаскивать его кверху, открылся хвост подбитой птицы, концы крыльев, спина.

Но Ксюта не хотела сдаться: она даже не ахнула, точно ничего иного и не ждала от младшего брата. Она только еще раз перевязала ленту в косе, забросила косу за спину, подобрала волосы с боков (их было слишком много для ее небольшой головы, и они вечно занимали ее руки) и только потом совершенно спокойно сказала:

— Разве это орел?.. Это вовсе и не орел... Это называется вовсе гриф, а совсем не орел...

— Пускай гриф, а все-таки орел же!

— Гриф, тебе говорят!

Мать Коли была владимирская и говорила на «о», развешивая мокрое белье на веревке:

— Откуда это чертушко такой?.. Да он, страшилище, кабы курей не пожрал!

И правда, куры уже кричали в испуге и мчались со двора прятаться в сарай.

А гриф со связанными ногами и повисшим крылом стоял на верхней ступеньке ветхого крылечка и медленно поворачивал голову, и когда маленький Ваня, войдя во двор, увидел, какой «пухук» стоит у них на крыльце, он заплакал и заспешил к матери.

Яков Кузьмич, человек уже старый, длинноногий и без трех пальцев на левой руке, работал в соседней деревне и пришел только к вечеру, когда гриф сидел уже в большой клетке, сбитой для него Колей из старых досок; сидел он копною, как сидят грифы на взгорьях, по морским берегам, неподвижно и в то же время наблюдающе зорко.

Сломанное крыло ему Коля пытался выправить, но оно совершенно неподобранно свешивалось ниже хвоста; бечевку на ногах Коля разрезал ему ножом, осторожно просунувши для этого руку сзади, сквозь планки клетки.

Всегда приносил с работы Яков Кузьмич стружки и щепки и сваливал их в сарае,— так сделал он и теперь, не заметивши на дворе клетки. Но зато закричала и залаяла встревоженная собака, с ним вернувшаяся, Граф, наполовину гордон, наполовину дворняга.

Лай у него был громкий, так что Яков Кузьмич спросил его из сарая:

— Что, Грах, али кот чужой?

Войдя, увидел, что не кот, разглядел огромную птицу и попятился, а Коля, появившись на крыльце, сказал отцу важно:

— Видал, какой?.. Это я его камнем!

— Ты?

— Я.

— Камнем?

— Камнем.

— Как же ты его допер?

— Так и допер...

Гриф смотрел и на этого нового длинного человека так же презрительно-спокойно, как смотрел раньше на его жену, дочь. Он даже шеи не вытянул, а стоял нахохлясь.

И так как все мысли Якова Кузьмича вот уже лет тридцать были направлены на то, чтобы добывать для семьи деньги, то он сказал наконец, подумавши:

— Кто же у нас черта такого могёт купить?.. Прежде бы какой господин богатый на чучело польстился, а теперь кто?

В это время Граф, переставший лаять, подбирался к клетке ползком. И вот, короткий, с рычаньем, бросок его к клетке, и тут же он отскочил с ошеломляющим плачущим визгом: это гриф, наблюдавший за ним, стремительно клюнул его в затылок.

Года три назад Графа звали еще Графчиком, он был забавным щенком. С ним возились дети Якова Кузьмича, как все дети. Ему говорила Ксюта:

— Ах, Графчик, Графчик!.. Ка-кой ты замечательный пес!.. Замечательнее тебя нет собаки на всей земле!

А Коля добавлял густым голосом:

— Даже нет и на всем небе!

Графу это нравилось: он жмурил глаза и сладко зевал от удовольствия. Поверил ли он в то, что нет собаки замечательнее его, но с другими собаками держался он необыкновенно важно. Грудь у него была широкая, голос

трубный, шерсть густая, черная... Это был красивый пес.

На больших хищных птиц, которые вились иногда над их двором и от которых неистово кричали куры, он привык смотреть, как на врагов: он бросался за ними по косогорам и лаял, и казалось ему, что это от него они улетали, что это он прогонял их... И вот теперь, в сумерки, на дворе он визжал, как ошпаренный кипятком, катался по земле, перекидывался через спину, вскакивал, бросался к Якову Кузьмичу... У него точно вертячка, как у овец, появилась.

Все из дома выскочили на его визг.

На затылке Графа оказалась рана. Ее промыли водой, приложили к ней мокрой глины. Собака крупно дрожала.

Когда промывали, Яков Кузьмич обращался к дочери:

— Посмотри получше: черепка он ему не провалил?.. Мозги не вылазят?

Коля бормотал:

— Сунулся!.. Вот и получил... А зачем было соваться?..

Графа уложили на свежей соломе, накрыли дерюжкой, и весь вечер, пока не уснули, слушали, как он стонет по-человечьи, и по склонности человеческой кого-нибудь ругать — ругали Колю.

II

В утро этого несчастного дня Граф вышел из дому вместе с Яковом Кузьмичом и Колей, но скоро дороги мальчика и отца его разошлись,— надо было выбрать, за кем идти. Граф усиленно думал. Длинноногий хозяин пошел сутуло, даже не взглянув на него, а мальчик звал его и хлопал себя по ляжке. Граф побежал за ним, чуть скуля и продолжая думать: куда может идти мальчик с мешком? Куда-нибудь близко, должно быть?.. А длинноногий хозяин,— он знал уже это,— пойдет на целый день верст за пять от шоссе, и потом лесом горным, где все так таинственно, и можно обежать верст двадцать пять вокруг, пока хозяин прошагает пять. Представивши это, Граф на первом же завороте отстал от мальчика и стремительно бросился догонять Якова Кузьмича.

Пахло в это утро тончайшими запахами первых дней весны в долине, белыми подснежниками с гор, палым листом лесных высоких деревьев, ночлегами вальдшнепов, лисьими норами, барсучьим следом, совсем еще све-

жим,— должно быть, только этой ночью прошелся, — сыромятными, совсем еще новыми постолами на одной из тропинок, подкованными ослиными копытцами на шоссе, рассыпанными кем-то сушеными грушами,— и разве можно перечислить все то новое, что попалось ему в это утро под раздвоенный на конце, всевбирающий, жадный до запахов нос?..

Он носился, взмахивал ушами, останавливался иногда, слушал, нюхал, смотрел, подымал ногу, кружил, рыл передними лапами, иногда лаял в чаще и сам изумлялся круглоте и упругости своего лая.

А в деревне, где провел этот день Граф, такие были смешные псы с обрубленными ушами и заросшими сивым волосом мордами, что он глядел на них высокомерно, презрительно, через плечо и рычал предостерегающе, когда они подходили знакомиться, подымая ноздри и крутя хвостами.

В это утро гриф долго кружился над берегом, пока заметил выброшенного прибоем дельфина.

Распластанные на сажень крылья, носившие его уже тридцатую весну,— до чего же они казались ему прочными!.. Чуть шевельнул ими,— и вот уже перемахнул через Яйлу в степь, откуда море только едва синеет в дымах, и вон — направо — один большой город, налево — другой, прямо к северу — третий... А внизу видно каждую овцу из отар, каждого зайца, барабанящего утреннюю зорю передними лапками на полянке... Но у овец еще нет ягнят,— это будет через месяц,— а заяц забьется в кусты при малейшем шуме над головой... Это не добыча — это только приманка для глаз.

Тридцатая весна, тридцатая весна!.. Тишина, ширина, и всходит солнце над огромнейшим морем... И, бросивши вниз раза четыре свой горловой клёкот, долго в это утро любовался гриф своими горами, своим морем и своим солнцем, пока опустился на свою добычу: кто мог бы отнять у него этот подарок ему моря к тридцатой весне? Никто, конечно.

Слабо, с перерывами, до полночи повизгивал Граф.

То он старался глубоко зарыть голову в солому, то вытягивал ее и лежал оцепенело... Иногда он слышал, как

мимо ворот пробегала чужая собака, но не пытался лаять. Даже ворчать он не мог.

Только часам к трем, когда очень посвежело в воздухе, бодрее стало в теле, оттянуло от головы. Повернул голову посмотреть, здесь ли эта страшная птица? Клетка стояла на прежнем месте, и птица спала в ней, издали безголовая, как все птицы, когда они спят. Попробовал разжать челюсти. Отдалось режущей болью в затылке, но вытерпел. Так сжимал и разжимал челюсти несколько раз... Захотелось пить.

Мелкий дождь начал быстро сеяться, но — не успела еще намокнуть шерсть — перестал. Как всегда по ночам, пробунел за окошками кашель хозяина. В таких случаях срывался с места Граф и мчался к воротам, лая, чтобы показать, что он не спит, стережет. (И Яков Кузьмич понимал его и бурчал о нем: «Ишь, стерва, зарабатывает!») Но теперь «зарабатывать» не поднялся Граф, промолчал.

Самое обидное для него было, что ударила его так больно *птица*. Еще когда он был щенком, он помнил на этом же самом дворе злого старого селезня с зеленой головой, который тоже пытался нападать на него с разинутым клювом и шипел при этом, как змея. Но ничего не стоило, отскочивши, ухватить его за жесткую шею и трепать его по всему двору, так что летели пух и перья, и кто-нибудь из дома бежал его отбивать. Потом, когда он подрос, все птицы его боялись, и, когда он бросался на эту страшную птицу, разве он думал, что она осмелится его клюнуть?

Очень хотелось пить.

Под трубой водосточной стояла кадушка, из нее лакал часто воду Граф, подымаясь для этого на задние лапы. Попробовал сделать это теперь, — тихонько встав, продвинулся к ней, но подняться не мог — сорвался. Постоял с минуту, приходя в себя, и медленно побрел искать глиняную миску с водою для кур, обложенную со всех сторон камнями, чтобы куры не могли ее опрокинуть. Нашел; вода там была мутная и скверно пахла, но все-таки полакал и стал крепче в лапах. Попробовал даже встряхнуться.

Ему самому нравилось всегда, и, он заметил, нравилось детям хозяина, как он, тряся головой, хлопал лопушистыми ушами, точно хлопушками. Но теперь он встряхнулся только спиной и боками, — голову он берег. Посмотрел искоса на небо: луны не было видно, только звезды, и облака бежали по ним проворно. Дул небольшой ветер, и

скрипело около дома дерево, старый можжевельник с шишечками не больше горошины, который все собирался срубить хозяин и все не мог собраться. Но скрипело оно теперь до того жалобно, что Графу захотелось поскрести за ухом. Присел было и поднял уже заднюю лапу, но опустил. Скрипи, скрипи, можжевельник! Скрипи, проклятый!..

На клетку со страшной птицей Граф смотрел только мельком: глянет — и отведет глаза, как молнии.

Медленно переставляя ноги и держа голову вниз, Граф обошел вдоль забора и сарая весь двор. Посидел около ворот и так же медленно, но держась ближе к клетке, еще раз обошел его.

Гриф спал плохо.

Он спал по долгой привычке спать по ночам,— это была старая птица. Он спал от тяжести в зобу, как всегда даже и днем засыпал на время, если наедался плотно. Но сломанное крыло ныло и рвущей болью отдавалось иногда и в спине, и в подвернутой шее. Тогда огромная, в полтора аршина высотою, птица вздрагивала и переступала лапами.

Это был одинокий гриф, еще не искавший себе самки на тридцатую весну. То, что случилось с ним на морском (своем) берегу, на туше своего дельфина, поразило его чрезмерно. Все остальное — и мешок, и эта клетка, и это человечье гнездо, и люди, которых он видел так близко днем, и черная собака, которая к нему кинулась вечером и которую он ударил клювом,— не могло уж поразить его сильнее.

Он не бился в своей клетке даже и с вечера, так как понимал, что не нужно это, что ему нужен покой, а не бесцельные движения. Голод его не мучил, и он мог ждать, что с ним сделают дальше.

Он даже чувствовал смутно, что собака, которую он клюнул и которая так визжала пронзительно и валялась в ногах у людей, что она теперь уже не визжит, не валяется, а бродит по двору, но о ней он не думал. Он думал только о том человеке, который подобрался к нему на берегу так близко, что мог его ранить.

Людей, которые в его горах рубили толстые буки и свозили их вниз, он не боялся, но он не любил их: после них оставалось в лесах так много плешей, с гладкими пнями вместо уютных деревьев. Случилось даже два раза в его жизни, что он рвал и ел двух мертвых людей, уби-

тых другими людьми, но дельфинье мясо казалось ему нежней и сытнее.

Граф бродил по двору, с усилием ставя ноги, усиленно втягивая в себя все давно знакомые запахи: стружек старых, лежалых, и стружек новых, только вчера принесенных; кур, сидевших в сарае на насесте; глубоко влипших в сырую землю следов от ног Якова Кузьмича, и жены его, и Ксюты, и Коли, и маленького Ванятки (все пахли по-своему, очень разнообразно); мокрых досок, снизу покрывшихся белой плесенью, мокрых стояков, снизу подгнивших и источенных жуками, и много еще... Вслушивался в то, как и кто из знакомых собак на улице лаял: кто по одной только собачьей обязанности и кто от сердца... Ясно было, что никто из лихих людей не ходил около домов... Совсем не было теперь лихих людей, никого и нигде снаружи... Была только лихая птица, и она здесь, на дворе, в клетке.

Медленно и тихо, очень медленно и тихо, поднимая лапы и ставя их по-кошачьи мягко, подкрался Граф на два шага к клетке и смотрел. Птица спала. Он придвинулся еще на один шаг — просто подтянулся, распластавши ноги, и замер. Если бы кто-нибудь в доме хотя бы кашлянул во сне!.. Но даже и Яков Кузьмич устал, наконец, бухать, а остальных редко бывало слышно по ночам.

Глазами, горящими в темноте, пересматривал Граф все планки клетки: ему вспоминалось, что одна треснула и подалась под ним, когда он бросился. И вот он ее увидел. Она была надломлена посредине и даже разошлась немного. Все планки были из ветхих темных досок, но эту он и с вечера выбрал не зря: эта показалась ему и тогда самой гнилою. Он и тогда подумал, что проломит ее своею грудью, и вскочил: такой был напор тогда силы, что дощечка эта показалась ему куском серого картона.

Скрипел можжевельник о крышу... Долго ты будешь скрипеть?.. Скрипел можжевельник, но птица спала,— не нужно было затаивать дыхания.

Часто отворял двери с крыльца в комнату Граф, упираясь в них передними лапами. Надавит, и подается дверь. А один раз он потянул к себе дверцу шкафчика в сенях, и она тоже открылась. Там было холодное вареное мясо на тарелке. Он знал, что нельзя это, но как же утерпеть? И выпросить у кого же было, когда никого не было около? Взял мясо, вынес в сарай и там, в углу, за ворохом стру-

жек, съел. Он думал, что подумают не на него, а на кошку, и сначала действительно били кошку, и он сам на нее рычал, но потом догадались почему-то, что это он, а не кошка, отворил дверцу, и его больно несколько раз ударили ремнем с пряжкой, так что пришлось опрокинуться на спину и повизжать.

И вот, как дверцу шкафчика, Граф осторожно отодвинул нижний конец сломанной планки правой передней лапой вправо и книзу.

Очень застучало в голову,— чуть не завыл от боли, но стерпел.

Припал к самой земле, боясь глянуть на птицу, а когда поглядел, даже поднялся и презрительно повел хвостом: гриф не вынимал головы из-под здорового крыла, гриф спал... Спи, спи!

И, уже стоя, тихо, концом морды, Граф отвел верхний конец сломанной планки влево. Пролом вышел широкий, свободный, шире его груди...

Но тут петух в сарае захлопал крыльями — и отскочил Граф.

И пока орал свое предутреннее петух, Граф стоял ошарашенный: птица вынула голову, птица вытянула шею, птица смотрит!

Замолчи, проклятый!

Птица смотрела подслеповато, как старуха, ныряя в темноте голой шеей в одну сторону, в другую, в третью...

У Графа так заныл раненый затылок, что он лег. Земля пахла куриными пальцами. Из трубы в кадушку капала вода с выдержкой: капп... капп... капп... Поскрипывал можжевельник.

Но вот коротко кашлянул Яков Кузьмич. Приказал, а не кашлянул. Все собранное в оскорбленный комок черное существо Графа только ждало приказа оттуда, из-за окошек.

Еще раз кашлянул коротко: кси, кси!..

И Граф зарычал, подымаясь.

Новое, необходимое: кси, кси,— и точно кнутом ударило Графа сразу по всем напряженным жилам. Окаменел хвост. Шерсть на спине встала щетиной...

Точно совсем не прерывалась борьба со страшной птицей, точно не было ночных часов, точно только что ударила она его клювом, а он отскочил, Граф упруго подобрался снова к грифовой клетке, на момент задержался перед проломом в ней, только захватил глазами ныряю-

щую голую шею, хрипнул, оскалил зубы и кинулся внутрь.

От стремительного прыжка опрокинулась клетка и легла плашмя, и оттуда по двору рычание, визг, придушенность — звуки борьбы последней.

А в доме спали, и можжевельник усыпляюще поскрипывал веткой о ржавый угол крыши.

III

Какое новое утро настало благословенное!

Только что отслоились, осели из розовой мути горы по сторонам, все мягкие еще и зыбкие в очертаниях, только что упало вниз и чуть заянтарилось и чуть залиловело море вблизи, еще не вспомнившее о досадном дневном горизонте, а чайки — беспокойный народ! — уже развизгивали-раззванивали по всему побережью сложенную ими вчера балладу о том, как безусый тонкий человек унес в рыжем мешке большого грифа, одного из самых больших и самых старых грифов в этом краю.

В это время рыбаки — семь человек на баркасе — только что отчаливали от пристани, готовясь плыть верст за шесть в море, смотреть крючья, вчера — чуть стих прибой — поставленные на белугу.

В это время от прибрежных камней, покрытых львиной рыжей шерстью водорослей, отплывали в места поглубже ночные разбойники — морские ерши, все состоящие из огромной пасти, ненасытного брюха и колючек, прочных, как копья.

В это время сторож, потушивший маяк, всю ночь мигавший переменными огнями, торопливо переругивался со стариком, уборщиком улиц, спешившим на колченогой лошаденке до полного рассвета смести и вывезти конский навоз с белой набережной.

И еще — в это время рано встававший, чтобы не опоздать на дальнюю работу, Яков Кузьмич вышел на крылечко умыться и, развозя по волосатому лицу воду из кружки, вспомнил про раненого Графа.

— Грах! — позвал он тихо. — А Грах!

Но Граф не подошел. Графа не было на соломе. Только из клетки, очутившейся уже на середине двора, твердо вылезала его задняя лапа, упершаяся в землю и неподвижная.

Бормотнул Яков Кузьмич с недоуменной тоской и большой горестью:

— Ну, не проклятая птица!..

И, не кончив умываться, с засученными рукавами, с мокрой бородой, стал над клеткой, сверху смотрел на эту лапу черную, качал головой.

— Эх, Грах ты мой, Грах любезный!

Черная лапа закоченела.

Вынимал он потом из клетки Графа и грифа вдвоем с Колей. Перебитое крыло орла висело на одном сухожилии. Когтей его, зажавших ребра собаки, нельзя было разжать, как нельзя было разжать пасти Графа, зажавшей его голую шею.

Один глаз собаки был выклеван, другой открыт и блестел тусклым стеклом.

Глаза птицы потухли. Перья на груди сбились в кровавый ком.

С пухлыми от сна веками, подслеповато хмурясь и отбрасывая волосы, стояла Ксюта и по-отцовски качала головой в сторону Коли.

— Да до-ро-гая ж ты моя собачка драгоценная! — причитала на «о» ее мать со слезами в морщинках около широкого носа.

Поглядел на нее Яков Кузьмич, почесал в бороде, хекнул коротко и ударил Колю двупалым кулаком в спину.

Грифа не пожалел никто.

1927

ВЕРХОВОД

Рассказ

Однажды июньским утром шестеро ребят пошли в лес за грибами: Алеша и Таня — брат и сестра, Миша и Рая, тоже брат и сестра, и Федька с Генькой — двоюродные братья. Девочки были семилетки, их братья лет по десяти; Генька — одиннадцати, Федька двенадцати лет.

Генька был разноглазый: один глаз серый, другой карий; голова — дыней, грудь куриная, волосы светлые и торчали, как плавники; руки цепкие, и ноги ступали отчетисто, точно слышали где-то барабан; тонкие губы сцепились плотно и имели надменный вид; около губ белые следы лишаев; нос длинный, и подбородок вперед.

Федька же был расплывчатый, мясистый, тяжелая голова книзу, губы в обвис, на тупом носу капли пота. Он нес кошелку для грибов за спиною и, хоть кошелка была пустая — только кусок хлеба да два огурца,— все-таки по-рабочему гнулся.

Генька держал свою кошелку в руке.

— Не отставать! Эй! — прикрикнул Генька на девочек, и девочки, набиравшие дорогой тощие букетики полевых цветов, названия которых они не знали, тут же, заслышав окрик, бежали, схватившись руками.

Глядя на них с презрением, вот он спросил их вдруг:

— А сколько будет два да два?

— Четыре,— ответила Таня баском, плеснув золотой косичкой.

— Четыре,— согласилась с ней Рая, отбросив со лба черные кудряшки.

— А два мильена да два мильена? — спросил Генька.

— Ты с ума сошел,— тихо удивилась Таня.

Этого уж не посмела повторить Рая, толькоуширила выпуклые черные глаза и повела узким плечиком.

А Генька даже не посмотрел на них. Он скомандовал брату:

— На тропку сворачивай!

— Зачем? — и медленно вытирал с носа пот рукавом Федька.

— Тебе сказано? — прикрикивал Генька, и Федька поворачивал на тропинку с дороги, а за ним, перекидывая с руки на руку свои корзиночки, шли Алеша с Мишей.

— Это мы опять на дорогу выйдем? — спрашивал Алеша певческим голоском.

— А то куда же? — рубил четко Генька.

— А в лес когда же свернем? — любопытствовал Миша, скрежеща на звуке «р».

— Когда будет,— отзывался Генька, не желая говорить длинно, едва разжимая надменные губы, ногами слушая невидимый барабан.

Дорога шла в гору изгибами; по тропкам совсем было круто, но ребята с жаром взбирались по тропкам, потому что так скорее лес.

Необыкновенное солнце сияло. Каждый лист в кустах светился насквозь. Всех жучков, которые спрятались в листьях, было видно, и Миша, черненький, худенький мальчик, любитель жучков, бабочек, стрекоз, то и дело выхватывал их на ходу вместе с листьями, кричал радостно: «А вот еще один!» — показывал всем над головою и швырял подальше в кусты.

Рот у него был галчиный на маленьком лице, шея, как стебелек... Он все ахал от умиления, и Генька говорил ему строго:

— Прикрой едалку, а то ворона влетит!

Миша темнил глаза, свешивал голову, но шагов через десять восхищался снова и сиял. Рубашонка у него была линючая, синяя с красной вышивкой.

Алеша старался держаться ближе к Федьке. У него одного из всех на голове торчала беленькая шляпка-лопушок. Он был такой же сытенький, как сестра, только чернобровый, и от дороги и солнца раскраснелся. Рубашку он снял и положил в корзинку и аккуратно работал острыми локтями и крылышками лопаток.

— Ты обожгешься!.. Я вот маме скажу! — ворчала на него сзади Таня баском, а он оборачивался к ней, хмурил брови, поджимал губы и грозил кулаком.

Как девочки, так и Миша с Алешей только в первый раз вырвались далеко от дома. Лес они видели только издали.

и вот идут туда теперь — их отпустили. Это было для них сказочно, ошеломляюще, а Федька спокойно говорил Алеше:

— Мы в прошлом году ходили, одних груздей по кошелке принесли, а сы-рое-жек там!.. Мы их прямо ногами топтали, несмотря что красивые!.. Там же их тьма-тьмущая...

— Я знаю: грузди... Большие такие... Грузди, рыжики, опенки, шампиньоны,— скороговоркой насчитывал Алеша.— А сыроежки — это какие?.. Их разве сырыми едят?

Он не говорил, а почти пел, притом книжно, отчетливо: мать его была учительница.

Дорога все взвивалась и дыбилась в гору. Кусты становились выше; под ногами все сырее.

Дня три назад прошел сильный дождь (вот почему и собрались за грибами), и здесь, повыше, становилось уже заметно, что́ это был за дождь в горах. Даже тропинки были размыты и изрыты дождевыми потоками, и висели над ними подмытые корни трав.

— Вот когда груздей! — нюхал воздух Федька.— Я их зато люблю, эти грибы — большие.

— Такие будут? — распяливал свою ладошку Алешка.

— Гм... Вот так большие!.. А не хочешь — вместо лопуха голову накроешь, чтоб не очень жарко!

— Не отставать там! — кричал тем временем Генька на девочек и с презрением выговаривал Мише: — А тебе бы только чтобы мухи!.. Тоже за грибами идет... Мухобой!

Миша смотрел на него виновато и начинал сильнее работать голыми ногами, очень тонкими и с кривыми коленками.

Кошелка у Геньки была в левой руке, а в правой — хлыст из орешника. Этим хлыстом он то и дело бил по сочным листам кустов, наклонившихся над дорогой, и Миша косился на этот хлыст опасливо: вдруг возьмет да ударит его по спине или по голым ногам.

Кустарник становился все раскидистей, все выше, и наконец поднялись над головами ребят молодые дубочки.

Дубки эти были разрежены нарочно,— торчали под ногами свежие пеньки, а вдали, сквозь их спицы, как птицы в клетке, виднелись два дровосека: старик с бородкой серой и молодой — в красной рубахе.

Ребята остановились было, но Генька крикнул:

— Чего стали?.. Нечего стоять.

— Это что они? — спросил Миша.

— Ничего они... Рубят, и все.

— Зачем? — спросил Алеша.

— Во-от — «зачем»?.. Уголь палят.

— У-голь?.. Какой уголь?

И девочкам куда больше, чем мальчикам, хотелось посмотреть на старика и парня, которые делают уголь, но уже нырял впереди Генька, и они побежали за ним, боясь отстать.

На корову с медным колокольчиком наткнулись в лесу — пеструю, рыжую, с белым, брюхатую, один рог обломан... Водила длинным хвостом, как веером.

— Ко-ро-ва! — сказали враз обе девочки, очень удивясь.

— Смотри-и!.. И коло-кольчик! — пропел Алеша.

— Это лесникова,— объяснил Федька, а Генька обернулся презрительно:

— Что? Коровы никогда не видали?

Пахло сырой травой, сверкало солнце на толстых листьях, звякал колокольчик.

— Грып! — удовлетворенно сказал вдруг Генька, сорвал розовую сыроежку, разломил и бросил.— Червивая!.. Вали дальше! Сейчас они пойдут!

Брошенный гриб поднял Миша, к нему подскочили девочки и смотрели на первую в их жизни сыроежку во все глаза: каждой хотелось разломить ее и разглядеть червяков.

— Откуда они, червяки? — спросила Таня Мишу.

— А я знаю? — отозвался сурово Миша.

И Генька кричал спереди:

— Вы итить так иди, когда вас взяли!

Вот и лес... Тот лес — настоящий, который видели только издали, который издали — синий... Наконец лес, и дубы нельзя обхватить руками, и вверху только кое-где кусочками, клочочками небо, и так высоко оно, что больно шее.

Здесь девочки уже боялись отставать, здесь они держались как можно ближе к Геньке, который то и дело говорил однообразно, но зато чрезвычайно деловито:

— Грып!.. А вот еще грып!

Каждый гриб он разламывал тут же и червивые бросал и даже на Алешу, наиболее нехозяйственного из всех, действовал заразительно.

Толстые рыжие масленки выпячивали желто-зеленые рыхлые животы; хорошенькие сыроежки в розовых платочках выглядывали из-под палых листьев; аспидные свинухи

со впадиной на спинке сами просились в руки, но Генька с Федькой искали только груздей, которые были хитрее и глубже закапывались в лесной сор.

Алеша, и Миша, и девочки пытались и сами разглядеть где-нибудь груздёвый бугор, но мешало все что-то. То необыкновенно пестрая птица пролетит низко мимо, сядет на дуб и застучит носом.

— Какая это? Вон эта!

— Дятел,— отзовется Генька презрительно.

Или еще заворкует, как голубь, над головою какая-то с пушистым хохлом, сизая с голубизною, большая, совсем чрезвычайная.

— А эта?

— Горлинка,— скажет Федька.

Но Генька вступит начальственно:

— Ан вовсе не горлинка, а витютень!

— Тю-тю-тя,— пытаются повторить девочки, и им смешно.

Но разноцветные глаза Геньки строги и тонкие губы надменны.

— Вы зачем сюда шли? За грыбами?.. Вот и занимайся грыбами, а то домой нечего будет несть.

Раздавил Федька груздёвую семью: как-то нечаянно наступил обеими ногами и раздавил, а Генька это заметил.

— Эх, чертушко!.. Вот уж чертушко растет! — и толкнул он Федьку.

— Чего дерешься? — уставился тот.

— Еще хочешь? На! — ударил его Генька в плечо.

Федька поплевал на руки и сжал кулаки, однако Генька напал на него так стремительно, что сразу сшиб его с ног.

Федька сидел на земле и глядел на него с недоумением больше, чем с обидой, а Генька, отходя, говорил:

— Еще захочешь — еще получишь!

И тощие вихры его торчали, как петуший гребень.

Уже часа три прошло, как вышли из дому ребятишки, и уж проголодались младшие и потихоньку отламывали и жевали хлеб, но мало все-таки болталось нечервивых грибов в их корзинках, а Генька набил уже почти полную кошелку груздями.

И уж устали девочки, и Алеша с Мишей уже поглядывали кругом, нет ли где ручья, чтобы сесть и вволю напить-

ся горстью, а Генька все вел их куда-то дальше, туда, где уж не видно было ни витютней, ни дятлов.

В лесу стало темнее вдруг.

— Что это? Затмение солнца? — пропел Алеша.

— Туча нашла,— ответил Федька.

— Ого! Туча! — крикнул Миша.

И тут же на него Генька свирепо:

— Чего кричишь? Тут тебе дом, что ли?.. Тут лес!

— До-ождь! — пропел Алеша.

Действительно, несколько капель дождя упало.

— Этот пройдет сейчас,— объяснил Генька и приказал: — Расходись туда, ищи!.. Align ногами!

Но стало еще темнее, потом дождь посыпался тяжелый и шумный, как град. Залопотали листья вверху и кругом, сверкнуло вдруг, и тут же гром ударил.

Ребятишки переглянулись испуганно и поглядели на Геньку.

Но тот прикрикнул:

— Чего стали?.. Я сказал — сейчас пройдет, значит, пройдет.

— Намокнем! — испугалась Таня.

— От такого дождя намокнешь?.. Иди знай! Теперь не зима: высохнешь!

Гром еще догрохатывал, а Генька — волосы ершом и в разных глазах презрение и к дождю и к грому — двинулся, ногой разгребая сухолист; ребята за ним.

Только Таня шепнула Рае:

— Я боюсь... а ты?

Но Рая ответила:

— А дождь уж не капает.

И Федька впереди:

— Дождь и вовсе на город подался.

А Алеша наткнулся на стройный подорешник и радостно вскрикнул: «Грып!» — совсем как Генька.

Ребята вышли на полянку: направо и налево по большому дубу, посредине трава, но только вышли, зачастил вдруг снова дождь.

— На-мо-чит! — басом предположила Таня.

— Ого! Вот он! Дождь! — крикнул Миша и, вывернув голову, посмотрел на всех с большим любопытством. (Он любил дождь и вообще всякую воду.)

— Бежим под дуб! — крикнул Федька и вдруг ударился со всех ног к правому дубу.

За ним тут же Алеша, за Алешей обе девочки, а Миша

смотрел, как прикованный, на Геньку преданными черными глазами.

— Куда?.. Куда бежите?..— кричал Генька, сам бросаясь к левому дубу.

Миша бежал за ним самозабвенно, следя за его пятками.

Когда он добежал до дуба, синяя рубашка его почернела от дождя, а между лопаток текло холодное.

— А они там! — сказал он чрезвычайно удивленно и показал Геньке рукой на Федьку и остальных, уже сидевших под своим дубом.

Но Генька сам это видел. Генька крикнул туда командным своим голосом:

— Беги сюда!

— Дожжь! — через поляну отозвался Федька и стал смотреть вверх, ища глазами, где ветки гуще.

— Ну, подожди, черт! — показал брату кулак Генька и снова крикнул: — Тебе говорят, беги сюда!

— Не побе-жим! — отозвался Федька за себя и за всех своих.

Миша видел, что Генька серчал. Не дождь тревожил Геньку, не гром, который опять зарокотал,— зло было на Федьку, да и на всех около него: как это побежали они, не дождавшись, куда побежит он... Миша это видел и смотрел на Геньку вывернутым лицом очень преданно, а о тех четырех — и о сестре своей — сказал возмущенно:

— Их избить надо, чтобы знали!

Дождь как будто поредел, но блеснула розовая молния, так что заломило глаза, и ударил гром над головою, тут же за молнией.

Миша испугался такого сильного грома и посмотрел на Раю под тем дубом: Рая и Таня крестились.

— Крестятся! — прошептал про себя Миша и потом погромче Геньке: — А там уж крестятся! Гы!..

— Все сейчас же беги сюда! — приказал Генька, привстав и сделав из ладоней рупор.

— Не по-бе-гём! — раздельно за всех своих отозвался Федька.

— Ой, и бить буду! — крикнул Генька свирепея.

Дождь между тем переставал, сочились тонкие струйки.

— Как бить будешь?.. Хлыстом?..— пропел тонко Алеша.

Шагов пятнадцать была полянка. Зеленая трава на ней теперь обвисла, тяжелая от капель. Вдруг Миша увидел,

что Генька закатывает штаны до колен; и бормотал при этом Генька:

— А, так?! Я тебе счас, постой!

И вот вскочил он со стиснутыми губами и кинулся по мокрой траве к правому дубу, сжав кулаки, оставив и кошелку свою, и хлыст. Миша рванулся за ним, тоже с кулаками, воображая, как с налету накинется он на Алешу и собьет его с ног.

И они уже добегали, когда осияло их вдруг и ослепило, и тут же раскололось небо с таким грохотом, что оба они упали, едва добежав, упали ничком, и Миша не успел ничего понять, ослепленный и оглушенный.

Первое, что увидел Миша, очнувшись, были мокрые грязные пальцы Генькиной ноги около самых его глаз. Пальцы эти сжались и разжались — значит, Генька был жив.

Потом очень несмело чуть повел глазами Миша подальше и увидел, что Рая лежит ничком, раскинув ноги, и рядом с нею Таня лицом кверху, а глаза закрыты, как мертвая.

На остальных он побоялся глядеть, но перевел глаза с грязных пальцев Генькиных ног выше и заметил, что так же несмело, как он, не совсем раскрытыми глазами на него глядит Генька.

— Гень! — шепнул он.

— А? — отозвался тот тихо.

Холодно было. В ушах шум. Пахло паленым.

Миша уперся руками в грязь и поднял голову. И тут же по привычке вывернул шею так, что стало видно дуб, под которым они недавно сидели с Генькой.

Дуб не стоял почему-то, а лежал — валялся, весь был расшвырян, и не больше как в двух шагах пришелся один его толстый сук.

Миша сразу встал на ноги, удивленный, и Геньке шепнул:

— Гляди!

Вся поляна была завалена сучьями с белой изнанкой неживых уже листьев, точно те два дровосека — старый и молодой — срубили только что дуб.

— Как это? — перебрал губами Миша.

Оглянулся, а на него, как спросонья, бессмысленно глядел Федька, лежавший на спине, а Алешина голова пришлась почему-то под его грибной кошелкой, которую обхватил он руками.

— А-а-а! — испуганно вскрикнул Миша и начал рыдать в голос.

От этого крика его и рыданий очнулся Алеша и вытянул голову из-под кошелки, а за ним девочки открыли глаза. И потом несколько длинных мгновений усиленно, точно узнавая друг друга после долгих лет разлуки, смотрели ребятишки один на другого, и девочки горько разрыдались вслед за Мишей.

Из-под дуба они выбрались, когда перестал уж сыпаться дождик, а до того все глядели на другой дуб, вдруг расшвырявший по поляне все свои сучья.

— Это что? Это молния его так? — спросил Федьку Алеша вполголоса.

— А то кто же еще? — спросил Федька чуть слышно.

— А не гром?.. А почему говорят: громоотводы?..— и совсем уже шепотом: — А больше не будет уж грома?

Еще дергался Миша от подавляемых рыданий, когда изумил его Генька: кашлянув по-взрослому в руку, поднялся Генька и пошел прямо к разбитому толстейшему опенью дуба, где перешагивая, где обходя вздыбившиеся на поляне сучья.

Он подошел и стал. Потом обошел его кругом. Потом увидел Миша, как он подобрал внизу свою кошелку с груздями и хлыст.

Миша осмелел и увидел, что осмелел также Федька, приладил на спину свою кошелку и так же, как Генька, где перешагивая, где обходя, пошел через поляну.

Девочки ухватились за руки Алеши и все пошли туда, к Геньке. Миша сзади всех.

Молния ударила в развилину толстых дубовых суков, в седло дуба, примерно на сажень от земли, и дуб обожжен был слабо — его только раскололо и расшвыряло совершенно таинственно и непонятно.

— А что, че-ерт! — сказал зло Федька, глядя на брата в упор.— Кабы мы к тебе тогда побежали, было́ бы и нам, как тому дубу!

— Было́ бы и нам!— повторил Алеша.

Девочки молчали, молчал и Миша, только таращил глаза и ждал, что он скажет.

Вот он разжал надменные губы.

— Это почему же это «было́ бы»?

— А потому,— сказал Федька.

— Почему это «потому», хотел бы я узнать?

— Потому!.. Мы бы перебежали, а молния бы ударила... Вот всем бы нам и крышка.

— И крышка! — повторил Алеша уже не певуче.— А что?

— Э-их! — вытянул Генька ехидно.— А не могла, что ли, молния в тот дуб вдарить?

— Как это?

— Так, очень просто... Вы бы сюда, а она бы в тот дуб, и всё!

— Что она думает, что ли, молния?! — спросил Алеша.

— А ты чего лезешь! — осерчал на него Генька.— Тоже туда же: ду-ма-ет!.. Я думал, а не то что молния!.. Я думал: в тот дуб вдарит.

— В какой дуб?

— В ваш, вот в какой!.. А потом вижу, в этот полоснуть хочет, я и побежал.

— Врешь! Бить меня бежал! — крикнул Федька.

— Бить? Что я тебя, когда угодно бить не могу?.. Я тебя когда угодно могу!.. Хочешь, тресну?

И Генька ухватил его за горло левой рукой и поднял хлыст.

Назад из лесу шли куда быстрее, чем подымались в лес. Тропинки скользили под ногами. Вода с них сбежала уже, но глина размокла, размякла,— Таня упала и расшибла колено, но не плакала: ведь шли домой, и теперь все уж было ясно и на земле и в небе.

В небе только разорванные кучи облаков толпились и сваливались, и уж просвечивало синее, а на земле так все похорошело от дождя.

И все-таки ведь несут же они грибы, даже немного груздей дал им Генька.

Он идет впереди и держит хлыст, как отточенную саблю.

Вот какая-то большая птица, больше дрозда и с яркими синими крыльями, пролетела низко с куста на куст, прокричав по-вороньи.

— Какая это? — спросили девочки.

— Сойка,— ответил Федька.

— Сойка? — презрительно повторил Генька.— Много ты знаешь!..

Выждал несколько моментов и сказал раздельно:

— Называется сивограч, а совсем не сойка.

Вихры его высохли и стояли опять, как петуший гребень, и губы были сложены надменно.

1927

ЖИВАЯ ВОДА

Поэма

I

Человек человека один на один бьет не вполне уверенно. Он даже способен опасаться: а вдруг тот, кого он бьет, выкинет какую-нибудь штуку?..

Он бьет большей половиной своего существа, а меньшая в это время наблюдает и взвешивает.

Меньшая шепчет: «Довольно!» Бóльшая продолжает бить... Меньшая говорит внятно: «Будет! Брось!» Бóльшая бьет слабее и с выдержкой. Меньшая наконец приказывает: «Брось, тебе говорят!» — и мгновенно становится на место бóльшей, и человек, который бил, уходит от того, кого он бил, внешне с видом правым и задорным, а внутри иногда ему даже бывает стыдно.

Совсем не то толпа. Тонкие чувства ей незнакомы. Толпа, когда кричит, не кричит, а судит; толпа не рассуждает, а приговаривает с двух слов; толпа и не бьет, а казнит, и тот, кого она бьет, знает, что уж больше он не встанет.

И Федор это знал, Федор Титков из станицы Урюпинской, из себя не очень видный и невысокий, но тугой телом и ярко-красный лицом, молодой еще малый, с маленькими глазками, сидящими не в глазных впадинах, а непосредственно сверху крутых щек.

Но он видел, что то же самое знал и другой товарищ, по фамилии Манолáти,— из бессарабских цыган, черный, и все лицо в белых шрамах,— и третий, сапожник из Ахтырки Караванченко, товарищ Семен, человек из себя хлипкий, и грудь впалая, только голос громкий и глаза блестят.

Когда захватили их в этой станице и связали им руки, их спросили коротко:

— Большевики?

Они ответили так же коротко:

— Большевики.

И только Манолати добавил ехидно, вытянув шею:

— Ниче-го, рогали, ни-че-го!.. От побачите: наша будет зверху!

Потом их повели к колодцу с очень высоким журавлем, и не было около них ни крику, ни раздражения, только густая пыль поднялась от тяжелых сапог, и кто чихал, кто кашлял, кто плевал наземь. Иногда просвечивали по сторонам казачки, стоявшие около домов, и кружившиеся мальчишки.

Титков, перед тем как их схватили здесь, на работе, ел селедку и не успел напиться, а потом они были заперты на ночь в сарай.

Очень хотелось пить, и день был жаркий, и когда он подходил к колодцу, он всем своим тугим, набухшим телом чувствовал, что подводят его как раз туда, куда надо, и искал глазами ведро.

Ведро, большое, как бадья, и с мокро блестевшей цепью, стояло как раз на полке колодца, и он не сводил с него глаз.

Подошли, оно было полное до краев: кто-нибудь только что поил здесь лошадь и вытянул его, но лошадь не захотела пить больше.

Кругом колодца песок был сырой и пахло волами. Овод сел на щеку Титкова; он смахнул его, потершись о левое плечо, а сам все смотрел на ведро и сказал, когда остановились, не умоляюще, а просто, однако внятно:

— Братцы, дозвольте напиться!

На это ближний казак, рыжебородый, с синими жилками на носу и с мокрыми косицами из-под фуражки, отозвался не менее просто:

— На-пьесси! — И больно ударил его в ту щеку, с которой только что он стер овода.

И тут же он увидел, что сшибли с ног товарища Семена — он брыкнул обеими ногами об его ногу,— и почему-то мелькнула в глазах черная голова Манолати, мелькнула как будто выше других голов, точно улетела; но только он это заметил, как что-то сзади так хлопнуло его по затылку, что он присел на колени и пробормотал отчетливо:

— Значит, убивают... конец!..

И втянул голову в плечи, вдавил ее туда, как черепаха, а ноги вытянул. Он лег ничком, и песок под его губами пришелся очень мокрый и с сильным запахом лошадиной мочи.

Попытался он было убрать под себя и руки, но они были связаны крепко: изо всех сил дергал, веревка не подалась.

Били решенно и молча, только хекали, серьезно, как свинью колют. Сначала Титков различал, по какому месту больнее, потом били уж сплошь по больному: только стискивал зубы и глотал слюну.

Тонко крикнул товарищ Семен, и потом не стало его слышно. Титков подумал: «Убили!» — и еще глубже втянул голову. Зато Манолати было слышно несколько раз. Он вскрикивал:

— Наше!.. Зверху!.. Будет!.. Будет!.. Зверху!..

Титков успел подумать о нем определенно: «Привычный... Не иначе как сто разов бит!..»

Но вот ударили его по правой руке так, что в голове зашлось от боли, и еще раз ударили по голове так, что он перестал слышать и крики Манолати и все другое.

Очнулся он от холода.

Все тело было мокрое с головы до ног.

Не сразу вспомнил, что с ним такое, но первое, что вспомнил,— колодец. Потом вспомнил казаков и как били. Подумал: «В колодец бросили!» Но тут же поправил себя: «Зачем же колодец им портить? Его потом чистить надо...»

И, приоткрывши глаз, который был выше над землею, увидел мокрый рыжий треснутый носок сапога перед самым лицом и тут же понял чье-то вполне добродушное:

— Эге!.. Этот черт никак ще живой!

И потом еще голос:

— Цыган тоже шевелится!

Только успел подумать, что это кто-то хочет их спасти, как тот самый носок с трещиной ударил его чуть ниже глаза.

Опять подвернул вниз лицо и втянул голову.

— Зверху! — хрипнул около Манолати.

И потом начали молотить сапогами, и на его спину взобрался кто-то очень тяжкий и подскакивал.

Титков подтянул живот, но подкованные каблуки острыми краями сорвали ему кожу с рук... Наконец другая рука, еще не перебитая, хрястнула под каблуком повыше кисти.

Титков лизнул было языком мокрые губы, но тут же перестал что-нибудь чувствовать.

Потом еще раз поливали его ледяной водой из колодца. Он опять открыл глаз — другой заплыл, и не разжимались веки,— и опять увидел он мокрый огромный носок сапога.

Его перевернули. Какая-то борода, точно отцовская, над ним наклонилась, и он прошептал в нее:

— На-пить-ся!

Потом сразу несколько оглушительных голосов:

— Живой!.. Ну не черт?.. Цыган и тот уж подох, а этот живой!..

И несколько мгновений так он лежал и видел над собою чащу бород и красные носы среди нее, и, как будто люди эти совсем другие были, а не те, которые только что трудились над тем, чтобы его убить, он опять прошептал им:

— Напиться... братцы!

Но тут над глазом его взметнулся медленно усталый кулак и разбил ему зубы.

Потом кто-то спросил удивленно и даже горестно:

— Да и где же у него, анафемской силы, печенка?

И как ни пытался зажать Титков свой живот, жесток был в него удар подкованной ногой.

Минут через пять все трое около колодца лежали совершенно неподвижно.

Казаки умылись, прокашлялись, высморкались, как делали они это утром, после сна: кое-кто даже намочил себе волосы и расчесал их металлическим гребешком.

Казачки с ребятишками на руках подошли посмотреть поближе. Солнце склонялось уже к полудню, и подъехала к колодцу подвода, на которую сложили все три тела и повезли версты за четыре от станицы, в балку.

Двое молодых казаков шли около подводы, не садясь. Винтовки поблескивали у них за плечами.

Без винтовок теперь уж не отходили от станицы и за четыре версты: время было беспокойное — восемнадцатый год.

И вот, когда Титков, лежавший на подводе сверху других, открыл свой глаз, он прежде всего почти ослеплен был блеском именно этих двух винтовок за спинами казаков, идущих рядом.

Казаки и винтовки — это припомнилось потом, было, видел и раньше; необыкновенный же блеск этот был нездешний уже...

Но боль раздалась сразу во всем теле, и горло и все внутри горело нестерпимо.

Это как раз он тогда очнулся, когда подходили уж лошади к балке, и еще допытывался он у своей памяти, что с ним такое, и где он, и отчего везде боль, как услышал, один казак говорил другому:



— Вот здесь крутой берег... Так и полетят, как галки.

А другой голос отозвался:

— Здесь, конечно, самый раз...

Не понял Титков этого разговора, и когда его, все еще мокрого, выволакивали с подводы в четыре руки, ругаясь, он застонал всем разбитым телом и глянул единственным глазом, и четыре руки суеверно обмякли, а он брякнулся о землю и застонал громче.

Тогда лошади зафыркали и заболтали головами, а двое с винтовками отскочили шагов на двадцать...

Он слушал и слышал, как один, длинно выругавшись, добавил:

— Ды ты ж, нечистая сила, когда же ты подохнешь?

А когда глянул, увидел, как другой сдернул винтовку, взял на прицел и выстрелил...

Титков даже чуть покачнулся лежа, точно в грудь ему вбили огромный гвоздь... Но тут же, чуть повыше, другой гвоздь вбили: это разрядил по нему патрон второй казак.

Рот у него разжался, чтобы вылить кровь; раза два он дернул головой и стих.

Когда казаки подтащили к откосу уже деревенеющий труп Семена с разбитой головой, они раскачали его, взявши за ноги и за плечи, и бросили молча. Труп цыгана Манолати с подвернутой набок головой они сбросили с подговоркой:

— А ну, там уж твое пускай будет «зверху»!

Над телом же Титкова, подтащив его к бровке оврага, остановились:

— А вдруг он, черт этот...— начал один.

— Живой, думаешь? — сказал другой.

И даже мокрую рубашку ему задрали — посмотреть, как прошли пули. Но, увидавши, что тело все — сплошной синяк и кровоподтек и пули прошли навылет в правую сторону груди, только тряхнули чубами из-под фуражек, и дружно столкнули его вниз, и смотрели, как оно катилось кувырком, цепляясь то ногами, то головой, пока не легло наконец на дно балки около двух других тел.

Было уже к вечеру. Солнце перекатило уже за балку: тень и прохлада.

Три бабы из соседнего хутора спустились в балку за дровами. По дну и кое-где по откосам росли там кусты. Их упорно вырубали каждый год, но не менее упорно они

вырастали снова. У баб были с собой косари и веревки.

Когда наткнулись они на трупы, то в испуге бросились бежать, но, оглядевшись, остановились: подталкивая одна другую, подобрались снова к телам.

Глядели, качали головами и даже кончики головных платков подносили к глазам.

— Не воняют еще? — не веря себе, спросила одна.

— Похоже, свежие,— потянула носом другая.

— А вчерась же я здеся лазила, бабоньки, ничего тут такова не было! — всплеснула руками третья.— Какие же это их злодеи так-то?

Трупы смирно должны лежать. Страшно, когда пытается поднять голову труп. Это хоть кого испугает.

И когда, чуть приоткрыв глаз, повернулась слабо голова Титкова, бабы ахнули и взвизгнули все враз и засверкали по дну балки голыми толстыми икрами ног.

Но не больше как через четверть часа, подбадривая одна другую, подошли в третий раз и услышали шепот:

— Бабочки, дайте напиться...

Маленький ключик пробивался в овраге шагах в двухстах ниже, и бабы знали это, но ведь с ними не было кувшинов и кружек, только косари и веревки...

Кровавую кепку, осмотревшись, заметили они на обрыве — это с головы Семена Караванченко слетела она, когда его тело раскачали и бросили. В этой-то кровавой кепке, чуть ее обмыв, и принесли воды для Титкова и, сгрудившись над ним и держа кепку с водой, как ему удобнее, жадно глядели бабы, как жадно он глотал.

Он все выпил, что они принесли, и вздохнул с трудом, и одинокий глаз его внимательно переходил с одной на другую.

— Какие же это злодеи так тебя, несчастного? — спросила было одна, но он отозвался тем же шепотом, изнутри идущим:

— Ба-бочки... милые... а нельзя ли... еще водички?

Уже совсем смеркалось, когда бабы вынесли его наконец из оврага.

Несколько раз останавливались, усталые, над ним, снова бесчувственным, и говорили одна другой укоряя:

— Эх, потревожили зря человека!.. Помер бы там ночью, и ему бы легче: без мучениев...

Однако вытащили все же, развязали руки и даже отвезли его ночью в больницу, в город, за двенадцать верст.

Везли и укоряли одна другую, что лучше бы было к не-

му и не подходить, и воды бы ему не носить, и из балки не вытаскивать — все равно живого не довезешь, только зря из-за него ночь не спавши и лошадь заморишь.

Если чем и утешали себя бабы, то только тем, что теперь на хуторе мужиков вообще мало, а у них в хозяйствах и совсем нет, и настала их бабья воля: вот хотят этого человека до больницы довезть — и все, возьмут и довезут... Пускай хоть в больнице помрет, все-таки будто бы легче: похоронят люди как надо.

На вопросы, чей такой и кто его так, бабы отвечали в больнице:

— Ну а мы ж это почем же знаем?.. Наша находка, в балке такого нашли...

— А зачем было везть? — сказали в больнице.— Все равно жив не будет — помрет.

— А помрет, на могилу ему веночек привезем,— сказали бабы.— Нам абы к утру домой поспеть, а то коровы недоены останутся...

И бабы вернулись домой вовремя, как раз к свету, а врачи в больнице утром стали отыскивать и отмечать сломанные ребра Титкова.

II

Прошло с месяц.

Был праздник — время свободное...

Три бабы с хутора поехали в город и повезли венок из своих нехитрых цветков на могилу тому, кого они напоили водой и вытащили из оврага.

За месяц этот много случилось всякого, и о трупах в балках знали уж, что они были привезены из станицы.

Летний день огромен, и бабы, выехав в обед, думали обернуть к вечеру; не было дел в городе никаких, только это: постоять над могилкой, положить веночек — и домой.

Лошадей была пара, и лошади были сытые.

И когда дробно стучали копыта и колеса по малоезжему проселку, бабы вспоминали, как они везли парня.

— Рази так увеченных возют, как мы-то везли? — говорила рассудительно одна, постарше, лет сорока, Лукерья, с выцветшими глазами.— Он по-настоящему-то на телеге от одного трясения помереть был должен.

— Да уж я тогда кобылу вожжами стегаю, а сама-то все назад на него гляжу, бабоньки, и так жалкую вся...— говорила Аксинья, помоложе, и черные брови дугой.

— Он у меня, ишь, на коленках головой-то лежал — и так я, не шевелясь, просидела дорогу цельную, аж ноги сомлели,— вставила третья, Ликонида, самая младшая, и в серых глазах тоскливость.— Хуть бы имечко его узнать.

Ехали бабы с венком, а по сторонам от них стелились поля казачьи, а потом пошли мужичьи поля: как раз невдали от хутора шла граница области — начиналась губерния.

Много народу разного прошло недавно по этим полям, и потоптали местами хлеб, и бабы замечали на полях эти следы равнодушно топтавших ног.

Однако солнце светило ласково, и земля пахла парным своим телом — понятно бабам (у земли ли не бабье тело?).

Ястреб кружился вверху точкой — сторожил землю, как и всегда он ее сторожил родящим летом. Кукушка в балочке куковала. Глазастые серые слепни садились на репицы лошадям, и лошади крутили хвостами, требуя, чтобы их согнали вожжой.

На одном хуторе горело недавно, и бабы это знали, видели зарево с неделю назад, а теперь наткнулись глазами в стороне на обгорелые избы и сараи.

— Небось и скотина какая сгорела,— сказала Аксинья, правя.

— Ну а то долго ли,— поддержала Лукерья, подтыкая под себя солому.

А Ликонида, державшая в руках венок, оторвала от него листик, который показался ей лишним, повертела около губ, бросила на дорогу и сказала тоскливо:

— Глу-упые мы, глупые бабы... И куда это собрались? И зачем это едем?..

Однако колокольни города показались уж из-за темного зеленца́ садов, и отозвались ей другие две:

— Все одно уж, теперя недолго.

Как раз кладбище приходилось справа от дороги, когда подъезжали к больнице, стоявшей на отшибе, и бабы говорили одна другой:

— Кабы известно, как его имя, вот бы и кстати — слезть да пойти: авось сторож своих упокойников знать обязан.

Даже и лошадей было оставили, но на кладбище не встретилось глазам никого, а то бы спросили непременно.

И подкатили к больнице часам к двум дня.

Поставили лошадей у ворот, дали им сена охапку, а сероглазая Ликонида не захотела оставить на телеге венка — еще кто подцепит, народу много,— так и пошли трое

по больничному двору и с венком спрашивать, где могила того, которого месяц назад привезли они ночью, и как его имя.

Простые люди о болезнях своих и о болезнях близких своих вспоминают только по праздникам — некогда в будни. И теперь в суете, в толчее на больничном дворе, поросшем травкой между булыжников, бродили три бабы с венком, не зная, у кого спросить о том, что было им нужно.

Попался было в фартуке, толстый, спросили его, но он только буркнул сердито:

— Не видишь разве, я повар?

Попался другой, простоволосый, тоже в фартуке и с вонючим ведром в руке, послушал их, но сказал, что недавно тут, и пошел дальше рысцой.

Женщину во всем белом и с красным крестом спросили, та сейчас же спросила сама:

— А как его фамилия?

— А почем же мы-то знаем, родимая? — удивились бабы.

— А не знаете, чего же ищете?

И унеслась от них частым перебором высоконьких каблучков.

Попалась потом еще старушка — оказалось, кастелянша — и не знала, но привела их к фельдшеру, рыжеусому, без бороды, тоже в белом халате.

Этот удивил их очень.

— Месяц назад умер, говорите?.. Легко вам сказать: месяц назад; а сколько нам искать, посчитайте... Теперь время какое, знаете? Сколь их у нас мрет, подумайте.

— Да ведь этот, наш-то, он ведь убитый,— пробовали напомнить бабы; но сказал фельдшер, тараща глаза:

— Все теперь убитые... Теперь неубитых не бывает.

Однако обещал посмотреть по книгам.

Наведались бабы к лошадям — стояли лошади ничего, жевали сено. Обошли весь мир кругом: и прачечную поглядели, и кухню, и помойную яму (а Ликонида все с венком в руках) и зашли в садик хоть посидеть в холодке, пока фельдшер найдет, что нужно, по книгам.

В садике — маленьком, всего две тощие аллейки — больных несколько сидело на скамейках, покрашенных в желтую краску,— все в халатах белых, только картузы свои. Один лежал на носилках складных и читал газету, что даже осудили бабы, а один сидел в колясочке и глядел вверх, на листья, а руки забинтованы, и на голове белый колпак...

С двумя больными, похоже, родные сидели, и девочка около одного сосала конфетку в розовой бумажке.

Не очень смело и держась вплотную одна к другой, прошлись бабы по одной аллейке, во всех вглядываясь цепкими деревенскими глазами: вот они какие, больные, вот какое на женщине этой платье с тремя оборками, вот какие на девочке коричневые чулочки...

Прошли мимо того, который читал газету, и его внимательно осмотрели, отметив каждая про себя, какие у него тоненькие пальчики, как соломинки,— и как только газету ими держит!— а глаза быстрые... и мимо того, который в кресле сидел, тоже прошли и его оглядели: глаза очень запавшие и большие, а руки привязаны к шее белой лентой... и то еще об этом больном заметили, что стоит его колясочка на самом солнце, а казалось так им, что лучше бы поставить в тень... И пошли дальше.

Однако далеко в маленьком садике уйти было некуда: дошли до оградки зелененькой и назад по тем же аллейкам, мимо девочки с конфеткой, мимо носилок, мимо кресла на колесах.

Платки на головах чуть сдвинули, чтобы головы продувало, а Ликонида венок несла, как корзинку, в сгибе локтя, и вздумалось ей на этот венок поглядеть, когда подходили к коляске, и сказать жалостно:

— Завяли уж и все цветы наши, зря таскаючи...

Но тут больной в колпаке с подвязанными к шее руками вдруг пригляделся к ним встревоженно и проговорил тихо:

— Ба-боч-ки... Это уж не вы ли?..

И сразу остановились бабы.

— Да бабочки ж!..— повторил больной с радостью чрезвычайной, весь просиявши.

— Наш!.. Наш!.. Ей-богу, наш!..— закричали бабы на весь небольшой больничный садик.— Да родной же ты наш!.. А мы-то веночек на твою могилку... вот он... как тогда подреклися...

И до того неожиданно это было, и до того чудесно это было, и до того сладостно это было, и так перевернуло это души, что не устояли бабы на ногах и повалились одна за другой перед коляской на колени, молитвенно и бездумно.

1927

САД

Повесть

I

В последнем классе земледельческого училища Алексей Шевардин проделывал гимнастику с пудовыми гирями, ходил упругой походкой с легким развальцем и, похлопывая себя по объемистой груди, самодовольно говорил: «Широ-о-кая кость!»

Целыми днями он возился в саду, в поле, в оранжерее, к урокам готовился ночью, спал без одеяла и аккуратно купался до первого льда.

Дед Никита, помогавший летом ученикам пускать плуги, жнейки, молотилки, а в остальное время состоявший в училище истопником, искренне любовался Шевардиным.

— Добытчик!.. Хлебороб! Истинное слово, хлебороб,— говорил проникновенно дед, корявый и темный снизу, светлый вверху, глядя на упрямую, круглую, как точеный шар, гладко стриженную голову Шевардина.— Богатеем будешь, правду тебе истинную говорю... Настоящий мериканец!.. Знал я одного такого,— Идмуд Мартыныч звали,— вот деляга был, и-и-и, куды!..

— Зачем мне Америка, дед? — перебивал его Шевардин, по привычке вздергивая крупным, попорченным оспою носом.— Тут у нас своя земля, своих людей ждет.

— Тесно у нас-то, внучек, вот что... Которые настоящие люди, все уходят счастья искать.

Глаза у деда были совсем ясные, детские, и, глядя в эти глаза, сквозь которые двумя острыми воронками прошла, не замутивши их, целая жизнь, Шевардин говорил громко и уверенно:

— Тесно бывает только узеньким, дед, а широкому везде широко... Жизнь — резиновая, всякому по мерке.

— Быть-быть,— сочувственно кивал головою дед.— Ты грамотный, тебе видней.

Шевардин был бобыль и учился на казенный счет. Да-

леко, в Новгород-Северске, у него была тетка, прачка, посылавшая ему по рублю к Рождеству и на Пасху. На эти рубли Шевардин покупал себе простого табака и спичек; других расходов у него не было.

Когда Шевардин одним из лучших окончил училище, начальство выдало ему пятьдесят рублей в пособие до приискания места; но он не искал места.

Вблизи одной небольшой станции на юге, у причта села Татьяновки, снял он фруктовый сад за сорок рублей в лето; местный батюшка выговорил себе три пуда антоновки и сенокос, а он поставил в условие — двадцать рублей уплатить вперед, а двадцать после.

В саду был старый, бурый от непогоды, шалаш. Шевардин в первый же день поправил его, покрыл заново соломой, поставил в нем топчан, собственноручно сбитый из досок, а около выкопал в земле печку.

В тот же день на селе у кузнеца он взял напрокат переделанное из берданки ружье, на неуклюжем широком прикладе которого была выжжена кривыми каракулями замысловатая надпись: «Се гут, се бон, се балабонюка, се Лондо́н, се кузнец Иван Коваль».

А когда он купил в лавочке ковригу хлеба, мешок картофеля и два обливных горшка, бабы, следя за его легкой походкой с развальцем, уже знали, кто он и зачем приехал.

— У попів в аренду за сорок карбованців сад зняв... По хвамилии, кажуть, Шковородин,— из кацапів.

II

Сад, снятый Шевардиным, углом примыкал к селу, углом к реке.

Обнесен он был ветхим плетнем, который Шевардин в первый же день начал поправлять и выравнивать.

Груши в саду были старые, дуплистые, зато хороших сортов, и полносочные были яблони, а посредине, вдоль узкой дорожки, стеной стоял темный вишенник.

Между деревьями в густой траве желтел донник, розовел клевер, яркими кровавыми каплями сверкал дикий мак; с неровных щербатых зубьев плетня во все стороны кудрявыми струями сбегал хмель, а в густом воздухе, точно кипела вода, густо гудели пчелы.

И село и сад лежали в низине над рекою. Выше села по меловой горе взбирался крупный сосновый лес, по другому

берегу стелилось чернолесье, и через реку видны были старые князья-дубы, купающиеся в воде корнями.

Верстах в пяти вниз по реке лежал монастырь, и в море леса чуть заметно белый, он казался кучей яичной скорлупы, прибитой к берегу водою.

Лес тянулся до самого горизонта. На меловых горах он был зеленее и реже, в лощинах темнее и гуще, точно подымались и падали гигантские валы, и вдалеке, где проступали узкие робкие поля, разбивался желтеющими барашками.

И в сравнении с этим лесным простором сжатая в серый комочек Татьяновка казалась беспомощной, маленькой, жалкой и лишней, точно костер из сухой перегнившей соломы, пропитанной миазмами, который кто-то собрал в одно место и приготовился поджечь, чтобы очистить воздух. Но в Татьяновке было 227 дворов и 430 душ мужского пола.

Когда часам к одиннадцати вечера Шевардин улегся в шалаше на куче свежесорванной травы, над ним пронзительно тонко и хищно запели комары, в саду, не смолкая, стрекотали кузнечики, а из леса через реку доносился раскатистый торжествующий хохот филина. От этого хохота становилось жутко, и лаяли на селе разбуженные им собаки.

В незатворенные двери шалаша черными шепчущими тенями толпились деревья. Ночь была месячная, и освещенное, паутинно-легкое небо радостно уходило куда-то от черных, мягких силуэтов, пригвожденных к земле. И хотя у Шевардина мутило в голове от усталости и пьяного запаха травы, уснул он поздно.

III

Утром к нему пришел татьяновский священник о. Мефодий.

В рыжем подряснике и рыжей шляпе, грузный и черный, о. Мефодий принадлежал к разряду людей, говорящих громким, тяжелым, как свинец, басом. Почему-то такие люди склонны много пить водки, много говорить, оглушительно смеяться и хлопать собеседника по колену.

— Доброго здравия, Робинзон Крузе! — крикнул он издали, проступая сквозь чащу вишенника и раздвигая ветки бородавчатой самодельной палкой.

Шевардин подпирал в это время толстым колом зава-

лившийся в сад кусок плетня, и плетень дрожал под его руками, и недовольно шипел, отрываясь, подымаемый с земли вместе с плетнем цепкий хмель.

О. Мефодий уселся на траве, завернув угол подрясника, закурил папиросу и с лениво-веселой улыбкой следил за ловкими движениями Шевардина.

— Ну, вы оригинал, я вам скажу,— не удержался он наконец и захохотал, точно ударил в турецкий барабан.— Как хотите, серчайте или не серчайте, а оригинал!

— В чем оригинальность?— недовольно буркнул Шевардин.— В том, что я сад снял?

— Мало того, что сад снял... Этого, душа моя, мало. Дело в том, что вы хозяин природный, можно сказать — по призванию... Ишь, как ворочает!..

Он помолчал немного и оживленно добавил:

— Знаете что? Великолепный факт, мы вас женим.

— Ладно, рано еще,— отозвался Шевардин.

— Чего рано? Девятнадцать лет есть, и роскошно женим. Вот Петровки пройдут, и до Успенья, этак нежно, возьмем и женим... Что вы, батенька! Да вас попадье показать, она за вас зубами ухватится. Такую вам невесту найдем — роскошь!..

— Чей это лес, батюшка?— перебил Шевардин, кивнув головою в сторону реки.

— За речкой?— Батюшка замолчал, глубоко затянулся и выдохнул:— Графский.

— Весь графский?— обернулся Шевардин.

— За речкой? Сколько глазом видите — и туда, и сюда, и вот сюда, этак нежно, взгляните,— о. Мефодий широко развел рукою,— все графское... По сю сторону только монастырского лесу порядочный клок, а то и это тоже графское.

— Сколько же тут десятин?

Шевардин бросил плетень и выжидающе смотрел на попа серыми встревоженными глазами.

О. Мефодий густо засмеялся.

— Эх вы, Робинзон! Кто же тут на десятины считает? Лесу конца-краю нет, на сорок верст тянется, восемнадцать сел в нем стоят, а вы, этак нежно,— десятины! Тоже хватил мухой по обу́ху!

Шевардин, еще когда шел со станции в Татьяновку, знал, что тут есть имение одного графа, но размеры этого имения представлял смутно. Теперь же оно сразу выросло перед ним в огромную гору, раздавившую в мелкий прах

восемнадцать мелких Татьяновок. Это впечатление чего-то огромного, слепо навалившегося и тяжелого прошло и по его телу, и он инстинктивно передернул плечами, чтобы его сбросить.

А о. Мефодий сидел перед ним широколицый, грузный, улыбающийся, и в промежутках между затяжками говорил:

— Прадед графа, француз, при дворе Екатерины брадобреем был, хорошо брил и дамам шиньоны делал, за что и возвели его в титул, а имение это за женой получил — у Потемкина, говорят, любовницей была,— дело, конечно, темное и, так сказать, покрытое мраком истории... Теперь имение, конечно, в залоге и за крупную сумму заложено — восемьдесят тысяч ежегодно одних процентов платит,— шутка, а? Великолепный факт, а?

Задорно и пряно пахло кашкой, молодыми яблоками; что-то бесформенное, но свежее, зеленое, смеющееся все время стояло перед глазами, ежесекундно меняясь в очертаниях, и от этого зеленого тянуло спокойной и ласковой силой, но Шевардин чувствовал, как с каждым словом сидящего против него грузного попа в него тупо входит обида.

— Самого-то графа мы редко видим,— продолжал о. Мефодий,— за двенадцать лет я его, кажется, только три раза видал,— без него машинка идет. Осенью, пожалуй, поохотиться приедет: только за этим и приезжает — охотиться. Шлейф за ним тянется агромаднейший: актриски, певички, эти самые еще плясавицы... как они?.. балерины, что ли, ну да... И откуда он их набирает!.. И не молодой ведь, не думайте,— лет сорок с хвостиком есть, а не унялся... Дела! Много этот пол денег глотает,— пожалуй, имения бы не хватило, только что майорат имение-то, продавать нельзя...

— Хорошо, а управляет им кто? — перебил Шевардин.

— Управляет?— о. Мефодий весело взглянул на Шевардина, затянулся и не спеша ответил:— Тут целая комедия в одном действии! Управляет кочегар из немцев-колонистов, по фамилии Аурас, а попросту по-русски мы его зовем Саврас, саврас он и есть настоящий. В министры попал почему? Понравился графу, что метко стреляет, бьет без промаху,— ну и убил бобра. Бесконтрольно, можно сказать, всем царством владеет,— за шесть лет трехэтажные дома в Одессе нажил, шутка? А?.. Рукой его не достанешь. Что хочет, то и делает. Мужики у него — пик-

нуть не смей. Ездит на тройках с форейторами, за версту слышно... Черкесов-объездчиков завел — целый Кавказ. Чуть что — они, этак нежно, кинжал в спинку — и готово.

— Позвольте, батюшка, а полиция?

— Полиция?— о. Мефодий хмыкнул.— Полиция вся на графских лошадках ездит. Да и дела тут полиции чуть. Конечно, застали в лесу с поличным, нападение, самозащита,— знаете, как это делается? Одним словом, лексикон известный... Нет, вы скажите, как Аурас царствует? Все законы и божеские и человеческие попирает — цел и невредим... Вы думаете, на него мужики облавы не делали? Был такой грех, вышли из терпения,— ничего, ускользнул живехонек, а сам еще из этого бунт сделал. Мужиков же и секли... С черкесами тоже сражение было. Вот будете идти к Неижмакову, это на том берегу село,— по дороге на просеке там кресты будут, деревянные кресты и камни. Там, знайте, Мамаево сражение было. Над православными, конечно, кресты, а камни над черкесами. Из-за баб дело вышло,— черкесы баб обидели, ну народ и осерчал... Восемь крестов там стоит, а камней или пять или шесть, не помню; лет пять назад дело было.

Упорно смотрящий на рыжую шляпу грузного попа и на его медленно движущиеся губы, Шевардин чувствовал, что входящая в него обида тоже грузная, медленная и рыжая, как желчь. Она густо переливалась по его мышцам и напрягала их, как камни.

— Будете идти, так по этой стороне,— махнул вправо о. Мефодий,— там каменоломня будет: около нее графская псарня, в оной псарне двести штук одних борзых содержится; молочной овсянкой кормят, и коровы для них особые есть. Считайте, самое бедное, по пятачку в день на собаку,— десять рублей в день, триста в месяц, итого три тысячи шестьсот рублей одного собачьего содержания,— четырех причтов доход,— шутка, а?— О. Мефодий ударил Шевардина по колену.— Как приедет сюда граф со шлейфом, по целому быку в день съедают... Вон дворец-то графский, видите, на горе белеется? Можно сказать, замок, гнездо орлиное!

Всмотревшись, Шевардин увидел в лесу белый, с башнями по бокам, двухэтажный дом. К нему вела извилистая, серая среди темных сосен дорога.

— Послушайте, батюшка, что он из себя представляет, этот граф? — медленно спросил Шевардин.

— Как «что представляет»? Графа,— лукаво улыбнулся поп.

— То есть служит где-нибудь или так?

— Насчет службы не знаю, навряд ли, чтобы служил, за границей он больше витает... А может, какую-нибудь должность и имеет для видимости, не знаю, об этом не слыхал. Чего не знаю, того не скажу... А вот, если хотите, для иллюстрации, как говорится, был у нас недавно такой случай, прямо комедия в одном действии...

И длинно, с большими отклонениями, смехом и хлопаньем по колену Шевардина о. Мефодий начал рассказывать, как графская экономия обманула крестьян из Неижмакова: обменяла песчаную косу на заливной луг с озером, обещая вместо придачи вечный попас в лесу и вечный хворост для топки; обещание было дано на словах, а об обмене земли составили акт и запили его водкой.

На другой же год застроили лужок дачами, а в попасе и хворосте отказали.

Уже три года судятся неижмаковцы, судятся упорно, с причитаниями и ссылками на страшный суд и совесть, а экономия над ними смеется.

По мере того как говорил о. Мефодий, все больше темнело лицо Шевардина, и, безволосое, широкоскулое, оно было напряжено в каждой видимой точке, а о. Мефодий весело пыхал папироской, надувая щеки.

Ночью Шевардин видел странный сон. Будто сидел он над обрывом на реке возле сада. Сияла луна, и лес на берегу был черный и далекий, а вода серебрилась гладкими широкими полосами, изъеденными отражениями. И было страшно тихо и на земле и в воде, когда раздались вдруг короткие, частые всплески, точно кто-то бил вальком по воде, и вслед за этим посредине реки, высоко приподняв изжелта-зеленую воду, показалась тупая, огромная рыбья голова, в полреки шириною, посмотрела в обе стороны на лес белесыми бычьими глазами и тяжело ухнула снова в воду.

И в берега от заходившей буграми воды ударились ревущие мутные волны, а по воде закружились подмытые ими с берега старые чаны, гнилые, зеленые от моха,— один, два, три... восемнадцать. Потом потонули чаны, на реке стало тихо, и Шевардин проснулся.

В голове его что-то больно стучало, звенели комары... Воздух был сырой от ночного тумана; из-за реки презрительно и злобно хохотал филин, и выли на селе собаки.

IV

Нужно было обобрать гусениц с деревьев: серыми шарами паутины окутали они китайку, анис, скороспелку; нужно было отпилить сухие сучья, мешавшие хозяйскому глазу Шевардина, нужно было подвязать слабые и низкие ветви, чтобы охранить их от полома во время июльских ветров.

Все это хотелось сделать скорее, и Шевардин решил нанять на селе поденщика.

Когда он рано утром пошел по улице, навстречу ему гнали волов в поле, и из-под них взвивалась тонкая желтая пыль.

С реки дул свежий ветер, и от этого ветра волы точно пробуждались на ходу. Все серые и рослые, как один, они останавливались, встряхивали длиннорогими головами и внимательно смотрели на шагавшего между ними Шевардина.

Где-то вдали подымался высокий журавль колодца; от реки по улице с двумя ведрами на коромысле шла некрасивая, долгоносая молодуха в мокрых чеботах, запачканных речным илом.

В стороне бросилось в глаза большое дворовое место, засеянное рожью. Рожь стояла, чуть-чуть сгибаясь, тонкая и желтая, а колосья ее странно двигались и были коричнево-черны от обсевшего их сплошь жука кузьки. Вид был такой, как будто этих жуков именно и желали видеть, и являлся игривый вопрос: не сеяли ли жуков вместо ржи?

Старик с бабой, ухватившись за длинную веревку, шли вдоль поля и хлопали по колосьям, и там, где они шли, выпрямлялись, жалобно качаясь, помятые, изжеванные былинки, а позади их с земли снова подымались жуки и, недовольно жужжа, занимали прежние места.

Шевардин вспомнил, что дня три назад о. Мефодий за двадцать пять рублей служил молебен для избавления от гнуса.

Целый день ходили по полям, пели и кропили их святой водою.

Вечером пили водку, плясали и дрались. Жук остался.

У одной низенькой калитки стоял парень, босой, без картуза, с черными волосами в скобку.

— А что, хлопец,— подошел к нему Шевардин,— не пойдешь ко мне в сад на поденку?

Парень смотрел добродушными узкими глазами и чесал спину.

— А шо там робить?— спросил он после долгого молчания и отбросил кивком волосы со лба.

— Да что будет нужно, то и будешь работать... Работа легкая,— ответил Шевардин, сверху вниз глядя на парня.

— А шо вы дасте?— недоверчиво спросил парень.

— Тридцать копеек дам.

— И то гроши,— презрительно качнул головою парень и снова потянулся чесать спину, лениво глядя вдоль улицы.

— Сколько ж ты хочешь?

— Сорок копиек дасте?— хитро прищурился парень.

— Да, дам, пожалуй, и сорок,— чуть улыбнулся Шевардин,— только выходи сейчас, с пилой, если есть, и лестницу захвати.

Парень оглядел ботинки Шевардина, черные брюки, куртку с ясными пуговицами и зеленым кантом и отрицательно качнул головой.

— Ну?— спросил Шевардин.

— Нi, не хо́чу,— хмыкнул парень и, медленно повернувшись, пополз во двор.

Волы точно плыли по глубокой, желтой пыли улицы небольшими кучками по два, по три.

Они смотрели большими, ясными глазами из-под белых ресниц, и было видно, что понимали что-то простое и близкое.

Глубоко вросши в землю и полузакрывшись обвисшими серыми крышами, в два ряда стояли избы, точно большие черепахи, раздавленные сказочным конским копытом.

Трубы на избах были широкие, четырехгранные, из плетня, обмазанного глиной, и Шевардин подумал, что вот именно в такие трубы могли влетать и вылетать оборотни, ведьмы, огненные змеи.

И река, дымившаяся внизу, и седой бесконечный лес по сторонам, и лохматые псы, хрипло лающие из-за скрипучих ворот,— все показалось очень знакомым из старых страшных сказок. Точно давным-давно, в незапамятное время, застыла тут жизнь и превратилась в камень, и нельзя было оглядеть широкой сети этих камней, замелькавших перед глазами.

С одного двора рябая девка в красном платочке выгоняла пару волов вдогонку стаду.

Шевардин подошел к ней.

— Слышишь, девка! В сад ко мне на поденку пойдешь?

— У сад? У попивский?— спросила девка.

— Ну, да, в поповский.

— Чого ж не пийты, можно и пийты. А ще кого берете?

— Да больше мне не нужно, одной довольно.

— Эге... так мини нельзя,— заулыбалась девка, отходя в сторону.

— Почему нельзя?— не понял Шевардин.

— Та так... Може, вы и ничего, так люди осудят, проходу не дадуть.

По рябому круглому лицу девки ползала не то виноватая, не то стыдливая улыбка, желваками выступая то около губ, то в углах глаз, а серые волы мотали перед ней длинными, грязными хвостами.

В конце села указали Шевардину пришлого садовника Игната, жившего здесь на квартире у бобылки старухи.

Старуха была согнута, как конская челюсть, с черными руками, с детскими глазами на рубцеватом выжитом лице, с седенькими косичками, выбившимися сзади из-под повойника.

Было что-то с младенчества страшно знакомое в том, как она двигала руками, когда ходила, как шмурыгали по глиняному полу босые, костлявые, опаленные солнцем ноги, в том, что и как она говорила, в том, как ретиво она возилась у печки.

И веяло от нее все той же старой, забытой сказкой: избушкой в лесу, ступой, костяной ногой, заколдованным зельем.

Садовник еще спал в горнице, и старуха пошла его будить, а Шевардин стоял в низкой избе, вдыхал густой, зловонный воздух и читал на стене около образов длинный лист: «Сказание о том, коим святым каковые благодати во исцеление и помощи от бога даны и кому надлежит молиться:

О исцелении зубные болезни — священномученику Антонию.

О исцелении от трясовицы — преподобному Мирону.

О избавлении от винного запоя — мученику Вонифатию.

О обретении украденных вещей и бежавших слуг — св. великомученику Феодору Тирону...»

Славянские буквы, строгие, сухие, как схимницы, сте-

ценно шли одна за другой и сливались в непогрешимые слова:

«О избавлении от блудные страсти — преподобному Мартиниану.

О исцелении от грыжной болезни — великомученику Артемию.

Аще возненавидит муж жену свою — святым мученикам Гурию, Самону и Авиву...»

Очень много для такой убогой и тесной избы было разных икон в углу, икон все старых, темных и мрачных, и какие-то маленькие белые и синие пузырьки укромно выглядывали из-за них, покрытые пылью.

И все кругом было древнее-древнее, чуть не вечное, начиная с трухлых бревенчатых стен и по всем направлениям треснувшей и дымящей печи и кончая лавками, тряпками, кочергами. Точно все тут было святыней, точно всю жизнь тут заботились только о том, чтобы оставленное далекими предками сберечь отдаленным потомкам.

А за узеньким окошком на пыльном дворе бродили куры, и куры бродили так же, как тогда, когда на их ножках вертелись задом и передом таинственные избушки.

Старуха вошла сердитая, с безнадежными жестами крючковатых рук, и много ядовитого добродушия было в ее скрипучем голосе, когда, приседая перед печкой, она пропела:

— Нема чого й ждаты!.. Вин у нас такий невдачный, такий невдачный... Вин позавчора був пьян, учора був пьян, а сегодня з похмилля... Живе, — грошей не платить... А бодай тоби добра не було, да бодай в тебе рыло одпало, що ты такий ледачий!..

Когда Шевардин выходил, то в низкой двери звонко стукнулся головой о косяк.

Уже не желая искать поденщика, он шел по улице обратно в сад, и шаги его были широкие и злые.

Навстречу ему ползли низенькие хатки с низенькими оконцами, низенькие крылечки и плетни; пахло неосевшей тонкой пылью и навозом; мерещилось то сказочное царство, которое усыпил какой-то юморист-волшебник неизвестно когда, неизвестно зачем.

V

Из угла своего сада, примыкающего к реке, Шевардин любил наблюдать широкую воду и отражение в ней облаков и леса.

Опрокинутый в воде лес казался мягче, таинственнее, нежнее; облака быстро-быстро уходили куда-то в глубину, точно толпа испуганных видений, закутанных в широкие белые покрывала.

Так как они исчезали в лесу, то казалось, что лес тихо и уверенно глотал их одно за другим, а когда по воде шла легкая зыбь, казалось, что он самодовольно смеялся.

Улицы села днем были пыльны, жарки и пусты, и пульс татьяновской жизни бился на реке, возле низкого грязного берега и отмели, покрытой зеленой тиной.

Часов в одиннадцать утра к воде на тырло пригоняли скот, и, смотря на ленивые движения волов, Шевардин думал: неужели вся жизнь тут осуждена идти неминуемо воловьим шагом и что иною эту жизнь нельзя представить?

Волы стояли по колена в воде; в стороне от них, под двумя старыми ветлами, сбившись в кучу и спрятав головы, неподвижно и беспомощно гуртились овцы.

Толпа белобрысых мальчуганов купалась на отмели впереди волов; подходили к реке бабы с ведрами и брали воду, шумно отгоняя животных; тут же на большой голой коряге колотили вальками белье.

У берега дальше чернели узенькие челноки рыболовов, и похожие на прозрачные тени великанов, размахивающих руками, развешаны были сушиться на тонких шестах вентеря.

Иногда по реке плыли плоты строевого леса; это монахи строили церковь в селе Пришибе, верстах в пяти от Татьяновки.

Плоты двигались медленно, чуть заметно, идя на буксире у большой монастырской лодки.

В лодке гребли двое мужиков в белых рубахах, а на бревнах сидел крепкий на вид рыжий монах и пел жирным землистым голосом духовные песни. «Ты бо еси, неискусомужняя дево, имела еси во утробе над всеми бо-о-о-га», — выкручивал он из себя негибкие, корявые, как дубовые корни, звуки. Но гребцам было трудно продвигать вперед тяжелый лес с тяжелым монахом, и от озлобления они ругали монаха и просили его замолчать.

На той стороне, на лесной поляне, арендованной у графа зажиточным мужиком Ильею Дудкой, разбита была бахча, и оттуда часто было слышно, как Дудка бьет свою жену.

Жена его бегала с распущенными волосами по бе-

регу, а за ней то с веревкой, то с палкой гонялся Дудка.

Избитая им на берегу, она бросалась в воду и, забравшись по грудь, выла оттуда высоким плачущим голосом: «Ой, ненька моя, вин мене втопить! Ой, лишечко, втопить!..» А он ругался и грозил ей кулаками.

В стороне от сада, влево, чернелся перевоз, и ходила от берега на берег, из Татьяновки в Неижмаково, старая лодка.

Лодка была одна на два берега, и целый день то с той, то с другой стороны неслись и будили реку зычные ленивые крики:

— Эге-гей! А подайте лодку!.. Подай ло-о-дку!..

Иногда кричали долго — час, два.

По утрам на отмелях бегали и свистали поджарые кулички; по вечерам с лесных озер тянулись большие стаи диких уток.

Охота в графских лесах воспрещалась, поэтому дичи водилось много, а около псарни был большой парк, где бродили олени, дикие козы, фазаны, часть которых ежегодно убивалась на больших графских охотах.

Иногда по вечерам слышно было, как выли и лаяли разноголосым концертом двести борзых на графской псарне. Им отвечали воем и лаем татьяновские собаки, этих последних глухо поддерживали собаки из Неижмакова.

Перекличка затягивалась далеко за полночь, и тогда Шевардину казалось, что люди здесь, сбившись в низкие, темные избы, живут и мучаются только затем, чтобы можно было на свободе оглушительно выть по ночам двумстам борзым на графской псарне.

VI

В версте от Татьяновки, в лесу на просеке, притаился Баринов хутор, небольшой хутор в пятнадцать — двадцать дворов, заселенный потомками немногочисленных крепостных первого графа, привезенных им в огромное имение невесты с севера, из столицы. Они жили здесь особняком, их называли «кацапами» и смеялись над тем, как они одеваются и ходят и говорят в нос.

Через Баринов хутор Шевардин проходил как-то утром.

Утро было серенькое, подслеповатое, как близорукие глаза.

На небе все стояли какие-то задумчивые дымчатые об-



лака, чуть заметно развивались, свивались и медленно двигались к горизонту, точно старинные свитки, которые внимательно читал кто-то великий и невидный.

Дорога шла мимо огородов татьяновцев, потом лесом.

На огородах высокими рядами цвели подсолнухи. Ярко-желтые головы их, поднимаясь от земли, искали на небе солнца, но оно пряталось от них за свитками облаков, точно отдыхало на них, больное, и досадливо щурилось вниз.

На лесной опушке белыми пятнами вкрапились в темную зелень молодые тополи, и издали было видно, как безостановочно дрожали их чуткие листья.

Но лес вдоль дороги молчал.

В глубокой бездне его ветвей было много замкнутой тайны, уходящей вдаль.

Там, где сходились синие тени, внизу у корней, казалось, крадучись, шли куда-то тонкие стволы, шли тихо, прячась один за другого, и пропадали в глубине.

Узкая ровная дорога вонзалась в лес острой стрелой и делала в нем гнойную рану; этой раной казался Баринов хутор на поляне.

Дымили избы; пахло навозом. Грязная баба загоняла во двор с улицы грязного поросенка, и бегала за ним, и швыряла в него комьями земли и палками. Поросенок визжал, и визжала баба, а с обеих сторон улицы смотрели на них серые, низкие рубленые избы, похожие на почерневшие от дождей гнилые копны.

Со стороны гумен доносилась песня, пели девки хором, пели теми страшными голосами, в которых есть отслоившаяся боль, и вой ветра в трубе, и режущий скрип ножа по стеклу. И слова песни были какие-то страшные, назойливые и густые:

Дунька капусту поела,
Танька рассол попила,
А Ленка в аптеку побегла,
Отраву себе приняла.

Точно зеленовато-темные серые пятна по белой стене, расползались эти слова в крикливой оболочке напева по тихому воздуху и бороздили его, крупно мелькая перед глазами.

А какой-то худой мужик, босой, в расстегнутой рубахе, с тонкой, длинной палкой в руке шагал, длинноволосый, в конце улицы, и за ним бежали маленькие ребята, надоедливые, как мошкара, и, подпрыгивая, звонко кричали:

— Родя, а Родя! Нá копеечку!..

Родя оборачивался и махал на них палкой. Ребята шумно рассыпались, потом собирались снова, как ласточки за кобчиком, и снова кричали:

— Родя, Родя, нá копеечку!

Когда Шевардин поравнялся с ними, Родя подбежал к нему, улыбающийся и блаженный, и суетливо заговорил:

— Ивану Петрову в Студенок сбегал, копейку дал — раз, кривому Финогену лошадей в ночное отвел, копейку дал — два... Это сколько будет?

— Две будет, — вложил в его ожидающие глаза Шевардин.

— Две будет?.. Да Семижениха теперь в Киев к угодничкам посылает за мужа помолиться, тридцать копеек дает, — это сколько будет?

От хутора до Киева было больше тысячи верст. Тело Роди было длинное и слабое, как речная трава. Жадной толпой стояли ребятишки. С гумен неслась прежняя страшная песня:

Дунька капусту поела,
Танька рассол попила...

И разлегшийся во все стороны под близоруким небом молчал лес, как преступно молчит чужой при виде чужого горя.

VII

Был конец июля. Вечерело.

Батрак и кухарка о. Мефодия скосили и убрали траву в копны, и в саду Шевардина стало просторней и светлее.

Бледно-зеленые пахучие копны домовито и серьезно глядели из-за черных дуплистых стволов, а из-за копен видны были охмеленные плетни, пухлая от пыли дорога, светлая полоса реки и темный фон леса.

Поспевали вишни. Из бурых кожистых листьев они высыпали по утрам любопытными толпами, все новые, яркорубиновые, мягкие на вид, и тонкие ветки низко гнулись под их тяжестью.

Пахло яблоками. Незаметно наливались они, круглые и сочные, на корявых, с виду сухих ветках, а около них по-прежнему густо и тепло гудели пчелы.

И в тон пчелиному гудению около шалаша Шевардина гудел простуженный хриплый голос:

— Ну, не убьем ни качки, так что мы... Ведь. само со-

бой, не ради интереса... Можст, горлинок где захватим, — и то хлеб...

Это писарь, Яков Трофимыч, приглашал Шевардина на охоту.

И по его унылой фигуре с обвисшими, точно намокшими, рыжими усами, и по штиблетам на ногах, и по тому, как прилажена была за его спиной старенькая одностволка, видно было, что он действительно не охотник.

Около него терся исхудалый лягаш, ловил на его брюках мух, ляская зубами, и шумно чесался за ухом задней ногой.

Шевардину было скучно. Утром он получил письмо от одного своего товарища, Терновского, пристроившегося на плантациях большого сахарного завода.

Терновский писал, что у них на заводе бывают вечера, жаркие споры, есть библиотека; что он занимает хорошее место и ждет прибавки жалованья; что у него есть уже невеста, чудная, как все невесты, и свадьба назначена в октябре.

От нахлынувшего на него чужого счастья ему самому захотелось движения, шума, больше всего — движения, чтобы утопить в нем поднявшуюся силу. И он пошел.

Они шли чахлыми крестьянскими полями, по межам, пропитанным тяжелым запахом пыльной полыни и лебеды.

Рожь уже убрали, и на том месте, где она была, жесткой щетиной торчала стерня. По ней вдали черными точками бродили грачи и галки. Плоско было, сонно и глухо. Казалось, что что-то повисло между землей и небом, от чего тяжело было дышать.

Шевардин уже присмотрелся к писарю, к его высокой сутулой фигуре, к надвинутой на глаза серой фуражке, к потертому пиджаку и длинным рукам; и не коробил уже его хрипловатый голос, которым Яков Трофимович жаловался на судьбу:

— Четверо детишек подрастает, надо их учить, а где учить — вопрос... У нас в Татьяновке никакого училища нет, не заслужили, а в Неижмакове, конечно, монастырская школа... Не одобряют их, монахов, говорят, больно бьют, и наука там больше такая, говорят, церковная: больше все ирмосы поют, псалтырь читают...

— А земство?— хмуро перебил Шевардин.

— Земство у нас есть, как же... Есть, есть,— заторопился писарь.— Не занимаются они как-то этим... Живем,

никого не видим, никакого начальства... Только когда становой осенью приедет подати собирать... Земский начальник у нас Кипайтуло, Дмитрий Егорыч, молодой человек, но строгий ужас какой... из военных.

От того, что у писаря был такой глухой и ровный голос, простые слова его казались Шевардину замысловатыми и вязкими.

Рыжий лягаш, взмахивая длинными ушами, как крыльями, неловкими скачками носился по стерне и спугивал грачей и галок.

Над горизонтом проползала туча, и оттого даль казалась темной, близкой, фиолетовой, и, освещенные солнцем, четко рисовались на ней одинокие, блестящие, желтые колосья.

— Вон косячки какие,— остановился на узкой полоске писарь.— Считается это пятнадцать сажен, полдесятины, значит, надел... Ну, какой это надел? С чего тут взяться?

Узкие полоски разбегались вдаль, пересекались и спутывались, точно закружившаяся на одном месте куча чумазых белоголовых ребят, маленьких и плаксивых.

— Темень,— продолжал писарь,— темень несусветная... Вот послезавтра Пантелеймона память, двадцать седьмого числа, и обязательно у кого-нибудь пожар случится, без этого уж нельзя... Строго празднуют, работы никто никакой: «А то він підпале!..» И выдумают, что Пантелеймон их подпалит!.. Ну, конечно, находятся такие, что по злобе кто на кого, или еще там что, и пользуются случаем — поджигают... Посты у нас строго блюдут. У нас в пост бабы грудным ребятам молока не дают: «Хай привыка...» Соску из разной чепухи сделают и суют...

В стороне от них с кочковатой межи поднялся ястреб и полетел, большой и спокойный, над самыми полями.

Писарь неловко вскинул ружье и выстрелил. Ястреб шарахнулся вбок и взмыл кверху.

— Должно, ранил,— присмотрелся из-под руки писарь.— Ружьишко у меня дрянное, легкоранка, и попадешь — не убьешь... А птица к бою крепкая, в нее весь заряд всади, тогда так... А видимость есть, что ранил...

Ястреб уже поднялся так высоко, что казался только черной изгибистой полоской, а писарь все смотрел вверх, и прыгал и встревоженно лаял далеко на стерне его лягаш, потерявший из виду добычу.

Потом пошли по узкой лощине, заросшей мелкими ку-

стами и отведенной под попас. По ней прыгало несколько тощих лошадей со спутанными ногами.

Солнце садилось, и на траву легли оранжево-розовые тона. Видно было, как они холодели, синели, седели... Потом погасло все, что еще блестело, и потух крест, горевший на высокой монастырской колокольне.

Тихо стало, и среди тишины и пустоты загудел вдруг глухой шепот писаря:

— А скажите, пожалуйста, может, вы слыхали,— говорили у нас так, про себя, будто одно высокопоставленное лицо... только вы уж, пожалуйста, этого никому не передавайте, это мы про себя, так... да... будто высокопоставленное лицо сказало, что народ у нас как в загоне живет, что он и пьет и на преступление идет единственно от темноты, что ему если бы образование настоящее, не узнать бы его, только что не дают... Высокопоставленное лицо будто говорило...

Кругом было чистое поле, тихое и сонное, а глухой шепот писаря звучал испуганно и точно откуда-то снизу, из земли; и столько задавленности и страха было в его мигающих глазках и сутулой тонкой фигуре, что Шевардин захохотал.

Он сел на кочку, опустив ружье между коленами, и смех его был нервный и злобный и пугал Якова Трофимыча.

— Что вы?— тихо и встревоженно спрашивал Яков Трофимыч.

А Шевардин хохотал и обидно ругался сквозь смех.

Домой они шли молча.

То, что называется сумерками, более легкое, чем воздух, реяло в воздухе неслышно, сплошно и густо, и предметы под ним становились мягкими и широкими, как крылья ночных птиц.

На стерне осела роса. Меланхолически кричали перепела вдали. С реки чуть заметно пахло цветнем и тиной...

Когда часам к десяти Шевардин пришел в свой сад, он нашел там полный погром.

Около одной скороспелки валялись колья из плетня, обитые яблоки, листья; вишенник был наскоро обобран, и ветки поломаны; в дальних углах слышны были поспешно убегающие шуршащие шаги и сухой треск плетня на перелазах.

VIII

На Пантелеймона в ночь в Татьяновке был пожар и сгорело пять дворов.

Был на пожаре и Шевардин и слышал, как глухим ревом ревели бабы, и видел, как лениво тушили мужики.

На Преображенье в монастыре из года в год велась ярмарка, и он поехал туда с возом грушовки и бели.

В саду оставил рабочего о. Мефодия, и о. Мефодий взял за это двугривенный.

Хороша была дорога в монастырь, сначала над рекою, потом выше, сосновым лесом. Воздух в лесу был застоявшийся, сухой и густо смолистый, точно накадил кто-то. Срипел воз. Маленькая, но серьезная лошаденка деловито везла в гору, выпячивая из кожи каждый мускул, в такт шагу мотая головой и фыркая.

Шевардин шел сзади хозяином и, постукивая палкой по встречавшимся огромным соснам, искал над собой их верхушки и оценивал их глазами.

Он знал уже, что это был графский лес и что его ежегодно все больше и больше сводили, чтобы расплачиваться за жизнь графа за границей. Огромные деревья смотрели на него, как приговоренные к смерти.

С горы в просвет дороги видна была светлая, изгибистая полоса реки, озера, деревни и лес до горизонта.

Солнце садилось сзади за горой, и даль поспешно заволакивалась туманом густо-фиолетовых тонов, и огромная, но бесплотная, она казалась совсем другим миром, точно земля тихо улыбнулась на этом месте и ушла вниз, а в воздухе еще млела ее улыбка.

Монастырь просвечивал сквозь розовые стволы белыми стенами своих гостиниц и главами церквей, и видно было уже, что гнездо, свитое монахами на меловом скате среди леса,— прочное гнездо.

Начался монастырский лес — показались межевые столбы, иконки на поворотах, плетни, заборы.

Крутым спуском, еле сдерживая лошадь, пришлось сползать вниз перед толстой каменной оградой. Навстречу ехал с пустой телегой на дебелой вороной лошади монах и кричал:

— Держи права!.. Тебе говорят, права держи!

А поравнявшись, он любезно расклянялся и спросил:

— Яблочки к нам везете? По запаху-то слышно... Откуда изволите?

Шевардин стал со своим возом за рекою, переехал для этого мост, запруженный народом.

Много было народу и много возов. В балаганах уже бойко торговали краснорядцы, выкрикивали, спорили и ругались.

Гудели колокола. С высоты мелового откоса и колокольни шумливые, круглые звуки сочно и красочно вливались в воздух и один за другим, точно невидные большие птицы, проносились вдаль и тонули там в фиолетовых тонах заката.

На побледневшем над горою небе, между тонкими, четкими соснами, высился строгий силуэт монастырской часовни.

Ниже под ним белела старая меловая церковь, и от нее вниз вела длинная, раскидистая лестница, а дальше, вправо, в лесу чуть виднелся скит.

В реке отражался весь монастырь с огромными домами гостиниц и церквами. Река была спокойна, и спокойны и ясны были отражения, и дышало от них миром и тайною, и вспоминался заколдованный город Китеж, погребенный под водой в те времена, когда незыблемо верили в святость попов, колоколов и церковных оград.

А вокруг огромными серыми гудящими толпами ползал народ, и глаза его были широки и голодны, и покорял его строгий вид белых громад, построенных не им, но на его поте.

Вместе с толпой к монастырю через мост шли и ехали на тележках нищие.

Шевардин никогда не думал, чтобы так много и таких разнообразных нищих могло скопиться на одном месте Но видно было, что к ярмарке многие из них сошлись издалека, и одетые в лохмотья, с выставленными напоказ култышками рук и ног, старые, слепые, ползучие, как гусеницы, воплощенным косноязычным воплем они двигались в толпе — половина толпы.

И нищие давали нищим.

Корявые, засушенные работой бабы развязывали узелки платков и вынимали оттуда грязную медь.

И все вместе рядом, темные и убогие, шли они, как к последнему оплоту, к высоким и богатым каменным домам и к горделиво поднявшимся в небо церковным главам.

И опять Шевардину показалось, что это он видел когда-то очень давно, или слышал, или все это старая сказ-

ка старой няньки, такой же убогой, такой же нищей, такой же слепой.

Воз его с отпряженной лошадью и поднятыми оглоблями стоял в стороне под старыми вязами, но и здесь его нашли монахи и взяли за место.

А следом за ними подошел здоровенный звериного вида бородатый малый, с огромными загорелыми руками, похожими на два висячих самовара, и попросил на хлеб.

— Тебе на хлеб?— озадачился Шевардин.— Да ты быка ручищами убить можешь!

— Жену убил, точно...— мрачно подтвердил бородач.— Быков не пробовал, а жену убил... Теперь по церковному покаянию хожу.

— За что убил?— глухо спросил Шевардин.

— На месте преступления с любовником застал. И ее убил, и любовника убил... Обоих убил!— ровно и четко, точно прочитал молитву, отрубил бородач.

Глаза у него были маленькие, неподвижные и правдивые, как у зверя. И Шевардин почувствовал, что такой мог убить, и дал, чтобы не видеть огромных рук, и босых ног, и звериного взгляда.

Ночь была месячная и теплая; кое-где на берегу пели, и молчал монастырь.

Шевардин лежал на своем возу, упершись глазами в звезды, и чувствовал, как тесно на земле от скопившейся около нищей толпы и как тесно на небе от скопившихся звезд; и теснил его душу недоуменный тупой вопрос: кто это, огромный и могучий, так устроил жизнь, что отвел человеку слишком мало «можно» и слишком много «нельзя», и почему человек этому поверил и возвел это в культ, как святыню?

Утром, на рассвете, колокола зазвонили к заутрене, и зашевелилась толпа.

Над рекой еще ползал синеватый туман, и казалось, что вода дымится и закипает снизу.

Ярморочная площадь запестрела будками, палатками, балаганами и возами, а монастырь за рекою, закутанный около земли в туман и потому казавшийся в воздухе, звонил о бесплотном боге.

Шевардин стоял около своего воза и ждал покупателей.

Они подходили и проходили мимо, все с такими захудалыми лицами, некрасивые, приземистые, как корявые пеньки. Когда они покупали, то долго и исступленно тор-

говались, божились, отходили, подходили снова и снова божились.

Буравили толпу разносчики, и звонкие голоса их высоко, точно испуганные, взвивались из общего гула.

Подъезжали на извозчиках богомольцы из города, все больше сытые купцы и женщины в старомодных шляпках, запыленные и усталые от дальней дороги. Дребезжали бубенчики на сухопарых лошадях, и стучали по мосту копыта.

Толпа раздавалась перед экипажами и вслед им пускала тонкие шпильки:

— Что значит богатым везде лафа: и к богу-то в гости в фаэтонах едут.

Как зыбь на воде, из уст в уста разносилась весть, что ночью увели лошадей у двух неижмаковцев. Кто увел, как всегда, было неизвестно; намекали на приезжих, с которыми неижмаковцы вчера побратались, пили водку и пели.

Чем позднее становилось, тем больше было пьяных и около возов и балаганов, и около монастырских гостиниц; они бродили, буйные и крикливые, и земля смеялась над ними и спихивала их то вправо, то влево. И чисто и широко было вверху, в небе, а толпа, сбившись клином на тесной площади перед монастырем, была узка и грязна, и было что-то жалкое и жуткое в том, как она веселилась.

А за монастырской стеной молились о благоденствии и процветании святых божиих церквей и соединении всех.

Но слова молитв были только колебанием воздуха.

Домой Шевардин ехал тою же дорогой, через монастырский и потом графский лес, но огромные сосны и широкий размах дали внизу уже смотрели на него, как что-то чужое и враждебное, как что-то такое, что упало сверху на жизнь заколдованным кругом и мешало жить.

Смолистый воздух, нагретый и пахучий, был тот же воздух, что и вчера, но в нем было душно.

И маленькая саврасая кляча так же старательно выпячивала из-под изъеденной оводами шкуры свои дряблые мышцы и острые кости, а Шевардину хотелось схватить толстый кол и бить и бить ее до изнеможения и потери сознания, как живое воплощение всех маленьких «можно» и бесконечного «нельзя».

IX

Была молчаливая ночь и светлая, точно глядящая отовсюду.

Шевардину не хотелось спать.

Он вышел из сада, обогнул угол села и пошел вдоль берега.

Берег был обрывистый, сплошь покрытый серебристым лопушником, мокрым от росы. Под ногами Шевардина лопушник ломался и шуршал, хрупкий и сухой, как камыш зимою. Снизу в стены берега узкими и частыми заливами вползла река и цепко держалась так, черная и жуткая вблизи, ярко блестящая от месяца, веселая — на середине.

Ночь выпила из земли и унесла в небо кричащие дневные краски, и оттого земля стала легкой и серой, и даль земли нельзя было отделить от дали неба.

Около лесной опушки, там, где днем были видны развешанные на колья вентеря, похожие на великанов, чернели на воде два узких челнока, на берегу две рыбачьи фигуры.

Шевардин знал их обоих; один — Семен Драный, другой — Онисим Батрак, из Баринова хутора: случалось покупать у них рыбу.

Они ехали вместе, как два речных волка, и при месячном свете они были похожи один на другого, с обвисшими, точно прихлопнутыми сверху, старыми картузами, с венками волос из-под них, долгобородые, как рыбари из Галилеи.

Шевардин остановился и наклонился вниз.

— Никак ловить едете?— спросил он вполголоса и услышал, что для этой ночи сказано было слишком громко: ночь встревоженно подхватила его слова и разнесла их далеко над водою.

Старики обернулись.

— Это кто?.. Садовник, кажись?— присмотрелся к нему Онисим.

— Во-во... Он самый,— отозвался Шевардин.

Река пахнула на него едким запахом тины, застоявшимся в заливе и поднятым челноками.

— Мы — ночные птицы, каждую ночь ездим, нам не в диковинку,— прожужжал снизу старый голос Драного.— А ты чего ходишь?

— Так... Не спится.— бросил вниз Шевардин.

— Не спится, не лежится, и сон не берет?..

— Плохо твое дело... Девку тебе надо,— решил вопрос Онисим.

Корявые руки их, не спеша, сматывали вентеря и складывали их горкой на носу челноков, и видно было, как свесились в воду с бортов белесые сухие сети с кольцами из бересты.

— Без девок-то обойдемся,— отшутился Шевардин.

— Монашком, значит, живешь?! Ишь ты... — Онисим засмеялся.— А ноне и монахи пошли такие — пальца им в рот не клади... В Неижмакове вон целая улица отстроилась,— всё монаховы женки живут... Так и улицу зовут — Монахова, право... А ты — без девок! Без них, видно, и в святые не попадешь...

Смотали последний вентерь.

Онисим потрогал рукой свой челнок и сдвинул его с мелководья. Семен вылил ковшом воду из своего и тоже двинул.

Запах тины плеснул в берег густой и плотной волной и прошел вдаль, тяжелый и острый.

— А что, старики, меня с собой не захватите? — спустился Шевардин вниз, к челнокам.

От веселой реки и лучей месяца и сквозной дали не хотелось идти в темный шалаш.

— Куда захватить-то? Кабы лодки...— глухо прошелестел Семен Драный.

— В челноке не разгуляешься... Тут большая сторожка нужна вдвоем ездить: чуть что — и плыви!— отозвался веселым баском Онисим и хитро добавил: — А табаком угостишь?.. Угостишь, тогда посажу.

— Сколько угодно,— обрадовался Шевардин, доставая табак из кармана.

— У него-то, у Онисима, можно, челнок хозяйский, вместительный, ну, у меня, прямо сказать, душегубка, у меня никаким манером вдвоем нельзя... И течет,— видишь, воду выливал...

Семен взял в руки весло и, высоко подымая ноги, вошел в свою посудину.

— То-то и оно-то, что ты — Драный! Кабы ты настоящий мужик был, а то драный, какой в тебе толк? — весело шутил Онисим, на свету скручивая из бумаги цигарку.

— Тебя не драли, вот ты и не Драный, а тебя бы схватили, ты был бы Драный... Такой случа́й...— безобидно отозвался Семен.

— Это хоть, положим, верно... Что верно, то верно, такой случа́й,— согласился Онисим.

И они поплыли вместе.

Там, где блестящими, кованными из света пятнами упали в воду лучи месяца, плавными толчками двигались вперед легкие и черные, острые челноки.

Лес по бокам реки молчал, река тоже молчала, говорили только носы челноков с водою, тихо, невнятно и влажно и вполголоса, но громко для такой прозрачной ночи говорил Онисим Шевардину:

— Рыба, она ведь тоже не зря по всей реке ходит: она свое место знает,— прямо слободами живет, как люди... Правда истинная, свое место завсегда знает. Мы уж сколько лет рыбачим: здесь сула такая, например, а здесь — другая, на спине полоса темнее. Здесь вот, в этом месте, где дубки — коряги на дне,— здесь сазан; такой тебе сазан несметный, не выловишь! И здоровый, стерва! На крючок попадется, если струмент плохой, слабый значит, все чисто порвет и уйдет... Прямо как боров! За дубками — там вырезуб по верху ходит. Этот ни за что на удочку не попадется, ходит и ходит, мелочью, сенгавками питается... Тоже не кое-как, свое место тоже знает... А если чабака хочешь пымать, этому принаду нужно... Хоть чабаку, хоть сазану, обязательно принаду, без этого не пойдет. Он в глуби, посередке ходит... Вот ежель пустить гарца два жита пареного, так от середки да к берегу полосой, с вечера принадить, а утром прийтить — отбою не будет! Все крючки и лески порвет! Все чисто порвет, приходи, кума, радоваться...

Вода журчала под челноками, и светлые пятна дробились сзади их в длинные искристые цепи.

В свете месяца молчаливо ехавший стороной Драный, серебристый по краям рубахи и картуза, казался таинственным и многодумным и был похож на большую осторожную птицу, готовую ежеминутно нырнуть в воду.

Впереди, издалека видная, светлолистая ветла окунулась с берега в воду, точно припала пить, да так и застыла.

— Вон это место видишь? — кивнул на нее Онисим.— Это место — сомовое, тут омута скрозь, тут сом... Не так давно с кобылу сомов вытаскивали, по пуду зебры одни... Теперь уж таких нет, ну, тоже здоровые попадаются.

— А за что Семена секли? — вдруг громко перебил Шевардин, и свои же собственные слова вдруг показались ему лишними и жесткими для такой тишины и такой бесплотной дали.

— Семена-то? — Онисим обернулся к Семену и крикнул: — Семен! За что тебя драли, спрашивает?

— Ладно, за что...— буркнул сзади Семен.

И все замолчали.

Над водой неровно трепетали, гоняясь за лодкой, то появляясь, то исчезая, маленькие летучие мыши.

Черный лес слева казался только траурной рамкой для залитого лунным светом белого леса справа.

Где-то впереди, должно быть в мелком заливе, слышно было, щекотали в тине носами и тихо крякали дикие утки.

— Драли его за то: не бунтуй,— заговорил, закуривая новую цигарку, Онисим.— Бунтовщик он у нас оказался, пошел черкесов бить... за то его и драли... Тут такое дело было, куды! И черкесы наших побили, и наши черкесов побили, а драли только наших,— каких сослали, какие в острогу сидели. Генерал Грабин приезжал, значит, чтобы усмирять это дело... Приехал он, конечно, с удочками, складные такие, с колечками, в ящике их привез... Охотник до этого был, а у нас река, она известная, рыбная... Нужно только места показать, а к кому оборотиться? Ну, становой меня же знает, постоянно рыбу ему вожу, сичас ко мне... Так я, значит, и остался здрав и невредим.

— То-то и дело... Просто это случай такой,— ввернул Семен.

— Не иначе как случай! До меня уж урядник добирался, да шиша взял. Генерал это мне: «Ну, говорит, рыбак, будет у тебя улов, будет тебе обнова».— «Ладно, говорю, постараемся». Вынесли это для нас ковры на берег, удочки мне дали... Лески богатые были: двадцать пять аршин леска одна. Посмотрел я на грузила,— эх, грузила не по-моему,— дай-ка перевяжу. Перевязал... Глядь, на середке шереспер бултыхнулся... А, думаю, ладно! Насадил и на то самое место как жарну! Как струна леска легла. Генерал так даже присел с удивлением: «Ну, говорит, рыбак! Сроду такого не видал,— как струна леска легла! Когда-то, говорит, рыба будет».— «А рыбу, говорю, ваше превосходительство, тянуть надо». Сразу это взялось и удилище гнет! Ухватились они вместе, генерал с дочерью, тянут-пыхтят, уморились, насилу к берегу подвели: двенадцать фунтов вытянули. Куда его такого девать? В кулек не лезет; в ковер завернули, солдаты понесли, как упокойника... Генерал мне бумажку свернул,— на! Думал я — рубль, ан десять рублей

оказалось... Так я на этом бунту еще и десятку заработал... Дела!

— А будь бы иначе, его бы драли,— опять вставил Семен.

— Это что и говорить! — живо подхватил Онисим.— Потому — урядник на меня зол, а зол, что ему в рыбе не уважаю... Он бы меня не то что драть,— и сейчас бы я в Сибири сидел: сказал бы, зачинщик — и крышка. Нешто нам поверят? Ему поверят, потому что — власть, а мы что?.. Опять же и то сказать: в рыбе уважить! Мы-то за нее нешто денег не плотим? Полтораста рублей мы за реку графу плотим, а за озеро особенно. Как тут уважить? Еле-еле свои деньги выгонишь. А мокнем-то? А ночей-то не спим? Посчитай-ка по совести...

От реки вверх подымались свежие, чуть видные полосы тумана.

Легкие весла челноков враз опускались в воду, и с каждым взмахом их челноки бросали за собою две сажени реки.

— Да вы далеко едете? — спросил Шевардин.

— Ага! Напросился, теперь посиди,— засмеялся Онисим.

— Верст за шесть поедем, за Пришиб. Теперь-то скоро,— прогудел сбоку Семен.

— Рыбы, ее и здесь много, да не возьмешь нипочем,— оглянулся кругом Онисим.— Дубье внизу лежит, такое дубье на дне, прямо столетнее... Сколько сетей об него изорвали,— не возьмешь, как в крепости. Удочками здесь ловить, это так, удочками сколько хочешь... Ну, конечно, не прежние года, это и говорить нечего. Что старики нам говорили, да что теперь стало,— и звания того нет.

Онисим говорил, и хлопали по воде весла.

Прозрачный и легкий, полный лунных лучей воздух, округленный тишиною, проходил через все тело Шевардина и делал его таким же прозрачным, таким же легким, таким же тихим, но сбоку его, как черная, осторожная ночная птица, плыл на узком челноке Семен Драный, и в тишине чудился его замогильный голос, съедающий тишину, и черным пятном на прозрачный воздух ложилась его согнутая спина и съедала прозрачность.

— Как уезжал генерал,— говорил Онисим,— обещал петербургский подарок прислать. Я уж знаю, что это — петербургский подарок: это сто рублей у них называется. Конечно, богатому человеку, что ему сто рублей? Он и тыщу

дает за удовольствие. Вот думаю, поправлюсь; избу покрою, землю сыму,— все честь честью. Месяц жду — нет... Два — нет... Почитай, полгода прошло,— призывает меня становой пристав. «На, говорит, получай, двадцать рублей тебе генерал прислал». Восемьдесят, значит, зажилил. Что ж, наше дело телячье,— пожевал да и в хлев, спорить не станешь... Начальство, его и воля... Восемьдесят рубликов, значит, на его пай пришлось: потрудился, конечно, мужику двадцать передамши... все-таки забота.

Огромная ночь кругом была светла и беззвучна, и Шевардин чувствовал, как в нее, большую, маленькими ядовитыми каплями падали слова мужика.

И капли эти мутили светлую ночь и наполняли ее сверху донизу назойливым рокотом.

А за челноками струились яркие пятна света на черной волне, такие яркие, такие едкие, точно река насмешливо мигала глазами.

X

С вечера падал редкий, но крупный дождь, к ночи он перестал, только небо сплошь обложилось тучами и захлопнуло землю, как крышка гроб.

Слабо качались верхушки яблонь, потом затихли, и черная ночь стала немой.

В шалаше было душно, и Шевардин не спал. Забившись от дождя в шалаш, комары хищно пели над самым ухом, тонкие и острые в широкой темноте, как блестящие иглы. Пахло лежалыми яблоками и черным хлебом.

Шевардин не спал, но то, что наполняло его днем, плыло теперь перед ним, растягиваясь и сплетаясь в бесформенные пестрые полотна.

Он, с детства привыкший к земле, боготворил землю. Великая дающая сила земли покоряла его в каждом зеленом листе, в каждой тонкой былинке. Он по целым часам мог наблюдать, как завивались около сучьев гибкие усики хмеля, точно осмысленно тянулись к ним издалека, снизу, и как, укрепившись на одном сучке, тонкая, зеленая веточка шла выше и усики ее искали новый сучок.

Он понимал и мягкий зеленый мох, робко гнездящийся на старых стволах, там, где извивы коры глубоки, как людские морщины.

И черная, свежевспаханная земля не была для него беззвучной: она была как бледное лицо, полное притаив-

шейся скрытой работы и вот-вот готовое блеснуть яркою мыслью в наряде красивых слов.

И, любя землю, он привык думать, что земля любит его.

Но то, что он видел здесь, было для него новым и обидным: огромная земля кругом смотрела на него враждебно и тупо, как тяжелая каменная голова с надменной складкой бровей. Земля эта была высокая, чужая и пустая, а в провалах ее, где-то в глубоких и узких трещинах, кишмя кишели слепые люди, хотели подняться, подставляя друг другу плечи, но обрывались и падали, и были темны и нищи.

Огромной и пустой землей владел, неизвестно почему, один человек, такой же, как те люди внизу, но не любивший земли и живущий где-то вдали. И там, где он не знал, что делать с огромной землею, в глубоких трещинах от тесноты задыхались люди.

А в это время тот, кто владел огромной землею, окутывал тела дорогих продажных женщин мачтовыми соснами своего майората и приезжал сюда только послушать, как трубят охотничьи рога в его лесах.

Над ухом Шевардина неотступно и громко, как в охотничьи рога, трубили комары, точно хотели напеть: так и будет, и будет, и будет.

В волны идущей снизу сырой плесени вливался запах гнилых яблок и черного хлеба. Черная ночь за дверью была немой.

Шевардин не представлял себе графа как человека: он был для него безличной тяжестью, давившей плечи, как ненужный, но тяжелый мешок, который хочется сбросить наземь, чтобы свободно вздохнуть. Он был для него тяжестью, давившей звуки, дождем, смывавшим краски, стеною, заслонившей даль.

Шевардин вспомнил небо, каким оно было перед вечером, насыщенное синим до черноты, с седыми кудрями вверху. Седые кудри были седые брови над хмурым, огромным, пугающим глазом,— и веселые краски поспешно сбежали с земли, и побледнели и стихли звуки, и заплакала даль.

Таким был граф.

И весь он был маленький и далекий, весь он был надоедливо ненужный, как гуденье комаров, весь он был незаметный, как точка на белой стене, и всем кругом он мешал жить.

Шевардин любил землю, как полнозвучную красоту, как великую мощь, как воплощенную сказку; любил землю

днем, любил ночью; любил ее в ризе солнечных лучей и под фатой дождя; любил ее с раннего детства, когда проводил в лесу под Новгород-Северском лето за летом.

То, что он ясно помнил из детства, было сплошное море цветущей черемухи, белой, точно морская пена, пахучей и полной сверху донизу свистов и раскатов: это соловьи пели под ее сводами.

Обвивая сетями белые кусты, он сам загонял на заре и ловил серых большеглазых певунов и помнил, какие трепещущие были у них сердца, когда он вынимал их из сети.

Но он не мог тогда отделить соловьев от черемухи: это не они пели в лесу, это лес был живой и пел. Здесь же, за рекою, огромный сорокаверстный лес был нем, точно заколдованный,— чужой лес, лес одного человека и слишком большой для одного.

На горе, вправо от сада, за каменной стеной легла экономия графа, а от нее во все стороны, как паутинные нити, бежали через лес проволоки телефона, и ездили черкесы-объездчики по узким лесным дорогам, зоркие и хищные, как пауки, выслеживающие добычу.

И то, как издавна сложилась здесь жизнь,— был произвол; и то, чем и как держалась здесь жизнь,— было рабство.

Шевардин чувствовал что-то знакомое, по мере того как думал: к его широким мышцам подплывало что-то горячее и густое, как желчь, и они набухали и искали дела.

Но когда перед ним, рожденные ночью, замелькали новые, яркие тени, в немой темноте вдруг раздался сухой треск, короткий и слабый.

После него опять долгая, точно испугавшаяся тишина, и новый, осторожный треск ближе.

Шевардин поднялся.

«Вор!» — мелькнула догадка.

Он остановился напряженный, хотел было взять ружье, но взял толстую палку и, когда тихо отворял двери шалаша, услыхал, как в дальнем углу сада кто-то осторожно тряс яблоню: шумели листья, и яблоки гулко падали на землю, как резиновые мячи.

Шевардин вгляделся в черную ночь и ничего не увидел: только вверху на мглистом небе реяли кроны деревьев.

Ощупью, путаясь в ветвях, он прокрался до ближайшего вишенника, обогнул его, наткнулся на дуплистую грушу

и пополз по земле в сторону звуков. Земля была влажная, липкая и пахла травою.

Яблоки все падали часто и шумно, ближе и ближе. Кто-то стрясал их по-хозяйски со всех сторон дерева, и слышно было, как они хрустели на земле под чьими-то ногами.

За шумом тот, кто хозяйничал в саду, не слыхал, как подполз Шевардин, и, когда чиркнула и зажглась за его спиной спичка, он обернулся и застыл на месте, испуганно мигая глазами.

Он был молодой мужик, остролицый, низенький, с кустистой бородкой, с мешком в левой руке. Несколько мгновений он стоял ошеломленный, потом светлым пятном в темноте кинулся к плетню, натыкаясь на ветки.

Не отдавая себе отчета, зачем это нужно, Шевардин бросился за ним.

Он настиг его около самого плетня, и они боролись там, тяжело дышащие и безмолвные, как два зверя.

Шевардин чувствовал, как потом и грязью пахло от мужика и какие узкие, жесткие были у него руки, точно куски деревянных брусьев, сбитые на локтях, и слышал, как стучали у него зубы и хрипела грудь.

И когда Шевардин свалил его, более сильный, он услышал глухой голос, идущий снизу:

— Пусти!

Так много было в этом голосе глубокого провала, что он мгновенно разжал пальцы, впившиеся в костлявые плечи, и встал над ним, высокий и ожидающий.

Вор тоже встал.

Глаза Шевардина освоились с темнотой и теперь почти ясно различали белеющую перед ним рубаху мужика и ловили в воздухе его дыхание, тяжелое и густое.

— Здоровый какой!— с одышкой заговорил мужик.— А говорили — из господ... Из господ, а здоровый... Ешь, должно, вдосталь?

Нескладные слова, глухие и скрипучие, ударились в Шевардина и упали наземь; а вдогонку за ними поползли другие слова, такие же ненужные:

— Теперь, значит, на съезжую меня поведешь?.. Сделай милость, веди на съезжую... Все одно мне,— веди на съезжую... Хоть веди, хоть не веди, все одно...

— Да ты что, пьян, что ли? — крикнул на него Шевардин.

— Пьянай?..— Мужик помолчал, точно выдавливал от-

куда-то из себя горечь, и в словах его почудился тупой смех.— Только того и пьянай — жена помирает... Только и пьянства — двое суток помирает, а значит, того... и не могит... Ни помереть, ни жисти нет... кричит!

— Больна, что ль? — тихо спросил Шевардин.

— Мочь надорвала! — с силой ответил мужик.— Значит, тяжело подняла по хозяйству, ну, надорвала... Сама, понимаешь, тяжелая была,— руки мужика метнулись около живота,— а тут ешшо чижельство подняла — и враз... Как легла, так и лежит... Пластом... Душа с телом расстается.

— Черт куцый! — закричал Шевардин.— Тут акушерку искать нужно, а он в сад лезет... В сад-то зачем лез?

— Это самое... ты постой,— вдруг ухватил его за руку мужик.— Что на меня кричать? И так я убитай... Кушерки-то, ее у нас нету... Значит, бабка есть, а кушерки нету... Бабка, это, наша, значит, Севастьяниха, возьми ей чего-то и дай... Ну, хуже ей стало, жене-то: кровью зачало рвать... Кричьмя кричит, живот во какой, а пользы нет... Кушерка, она есть, только в Студенке она, на заводе, такая, значит, казенная, от земства, а то тут, в Неижмакове, господа на свежий воздух приезжают, ешшо кушерка есть, немка она, значит, вольная... К той я ездил в Студено́к, вчера ешшо ездил, ну, говорят, занятая, а сюда пошел до немки, эта не хочет. К ней, конечно, с деньгами надо, а денег-то, их нету...

— А яблоки тут при чем? — не понял Шевардин.

— Это самое...— заспешил мужик,— продал бы я их, яблоки-то, да кушерку бы привез.

— Дуб еловый! Да ты бы занял у кого-нибудь рубль, только и всего,— не выдержал Шевардин.

— Просил я... не дает никто... И хозяйство-то у меня плохое, и опять же баба, она... родит, грят, не тоскуй... баба, грят, такое дело... родит, боле ничего... значит, время подошло. А время-то, оно не подошло, а это, значит, от чижельства.

— Ты откуда сам? — спросил Шевардин.

— Я-то? Я с Баринова... Чичибубин Леонтий... Так кличут по-деревенски Чичибубин, а фамилия Марков... Крайняя изба наша... Как из лесу выйтить, так счас изба... так, немудрая изба... Бобыли мы.

Шевардин не видел его глаз, но представлял их ясно: серые, испуганные, далеко ушедшие в глазницы, как затравленные звери в глубину нор; и представлял он, какие копошились за ними мысли, тяжелые и острые, как камни,

которые никак нельзя было вложить в бездушную ткань слов: они прорывались и падали, и не выходили из головы, а оставались все там, за узкими стенками черепа, и резали и давили мозг.

И это представление его испугало.

— Так вот что,— заговорил он, волнуясь.— Дам я тебе рубль, беги за этой немкой в Неижмаково и скажи, что не может она не ехать, когда человек умирает... Так и скажи. Должна она приехать, когда иначе человек умрет, понял... На рубль.

Чичибубин сначала не понял, но потом, когда серебряная монета, белевшая в темноте, коснулась его пальцев, он как-то вскинулся неловко и жалко упал в ноги.

Было темно и жутко кругом.

Черное небо стиснуло в сонных объятиях черную землю и застыло, а там, где оно припало к земле, было холодно и мокро от его непересохших недавних слез.

На коленях, тыкаясь сухими губами в широкую руку Шевардина, ползал перед ним Чичибубин и что-то хотел сказать, но выходило мычание.

Шевардин выдернул руку и отшатнулся. Страшно было, что так дешево стоила человеческая жизнь в таком огромном богатом мире, что ночь кругом была так черна, а людское горе так бело и ярко, что в этом мычании внизу было так много задавленных звуков, тяжелых, как земля.

Через минуту черная ночь растворила в себе бежавшего из села Чичибубина, но звуки его шмурыгающих шагов долго еще бороздили тишину, пока не обесцветились пространством и потонули в нем.

Шевардин собрал сбитые яблоки в брошенный мужиком мешок и отнес в шалаш. Яблоки оказались шафраном, еще зеленым и кислым, и вряд ли кто купил бы их у Чичибубина хоть за полтинник.

Представилось, как бежит теперь он один в темноте с крепко зажатым в руке рублем, спотыкается, перескакивает через ухабы, остановится отдохнуть немного и опять побежит. Впереди его, в Неижмакове,— акушерка-немка, позади, в Баринове, при смерти жена, и между этими двумя полюсами бьется его небойкая мысль, то обгоняет его, то отстает, то бежит с ним рядом. Где-то далеко за границей — граф, где-то еще дальше, высоко над звездами бог, в которого твердо верит Чичибубин как в высшую справедливость. Но от божьих звезд спрятана земля под крышею туч, и в темноте не видно справедливости, не видно неспра-

ведливости, не видно даже земли, как не видно неба,— видны только собственные шаги, короткие, спотыкающиеся и частые, и виден клочок дороги под этими шагами.

«А что, если никакой жены нет и все это только придумано? И Чичибубина никакого нет, а есть какой-нибудь Печкин, и все это только для того, чтобы разжалобить?» — подумал вдруг Шевардин.

Эта случайная мысль больно хлестнула мозг, но когда Шевардин схоронил ее в себе, на смену явилась новая, такая же острая: «А что, если с рублем в руке Чичибубин теперь вприпрыжку бежит домой и давится в темноте от смеха?»

И эта мысль быстро застыдилась своего ядовитого облика и пропала. Но за ними, как жабы из мокрой канавы, выползали откуда-то со дна души все новые и новые, такие же нелепые и обидные мысли. И, кружась в голове, они разгоняли там сон и, выливаясь наружу, разгоняли темноту ночи.

Шевардин лег было в шалаше, но не мог заснуть. Опять запахло плесенью и черным хлебом, опять загудели комары, казавшиеся большими и звонкими от тишины ночи.

Шевардин встал, запер шалаш, пробрался между знакомыми деревьями сада, перелез через плетень и утонул в темноте так же, как Чичибубин, только тот шел в Неижмаково, этот — в Бариново.

Дорогу он помнил: обогнуть на отлете стоящую кузницу, миновать огороды татьяновцев и потом все время лесом, полторы-две версты до поляны.

Кузница маячила справа, как большой черный гроб, шаги были громки, точно ковали вперебой два молота, и с огородов похоронно пахло спелой коноплею.

Когда Шевардин шел обратно, напоенная туманом темнота уже сползала с земли, обнажая ближние деревья леса, и небо начинало белеть сквозь черные сучья, и тихо заговорили листья.

А в мозгу Шевардина, точно выжженная, прочно сидела изба Чичибубина, узкая изба с кривою печью, с лавками вдоль стен, с зеленой лампадкой перед горою темных образов.

Изба была крайняя, без двора, с незапертой дверью, и когда Шевардин входил в нее, там на одной лавке справа

спала старуха, а прямо, на другой лавке, головой к образам, жена Чичибубина, с белыми поднятыми ногами, сведенными в коленях, и с обнаженным высоким животом.

Когда Шевардин вошел, только собака где-то за окном залилась лаем, но в избе не шелохнулась старуха; а у больной крупно дрожала нижняя челюсть завалившегося лица, и слышно было мычание и стук зубов.

Глаза ее были закрыты, прядь желтых волос припала ко лбу, руки были сжаты на груди, ниже сердца, и все тело дергалось в судорогах так сильно, что скрипела лавка...

Великое таинство смерти совершилось при Шевардине. Испуганными глазами он видел, как начало, икая, вытягиваться тело; сначала ноги разжались и легли ровно, одна около другой, так что живот стал еще белее, круглее и выше, потом отошли полукругом с груди и упали руки; в голове еще теплилась жизнь и борьба,— она слабо дергалась, как голова зарезанной птицы,— недолго, и застыла, прижавшись подбородком к шее.

Шевардин положил ей на лоб свою руку,— лоб был холодный и легкий на ощупь.

То, что было живым и думавшим человеком, стало трупом.

Зеленым, насмешливым глазом мигала у образов лампадка, и спала старуха, тихо и задумчиво свистя во сне...

На бледном небе рассвета лес казался одним тысячеруким, и что-то глядело сквозь него мутно, спросонья, точно старалось осмыслить жизнь и не могло.

Шаги Шевардина были тверды и звучны, как камни.

Он шел по майорату и знал это, и знал, что майорат задавил Чичибубина и раздавил вот теперь его жену.

И из-под кусков разорванных, боязливых, летучих мыслей выдвигалась в нем одна круглая и цельная мысль: «Если граф, холостой и бездетный, умрет, то майората не будет».

XI

Бывают в середине августа такие солнечные дни, когда блеску слишком много в воздухе и когда земля точно осыпана осколками битого стекла, и блестят листья и стволы деревьев, блестит трава, отсвечивает дорога.

Земля вблизи становится шире и ярче, даль задумчивей и бледнее.

В такие дни хочется смотреть и слушать и хочется ду-

мать о чем-нибудь далеком и сказочном, как хрустальные дворцы.

В саду Шевардина в один из таких дней все было похоже на ярко освещенную церковь, и светлые, желтые ветки яблонь были как свечи.

Откуда-то из лесу налетели в сад молодые синицы, желтогрудые, синекрылые, с черными головками. Они бойко шныряли в переплете ветвей, и целый день с утра слышно было их звонкое «пинь-пинь-пинь» и стук носов о крепкую кору.

Начинали падать листья, начинали украдкой, по одному, точно блюли очередь.

В ясном небе бесплотно отражалась набело вымытая солнцем юная и безгрешная земля, и небо отражалось в земле, как в выпуклом зеркале.

Неясными звуками был полон воздух: это звенели кузнечики где-то около на подсыхающих, тонких, как струны, травах, и что-то еще далеко было слышно, чего нельзя было понять, но без чего было бы скучно.

В этот день мимо сада провезли на скрипучей телеге татьяновца Ивана Ткача, убитого в Студенке, на лесопилке графа.

Ткач лежал на ярко-желтой соломе темным пятном, а около него шагали его брат Михайло и студенецкий мужик, нанятый перевезти тело.

Убило его взрывом котла в машине, и этот взрыв для него, пильщика, был громом с ясного неба, размозжившим ему череп.

В селе не знали о смерти Ткача.

На реке, под садом, его жена с женой Михайла мочили лен. Снопы льна были навалены на берегу, светлые и рыхлые, и обе бабы, высоко подоткнув юбки, носили их в реку, вмазывали в грязь, чтобы не унесло течением, и звонко смеялись.

В реку гляделся, лениво щурясь, спокойный лес, и вместе с бабами смеялся берег, заросший белым лопушником, смеялся игриво, заразительно, как бойкий белобрысый мальчуган с торчащими во все стороны вихрами.

Его точно держал кто-то снизу, а он все хотел подняться и посмотреть вдаль, но не мог и, смеясь, боролся с кем-то узкими, как руки, песчаными косами, и волнистый, точно задыхающийся от смеха и борьбы, вырывался и катился дальше, пока не пропадал за поворотом.

Когда показался на дороге медленный воз, он тоже сме-

ялся: вспыхивающие улыбки ползали по рубахам шагавших мужиков, по желтой соломе, чалой гриве лошади и блестевшим ободьям.

Но на возу на соломе лежал плач.

Он был только не виден издали, а сила его, сжатого на узкой телеге, была так же велика, как сила смеха, разлитого кругом.

И когда он подъехал ближе, потускнел берег и глубже в воду ушло отражение леса.

Шевардин слышал, как заплакали, взвизгнув, женщины, сперва жена Ивана Ткача, потом другая. Это были страшные и резкие звуки, высокие и колючие, как кусты безлистого боярышника на лесной опушке.

Вдова вцепилась руками в тело Ивана и застыла на нем, безостановочно воя, и короткая клетчатая юбка мелко вздрагивала над ее ногами, покрытыми грязью.

И, потупившись, стояли около мужики, и, задумчиво опустив мягкую голову, шевелила ушами лошадь.

Плач так же многолик, как и смех.

С тихих улиц и издалека с берега, спеша, сходились татьяновцы, подходя, крестились, соболезнующе качали головами, и новые бабы начинали вторить старым.

Когда подошел к возу Шевардин, он увидел, как жена Ткача, безглазая от слез и красная, точно слезы сожгли всю кожу на ее лице, тыкалась в толпу грязными руками и причитала:

— Симнадцать копиек зосталось, миленькие!.. Пятеро диток малых... симнадцать копиек... Маты моя ридна!..

От грязных рук на красном лице ее легли грязные полосы; слезы смывали их в мелкие ручьи, и от этого крик ее казался еще более ползучим и земным.

Все стоящие кругом знали, что у нее пятеро детей и что в домашнем обиходе ее никак не может быть больше семнадцати копеек, но оттого, что она сейчас перед телом мужа вспомнила это, пятеро детей завертелись выпукло перед глазами, пятеро чумазых маленьких ребят, поднявших возню из-за семнадцати копеек, и это было похоже на суеверное заклинание, от которого ползут мурашки.

А с телеги искривленным окровавленным лицом и пробитым черепом ядовито подмигивал в небо труп Ивана Ткача.

Неспокойный он был и после смерти, и сжатые ноздри его узкого носа, казалось, подозрительно принюхивались к воздуху, оттопыренное вспухшее правое ухо ловило зву-

ки, а глаза встревоженно смотрели сквозь опущенные веки, не грозит ли им что-нибудь спереди, сверху, с боков.

Молодой рыжий Михайло говорил в стороне апостольски старому деду:

— Должны яке-небудь пособые дать... семейству, стало быть... яке-небудь...

А дед отрицательно мотал головой и тягуче доказывал, что пособия граф не даст:

— Як десять, чи двенадцать год тому задавило Трохима Бузыря, та Грицка Крейду, тих, шо графский камень билы, далы шо-небудь? Эге!.. А як графски собаки Панасову дивчину заилы, далы шо-небудь? То ж то и е...

У старика был застывший, обращенный внутрь взгляд, но по желтизне его бороды от сухих губ вниз ползла ядовитая усмешка, такая же, как на мертвом лице Ивана, и один лежащий, другой готовый лечь, они были — одно.

Хмурый студенецкий мужик дернул лошадь. Вздрогнуло на телеге тело Ткача, блеснули, покатившись, ободья колес, телега заскрипела.

Кучка людей около воза двинулась за ним, как одно большое тело.

Подходили новые люди, и толпа росла, и все та же вдовья жалоба пестро, крикливо колыхалась над нею, как флаг при ветре:

— Симнадцать копиек зосталось, ридные мои-и!! Пятеро диток малых!.. Ненька моя мила, шо ж я, сиротына, маю з ними робиты!..

Сад на горе молчал, и далекий и чуткий молчал за ним неподвижный, белый берег.

XII

Недели через полторы разнесся слух, что приедет граф на охоту.

Кругом все ожило и заспешило.

Шевардин не один раз видел, как по дороге мимо сада на тройке с колокольчиками мчался куда-то Аурас, жиденький немец с острой лисьей мордочкой и длинным носом.

Около него неизменно галопировали два черкеса в высоких шапках и красных чекменях: один старый, чернобородый, другой молодой, верткий.

И встречавшиеся им мужики низко снимали шапки и, окутанные облаком пыли, молчаливо смотрели им вслед.

С берега реки было видно, как у белого дома на горе

шевелились люди; говорили, что там мыли окна, выносили проветривать мебель, белили галерею.

О. Мефодий откуда-то узнал, что граф хочет жениться на еврейке и с нею вместе приедет, как с невестой. Взбудораженный этим слухом, он явился в сад к Шевардину сияющий, как только что сошедший с иконы.

— Великолепный факт! — хитро щурясь, говорил он.— Ведь это значит, что нужно ее к православию приводить, ибо на еврейках по закону жениться нельзя. Теперь, этак нежно, раскинем мозгом: приглашать для наставления этой самой еврейки кого-нибудь со стороны неловко — разболтает; из монастыря архимандрита взять — тоже огласка, да и зачем такую персону, ведь это — форма одна,— разве для них важно. Выходит, что такой поп, как я, например, самое благое дело... Могила!.. И запугать можно, и наградить можно... А вы как бы думали? Могила! И стоило бы дешево... А? Если бы, например, десятинок пять — десять леску. Сосновенького...

— Губа не дура,— заметил Шевардин.

— И очень просто... Что ему пять — десять десятин. Это с сорока-то верст лесу! Все равно, что для нас с вами полтинник... А пять — десять десятин — это того, с какой стороны на это ни посмотри... Великолепный факт, а?

Почему-то дальше пяти — десяти десятин фантазия попа не шла, но за эти пять — десять он держался крепко и даже назначил им приблизительное место — рядом с монастырской землей.

И, говоря об этом, он все смеялся, и курил, и хлопал Шевардина по колену, и слова его казались Шевардину противными и рыжими, как его подрясник.

Он знал, что о. Мефодий только что перед этим написал своим прихожанам жалобу на Аураса. Немец отвел одному из конторщиков место для постройки дома как раз около татьяновского кладбища, а для надворных построек приказал занять часть кладбища. Рабочие заняли. Пришли в субботу бабы на могилы, а могил никаких нет,— есть ямы, навален лес, и ветхая ограда кладбища отодвинута внутрь сажен на десять.

Бабы подняли вой, но мужики не бунтовали, помня черкесов и солдат, а собрались к о. Мефодию писать прошение и целый день галдели и писали.

Это случилось недавно, после ярмарки, но о. Мефодий теперь уже молчал о прошении, и оно лежало у него в шкатулке, до выяснения вопроса о графской невесте.

Яблоки поспевали. За грушовкой и белью сняли анис, казачку, малиновку, царский налив. Погода стояла теплая, сухая, тихая, и пряный аромат так и реял в воздухе.

Помогать Шевардину пришел и писарь Яков Трофимыч с тремя малышами, которых негде было учить. Малыши в розовых рубашках сначала дичились, держались кучкой и смотрели исподлобья, но потом бойко шныряли в кустах, звонко кричали и перебрасывались гнилушками.

А в это время сам Яков Трофимыч глухо и тихо, точно заговорщик, гудел около Шевардина:

— Вот приедет, постреляет и уедет... только и всего... И зачем же, скажите пожалуйста,— между нами,— ему такая масса земли дадена, а другие около него в загоне живут?

Шевардину казалось, что это назойливо жужжит около большая серая муха, и он отмахивался от писаря рукой.

Яблок собрали много. Ими завален был шалаш, и большая, желто-розовая куча, свежая и лоснящаяся на солнце, тяжело лежала на сене около самого входа.

Толстая баба, матушка о. Мефодия, приходила покупать эту кучу, долго рылась в ней, пробовала вкус, ломала яблоки жесткими руками, чтобы узнать, годятся ли в мочку, давала за пять пудов два рубля и, когда Шевардин засмеялся только в ответ, обиженная ушла.

Яков Трофимыч подмигивал ей вслед и, отвернувшись и спрятавшись за куст, беззвучно хихикал.

XIII

Приехал граф 30 августа днем.

Так как со станции до белого дома на горе дорога шла мимо села, то о. Мефодий встречал его,— чего не бывало в прошлые годы,— в толпе празднично одетых татьяновцев и с крестом в руках.

День был облачный, даль серая.

Накануне прошел дождь, и потому дорога была твердая и влажная, и четко было видно, как приближались звонкие кони.

Впереди мчались черкесы — шесть человек, треугольником, как летят журавли. Красивы были они, все в новых ярких епанчах, крыльями вившихся сзади, в высоких папахах, загорелые, хищные, чуть пригнувшиеся к лукам седел на сухих дыбившихся лошадях.

За ними в легком плетеном тюльбери, запряженном парой, ехали Аурас и становой пристав. Аурас что-то говорил

приставу, чего не было слышно за звоном колокольчиков и бубенцов, и размахивал тощими руками. Усатый круглый пристав, соглашаясь, покачивал головой.

За тюльбери выплывало ландо с четверкой лошадей. Лошади все, как одна, редкой караковой масти, пристяжные с крутым отгибом голов, с плавным переводом ног. Кучер широкий и рыжий, в желтом атласе на груди безрукавки, с павлиньими перьями на голове. В ландо сидел граф — толстый, с отвисшими щеками, с ленивым взглядом из-под серой пуховой шляпы. Около него невеста — смуглая, большеглазая, похожая на итальянских певиц.

Мелькнули, и уже сзади, новые экипажи: лошадиные морды, огненные птицы на дамских шляпках, кучера, звонкие бубенцы, лоснящиеся крылья колясок, колеса, слитые в сплошные круги.

О. Мефодий широко благословлял едущих сверкавшим крестом; обнаженные головы толпы около него молчаливо кланялись в пояс.

Промчались,— и в воздухе остался только запах женских духов и конского пота, а головы татьяновцев все были притянуты туда, где в повороте дороги один за другим тонули и скрывались экипажи.

Шевардин стоял тут же около самой дороги, глубоко заложив руки в карман форменной тужурки. Из-под копыт и колес в его сторону летели влажные комья грязи, а в широкие извивы мозга глубоко вонзились четырехугольные щеки графа, сощуренные глаза, мягкая шляпа, завязанные узлами хвосты лошадей, подушки из голубого бархата, белый платочек в чьей-то белой руке...

— Черненькую-то, евреечку, видели? — спросил о. Мефодий, когда шли они вместе к саду, один красный и радостный, другой сжавшийся и бледный. — Подцепил ведь, а? Понимает толк по этой части.

Глаза у попа были влажные, наваксенные, и зубы скалились, точно жевал он сырое мясо.

— Это итальянка, а не еврейка, — бросил в ответ Шевардин.

— Толкуйте мне — итальянка! — шутливо отбросил поп.

Уверенный тон о. Мефодия понемногу взвинчивал Шевардина, и хотелось его разозлить и выбить из седла иллюзий.

— Не видать вам, отче, ваших нелепых десятин, как своих ушей. Итальянцы — католики и к православию не приводятся, — медленно, точно баржу потянул, начал он.

— Ладно, ладно... Толкуйте мне, — легонько толкнул его в бок о. Мефодий.

— Итальянок я, отче, видел на сцене, в опере, — придумал Шевардин. — Эта — точнейшая копия, и прическа такая же, и глаза тарелкой,— все на своем месте. А кто вам писал насчет еврейки — плохо слышал, а если сам сообразил, — голова у него очень уж туга.

— Да ведь брюнетка! — встревожился поп.

— То-то я и говорю, что голова туга: кроме еврейки, туда ни одна брюнетка не входит. Раз брюнетка, значит, и готово... Вы-то сами разве блондин? Целиком из Ефиопии.

— Я — особое дело, я лицо духовное, — немного обиделся поп.

— Ну, так вот-с. И введет он ее в русские дебри без всякого срама и с какой угодно оглаской, и не только вы ему, а и великолепнейший архимандрит ваш ему не нужен... Так-то, отче!

— Ври, ври... Мели, Емеля... — слабо защищался поп.

— Думаете вы, о чем они говорят теперь... — продолжал Шевардин. — Она ему певучим контральто: «Какой смешной поп с крестом на дорогу вышел и мужиков еще с собой привел!» А он ей: «Милая моя! Это что! То ли еще быть может. Стоит только намек сделать — не то что Христа, — далеко Христос, — отца родного продаст за десятину, а приготовь ему осинку с веревкой в лесу — небось не повесится по-иудину: осину срубит, обтешет и продаст за трешницу, а веревку домой принесет, дворнягу привяжет... Например, кладбище тут есть... Хочешь, мы его распашем и спаржи посадим. Только приказать — готово».

О. Мефодий остановился и недоумело посмотрел на Шевардина.

— Это вы что... Это ты как, в шутку или всурьез? — пробормотал он.

Глаза у него стали круглые и встревоженные, и смешливые морщинки под ними растянулись, как перчатки на пальцах.

— Я насчет шуток плох, отче, — остановился и Шевардин. — Да шутить тут и нечего. Больно уж вы привыкли на кривых ездить: чуть правду скажешь, — сейчас и шутка.

— Так это ты мне? Мне, духовному лицу, слова такие... — задохнулся о. Мефодий.

— Тебе, тебе, отче, — вскинул Шевардин на попа свой крупный подбородок. — Тебе, тебе!

— Ага! Так... Так ты вот какой!.. Ага, ладно!

О. Мефодий хрипел, и глаза у него были неподвижные и красные.

— И агакать тут нечего, отче... Свинью куликом не назовешь, — такое дело.

— Свинью-с!

О. Мефодий оглянулся кругом, точно ища помощи, и увидел шагах в двадцати от себя писаря Якова Трофимыча. С маленьким сынишкой на руках тот тихо шел сзади, выставив в их сторону ухо.

— Слышишь! Яков Трофимов! Будь свидетель!.. Будь свидетель, как разбойник священника ругает! — закричал ему о. Мефодий.

Но писарь, согнувшись и семеня ногами, быстро-быстро двинулся вправо, потом кустами, гумнами, и исчез. И было слышно, как на руках его, должно быть испуганный бегством отца, кричал ребенок.

— Нонче же у пристава будешь, слышишь? — прошипел поп и пошел от Шевардина влево, а пройдя шагов пять, обернулся и крикнул:— Слышишь?

— А платить тебе двадцать рублей кто будет? Неужто расстанешься? — насмешливо крикнул ему вдогонку Шевардин.

Поп не ответил, но по тому, как он шел, размахивая широкими рукавами подрясника, видно было, что из седла иллюзий он выбит, и видно было, как что-то упрямое и злое вползло под его высокую шляпу и пыжилось, и ерошилось там, и кололо мозг.

А Шевардину стало весело, и широко шагалось.

XIV

До поздней ночи он сидел и писал письмо Терновскому, писал карандашом, на простом листке бумаги, перед свечкой, около которой вились и падали с обожженными крыльями мелкие ночные бабочки.

«Мне опротивели,— писал Шевардин,— и сад, и Татьяновки на том берегу и на этом, и сорок верст графского майората, в котором дохнут от голода мужики, и то, что тут все молчит: и лес, и река и люди. И это меня душит, и хочется мне рявкнуть во весь голос с какой-нибудь высокой точки, ну хоть с монастырской часовни на горе: «Да сколько же еще вы будете молчать? Вы — колокол миллионнопудовый! Каким рычагом можно раскачать и хватить в борта вашим языком так, чтобы дрогнул около воз-

дух?..» И воздух здесь какой-то сонный: за все время, пока я здесь, не было ни порядочного ветра, ни грозы... Молчит. Молчат дни, молчат ночи. Точно змеи зимой, оцепенели и молчат в голове мысли. И почему это все на меня так сильно действует? Или развинтились нервы? Может быть, и не нервы, а просто силу свою хочется приложить к чему-то большому, какой-то огромной динамо-машине так, чтобы далеко кругом завертелись колеса и пошел трезвон. Молчит проклятый воздух, и я никак не могу понять, почему молчу я, если молчит воздух.

Если что случится со мной и ты услышишь — не удивляйся; знай только, что мне опротивело до предела. Должен быть такой предел, дальше которого нельзя терпеть, иначе сам себе опротивеешь.

И знай, что здесь чудесный воздух, и на реку вечером наглядеться нельзя, и земля здесь — ложись и целуй, только земля эта — майорат, река — майорат, воздух — майорат. Это проклятое слово сквозит здесь на каждом шагу, на каждом шагу перед тобой столб с надписью: «Езда воспрещается», «Ходьба воспрещается», «Стрельба воспрещается».

Майорат давит со всех сторон. Он, как огромное чудовище, съевшее все, что вдали, все, что вблизи, и от него тесно плечам, как в клетке. Он стал для меня живым, этот майорат... Скажи мне, что я не сошел с ума, или я сам себе не поверю.

По ночам я перестал почти спать. По ночам виднее небо и не видно земли, и майората не видно. Тогда я представляю, какая красивая и полная смысла жизнь могла бы быть здесь, около меня, если бы не было майората.

Теперь, когда я пишу, именно такая ночь: того, что на земле, не видно, и можно по-своему переставлять предметы и по-своему населять даль. И я переставляю и населяю. Около меня пахнут яблони, и я вспоминаю, что в Татьяновке нет ни одного деревца в то время, когда вокруг богатейшая почва для сада. Вся земля вокруг могла бы быть одним роскошным садом, могла бы, но этого нет. Нет школ, нет больниц, нет красоты, — одно сплошное «нет», вся жизнь одно живое отрицание, воплощенное в кусок черного хлеба, из которого можно ковать ядра для пушек.

Представляешь ли ты картину жизни, когда человек живет так, что хуже нельзя придумать? Люди могли бы быть действительно царями земли, а здесь они узки, как иголки, выжатые под прессом майората и тесно воткнутые в жалкие клочки земли, когда вокруг огромный простор — чужой,

преступно чужой, потому что на нем один и совершенно лишний для жизни человек.

Трудящийся достоин пропитания; не знаю, кем это сказано и когда, но сказано именно то, что нужно. Мне хочется, чтобы трудящийся был достоин, и мне кажется, что я это сделаю.

Сегодня днем приехал сюда граф на охоту...»

Шевардин остановился, прочитал, что написал, и медленно разорвал весь лист сверху донизу. Потом вытащил из шалаша ружье, начинил патрон крупной заячьей дробью и зарядил.

Ружье отсырело около курка и покрылось тонкой ржавчиной. Шевардин вытер его паклей и снова отнес в шалаш.

Около свечки внизу нападала груда сереньких, как сумерки, легких и мягких, как паутина, ночных мотыльков, и Шевардин долго сидел над ними в изучающей позе. Мотыльки все были вредные для растений и слабые и мелкие, еле заметные, но жаль их было, и больно было смотреть, как они ползали недоумевающие, растерянные, ошеломленные светом, не умеющие шевелить остатками своих тонких крыльев, не в силах подняться и лететь туда, где в черном просторе пахли яблоки.

И, чтобы не видеть, как они летят на огонь и падают, обжигаясь, Шевардин потушил свечку.

XV

С тяжелых осокорей падали легкие листья. Попав на свободу, они долго вились и плавали в воздухе, потом теплыми яркими пятнами бессильно ложились на землю.

Воздух стал прозрачный и звонкий, и сквозь все небо любопытно смотрели купы сосен на самом горизонте. То, что было далеко, стало близким, и робко зазвучало то, что молчало.

Шевардин, начиная с утра, целый день ходил по дорогам около монастыря и графского дома. За плечами его висело ружье с замысловатой надписью на ложе: «Се гут, се бон, се балабонюка, се Лондóн, се кузнец Иван Коваль». В своей куртке с зелеными кантами он был похож на лесника, высматривающего порубки.

Сад он бросил на произвол татьяновцев, впрочем, последний сбор был уже продан по мелочам, а оставались не снятыми только крепкие сорта — антоновка, титовка, шафран, и то всего несколько яблонь.

Походка его была та же легкая походка с развальцем, и неоформившиеся плечи стали еще шире за лето и распирали по швам тесную куртку, но угловатое лицо было бледно.

Шевардин решил застрелить графа в первый же момент, как его увидел.

Ему представлялась старуха прачка, тетка из Новгород-Северска, вечно мокрая, усталая, аккуратно трогательная со своими рублями на Пасху и Рождество; представлялось ее сморщенное лицо и потрескавшиеся от воды руки и то, как она заохает и заголосит, когда услышит, что он убил человека.

И в то же время было неоспоримо, это ей не от кого услышать, что между ним и ею нет никаких звеньев, и он один.

Он прошел спокойным деловым шагом сначала к графскому дому, потом к монастырю, потом перешел через мост и обогнул Неижмаково.

К полудню он был на мельнице Буднякова. Мельница стояла в лесу на глубоком и чистом заливе. Из темной воды около плотины торчали черные, кривые зубья старых свай, и какие-то древние коряги протянули над самой водой узловатые лапы.

Видно было, какая бездонная и холодная была вода, и неподвижная и густая внизу, как слизь. В стороне стучала мельница, но тут, в омуте, было тихо.

Шевардин представил, что можно броситься и утонуть в этой воде и лежать там внизу, в холодной слизи, между черными сваями и лапами коряг. Представил и отвернулся. Вырос перед ним безликий страх и заглянул в душу белыми глазами, такими белыми, тусклыми, как у мертвеца.

С плотины видно было, как колеса мельницы, огромные, медлительные и слепые, в мелкие брызги дробили рыдающую и бьющуюся внизу воду, и она быстро-быстро,— не успевали следить глаза,— падала с черных, скользких от моха решеток в виде мелкой, искристой, сверкающей, плачущей сети.

На мельнице над ковшами белым туманом стояла мучная пыль, и все мужики, возившиеся там, и пузатая баба в красном платке, и синеглазый мальчонка в широких пестрядинных портах были сплошь седые от этой пыли.

А на плотине в стороне стоял воз с понурой гнедой клячей, которая усиленно думала о чем-то своем, лошадином, думала упорно и бесконечно, не замечая ни черных свай

справа, ни ревущих огромных колес слева, ни носящейся везде мучной пыли.

Шевардин смотрел и чувствовал, что кругом разлито что-то жестокое, по всем направлениям вошедшее в жизнь, как тонкие стекла, и один конец такого стекла вонзился в мозг гнедой клячи, другой острый конец такого же стекла торчит в его мозгу, и перед этой жестокостью они — одно.

Вспоминались огромные, как два самовара, коричневые руки того, который убил жену с любовником, и правдивый взгляд его маленьких глаз. В нем тоже стояла эта жестокость, резала пополам его душу, поэтому он убил.

Откуда-то из глубины, навстречу тому миру, который был перед ним, развертывался, как свиток, мир другой, его собственный, в котором земля была старая, измятая, застывшая, полумертвая, ждавшая толчка извне, чтобы ожить.

Эта земля — были люди кругом: синеглазый мальчонка, пузатая баба, бородатые мужики, седые от мучной пыли, и та страшная толпа на монастырской площади.

Толчок для той земли, что была в нем, был еще мертв в его руках, но должен был ожить, чтобы оживить землю.

Шевардин еще накануне узнал, что граф каждый день выезжает кататься со своей невестой и сам правит лошадью. И ему все чудилось, что вот он едет по дороге.

Красивой рысью бежит караковая лошадь с подвязанным хвостом, и мягко подпрыгивают колеса. Крылья коляски блестят, и блестит чеканная сбруя. От мягких толчков дороги у графа, как студень, дрожат жирные щеки, а в ее большие жадные глаза медленно вливается сорок верст майората.

А майората тогда уже не будет, так как граф холост.

С мельницы заметили Шевардина, и медленной косолапой походкой ног в широких белых сапогах к нему подошел мельник Будняков. Вид у него был степенный и мохнатый, как у жука, упавшего на спину в пыль и после долгих усилий поднявшегося снова на ноги.

— Поохотиться, мабуть, прійшлы? — Он приподнял немного козырек белого картуза и снова шлепнул его на брови.

— Да, да... вот именно, поохотиться, — не спеша ответил Шевардин, затягиваясь папиросой.

Гнедая кляча в стороне чуть шевельнула повисшими ушами, точно прислушиваясь, потом опять задумалась о чем-то своем, лошадином.

— Так-с! — протянул мельник и лениво сдвинул картуз

совсем на глаза.— Тільки шо охотиться здесь нема дозволения... значит, воспрещено,— добавил он, мигая из-под козырька обмученными ресницами.

— Я знаю, что у вас все воспрещено,— криво усмехнулся Шевардин.— На ногах-то ходить вам еще не воспрещают? Может, на головах приказано?

Вид у мельника, приземистого и плотного, был по-прежнему основательный и невозмутимый.

— Ни, насчет сего не було приказу,— качнул он головой.— Ходимо, як треба... А вы видкиля сами?

— Тятьяновский,— смеясь глазами, ответил Шевардин.

Он смотрел на мельника и думал, что тот говорит с ним теперь спокойно, как с равным, даже как с высшим, а завтра, быть может, будет смотреть на него, как на преступника, с недосягаемой высоты правого человека.

Подъехал на паре волов еще длинный воз с зерном, и мельник повернулся к возу и пошел от Шевардина тою же обидной медленной походкой, какой шел к нему от мельницы, и было в нем много спокойной земли и того глубокого омута, из которого подымались черные зубы свай.

Шевардин пошел вдоль берега по узенькой, лукаво прячущейся дорожке, между кустами все еще зеленой лозы.

И снова, как тогда, в первый день, почувствовал, что на его плечи навалилась огромная тяжесть и, придавив его к земле, сползла вниз.

Представлялся зал суда. Масса народу. Говорит защита, говорит прокурор...

Его осудят, он знал, но на том же языке говорят сосны сибирской тайги, на каком они говорят здесь, в лесу графа.

Тропинка вывела на дорогу в Татьяновку из Пришиба, дорогу, черную от глубокого лесного чернозема и мерцающую в гладко накатанных колеях.

По бокам ее стояли матерые дубы и осокори, и с их тяжелых, широких сучьев падали вниз легкие листья. И в том, как падали листья, была тайна, и чудился страх с белыми глазами.

А сквозь прозрачный и звонкий воздух, любопытно вытянув тонкие шеи, смотрели далекие сосны с горизонта; и где-то хрипел, пролетая, вальдшнеп, где-то далеко, но было слышно.

И в тонкий запах вянущих листьев врывались густые смолистые волны: это дышал на меловых холмах сосновый лес.

XVI

Он встретил графа вечером, когда на дорогу от лесной стены сзади упала сплошная тень, а в лесной стене спереди зазолотели верхушки и синей паутиной обвились стволы.

Он сидел над дорогой в широких кустах липняка и думал уже, что сегодня граф не поедет или поехал в другую сторону. Но издалека донесся топот верховых — несколько пар копыт били по твердой земле с перебоями рысью, и слышен был за ними мягкий катящийся шум.

Шевардин вздрогнул. То, что было далеким, вдруг стало близким, что было в бесплотных мыслях внутри, готовилось найти себе место вне.

И почему-то опять на миг вспомнились тетка из Новгород-Северска и Никита с ясными глазами, сквозь которые прошла целая жизнь.

Снятое с плеч ружье дрожало в руках. Из-за густого липняка Шевардина не было видно, но он видел.

На повороте взметнулись между безлистыми сучьями две черные черкесские шапки, под ними малиновые чекмени и остроухие лошадиные морды. И оглушительно, как ночной гром, около самых ушей Шевардина стал падать их мерный топот.

Издалека наборные белые бляхи уздечек, поясов и рукояток кинжалов кололи глаза.

Это были те же самые двое: один старый, чернобородый, другой молодой, верткий. Хищно склонившись над седлами, рысью они промчались мимо в десяти шагах и уже зарябили слева по дороге, а из мглистых сучьев справа, на смену им, тупым пятном закачалась красивая пригнутая голова караковой лошади... ближе... ближе...

Шевардин чувствовал, как что-то широкое и мягкое с каждым толчком сердца подымалось к его голове, раздвигало стенки черепа и быстро ухало книзу. И два желтеньких листка перед ним вздрагивали на желтых черешках, и тонкие черешки казались широкими, как ставни, и мешали смотреть.

Граф был в темно-синей венгерке, в конфедератке, делавшей его похожим на жокея, и в серых перчатках. Он правил, натянув вожжи. Она рядом с ним в широкополой низкой шляпе, пышноволосая и смуглая, улыбалась и щурилась от быстрого бега.

Легкая коляска была узка, и сидели они тесно, точно сливались.

Оставалось несколько шагов...

Шевардин отчетливо самому себе сказал: «Конец!», продвинул вперед ружье и взял мушку.

Тут же мелькнуло в нем кроткое: «Пусть живет!», но припомнились слова писаря об ястребе: «Птица к бою крепкая, в нее весь заряд всади, тогда так...»

Качнулась над острием мушки отвисшая, как у старого дога, левая щека графа, и незаметно для самого себя, точно боясь потерять что-то, Шевардин поспешно нажал курок...

Оглушенный выстрелом и отброшенный назад отдачей, Шевардин не сразу пришел в себя, а когда пришел, то увидел, как взбесившаяся испуганная лошадь мчала коляску; из коляски полувыпало и тащилось головой вниз по земле толстое тело графа; светлая кофточка его невесты была окровавлена сзади, и шляпа сбита, и, подняв руки, она закричала так же страшно, как страшно трепалась по земле, подпрыгивая на кочках, обнаженная голова графа. Черкесы мчались с боков, стараясь поймать упавшие вожжи и остановить лошадь.

Несколько секунд они были видны так все, потом пропали за поворотом, и слышны были только бешеный топот и страшные крики.

Тогда Шевардин поднялся и, бросив в кустах патронташ и ружье, побежал вдоль леса в Татьяновку.

Так же стояли на его пути столетние осокори и суховерхие дубы и роняли листья.

Заряд заячьей дроби почти целиком вошел в голову графа и ранил в лицо его невесту.

Когда на следующий день сознавшегося Шевардина вели через Татьяновку в город, в тюрьму, на него вышло смотреть все село.

Сеял мелкий дождь, и земля размокла и осклизла, как сырая кожа.

В сетке дождя беспросветно-плакучими казались избы с обвисшими тяжелыми очеретяными крышами; но лица толпы были оживлены.

Длинный и тощий Иван Коваль громко жаловался о. Мефодию, что пропало теперь вплоть до суда его ружье, а о. Мефодий с силой перебивал:

— Что твое ружье! Тут двадцать рублей за разбойником пропало, и то молчи... Да и что двадцать рублей. У меня, может, через него целое состояние пропало, а не двадцать рублей.

Со стороны огородов бежала, накрываясь платком от дождя и подбирая юбки, та самая девка, которая боялась идти к Шевардину на поденку. На бегу она останавливалась и звонко кричала кому-то сзади:

— Фроська-а! Та иды-бо швыдче! Ведуть того, шо грахва убыв!

А в одном тусклом окне за кисейной занавеской Шевардин узнал чуть видное полузакрытое лицо писаря, но, когда он вгляделся в него, оно пропало, как ползучий призрак.

От дождя горизонт сделался смутен и узок; реяли плоские крыши, чернели трубы, дымились деревья; желтели кругом человечьи лица.

Шевардин двигался по скользкой дороге, опустошенный и спокойный; загадкой казалось ему, что было впереди, сказкой, что было сзади, сном, что было около.

1904

ДВИЖЕНИЯ

Поэма

1

Вокруг имения и дальше на версты, на десятки верст кругом стояла эта странная, может быть даже и страшная, мягкая во всех своих изгибах, иссиня-темно-зеленая, густо пахнущая смолою, терпкая, хвойная тишина. На севере было ветреное море и холодные озера, на юге — бесконечные, всюду заселенные поля, а здесь тихо перепархивали по опушкам стаи куропаток, краснобровые тетерева мостились на голых сучьях, легко прыгали, нюхая воздух крысиными мордочками, белки, и кое-где въелись в темно-зеленое, как ржавые пятна, имения, мызы, лесопильни. Но стук топоров, шипение и фуканье лесопилок и негромкие, неторопливые звуки усадебной жизни как-то неглубоко вонзались в вязкую тишину леса и застревали в ней.

Лесные стены останавливали морские ветры, стягивали их с опушек в гущину прямых и ровных елей, разрезали их здесь на бессильные, тонкие пряди и хоронили внизу, в пластах опавшей хвои и шишек. Поля иногда пробирались с юга на лесные поляны, но часто промерзали на болотистой почве, едва-едва колосились и к осени травились лошадьми и скотом.

Но вот что соблазнило Антона Антоныча купить старое баронское имение Анненгоф: крепкие, на веки вечные сработанные хозяйственные постройки из серого гранита, крытые прочной черепицей.

Мы только думаем, что есть в нас что-то сложное, сложное до того, что неизвестно, как и на что решиться,— но это ложь. Подо всем наносным сложным лежит в нас что-то простое, чужое нам, и оно нас уверенно ведет. Оно пасет нас, и, куда бы ни разбрелись наши желания, пользуясь его сном, настанет такой момент, когда оно проснется, оглядит, как далеко расползлись они, привычно соберет их в кучу и поведет, куда знает.

Может быть, только строгий порядок всех этих сараев, конюшен, коровников, птичников и овинов покорил Антона Антоныча, а может быть, и того проще,— только красивая мозаика скрепленных цементом камней. И, должно быть, тот день, когда решил он купить Анненгоф, был голубонебый, мягкий день; от смолистых елей пахло непобедимым здоровьем, и добродушно прыгали белки по деревьям около крыльца.

Вот каков был Антон Антоныч: в поясе тонок, высок, сероглаз, чернобород с проседью, краснощек, моложав, красив; ходил широко и прямо; от роду имел пятьдесят семь лет. Как у всех, внезапно решающих любое дело людей, у него были порывистые движения, лихая откачка головы и громкий голос. Носил он тужурку из верблюжьей шерсти, высокие сапоги, зеленую тирольскую шляпу.

Когда купчая была уже совершена и запита и когда он сел в поезд и поехал в Малороссию в свое имение Тростянку, которое нужно было продать, чтобы внести деньги за Анненгоф, он, вообще удачливый в жизни, в первый раз почувствовал неловкость. Имение было куплено очень дешево; доходность его была проверена и ясна, земли было много, и дело было большое, какого и хотел Антон Антоныч, и все-таки была какая-то неловкость, точно провели, как мальчика, и, главное,— что поправить этого уже нельзя. На ближайшей станции, где был буфет, он выпил подряд три рюмки водки, долго думал, чем закусить, и закусил черствым хлебом. С другой большой станции, где поезд стоял около часу, он послал телеграмму жене, Елене Ивановне, о том, что купил Анненгоф. На другой день в его купе второго класса подсел внимательный слушатель, сытый, лысый, с близорукими глазами и сиплой одышкой. Ему Антон Антоныч рассказал подробно всю свою жизнь, начиная с малых лет и кончая этой покупкой.

Антон Антоныч был поляк, католик. Вот как говорил он сытому с одышкой:

— ...Горбом, как сказать,— го-орбом собственным нажил!.. Эн'эргией состояние, как сказать... Все! До единственной копейки все, вот з кулака!.. Верите ли, голубчик,— ну, та уж у вас и основания нет, как сказать, ни малейшего, чтобы мне не верить,— мальчишкой из Кракова через границу пешком пришел: аттестат с училища садоводства, как сказать, сумка вот так сбоку,— крейцера лишнего на подводу не было, на еврейскую балагулу, как сказать!.. К пану одно́му объездчиком поступил, так я в роботу

вцепился, как... как... как зверь!.. как клоп впился, как... как черт за грешную душу, верите ли! Спал на лошади — клянуся вам честью!.. Но-о только, скажу я вам, добрейший,— быть само́му хозяином или служить идти к какому-нибудь псу, извините за выраж'ение,— это две огромаднейшие разницы,— это... это... эт-то Фед'от, да не тот!.. Самолюбие у меня, верите ли, чертовское было́, и уж какое я дело изделаю,— кончено! Аминь! Свято!.. Что? Нету? Програл?.. А я ззакушу зубы да ва-банк!.. Нету? Опять програл?.. А йя вва-банк!.. В турецкую кампанию маркитантом пошел,— сено в кавалерию поставлял,— семнадцать тысяч заработал, как сказать, в Бессарабской губэрнии пять тысяч десятин земли в аренду взял... мальчишка, клянусь вам богом: двадцать четыре года было́... А-ах, обчистили же меня, во-от общипали, как сказать,— как... как... как гуся орьел! До единственного перышка все — голенький в один год, верите ли!.. А йя в садоводы к одно́му помещику в Могилевской губэрнии... Пять десятин саду было, а йя ему сто десятин в два года разбил-засадил, клянуся вам честью,— как зверь рылся когтями, как сказать... Слышать он не хотел,— ногами-руками: «Сто десятин? Ай, боже ж, ратуйте: з ума сойшел, как сказать...» А я гово́рю: «Эй, не упускайте случая, плакать будете потом, да поздно!..» Хлюпал-хлюпал он носом (хороший был человек, дай бог ему, да дай бог ему царство немецкое, место полковницкое!)... Ну, ррой, говорит, коп-пай, говорит, сажжай, говорит... хе-хе-хе... Так уж я в него вцепился, как... как арепей в кожух!.. Верите ли, какой сад вышел, я в-вам скажу! Это аж-аж-аж-а-аж!.. Сто десятин,— вы подумайте! Антоновка, апорт, ранет — богатейшие в мире! Богатейшие в мире! Дно золотое человеку дал!.. На всю губэрнию единственный сад такой,— честью клянусь... А тут есть слух,— лен за границу требуют, и тут евреи уж по́рхают, нюхают везде, снуют туда-сюда,— эге-ге, думаю... А у меня уж опьять перья, как сказать, отросши... Вва-банк!.. Евреи дают четыре, четыре двадцать, а йя — пьять карбованцев за пуд! Евреи — смех, а я рыщу, а я рыщу. По всей губэрнии, верите ли? — вот бог святой,— лен скупил!... Доверенность од пана, как сказать, потому — где ж? — суммы огромнейшие,— я только задатки даю, только задатки: бери — вези, та бери — вези... Та верьте ж богу, верьте ж богу! — поезд, шестьдесят вагонов льну мое́го стоит на станции,— вот-вот-вот отправлю, а куда отправлю, а как отправлю?! Смех, верите ли, и смех и грех, а ни-и одной-единственной ко-

пейки, а нни-чего, ни боже мой!.. Только часы были, как сказать, заграничны, золотые,— и все... Что дальше и как дальше? Полчаса. Пол-часа,— и-идет поезд... По плацформе хо́жу, закусил зубы, аж, глядь,— евреи кругом — зир-зир-зир очами... Аж, глядь,— подходят: «Пане — живой вам убыток... А продайте нам по четыре двадцать пьять...» — «Геть, чертово быдло!» Хо́жу. Аж они знов: «А возьмить вашу цену, та езжайте себе до дому, хай вас бог милует...» — «Геть!» Хо-хо-чуть! «Та шо он? Та з ума сойшол?..» — «Десять минут, говорю, осталось. Эй, слышите,— по шесть рублей за пуд!..» Как загалдят, как зашумят... Тю-ю, черти! Как гаркну я: «Пьять минут еще, как сказать,— пущу поезд,— эй-эй! Ой, дорогие ваши собачьи думы будут: шо ни минута — двадцать копеек!..» Стою з часами... «Четыре минуты... шесть рублей двадцать копеек!..» Гал-гал-гал-гал!.. А я стою. «Три минуты...— шесть рублей сорок копеек!..» Го-го-го-го!.. «Две минуты...— шесть рублей шестьдесят!..» Ку-да! И «копеек» не дали́ сказать! Как кинутся к вагонам, как волки, та ко мне, та бодай тебе добра не было́! Вот напугал их, вот в чахотку вогнал!.. И проклинали, и по шесть сорок я получил чистыми из полы в полу, по весу, как сказать, сколько было тысяч пудов... И смеху над ними было, смеху по всей губэрнии, верите ли,— честью клянусь!.. А йя з деньгами та сахарный завод в оренду взял,— на три года... На три года, добрейший мой,— вва-банк!..

В купе было тесно. Антон Антоныч гремел своим огромным голосом так, что сытый почти умоляюще смотрел на него близорукими глазами. Он полулежал в углу дивана. Антон Антоныч говорил стоя. Ни одной точки не было ленивой, спокойной, усталой во всем его теле. И сытому казалось, что это не слова даже, что в каждый звук своего голоса вливался чем-то — руками, глазами, гибким поясом — весь этот шумоватый человек, даже красные щеки, даже сизые от проседи волосы кричали.

Сытый курил, хрипло дышал, иногда грузно кашлял. Антона Антоныча нельзя было представить курящим: просто это было для него как-то слишком задумчиво и мирно.

Сытый узнал, как он женился на Елене Ивановне, дочери помещика, соседнего с заводом.

— Многи́е сваталися, как сказать,— го-ордячка была, кра-сивая, ш-шельма!.. От, я вам скажу, добрейший мой: колы везется, то и пивень несется, а колы не везется, то

й курка не несется,— така пословица существует, как сказать... Правда истинная! Вот уж правда!.. Увидал ее — на дороге встретил, на Рождество,— приехала из Киева, как сказать, и никогда прежде не видал, и жениться никогда и в мыслях не было́... Сюртук! Шубу! Лошадей! Еду предложение делать... Комэдия! Приезжаю, а там у нее отец — закоснелый такой хохол, з такими бровьями, как... как... как у Вия,— так встал, руки зло́жил... «Чтобы я, говорит, столбовой дворянин, тебе, купчишке, австрияку, вогабунду, дочь свою отдал?.. Нико-гда!..» Как... как быка обу́хом хватил, верите ли!.. Я ведь дерзкий, как сказать, я — кат, а тут я согнувся, ка-к волчий хвост, и — хоть бы слово сказал — вышел. Приехал к себе на зовод,— две недели пил без просыпу, клянуся вам честью, две недели!.. Хорошо, добрейший мой!.. Ну, вот уж конечно, как сказать: гарбуза́ зъел, и... и... и иди себе на пруд, знимай рубаху — а ни пикни, тони — а ни пикни!.. Но чтобы меня та-ак?! Э-э-э... то не по адрес-су, не-ет,— то не туда адресовано, голубчик! Не-ет!.. Завод я бросил управляющему,— был у меня там такой шустрый, может, и помер теперь,— а она уж знова в Киеве,— и я в Киев!.. То есть как она меня измучила там, ш-шельма! Вот, я вам скажу, баба!.. И дикий-то я, как... зверь, и говорить не умею, и одеваться не умею, и в обществе, как сказать, не могу... Три раза квартиру меняла, чтобы тайно, как сказать,— от меня тайно... чтобы я не найшел, верите ли! А на Красну горку, как говорится, свадьба у нас была, добрейший, да так, шо и отец не знал, га?! А после свадьбы приезжаем к нему з визитом, как сказать, на кровных лошадьях,— серые, з яблоками... Я в-вам скажу!.. На крыльцо вышел, руки зло́жил... Та шо ж ты, думаю, катувать нас хочешь?.. Аж нет, бессловесно так целуется з ней, а я стою без шапки... Аж потом и со мной. А я: «Гарны, говорю, кони?» — «Та гарны ж, говорит, кони». — «Вот то я вам в подарок их пригнал, щоб к нам в гости почаще наезжали, как сказать!..» А боже ж!.. Пили мы з стариком сливянку та мед, а я нет-нет: «Так как, говорю: вогабунду? австрияку? га?.. купчишке?..» А у него бровьи такие, как у Вия,— миг-миг бровьями... В том же годе вскорости умер... а в этом году весной мы серебряну свадьбу с женой справляли... Три сына у меня, как сказать,— молодцы, студенты, такие, аж-аж-аж-а-аж...

Около Тулы сытый с одышкой вышел, а на его место сели двое — муж и жена: он — в чиновничьей фуражке,

в синих очках, с узенькой желтой бородкой, и она — с белым и добрым, коровьим лицом.

Антон Антоныч суетливо помогал им уложить вещи,— а вещей было девять мест,— все указывал носильщику:

— Это, братец ты мой,— сюда... та-ак! А это... это... как сказать...— да не сюда. Э-э-э... ты как-то тупо соображаешь... это сюда засунь, так... вот!

— Ах, сюда нельзя, сомнут: там шляпка!— защищалась дама.

— Ага! Так бы вы нам и сказали, шо нельзя, то мы б уж и знали, шо нельзя... Стой-стой-стой — вот сюда клади, вот... Вот место, вот!

И укладкой этих чужих вещей так увлекся Антон Антоныч, что впопыхах дал носильщику двугривенный на чай.

Когда поезд тронулся, Антон Антоныч сказал:

— Вот и веселей мне будет, а то, верите ль,— ехал тут один хрип-пун,— вот сейчас вышел, может, вы его и видели,— сидит, пыхтит та молчит, как... как... тульский прян-ник!

Потом он подробно рассказал им о своем новом имении:

— Две тысячи триста десятин,— или больше или меньше, как говорится,— две тысячи триста, а?.. Подумайте!.. Лес! Такой лес, что аж-аж-аж! Сосны и елки, и сосны и елки — как од-на! Такие ровные, как о-дна! Как... как свечи, верите ли! Мачтовый лес!.. Восемнадцать тысяч в год беспрекословно дает лесопилка, как сказать,— контракт на три года: пятьдесят четыре тысячи есть! В кор-мане!..

— Весь лес и сведут,— успел вставить чиновник.

— Добрейший мой,— только од четверти в отрубе, од четверти! Од чет-вер-ти,— не весь, нет! О-о, это шельмовство бы было, как сказать, если бы весь!.. Вот... Двадцать две фермы в аренде — девьять тысяч доходу... ежегодно... Пруды з рыбой!.. Два пруда рядом, как сказать, возле-возле дому, один в лесу... Дом баронский — роскошь! Эт-то роскошь, та роскошь, я вам говорю!.. Громаднейший замок, грандиёзный!.. Два этажа, башня — гранит, чистый гранит, и никакого веку не будет, и ни-ни-ни-ни!.. Постройки какие,— вот я вам скажу,— э-э... Немцы-то народ не глупый, не-ет! Немцы-то первоклассный народ, клянуся вам богом!

— Как же, и обезьяну выдумал,— вставил чиновник.

— Образцовое хозяйство,— как сказать,— образец та

образец!.. Шо там обезьяна! Ерун-да-а!.. Шестьдесят семь дойных коров, племенных, как сказать, голландских, короткошерстых,— шутка?! Вот живой инвентарь, как сказать, га?! Рабочих лошадей — тридцать пьять: здоровы, кормлены, не биты... а? Вот то хозяйство!

— Стоят — даром овес едят,— опять вставил чиновник.

— О-о, не даром! Поверьте, добрейший, не даром! Как можно, та как можно!.. А бревна на лесопилку возить, как сказать? А доски на станцию? На бумажную фабрику обрезки-шестифутовки, как сказать,— еловые? На моих лошадях, голубчик, возят...

— Значит, опять доход.

— До-хо-од! Доход, добрейший! Ро-бо-та! О-о, это большое дело, как сказать!.. Человек — ро-бо-тай, лошадь — ро-бо-тай, дерево — рроботай, трава растет, как сказать,— и траву в роботу, гей-гей, шоб аж-аж-аж!.. Прело, горело, чтобы пар шел! Вот как надо, добрейший мой! Надо, как дятел носом дупло долбит: в о́д-ну точку, в о́дну точку... А з тих, шо как бу-ря, как ветер носятся, как сказать, как гро-ом,— з тих... з тих... Есть така пословица, извините за выраж'ение: хоть бы пьёс, абы б яйца нес!..

Так говорил Антон Антоныч долго и упорно. Был вечер, зажгли газовый фонарь, даме, видимо, хотелось спать, и муж ее все чаще делал ворчливые вставки в речь Антона Антоныча.

В Орле они вышли. Два студента тут же сели в купе, и, подмигивая на уходившего чиновника, сказал им Антон Антоныч:

— Бог з ним! Во-от наказание господне!.. Все сидел та ворчал, как... как... Ен'ох, как сказать!

— Почему Ен'ох?— спросили оба.

— Как Ен'ох, ну! Как Ен'ох, когда его на небо живым брали... Вкоренился за сколько сот лет, врос корнями в землю, а его берут... Тащут... Насильно, как сказать...

Потом он вспомнил, что у него три сына, тоже студенты, и долго и громко, хотя была уже глубокая ночь, говорил о своих сыновьях-студентах.

II

Когда подъезжал Антон Антоныч к Тростянке, день был ласковый, небо близкое, теплое, земля золотистая, горячая от спелых хлебов; по дороге навстречу ему кряхтели

домовито пахучие воза, загорелые мужичьи лица сыто лоснились от легкого пота; бабы визжали на косовице... густо была замешена жизнь.

С горки за две версты вся на виду была его усадьба с садом, и Тростянка — село в двести чисто вымазанных белых хат, крытых очеретом, и церковь, тоже белая, с зелененькими выцветшими куполами. А дальше налево, ближе к горизонту, видно было деревню Мановицы, а направо — небольшой хуторок Веденяпина — отставного ротмистра, охотника, который что ни скажет слово — соврет, но именно, должно быть, поэтому нескучный малый и невредный сосед.

Антон Антоныч направил кучера Фому полями и на каждом повороте ахал от восторга.

— Вот, малый,— га! Вот то пшеница,— а? То уж мое почтенье!.. Двести пудов з десятины, а клянуся честью, двести пудов!

— Двести не будет,— замечал тугоусый, круглый Фома.

— Маме своей скажи!.. Не будет... Это ж банатка!

— Банатку, кажись, мы в том конце сеяли... Кажись, это — гирка...— И когда сбитый с толку Антон Антоныч начинал усиленно вспоминать и всматриваться в сорванный колос, Фома вдруг спокойно добавлял:— А може, й банатка.

— Во-о! Вот полюбуйтесь на дур-рака! — кричал Антон Антоныч.— Та хоть и гирка, так з такой пшеницы двести пудов на десятину не станет! Ос'ел!

Потом шла гирка, потом арнаутка, потом ячмень — все густое, тучное на этом жирнейшем черноземе, все бессловесно добродушное, давно знакомое и свое.

Усталый от дороги, бессонницы и тесноты в вагонах, Антон Антоныч пил что-то невиданное, что плавало над хлебами, что давно уже пил он, с детства, и от чего у него блаженно и радостно, изжелта-розово мутнело в голове, и вдруг, как марево,— сосны, на веки вечные крепко сработанные стены построек, смолистая, как похоронный ладан, тишина, и неловкость,— точно сделано было все хорошо и в высшей степени хорошо, удачно, но как-то неожиданно совсем не то.

— А я землю купил, как сказать, Фома,— слышишь? Вот земля — роскошь та роскошь,— заговорил громко Антон Антоныч, радостно глядя прямо в рыжие косицы Фомы, подстриженные скобкой.— Две тысячи триста деся-

тин... Лес! Мач-то-вый... Восемнадцать тысяч в год дает лесопильня, как сказать... Фермы... двадцать две фермы в аренде...— И передал он Фоме все, что раньше говорил чиновнику в вагоне, все, что сам знал об Анненгофе, и еще что-то, что приходило ему в голову только теперь, когда он ехал хлебами.

Молчаливая была спина у Фомы; изредка чмокал на лошадей, передергивал вожжи и слушал или нет,— нельзя было понять.

А лошади фыркали и стучали копытами безучастно; на гнедых жирных крупах их медленно качалась лень. Показалось, что они не вычищены, не съезжены, опоены,— и Антон Антоныч перебил самого себя криком:

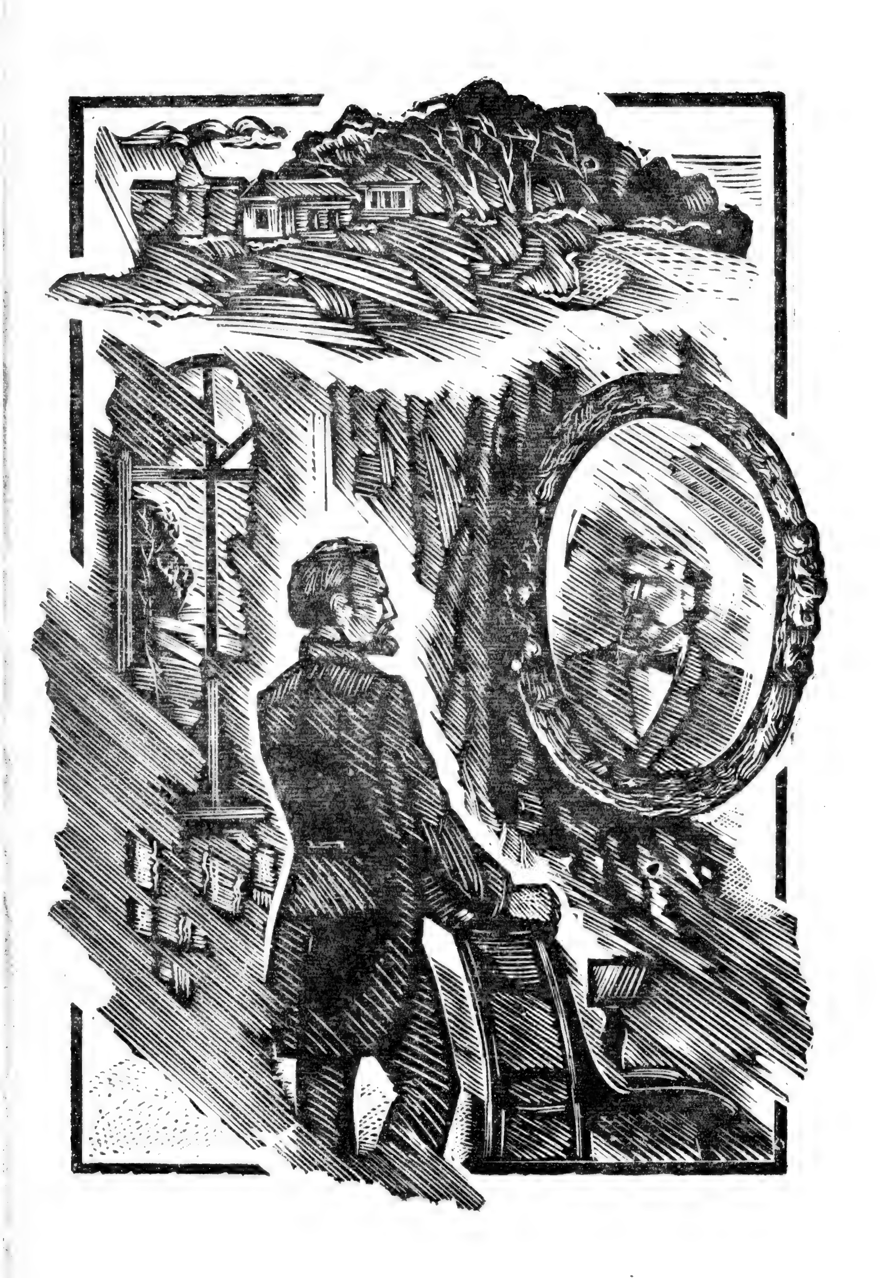
— Да ты что мне лошадей портишь, разбойник, га?! Так за лошадьми смотрят,— бодай тебе руки-ноги поодсыхали?! Од так смотрят? Од так идут?.. Та шо ж они у тебя как... как ветчина в амбаре, как мешки... как...: как на живодерню опоздать боятся — га?..

И, оттолкнув Фому, Антон Антоныч вырвал у него вожжи и, стиснув зубы, раз и еще раз ударил остервенело по этим самым жирным крупам сначала коренника, потом пристяжку.

III

Елена Ивановна вот как проводила дни. После долгого, тяжелого утреннего кофе неторопливо, длинными ножницами делала она вырезки из газет, календарей, прейскурантов, сортировала их и подклеивала на листы большой записной книги. Сначала подклеивала без всякого порядка, потом стала соблюдать алфавит, потом завела отделы, так что рецепт копытной мази торчал рядом с «пользою дивьего меда», а применение настоя из череды следовало тут же за средством от жука-типографа. Потом — отделов оказалось так много, что Елена Ивановна опять стала приклеивать все вразброд. Все можно было найти в этой книге: и что 17 июня — по Брюсу — критический день, и что от взгляда какого-то факира прозябали зерна, и что наибольшая глубина океана — девять верст.

По вечерам Елена Ивановна сводила счеты по хозяйству и рано ложилась спать, а среди дня, грузными шагами тяжелой, сырой женщины, по-утиному, вперевалку обходила усадьбу. Зимой ходила в белой лохматой папахе, ле-



том — простоволосая, с буклями надо лбом; сохранилась на сельском приволье, и теперь еще, в пятьдесят лет, щеголяла яркой свежестью щек.

Антона Антоныча встретила гневно. Кучер Фома, тихо по кругу возле дома проезжавший взмыленных лошадей, слышал через открытые окна, как кричал своим громовым голосом Антон Антоныч:

— Ну что ж я такого плохого изделал, скажи, га?

Что-то говорила Елена Ивановна, тоже повысив голос, но невнятно, и потом опять Антон Антоныч:

— Во-от, фикс-фонеберии сколько у этой бабы, а? Во-от арцифокусы какие,— скажи!.. Я к ней з образами, а вона з гарбузами!..— И потом еще:— Та... та... та на черта ты мне это все п-пилишь?.. А, бодай на тебя и чума и холера, проклята баба!.. Вот уж наказал господь, то уж наказал!..

И потом с треском хлопнула дверь в кабинет Антона Антоныча.

А ночью, в спальне, сидя на кровати в одной вышитой красными цветами сорочке, Антон Антоныч рассказывал жене все, как это случилось, что он, поехавши в эту лесную губернию по неважному случайному делу, в один день, махнув на все рукой, купил где-то там большое имение.

Было объявление в газете, и указан был человек, к которому нужно было обратиться за справками, и теперь, когда вспоминал этого человека Антон Антоныч, то говорил о нем подробно, с какою-то оторопью, несмело, даже голос его как будто чуть-чуть дрожал:

— Молодой из себя... то есть средних лет,— ну, там тридцать трех-четырех, как сказать,— ну уж жох, шельма!.. Эт-то... это... это..: ш-шельма!

Потом, когда описывал его, никак не мог вспомнить, что в нем было такого, что теперь пугало: лысый, с лица желтый, точно костяной, глаза впалые, серые, не смеялся, даже не улыбнулся ни разу, ходил тихо, без скрипа, без стука, одет был во все новое, чистое, гладкое, руки все время держал точно на привязи за спиной, и только шевелил большими пальцами, палец за палец, точно веревку сучил.

Это был поверенный владельца имения, который жил где-то за границей. Ни копейки с назначенной цены он не уступил, даже делал вид, что не слышал, когда, по обыкновению, шумно и весело говорил об этом Антон Антоныч. Только раз посмотрел укоризненно прямо ему в

глаза и сказал тихо: «Даром почти приобретаете имение такое, как вам не стыдно!..»

И действительно, стало стыдно.

Когда передавал все это Антон Антоныч, в комнате мигали по стенам тени от двух свечей. Занавески на окнах были темно-синие с белыми лилиями и подобраны и пришпилены были так, точно падала вода по крупным камням: долго трудилась над этим Елена Ивановна. Антон Антоныч смотрел на разрисованные кружочки из терракоты, на картинки, какие-то швейцарские виды в багетовых рамках, на фотографии свои и жены, вспомнил, как тщательно все это примерялось к стенам и прибивалось, сколько было суматохи, деловитости, разговоров,— даже частый стук молотка припомнил... почему-то стало тесно в горле...

Могучая шея была у Елены Ивановны, а около губ и глаз таилось презрение к нему — старинное, двадцатипятилетнее презрение, которого он ничем вытравить не мог.

К этому презрению он привык: просто такое было лицо, брезгливое ко всему, что он говорил и делал. Но она сидела около стола и слушала, вся тяжелая, с двойным белым подбородком, с лениво выпиравшими из-под тонкой розовой ночной рубашки грудями, в стоптанных туфлях, надетых прямо на голые, короткие, с опухшими венами ноги, сидела так, что свеча была сбоку, глаз не было видно.

— За бесценок, как сказать, в рассрочку купить имение такое... Боже мой!— махнул рукой Антон Антоныч.— Это только раз в жизни случается, та раз в жизни... та раз в жизни... Ей-богу! Как сон!.. Я по имению этому лазил, как... как крот в земле ходы рыл: шо то за история, шо так дешево?.. А он зо мною з книгой... Ферма такая-то — доходность пятьсот рублей...— Правильно! Ферма такая-то (ну, латыши там все: Силкалн, Озолин, Стуцка,— язык зломишь),— доходность девятьсот рублей, например,— есть!.. Лесопилка, в лесу только поставлена, только пущена в ро-бо-ту,— переписали контракт на мо́е имя, честь честью,— как новый владелец... Э-э-э!.. То уж зделано так, как... как между кирпичами, когда их известкой, как сказать,— червяк уж не пролезет, не-ет... Не пролезет,— аминь!..

Антон Антоныч погрозил кому-то кулаком и подбросил вызывающе голову.

Никого из сыновей не было в этот день дома: старший — путеец — был где-то далеко на практике, на прокладке новой линии; младший уехал с Веденяпиным на охоту. Только и была с Антоном Антонычем та, с которой он прожил двадцать пять лет.

Вот что она сказала:

— Хорошо... Тростянку мы продадим, если ты сделал такую глупость, что мы должны ее продать,— хорошо, мы ее продадим, только половину денег ты запишешь на мое имя, а другая половина — твоя, и покупай что хочешь и делай как знаешь, кончено!.. И не спорь! Я с детьми не останусь по твоей милости нищей, не думай... И не спорь! Не спорь!

Она ударила ладонью по столу, встала и пошла к своей кровати: голос у нее был низкий, и по особому оттенку этого голоса, и по тому, как сразу и легко, десятью словами она отрубила себя от него, Антон Антоныч понял, что нечего спорить.

Он сидел ошеломленный, уплывающий куда-то, легкий, с открытым от изумления ртом и почему-то ясно чувствовал, как тут же рядом где-то, около него, от зеленых распластанных лапчатых веток пахнет могильно-мирной сосновой смолою.

IV

Тростянское имение давно уже приторговывал купец Голев. В городе у Голева были мучные лабазы — неуклюжие, мрачные, пыльные. Голев был широк непомерно: много пил чаю, вытирая при этом огромное потное лицо суровым полотенцем, и когда дул на блюдечко — было слышно на улице. Помещики целого уезда часто брали у него деньги под урожай, и вот как он беседовал с каждым:

— Ну, как там у вас пшеница-то... Хороша?— с усилием спрашивал он.

— Да, пока ничего, пока хорошо наливается... Что дальше будет...— отвечал помещик.

— Ну и хорошо, и слава богу... А ярина как?

— Да тоже, так сказать, тянется вдогонку.

— Ага, тянется?.. Ну и слава богу... А ржица как?

— Рожь важная, обо ржи худого не скажешь... Если б удобрение еще, так куда!.. А то — по стерне посеяно.

— Ишь ты — важная? Ну и слава богу!..

Если перед этим был дождь, то Голев вспоминал это и говорил:

— Дожжик вот прошел... У вас-то был ли?

— Был, а как же? Третьего дня был... Да, дожди идут...

— Это, тово... для огурцов хорошо...

— Для огурцов-то хорошо, а для ржи плохо,— подхватывал помещик.

— Для ржей плохо,— соглашался Голев, зевал глубоким зевком и закрещивал пропасть рта несгибающейся от жира рукой.

Брал деньги помещик и уходил из лабаза, обметая мучные мешки полами разлетайки, а Голев садился за прерванный чай, шумно дул на блюдечко и вытирался полотенцем.

Он и купил Тростянское имение — семьсот десятин полей — за двести тысяч, половину наличными, остальное — в рассрочку. Он давал прежде десятью тысячами больше, но теперь, когда узнал, что продать Тростянку неминуемо нужно, чтобы уплатить за Анненгоф,— десять тысяч скостил.

Живой и мертвый инвентарь он осмотрел мельком. Едва поспевая за легким хозяином, насопел и навздыхал на всю усадьбу. Пощупал крестцы у двух рабочих лошадей, погладил пухлой рукой крыло новенькой веялки, а на поля и не ездил: урожай Антон Антоныч оставил за собою.

И вот, когда ходил с ним по усадьбе Антон Антоныч и говорил о караковом жеребце Забое:

— Как му-ха! Четыре версты до станции,— да я на нем в десять минут там буду — клянуся честью — в десять минут!.. Про-изво-дитель! Полукровка, как сказать... Го-ря-чий, шельма!

И говорил о сакковском шестилемешнике:

— Новейшей системы, добрейший!.. Легкий в ходу, как... как барышня! Как така барышня, субтильна, задрипана, шо... шо... шо в одной кофточке по морозу, как сказать, оджаривает, аж щеки трясутся... Две пары волов, и-и как бричку везут, как бричку!

И о постройках говорил:

— То уж все удобно сделано, любезнейший... То уж из своего кирпича, та своего кирпичного зо-во-да!.. В фундамент железняк клал такой, шо аж... аж... ну да уж мышь не проточит, то уж будьте уверены, шо зубы себе зломает, как сказать, раньше времени... Амбары!.. Овин!.. Людская!..

Все сам строил, для себя, не для продажи — не-ет! Будьте покойны, будьте покойны, добрейший!..

Голев был покоен. Он только кивал курбатой большой головой и время от времени вставлял:

— Ась?.. Ну да... Ага... Так-так-так-с!..

От этих спокойных полуслов отплывал и вливался в Антона Антоныча холодок едва заметный, едва ощутимый, но какой-то неожиданно новый. В старом Голеве, которого давно по его городскому лабазу знал Антон Антоныч, оказалось, прятался еще кто-то: неясно проступит мушиной точкой, мелькнет — и нет, и неизвестно, кто это и зачем.

И когда садился Голев в пролетку и уезжал, Антон Антоныч пристально смотрел, как поднимал он на подножку сначала одну трехпудовую ногу, потом другую, как подставлял грудь под оползни трясучих, как студень, пунцовых бритых щек, как усаживался, как можно покойнее и прочнее, плотно заняв собою все сиденье... и потом долго почему-то оторваться не мог Антон Антоныч от мелких росинок его глаз, когда совсем уже тронулись лошади, и он, прощаясь, снял с редковолосой белой головы муаровый вздутый картуз и кричал придушенно:

— К нам милости просим!.. Насчет купчей-то как?.. Письмецом известите, письмецом... Вот-вот, и я к тому... Оставаться счастливо... Ась?..

И когда лошади с Голевым были уже далеко, Антон Антоныч не выдержал и крикнул так, что мог услышать и Голев:

— Ду-бина толстая!.. От дубина!.. Хлев свиной, та хлев свиной тебе, мер-зав-цу, а не имение!.. Не имение, нет! Хомут-ник!..— и грозил кулаком.

И только бывший здесь же средний сын, Кука, остановил его, взяв за плечо, и сказал смущенно:

— Ну, папа! Что это ты кричишь?.. Неловко так!

Антон Антоныч долго смотрел на его мягкое лицо круглыми и яркими, как у хищной птицы, глазами, потом поцеловал его щеку, затих и покорно пошел с ним в сад на нижнюю аллею играть в городки.

На третьей фигуре, которую он ловко выбил одною палкой, он вошел в задор и держал с Кукой пари без назначения, что его обыграет.

— Я тебе покажу, разбойник, как играют! — кричал он, швыряя палки.

К шестой фигуре игра его пошла хуже. Он начал сер-

чать на солнце, которое било прямо в глаза, на тени от кленов, пестрившие аллею, наконец на палки.

— Это что? Это палки? — кричал он.— Это козероги, а не палки!.. Фью — туда к черту... бу-ме-ранг!.. Да ты что смеешься з меня, мошенник?

— Ну, пап! — смеялся Кука.— Я ведь сам этими палками бью!..

И, смеясь, он ловко прицеливался в «ворота», «пушки» и «колодцы» и выбивал городки с сочным чмоканьем палок, и уж потом даже Антон Антоныч любовался им и похлопывал по тугой спине:

— Да ты профессор! Ну, то уж мне не так и стыдно, как сказать, с профессором...

На двенадцатой фигуре далеко обогнал его Кука, выиграл пари и потребовал легавую собаку.

V

Сыновей своих любил Антон Антоныч всех трех за разное и по-разному.

Любил старшего, Лешу, путейца, за то, что был деловой: ездил вот теперь где-то на дрезине, спал в каком-нибудь сарае на сене, на тужурке — паленые пятна, некогда побриться, и растут украдкой мягкие, как все весеннее, бакены, пока еще обегая сторонкой щеки. Похудел, должно быть,— всегда худеет летом,— отпустил черные кудри... А захочет потанцевать где-нибудь на вечере — покажет, какой он танцор, и как воспитан, и как поет тенором под умелый аккомпанемент. Любит одеваться, любит всякие красивые вещи, как-то поспевает везде, как-то полно живет, и не уходит от него незамеченным ни один день в жизни: всякий день он раскроет сверху донизу, с утра до ночи, подойдет к нему вплотную близко и зорко его рассмотрит. Любил в нем Антон Антоныч и свою стройную, гибкую худощавость, свой свежий цвет лица и свои волосы, как-то радостно было сознавать, что он, Антон Антоныч, поюнел и живет в нем, Леше.

Но и в Куке он жил. Кука был веселый, охотник, любил озера, перелески, ночевал иногда на копнах сена, дожидаясь утреннего перелета; был крепыш, плавал — как утка, легко дышал, звонко смеялся. И давалось ему все как-то легко; само шло к этому веселому малому с бочковатой грудью и крутолобой головой, так же шло, как шло

всю жизнь и к нему, Антону Антонычу. Стрижей он бил в лет, а когда и как научился этому,— он и сам не знал.

Но и в третьем сыне, Сёзе, тоже жил Антон Антоныч. Сёзя был усадебник, домовод. Сам лечил у лошадей подседы, делал в плодовом саду прививки и прищепы, собирал жуков на большой картон и против каждого четко выводил его латинское имя. Бабьи песни любил подслушивать и записывал их карандашиком в книжку. Глаза у него были мечтательные, большие. По-молодому горбился на ходу, слова вязал неплотно, улыбался девичьей улыбкой.

VI

Молотили пшеницу — банатку, гирку, арнаутку. Тонкогорлая паровая молотилка на току пыхтела и фыркала, точила зерно в мешки, отхаркивала солому, и возле нее целыми днями шумно толпился народ.

Четыре огромных стога соломы, сухой, блестящей и яркой, стояли тут же, недалеко от молотилки.

Приехал верхом отставной ротмистр Веденяпин — высокий, выпуклолицый, с усами в два яруса, с желтыми глазами в мешках; на носу росли черные волосы; щеки были одубелые от солнца.

Еще когда подъезжал, зычно кричал Антон Антонычу:

— По наиважнейшему делу!.. Эскадрон, стой-й-й...— и махал своей военной фуражкой с синим околышем, с белым верхом.

Веденяпин и Антон Антоныч были на «ты»; часто гостили друг у друга.

— О-о, то ты шельма, охотник! Охо-отник, шельма! — весело кричал навстречу ему Антон Антоныч.— Учуял носом, шо бессарабского бочонок ведерный, как сказать, только вчера привьез. Фома привьез, ну-у... То как будто погода тихая, и, как сказать, ветер к тебе одсюду не дул... Вот охотник носастый, га! Да тебе и гончих не нужно, ш-шельма!..

— Стану я бессарабское твое лакать, кислятину, дрянь,— слезая, отозвался Веденяпин хрипучим басом.

Поцеловался и пошел рядом с Антоном Антонычем, ведя в поводу курчавую поджарую лошадь.

— Ну и не будешь пить, когда такое дело,— и не дам тебе, не дам, не бойся! — притворно серчал Антон Антоныч.

— Тоже вино нашел,— ворчал Веденяпин.— Сколько раз тебе говорил: покупай го-сотерн!

— То уж ты покупай го-сотерн, а йя к тебе приеду... Да ты — мошенник, ты мухомора в чаю настоишь, да бутылку, как сказать, запечатаешь...

— Вот-вот, еще при тебе и открывать буду и скажу, что го-сотерн... А ты будешь пить и еще похвалишь. Вот то, скажешь, марка! — и засмеялся раскатисто Веденяпин, и звонко засмеялся Антон Антоныч; оба смеялись до слез и к дому шли обнявшись.

За обедом рассказал Веденяпин, как в этот день рано утром он поймал на озере щуку.

— На живца поставил с колокольчиком,— сам прилег, задремал. Тут еще комарня кусалась,— с головой завернулся... Слышу: динь-динь-динь! Деликатно так, чуть-чуть... Думаю — окунишка-фунтовичок. Не спешу для дряни. Слышу тут же — дири-дири-динь!..— и удилище гнет. Что за гвалт?.. Иду — смятение. Удилище ходырем ходит. Только приник тащить,— хап! — мертвая хватка: колокольчик в плач, удилище по воде хлясть! — чуть бы еще — и с корнем бы унесло... Захватил... Минут двадцать бился, вываживал... Что же, вы думаете, оказалось?.. Сначала взялся щуренок,— желторотый птенец,— вот! (Веденяпин отсек от левой руки ребром правой кусок с ладонь.) На этого, следом, другой щуренок взялся, побольше,— вот! (Ударил себя в перегиб локтя.) И, наконец, эта самая щука: сизая, дрянь, и с икрой... Пятнадцать фунтов вытянула — вот, — и он распрямил, насколько мог, всю руку, оглядел ее и решительно чиркнул по плечу.— Так и вытащил их всех трех сразу, и живец цел!

За столом сидели и Кука, и Сёзя, и Елена Ивановна. Когда приезжал Веденяпин, всегда обед был веселый.

И дело свое Веденяпин высказал также шутя, так что Антон Антоныч долго не хотел верить: смеялся и махал рукой. А дело было простое, мелкое: Веденяпин предлагал ему застраховать через него у знакомого агента солому. Агент был новый, и Веденяпин хотел помочь ему, как другу.

— Та на черта мне ее страховать, когда я ее продам и уеду, и звания моего тут не останется, а? — спрашивал, горячась, Антон Антоныч.

— Хорошо, уедешь, а если она сгорит раньше, чем ты уедешь? — спокойно говорил Веденяпин.

— Да как же она может сгореть? Од-чего сгорит?

— От огня, Антон Антоныч... От искры, например: из молотилки искра — и... и пойдет чесать.

— Га!.. Искра!.. А люди где же? То ж ведь не без людей молотят?.. Да куда ей там долететь, к чертовой матери, искре!..

— А ночью?

— А ночью не молотят, как сказать! Чи ты игде видел, шо молотят и ночью?

— Не молотят, а подожгет кто-нибудь ночью. Спичку бросил — и пошел. Ведь соблазн: как крыса в керосине вспыхнет... Я бы и сам поджег, не утерпел.

— А сторож, как сказать?

— Какой сторож?

— А-а... говорить с тобой! Какой сторож? Сторож, ну! Не чучело, как сказать, не китайская пушка, шо из картонки лепьят... сторож!

— Вот он-то сам закурит и подпалит... Знаем мы этих сторожей саврасы...! Я у себя до последней булавки все застраховал... Как ...ошему соседу, как другу тебе советую,— пойми!..

Говорили так долго.

Почему-то тихая, ровная, гладкая речь была у крикливого обыкновенно Веденяпина. Враль, но что ни скажет теперь — все какая-то неоспоримая правда. Застраховать солому нужно было, это знал и Антон Антоныч, но думал, что незачем это, так как через несколько дней думал продать ее Голеву вместе с хлебом, и в то же время верно говорил Веденяпин, что Голев обесценит солому,— знает, что продать ее нужно к спеху.

Вечером, при двух свечах в стеклянных абажурах, на балконе, который сам по своему чертежу сооружал Антон Антоныч и к которому чувствовал поэтому доверие и отеческую нежность, Веденяпин вписывал в привезенный им печатный листок все, что вписывается при страховках.

Початая бутылка вина стояла на столе, недопитое вино вишнево рдело в стаканах. Елена Ивановна то выходила на балкон из комнат и, молодо улыбаясь, певуче, как всегда при гостях, говорила о чем-нибудь задумчиво девичьем: о том, какие большие звезды осенью и как будто «пушистые» и скоро начнут падать «массами»; о том, что в этом году совсем, кажется, не было майских жуков,— что они вообще не каждый год бывают; о том, что она уже устарела для того, чтобы следить за модой, и одеваться так, как

свободней; то уходила в комнаты затем, чтобы поговорить с кухаркой Дашкой — бабой лет сорока — о завтрашнем обеде, принять счета от конторщика Митрофана и сыграть не совсем послушными пальцами какой-нибудь старый этюд на рояле.

А Антон Антоныч следил за Веденяпиным: шагал по балкону, пил вино и заглядывал через плечо друга, не написал бы чего-нибудь лишнего. Но Веденяпин был серьезен: он деловито дышал своим круглым обросшим носом, склонил широкую, татарского склада голову влево и писал, приговаривая вслух: «Четыре стога соломы... пшеничной... стоимость... тысяча шестьсот рублей...»

Сразу за крыльцом было темно, и в темноте этой сверху лениво теплились звезды, снизу — лениво же вспыхивал и потухал вечерний собачий перелай: перелаивались собаки усадьбы с деревенскими собаками; должно быть, передавали друг другу вздорные, мелкие, глупые житейские новости, скопившиеся за день. Антон Антоныч шагал по балкону, втягивая в себя эту теплую, привычно звучащую темноту и розовые блестки в вине, запах соломы, тянувшийся с тока, и думал умиротворенно о жене, что вот она подобрела с тех пор, как получила свои сто тысяч,— посвежела, подобралась, даже ходить стала как-то ветреней и моложе... шельма-баба! И о Веденяпине думал весело, что он поездит так по помещикам и ни с того ни с сего получит от своего друга-агента сто — двести рублей... охотник, шельма! И о соломе думал по-родному, что хорошо все-таки, что он ее застраховал.

Встал Веденяпин.

— Подпишись вот здесь — и конец.

— И ко-нец! — нараспев повторил, садясь, Антон Антоныч.— И ко-нец, милейший мой, ко-нец!..

Но когда, подписавшись уже крупно и четко четыреугольными буквами, взглянул он на Веденяпина, он заметил, что тот, держа руки сзади, медленно шевелил большими пальцами, палец за палец, точно веревку сучил. Антон Антоныч поглядел онемело в лицо Веденяпина. Над синеватой белизной кителя высоко и спокойно поднялись желтые глаза, полуспрятанные в жестких, морщинистых веках; нижняя губа выпятилась ожидающе строго, и округлел сизый, каменно твердый подбородок. И в то же время как-то неясно почувствовал Антон Антоныч, что никого нет, кроме него, на балконе, что свечи только здесь, а дальше темно, и пахнет сосною.

— Ты... пальцами что сучишь? — пробормотал Антон Антоныч.— Ты... не сучи!..

— А? —нагнулся к нему, не поняв, Веденяпин.

— Не крути... Не люблю я, когда у меня под носом, как сказать... так вот... Не люблю!

— Ты что это?.. Ты подписался?— спросил Веденяпин.

— Я подписался,— ответил Антон Антоныч.

— Ну хорошо... И давай деньги.

— И хорошо... А, конечно, хорошо... Чем же плохо?.. И дам деньги...— медленно ответил Антон Антоныч.

Руки Веденяпина отошли от спины и уперлись в стол рядом с руками Антона Антоныча. Он посмотрел на эти почернелые от загара руки с длинными паучьими пальцами, вспомнил, что Веденяпин должен был уйти из полка за нечистую игру в карты,— и вдруг взял его за правую руку своей, подобрал один к другому эти пальцы и сказал:

— А ну, брат, чи у тебя рука крепче, чи у меня? Жми изо всей силы, так, чтобы аж... кровь из носу, ну-у? — И встал.

Веденяпин был выше Антона Антоныча, но чуть-чуть на носки приподнялся Антон Антоныч, чтобы серые глаза его пришлись вровень с желтыми глазами Веденяпина. Веденяпин был лет на пятнадцать моложе Антона Антоныча и шире в плечах и руках, но всю свою упругую степную жилистость из всех уголков тела собрал Антон Антоныч. Веденяпин улыбнулся, оскалил клыкатые зубы и сузил глаза, но закусил губы Антон Антоныч и в корнях волос на темени чувствовал бегающий холод.

— Ну, та дави, не бойсь!.. Та не бойся, дави смело!.. Ты ведь силач, охотник, как сказать, о-фицер!— пропускал сквозь зубы Антон Антоныч.

И так, неизвестно сколько, но показалось, что страшно долго это было. Он видел, что перестает уже улыбаться Веденяпин, что под кителем напружилась и разгладила складки грудь, и плывут уже на смену ближним дальние запасы сил, широко смотрел прямо в желтые глаза и говорил полушепотом:

— А шо, малый, га?.. То как будто и не так легко это, га?

Почувствовал, что передвигает свою ладонь ближе к его пальцам Веденяпин,— и крикнул, откачнув голову:

— Чест-но-о! Т-ты-ы...— и глубже посунул на прежнее место свою ладонь.

— Будет! — рыкнул вдруг Веденяпин, выдернул и добавил: — Ты, этого... Я двумя пудами крещусь, а у тебя какая такая особенная сила... То же!..

— То уж бог его святой знает, та бог знает, та бог знает...— довольно разминал свою руку Антон Антоныч и, заглядывая сбоку прямо в его желтые глаза, смеялся весело.

Уехал — пропал в темноте — Веденяпин на своей пегой лошади. Утром Антон Антоныч поехал в город, а когда приехал через три дня,— узнал, что загорелись два стога соломы и сгорели дотла, что едва отстояли другие два стога и постройки, что нашли в соломе какие-то пропитанные фосфором тряпки и в умышленном поджоге обвиняют его.

VII

Никогда Антон Антоныч не пел, не играл ни на каком инструменте, не свистал даже в шутку, и все-таки какое-то певучее было у него тело. Точно духовой оркестр играл далеко где-то, сзади его, но на всякий звук в этом оркестре отзывался он: просто врывались в него звуковые волны и пели.

Бурно играл оркестр, точно дирижер был весело пьян и не хотел уже признавать никаких andante и moderato, и выпуклой круглотою щек щеголяли флейтисты, и медногруды были те, что дули в медные трубы. И если и делал иногда паузы оркестр, то только затем, чтобы тут же, собравши силы, броситься далеко вперед тигровым броском, этаким упругим, ловким и ярким, не знающим промаха.

И так как-то за все свои пятьдесят семь лет, не зная нот, читал все-таки какие-то сложные ноты Антон Антоныч и, не умея танцевать, шаг за шагом строил свою жизнь, как несколько запутанный, но все-таки правильный бравурный танец.

Антон Антоныч вставал раньше рабочих, по не просохшей еще росе объезжал поля, часто врасплох заставал мужицких лошадей на потравах, сам их ловил, связывал их оборотью, пригонял табунком в усадьбу и отпускал только под штрафы. Земли в аренду сдавал мало и арендные деньги требовал вперед сполна. Ругался так разнообразно, что

даже мастера по части ругани в Тростянке не все понимали, и долго — минут по двадцать без передышки; и на слово и на руку был скор. Даже то, что у него в полях не было почти толоки, что и земле своей он не давал отдыха и каждый год выжимал из нее соки,— возбуждало против него тростяновцев.

Имение свое здесь Антон Антоныч купил лет семь назад и, кроме Веденяпина, не дружил ни с кем из окрестных помещиков.

Сёзя, беленький, тонкий восемнадцатилетний мальчик, сам выехал на станцию встречать отца и первый сказал ему о пожаре. Так это и вошло в Антона Антоныча тонкой, белой, широкоглазой, жалящей струей: был пожар, сгорела солома — поджог.

В это время стоял благодатный, золототканный, пахучий вечер. Только что зашло солнце — еще виден был прорвавшийся сквозь облако одинокий зеленый луч, земля чуть заметно осела вниз, и чуть поднялось небо, и синий околыш новенькой студенческой фуражки Сёзи отсвечивал кротким лиловым.

Антон Антоныч сидел в коляске рядом с правившим Сёзей, как-то особенно тесно чувствовал себя в нем, и то говорил с ним, как с самим собою, тихо, то вдруг кричал так, что серая лошадь поджимала от неожиданности хвост, фыркала и прядала ушами.

— Митрофана избили...— рассказывал Сёзя.

— Кто ж смел? За что? — кричал Антон Антоныч.

— Да он... тряпки эти самые с фосфором прятал... Мужики и избили...

— Зачем прятал?

— А черт его, дурака, знает, зачем? — раздражался Сёзя и не смотрел на отца: насупясь, смотрел в переплет шлеи и дергал вожжи.

— Стало быть, Митрофан поджег? А?.. Шо я ему, вору, розчет даю, шо не беру з собою, так за это он мне?.. — тихо спрашивал Антон Антоныч.

— Да нет... его не за то били, — уклончиво ответил Сёзя и зачем-то тонко сплюнул сквозь зубы, чмокнул и присвистнул на лошадь.

— Та говори ж, за что? Што ты, как беззуба баба, ррот прячешь за пазуху... а?

Сёзя молчал.

— Так за побои они, мерзавцы, ответят по зо-ко-ну! По зо-ко-ну ответят скоты! — кричал Антон Антоныч. — Тож такого зо-ко-ну нет, как сказать, шоб людей бить зря!.. — и добавлял вдруг тихо: — А може, и не зря его били?

Сёзя посмотрел на отца вполоборота, кашлянул и сказал твердо:

— Били его за то, что... будто он тебя покрывает.

Сказал и отвернулся.

— Ме-нья? Как ме-нья? — медленно спросил Антон Антоныч, приподняв брови.

— Да будто это ты тряпки в стога засунул, когда уезжал... — несмело взглянул исподлобья Сёзя.

— И-я-я?

— А потом фосфор воспламенился, когда высох, — и загорелось... — докончил и отвернулся Сёзя.

— Я-я? Как, я? — привстал на сиденье Антон Антоныч.

Ободренный его оторопью, Сёзя повернул к нему все вспыхнувшее лицо и заговорил сбивчиво:

— По усадьбе шарили, тебя искали... «В двух шагах от хат от наших солому жечь?.. Где он, кричат, мы ему руки-ноги свяжем!..»

— Мне-е?

— «Свяжем да в... огонь...» Сжечь тебя хотели...

Сёзя улыбнулся длинно и криво, а на большие глаза его подступили непослушные слезы.

— Так вот так и кри-ча-ли: «Сжечь!»? Га? — вскрикнул Антон Антоныч.

Сёзя смотрел в его глаза под косыми бровями, круглые, жаркие, как те стога, что горели, и молчал.

— В ог-гонь?

Молчал Сёзя.

— Так как же вы?.. Кто ж был дома?

— Никого не было, — сказал Сёзя.

— Де ж вы были?

— Мы?.. На озерах... охотились...

— Ну, то смотрить, хлопцы, шоб я ввам ттакой охоты не дал, шоб аж-аж-аажж!.. Шоб я ввам рружей не пполомал в щепки!.. В щепки, слышишь?.. Дай вожжи!

Вскачь пошел серый, вскидывая задом, мотая мордой. Миновал усадьбу Антон Антоныч и врезался в Тростянку со стороны поля. И середь синих от вечера мазаных хат он ехал и кричал, до пьяной хрипоты надсаживая горло:

— Так в огонь мен'я, га? В ог-гонь, ха-мы? Сжечь мен'я живым, га?! То вы не плохо придумали, ах, злодеи, шельмы,

анафемы, арестанты, га!.. Так вы меня, как кабана, как каба-на смоли-ить хотели, а-а?.. Та не много ли вы для меня одного соломы спалили, не много ль, не много ль, злодеи?.. В ог-гонь?.. мен'я?.. Руки-ноги связать?.. Вспо-мню вам это!.. Я ввам вспо-омню эт-то!.. Вспо-омню!..

Кричал и грозил кулаком, твердо стоя в коляске, и в то время как Сёзя сбоку нетерпеливо, боязливо ворча, хлестал кнутом по ногам серого, Антон Антоныч удерживал его на тихой рыси вожжами.

Стая собак со всего села мчалась и лаяла вокруг коляски, старухи и ребята выглядывали из отворенных калиток и окошек, и на выезде из села попалась смутная кучка парней и тоже начала что-то кричать и тюкать вслед. Так покачнулось и дало первую трещину то, чем жил Антон Антоныч.

VIII

У приказчика Митрофана белки глаз были красные, щеки сырые, вязкие, борода редкая, в дюжину волос, вид понурый. Подробно рассказал он Антону Антонычу, как молотили, как, обчесывая граблями, доставали бабы с одного стога солому и вычесали мокрый сверток, похожий на затычку от кувшина, как подняли крик, потому что сверток дымился, и как он подобрал и спрятал его в землю в саду. Только успел спрятать, как загорелся вдруг крайний стог, а за ним на глазах у всех, без всякой причины, другой рядом. Ветер дул на сельские хаты, и сбежался народ.

— Просто, можно сказать, бунт начался... так что если бы не урядник наш, вряд ли мне и живому быть... — говорил Митрофан.

— То ты и поджег, а? — не вытерпел и схватил его за плечи Антон Антоныч.

— Я?.. Зачем мне жечь?.. И у меня, притом же, шесть душ детей, как вам известно.

Смотрел укоризненно и мигал глазами.

Среди амбаров, замасленных записных книг, мелкого плутовства и умеренного пьянства по праздникам, тихо и бесцельно текла жизнь Митрофана, и как единственное оправдание этой жизни выставлял он постоянное свое — «шесть душ детей», но в оправдание это сам плохо верил.

— Так кто же поджег? Черт поджег?

— Не знаю уж я, — развел Митрофан руками. — А мужики на то осерчали, что на их хаты галки несло... И близ-

ко ведь: шагов полтораста, ну, может быть, так, от силы — двести... Самим вам известно.

— А тряпки эти, как сказать, зачем прятал?

— Прятал?.. Я это, признаться, больше от разговору... а потом вам хотел доложить... Тут еще машинист Шлыгин, — он, как человек чужой, — подошел, говорит: «Это ты, говорит, спрячь от греха...» Вот и все... И не первый год я у вас служу, и поджигать мне если теперь, рассудите сами, какой же мне смысл?

Не было смысла, это видел Антон Антоныч, и еще видел, что глупое, застывшее лицо было у Митрофана, что вообще служили у него только глупые, застывшие люди,— другие не уживались. Вспомнил, как однажды, осерчав, гнался за ним с незаряженной двустволкой, как он убегал, по-бабьи воя, нагнувши голову, растопырив руки...

Уши теперь у него отчетливо увидал в первый раз — никогда не видел раньше,— уши плоские, прижатые, прямые. Смотрел долго на эти уши, и гадко стало. И как держал его за плечи, обернул спиною и легонько толкнул в эту обвисшую спину:

— Знаешь что, а? И-иди ты, братец, к чертовой матери!

Но Митрофан повернулся, часто замигал красными глазами, покрутил головой и сказал, чего никогда не говорил прежде:

— Вы зачем же так толкаетесь?.. Толкаться нельзя.

— Что-о тты? — вскинулся Антон Антоныч.

Митрофан выждал время и, также мигая глазами, добавил степенно:

— Тоже и кричать так незачем... Зачем же кричать?..

И пока изумленный Антон Антоныч пришел в себя, он уже вполз боком в темный вечер и пропал в нем.

Машиниста Шлыгина спрашивал Антон Антоныч, того, который управлял молотилкой.

Шлыгин был городской слесарь, молодой, костистый, нескладный, одноглазый, когда-то выжгло ему глаз искрой; левой рукою дергал не в такт речи, а правой все приглаживал волосы, торчавшие острыми пиками во все стороны.

— Искусство это,— четко начал Шлыгин,— нашли действительно. Было оно из тряпки, а в тряпке — вата, а в вате уж это самое искусство. И все это в мокром виде — очень правильно было сделано... А садовник Дергузов, так вот прямо и угадал! «Это, говорит, то, чем подпалюют». Вот, хорошо. Митрофан, значит, тряпку спрятал, а мы с Дергузовым искусство взяли: так, кусочек с пол-пальца, как ян-

тарь,— горячее, и дым от него душный. Я его в землю под яблоней и закопал, — не в том месте, где Митрофан, а дальше. Вот, хорошо. Потом, после уж бунта, урядник говорит: «Где, говорит, ты искусство зарыл? Покажь сейчас». Я его повел к месту, стали копать, а там уж зола одна, да так еще — желтые крупинки кой-где — все сгорело!.. Зачем-то в спишешную коробку золы этой взял: «Там, говорит, разберем...» С головой он, урядник! И что он там разберет в земле, в золе?.. Тоже разборщик!

Посверкивал белком одинокого глаза весело, точно сам и заварил всю эту кашу.

— Кто поджег? — коротко спросил Антон Антоныч.

— Я не свят дух, барин!.. Кто поджег — руки не оставил. Тут ума много нужно, чтобы узнать, — отвечал Шлыгин, а глаз его смотрел ярко и весело.

Садовник Дергузов, густобородый, ширококостый, плотно стоял перед Антоном Антонычем, шумно дышал большим бородавчатым красножилым носом, смотрел на него уверенно и сурово и говорил не спеша.

Он не служил в имении — недавно прогнали за пьянство, — работал поденным на молотьбе.

— Фосфором подожгли, это уж известно, — говорил он.

— То ты и поджег, разбойник! Ты? Убью, если не скажешь! — кричал на него Антон Антоныч.

— Это не мужик поджег, — спокойно сказал Дергузов, глядя ненавидящими глазами... — Это нам, мужикам, недоступно... Фосфор этот — его где возьмешь?

— Ты! Ты!.. Ты крыс фосфором морил! — кричал Антон Антоныч.

— Крыс-мышей этим суставом не наморишь... Как же, скажи, пожалуйста, наморить, когда он и в земле-то ишь сгорел, — зола осталась? Уж про свежий воздух и говорить нечего... Как же им морить? Положить в мышеловку да сгонять мышей изо всех нор — скорей его ешьте, а то ему некогда, — сгорит?! По-вашему, так выходит?

— Да ты что мне грубишь, га?

— Я вам не то что грублю, я вам объясняю только...

— Да ты не груби мне, азият, ты не груби, мошенник! Не гру-би-и-и!

Антон Антоныч тряс кулаком перед самым его носом, а Дергузов сдержанно дышал этим носом, пятился к двери, но смотрел на него в упор маленькими серыми, загоревшимися и как будто даже брезгливыми глазами. Так и ушел, не спуская с него этих маленьких глаз.

И кухарка Дашка — существо смирное, кургузое, курносое, черное и рябое — тоже стояла перед Антоном Антонычем, и, прикрывая рот кончиком головного платка, говорила конфузливо:

— Кто ж его знает... — и поворачивалась уходить.

— Ну, ты, может, и слышала что-нибудь?.. Шо ж ты так... зря каблуками пол дерешь... Ты вспомни! — настаивал Антон Антоныч.

— Не знаю уж я, — шептала Дашка и поворачивалась уходить.

Ключник Григорий, ее муж, такой сутулый, точно невидно нес на себе целый закром, и с таким натруженным лицом, морщинистым, обросшим сухими, прямыми белесыми волосами, участливо глядел на Антона Антоныча. Он знал, что его с женою возьмут в новое имение, и опять, как теперь, спокойно из месяца в месяц будут они, одинокие, бездетные, копить деньги; сначала хотелось им накопить до тысячи, теперь было у них тысяча четыреста пятьдесят, и хотелось уже во что бы то ни стало накопить до двух тысяч.

Любовно смотрел на Антона Антоныча и говорил тихо, но знающе:

— Это — народ, не иначе.

Потом он потуплял глаза в землю и добавлял еще более уверенно:

— Не иначе, — народ... Злы на вас очень...

А Фома-кучер догадывался вслух морозно-певучим, как у всех природных кучеров, голосом:

— Говорят, мужику этого не выдумать... а солдаты на что? Эге! Кто из солдат пришел, да они всему обучены... И палить и подпаливать, — они это все могут.

— А шо?! Ага! Ну, да-да-да — солдаты! То ты неглупый малый, Хома! То ты разумный хлопец, Хома, клянуся богом!— ободрялся Антон Антоныч и подносил ему водки.

Нянька Сёзи, старуха Евдоха, жила на кухне. Седела, брудастела, драла перья на перины. Недавно ездила домой в село Бочечки — не ужилась там с братом Трохимом, — опять приехала сидеть на кухне, драть перья.

Сидела, икала, тешила себя тем, что вспоминают ее в Бочечках:

— И-ик! Це мене внучка Улинька згадує... Та чого ты, пташко! Міні хорошо тут,— чого?

— И-ик! Це — вже Ваня!.. Ну и нема чого... Ты — мій хлопчик, милый, милый та щирый...

— И-ик! Це — Трохим! Чого ты, стара собака! Годи́ ему, годи́, а він усе... от ципна собака! Усе горчить та лается!..

Позвал и ее Антон Антоныч. Всех оговорила скороговоркой Евдоха — и своих и деревенских. Слушал-слушал ее Антон Антоныч и бросил, ушел.

Так весь вечер того дня, как приехал, метался он по усадьбе, выспрашивал, выслушивал, вглядывался в лица.

Мимоходом сломал-таки ружье у Куки: поставил его наискось и ударил подбором сапога в шейку приклада. Кука посмотрела на это издали, выжидающе кусая ногти, потом бережно подобрал обломки, а в другой комнате, показывая их матери, говорил, по-детски раздувая ноздри:

— Ну что это такое, смотри, мама! Теперь изволь переменять ложе — черт знает что!.. Мама, сказала бы папе, чтобы папа так не бушевал: ничего из этого не выйдет.

— А что же теперь делать? — спрашивала Елена Ивановна.

— Ничего и не делать, — все равно... Все равно — судить будут!

Елена Ивановна всплескивала руками:

— Ну как же это мо-жно — су-дить! И выдумает чушь неподобную!.. С ума сойти!

Судов она всю свою жизнь боялась.

Во время пожара ее — как-то так случилось — тоже не было дома: ездила в соседний монастырь. На Антона Антоныча теперь глядела виновато. Почему-то напал страх, что мужики подожгут дом, и сама спустила с цепи горластую старую дворнягу Гектора.

А Антон Антоныч провел беспокойную ночь. То широкоглазое, белое и тонкое, что вошло в него с вечера, когда он ехал с Сёзей, теперь заныло, как заболевший зуб.

Антон Антоныч никогда не болел, и зубы у него были все крепки и целы, но случайно единственное лекарство, которое он знал, было от зубной боли. В лекарство это входили: бузина, соль, огонь и вечерняя заря; его, как всегда горячо, советовал он тем, кто жаловался на зубы, — но Елена Ивановна не внесла его в свои записки.

Как в пустых или набитых совсем не тем, что нужно, карманах, всю ночь шарил он во всех приходивших на память людях: беспокойно искал, кто и зачем из мести к нему так замысловато поджег солому. Засыпал, но и во сне думал о том же; просыпался и снова шарил в обысканных местах — и не находил кто.

Раза два выходил, осматривал уцелевшую, пропахшую дымом солому и пожарище, смотрел на сонное село, звездное небо, слушал собак, передававших одна другой вздорные бабьи новости; пил пиво на балконе, а утром, едва только рассвело, поехал к Веденяпину.

IX

Веденяпин жил на своих шестидесяти десятинах, в доме под камышовой крышей, совсем один. Два года назад отвез он в кадетский корпус сына своего Егорушку и больше о нем не справлялся. Давно уже ушла от него жена — не мать Егорушки, — та умерла, а другая, и тоже не знал он, где она жила и как. Иногда приезжали к нему на хутор какие-то набеленные, глупого вида женщины из города, но долго не жили. По зимам и сам Веденяпин уезжал куда-то, и, вспоминая теперь все это о своем соседе, Антон Антоныч думал, что уезжал он куда-нибудь далеко, где его не знали, нечисто играть в карты.

Итак, пока ехал и думал о нем, все в нем казалось подозрительным и гнусным: и то, что он балагур, охотник и враль, и то, что его давно выгнали из полка, а он вот уже сколько лет все носит драгунскую фуражку и китель, и то, что на носу его черным пучком растут волосы: хоть бы сбрил.

Веденяпин умывался, шумно фыркая и заливая пол водою, когда вошел Антон Антоныч.

И после первых, как всегда при встрече двух людей, сбивчивых слов, внимательно вглядевшись друг в друга, вот о чем они говорили:

— Это они, поджигалы твои, тебя здорово, как щуку, поймали,— сказал Веденяпин.

— Да... на живца, — подсказал Антон Антоныч. — Это уж так.

— И, значит, ты теперь — на два выноса: или ты с крючка сорвешься, но уж всю себе пасть раскровянишь, или совсем тебе, милу другу, каюк: вытащат и съедят.

— То уж верно, — сказал Антон Антоныч; потом подумал и добавил: — Ну да как же они меня зъедят? А?

— Так... Ты что-то — глаза у тебя горят... Ты спал ночь?

— Спал... Я так спал, как... как комар на дубу! — Антон Антоныч протер глаза.— На отъ-езде, на самом ко-онце, как сказать... а? Как ящерице сапогом на хвост наступил, а-ах, негодяй, злодей! Вот кто-то зо мною счета звел, то уж звел.

— Угадал тебя, — сказал Веденяпин.

— Да ведь ты ж подумай — уголовное дело, а-а! Вот угадал какой-то мерзавец, шельма, вогабунд! Фосфор! Чтоб ему черти на том свете этим самым фосфором, разбойнику, подлецу!.. Пятьдесят семь лет, как сказать, на свете живу, и хоть бы слышал я про этот фосфор смердючий!

— А еще Кука у тебя технолог, химик — хоть бы он сказал, — вставил Веденяпин.

— Кука? Шо там Кука, — дурак, охотник... Никого и дома не было — ты подумай!.. Чи ты был на пожаре?

— Был.

— Ну-у?

— Что ну? Ты вот по четыреста рублей стог застраховал, а агент приезжал, — говорит, ни в коем случае больше не было, как на триста. На четырех стогах это все-таки как-никак — четыреста рублей лишних... На двух — двести... И меня подвел.

— Как так?

— Так.

— А по каким же, по каким ценам считали, кто это считал, хотел бы я того анафему... дай мне его, я ему з башки коровий рог собью! — разволновался Антон Антоныч.

Самовар внесла босоногая белая девка. В отворенное окно видно было, как бежали небольшим гуртом, наскакивая друг на друга, овцы: останавливались пугливо и опять бежали и мекали и пылили копытцами,— пыль-пыль...

— Ты как-то с мужиками вот... не ладил,— буркнул заваривая чай, Веденяпин.— По правде сказать, ты мужиков притеснял.

— Как притеснял? Чем притеснял? Что я ихних овец на свои зеленя не пускал, так этим притеснял? Так ты ж сам хозяин, как сказать, то ж ты не дама в ро-тонде, шо мужичье колесо за пьять верст обходит, чтобы дегтем, как сказать, не обшквариться... Да овцы до корней, до земли, до основания все съедают, так то уж не зеленя после овец, не зеленя, нет!..

— Ты говорил, что сторож у тебя был возле соломы... был? — перебил его Веденяпин.

— Сторож? — Антон Антоныч посмотрел на него удивленно и припомнил вслух: — Сторож был, как же... Сторожа я знял; как ты тогда приехал, так в ту же ночь знял.

— Зачем?

— А на черта тогда уж и сторож, если застраховано?

— То-то и оно... Тогда уж, конечно, пусть горит,— насупясь, сказал Веденяпин.

— Это ты... об чем?

— Меня ты подвел, вот что... Только успел я своему агенту страховку отвезти, а ты уж и гореть... Подождал бы.

— Так то ты уж не мне говори... не мне, нет!

— А это разве не ты поджег? — улыбаясь, спросил Веденяпин.

— Да тты... ты бы так не шутил! Ты бы зо мною так не шутил, хлопче! — побледнел Антон Антоныч.— То не те шутки, шоб шутить!

— Не те? — спросил, также улыбаясь, Веденяпин.— Так я не буду.

— Ты что же это, а? — сквозь зубы пропустил Антон Антоныч и приблизил к нему лицо.

— Ведь это откуда пошло? — спокойно продолжал Веденяпин.— Подозрение на тебя пошло с мужиков. Ты вот, говорят, поехал рано утром, потом приехал назад, походил между стогами, подождал другого поезда и уехал... Так?

— Так,— ответил Антон Антоныч.

— Назад ты действительно, значит, приезжал?

— Приезжал!.. А что ж? Опоздал на первый поезд и приехал... Шо ж я буду три часа на станции сторчать?

— И между стогами ходил?

— И между стогами, как сказать, ходил... На току был, ну да, был! Это ж и все мое хозяйство тут осталось... Где же мне и ходить больше?

Веденяпин свистнул и сказал неожиданно:

— Знаешь ли что, Антон Антоныч, дай мне две тысячи взаймы,— я тебе хорошего адвоката найду: услуга за услугу.

— Адвоката, братец,— да пока меня еще и не судят, как сказать,— я и сам найду...— сказал Антон Антоныч и добавил: — Двух тысяч у меня нет.

— Да ведь ты за имение вдвое против своей цены взял! Как же так нет у тебя двух тысяч?

— Платежей много, ну,— ведь сам знаешь, что платежей много.

— Ты не найдешь такого адвоката,— ты шантрапу найдешь... и проиграешь,— вздохнул Веденяпин и добавил: — В прошлом году у тебя тоже что-то такое... рига, что ли, горела.

— Ну да, рига.

— И тоже как будто ты уезжал в то время... Я ведь не

говорю, а мужики — они народ приметливый — и ригу эту вспомнили... «Походил-походил, говорят, возле риги и уехал. А рига возьми да сгори. А потом, как деньги за нее получил, сгорело-то деревянное под соломой, а поставил каменное под железом...» Думают, чудной народ, что ты за эту ригу бог знает какие тысячи получил... Так, говорят, он и всегда палит...

Говоря это, Веденяпин мешал ложечкой чай. Чижик бесхвостый, задорный, зеленый, оглушительно мечтал на окне о сосновых лесах, и в углу за кроватью ляскала зубами, огладывая кость, собака Лярва, помесь желтого сеттера с белой дворняжкой; ворчала и сухо клацала зубами: клац-клац.

— Так и опять я должен был, значит, поставить деревянную ригу и под соломой? То уж пусть они ставят... Меня бы не учили, что ставить,— сказал Антон Антоныч.— Та у меня еще и катух свиной три года тому назад горел,— и тож без меня горел, как сказать!

— Напрасно, что без тебя,— заметил Веденяпин и добавил: — Ты что же чаю не пьешь? Пей.

Но Антон Антоныч ходил по комнате и на каждом повороте, когда лицо Веденяпина выкруглялось перед ним все, оторопело глядел на эти взлизы на лбу, глаза, запрятанные в пожившие веки, и толстые губы.

Как будто ничего в нем не было похожего на *того* из Анненгофа, и в то же время весь он был *тот*.

И когда Антон Антоныч увидел это, он нагнулся к самому уху Веденяпина и тихо сказал, запинаясь:

— Это не ты ли, дружище, и поджег мою солому, а?

Он обхватил его за шею левой рукой, а правую вытянул вдоль его правой руки, захватив кисть, и виском своим пришелся в его висок, и слушал, слушал всем, чем приготовился слушать с вечера, и казалось уже, что некуда больше идти и негде больше искать,— только здесь.

Но Веденяпин размашисто поднялся, вытянул шею, показал породистый, еще не заплывший жиром кадык и изумленным барским басовым голосом, голосом бывшего ротмистра, спросил медленно:

— Ты... с ума сошел?

И вновь, как прежде когда-то, стояли они друг перед другом, и под тяжелые веки Веденяпина вползал ищущий взгляд горячих серых глаз Антона Антоныча. Но человек ли не тайна? Только что поверил в то, что нашел, и вот уже опять не верил.

Так и сказал:

— Конечно ж, не ты! Конечно ж, нет! Или ты против меня злобу́ имеешь? Так за что?.. Сказал бы мне, чтобы и я знал. Живши, как сказать, душа в душу, как братья, сколько лет,— как же можно, боже ж мой, как можно!..

Смотрел на него, виновато улыбаясь, и ласково, мягко гладил его круглое широкое плечо, выпиравшее из старого кителя.

А Веденяпин засмеялся вдруг, дрогнул одубелыми щеками.

— Плохой из тебя следователь, совсем плохой — и, остепенясь, сказал: — Конечно, из мужиков кто-нибудь поджег.

— Да ведь а я-то что ж? И я то ж самое говорю,— поспешно согласился Антон Антоныч, но посмотрел на руки его, скрещенные за спиной, и добавил: — Зачем ты тогда приехал?.. Нет, скажи, да по совести скажи, зачем ты тогда приехал?

— Как — зачем? — улыбаясь, спросил Веденяпин.

— Или я не мог застраховать свою солому безо всякой твоей помощи, как сказать? Или мне нужно было ее страховать, бодай она вся сгорела бы дотла, до основания! Что ж ты встрял в это дело? Зачем?

— Поезжай-ка ты спать,— сказал Веденяпин,— а вот, когда проспишься...

— Нет, не спать — нет! — закричал Антон Антоныч, закусив губы.— То я знаю, когда мне нужно спать, когда не нужно! То я оч-чень хорошо знаю, когда мне что делать, злодей! А дабы ты ни-ког-да не смел и носу своего показывать в моем доме!.. И носу твоего абы никто, ни одна собака, не видал, слышишь?.. И нно-о-су-у!.. Вот! Кончено! — и вышел Антон Антоныч.

Когда же ехал он полями, то думал не о Веденяпине, а о кузнеце Молочном, у которого нашли в навозе стан новых, украденных в усадьбе колес, и о сотском Журавле, который недавно попался ему самому на порубке в дубовой роще... не они ли теперь со зла подожгли солому?

А около дома ждал уже его щеголеватый урядник Самоквасов: сидел на ступеньках крыльца с кожаной сумкой в руке и вычерчивал около на земле острые углы ножнами шашки.

И вдали возле тока зачернел широкий Голев в своем вздутом муаровом картузе, а на полшага сзади и сбоку его — Митрофан, без шапки: что-то показывал и объяснял, почтительно поводя руками.

В окно смутно было видно Елену Ивановну с измятым белым платком около лица.

Еще сидя на лошади, на крутошеем караковом жеребце Забое, Антон Антоныч крикнул уряднику, перегнувшись:

— Этто что такое? Зачем?

Самоквасов поднялся, по-офицерски приложил к козырьку руку, но с голосом сразу справиться не успел — отрубил по-солдатски:

— По случаю пожара вашего, Антон Антоныч... и вот тряпки найденной...— Улыбнулся искательно, добавил тише: — Для вашего спокойствия... Бельецо ваше хотел посмотреть.

Сказал — и стоял, посвечивая новыми оранжевыми жгутами на плечах, не спуская с лица нерешительной улыбки.

— Что-о-о? Обыск,— изумился Антон Антоныч.

— Не то что обыск, а для удостоверения только...— и опять Самоквасов приложил руку к козырьку против переносья, улыбнулся ободряюще и добавил: — Чтобы в протокол занести, что вот, стало быть, подозрения насчет вашего белья именно основания ни малейшего, то есть почвы...

— Во-он отсюда! — неистово закричал Антон Антоныч.

— Нет, зачем же? — оторопел урядник и добавил, оправившись: — За это вы ответите... Я по приказанию пристава, а не сам... По долгу службы...

— Вон! Сейчас же вон! — кричал Антон Антоныч и направил на него лошадь.

Забой прижал голову к выпуклой груди, выгнул колесом шею и шаг за шагом, бочась и раздувая красные ноздри, наступал на Самоквасова, как сердитый лебедь, и когда отскочил и, повернувшись, пошел из усадьбы Самоквасов, что-то говоря о понятых, Забой довольно закачал головою и победно оглянулся по сторонам.

Елена Ивановна вышла на крыльцо; в растворенные окна глядели только что вставшие Кука и Сёзя; вдалеке из-за стогов соломы выглянули Голев с Митрофаном, и видно было, как мимо них шел Самоквасов и, остановившись, говорил с ними долго, и Голев, слушая, укоризненно качал головою. Потом обернулся Голев, точно в первый раз уви-

дел Антона Антоныча, снял картуз, как платочком, радостно замахал им в воздухе и поплыл к дому.

Здесь за чаем, колыхаясь весь и кивая, он участливо слушал все, о чем говорил Антон Антоныч, и со всем был согласен, а когда вторично пришел Самоквасов с понятыми, среди которых был и сотский Журавель, он первый сказал:

— Ничего не поделаешь с этим — власть!.. Всех нас она пригнетает... Надо пустить.

И Елена Ивановна впустила урядника и сама отворила ему комод с бельем.

Антон Антоныч ушел в кабинет, хлопнув дверью. Без него Самоквасов вынул из сумки и показал Елене Ивановне тряпку, которую нашли перед пожаром: это был рукав рубахи Антона Антоныча.

Елена Ивановна только всплеснула испуганно руками, но Кука сказал, по-отцовски откачнув голову:

— Ничего не значит,— пусть мама не ахает: тряпок наших много валяется на дворе, кто-нибудь подобрал эту — и только.

— Конечно, иначе и быть не может,— ободряюще улыбнулся Самоквасов.— Так мы и внесем в протокол... Хотя, признаться сказать, я уж искал утром: тряпок действительно очень даже много, разных, а такой нет.

Потом, когда Антона Антоныча вызвали к следователю, тот — желчный, сухопарый, с узенькой, смешною, но не смеющейся головою, все ежился, морщился, тер виски, наконец попросил его говорить короче, яснее, не кричать и не слишком сильно размахивать руками.

Антон Антоныч вспыхнул и посоветовал следователю полечиться моционом, кислым молоком и сельским воздухом, «абы быть терпеливей и спокойнее».

Совет этот следователь записал отдельно.

X

Тишина. Октябрь. Анненгоф.

Беззвучно падали иглы с елей и сосен, устилали землю мягко, как церковь коврами. В синих парных туманах таяли колонны стволов. Небу зажгли зеленые свечи сосны, ели — земле, и вверх и вниз курили смолою. Разбежались около усадьбы ограды из подстриженного бобриком боярышника — подцветили зеленое вишнево-красным; важно прошлись кое-где старые липы аллеями вдоль дорог,— да-

ли влажные серые полосы. Столетние рябины расширились во все стороны круглыми кронами неумеренно густо, как старые цыганки, обвесились червонными монистами никому не нужных ягод. Еще достаивали в садах на мызах зимние яблоки, зеленые, как мертвецы, твердые, без запаха и вкуса, среди редких багровых листьев, и листья ждали уже малейшего ветра, чтобы оторваться и упасть, но ветра не было. И березы реяли в тумане, голые, нежные, дымчато-кружевные.

В большом баронском доме комнаты были высокие, торжественно большие, точно нарочно устроенные для гостей, стены холодные, гладкие, разрисованные масляной краской, камины вычурно отделанные цветными изразцами; двери — под дуб.

В этом доме, как две птицы весною, долго искали себе удобного места Елена Ивановна и Антон Антоныч. Сперва поселились в верхнем этаже, откуда из резных окон видны были леса, робкие поля мызников и вновь леса кругом. Но вверху все казалось как-то неуютно, слишком светло и холодно почему-то, хотя и топили по-лесному много. Перебрались вниз, ближе к земле, в левый угол дома, против конюшен и сенного амбара; но тут дымили печи, и нельзя было найти поблизости печника, чтобы их поправить, и тоже было как-то неудобно, пусто. Потом перешли в правый угол, где комнаты были меньше, натащили сюда много мягкой мебели, чтобы сделать их еще меньше, а на окна повесили свои старые занавески — синие с белыми лилиями — и пришпилили их так, точно бурлила вода по крупным камням.

Сыновья разъехались учиться. Елена Ивановна все брюзжала: «С ума сойти!» — даже плакала скорыми девичьими слезами, тоскуя по простеньком доме в Тростянке, потом привыкла: грузно ушла в кухонное хозяйство, в конторские книги и в вырезки из газет.

Всегда один, целыми днями ходил и ездил по своей земле, по лесным дорогам и полями Антон Антоныч. Заезжал к мызникам на фермы, но мызники, латыши, не говорили по-русски; заходил на лесопильню, но пильщики тоже не говорили по-русски. Это были крепкотелые, голубоглазые, спорые в работе молодцы с добродушными улыбками на румяных лицах.

Как немой среди немых вдруг начал жить Антон Антоныч, и пропитанная хвойной смолою тишина была везде перед ним, слева и справа и сзади него.

Однажды, незаметно как-то, часа два подряд собирал он последние грибы, веселые, твердые, розовые сыроежки; набрал большую кучу и думал пойти за ними с корзинкой. Потом вдруг стало стыдно, что по-старушечьи прилежно и долго собирал их,— осерчал, расшвырял и растоптал их ногами. Как-то заслушался дубоноса: сидел дубонос на самой макушке ели и свиристел очень тонко, и очень нежно, и очень грустно, точно не дубонос, а вся эта еловая тишина вдруг улучила время, вырвалась из каких-то тисков и захотела пожаловаться кому-то на вековечный плен. Долго слушал Антон Антоныч, затаив дыхание, чтобы не спугнуть дубоноса, но поймал себя на этом, крикнул и швырнул в него еловой шишкой.

Иногда проходил с рулеткой и мерил срубленные деревья: действительно ли от четверти в верхнем отрубе и от десяти дюймов — в нижнем, как было сказано в договоре, не меньше ли. Перепрыгивал через стволы с не обрубленными еще ветками, считал их длину шагами, есть ли восемнадцать аршин, как было условлено, или больше, постукивал по ним палкой и слушал звук.

Все хотел привести в ясную известность: возьмет ли и сколько возьмет барыша лесопильня; для этого считал вывезенные стандарты брусьев и досок, оценивал обаполы и обзел, макушки и сучья, рабочих и провоз. Целые дни рассчитывал, пока не решил, что для него лично это, в сущности, все равно; так и не досчитался — бросил.

В Тростянке воды было мало; приходилось запруживать маленький ручеек, чтобы было где полоскаться уткам. Здесь же широкое проточное лежало озеро в лесу, с черными, древними корягами вдоль берега. Это озеро кругом обхаживал Антон Антоныч, эту спокойную силу воды он уже представлял в работе, и один при созерцании этого быть уже не мог. Приходил сюда с кучером Фомою и ключником Григорием и, радостно волнуясь, кричал:

— Та шоб у меня здесь своя бумажна фабрика не стояла, а? Так нельзя, нельзя здесь свою бумажну фабрику или, как сказать, сукно-ва-альню поставить при такой воде, га?

— А почему ж нельзя?.. Очень просто можно...— ветрено поддерживал его Фома.

А Григорий ласково смотрел на него снизу вверх и говорил убежденно, кивая головой, но так, что казалось, будто кивал одними ушами:

— Были бы деньги, Антон Антоныч... С деньгами — все

можно... Если место позволяет — и суконную фабрику с деньгами можно, и бумажную... Люди при всем хлеб едят.

— Так у меня ж свои ребята, как сказать, молодцы, инже-неры! — тряс обоими кулаками в воздухе Антон Антоныч. — Та чтобы мы з ними на такой земле кладу не найшли, а-а? Та мы ее руками перевернем, как... как... как перину! Та недаром же я эту землю и покупал, недаром! Вооода... та к этой воде только голову з мозгом припаять покрепче, — да покрепче только, шоб не одвинтилась, — эта вода скажет, шо она думает! Хозяина не было на этой земле!.. Как мы вшпарим з сынами фабрику такую, шоб... шоб... шоб... — И вспоминал вдруг пожар, дело о поджоге, суд, который должен быть весною, и озеро вдруг опускалось, становилось опять спокойным, чужим, окутывалось в подозрительно плотный туман, а на берегу сами по себе оставались они трое: Фома, который пьет, портит лошадей и спит до одурения, Григорий, который потихоньку копит деньги и все гнется книзу, и он. А сзади лес стоял густо-зеленый, почти синий, и в нем где-то далеко жиденький топоришко. И мглистое небо сеялось вниз.

Антон Антоныч махал рукой, поворачивался и уходил от озера, говоря на ходу:

— Это все не такое большое дело, как сказать, было бы терпенье, была бы охо-та... э-э-э... та кирпичные сараи нужно ж ставить, Григорий! Ты там все крысиные хвосты по амбарам, а... а... а дело... Шо там крысиные хвосты считать, черт з ними!.. Оно хоть и правда, что, на зиму глядя, никто кирпичных сараев не ставит, та черт ли нам смотреть... а мы поставим.

И вбили первый новый столб в новую землю; за ним — другой, третий... Работали такие же, как на лесопильне, румянолицые, неторопливые, ладные, немые молодцы, так же тесали свежебрызжущие бревна веселыми голубыми топорами и крыли голые кроквы новым шафранно-желтым, как узкие ломти пасхального кулича, тесом.

А на них, и на сутулого Григория, и на Антона Антоныча с елей, прямых и высоких, сгустивших в слезы туман, все капало тихо, капало тихо, капало...

XI

Тишина — ноябрь. Тишина — декабрь.

Снег начал падать и падал крупными хлопьями уверенно и спокойно. В лесу стало глубоко, светло и чисто. Следы

заячьих прыжков засинели извилистыми цепочками из торопливо спаянных косых треугольников, и густо, и повсюду, точно нарочно, по ночам устраивали косоглазые какие-то свои путаные скачки с призами. Низы молодых яблонь и слив в саду обвязали от них колючим можжевельником; охотились на них; ставили хитрые капканы. Зато для белок повесили на высокой лиственнице возле дома две скворешницы, и в одной действительно поселилась пара белок,— суетились, прыгали, распуская хвосты, как зонтики, шелушили шишки и стрекотали по-сорочьи. Глухари придвинулись ближе к усадьбе. Мызники на лохматых лошадках чаще стали ездить друг к другу в гости; пили пиво и, по обычаю, платили хозяину за каждый стакан.

Антон Антоныч... да вот идет по дороге к усадьбе сам Антон Антоныч и с ним старик Тифенталь, школьный учитель. Школа его близко от усадьбы — деревянный домик в пять окошек, около — куча дров, три синеньких улья, на зиму укутанные щитами из соломы, и какие-то тонкие деревца на кольях.

У Антона Антоныча теплая куртка, опушенная серым мехом, высокие калоши на высоких сапогах, шапка с казачьим верхом, толстая палка.

У старика Тифенталя — широкая, прочная, как ломовые сани, сутулая спина, но ноги уже не доверяют пространству: жмутся близко одна к другой и при каждом шаге шмурыгают, щупая землю. Бородатое лобастое лицо в бурых морщинах, но раскосые глаза из-под синих очков глядят лукаво и затаенно-проказливо, как у ребят. На нем зеленое от старости пальто с хлястиком, шапка с ушами. Говорят.

— У лошади четыре копы́та, добрейший герр Тифенталь, только четыре, но не пьять,— говорит Антон Антоныч.— Никто не скажет, что пятое было́, а она его отшибла... Так и в данном случа́е... О-о,— этто нужно знать да знать! Этто нужно отлично знать и по-омнить, абы не было промаху! Если местность позволяет вам, как сказать, держать три улья,— то из этого не следует, что она может содержать триста колод,— нет, добрейший! Тут им негде брать взятку, пчелам! Тут они з голоду здохнут,— пчелы!.. А вот птицы здесь развести как можно больше, так... так... так, шоб аж кричало-орало все од птицы — резо-он! Этто резо-он!.. Как жарну я весною триста гнезд — не триста колод, а триста гнезд, вот то так! Тут при такой воде гусей нет — ведь это страм! Два десятка гусей, как сказать, и те

замордованы, зачичканы... Хозяйство!.. Это не хозяйство, добрейший!

— Ну-у-у... Это мне-то понравится — гуси... Это хорошо-то,— соглашается Тифенталь, мирно кивая шапкой.

— Тут молочным хозяйством увлеклися было, а сыроварни нет! — наклоняясь к самому лицу Тифенталя, кричит Антон Антоныч.— А сыроварня при этом деле — это, добрейший,— как... как... как за обедом кошка под столом: абы все подлизала языком, стерва, абы ни одной капли не осталось на полу,— вот так-то, милейший герр Тифенталь, вот так!..

И Антон Антоныч обнимает его за плечо и ласково трясет на ходу.

Старик поднимает палец — широкий, плоский и с желтым жестким ногтем,— тихо водит им и, показывая на голову Антона Антоныча, говорит:

— О-о-о-о! Там так-то, как котел, кипит-то: фру-фру-фру-у...

Это выходит у него высоко и тонко, как фальцетное пение, он косит добродушным глазом, и морщины на его лице проворно строятся в длинную затяжную, как зима, улыбку.

День солнечный, теплый, такой, что Антон Антоныч говорит о нем: «Теплее, чем... чем валенки...» И Тифенталь соглашается: «Да-а... Ну-у, как тулуп-то...» — и кивает ушатой шапкой.

От снега идет уверенность в чем-то неизбежном, и он весь лучится мелкими иглистыми колкими лучами. У молоденьких, густо облепленных елок вдоль дороги кокетливо-важный вид, как у пухлых институток на общей прогулке. На лапчатых соснах повисли пышные тяжести желтыми и синими рыхлыми грудами и держатся цепко. И пахнет: смолою, снегом, горелым копытом из кузницы под усадьбой, дорогой и только что испеченным где-то на мызе ржаным хлебом.

Герр Тифенталь все хочет повернуть и уйти к себе в школу, все прощается и берется за шапку, но уйти от Антона Антоныча нельзя.

— Тоже еще — скажите пожалуйста! Комэдия! — говорит презрительно Антон Антоныч.— Шо вы там такое у себя не видали, добрейший?.. Глобус?

И герр Тифенталь идет с ним обедать в дом.

За обедом старик говорит о том, что он служит здесь уже сорок лет и что все хочет купить рояль, для чего за сорок лет скопил сто рублей.

— Ну-у-у, они не здесь-то,— там, в банке,— машет он гордо рукою.— Сто рублей-то!

— Да какой же рояль вы купите за сто рублей? Что вы, герр Тифенталь! — пышно колышется от смеха Елена Ивановна.

— Не-ет, нельзя, добрейший, не-ет! — качает головой Антон Антоныч и наливает ему вина в стакан.

Старик и сам знает, что нельзя, но у него есть тетка — живет на своей мызе в тридцати верстах — у нее какие-то деньги; к ней — вот уже шесть лет — в праздники летом он ходит пешком, неуверенно шмурыгая ногами, и у нее просит еще хоть пятьдесят рублей на рояль, но она не дает.

— Восемьдесят и два еще года-то... Ну-у-у... сто лет-то жить хочет,— разводит он извиняюще руками.

От рояля Елены Ивановны он не может отойти, не попробовав косными пальцами звук. Потом незаметно садится он, хитро оглядываясь косыми глазами, и вот уже бьет по клавишам и, раскачиваясь, поет разбитым, но убедительным голосом:

Что он ходит за мной,
Всюду ищет меня
И, встречаясь, гле-едит
Так лукаво всегда?

Он щурится, отбрасывает назад голову и поводит синими стеклами очков влево, вправо:

Слова нет, он хорош,
Брови, нос и лицо,—
Но глаза...— за глаза
Ненавижу его... Ха-ха-ха!

Смех здесь как будто не нужен — так кажется Антону Антонычу, и как-то нехорошо он выходит у старика: глухо и совсем не весело.

Голубые они
И так жарко горят,
Но как яду полны,
Будто съесть вас хотят... Ха-ха-ха!..

Антон Антоныч садится перед ним с кружкою пива и смотрит.

Сумерки подсинивают окна. В комнатах повисает что-то вроде тонких серых паутинок. Начинается это с потолка и углов, потом выползает и спускается ниже. Дашка в столовой, как что-то вечное, гремит посудой. Елена Ивановна

пьет чай. Здесь почему-то она пьет чай без перерыва весь день, иногда и ночью, и самовар выносят только затем, чтобы внести другой. От терракотовых тарелок на стене напротив легли направо правильные тени в виде черных полумесяцев. У стульев с высокими узкими спинками вид неприятный, поджатый, как у необщительных, сухих людей. Тифенталь сед и днем отчетлив, но от сумерек он становится расплывчатым, мягким, и что-то есть в нем мышиное, серое: появится и исчезнет.

Антон Антоныч медленно пьет пиво и слушает.

Ах, отстаньтесь, прошу,
Не следитесь меня,—
Этих дьявольских глаз
Я боюсь, как огня!..

Старик откачивается и делает вид, что боится каких-то дьявольских глаз: он поднимает руки вровень с лицом и прячется за этими широкими, но теперь, в синих сумерках, как будто мертвыми руками; но боится не он — боится Антон Антоныч. Это не боязнь, может быть,— это только близость боязни, что-то беспричинное, что бывало с ним только в детстве, но он морщится, чмыхает носом, говорит:

— Э-э-э... этого... гер Тифенталь, как сказать... Как-то у вас голос... простужен, га? Ну, дребезжит, как... как горшок худой... Вы меня простите, голубчик, ну, а только дребезжит, как... как собаке к хвосту жестянку от сардинок привяжут если, да тюкнут, а она по дороге вскачь... в карьер!..

— Неправда, неправда, гер Тифенталь! Хорошо, очень! — защищает его Елена Ивановна из столовой.— Прекрасно!

— А может, я не понимаю в этом деле, так тогда я и судить не могу,— говорит отходчиво Антон Антоныч,— а только мне так шо-то казалось, что...— И усиленно трет пальцы.

— Ну-у-у... Я старик-то,— объясняет герр Тифенталь.— Мне шестьдесят лет и восемь-то...

Нижняя губа его отвисает, глаза тухнут, и долго обиженно бренчит он без всякого толка и ладу, пока не начнет своей второй песни о деревянном гусарике. Тогда в сумерки, густеющие все сильнее, врывается совсем пискливый голос старика, от имени «малютки-красотки» пристающего к маме:

Какие здесь, мама, игрушки,
Букашки цветущей степи!..
А вон деревянный гуса-а-арик,
Гусарик, мама́, о — купи!

Антону Антонычу старик кажется маленьким и хитрым: почему живет он так, как живет, зачем ему рояль и зачем он поет это,— не может понять Антон Антоныч. Пройдет год или два — едва ли он будет служить в школе: если не умрет к тому времени тетка,— отвезут его в богадельню. Тени густеют. Звуки рояля, тупые, глухие, где-то около сыплются, как горох; голос — точно ножи точат. Мать предлагает девочке ларчик, но девочка хочет гусарика:

Не нравится, мама, мне ларчик,
Не нравится ларчик мне твой,
Мне мил деревянный гусарик,
Гусарик, мама́, о — купи!

Антон Антоныч знает, что потом старик уйдет к себе в школу, где он жил сорок лет один; ляжет спать — один; проснется — один.

Когда старик уходит, то просит Антона Антоныча, если поедет в город, купить ему книгу «В чаду любви».

— Я это люблю-то читать... про любовь-то... Ну-у, это мне-то понравится!

И при свече в передней глядит на него хитрыми косыми синими стеклами.

XI

Деревья в инее. Спокойная, холодная, чистая красота земная. Солнце в тонком дыму. От солнца сочится к деревьям свет притушенно-красный. На укатанной дороге гладкие следы от полозьев блестят, как медные обручи. Звуки влажны.

Антон Антоныч говорит помощнику уездного начальника Подчекаеву:

— Но только, дорогой мой Иван Асинкритыч, не однотавровые балки в потолки,— нет! Однотавровая балка на таком большом перегоне, как сказать, обязательно даст про-вес... Однотавровая балка мя́гка,— сюда ней-дет, нет!

— Да ведь я по этой части швах швахом! Не знаток, не знаток, совсем не знаток! — поспешно отзывается Подчекаев.— Я про эти балки так только вспомнил, что вот по слу-

чаю купить можно дешево,— думал, вам на постройку кстати, только-только, а то ни-ни... Знаете ль, Антон Антоныч, снегу уж очень много набивается в калоши, и все прочее. Мы бы лучше когда-нибудь после, а?

Подчекаев небольшой, плотный, и так как-то все у него — и голова, и усы, и плечи, и шинель, и сапоги — плотное и небольшое; и шаги он делает небольшие, но ноги ставит плотно к земле. Глаза у него черные, бойкие, в набрякших веках, щеки круглые, молодые, чисто выбритые, лоснятся и при ходьбе чуть дрожат. Погоны лежат дужками, выгнуты в середине.

— Та-ак!.. Шо ж так после? — укоризненно смотрит на него Антон Антоныч.— И тут же все-таки тропинка, как сказать,— сквозь проруби рыбу ловят,— за сто пятьдесят рублей сдал, дешево. Ну абы...— Тут же з салазками ездят... Ну, посмотрим — и завтракать!

— Да я ведь знаю, господи Иисусе!.. Раньше вас это озеро знаю, знаю... Ведь вот хотел вам балками угодить,— не сумел... а озеро это я отличнейшим манером знаю. Полиция все должна знать.

Он поворачивается на каблуках, окидывает бойкими глазами сосны в инее, берет под руку Антона Антоныча и говорит ему тихо, но убежденно:

— У вас, Антон Антоныч, по угодьям, и все прочее, имение такое, что в уезде равного нет... другого такого нет, поверьте!

— А шо! — радостно вскидывается Антон Антоныч.— Ну, да я это еще когда покупал, дорогой Иван... а-а... как сказать... Асинкритьевич,— еще тогда видел!.. Это я еще тогда,— глаза в руки,— и — и отлично видел! Где что лучшее, то я вижу, то уж от меня не уйдет, тому нужны дики козьи ноги, чтобы от меня уйти!.. Это именье, как... как сторублева скрипка, но-о без смычка, только без смычка, голубчик, только приставь к ней смычок к струнам... э-э-э!.. То не я буду, если я из этого не сделаю... божьего раю!.. То не я буду!..

Антон Антоныч грозит кулаком и кричит, и голос его здесь, в лесу, где звуки влажны, полносочен и ярок, а сосны слушают и молчат — устойчиво молчат каждой иглой, опушенной синим инеем, и идущий впереди к дому Подчекаев стережет каждый свой шаг, как бы не набрать снегу в калоши, и из-под околыша форменной фуражки его выплывает светлый затылок, плотный, уверенный в себе и обидно спокойный.

Минуют кузницу, людскую, красивый овин — двухэтажный, с округлыми окнами, но когда идут мимо теплицы, тут уже не может удержаться Антон Антоныч: он берет Подчекаева за обе руки и тащит его смотреть, как цветут лимоны, азалии, фукции и герань. Тут он возится сам с этими мирными, доверчивыми, беспомощными, как грудные дети, горшочками и горшками, поливает, обрезает ветки, меняет землю. Тут у него парничок, где поднялись зеленым пучком помидоры, обвились возле палок бобы, приникли к теплой черной земле усатые огуречные плети, и арбуз нерешительно распустил, как веер, первый сочный глубоко надрезанный лист и думает, распустить или нет второй.

— Гетман! — радостно показывает на этот лист Антон Антоныч.— Сорт такой: «Гетман»... Красномясый, здоровенный будет такой, как... у круля голова... З собой семена привез... А это... новопавловский белокожий... Плохо всходит: этого лета семена, этой сборки... Нужно, чтоб три года семена лежали та сохли,— вот тогда...

— Зачем три года? — удивляется Подчекаев.

— Ну да, три года — это уж по опыту так, как сказать... по опыту, голубчик...— Антон Антоныч пробует пальцем, насколько суха земля, и добавляет: — Вот вам, видите,— есть таки старики, що спят на печке да угорят, а их из хаты на холод, да голову снегом облепьят,— аж глядь: оживают, оживают,— хлоп-хлоп глазами,— хлоп-хлоп-хлоп... От так наши кавунцы та огурцы... Ведь что сделал тут у меня такой богом убитый,— свинопас, а не садовник,— не полил день, не полил два, не полил ттри... а бодай тебе гадюку в ребра, смотрю — здыхают, как не живы... А теперь вон они какие веселые,— бач?! Какие гички пустили, как... лук-пырей!.. Когда полить, когда промолчать, на все это есть свое время, голубчик... Доходу от этого не ждем, ну, а-а-а... смотреть абы на что,— и то пчеле мед... Подсолнух вот... толку з него, как от жабы сала,— ну, абы... Пусть сторчит, на восток дивится...

От удушливого пыльного запаха герани, и цветущих лимонов, и медовой розовой травки Подчекаев чихает и говорит: «Правда!» Чихает еще раз и говорит: «Истинная правда!..»

А в доме жена Подчекаева Марья Петровна и четырехлетний сынок Никаша, и около них хлопочет Елена Ивановна, и Дашка на кухне поджаривает колбасу и навагу.

Марья Петровна высокая, белая, с рыжеватыми пышными волосами и длинным тонким носом. Прическу она

сделала высоко взбитую, как крыши шведских домов, и в середину воткнула широкую гребенку с зелеными блестками. Елена Ивановна смотрит на нее любуясь и говорит певуче:

— Вы, Марья Петровна, совсем как Мария Стюарт!

Марье Петровне это кажется преувеличенным, но она довольно извивается покатыми плечами, краснеет в тех местах щек, где шелушится пятнами кожа, и зачем-то разбирает на груди пальцами правой руки складки кружев. Елена Ивановна любуется ее длинными пальцами, и покроем платья, и кружевами, спрашивает, как называется материя, попутно говорит, что она уж старуха, что ей уже незачем следить за модой.

— Вот когда дети женятся,— вдруг женятся все сразу,— подумайте, три невестки, сколько это гардеробу будет!.. Нет, пусть уж тогда врозь живут, а то поссорятся...

И она машет руками и вся грузно колышется смеясь. Когда же уходит к себе в спальню, то там меняет свою брошку — золотую завитушку с бирюзою — на другую, в виде бабочки с алмазными крыльями, накидывает на плечи косынку из козьего пуху и чуть-чуть прыскает на платье гелиотропом из забытого граненого флакона.

А потом маленький Никаша, круглый, глазастый, тонконогий мальчик, в бархатной синей курточке и в стукотливых сапожках, повисает, перегнувшись, на одном из мощных колен Елены Ивановны и говорит твердо:

— Тетя, ты зачем надулась духами? У тебя под мышками пот?

Приходит Антон Антоныч с Подчекаевым. Завтракают шумно. Подчекаев сидит рядом с женой, семейно хлопает ее по спине и шутит:

— Жена моя единоутробная!

Марья Петровна привычно краснеет, извивает плечи и шею и отвечает грозя:

— Погоди, рожу тебе двойню — двуутробкой буду.

Подчекаев притворно пугается:

— Боже тебя избави,— двойню! Боже сохрани!.. Прокляну и брошу.

А Елена Ивановна вставляет сияя:

— Неправда, будете очень рады... Вы детей любите, это уж по глазам видно... И кто не любит детей,— тоже видно: этого не скроешь!

Когда говорит что-нибудь Елена Ивановна, то говорит веско и убежденно, всю свою сельскую неторопливость

вкладывая в каждое слово; от этого кажется, что слова ее похожи на ее тяжелый спокойный двойной подбородок.

Антон Антоныч пьет потому, что навага плавала и свинья — матери ее черт — должна когда-нибудь плавать. Пьет и Подчекаев, вспоминает Кавказ, где он когда-то служил, и поет «мравал жамие». Марья Петровна видит, что у него мутнеют глаза и нависают верхние веки, и шепчет:

— Офонареешь, не пей больше.

— Я? Офонарею? Ни за что! — бодрится Подчекаев и объясняет: — Это у нее есть брат, мой шуряк, Василий,— тот фонареет: напьется, станет к стене и стоит, как фонарь... долго... целый час... ей-богу!..

Даже Никашу заставляют пить вишневую наливку, чтобы приучался с малых лет к вину и не вышел пьяницей, когда вырастет. Потом его упрашивают спеть, и он выходит, храбро стукает каблучками, кланяется и, старательно фальшивя, поет:

Бросьте ваши шалости,
А не то как раз
Я без всякой жа-алости
Расцелую вас!

Антон Антоныч хохочет, подкидывает его к потолку, тормошит, щекочет и целует.

Но когда ложится спать Подчекаев, когда утихают потолки и стены высоких комнат, когда Дашка убирает посуду, вносит самовар, звякает стаканами, Антону Антонычу начинает казаться, что Подчекаев, и Веденяпин, и тот, который продавал ему Анненгоф, как-то расплывчато, неясно похожи друг на друга и еще на кого-то четвертого, на кого — неизвестно. И появляется откуда-то жалость, невнятная, странная жалость к себе, только к себе, к своим рукам, к каждому из пальцев, на которых такие привычные, круглые свои ногти... Откуда она, эта жалость, не может понять Антон Антоныч.

Вечером, когда встает Подчекаев, играют в «тетку». Больше всех волнуется и оживлена и спорит и горячится Мария Стюарт. Только и слышен ее ликующий голос:

— Бейте-бейте, не стесняйтесь!.. Вот у вас и штраф: ставьте пять наверх... Нет-с, моя взятка законная, пожалуйста!.. Ну на что вам туз? Сбросьте туза... Ха-ха-ха...— штраф!

После шести часов игры она выигрывает у Антона Антоныча десять копеек.

Дня два гостит Подчекаев, а когда, попрощавшись в комнатах, в передней и на крыльце, садится наконец в санки, то вспоминает, что привез ему казенный пакет, присланный через полицию. И, уже укутанный в шубу (ехать до города двадцать семь верст), распахивается, расстегивает шинель и вынимает из бокового кармана толстый серый пакет с печатями; в пакете пространный обвинительный акт по делу о поджоге.

XIII

Когда уезжал Антон Антоныч в Анненгоф, то нашел себе адвоката, молодого и бравого на вид, с широким лбом, широкой грудью и широким золотым перстнем на правой руке. Больше всего понравилось Антону Антонычу, что все было широкое, даже самая фамилия его — Беневоленский. Он сидел, курил и слушал, в чем и почему обвиняют Антона Антоныча, и только время от времени вставлял:

— Фу-ты, чепуха какая! Вот чепуха! — крякал, улыбался и качал головой.

От его спокойствия Антону Антонычу стало весело, легко, точно суд уже решил, что незачем, да и некого судить, да и искать, кто поджег, не стоит, и прекратил дело. Поэтому, восхищенно махая руками, он говорил адвокату:

— Вы — генияльный человек, слышите,— генияльный! Честь вам и хвала!.. И вы будете греметь по всей России,— поверьте, голубчик, что я в этом деле не ошибаюсь, что я человека вижу насквозь! А шо вы громаднейшее состояние себе составите, шо вы богатым человеком будете,— об этом нечего даже и спорить, это уж как бог свят!.. То уж поверьте, что так оно и будет, та будет!..

Прощаясь, он поцеловался с ним, сказал о своих сыновьях и оставил деньги на ведение дела.

Теперь, дня через два после того как получил обвинительный акт, он послал ему письмо, в котором доказывал, что поджег не кто иной, как Веденяпин; потом дня через три после этого послал второе письмо, в котором обвинял уже Митрофана и садовника Дергузова; потом, через неделю, третье — с обличением сотского Журавля и кузнеца Молочного.

Каждое письмо он заканчивал словами: «Впрочем, как вы сами — человек генияльный, то я едва ли могу преподать вам совет».

Судебному следователю тоже написал Антон Антоныч.

Когда он допрашивал, то, должно быть, был у него флюс, потому что так и осталось в памяти Антона Антоныча его лицо с правой щекой пухлой и с левой скуластой, желтой, худой. И теперь он писал ему: «...И еще очень желаю я, чтобы тот óпух, который вам сел на щеку и очень к вашей физиономии идет, чтобы так он вам и не отпухал всю жизнь, а то лишитеся вы всей красоты вашей... И еще желаю я, чтобы не дождали вы ни того дня, ни того часу, когда результаты окажутся ваших следственных трудов налицо. И еще одного желаю я...» Письмо было длинное.

Веденяпину, на показаниях которого выросла половина обвинительного акта, он тоже писал. Почти все свои крепкие слова, все проклятия, всю внезапно появившуюся ненависть к этому человеку он выложил на шести больших почтовых листах. Все пожелал ему, что мог пожелать, и все обещал, что мог придумать в бешеной ярости. Тут же было и любимое — впрочем, мало понятное — заклинание Антона Антоныча: «Гайлен круцификс аллилуия да перекруцификс аллилуия да переаллилуия круцификс!»

XIV

На святки приехали Леша, Кука и Сёзя.

Сёзя был новый: на нем студенческая тужурка сидела по-военному, в обхват, у широких шаровар были напуски, лакированные, ловко сшитые сапоги внушали ногам что-то размеренно строевое, и весь он уже не горбился, как прежде, а выпячивал еще не окрепшую грудь, и голову старался держать прямо, и ломающийся голос упрямо переводил в бас. Появилась новая улыбка, уже не девичья, безразличная ко всему, а такая, какая бывает у людей поверивших, полюбивших, нашедших: улыбка себе на уме, несколько снисходительная к другим, чуть-чуть лукавая, сытая и ленивая. И глаза как-то сузились, точно глядеть на все кругом стало уж незачем, если было одно, на что глядеть. Посвистывал сквозь сжатые зубы, так что получалось шипение, подчиненное ритму, но и в этом было что-то успокоенное, решенное.

— Что это ты таким фертом, как будь-то писарь штабной, а-а? — спросил Антон Антоныч.

— Репетирую,— оглядел себя в зеркало Сёзя и добавил, повернувшись как мог беззаботней: — В юнкерское хочу поступить.

— Из института инженеров граж-данских, как сказать, в юн-ке-ра?.. Вот-то шутка!

— Совсем не шутка,—дернул плечом Сёзя.— Что ж тут такого?

Усмехнулся Антон Антоныч.

— Сегодня сочельник, как говорится, и до первого а́преля очень нам с тобою еще далеко, хлопчик... Ну, а только поздоровел ты и с лица пополнел, а?.. А может, мне так только кажется...— и он погладил его волосы, разделенные четким пробором, и пощупал плечи, повернув его к себе лицом.

Когда представлял и чертил будущую жизнь своих сыновей Антон Антоныч, то все выходило ясно, значительно и нужно: Леша — путеец, Кука — технолог, химик, Сёзя — строитель, инженер. Это как будто даже не их, а его жизнь разбилась на три потока и пошла дальше так, как и нужно было ей идти. Или — они были послушные рычаги в его руках, и их не было даже, был только он: как будто не прошло сорока лет, и опять он — трижды он — мальчишкой идет в жизнь, где она всего ярче, богаче и живее, где каждый день полон и нов, и уже знает он — трижды знает,— что нужно делать на земле и для чего земля.

И вдруг Сёзя. Он стоял со своей новой улыбкой прямо перед ним и смотрел ему в глаза своими такими же круглыми и серыми, как и его, глазами, и говорил не спеша и слова связывал, как всегда, неплотно:

— Если я теперь поступлю в училище, папа, потом я, конечно, в академию... к тридцати шести годам — так мне офицер один знакомый считал — я уж буду полковник...

Антон Антоныч оглядел его всего с головы до ног и сказал, усмехаясь и заложив руки в карманы:

— Так ты себе хлопчик ничего, гарный, как сказать, беленький, ну, а шаровары эти писарские ты зними поди, абы я их больше не видал... Хоме их отдай... Да шоб ты не шил себе никаких этих арцифокусов, шоб ничего, кроме формы... Ни боже мой, слышишь! Я не на то посылаю вам деньги, чтобы вы у меня пи-са-рей играли,— не-ет!.. Не на то, нет!

Ждали первой звезды, чтобы сесть за стол. Зажгли лампы, но не закрывали сторами окон, и синий вечер, входя, стелился по комнатам и туманил свет. Дашка то и дело ходила, стуча новыми башмаками, в столовую из кухни. Пахло узваром, оладьями, жареными карасями... В этом ожидании и в этих запахах было все старое, детское, и

слышно было, как Елена Ивановна вынимала из комода старое серебро и клала на стол и как через комнату, в гостиной, ходили, обнявшись и в ногу, Леша с Кукой и спорили о чем-то неважном, о чем именно — не вслушивался Сёзя, но представлял бессознательно, что о чем-то мелком, вроде медной монеты. И потому сказал он по-прежнему несколько нараспев, но твердо:

— Офицер — не писарь... Что же папа так плохо думает? И потом... я ведь поступлю в кавалерийское...

— Так то не апрельска шутка, нет? — перебил его Антон Антоныч и вынул из карманов руки.

— Нет... я серьезно,— сказал Сёзя.

— Тык ты Веденя-пи-ным хочешь быть? Веде-ня-пи-ным, га?

— Веденяпин в академии не был...

— Да йя тебя за это на сосне... на осине, как Иуду! Как Иуду-предателя! — закричал во весь голос Антон Антоныч и руки сжал над головою и тряс ими, точно из себя самого не хотел выпустить кого-то, у кого помутнели вдруг глаза и захлестнуло горло.— Да говорить, го-во-рить об этом как же ты мне смеешь, злодей!.. Боже ж ты мой!.. Да ведь я не умер еще, ведь я... я... я живой, как сказать!

Осекся вдруг, вытянул голову вперед, как это делают ужи в тревоге, и смотрел на Сёзю.

Леша и Кука вошли в одни двери, в другие — Елена Ивановна, и плавал неясный желтый свет ламп, боровшийся с синим светом окон.

Сёзя стоял отвернувшись, щипал рукою вязаную скатерть стола, и заметно было, как щеки у него вздрагивали.

— Папа, ну что ты!.. Охота тебе...— спокойно сказал Леша. Он курил и дым направлял вверх, вытягивая трубочкой губы, и говорил, и стоял, и курил, и глядел так, как это делают заслуженно отдыхающие, долго и честно работавшие перед тем люди; и лицо у него было длинное, усталое.

— Блажит Сёзик, ох, блажит Сёзик! — сказал Кука, веселый и ласковый, за осень еще более располневший, стриженный наголо, так что отчеканилась вся его крепко сработанная голова.— Вот после святок поселимся мы с ним на одной квартире, офицерство это мы с него снимем долой, как штанишки,— нечего там!..— и обнял он Сёзю за талию и щекотал его щеки головою.

А Елена Ивановна, захлопотавшая с кухней, все время счастливая тем, что съехались дети, ничего не понявшая,

стояла, морщась, и недовольно говорила Антону Антонычу:

— Господи, крик какой! Что это, и еще ради сочельника! Как это тебе не стыдно!

Антон Антоныч поглядел на всех поочередно так пристально, точно видел всех в первый или в последний раз, махнул, как чужой, рукою и ни слова уже не сказал больше — ушел к себе в спальню.

Но ужинали все вместе. Леша сварил лихой путейский грог, и Антон Антоныч чокался с Сёзей, целовал его в лоб, грозил у него перед глазами пальцами и приговаривал:

— Смотри ж, абы ты у меня не выдумывал здря!..

А Сёзя все улыбался про себя своею новой, несколько снисходительной, чуть-чуть лукавой, сытой и ленивой улыбкой.

На другой день, на Рождество, Антон Антоныч все говорил с Лешей и Кукой о бумажной фабрике, которую он хотел-таки во что бы то ни стало начать строить с весны. Ходили на озеро. Кука шутливо и громко вспоминал на ходу: «Рол, иначе голлендер!.. Вал дэнди! Сушильный барабан!..»

— Бумагу изо всякой дряни можно делать — не из одних только обрезков еловых,— говорил он, весело утопая в снегу.— О, наука, наука хитрая!.. Можно делать и из крапивы, и из торфа... и из кожи, если вам будет угодно.

— Ты молодец у меня, Колька,— любовно хлопал его по плечу Антон Антоныч,— а ей-богу ж, молодец, клянуся честью!..— И среди сплошного снега кругом — и под ногами, и на деревьях, и тихо падавшего хлопьями из мглистых туч — он вдруг разгорался бурно.

— Ну, сыны! Если уж здесь вы не оперитеся, как сказать, не возьмете этого всего в зубы, так чтоб запищало все благим матом, чтоб ни одна собака вырвать не могла б, бодай бы она здохла раньше времени,— то... то... то... а не сыны вы мои тогда будете, нет, кончено!

Когда же шли обратно, Леша, промочивший ноги в вязком снегу, говорил, пуская дым колечками кверху:

— Подождать бы с этой фабрикой, папа... пока еще никто в шею не гонит... Оглядеться надо.

И Кука поддерживал, раздувая ноздри:

— Да я, собственно, тоже так думаю... Ну куда папа спешит? К чему?.. Фабрику — это всегда можно...

Тихие сосны слушали.

Подчекаев к вечеру приехал с женой. Играли в «тетку». Приехал и брат Марии Петровны, Василий,— высокий, длинноволосый, носатый семинарист лет двадцати двух.

Когда угощал его водкой Антон Антоныч, он смотрел на него сердито исподлобья и говорил:

— Думаете, как я — семинарист, то обязательно должен я водку пить?

Но напился и офонарел.

Старик Тифенталь пришел в праздничном пиджаке и красном галстуке. Ходил по комнатам и искал, где же елка.

— Елки нет, герр Тифенталь, не убирали, совсем нет,— объясняла ему Елена Ивановна.— Маленьких детей у нас нет, зачем нам елка?

Но Рождества без елки не мог представить герр Тифенталь. Он говорил, недоверчиво улыбаясь:

— Э-э, нет-то... Елка — это фамильярное дело-то...— облизывал усы языком, поднимал палец и, лукаво глядя изпод своих очков, шмурыгал от двери к двери, отворял их и заглядывал то в одну комнату, то в другую — не здесь ли елка.

Потом, удивленно-успокоенный и немного грустный, он подсел к роялю, истово барабанил и пел «Гусарика».

XV

В январе Антон Антоныч нашел в лесу, где шли порубки, большую гранитную глыбу и не утерпел до весны: нанял рабочих сверлить и взрывать ее порохом, и потом возили камень и укладывали его кубами на то место около озера, которое облюбовал он для постройки. Когда же увидел Антон Антоныч этот крепкий, нахмуренно серьезный, деловой с виду камень в правильных кубах, когда лег он в его сознании, как на веки вечные сработанный цоколь, то уже не мог он остановиться. Возили двутавровое железо, возили цемент. Как всегда, туда, где закипает жизнь, стали собираться откуда-то люди. Все время в суете и разгоне, в лихорадке новой работы был Антон Антоныч, и два архитектора чертили проект фабрики и составляли сметы.

А в начале февраля заехал к нему в гости Подчекаев и кстати привез ему повестку: на двадцать шестое число был назначен суд над ним по делу о поджоге.

Антон Антоныч выехал с Еленой Ивановной с таким расчетом, чтобы приехать за день до суда

На хозяйстве оставил Григория.

XVI

Стояла оттепель. Булькая, капало в лужи с крыш. Дома в этом старом уездном городе, где должны были судить Антона Антоныча, были приземистые, косопузые, а улицы широкие до того, что казалось, будто одна сторона все только улучает время, как бы сбежать от другой куда-то в поле. В середине разлеглись базарные площади, тоже захватившие себе земли сколько хотели, и в большом городском саду бесчинно переплелись голенастые желтые тополи с купами густых белых акаций.

Пахло чем-то весенним в воздухе, и от этого всюду подымалось живое беспокойство: пели петухи, кудахтали куры, телились коровы, мокли и кисли дороги, голубело небо, расчирикались воробьи, у ребят распахнулись материны кацавейки, заалели щеки и совсем отсырели носы. Хохлы, приехавшие на волах с камышом и сеном, сдвинули с потных лбов на затылки шапки-капелюхи и жалостно топили неподбитые валенки в лужах.

Антон Антоныч, оставив уставшую от дороги Елену Ивановну отдыхать в номере, целый день накануне суда ходил по улицам, выходил в поле, где по взлобьям зачернели маслянистые проталины, толкался на базаре. Во все он вмешивался, все его занимало чрезвычайно, только о суде как-то совсем не думалось. От тепла и солнца было весело и звонко в теле. Двух степенных степных хохлов он завел в трактир и приказал налить им по стакану водки.

— О-о, це добре! — сказали хохлы. — Хай вам, пане, бог помогае!

— А шо ж? Бог — то не такая плохая помощь, хлопцы, тут вы ошибки не сделали, нет,— сказал Антон Антоныч и сам выпил с ними за хорошее знакомство.

В хлебной лавке на базаре битый час спрашивал о зиме, об озимях, о прошлогоднем урожае. Вмешался и к детворе в кучу: маленькую девочку вздумал катать на салазках, и когда та взревела от буйного бега, — чтобы утешить ее, подарил ей новенький полтинник.

Когда же стало вечереть, Антон Антоныч зашел в бакалейный магазин, самый лучший в городе, и начал закупать закуски. Как для всех, кто привычно живет в деревне, для него это было длинное и сложное дело, и большую суматоху поднял в магазине Антон Антоныч и как-то по-рабочему до-

волен был, что поднялась эта суматоха. Когда же покупки были уложены в кулек и приказчик звонко щелкал на счетах, а Антон Антоныч вспоминал вместе с ним, что и что взято, — он услышал вдруг, как в другом конце магазина говорили рослый хозяин в фартуке с покупателем в учительской фуражке.

— С завтрашнего дня запрягаюсь творить суд скорый, правый и милостивый... недели на две,— сказал учитель смеясь.

— Присяжным? — спросил хозяин.

— Присяжным... Есть одно дело любопытное: поджог... Помещик один... Говорят, — фрукт!.. Ну, этого фрукта мы живо раскусим, — дело ясное.

— Поджог? — переспросил хозяин. — Где же это?

— Поджог... здесь в уезде, в имении... Адвокаты приехали... Им-то состязание, а нам — извольте торчать в суде две недели...

Дальше уж не хотел слушать Антон Антоныч и не мог слушать. Шаг и еще шаг — и вот уже стоял он перед учителем, смотрел в его немолодое, землистое лицо, серое, точно запыленное, с обтянутым сухим хрящеватым носом и четкими складками от носа к губам, и говорил, укоризненно качая головою:

— Фрукт-та?.. Это вы оччень хорошо сказали — фрукта! Кусайте ж его, шельму, злодея!.. Да навострите зубы повострее, абы его сразу — хоп — и нету!..

И вдруг захотелось похлопать по плечу этого завтрашнего судью своего; хлопал и говорил, нагнувшись к нему близко:

— Да вы же меня и не знаете совсем, любезнейший, вы обо мне и понятия ровным счетом ни малейшего не имеете, а уже я вам фрукт, и дело мое вам яснится...

— Постойте! Что это вы? Кто вы? — растерянно попятился к двери учитель.

— Да ничего, ничего, не бой-теся, — говорил Антон Антоныч и опять слегка похлопал. — Наше дело судиться, ваше дело судить, а там уж мы увидим завтра, фрукт я или... редька, капуста, как сказать, и какое мое дело — ясное или же темное... Все это мы в свое время узнаем, добрейший...

— Вы... позвольте... Вы потише!.. Вот еще тоже... — и что-то еще буркнул учитель, поспешно выходя на улицу.

— Каково это, а? Он обо мне понятия не имеет, а уж я ему «фрукт»!— говорил потом хозяину Антон Антоныч, го-

ресстно качая головою. — Это называется — суд общественного мнения... Ах, хамы!.. Да ведь нужно знать дело для того, чтобы сказать твердо: да или нет!.. Ведь дело мое в том заключается, милейший...

И краснолицему, чернобородому, спокойному хозяину рассказал, в чем заключалось его дело, и хозяин участливо смотрел ему в глаза, кивал понимающе головою и говорил:

— Оправдают!.. Ничего, оправдают — раз улики нет... Такие случаи — они часто случаются... Оправдают!

А в номере Антона Антоныча ждал Беневоленский. Шумно здоровался с ним Антон Антоныч, крепко целуя его в мягкие губы, радостно смотрел на его широкий лоб, широкую грудь, широкие кисти рук; рассказал о встрече с учителем.

Беневоленский не дослушал даже, — возмущенно ударил себя рукой по колену:

— Нну, батюшка!.. И зачем вам было связываться с ним, с этим учителем, — не понимаю!.. Не везет вам! Удивительно не везет!.. Нет, знаете, — редкостно не везет!.. И так у вас дело трудное, — все показания против вас, а вы еще тут... Эх, Антон Антоныч!

— Ну что ж я такого плохого сделал, — скажите? Что он меня собрался ку-сать раньше времени, так я должен молчать?

Он думал, что вот рассмеется Беневоленский и скажет, как прежде: «Чепуха какая!» — но тот смотрел на него серьезно, сухо и как будто даже подозрительно и говорил свое новое:

— Эх, Антон Антоныч!

И у Елены Ивановны, сидевшей с ним до его прихода, был почему-то неприкрыто растерянный, встрепанный вид.

XVII

На суде Антон Антоныч замечал все, потому что все было ново, смешно и торжественно. Что его нельзя осудить и что не осудят — он знал, но было чувство оглушающего позора, которому хотелось не верить. С него, свободного всю жизнь, сняли все, даже имя, и не только чужие, не знавшие его люди, но и конторщик Митрофан, и садовник Дергузов, и тростянская баба Марья Калина, — точно с какой-то незапятнанной высоты смотрели на него и говорили о нем: подсудимый. Хотелось встать и засмеяться вдруг, хотелось крикнуть и обругаться, плюнуть на этот захоженный, давно кра-

шенный пол и уйти. Но на председателе и членах суда, и прокуроре, и секретаре, совсем еще молодом, с безусым, немного перекошенным лицом, лежала не рабочая деловитость, которую привык видеть на лицах Антон Антоныч, а какая-то тупая важность. Важность эта перекинулась и на скамьи присяжных, и даже толстый Голев, выступавший как свидетель, надел новый длиннополый сюртук и зачем-то очки в золотой оправе, хотя смотрел поверх оправы, прижимая как можно ближе к груди жирный бычий подгрудок, точно думал бодаться.

День был ясный, и солнце било в одно окно прямо в лицо председателю. Засиял лоб, четко, очень ярко и красиво проступили морщины, в бороде отчеканился каждый волос, глаза стали лучистые и теплые, как это кажется в детстве на иконах, и иконным золотом переливисто сверкала цепь. Но он прятался, морщился и, перегнувшись, попросил наконец секретаря закрыть окно сторой.

Среди присяжных нашел глазами Антон Антоныч и того учителя с хрящеватым носом, которого он похлопал по плечу вчера в бакалейной лавке. Смотрел теперь на него учитель непростившими глазами; был он в форме, в белой глаженой рубахе и с каким-то орденом в петлице. Еще был в форме старшина присяжных, отставной подполковник, старик с висячими усами, лупоглазый, старавшийся сидеть ровно, держаться прямо и слушать все до последнего слова строго.

На столе, заляпанном чернилами, лежали тряпки, вата и коробочка с перегоревшим фосфором. Красное сукно, которым были обиты места присяжных, поистерлось и залоснилось. Зал был большой, но какой-то неопрятный, подержанный, с низковатым потолком, запачканными печами и щелистым полом, и воздух был спертый, нагретый и пыльный. Антон Антоныч глядел кругом и брезгливо передергивал ноздрями.

Бабы, которые были на молотьбе во время пожара, давали показания невнятными, пугливыми голосами, переспрашивали, не понимали вопросов, часто сморкались. Но когда щупали тряпку и вату — радостно оживлялись вдруг: «Это самое!»

Машинист Шлыгин опять рассказывал об «искусстве», размахивал левой рукой, а правой приглаживал волосы, торчавшие пиками. Дергузов стоял прочно и говорил подробно и не спеша, сопя бородавчатым носом, а похудевший, подсохший, должно быть бывший без места, Митрофан все

путал что-то, но припомнил, как за ним гонялся с ружьем Антон Антоныч.

Голев недаром надел очки в золотой оправе. Пыхтя и отдуваясь после каждых двух-трех слов, точно плыл и глотал воду, он рассказал, что солому Антон Антоныч должен был оставить ему бесплатно, потому что солома всегда нужна в хозяйстве и без соломы нельзя, что таков вообще обычай, и потому он не говорил об этом особо при покупке.

— Так солома ж была этого года, а урожай этого года я за собой оставил, как сказать, — вскочил с места Антон Антоныч.

— Солома — не урожай, — уверенно сказал Голев. — Урожай считается — зерно... А если одна солома, например, уродит, тогда уж никто не скажет, что урожай... Тогда уж плохо-с...

— Этто штука но́ва и све́жа!.. Так солома, значит, ничего и не стоит, а? Что ж такое солома? — спросил озадаченный Антон Антоныч.

Председатель попросил его сесть.

Но гражданский истец, бритый, как актер, тщедушный и желтый, с приглаженными, как у покойников, височками, торопливо подпрыгивал на стуле и долго расспрашивал Голева о соломе, о зерне, о продаже Тростянского имения и об обычаях при продажах.

Урядник Самоквасов рассказал о бунте мужиков, тряпке и жеребце Забое, и прокурор, и председатель, и бритый адвокат долго допрашивали Сомоквасова.

Веденяпин пришел в суд в сюртуке, от этого он, и без того крупный, стал как-то еще крупнее. Говорил он с достоинством, спокойно, голосом ровным и сочным, только слово «подсудимый» он как-то особенно затягивал и округлял и старался совсем не глядеть в сторону Антона Антоныча. Все в нем теперь — и блестящие взлизы на лбу, и кадык, и этот голос — было так противно Антону Антонычу, что он совсем уже не мог понять, как это они были друзьями, говорили друг другу «ты» и целовались при встречах; и теперь, когда вспоминалось это, то все хотелось отплюнуться: посмотрит на него, покачает головою, вспомнит и громко плюнет.

А Веденяпин рассказывал о том, как Антон Антоныч оценил свою солому в тысячу шестьсот рублей, когда было ее не больше, чем на тысячу двести, и как он ему поверил, как другу. И о Куке, химике, почему-то сказал он вскользь и припомнил много случаев из жизни Антона Антоныча, случаев все мелких и не идущих к делу, самим же Антоном Ан-

тонычем и рассказанных ему под веселую руку, но здесь, в суде, как-то неожиданно его чернящих.

Беневоленский спросил, за что его выгнали из полка, но с большим достоинством, строго глядя на него желтыми глазами, ответил он, что сам по своей доброй воле подал прошение об отставке; и опять голос у него стал барский и осанка, как у лихого ротмистра.

Когда же допрос его, как свидетеля, был окончен, он, точно случайно вспомнив, вынул из кармана длинное письмо Антона Антоныча, в котором тот проклинал его и при первом же свидании обещал изувечить, и передал его председателю. Письмо это было прочитано почти полностью. Потом секретарь нашел присланное в суд письмо Антона Антоныча судебному следователю с опухшей щекой, — и это письмо тоже прочитали.

Так все это сгущалось и нависало ниже и ниже. После первого дня Беневоленский говорил Антону Антонычу:

— Неужели так-таки и нельзя было найти ни одного свидетеля в вашу пользу?.. Не ожидал, что будет такое дело.

А после второго он спросил тихо Елену Ивановну:

— Как защитнику,— это все равно, что священнику на духу, — скажите мне уж, так и быть, — ведь это действительно ваш муж поджег солому?

На третий день суда, всю ночь перед тем не спавший, Антон Антоныч поднялся вдруг и сказал:

— Я хочу, и должен даже сделать свое заявление... Позволите ли мне это, господин председатель?

Председатель позволил.

— Господа судьи! — начал Антон Антоныч, глядя прямо в глаза отставного военного, сидевшего ближе всех к прокурору.— Я третий день сижу здесь и слушаю, господа судьи!.. «Подсудимый» и «подсудимый», и больше уж и имени у меня нет, как подсудимый. Ни один человек, — а их тут тридцать человек говорило, — слова обо мне доброго не сказал... Как же ж так? За что ж меня в грязь втоптали?.. Или я действительно злодей, преступник, поджигатель?.. Так-то смешно даже и думать... то даже стыдно, смешно и грех... и гре-ех даже думать!.. Четыреста пятьдесят тысяч состояния имея, об этом смешно даже и говорить, чтобы на четыреста рублей я польстился, как сказать... Я целую жизнь свою работал, я никого не грабил на большой дороге, я не бесчестными путями, — я ночами бессонными состояние себе

нажил, по́том и кровью, з десяти пальцев... Боже мой! За что же меня так в грязь топчут?.. И кто топчет?.. И что я стал бы об это руки себе марать, как воришка драный, как... ммышь, — как же это говорить смеют? На позорный столб выставить? Меня? Об этом нужно кричать на весь свет, да, на весь свет! Тысячи народу около меня кормились, тысячам я рроботу давал, как сказать, и где не было никакого дела, где им никому и не пахло даже за сто верст, тут я его и подымал за но́ги, тут я его из земли и выкапывал, как... как камень... Бессонными ночами!.. Спать... спать уж я в землю пойду!.. Я себе за пятьдесят семь лет не накохал брюха, — нет, это вы видите... Я по театрам в городах не сидел, я брильянтов певицам не подносил, как сказать... Я не считал, что у меня в делах пропало, — это не четыреста рублей, а, может, те же четыреста тысяч, но что в деле пропало, то свято, тому аминь та Requiem pace... В мои года и з моим состоянием я мог бы жить in gloria, на лаврах, но без работы я не могу, на лаврах я не могу, нет, то пусть уж другие на лаврах, а не я... Из лавров я, уж так и быть, паприкаш себе з перцем сварю да съем... Но меня только это одно удивляет, господа судьи, что как легко у нас честного имени лишиться... Или уж это действительная правда, что кто захочет собаку ударить, тот палку себе найдет, — ну так все ж таки нужно, чтобы было за что бить... Зря бить и собаку нельзя! Я людям верил... Я вот до скольких лет уже дожил, а людям все время верил... и верю!.. Верю! Пока человек мне пакости не сделал,— я каждому — друг... Верю! Ни одна душа в мире не может сказать, что я остался ей должен хотя бы од-ну копейку... Кто с меня что заработал, тот свое получил... честно...

В это время отставной военный зевнул. Он старался, чтобы никто этого не заметил, потому лицо у него стало горьким и жалостным, как у начинающих плакать ребят, и все время глядевший на него Антон Антоныч остановился. Председатель, что-то чертивший карандашом на полях какой-то бумаги, поднял голову и сказал устало и недовольно:

— Я прошу вас, подсудимый, не отклоняться в сторону, а быть ближе к сути дела.

— К какой же ссути, господин председатель? — сверкнул глазами Антон Антоныч.— В том, что я говорю,— в этом и есть вся суть! Только в эт-том.

— Вы привлечены к судебной ответственности по делу о поджоге; вот об обстоятельствах именно этого дела, то есть поджога...

— О поджоге!.. О поджоге!.. — криком перебил его Антон Антоныч. — Пусть те хамы, что поджигали, говорят о поджоге, а не я!.. О поджоге я ничего а нни знать не знаю... Да и знать ничего не хочу! И слышать об этом больше не хочу!.. И отвечать всем этим собакам свидетелям не хочу! И уши себе заткну, абы не слышать, абы ни одного слова не слыхать больше... вот!

И он шумно сел и заткнул пальцами уши и глаза закрыл ладонями, чтобы не видеть.

Речь прокурора, молодого еще, очень красивого человека, с волнистыми русыми волосами, тянулась более часа.

Это была горячо и убежденно сказанная, плавная и яркая речь. И если прежде ясно ощущал Антон Антоныч, что он точно раздет перед всеми, то теперь он видел, как вынимали из его души все, что он любил в себе и чем был горд, и как топтали. Будто у всех на глазах был сосчитан этим красивым человеком с приятным голосом каждый его рубль, и на каждом было найдено пятно. Прокурор говорил о том, что подсудимый начал свою самостоятельную жизнь маркитантом и так прошел по всей жизни, как добычливый маркитант. Победит ли та армия, которой он служит, или будет разбита,— мало до этого дела маркитанту. Пришлый человек, он на все и на всех кругом смотрел только как на средство разбогатеть.

И потом пошли мелькать ловко схваченные места из показаний Веденяпина, Митрофана, урядника и других, и опять Веденяпина, и опять Митрофана,— и о себе самом услышал Антон Антоныч то, чего он никогда не знал. Молодой и красивый, казалось бы, искренне и горячо негодуя, брезгливо осуждал прокурор всю его жизнь, как он ее представлял и понял.

Он вспомнил, что показал Голев о том, будто Антон Антоныч не мог продавать солому, что ее он должен был оставить новому владельцу, — и вот уже становилось ясным для всех, что солому нужно было застраховать как можно скорее, так, чтобы не знал Голев, и потом поджечь.

— За солому, — говорил прокурор, — если бы сгорела она вся, как и предполагал подсудимый, он должен был бы получить страховых денег тысячу шестьсот рублей. Деньги для него, пожалуй, и небольшие, но... «курочка по зернышку сбирает, и то сыта бывает».

Даже на Елену Ивановну, сидевшую тут же в зале, боялся взглянуть Антон Антоныч во время этой речи. Как-то мельком посмотрел он на присяжных и увидел отставного

подполковника с висячими усами: сидел прямо, держался строго и, не дыша, глядел в глаза прокурору.

Прокурор говорил возмущенно, но свысока, а бритый адвокат так, как будто вот у всех на глазах грабил его Антон Антоныч. Он то краснел, то бледнел, часто выкрикивал резко слова, разнообразно размахивал руками и то отшатывался, то пригибался к присяжным, точно все время защищался от нападавшего на него Антона Антоныча. Он собрал справки, где и когда страховал имущество подсудимый и сколько раз горел. Вышло, что в разных имениях, которые покупал или арендовал Антон Антоныч, он горел до пятнадцати раз и всегда, очевидно, получал больше, чем стоило то, что он страховал. В это число вошли и деревянная рига, и свиной катух, сгоревшие в Тростянке.

Бритый говорил подробно и убедительно и все только о пожарах и о поджогах, и уж самому Антону Антонычу под конец стало мерещиться, что он не Антон Антоныч, что он, маленький, худенький, бритый и хитрый, только и делал всю жизнь, что поджигал разные сараи, риги, катухи, скирды хлеба и стога соломы.

Когда прокурору и бритому адвокату отвечал Беневоленский, Антон Антоныч только тут ясно увидел, что это человек спокойный, скучный, с глуховатым, несколько хриплым голосом, с твердым, неспособным меняться лицом. Он говорил, что до крестьянских построек от гумна, на котором молотили хлеб, было очень далеко, что ветер был несильный, да и при сильном ветре «галки» от соломы далеко не летят, поэтому для села пожар был не опасен. Говорил, что на виду у всех нельзя было Антону Антонычу незаметно пронести к стогам три больших мокрых свертка и что нужно было просто надеть шапку-невидимку, чтобы их при рабочих рассовать по стогам. Он напомнил и то, что если бы не случайный приезд Веденяпина, то Антон Антоныч так и не собрался бы застраховать солому; и еще много говорил Беневоленский, но Антон Антоныч только теперь, во время этой спокойной речи, ощущал смутное беспокойство. Точно его все время вели по зловонным и грязным местам, передавая из рук в руки, и он вскипал и рвался, но не знал еще, куда вели, а теперь стал понимать что-то и ощутил прежний холодок кравшейся за ним тишины. Смотрел на присяжных и видел, как учитель долго старался снять с отворота вицмундира пушинку, и когда снял наконец, то отыскал на другом отвороте другую пушинку и стал так же тщательно снимать и ее, а подполковник нет-нет подымет нижнюю

губу к носу и внимательно вглядывается, прищурясь, в свои усы.

И в Антоне Антоныче подымалась к Беневоленскому хозяйственная злоба, похожая на злобу кучера к ленивой лошади, но когда, после речи, председатель спросил его, не желает ли он сам сказать что-нибудь еще, он поднялся и сказал громко:

— Равным счетом ничего не желаю! — Ворчливо добавил: — Без меня... — Передернул ноздрями, махнул рукою и сел, и опять, в сотый раз, слушал, как его дело излагал присяжным уже сам председатель, просивший отнестись к нему особенно серьезно, для чего им было найдено много причин.

Присяжные вышли, а Беневоленский говорил Антону Антонычу, покачивая головою:

— Трудно надеяться... но все-таки... Все может быть.

— Как так? — растерянно спрашивал Антон Антоныч.

— Ничего: у меня есть уже четыре повода к кассации... Можно и еще один.

Антон Антоныч смотрел непонимающими глазами и спрашивал:

— Какая ж кассация? Как так?

Присяжные совещались недолго. Длинной торжественной вереницей, торжественной, как после большого труда, упорно доведенного до конца, они вошли в зал, и впереди — подполковник с бумагой. Подполковник откашлялся, подождал, пока председатель и члены суда надели цепи, потом громко и невыразительно, как перед строем, ударяя на каждом слове и раскачивая усы, прочитал длинный вопрос: виновен ли Антон Антоныч в поджоге соломы с заранее обдуманным намерением, с целью получения страховых денег, причем пожар угрожал опасностью соседним крестьянским постройкам, или не виновен; и, как батальонную команду, выкрикнул ответ присяжных: «Да, виновен!»

И вслед за тем председатель, щурясь и деловито роясь в бумагах, объявил решение суда: Антон Антоныч лишался прав и приговорен был в арестантские роты сроком на три года и восемь месяцев.

— Как так? — ошеломленный, по-детски отуманенными глазами обведя кругом зал, спросил Антон Антоныч и услышал, как сзади его Елена Ивановна заплакала вдруг навзрыд крепко и самозабвенно, как плачут старые деревенские бабы.

Часа через два, вечером, когда зажигались на улицах фонари, потрескивали под ногами застывшие лужицы и дома стали легкими, неясными, иссиня-серыми, Антон Антоныч, тоже неясный самому себе и пьяный, пришел снова в суд.

За эти два часа успели уже прослушать какое-то мелкое дело, и теперь был перерыв. Не раздеваясь, Антон Антоныч прошел в комнату присяжных, даже зачем-то хотел было прокрасться туда тихо около стен, но его и так никто не останавливал: курьер, с хмурым значительным лицом заправлявший лампу в коридоре, посмотрел на него вкось и ничего не сказал.

В комнате присяжных было накурено досиня; тускло краснела висячая лампа; два мещанина в углу, теснясь, как в вагоне, ели тонкую колбасу, нарезанную крупными кусками; подполковник около стола с чаем, выставив шею, убеждал в чем-то учителя и равномерно долбил по столу указательным пальцем; купец, с маленькими до умильности глазками, чесал бороду гребнем, распустив ее, как на валу, на кисти левой руки, и кто-то хромой, все время державший правую ногу глаголем на носке, хихикал тонко.

— А-а-а! — тихо и вкрадчиво протянул, оглядывая всех, Антон Антоныч.— Судьи!.. Господа новоиспеченные судь-и! — Сделал шаг и два к середине комнаты и, когда кругом затихло, изменил вдруг голос на резкий, высокий, пронзительный: — Да по каким же зо-ко-нам вы меня судили, хамы-судьи, га-а? Или то есть, есть и такие зо-ко-ны?.. Да вы что это со мною сделали, злодеи... ах, ты ж, боже мой милосердный!.. Ты судил? — быстро схватил он ближе всех стоявшего хромого за рукав пиджака и притянул к себе.— Та дай же я хоть погляжу на тебя ближе,— гайлен круцификс... а-а!..

И как будто стало вдруг меньше табачного дыма в комнате,— яснее стало, строже, прямее. Хромой завизжал резко.

— Послушайте, вы! — закричал подполковник.— Вы... что?

— И-й-я-я что?..

Антон Антоныч пихнул хромого, оттолкнул бородатого и еще кого-то, кто попался на дороге, и кинулся к подполковнику. Как будто в нем-то и таилось все, зачем он пришел сюда,— весь его позор, вся его гибель, вот в этих висячих усах, в приподнятых высоких плечах, в тупом начальственном взгляде.

Антон Антоныч был в своей меховой куртке, в шапке с казачьим верхом. Так, тяжелый и стремительный, нагнув голову и протяжно охнув, схватил он подполковника в перегибе стана, рухнулся с ним на пол и уж оторваться от него не мог.

И за Веденяпина,— которого искал в городе, но нигде не нашел,— и за прокурора с его красивой речью, и за страшные слова «да, виновен», и за три года восемь месяцев арестантских рот, и за то, что была осуждена вся его жизнь, каждый день и каждый час этой жизни, как-то бесповоротно осуждена, как будто дальше и жить стало уж незачем,— за все это торопливо мял подполковника Антон Антоныч. Торопливо, потому что навалились уж и на него, и его оттаскивали, и били, и кричали, и в растворенные двери звали курьеров, городовых, конвойных... Сбежались курьеры, и подпрыгивающей походкой спешил председатель, а за ним прокурор и безмолвные за все время суда члены — один помоложе, другой постарше.

Антона Антоныча арестовали и под конвоем повели в тюрьму, и он, успокоенный и тихий, послушно шел посередине улицы, скупо освещенной редкими фонарями.

Леша и Кука приехали, вызванные Еленой Ивановной, и много мытарств прошли все трое, пока освободили Антона Антоныча и взяли его на поруки.

Три недели тюрьмы легли на нем тяжело... Первые дни он ничего не ел, не спал, только метался по камере до красных кругов в глазах, потом ложился, но скоро вставал и начинал кружить снова. Осунулся. Поседел. Начал дергаться вдруг — вздрагивать всем телом. Почему-то глотать стало трудно. И свободе он был как-то по-детски рад и все торопил Елену Ивановну с отъездом в Анненгоф:

— Как можно скорее, Нюся, как можно!..

А дни здесь стояли совсем уже могуче-солнечные, распустившиеся, пьяные от первого прочного тепла, от жирной, подымавшейся земли, от облаков, низких и тучных... У голенастых тополей распухли почки, и тонко запахли вылезшие храбро сережки... И хохлы, привозившие камыш и сено, идя возле бричек, невозмутимо топили тяжелые чоботы в черной грязи.

Ехали в Анненгоф день и другой день. На третий уже ясно стало, какая зима еще, какие снега, какой холод.

Елена Ивановна по нескольку раз в день посылала за горячей водою и, разложив всюду коробки с печеньями, пастилу, халву, шоколад, все пила чай и добродушно угощала соседей. Антон Антоныч был как-то странно молчалив, сонлив, спокоен.

Раз, в сумерки, на одной маленькой, но заставленной товарными поездами станции Антон Антоныч долго смотрел в окно, в которое ничего, кроме двух красных, грязных, пустых, с черными пастями вагонов, не было видно, и, обернувшись к Елене Ивановне, посмотрел на нее вдруг, как смотрит человек, понявший что-то или догадавшийся внезапно о чем-то огромно важном, и сказал медленно и тихо:

— Э-э... это я уж знаю теперь, кажется, твердо...— постучал задумчиво пальцами по стеклу и добавил еще медленней и еще тише: — Это я не Анненгоф купил, это я себе... купил... крест и гроб, вот что!

И ярких, больших, как будто тоже испуганно шепчущих глаз его никогда потом не могла забыть Елена Ивановна.

XVIII

Сквозь ели с одной стороны озера, точно режет их золотой пилою, брызжет полоса заката, отчего ели кажутся страшно глубокими, лохматыми, черными, а на другой стороне верхушки сосен облиты жидким тающим вишневым соком, и узловатые стволы кое-где вырываются отчетливыми извивами, дожелта накаляются и горят. Небо, влажно-лиловое от растрепанных толстых туч, никуда не уходит, собралось над головою и висит тяжело. Лед на озере раскололся, побурел. Под рыхлым, осевшим снегом притаилась вода; дорога в провалах. Низами, по-над кореньями или выше лесных верхушек тянет что-то хмельное и пахнет весенним бродилом.

Как сложены были кубами на высоком бугре серые гранитные глыбы — будущий цоколь фабрики,— так и лежат грузно и важно, но Антона Антоныча тут нет. Гатер лесопильни переставляют повыше, чтобы не затопило разливом, и идет в лесу веселая рабочая суета: пыхтят лошади, кричат люди,— но Антона Антоныча здесь нет. Завтра едет в город Григорий, и Елена Ивановна на крыльце

дома длинно говорит с ним, что купить и где купить, и выходит, что запастись нужно очень многим, пока дорога не испортилась совсем и не настало половодье. У Елены Ивановны записано все, что нужно, и она по нескольку раз повторяет это вслух, и повторяет за нею Григорий; похоже на то, как обучает безусого новобранца усатый дядька.

— ...И еще перловой крупы пятнадцать фунтов... Я думаю — довольно: куда ее много?.. Это тоже у Курбаса, где сахар,— говорит Елена Ивановна.

— Еще, значит, круп перловых... пятнадцать фунтов... Хорошо, что ж... вполне довольно будет... у Курбаса,— говорит Григорий.

Антона Антоныча и здесь нет.

Он в школе старика Тифенталя, в тесной комнате, где пахнет скипидаром от ломоты, гвоздикой от зубов, где в шкафу с разбитым стеклом торчат потрепанные книжонки; на большой некрашеной деревянной кровати — грязное ситцевое одеяло; в углу — бутыль с керосином, на окне — маленький глобус, похожий на яблоко-антоновку. О том, как его судили, рассказал уже Антон Антоныч; теперь говорят о боге.

Тифенталь сидит на кровати против окна, в которое бьет закат. От этого он золотеет весь — и серая пятивершковая борода, и синие очки, и лоб, и улыбка, с которой смотрит он на Антона Антоныча,— все пронизано закатом, а между закатом и этим стариком, в окно видно,— залегли индигово-синие леса.

Антону Антонычу ходить здесь негде, и он стоит около окна сбоку, смотрит то на золотеющего старика, то на синие леса вплоть до вспыхнувшего неба и говорит, покачивая головою:

— Бог — богом... богови, конечно, молися и черта не гневи, как сказать, а только, кажется мне так, добрейший, что настоящая это и сущая выдумка.

— Как выдумка-то?— спрашивает старик.

— А так... Нет ничего этого равным счетом.

— Как нет-то?.. Есть!— пугается старик.

— Где есть?

— Вот тут-то, в сердце-то,— показывает пальцем Тифенталь.— Бога выго́нять нел-зя!.. Ну-у, когда его выго́нят, то он уже не придет больше... нет — фьють — ушел-то...

— Куда ушел?

Антону Антонычу как-то тоскливо, и злость его, с которой говорит он теперь, косноязычная, тупая, не хочет искать и не ищет слов.

Отсиял закат; потух старик. Теперь он серый, как большая мышь. От скипидара и гвоздики Антону Антонычу трудно дышать, и он говорит брезгливо:

— Что это вы все лечитеся, добрейший? А?.. Что это вы все эт-ти прим-очки, как... баба глупая?! И на черта вам это все, как сказать!.. Отворили бы вы окошко, да собрали бы эти прим-мочки все, да шваркнули б их так, шоб аж... дзвон пошел!

— Ну-у... а ревматизм-то?— спрашивает Тифенталь.

— А ревматизма никакого нет... ревматизмы! То вам делать нечего, как девчонке глупой, абы тряпка красная,— ревматизмы! Кому некогда болеть, то и некогда, это уж вернее смерти, шо тот и не узнает никогда, шо это за болезнь есть... ревматизмы!..

Тифенталь не отвечает, он только улыбается косоглазой, как будто хитрой улыбкой, тихо хлопает рукой по своей седой голове и показывает пальцем на голову Антона Антоныча. Оттого, что косит его глаз, кажется, точно кому-то невидному третьему, невидному, но стоящему здесь же, показывает он, как сильно поседел Антон Антоныч.

Синие сумерки наплывают. Старик все почему-то улыбается длинно. Душная маленькая комнатка тиха. Антон Антоныч болезненно вздрагивает вдруг, но тут же, отвернувшись к окну, говорит злобно:

— Шо седых волос у меня прибавилося, то я и сам знаю, и нечего в меня пальцами тыкать...— Он закусывает губу, с минуту стоит молча и добавляет:— Седеть — это я, положим себе, да пожалуй себе, давным-давно начал, вот... вот-с!.. Я их сначала выдирал вон з корнем, абы их духу не было, ну да, признаться... мне замуж выходить не нужно... нет!..

И опять едкий скипидар, и гвоздика, и маленький глобус на окне... и вот уже нестерпимо хочется уйти; он прощается, отворяет двери.

— Ну-у,— суетливо поднимается Тифенталь,— я провожу-то вас, как же...

— Да я и один, признаться вам, любезнейший, дорогу знаю,— говорит Антон Антоныч досадливо и ворчливо.

— Не-ет, ну, нельзя-то,— спешит старик надеть свое

зеленое пальто с хлястиком и, надевая, показывает на нем зашитую прореху:— Во-от... на подводу сел-то, на гвоздь, р-р-р... ну-у, зашил с иголкой...

Потом нахлобучивает низко ушатую шапку и как-то так понуро и торопливо выходит и идет рядом с Антоном Антонычем, кое-где отставая на полшага, на шаг и опять догоняя своими щупающими землю шагами.

Он идет с одной стороны, но Антону Антонычу кажется почему-то, что идет он то справа, то слева, обвивает его, как хмель, и ему он противен; когда же доходят до усадьбы, то говорит Антон Антоныч:

— Поужинаем сейчас з вами, герр Тифенталь, да, как бы сказать,— пива выпьем...

— Не-ет... Я пойду-то,— поворачивается старик.— Нельзя.

— Что так?— останавливает его зачем-то Антон Антоныч; и когда старик объясняет, что боится в темноте идти обратно, он снова говорит то, чего не хочет:

— Пустя-ки, добрейший! Я вам дам фонарь, и вам будет светло, равным образом, как... как... как жуку в навозе, как сказать... Ну, входите, не бойтеся.

Сидит за столом Тифенталь и уж не в новом пиджаке, как приходил он раньше, а в старенькой, в котором сидел у себя в школе. На пиджаке этом пятна и морщины такие же, как и на его большом старом лице. Пиво он пьет мелкими глотками, долго согревая каждый глоток во рту. Елена Ивановна совсем не знает, о чем говорить с ним, спрашивает:

— Вы отчего это не женились, герр Тифенталь? Так бобылем и прожили весь век и ни одной девицы не осчастливили,— эх вы!

Тифенталь улыбается скромно, разводит руками, говорит:

— Ну-у... как жениться-то...— и качает головой как будто с сожалением и как будто насмешливо.

— Вот теперь у вас никого и нет... Были бы дети, совсем бы другое дело,— продолжает Елена Ивановна.

Антону Антонычу неловко: ему ярко представляется почему-то, что стоит Тифенталь под венцом, и просто это, но удушливо-жутко, а старик улыбается и говорит:

— Нет детей — плохо-то; есть дети — тоже и одно — плохо...

— Трудно — это правда, очень с детьми трудно, а все-

таки веселее,— придумывает Елена Ивановна.— А вырастут — ведь люди из них будут.

— Ну-у... люди будут-то,— соглашается Тифенталь.

Как-то незаметно подсаживается он к роялю и начинает петь, бодро и громко:

Что он ходит за мной,
Всюду ищет меня,
И, встречаясь, гле-едит
Так лукаво всегда... Ха-ха-ха!..

Антон Антоныч настораживается весь: от одного звука этого бодрого голоса у него по спине ползут мурашки. Он никому не сказал бы того, что боится и Тифенталя, и его песни, но это видно по его приподнятой голове и широким глазам. Он старается совершенно спокойно сидеть в глубоком кресле, мерно пить пиво из большой кружки с бронзовой медвежьей головой на крышке, но бьются около старые слова о каких-то глазах:

Голубые они
И так жарко горят,
Но как яду полны,
Будто съесть вас хотят... Ха-ха-ха!..

«Ха-ха-ха...» Но это уже не песня: каждое слово здесь живое и липкое, и рассыпались они везде, эти слова,— одни поползли, другие повисли... Уже ясно кажется теперь Антону Антонычу, что у *него* глаза голубые, не серые, как он думал раньше, а голубые, как кусок неба.

Представляется глубокая яма, а сверху два узких просвета, и сквозь них — небо. Эти глаза — пустые, сквозные, смысла в них нет, они и не зоркие, как у живых, и видят они не потому, что хотят видеть, а только потому, что открыты, открыты были всегда и не закроются.

Антон Антоныч видит их теперь ясно. От них к нему лучится какая-то холодная оцепенелость, а в нем подымается навстречу ей странный такой, щетинистый, как ежик, страх. И чтобы уйти от оцепенелости и страха, Антон Антоныч начинает подпевать Тифенталю:

Ах, отстаньтесь, прошу,
Не следитесь меня,
Этих дьявольских глаз
Я боюсь, как огня!..

Подпевает тихо, мурлычет; глядит прямо перед собой широко и слепо, и покачивает в такт головою. Поет не так,

как Тифенталь,— проще, не доносит нот, только какой-то смысл этих слов хочет обвести чертою звуков и отбросить. Но Тифенталю кажется, что Антон Антоныч хочет петь с ним вместе и что нужно показать еще и еще раз, как это поется, чтобы не было фальшивых нот,— и он оборачивается к Антону Антонычу и начинает песню сначала, еще бодрее и еще громче:

Что он ходит за мной,
Всюду ищет меня...

На лице его скачет косоглазая радостная улыбка. На рояле горит свеча, пламя свечи мечется, свиваясь синим рогом, и синие отблески глубоко западают в морщины, а скулы, нос с горбинкой в середине и широко расплюснутый в конце, и седина волос, и костяшки лба — желтые. Синее и желтое, и прыгает косоглазая улыбка, и все слова, которые нечисто льются из этого полубеззубого рта, о *нем*.

Антон Антоныч долго, молча, растерянно смотрит, непроизвольно дергается всем телом сразу, тихо подымается, бережно отставляет свою кружку, тихо, задерживаясь на каждом шаге, подходит к старику, тушит свечу пальцами, долго и злобно давит, как вредную муху, сбрасывает на пол какие-то длинные листки нот и с шумом опускает крышку рояля. Он хочет запереть его на ключ и шарит руками по крышке, но ключа не находит.

Встает Тифенталь. Теперь он освещен только лампой из другой комнаты, из столовой. Теперь он мягок и сер и не улыбается; вытянул шею и удивленно смотрит поверх синих очков.

— Фонарь я вам дам,— говорит сдавленно Антон Антоныч, нагибаясь к нему близко.— Ну, а только чтобы вы больше мне ни-ког-да... слышите, ни-ког-да...— Он не знает, что́ «никогда»: перед ним теперь только старик — одинокий, больной, непонимающий,— и он заканчивает, как начал: — А фонарь, этто я вам... ддам!

Елена Ивановна в соседней комнате, может быть, и слышала что-то; тяжело входит она, раскачиваясь на толстых бедрах, попеременно смотрит то на Антона Антоныча, то на старика и, растягивая слова, говорит:

— Что это вы замолчали, герр Тифенталь?

Тифенталь растерянно нагибается, целует ей руку, отвечает неразборчиво:

— Ну-у... мне нельзя-то... надо домой.

Елене Ивановне нравится, что он, прощаясь, целует ей руку, и она говорит с искренней нежностью:

— Кто это вас ждет там дома,— подумаешь! Посидели бы.

— Нельзя, так и нельзя!.. Что же, ты его цепями приковать тут хочешь? — кричит на нее Антон Антоныч.— И уж он так тебе нужен, как собаке пятая нога, как сказать!.. Нельзя, так и пусть идет!.. Пусть идет, если ему нельзя!.. Нельзя, так уж, значит, нель-зя!

В передней он сам зажигает в жестяном фонаре свечу и сует фонарь в руки уходящего Тифенталя.

Прощается он с ним так, точно ничего не случилось, и Тифенталь по привычке начинает уже улыбаться ему своей прежней косоглазой, как будто хитрой улыбкой.

Когда он уходит, Антон Антоныч стоит на крыльце и смотрит ему вслед. На подмерзшем снегу хрустят протяжно шаги Тифенталя, и колышется круглое желтое пятно от фонаря. Ночь темная. От желтого пятна во все стороны по грязному снегу ползут синие полосы, и вот — как-то странно — желтое пятно вдруг начинает казаться Антону Антонычу голубым. У старика спина выгнута, как полоз, и идет он медленно, точно несет тяжесть. Но эта тяжесть только фонарь, только круглое желтое пятно внизу, не желтое — голубое.

Все время, пока видно старика, Антон Антоныч стоит на крыльце и не отрываясь, подымаясь на цыпочки, чтобы разглядеть лучше, следит за ним.

XIX

Пасха в этом году была поздняя,— весна ранняя: отсмотрелись уж в полую воду придорожные липы, пролетели гуси, зацвел орешник.

На Пасху приехали только двое: Леша и Кука; о Сёзе говорили, что он немного болен, побоялся выехать вместе с ними,— приедет позже. Но Антон Антоныч подозрительно и подолгу всматривался в их ласковые лица и спрашивал:

— Шо ж это за знак такой, что он не приехал, а? Чем он там больной, что за вздор, и ведь это уж, кажется, даже не зима теперь, чтобы с насморками возиться?

И Пасха была странная: не звонили в колокола,— церковь была далеко, за двенадцать верст, в местечке Нейгофе,— не катали яиц, не пели и не осыпали девки и парни лесных опушек красными маками кумачных рубах и плать-

ев, как это было в Тростянке. Мызники были мирны, незаметны, ездили друг к другу в гости в легких повозках так же размеренно, по заведенному издавна порядку, как сеяли рожь и сажали картофель на своих сырых полях.

Подчекаев с женой приехали на третий день: по самые гривы забрызганные плотной грязью сухоногие почтовые лошади-эстонки, тряский возок, обветренные щеки и еще издали — «Христос воскресе». Шумно встречал их Антон Антоныч, христосовался звонко, сам их высаживал, сам помогал раздеваться, но оставил какую-то стыдливо-узенькую щель в этом шуме и сквозь нее подозрительно следил за ними. То показалось, что как-то слишком суетится Подчекаев и зачем-то часто кашляет некстати,— не кашлял раньше,— и зачем-то прикладывает руку к сердцу, даже когда говорит, что дорога грязная, или что Никаша очень просился ехать с ними, но его оставили с нянькой; то показалось, что Марья Петровна выпячивает как-то губы сердечком и пришепетывает и когда поворачивает от него голову, то косит в его сторону глаза, а когда говорит с Еленой Ивановной, лицо делает вздыхающее и серьезное.

И поэтому сразу и неожиданно сказал он:

— Вот как меня угадали в суде, а?! Чист, как огонь, и сухой, как порох,— три года и восемь месяцев ка-торги!.. Три года! Голубчик мой!

Подчекаев приложил руку к сердцу и сказал горячо:

— Ничего не значит, пустяки! Кассируют,— и говорить не о чем... Это вы из-за своего темперамента пострадали,— верно-верно: единственно.

А Марья Петровна насупила чуть видные брови, покачала пышной прической, удивилась по-детски вслух: «Каково?» — и потом длинно и ободряюще улыбнулась.

Но обед вышел скучный, и не пилось и не пел Подчекаев «мравал жамие!».

Оставшись вдвоем с Подчекаевым, говорил Антон Антоныч, внимательно глядя на его новые погоны:

— Что там ни говори, дорогой мой Иван А... синкритьевич, а я у вас под надзором, голубчик... под форменным полицейским надзором, под форрменным!..

— Антон Антоныч, что вы! Какой там надзор? Чепуха это все, бросьте!

Они сидели рядом на диване, и Подчекаев глядел прямо ему в глаза, ободряюще улыбался и дружески хлопал его

по плечу. От этого хлопанья Антон Антоныч ежился, ежился брезгливо и не скрывал этого, смотрел в свежее лицо Подчекаева, раздувая ноздри, и говорил:

— Кто бы мог думать, что так это случится все, а? Да я бы рребра поломал тому на части, кто бы мне заикнулся сказать это даже раньше времени!.. Это что же? Вы вот приехали, как сказать, на праздник, и очень я рад, конечно, что вы обеспокоилися, приехали меня проведать, а может, у вас и другая цель тут была?

— Какая там другая цель? Какая?.. Подумайте, нет, только подумайте! — возмущался Подчекаев.

— Ну, то уж бог его святой знает, как сказать, а я не знаю... Только я вам скажу, что это дело,— если уж они так обернули,— я буду вести сам... сам! Если уж они так со мною, так я нна дыбы подыму весь уезд! Я десятки тысяч не пожалею, абы... А то, что они меня в арестанты, э-э-э... адвоката такого взял теперь, что, ничего не видя, сграбастать хочет шесть тысяч!.. Ну, то уж зато адвокат такой, что меньше он и не берет, как шесть тысяч!.. Да я на это дело десятки тысяч не пожалею — честью клянусь!

— Сотни тысяч не жалейте, Антон Антоныч! Половины состояния не жалейте! — вскочивши, размахнул руками Подчекаев.— Чтобы снять с себя это, половины состояния не жалейте! Верно, верно!

Он говорил это горячо, как говорят люди, которые и готовы пожалеть, да не могут, готовы дать самый лучший совет,— и не знают, и, постаравшись, хватят вдруг куда-нибудь через край, так что и достать нельзя. Стоял он, выпучив глаза и даже покраснев от желания сказать что-то еще более сильное и от усилий найти сильные слова. Но Антон Антоныч оправился, удивленными глазами осмотрел его и протянул:

— А-а, добрейший!.. Шо-то вы так волнуетесь, как сказать? Дело мое — в сенате, и... половина состояния моего — это четверть миллиена, а ни меньше, как четверть миллиена... Может, мне уж и руки-ноги поотрубать для этих мерзавцев судей, псов-собак,— и тогда вам у меня не стыдно будет? Что-то мне так кажется, что вы так и сказать хотели, что вам со мною стыдно?

— Антон Антоныч, что это вы?.. Раздражение это у вас,— замялся Подчекаев.

— Я не из воздуха монету чеканю, голубчик, не из воздуха, чтобы мне тут половину состояния, и на кого? На псов на этих?.. Да им остру булавку в хлеб, а не половину

состояния, веревку за шею, да гицеля им с клеткой, псам-собакам!.. Да им, абы и солнце не всходило и земля б их не прийняла, разбойников, анафем, подлецов...— прорвалось у Антона Антоныча.

Марья Петровна, шедшая было к нему с Еленой Ивановной, повернула обратно и поспешно затворила трое дверей, а Леша с Кукой слушали-слушали, потом оделись и вышли из дому.

Когда же пришли они обратно, Антон Антоныч с Подчекаевым говорили уж мирно. Подчекаев ему объяснял, что на всю округу нет ни одной корчмы, потому что некому хлопотать об этом, что подходящее место для нее — одна из мыз Анненгофа и что такая корчма, если бы сдавать ее в аренду, давала бы больше тысячи рублей в год. Горячо и бескорыстно брался он хлопотать об этой корчме, и только вскользь как-то бросил, что жалованье у него небольшое, а семейство растет.

Теперь уже Антон Антоныч глядел на него участливо, как будто насмешливо и как будто добродушно, тяжело держал руку на его плече и говорил:

— Ну, вот это ж оно и есть то самое, что и я вам объяснял, милейший мой, а вы не хотели слушать. Пасха Пасхой и праздник праздником, а люди,— как-то оно так выходит,— все люди друг дружке нужны, и ни один человек на земле зря пропасть не должен: кто ковать, а кто в огонь руки совать... Так, добрейший!

Дашка сделала такой кулич, что поссорились из-за него Иван Асинкритыч с Марьей Петровной, сначала только намеками.

— Вот это я называю: кулич! — говорил Подчекаев.— Дома такого не дождешься... Куда — не тем заняты. Поучилась бы ты у Дашки, единоутробная.

А Марья Петровна понимала, что здесь она — Мария Стюарт, и не хотела учиться у Дашки и не хотела допустить, что Дашкин кулич лучше, чем ее, и много тонкости вкладывала она в свои ответы, чтобы обидеть мужа и не обидеть Елены Ивановны.

Но слово за слово разошлись они бурно, по-домашнему, и Подчекаев шумел и топал ногами, пока Марья Петровна не ушла плакать в спальню Елены Ивановны, а Антон Антоныч, оставшись с Лешей в гостиной, говорил ему изумленно:

— Что ж это он так без стеснения всякого, а? Или я уже в остроге? Или этот дом — не мой дом, а? Или я умер?

И потом все время подозрительно следил за Подчекаевым,— как он говорит, как ходит по комнатам, поскрипывая сапогами, как кладет руки на стол, сидит, отвалившись правым боком, и глядит сырыми глазами в набухших веках — все было противно.

Как-то сказал Антон Антоныч:

— Что ж ты не охотишься, Кука?.. Глухари эти тут теперь... Козы, говорят, притаскались... Ну, а уж уток на озере я своими собственными глазами видал; так кишат, как... как черви в мясе!

— Ну и бог с ними,— сказал Кука кротко.

— Ты ж... охотник? — удивился Антон Антоныч.

Он не ответил. Он играл с Подчекаевым в подкидного дурня, и Подчекаев все оставлял его в дураках и смеялся шутливо и торжествующе.

— Ты ж охотник? — повторил Антон Антоныч.

— Что там охотиться... надоело,— сказал Кука.

Близко нагнулся к самому лицу Куки Антон Антоныч, присмотрелся. Пахло от него какими-то нежными женскими духами, острижен он был сзади под машинку, спереди аккуратно причесан косым пробором, воротничок у него был, казалось бы, совсем неудобный: высокий, жесткий; на тужурке ни пятнышка, ни пылинки... прежде не было этого. Какими-то городскими стали щеки: точно устыдились наконец сельского румянца и круглоты и вот стянулись чинно, насколько нужно, чтобы не бросаться в глаза, и исподволь посерели.

— Щеголь ты стал какой-то, а? — сказал Антон Антоныч.— Прежде ты как-то... не так был этому предан...

— Что же прежде?.. С людьми живем...— медленно ответил Кука и тут же радостно бросил Подчекаеву две карты.— Дама пик и дама бубен,— не угодно ль,— покройте шапкой!

Подчекаев нерешительно стал покрывать тузами, а Антон Антоныч говорил:

— И на лицо ты изменился... Ночей не спишь, а? — и еще ниже склонял к нему голову и всматривался в серые глаза, как гадалка в нашептанную воду.

— Папа мне мешает,— досадливо отодвинул Кука лицо.

Выпрямился Антон Антоныч, вспыхнул:

— Ого, хлопче, я уж и мешать стал!.. Так я, может, и всем мешаю? Тем, что живу еще здесь, тем самым и мешаю,

а я и не знал, дурень!.. Так это они угадали, значит,— о-о, то разумный народ! — шо меня в острог, в каторгу, в кандалы, на цепь, а?

— Ну, папа! — поднялся Кука.

— Это они мне самое наивернейшее место и нашли,— як не москаль, то и руками не плескай, та иди себе на казенный хлеб, та смирно сиди, не ворохнись,— та глупой головою бритой... или то, может, только на чистой каторге голову бреют, а в арестантских ротах нет, а, господин исправник? — язвительно спросил Антон Антоныч.

— Ну, папа! — опять по-прежнему, только еще более просительно и нежно, как говорят с больными, неверно улыбаясь, сказал Кука, а Подчекаев почему-то вздохнул, потупясь, и стал собирать и тасовать карты.

— Нет, все ж таки, как арестант будущий, должен же я знать, стригут там голову или же бреют? — и по своим полуседым, но густым еще и сильным волосам провел Антон Антоныч обеими руками сразу и взъерошил их и, перегнувшись над столом упруго, смотрел на Подчекаева так, как будто это он именно виноват в том, что его осудили, и выкрикивал отрывисто: — Тачки там возят? Землю роют, а?.. Из печенки собачьей уху хлебают?

— Антон Антоныч! — сказал Подчекаев, вдруг засмеявшись.— Садитесь-ка и вы с нами в подкидного, а? Бросьте вы об этом и говорить и думать... Хотите,— на интерес?

— И-й-яя? — удивился Антон Антоныч.— А... а... а... ты ж меня придешь и арестуешь, как меня вторично осудят! — чуть не подавился он словами и, говоря это, взял из рук Подчекаева карты.

— Я-то?.. Мне уж навряд ли придется,— опять попробовал шутливо засмеяться Подчекаев.— Тогда уж вас сюда не пустят, пожалуй.

— Не пус-тят?.. Антон Антоныч бросил колоду в угол, и разлетелись карты.— Так чему ж ты рад, га? Ты чему ж ррад?.. Ты у меня хлеб ешь, как у честного, и ты ж меня, как жулика последнего, схватишь — свяжешь, когда прикажут,— и ррад?.. Так ты этому ррад?

Кука стал ближе к столу между Подчекаевым и отцом. Голос у Антона Антоныча звенел, срываясь. Он дернулся всем телом раз и другой раз. Поднялся Подчекаев, небольшой и плотный. Спешно шли из другой комнаты Марья Петровна с Лешей, и Елена Ивановна, вся красная, кричала издали мужу:

— Терпеть не могу! Этого я терпеть не могу! Я тебя терпеть не могу!

В этот же вечер уехал Подчекаев.

С Лешей шел по молодому апрельскому лесу Антон Антоныч. Он видел, что Леша все пишет кому-то длинные письма: испишет мелким почерком почтовый листок, потом берется за другой, и его испишет, и все справляется, когда поедет Фома на почту в Нейгоф, и нельзя ли ему поехать раньше, вот теперь же, сейчас; и вид у него стал почему-то рассеянно-серьезный.

На соснах и елях выступала новая смола. Весенними дождями было дочиста вымыто небо и сквозь сильные темные верхушки голубело влажно. Синица настойчиво кричала: «Цигарга, цигарга,— пинь-пинь-пинь!» У Леши выбивались из-под фуражки кудри молодо и празднично.

Сказал Антон Антоныч:

— Замечаю я что-то... ты как будто здесь и не здесь, а? Что-то у тебя там завелось, червяк какой-то... Может быть, я в этом деле ошибаюсь, а только кажется мне так... а?

— Пожалуй,— ответил Леша, смотря не на отца, а куда-то выше сосен,— пожалуй, и завелось...— и не улыбнулся, как ждал Антон Антоныч,— смотрел просто.

— А-а... а как бы сказать... не рано это?

— Нет, не рано,— так же просто ответил Леша.

— Что ж, ты, может, уж и... обвертеться?

Промолчал Леша.

— Но только это не такое легкое дело — баба, нет! Это я тебе скажу, хлопчик...— Антон Антоныч покрутил головою.— И лошадей в пару трудно подобрать: та — ледача, та — горяча, та — смирна, та — полыхлива, та — кусача, а та и совсем беззуба, на овсе зубы себе повредила, как сказать... А уж человека с человеком в одно дышло, этто, этто не малого труда дело, нет!.. Сказать бы, что рабочему — ледачу пару, ледачему — рабочу пару,— потому как обои рабочи, так добра наживут столько, куды его и девать, а как обои ледачи, так з голоду подохнут,— ну так это сюда нейдет: ты уж у меня нужды не терпел и терпеть не станешь, так уж тебе не придется необбросшему голую брать,— ты уж на твердой основе... Ну, а... кто ж она такая?.. Может, я могу дать тебе свой совет.

— Нет, какой же совет,— скучно сказал Леша.

Он смотрел на голубое небо и щурил глаза. Лицо у него было такое же бледное, как и зимой, продолговатое, с опушенной уже верхнею губой. Слегка покусывал он эту губу, как это делал и Антон Антоныч, но, глядя в небо, щурил глаза. Никогда не щурил глаз Антон Антоныч,— смотрел ли на солнце, на небо, на яркую воду, на искристый снег, не щурил глаз,— это было чужое в Леше, и тонкая слабая кисть руки была у него — недолговечная и тоже чужая. Здесь в лесу он был не лесной, не полевой был бы и в поле. Он посмотрел на отца боком и так же скучно и просто добавил:

— Какой же ты можешь дать мне совет?

— Как так?.. И совета уж дать не могу? Значит, я ни на что уж и не гожусь в таком случае, так? — остановился Антон Антоныч.

— Э-э...— поморщился Леша.— В этих случаях никто не может дать совета.

— Как так?.. Ведь и чужому ж дают совет, а ты ж не чужой! Ведь как мы вместе жить будем, должен же, и обязан даже, знать я...

Поспешно перебил Леша:

— Неужели папа думает, что я здесь жить буду?

— А как же ты?.. Почему ж ты здесь жить не будешь?

— У меня ведь свое дело, я думаю! Папа это забыл? — поднял голос Леша.

— Ну, а фабрика ж как? — несмело уже спросил Антон Антоныч.

— Какая там фабрика!.. Не строить ее совсем.

— Не строить нельзя! — крикнул Антон Антоныч.— Нельзя не строить, и она будет стоять, как... солдат на часах, как свеча!

— Перевод денег,— сказал Леша.

— Так деньги ж эти мои!.. Или уж тоже нет? — удивился Антон Антоныч.

Но так же просто и вяло, как прежде, сказал Леша:

— А я бы все-таки сначала с судом развязался, а уж потом...

— А-а...— протянул Антон Антоныч и долго смотрел на Лешу и думал, и Леша видел, как билось о глаза и щеки и губы его то, что он хотел сказать: сначала одно — ударится и отскочит, потом что-то другое — ударится и опять отскочит, и многого не сказал он; сказал что-то не то, последнее:

— Почему же не приехал Сёзька, а?

— Болен,— ответил Леша, пожав плечами.

— А почему у Куки как-то так, как... у волковой кобылы, скулы сторчать стали? Как у той кобылы, шо хозяина на нее нет, и один только волк ее пасет в поле, а?

— Не знаю... Растет, должно быть... И работы у них тьма...

— Ага, не знаешь?.. А йя знаю!.. Работа... работа людей не сушит, а кре́пит, работа как... как деревянна катушка, абы было на что нитки мотать. Работа работой, а только едва ли тут в работе суть...

И замолчал Антон Антоныч, но неотвязно зазвенела в нем Тифенталева песня.

Кругом красные сосны и черные ели лечили зимние раны густой смолою, и густо стелилась по земле яркая черника, и было предчувствие долгого летнего, насквозь пропитанного влагой тепла, и озеро просвечивало чистое, как кусок неба, а Антон Антоныч вдруг запел тихо:

Голубые они,
И так жарко горят...

Спохватился тут же, присвистнул, плюнул, сказал Леше:

— Камню наломали тут кубов двенадцать,— ты видал?

— Нет. Какой? Бутовый?

— Гранит. И веку не будет!.. Сер-рый, как... волк. Крупнозерлый...— остановился было Антон Антоныч, но махнул рукой. Не повел смотреть.

Шел, и опять все вертелась в голове та же песня, и мурлыкал опять:

Голубые они,
И так жарко горят...

Но, спохватившись снова, обругал Тифенталя:

— А бодай на тебя лиха година, проклятый! Вот в зубах настряло, как... черт знает что!

Сосны и ели слушали.

XX

Как-то вечером,— пустым вечером: уехали уже дети,— Антон Антоныч остался с Еленой Ивановной, долго смотрел в сырые, струящиеся переплеты окон,— дождь шел за окнами,— долго слушал, что было около и что было в себе, и сказал негромко:

— Нюся... Хотелось бы мне добиться во всем этом толку, Нюся... Что до чего, как говорится, а борщ до каши, а репей до собачьего хвоста, а из хвоста собачьего-стервячьего сита не выкроишь; нет, то уж верно... Променял бы я свою голову на утину,— как-то так очень уже мне она обрыдла — опротивела, вроде как не нужна совсем стала...

Елена Ивановна сидела за столом, на котором золотела пятнышком новая бронзовая чернильница и синевато белел лист бумаги, сидела грузно, тяжело, так что и представить, что поднялась она вдруг, нельзя было. Она вообще теперь чаще сидела, почти совсем не ходила по усадьбе; расплылась еще больше, отяжелела, и когда заговорил Антон Антоныч, не повернула к нему головы.

Была какая-то сквозящая всюду, как пыль в солнечном луче, тоска и тупая тишина во всем доме.

Елену Ивановну плотно облегало добротное платье из какой-то чешуйчато-серой, жесткой на вид материи с длинными черными прошивками и высоким воротничком, закрывавшим всю шею, и, когда смотрел теперь на нее сзади Антон Антоныч, она казалась ему похожей на паука, на паучью самку, с круглым большим паучьим телом: головогрудь и брюшко; а в зеркале напротив, насколько позволял вечер, отражалось ее привычное, младенчески полное и розовое деловое лицо. Оно уж было теперь бессменно деловое: все дела по хозяйству вела сама Елена Ивановна,— даже дело в суде: сама отвечала на письма знаменитого адвоката и один раз даже ездила в город, хлопотала.

Раньше поехал было сам Антон Антоныч, но дня через четыре вернулся встревоженный, побледневший и без палки: сломал ее на каком-то лесничем, статском советнике, с которым случайно познакомился в ресторане, потом в течение двух суток кутил слегка и рассказывал о своем деле. Палка была грушевая, толстая, и разлетелась она на части от удара.

— Он мне говорит: ты плати по счетам деньгами, а я своею честною честью, так как я статский советник, как сказать, а ты... а ты... Гос-споди, что ж он такое мне сказал, злодей! Как же смел он мне сказать это, га? Как схватил я ппалку, как хватил я его, мерзавца, да по ббашке, да... да... да по шее, да... да... так аж-аж-аж... ночь в голове встала. Боже ж мой!.. А тут лакеи кругом, та те, шо обедали, да поли-ция... э-э, срам!.. Та домой его повезли на возу, на извозчике, да протокол там, как сказать,— э!.. Так

уж и не буду ж я больше туда ездить,— кон-чено, нет! Ты... ты уж сама поезжай, кончено!..— говорил он Елене Ивановне.

И поехала тогда Елена Ивановна, а Антон Антоныч ходил по комнатам, думал, слушал, не зазвенит ли по дороге чей-нибудь чужой колокольчик, и морщился растерянно, и брезгливо вздыхал, и махал рукой.

Забыли как-то про триста гусиных гнезд в Анненгофе (прибавилась одна только пара гусей, небольших, белых, с красными наростами на клювах и с пушистыми хохолками) и как-то не собрались еще завести сыроварню: по-прежнему приезжала ежедневно с соседней большой молочной фермы длинная четырехугольная подвода, запряженная пятнистым силачом-битюгом, и забирала удой.

Григорий ратоборствовал на поле, где пахали под яровое, а Антон Антоныч только один раз проехал туда посмотреть на лошадей, по-людски упрямо ведущих плуги, походил по песчанистым комьям земли вместе с грачами, спросил Григория, где пашут под лен, где под клевер, и все равно показалось как-то — лен или клевер, и все равно — мелко пашут или глубоко и чисто или с огрехами. День был зеленовато-золотистый, матовый, и тихий, тихий, тихий, и пахали как-то тихо, потому что легкая была земля, и борозды ложились ровные, прямые и тоже тихие; и синие грачи не кричали: спокойно ходили вперевалку, охорашивались не спеша, просто и не очень жадно выуживали белыми носами красных мясистых червей,— питались чинно, точно для них именно и завели пахоту, точно они — званые гости.

Посмотрел и скоро ушел он с поля.

А теперь вечер был такой же, как тогда день: тихо струился за окнами.

Подождал Антон Антоныч, не повернет ли головы Елена Ивановна, долго и как-то очень терпеливо ждал,— нет, не повернула. И тогда сказал он опять:

— Суть вся заключается в том, что — как бы сказать, не ошибиться,— это ж, как ночью шел бы кто-нибудь наудалую да в поганую яму помойну бух,— туда, к черту! — загваздался б по самое ухо, да скорей же под кран его, эй, под свежу воду скорей, да вымыть, да высушить, абы и не вспомнил об этом; да того, чья та яма необгорожена, по морде, подлеца, по морде, хама!.. А... а... а только что хозяина того нет, хозяина того... нет: черти на бубен взяли!..

И пока говорил это, напряженно и отчетливо, думал,

что нужно что-то выяснить и что удастся это теперь в тихие сумерки. Но вдруг показалось, что незачем говорить, что не о чем говорить, что о том, о прежнем все уже сказано — им или кем-то другим, только все сказано, до последнего слова.

Но было что-то новое в нем, о чем еще не говорили; и он махнул рукой и сказал тихо:

— Болен я, Нюся.

И так это было неожиданно и ново, что обернулась Елена Ивановна.

У нее часто лечились деревенские бабы, и недаром она вписывала разные рецепты в свою толстую книгу. Застенчиво и отрывочно начал говорить о своей болезни этот никогда раньше не болевший человек, застенчиво и неохотно, но больше как-то не о чем стало и говорить с нею.

Болезнь была странная: что-то сузилось внутри, в теле Антона Антоныча; незаметно как-то, но уверенно сузилось, мешало глотать и болело. Может быть, это была только тоска, обида, досада, а не боль,— этого не знал Антон Антоныч и не знал, где именно притаилась боль, но то, что глотал он, натыкалось на что-то внутри, как ночью деревенский воз на шлагбаум, и приходилось ждать, когда поднимут шлагбаум, пропустят. И еще как будто отдавалось что-то в голове по утрам, и какими-то вялыми стали казаться пальцы, и еще... махнул рукою Антон Антоныч и, перебив себя, добавил:

— Да ерунда, конечно, а... а только з тобою, бабой, о чем и говорить, как не о бабском! Это просто от суда я так, от здряги, ну.

— Нет, это лечить надо,— медленно сказала Елена Ивановна.— К доктору тебя надо, ослушать, а то запустишь...

— Ну да, как же не к доктору, скажи! Это ж должен тот доктор пропасть ни за цапову душу, если ему лечить некого будет,— отозвался Антон Антоныч, но с любопытством, косясь, следил за тяжелыми движениями Елены Ивановны, достававшей из стола свои записки.

Потом тихо, но безудержно, как всегда, сгущались сумерки: тарелки из терракоты сливались со стенами; края шкафа казались мягкими на вид, как резина; лес, видный в окно, линял, серел.

Елена Ивановна долго шелестела листами, вслух читая то одно, то другое слово, и нашла, наконец, что Антону Антонычу должен помочь настой из алойного корня: ложку

утром, ложку в обед и ложку на ночь, и записано еще было у Елены Ивановны, что лекарство это придумал какой-то исторический француз де Равальяк.

XXI

В Анненгофе, когда покупал его Антон Антоныч, был ручной журавль Фриц. Человечье было что-то в длинноносой голове с зоркими глазами, в неторопливых движениях и в самом голосе, когда он кричал. Весь он был какой-то сторожевой, домовитый, укладистый, чинный, и крик его был похож на начальственный окрик: «Вы-ы та-ам!.. Я-я ва-ам!» Покричит, посмотрит кругом боком и опять пойдет шагать по двору, вглядываться пристально в живую для него землю и долбить носом. На кличку бежал, растопырив крылья и кивая на бегу головою, и тогда был похож на маленького старичка с хохолком, который вдруг подопьет и расшалится где-нибудь на свадьбе, в кругу очень близких знакомых. Иногда он плясал и тогда имел вид несколько сумасшедший или придурковатый, точно пляшет для потехи ребят какой-нибудь уличный недоумок в длиннорукавой рубахе и тяжелейших сапогах.

Шесть лет жил в усадьбе Фриц, и Антон Антоныч любил, когда он бегал за ним, как собака, и осторожным клювом брал у него куски хлеба из рук. Летели мимо весною и осенью журавлиные косяки и кричали, и Фриц кричал им ответно, волновался, подпрыгивал, но пролетали они,— успокаивался Фриц. Крыльев ему не подрезали. Так было и этой осенью и весною, теперь. В журавлином крике весною есть что-то взмывающее кверху, как-то действующее и на людей, как призыв. И вот что случилось. Десять журавлиных стай пропустил Фриц, а с одиннадцатой перекликался сначала степенно, спокойно, да вдруг закричал радостно, совсем по-человечьи, забегал по двору, подпрыгнул на собачью конуру, с нее — на птичник, с него — на крышу конюшен — и вдруг полетел. Летел и кричал, и подымался все выше и выше, и в журавлином косяке кричали ответно, и в солнечном небе было широко и чисто, так что видели все — и Фома, и Григорий, и сам Антон Антоныч, как он догонял стаю. Григорий решил, что в этом косяке была его самка, которую узнал он по голосу, и ошеломленный Антон Антоныч согласился, разводя руками:

— А это уж вернее смерти, что так!

Без Фрица стало почему-то меньше уюта на дворе, и сначала Антон Антоныч все думал, что как-то должно так

случиться, что он отобьется от стаи, заскучает по тому месту, где жил шесть лет, и прилетит, и как-нибудь утром он увидит его, домовито шагающего по двору. Но проходило утро за утром, а Фрица не было.

И еще случилось. Как-то вечером, когда апрельское солнце уходило за линию леса, а Антон Антоныч только что отворил окно над балконом и вдыхал закат,— большеглазый, красивый, серый певчий дрозд сел на перила балкона. Оглянулся кругом, посмотрел внимательно и просто на Антона Антоныча, чокнул тихо, подергал несколько раз хвостом и перепорхнул на пол. Антон Антоныч перегнулся в окне и увидел, как дрозд бегал по балкону вдоль стен, не прыгал танцуя, а как-то по-куриному бегал тихо; потом взлетел на наличник другого окна, смежного с тем, у которого стоял Антон Антоныч, и посмотрел в комнату.

Антон Антоныч боялся его спугнуть — не шевелился, смотрел; потом тихо позвал Елену Ивановну:

— Нюся!

Дрозд не испугался.

Тогда он позвал громче, и Елена Ивановна подошла к окну, поглядела и сказала:

— Ну что ж тут такого... Должно быть, чей-нибудь с мызы... Вылетел из клетки, ручной.

Антон Антоныч хлопнул в ладоши,— дрозд соскочил с окна и опять забегал по балкону, нашел темный угол и сел там.

Почему-то стало как-то робко в Антоне Антоныче, и, чтобы прогнать это, он вышел на балкон, шикал и издали гнал дрозда с балкона, но дрозд дождался, когда он подошел к нему на шаг, и тогда выскользнул из угла, пробежал мимо ног его, серый как мышь, и взлетел на перила.

Около дома лежала большая куча хвороста; к этой куче перепорхнул дрозд, когда Антон Антоныч окончательно согнал его с балкона, и в сумерках, на серой земле, еле заметный, обежал ее не спеша кругом, потом юркнул в нее, в какую-то узкую щель, но скоро вышел оттуда, опять обежал с остановками всю кучу кругом, нашел другую щель и из нее уж не выходил больше.

— Спрятался на ночь от кошек,— сказала Елена Ивановна.

Наутро Антон Антоныч, заметивший место, куда ушел дрозд, подошел к куче, разгреб хворост и увидел дрозда: он лежал нахохленный, твердый, вытянувший спокойно желтые лапки и навсегда закрывший агатовые глаза.

За всю свою жизнь только в первый раз увидал Антон Антоныч, как умирают вольные птицы, и подумал, что так же, должно быть, умирают и звери: почувствует смерть, найдет укромное место для своего тела и умрет.

Никто не видал, как отнес Антон Антоныч мертвого дрозда в лес, отвернул носком сапога пласт хвои, проросшей зеленым мохом, положил в ямку твердое тельце и накрыл снова. И долго стоял около, слушая тихое, зеленое, лесное,— где-то лозиновку, где-то глушку, где-то зяблика: зелеными стенами плыл кругом лес, и в нем бились птичьи песни — тоска.

Старая могила была в парке — простой обросший холмик, а около дубовые гнилые столбы, остатки ограды. Говорили, что похоронен здесь какой-то застрелившийся сумасшедший барон: здесь же и застрелился. С этого места далеко было видно кругом: прямо вниз и влево и вправо — лес с просветами просек, дорог и полей, и сзади — усадьба с белым домом. Пахло здесь застоявшейся смолою, точно самый воздух был навсегда набальзамирован и никуда не уходил отсюда: стоял тяжелый, как труп. И почему-то здесь было как-то особенно тихо, тише, чем в лесу, и ели были как-то необыкновенно высоки, черны и часты, точно какой-то монастырь старых и строгих схимниц-елей.

Сюда пришел потом Антон Антоныч и, оглянувшись отсюда кругом, в первый раз подумал отчетливо: «Что ж, это, пожалуй, и не такое плохое место...» Еще раз оглянулся пристальней и еще раз подумал то же самое и теми же самыми словами.

XXII

В конце мая, как-то утром, хмурым, тихим и холодным, Антон Антоныч бесцельно поехал в город, пробыл здесь день, потом, неожиданно для самого себя, отпустил Фому и на вокзале взял билет до станции, к которой прилегала Тростянка. Зачем он ехал туда,— он представлял смутно, но ярко торчали перед ним густая борода Дергузова, бычий подгрудок Голева, Митрофановы красножилые глаза и, главное, облик Веденяпина, до единой черты грубо отчетливый, точно тавро, выжженное железом.

В детстве Антон Антоныч,— в местечке Липяны за Краковом, откуда был он родом,— ловил щеглов по́нцами. По́нцы ставились на расчищенном току так, чтобы глупого щегла приманить жирным репейником и болтливой самкой

и потом дернуть из шалаша за длинную бечевку; взвивались крылья пóнцев и накрывали щегла. Кто-то и как-то, но не пóнцы ли поставили и для него в Анненгофе, а бечевку дернули из Тростянки? Сузилось как-то все,— оставался только Анненгоф с одной стороны, с другой — Тростянка.

Щеглов хорошо было ловить осенью, когда с огородов снимали уже последние овощи, срезали капусту; но всегда оставалась где-нибудь незамеченная морковь или репа, и хорошо было сидеть в шалаше и хрустеть этой твердой морковью и репой: осеннее все ведь такое прочное, звонкое... Коноплею пахло тогда, репейником, свежими капустными кочанами... Может быть, и остался в живых кто-нибудь из тех, кого он помнил в Липянах... Костел там стоял на горе, внизу речка Вепрж,— на том берегу мелкий орешник: хорошее, щитное место для соловьев,— и если идти по дороге, то далеко, а если прямо через орешник, совсем близко старая каплица, где неизвестно кто зажигал по ночам зеленую лампадку. А речка потому называлась Вепрж, что ее источники — родники в болотах — отрыли будто бы дикие свиньи.

Антон Антоныч ехал теперь почти всю дорогу молча. В одном купе с ним поместился какой-то торговец из Риги, бородатый старообрядец, который почему-то очень часто на станциях выходил и пил воду прямо кружкой из бака на платформе, и, должно быть, очень тонкий вкус был у него на воду: входя в вагон и вытираясь рукою, он говорил:

— И здесь попробовал... Водицу-то, говорю,— попил... Все одна-одинакова, одна-одинакова... Ну, а впрочем, будто в глину ударяет — самую малость.

Иногда вода ударяла в мел, иногда в песок, иногда в коренья.

Где-то пришлось вечером ехать мимо сельского пожара, и старообрядец с живейшим интересом считал, сколько горело изб:

— Первая, вторая... три... четвертая,— обратите внимание... а вон пятая — видите, крыша занялась?.. Пять... стало быть, итого пять.

Но потом вдруг потянул Антона Антоныча за рукав и закричал радостно:

— Шесть!.. Видите, вон!.. Примите во внимание,— шестая... Теперь пойдет!

Антон Антоныч отвернулся от пожара, с силой выдернул руку и сказал шипуче:

— Что ты меня за руку тягнешь... осел!

Где-то на городском вокзале ночью,— услыхал Антон Антоныч сквозь сон,— мальчишеский звонкий голос кричал кому-то с платформы в окно вагона:

— Отвори окно, я тебе что скажу!

— Да ну, не отворяется, говори так,— отвечал другой голос постарше.

— Да отвори!

— Не отворяется, пошел к черту!

— А завтра у нас... отвори!

— Пошел к черту!

— Бал с танцами... для обеих гимназий: для мужской и для женской...

— Тоже еще!

— До двух часов!

— А?

— И гимназистки будут!.. Ты слышишь? Ну, отвори!..

— Да не отворяется,— вот, черт!

— Ночи до двух часов.

Пошел поезд, но тихо, а снаружи торопливо и радостно кричал догоняющий мальчишеский голос:

— До двух часов... И гимназистки... Бал с танцами... Ты слышал?.. Ночи до двух...

Слышал это Антон Антоныч и думал, что были маленькие гимназисты трое: Леша, Кука и Сёзя, волновались из-за отметок, готовились к вечерам с танцами, потом те же трое стали студентами, в новеньких тужурках с красивыми наплечниками, а теперь... пожалуй, даже и неизвестно, кто они теперь.

Где-то двух безбилетных баб-богомолок вытолкали с криком из вагона,— загорелые, старые, с тощими шеями, плакали и целовали руки кондуктору, чтобы не гнал. Антон Антоныч пошел и купил им билеты. Он и сам был теперь, как богомолка. Он думал, что скажет он Голеву, Митрофану, Дергузову... что скажет Веденяпину. Может быть, просто обнимет его крепко, как когда-то прежде, и выговорит сквозь слезы: «Брат!.. Что же это ты сделал со мною,— скажи!» Или хлынет в голову кровь, и забудет он все слова, когда его увидит.

Тарахтели вагоны одинаково — ночью, как днем; леса сменялись полями, города — селами; много зеленой земли шаг за шагом вплывало в окна, выплывало в другие; много людей, много труда, которому служил Антон Антоныч. Но теперь он мучительно разбирался в себе самом один, на свободе, и точно к причастию готовилось в нем все: не

хотел ни видеть, ни слышать, ни спрашивать, ни отвечать, даже грозил кондуктором, когда кто-то двое разговорились около него ночью.

К своей станции Антон Антоныч приехал поздно вечером, в девять часов, и тому, что темно, был рад. Вещей с ним не было. Вышел он около водокачки, обогнул вокзал, и незнакомый мужичок из Мановиц повез его на хутор Веденяпина. И когда повез уже, Антон Антоныч понял, что, пожалуй, только затем он и ехал из Анненгофа — увидеть Веденяпина.

Перепел где-то бил. Видно было, что накануне шел сильный дождь: земля под копытами была глухая, и воздух тяжелый, волжкий; вверху висела парная мгла; пахло росистыми зеленями. Телега была хлипкая, солома в сиденье осела низко. Антона Антоныча подкидывало в буераках. Там, где начиналась дубовая рощица,— теперь уже не его, а Голева,— мужичок обернулся к нему, думая, что настало уж время поговорить, и спросил, не свойственник ли он Веденяпину (у него вышло Меденяпьеву).

— Ты себе глядел бы под но́ги, братец, абы из меня души не вытрушивать,— ворчнул Антон Антоныч.

Мужичок мирно кашлянул и прикрикнул на лошадь:

— Но-но, мала́, боже поможи!..

Дорога здесь была широкая, гуртовая; попадались встречные, только ехали по другой стороне: в темноте чернели мутно. С одной телеги окликнул кто-то мужичка Антона Антоныча:

— Митро, ты?

— Эге,— ответил мужичок.

— С поезда?

— С поезда... Ну да — с поезда.

Потом еще что-то кричал встречный, нельзя было разобрать.

Легкая тележка-одиночка зачернела навстречу под самой Тростянкой. Антон Антоныч подумал, что едет тростянский батюшка, о. Василий, которого он не любил, и отвернулся. Потом еще проехали какие-то две скрипучие телеги, и больше уж до самого хутора Веденяпина никого: ночные поля, низкое небо, дорожные колдобины и кочки, и соломенный бриль Митра, надвинутый на самые уши.

Не думал и не знал Антон Антоныч, как и что он скажет Веденяпину, и даже заставить себя думать об этом не

мог; только и представлял, что Веденяпин сидит теперь у стола, спиною к двери, ужинает или пьет чай с медом,— не пил с сахаром,— и когда он войдет, повернется вдруг и встанет и, должно быть, крепко возьмется руками за стул. А потом уже все равно, что будет.

Эти серые столбы и ворота настежь,— их так хорошо помнил Антон Антоныч,— и дом низкий, похожий на богатую хату, крытый камышом, и крыльцо на простых дубовых подпорах. На белых стенах отчеканились четыре окна, но ни в одном не было света. Ни одна собака не залаяла возле. Ни одной человечьей тени кругом. Стоял дом, как гроб.

— Что это за знак? Спит? — спросил Митра Антон Антоныч.

— Ну да, спать полягалы,— ответил Митро и поправил шлею кнутовищем.

И вдруг раскрылось окно, и бабий голос:

— Вам кого? — и тут же боязливее: — Кого вам?

Митро ответил:

— Меденяпьева — барина... Вот, со станции барин... в гости.

И опять бабий голос, от первосонья хриповатый:

— А они ж вам навстречу ехали... Чи не стрели?

— Как, навстречу? — обомлел Антон Антоныч.

— Это в плетушке?.. Ишь горе какое! Это в плетушке, значит, стрелся,— он и был: Меденяпьев! — радостно догадался Митро.

— Да куда, куда ж ехал, бодай тебя,— на поезд? — крикнул Антон Антоныч.

— На кулерский,— ответил бабий голос.

— В десять двадцать пять,— подсказал Митро,— есть-есть.

— Так то не поп, значит, ехал, то — он? Так где ж ты глаза свои продал, шо-шо-шо не познал его?.. Ну это ж надо такого случая, шельму его душу!.. Ну, а мы ж теперь поспеем на тот поезд, а?.. Ну, десять рублей, золотой тебе дам, абы поспеть, абы за одну минуту поспеть только, а-ах, царица ж небесная! — кричал Антон Антоныч.

И торопливо зажег спичку, чтобы посмотреть на часы; посмотрел невзначай на лошадь. Раскорячась, стояла вислоухая, худая, мышиного цвета, жеребая кобыла, старая, с бельмом на правом глазу, покосилась на огонь, фыркнула верблюжьими длинными губами, вздрогнула потной кожей. На Митра посмотрел,— стоял Митро, весь заросший

старыми жесткими серыми волосами, только глаза чуть блестели и желтел бриль, как колокол. Посмотрел на часы,— было без пяти минут десять... Сказал, показав на лошадь:

— Полчаса еще!.. Ну, слышишь,— так гони, чтоб... как приехала, так и ноги б простягла на месте, чтоб и дух из нее вон!.. Я — отдам!

— Сидайте,— коротко сказал Митро.

И потом началась странная ночная скачка. Точно все поля были живые,— такие были крики, шум, фырканье, гиканье и удары. И уже не замечал Антон Антоныч ухабов, точно вся дорога стала сплошной ухаб. Только и были, как большие вешки на ней — Тростянка, усадьба, кладбище, дубовая роща... Какие-то подводы нагнали, обогнали, кто-то свистнул в два пальца вслед... Лохматые собаки с обеих сторон бросались с лаем на телегу. Бриль соскочил было с Митра, язык прикусил себе Антон Антоныч и все зажигал спички, смотрел на часы: пять минут, десять, двадцать,— и все повторял:

— Хоть бы од-ну минуту застать... только одну минуту, эх, Митро!

Что-то говорил в ответ Митро,— не было слышно. Поля и небо, только поля и небо: чуть темнее — поля, чуть светлее — небо.

...И вдруг поезд: яркий свист его, и гуденье, и грохот. Его не видно,— виден зеленый огонь семафора, как маяк: полыхнет — пропадет. И от телеги гул и слышно, как ёкает в груди у кобылы.

— Митро... эх, Митро!

Видно поезд: сверкает, тремя очами, кругло, ярко, ближе, еще ближе.

— А-а-а!.. — стонет, поднявшись на корточки, Антон Антоныч.— Та кнутом под ноги! Та шпарь же, шпарь же ее, бодай она здохла!

И вырывает кнут у Митра, и хлещет, перегнувшись, сам и гикает.

А поезд утопил уже в желтых огнях окон зеленый огонь семафора, и на станции бегают люди с фонарями, и где-то там готов уже сесть в поезд Веденяпин... Остановка — минута.

Под колесами камень,— мостовая перед станцией. Близко... Слышно только острое звяканье, пыхтенье... Не выдержал, выскочил из телеги и побежал Антон Антоныч через длинный двор наперерез, а сзади его кричал Митро:

— Деньги!.. Барин, а деньги ж!

Огни желтые, красные, синие, и пыхтенье, и крики, и протяжный свист кондуктора, и круглые скользкие камни под ногами, и колючая проволока станционного палисадника,— и когда добежал, запыхавшись, до платформы Антон Антоныч, начинал уже отходить поезд. Щеголеватые, колыхались плавно вагоны, и,— весь глаза,— на одной площадке, плывущей мимо, увидал он Веденяпина. На мгновенье застыл он на месте, и мимо него, уплывая, проплыл Веденяпин, мимо него куда-то в ночь — высокий, в мягкой шляпе, в крылатке, с красным огоньком папиросы под широкими двухъярусными усами... И когда проплыл уже, опомнившись, Антон Антоныч сорвался с места и побежал. Кричал сквозь зубы: «А-а-а»,— стонал и бежал, хватаясь ногами за уплывающую платформу,— уплывала платформа. И смотрел в лицо Веденяпину,— казалось, улыбался Веденяпин, и еще почему-то показалось вдруг, что глаза у него... голубые. И все это только два-три момента, и уже уходит поезд, проворно уносит свой грохочущий хвост, пыхтит и пышет огнями, и кто-то держит за руку Антона Антоныча и говорит густо:

— Куда вы? На смазку колес захотели?

Это жандарм,— не тот, что был раньше, другой, но такой же широкий, толстый, как и все жандармы на станциях.

— А деньги? Барин, а деньги ж?

Это Митро.

— Через полчаса в том же направлении пассажирский поезд... Вам куда ехать?

Это какой-то молодой помощник начальника станции, встречавший поезд.

А Антон Антоныч смотрит на всех ошеломленный, приросший к месту, и все вспыхивает в нем новый безответный вопрос: почему глаза голубые?

В вагоне Антон Антоныч лег наверху и все думал о том, как он увидел в последний раз Веденяпина. Было какое-то непонятное, но уверенное в себе чувство: увидал в последний раз. И когда фамилию эту про себя произнес Антон Антоныч, выходила она так, как у Митра: Меденяпьев. Все время, сколько уж лет, был ротмистр Веденяпин — желтоглазый, грузный, басистоголосый,— что ни скажет слово — соврет,— до того земной; теперь он был какой-то немой, уплывающий, в мягкой шляпе, в крылатке, Меденяпьев, и глаза голубые.

Всю ночь он не мог заснуть: внизу кто-то храпел, точно

рвал раз за разом длинные полосы нового прокрахмаленного каляного коленкора. В соседнем купе, прямо под ухом, плакал ребенок; мигала свеча перед глазами; было накурено, душно, и до какой-то плачущей боли ощущалось все время, что он едет по следам Веденяпина, не догоняя, а отставая: станция — а Веденяпин был здесь сорок минут назад; еще станция — а Веденяпин был здесь два часа назад; еще станция — а Веденяпин три часа назад проехал здесь, даже не остановившись... И все хотел он представить полно, что было бы, если бы он застал поезд и Веденяпина, но странно,— представить этого полно и ясно он не мог.

На одной станции, где долго стоял поезд, Антон Антоныч купил конверт и лист почтовой бумаги и сел писать письмо тому, кто продал ему Анненгоф. Он хотел написать о том, что хочет строить фабрику при озере, что несколько сельскохозяйственных машин — сеялка, жнейка — оказались в неисправности, что улетел журавль Фриц; но, начиная писать ему, никак не мог вспомнить его имени: путал несколько имен и ни в одном не был уверен.

Тогда он написал Елене Ивановне о том, что едет к одному известному диагносту в Одессу, хотя ехал он в Севастополь, а зачем ехал туда — не знал.

И когда готовился опустить письмо в ящик и перечитывал адрес, то увидел, что совсем забыл поставить, какой губернии Анненгоф.

XXIII

Весь июнь и весь июль как-то упрямо и жадно из города в город ездил Антон Антоныч, и первый раз это случилось в его жизни, что ездил он без всякого дела: просто вспоминал какой-нибудь город и брал туда билет. Иногда у кассы на вокзале он думал, куда ехать, и говорил кассиру с расстановкой:

— Дайте вы мне, будьте так добры, билет второго класса в Житомир... Или же, можно сказать, в Винницу...

— Так куда же: в Житомир? В Винницу?

— Вот что, голубчик: в Херсон!.. Да, так оно и будет по-настоящему: в Херсон.

Точно хотел уехать куда-то как можно дальше от своего тихого, лесного, хвойного Анненгофа; и города, в которые заезжал он, были все южные, шумные, разогретые солнцем; и поля, по которым проезжал он в поездах, были те же по-

ля кукурузы, свекловицы, пшеницы, по которым ездил он то объездчиком, то садовником, то арендатором, когда был молод.

И иногда забывался он, забывал обо всем, что было за ним, помнил только, что он Антон Антоныч, но тут же становилось от этого как-то жутко, пусто и тоскливо; и вот именно в такие минуты он садился писать письма Елене Ивановне и справлялся о детях, о хозяйстве и о своем деле.

День за днем проходило время, жаркое, пыльное и совершенно не нужное. Плыли дни, как облака в небе, неизвестно откуда, куда и зачем, и все кругом были только люди — на улицах, на станциях, в гостиницах и вагонах,— тесно переплелся около человек: говорил, двигался, наскоро жевал, смотрел мельком, как оценщик в ломбарде,— сплошной человек, не глубокий, не отстоявшийся, не отдельный, а текучий, мутный, как река в половодье: чуть покажет глаза и уши, и уже нет его, ушел, и кто-то другой торчит на его месте.

Пробовал было создать себе хотя какой-нибудь призрак дела Антон Антоныч, но странно,— как-то не выходило. В одном приморском городе прожил он с неделю, вздумавши вдруг купить большой трехэтажный доходный дом. Часто ходил туда, осматривал, расспрашивал, думал уже, как бы поскорее перевести сюда задаток, но однажды вечером разговорился с извозчиком, который вез его этой улицей.

— Видишь вон дом?.. Покупаю, братец,— ткнул он в его спину пальцем.

— До-ом? — переспросил извозчик.

— Вот тот дом... дикого цвета, трехэтажный.

— Знаю, как не знать,— ответил извозчик.

— Покупаю,— опять сказал Антон Антоныч.

Извозчик повернулся, оглядел Антона Антоныча, показавши разом все свое косматое, несокрушимо красное, бородатое лицо, и сказал убежденно:

— Хлопот с ним, с этим домом!

— Так что же из этого, что хлопот?

— К тому я: что больше денег, то больше хлопот.

— Ну-у?

— А на что их много-то?..— извозчик ухмыльнулся по-детски и добавил: — Есть в кошельке пятьдесят рублей,— и за глаза довольно... Или, скажем, тридцать.

— Так что больше и не надо, значит? — удивился Антон Антоныч.

— На кой их шут!.. Пословица говорится: «Не об том тужи, что прожил, а об том, кабы не нажить».

— Та-ак! — еще больше удивился Антон Антоныч, и было ли это от неверного вечернего света, или от усталости, или от болезни, но показалось ему, что никогда в жизни не видал он человека с таким нестерпимо умным, осиянным лицом. Лицо было простое, сельское, крепкое, как дубовый пень, с узкими глазами и большим носом. Долго смотрел в его лицо Антон Антоныч и сказал наконец:

— Пожалуй, так оно и будет, что ты оч-чень неглупый малый... да!

И на другой же день уехал из города и забыл про дом.

Полюбил он сидеть на скамейках в скверах перед вечерним гуляньем, сквозь запыленную зелень смотреть на солнце и следить за садовниками в фартуках, когда поливали они по-сельски щедро цветы на клумбах.

Иногда думал он, что хорошо бы проехать в Липяны, сходить на речку Вепрж, побродить в орешнике, и ничего, пусть бы кусались комары в орешнике, как это было в детстве... Может быть, остался в живых кто-нибудь из липянцев, кого он помнил...

Сад в Могилевской губернии, тот самый стадесятинный сад, который сажал он, нашел Антон Антоныч: перешел уже в десятые руки и давно был распахан под огороды сад, — уцелело дюжины две дуплистых корявых яблонь по границе. С одной яблони срезал он ветку себе на память, но в вагоне увидел, что пробуравлена насквозь личинками короеда; повертел ее в руках, разломил на несколько кусков и бросил в окошко.

Когда-то Антон Антоныч играл в шахматы, и вот случилось в одном ресторане, где были шахматные столики, он подошел к двум игрокам и смотрел. Это было после обеда, за которым он выпил много холодного пива, и теперь чувствовал себя как-то особенно легко и задорно. Играли медленно и молча. Один, постарше, с росинками на утином носу, сидел, упершись кулаками в щеки; другой — черный, с носом острым, сухим, левой рукою зажал в комок подстриженную бородку и все время держал ее крепко, точно боялся рассыпать, а правой тихонько стучал чужим ферзем по столику.

Никогда раньше не вглядывался так в лица Антон

Антоныч, как теперь, когда он не знал, зачем ездил,— ни в лица, ни в деревья, ни в дома, ни в облака вечерние и дневные, ни в поля. Было безотчетное чувство впитать в себя как можно больше, как-то все согласовать, углубить, продолжить.

Теперь он смотрел сверху на обоих, видел высокую розовую голову одного, с утиным носом, и упрямую черноволосую, низко стриженную голову другого и думал, как жил один, как другой. Оба были в чесучовых пиджаках, но розовый, должно быть, много ходил перед этим по жарким улицам: спина его пиджака была влажная, желтая; у черного пиджак был сухой. Смотрел Антон Антоныч на их руки, на запонки их рубашек, на то, сколько каждый готовился к ходу и что делал при этом,— как оглядывал доску, как двигал руками,— и решил, что первый был семейный, и детей у него не меньше, чем четверо, и имя его какое-нибудь очень простое, например, Иван Петрович; другой же, черный,— холостой и зовут его как-нибудь по-армянски — Карапет.

Иван Петрович ему нравился, и он хотел, чтобы выиграл Иван Петрович.

Но выигрывал Карапет. Перед тем как сделать ход, он постукивал ферзем замедленно и задумчиво, и потом стремительно переставлял фигуру и коротко чмыхал носом в два приема. Ходы его были скрытны и лукавы, и когда Иван Петрович потерял последнюю фигуру — коня, Антон Антоныч не выдержал и сказал горестно:

— Ну, это ж нужно ж так, а!

Черный вскинул на него как-то одним глазом, по-птичьи, и оскорбленный этим Антон Антоныч сочувственно сказал Ивану Петровичу:

— И никогда в жизни не потеряли бы вы этого коня, если бы только...

Черный улыбнулся левым углом рта и перебил его коротким, скользким, тоже, показалось так, черненьким словом:

— Нельзя! — и покачал головою.

Антон Антоныч не нашел что ответить, только смотрел на него долго, тяжело и злобно.

Но вот уже кончили партию, сдался Иван Петрович. Он прокашлялся, вытерся платком и поднялся, а Карапет сказал Антону Антонычу улыбаясь:

— Хотите, сыграем с вами?.. Советовать нельзя, а сыграть, если хотите...

— Вы, пожалуйста, не думайте, что вы з неба звезды хватаете в этом деле,— нет! — сразу и с сердцем сказал Антон Антоныч.— Не хватаете, не бойтеся, нет...— и порывисто сел на тот стул, с которого встал Иван Петрович.

— Кто ж и говорит, с неба звезды!.. Шахматы — дело тонкое,— так же улыбаясь и жмурясь, говорил черный.

Иван Петрович отошел пить воду к буфету... потом ушел совсем; потом, как всегда в предвечерние часы в губернских городах, в ресторане стало пусто и гулко, и остались только они двое.

После шести первых ходов, во время которых Антон Антоныч взял пешку и успел сказать: «Шах королю», черный медленно проговорил:

— А я, признаться, хотел было предложить вам играть со ставкой... Хорошо, что не предложил.

— То-то и есть, голубчик,— сказал Антон Антоныч, но посмотрел на него недоверчиво и добавил: — А вы бы и теперь предложили?

— Теперь уж поздно, пожалуй.

— Поздно нам з вами в гультиках бегать, а то не поздно,— заметил Антон Антоныч.

Черный улыбнулся, достал замасленный замшевый кошелек и вынул трехрублевую бумажку.

— Это и вся есть ставка? — презрительно сказал Антон Антоныч, посмотрел на бумажку, на замшевый кошелек, на смуглое лицо с тонким носом, передернул ноздрями и спросил язвительно: — А вы, извините, не грек?

И вдруг черный улыбнулся ему одними шутливо сощуренными глазами, какими улыбаются взрослые, глядя на неумеренно расхваставшихся ребят, и сказал:

— На какой клетке желаете вы получить мат?

— Как так? — оторопело спросил Антон Антоныч, посмотрел на свою игру и на игру черного, на его лицо и опять на доску и сказал недовольно: — Тут шутить нечего, добрейший!.. Мы з вами не так коротко знакомы, как сказать.

— Так и не шутите, играйте,— ответил спокойно черный и добавил, указав пальцем: — Мат я вам дам вот на этой клетке — заметьте.

Это была клетка в третьем ряду, та, которую обозначают знаком c3.

— Тут... шутить нечего! —вспыхнув, повторил Антон Антоныч, а черный коротко чмыхнул носом и повторил, глядя в доску:

— Вот на этой самой, заметьте.

И дальше он играл молча, также зажав стриженую бородку в кулак, взял в правую руку пешку Антона Антоныча и постукивал ею, а Антон Антоныч при каждом ходе что-нибудь говорил — или: «Тут шутить нечего, добрейший», или: «З неба звезды вы не схватите, нет,— поверьте, звезды будут все целые», или, при особенно удачном своем ходе, например, когда он брал фигуру, он спрашивал не без насмешки: «Так вы говорите,— не грек... а, как сказать, не армянин вы, извините?»

Но короткие шерстистые пальцы черного ставили фигуры точно и решительно, с каким-то отчетливым своим стуком, и как-то нехорош был этот костяной стук о доску — гулкий и мертвый в пустом зале, и нехорошее было лицо у черного — сухое, ночное, и нехороши были порченые зубы.

Лет ему было, может быть, и не больше, чем тридцать, но каким-то очень старым он казался, когда вглядывался в него Антон Антоныч; точно весь он был только футляр для другого, а другому этому тысяча лет, и когда коротко чмыхал он носом в два приема, то... это, может быть, просто так дышал в нем тот, которому тысяча лет; и еще на что-то было похоже, и, подумав, припомнил Антон Антоныч, что так, если слушать их издали, стрекотали белки в лесу в Анненгофе.

Ход, еще ход,— потерял Антон Антоныч несколько пешек, ладью, офицера, потом как-то неожиданно одного коня и другого, и при всяком промахе своем он ахал, потирал горестно руки, приговаривал: «Ну скажите ж, пожалуйста! Это ж комэдия!..» Потом ничего уже не говорил, только качал головою и прикусывал губы. И так они играли молча, и Антон Антоныч думал уже только о том, нельзя ли кончить вничью. Но все меньше оставалось на доске его белых фигур, и какими-то они казались подсушенными, худенькими, а черных было так много, как факельщиков на больших похоронах, когда идут они около коней в черных попонах, по черным еловым веткам, идут степенно и знают, куда идут.

С улицы слышны были извозчики, но в самом ресторане по-прежнему было тихо, и только возле буфета жались, скучая, половые.

Отдал королеву Антон Антоныч,— нельзя было не отдать,— и так стало жаль ее, что ухватил он за руку черного и крикнул:

— Позвольте!.. Вы... не спешите с козою на торг, позвольте!

— Позволяю,— спокойно сказал Карапет,— только спасти нельзя... никак нельзя.

Долго думал над ходом Антон Антоныч и ахал тихо, а Карапет ждал; потом взял пешку и еще другую пешку,— остался один король.

— Голенький,— нежно сказал о нем Карапет и спросил Антона Антоныча: — Сдаетесь?

— Нет,— упрямо ответил Антон Антоныч.— Как вы хвалилися дать мне мат на этой клетке, то уж и дайте на этой, будьте так добры!

Все-таки казалось ему, что хоть этого он избегнет,— где-нибудь на другой,— мало ли клеток? — но ход за ходом все ближе и ближе подходил его голый король к роковой клетке, и вот уже последний «шах», и некуда больше уйти, только сюда, c3, а здесь — мат. И все сделал Антон Антоныч, и даже нарочно стал на эту клетку особенно прочно и спокойно, и уже ничего не сказал, сидел, смотрел на доску,— точно и не пил сегодня холодного, чуть пьянящего пива, точно и не приехал сюда,— так и сидел здесь все время, точно и не жил до этого пятьдесят семь лет... А черный, улыбаясь, показывал порченые зубы.

Это был незначительный, пустой случай, но когда шел потом Антон Антоныч по улицам, почему-то душно было от домов и разогретого асфальта панелей, и все за что-то цеплялись ноги.

В номере хотел было уснуть он — не мог: рядом кто-то пел визгливым голосом, потом уныло пилил на дрянной скрипке; где-то за окном пищал котенок, очень жалобно и длинно. Клопа на стене увидал Антон Антоныч — позвонил. Вошел коридорный — щекастый малый.

— Это что? — указал Антон Антоныч пальцем.

— Думаете, клоп? Нет, клопа у нас и звания нет,— ответил коридорный.

— Так, а это же что? Ов-ца?

— Вот это? — щекастый малый взял клопа в руки, самоотверженно помял пальцем и ответил: — Это — жучок. Даже клопом и не пахнет.

А ночью тот же малый суетился около Антона Антоныча, у которого бурно вдруг вспыхнула болезнь: стучало в голове кругами, сводило судорогой ноги, тошнило черной, как кофейная гуща, кровью.

И тяжело при этом было сознание, что он точно брошен — один и что для этого малого все равно, пожалуй: что жучок, что клоп, что он.

XXIV

Когда, на другой день, сидел Антон Антоныч в приемной врача по внутренним болезням, показалось, что было уж это с ним раньше, хотя он не болел и не лечился; и только потом, когда присмотрелся он к длинной комнате с плетеными диванами вдоль стен и столами, на которых навалены были альбомы с картинами,— он вспомнил: судили его. Кроме него, в приемной было еще двое: молодой, бледный, редковолосый священник с длинным лицом, и рядом с ним — пышная матушка, сидели тихо; за белой дверью в кабинете доктора что-то говорили двое — строго и тихо; вошла служанка в белом фартуке и чепце, опустила шторы на окнах и прошла обратно, ступая по белому половику на цыпочках — четко и тихо.

Было пять часов вечера, когда пришел сюда Антон Антоныч. Через четверть часа вышел от доктора какой-то сипло дышащий рыжий еврей, поднялся священник, волнуясь, и матушка, крестясь, тревожно следила, как он исчез за белой дверью. Хотел было подойти поговорить с нею о болезни мужа Антон Антоныч — может быть, как раз такая, как у него,— но был у нее такой торжественно-испуганный лик, что не решился Антон Антоныч. Он рассматривал какие-то виды Канады в продолговатом замасленном альбомчике, но трудно как-то было перелистывать: руки дрожали; он сердито стискивал их, заставлял быть прежними руками, а они непослушно дрожали. Сидела напротив матушка с тупым, незрячим лицом, пробивались сквозь шторы желтые лучи, дрожали руки — так минут десять. Отворилась дверь, вышел священник, взлохмаченный, с испариной на лице. Показался доктор в дверях.

— Следующий!

Поднялся и вошел к нему Антон Антоныч, и с какой-то странной мальчишеской робостью он смотрел на доктора, и взгляд у него стал, как у ребят,— упорный и острый. Захватил, точно зачерпнул его сразу всего глазами. Худ, костляв, черен, выбрит, как актер, курнос, веки не по глазам, коротки, как у зайца, отчего выпучены влажные глаза, губы толсты, череп откинут и гол, суетятся руки в рукавах белого халата, и, когда говорит он, глухо бубнит скороговоркой: бу-бу-бу.

И сразу же все, как в суде: имя? Занятие? Сколько лет?.. И все это вписывал он в толстую книгу, бойко скрипя пером.

Первый доктор, который подошел так близко к нему, так вплотную,— где-то далеко от него жил, учился, лечил кого-то, но, должно быть, было назначено так, чтобы он сказал что-то важное о его заболевшем теле, именно он, такой, какой есть,— бритый, губастый, курносый, с короткими веками... И вот он осмотрит его и скажет.

В кабинете стоял шкаф с блестящими строго сквозь стекла приборами, на столе лежала черная трубочка стетоскопа... Вспоминал Антон Антоныч ночь в номере, припадок болезни, писк котенка, свою покинутость, брошенность, жаль стало себя, отвечал подробно, как заболел он, и рассказал о суде. Доктор хотел узнать, отчего умерли его отец и мать,— этого он не знал: без него умерли,— но о своей болезни он вспомнил все, точно кто-то в нем жил незаметно и отмечал даже дни, когда было лучше, когда хуже.

— Водку пьете? — спросил доктор.

— Да, пью... ну да, пью... Кто ж ее и не пьет?

— Нельзя вам,— строго сказал доктор.

Все время он смотрел на него длинно, по-жабьи, а спрашивал коротко: бу-бу.

— Нельзя?.. Да я и сам замечаю, признаться, что мне от водки хуже... Что ж это за болезнь такая есть, доктор? — спросил Антон Антоныч вкрадчиво, как ласковый мальчик.

— После еды больно? — спросил доктор.— Сердце здоровое?.. Разденьтесь.

И потом он долго выстукивал его, заставлял глотать и слушал; потом приказал разинуть рот, объяснил, как держать голову, и, точно шпагоглотателю, ввел ему в глотку длинный зонд, отчего стало внутри больно и трудно, и, вынув его, ни о чем уже больше не спрашивал. Вписывал что-то в свою книгу, а Антон Антоныч вытирал проступившие от усилий слезы и думал, что вот он теперь знает о нем все. Осмотрел Антон Антоныч его снова, тщательно, точно боясь пропустить хоть одну точку, и спросил так же, как прежде:

— Что ж это за болезнь может быть такая, доктор?

— Болезнь?..— доктор посмотрел на него искоса, и заметил Антон Антоныч, как левый глаз его задрожал вдруг часто от внезапного тика, и слезливым каким-то стало

все бритое худое лицо, и, чтобы скрыть это, отвернулся доктор, потом, оправившись, сказал строго:

— Болезнь серьезная...

— А-а?.. Вот! — удивился Антон Антоныч и тут же добавил: — Ну да, конечно ж серьезная, как она мне дыхать не дает,— это я и сам вижу... а... как же она...

— Порошки будете принимать,— перебил доктор.— Кислого нельзя, горячего нельзя, ни водки, ни пива нельзя...

— Да-а?.. Ну так, пожалуй, ничего и не останется?.. Что же можно в таком случае?

— Молоко можно, яйца, мясной бульон...— говорил доктор убежденно, рубил отрывисто и уверенно, точно бил палочкой в барабан: нет музыканта уверенней барабанщика. Прописал какое-то вино, которое нужно было пить чайными ложками.

Но все, что говорил он, было не то, что хотел узнать Антон Антоныч. Нужно было узнать только одно, как называется болезнь и насколько она опасна; поэтому он спросил:

— И так что при таком лечении когда же приблизительно я должен быть в своем виде?

— Это... трудно сказать когда,— ответил доктор.

— Да вы... Да режьте ж правду-матку, не бойтеся! — раздраженно крикнул Антон Антоныч.

— А вдруг зарежешь? — спросил доктор, не улыбнувшись, и добавил: — За границей вам могут операцию сделать, у нас — нет.

— А если не сделать операции, тогда как? — упавшим голосом спросил Антон Антоныч.

— У вас опухоль в пищеводе,— сказал доктор.— Эта опухоль может рассосаться.

— Как так?

— Уничтожиться от лекарств, поняли?

Антон Антоныч посмотрел на него внимательно и понял, что он знает о нем что-то важное, но не скажет ему — ему, которому это больше всего и нужно знать,— вдруг не скажет. И, чтобы обидеть его, он спросил, насколько мог ядовитей и задорней:

— А вы сами у кого лечитеся, господин доктор? Или тоже и вам, может быть, за границу нужно? — и намеренно несколько раз подмигнул он левым глазом, чтобы показать, как дергался у него этот глаз. И приятно было видеть Антону Антонычу, как покраснел и еще больше вы-

пучил глаза доктор и открыл рот, обнажив зубы с белыми деснами.

— Это... что значит? — спросил доктор.

— Нет, а все ж таки? — неожиданно весело сказал Антон Антоныч и добавил: — И не такой уж вы богатырь телом, совсем даже нет, можно сказать!..

Доктор дождался, когда Антон Антоныч уплатил ему за визит и взял рецепты, и так как больше не было никого в приемной, сам вышел провожать его в переднюю, и здесь, в полутемной, узенькой комнате, стоя лицом к лицу с ним, спросил, стиснув зубы:

— Вы здешний?

— Нет,— ответил Антон Антоныч,— проезжий.

— Приезжий?

— Про-езжий... проездом я здесь, так как дальше еду,— ну?

— Ваша болезнь...

Остановился и стоял, курносый и загадочный, с сумеречной зеленью на лице.

— Ну? — спросил Антон Антоныч.

— Называется — рак пищевода... Если вам так сильно хочется это знать — так вот! — и, оставив Антона Антоныча на пороге, задом вошел в дверь — безволосый, худой, пучеглазый и весь белый, как смерть.

Через день получил Антон Антоныч телеграмму от Елены Ивановны о том, что приговор суда кассирован сенатом, и, обрадованный и возбужденный, он тут же выехал в Анненгоф.

По дороге, в крупных городах, мимо которых ехал, он заезжал еще к трем врачам, и уже научился глотать длинный зонд и всех просил резать правду-матку. Никто не утешил; говорили уклончиво; прописывали порошки, капли, вино, которое нужно было пить ложечками после еды; и Антон Антоныч добросовестно ходил с рецептами по аптекам и в назначенные часы принимал лекарства.

Когда Фома, выехавший встречать его на станцию, увидел его, он удивился простодушно вслух:

— Чи вас так кормили плохо, барин? Да и похудели ж, страсть!

XXV

В октябре был назначен пересмотр дела при новом составе судей, но Антон Антоныч не мог уже снова поехать в тот город с широкими улицами, круглыми базарными

площадями и садом, где переплелись бесчинно тополи с белой акацией. Он и по комнатам дома ходил уже медленно, осторожно выдвигая и неуверенно ставя ноги. Серые глаза впали, сухо блестели, стали большими и тонкими, обозначились скулы острыми маслаками, втянулись щеки; здесь и там — одна, другая, третья — высыпали четкие, как дороги зимой, морщины; и сгорбленный, непонимающий, притихший, глядя на свои желтые, высохшие длиннопалые руки, удивленно говорил Антон Антоныч:

— Как... Иван Грозный!.. А?.. Как... хвощ!

И голос у него стал глуше и короче.

Приезжал иногда доктор из Нейгофа — плотный квадратноголовый немец Клейн. Входя, методично каждый раз снимал очки, протирал их платком, медленно надевал снова и потом, неотрывно и тяжело глядя прямо в глаза Антона Антоныча, спрашивал его спокойно:

— Ну-те с... как же с нами?

В первое время Антон Антоныч рассказывал ему о своей болезни долго и подробно и жадно ловил те немногие слова, которыми перебивал его он; потом как-то ясно увидел, что доктору все равно: может быть, он, когда смотрит на него, считает, например, сколько дней в пяти годах или сколько минут в десяти сутках. Смотрел он мутно, уши у него были завороченные, мясистые, нос коротко обрубленный, наискось, усы — рыжие, жесткие, редкие. И потом уже совсем не мог выносить Антон Антоныч запаха сыромятных кож, который шел у него изо рта, и молча глядел на него откровенно ненавидящими глазами.

В его комнате стол и подоконники были уже густо уставлены пузырьками с желтыми сигнатурками и без них, коробочками разных величин и цветов, жестянками — высокими, щеголеватыми, круглыми и низенькими, плоскими. Во всем этом он доверчиво искал прежнего себя, такого недавнего себя — Антона Антоныча, того, который работал, который мог спать в седле, на лошади, который, когда шагал по земле,— земля гудела... В солнечные дни лучи сквозь окна дробились на них лукаво и весело, и были даже как-то растрепанно красивы они, эти пузырьки и жестянки, но в комнате от них плотно стоял тоскливый больничный запах.

Появилась у Антона Антоныча странность: он подолгу стал простаивать перед зеркалом и серьезно следить за своим лицом, за каждой складкой, за каждой морщинкой, за каждым волосом на лице; и случалось, что обманывал

себя, уверял себя, что с лицом ничего не случилось, что оно такое и есть, как было: оно всегда было худощавым. Снимал рубаху, со всех сторон осматривал впавшую грудь и руки тоже, привыкший уже к их теперешнему виду, находил, что почти ничего не случилось: и грудь и руки те же.

Одеваться он стал подолгу и очень тщательно: надевал сюртук, цветные галстуки, по жилету распускал и справа и слева золотые цепочки часов, и так, одетый, глядел в окно, где синели суровые холодные лесные дали, занавешенные осенним дождем; потом осторожно ходил по комнатам, потом опять глядел в окна. К одному окну вплотную подходила темною мягкою хвоею та лиственница, на которой жили белки,— за ними следил Антон Антоныч; из другого окна было видно конюшню — следил горячими глазами, как выводил лошадей Фома, и когда замечал что-нибудь,— стучал в стекло пальцем и кричал: «Т-ты, разбойник!..» Но за двойною рамой ни стука, ни крика не было слышно.

Случилось,— проворовался Григорий. До двух тысяч, которые думал он скопить, не хватало всего только ста семидесяти рублей, и когда послала его Елена Ивановна с каким-то большим платежом в город — он не удержался, отложил эти сто семьдесят рублей и внес в банк, и потом спокойно, точно уверенный в несомненной правоте своей, описывал Антону Антонычу, как он выронил в вагоне деньги, рассказал подробно, какого цвета была бумажка, в которую завернул он сто семьдесят рублей, и в каком кармане были у него остальные деньги, как он хватился пропажи и сколько времени искал, и почему найти было невозможно. Сутулясь, мигал белесыми ресницами и просил прощенья. Долго смотрел на него Антон Антоныч, брезгливо качал головой, пощупал левой рукой свою правую руку и наконец сказал тихо:

— Чтобы это ты последний раз терял деньги! Абы ты никогда больше не смел их терять,— слышишь?.. Ступай!

Как-то раз в воскресенье пришел не бывший с весны Тифенталь, и Антону Антонычу было приятно это, и, вспоминая, как он выпроваживал его с фонарем весною, он говорил ему виновато:

— Вы меня простите, голубчик, шо я тогда так.

— Ну-у, мы-то с вами друзья-то, ин-тимны,— успокаивал его Тифенталь.

Он просидел час, говорил с ним о своем ревматизме и об его болезни, все удивлялся, хлопая себя по бедрам,

как это могло случиться, что заболел Антон Антоныч, и так твердо был уверен, что это скоро пройдет, что и Антон Антоныч поверил, и весь этот день было ему лучше.

Потом Тифенталь стал приходить чаще, сидел, удивлялся, вспоминал о прежней кипучести его, предсказывал, когда он выздоровеет вполне: в апреле, когда зима «фьють-то,— пошла вон!» И все улыбался, кося глазами, и что-то уж очень часто начал повторять свое новое: «Ну-у, мы-то с вами — друзья-то ин-тимны!..»

Иногда спрашивал Антон Антоныч, что с детьми и как учатся. Елена Ивановна отвечала, что все здоровы, учатся, обещали приехать к Рождеству. Скрыла от него, что стал уже юнкером Сёзя, что веселый Кука проиграл в карты несообразно большую сумму и писал в Анненгоф отчаянные письма, а Леша содержал какую-то бойкую вдову с двумя малышами.

В пище стал страшно разборчив Антон Антоныч. Какой-то питательный суп, прописанный Клейном, приводил его в ярость.

— Ну, этого ж супу,— говорил он,— если б попадья его поела только,— бросила б она попа да перешла бы до ра́ббина...

Просил, чтобы сделали паприкаш из красного перца:

— Венгры как надуются того паприкашу, так идут вон каки красны, как медь, как ог-гонь,— камни стогнут!.. А сила такая,— змея перервет руками на части: вот кушанье!

Но и ложки не мог съесть, когда сварили паприкаш: обожгло,— и застонал от боли.

Таял на виду у Елены Ивановны. Все глубже уходили глаза в орбиты, все тоньше становились пальцы, и девичий браслет уже не был бы узок для его запястья. И, глядя подолгу на себя в зеркало и слушая подолгу свою боль, говорил иногда Антон Антоныч:

— То не волк выдумал и не вол сказал, а все добрые люди: не те черви важны, что мы их зъедим, а те важны, что нас самих будут исты... то уж верно!

И когда выпал первый снег и прянул в глаза яркими на солнце извивами, полотнами, пятнами, и заиндевели и поднялись отовсюду, как розово-синие, легкие горы, леса, Антон Антоныч почувствовал в первый раз холод,— не тот прежний зимний холод, от которого крякали бревна изб, а на душе было радостно и в теле крепко, а другой, новый, откуда-то изнутри идущий. Точно только этого

снега он и ждал, чтобы выйти. Он медленно пополз по всему ссохшемуся телу Антона Антоныча, окостенил ноги, и они стали какими-то ненужными, тяжелыми... Лежал в постели под толстым одеялом Антон Антоныч и следил тревожно, топят ли печь. Дашка приносила огромные охапки смолистой сосновой щепы, и целый день, треща, горело в камине, и в комнате было душно, как в бане, но Антон Антоныч, останавливая на лице Елены Ивановны новые уже, кроткие и горькие глаза, говорил капризно и покинуто:

— Нюся... Ты, кажется так, хочешь меня заморозить, Нюся?

Была ночь.

Еще с вечера стало казаться Антону Антонычу, что он оглох,— так около него сделалось тихо.

Тяжело ступая по половицам, подходила к его постели Елена Ивановна, но казалось, что где-то очень далеко и очень легко, еле заметно, она ходила; Дашка топила камин, и убирала в комнате, и подметала пол, стуча щеткой, но расплылась она и тоже уплывала куда-то сквозь стены, далеко и просто, без всяких движений, как ястреба в небе, и уплывал так же доктор Клейн с его искусственным питанием и морфием от режущих болей.

В огромную какую-то даль уходя,— ушла вся тягота земной жизни. Только как будто легкие паутинные нити оставляло после себя одно и другое и третье, и прежде никак нельзя было смешать одного с другим, и в том, чтобы не смешивать, заключалась вся работа жизни, а теперь протянулись от всего одинакие, все легкие, все тонкие паутинки, и различать уже было нельзя.

Снаружи эта ночь была месячная, светлая без конца, снежно-синяя, и вся тихая насквозь, от земли под снегом до неба под звездами, и, должно быть, какими-то неведомыми путями эта светлая тишина и вошла в комнату, где умирал Антон Антоныч. Комната была высокая, с тяжелым, украшенным лепкой потолком; стены — гладкие, зеленоватые, с круглыми бликами от масляной краски; и потолок и стены были прочные, как все в Анненгофе, но теперь рассквозились они как-то со всех сторон, и уже точно не в комнате, а на земле, на голой земле под голым небом голый лежал Антон Антоныч.

Летом на лесных тропинках иногда стадами стоят в воздухе продолговатые желтые мухи, упрямо и просто стоят, как рыбы в воде в жаркий полдень. Подойдешь к ним,— они вдруг разлетаются быстро, посверкивая крылышками, и опять сходятся в стаю в двух шагах впереди, и опять стоят неподвижно.

Вот такие мухи густою стаей окружили, казалось так, Антона Антоныча — упрямые, спокойно любопытные, прозрачнокрылые желтые мухи, и он, медленно подымая бессильные тонкие руки, отгонял их. Разлетаясь в стороны, они казались голубыми,— сверкали голубыми яркими круглыми пятнышками, как кусочки неба сквозь листья,— но недолго: сходились снова желтым стадом, и снова медленно подымал он руки и отгонял их прочь. Высоко поднять рук он не мог — водил ими около рубахи, иногда цепляясь пальцами в ее складках.

Что стояли около Елена Ивановна и Дашка,— он не видел; но они смотрели, как он двигал руками, и шепотом сказала Дашка:

— Обираться начал.

— А?— спросила Елена Ивановна.

— Барин... обираться начал,— испуганно повторила Дашка, перекрестилась, и темные глаза ее заволокли слезы.

Зажгли лампадку, зажгли восковую свечу у изголовья.

А Антон Антоныч уже ловил вожжи. Мчалась без пути и дороги горячая пара стоялых вороных жеребцов в дышле... Да осадить, осадить же их, натянуть вожжи так, чтобы рты им, зверям, порвать удилами!.. Все собирал концы вожжей Антон Антоныч, концы новых вожжей, плюшевых, желтых, с синими помпонами... Скользили концы, выпадали из рук, не мог собрать.

Сёзя приехал к ночи, сказал, что Леша и Кука не поспели на поезд, приедут следующим, завтра в обед. Ловко сидел короткий мундирчик на Сёзе, но снял он его, приехав, надев старую студенческую тужурку и, так одетый, вошел к отцу.

Не узнал уже его и в тужурке Антон Антоныч. Открытыми серыми глазами смотрели они друг на друга, и Сёзя видел сквозь расстегнутую рубаху подымавшуюся с шумом костистую темную грудь, видел беспокойные руки, и острые маслаки скул, и ненужно отросшие лох-

матые, мягкие седые усы, но Антон Антоныч не видел Сёзи.

Видел мух, вожжи, и потом, как с высокой горы, сыпались мелкие камешки, желтые и синие, как водяные струйки в водопаде... Да это ж гравий, да набрать его сколько там есть подвод свободных... это — в бетон... это — все дорожки около дома усыпать, чтобы не было грязи осенью... Сыпались камешки, как град, и, ударяясь о выступы, вспыхивали голубыми искорками, и все протягивал вперед руки Антон Антоныч, набирал полные горсти и бросал вниз, а куда падали вниз они, как глубоко — не было видно.

И потом опять жаркий полдень и пестрые тропинки в лесу, и потом опять кружились желтые мухи с голубыми взлетами, и мохнатились синие помпоны на желтых вожжах.

И когда стало так тихо в комнате, точно сошлась наконец со всего Анненгофа и со всех лесов кругом многоверстная, густо пахнущая смолою тишина,— глубокой ночью в третьем часу девятого декабря умер Антон Антоныч. Приехавшие в этот день Леша и Кука увидали его желтым, твердым и неподвижным.

Хоронили его в том самом парке, где была уже могила застрелившегося барона, только ближе к дому и среди елей, еще более высоких и спокойных.

Пришел Тифенталь; приехал Подчекаев.

Подчекаев прикладывал руку к сердцу и, обращаясь к Елене Ивановне, говорил:

— Поверьте, Елена Ивановна,— поверьте, что я всегда, от глубины души своей...

Елена Ивановна слушала и вытирала глаза новым маленьким батистовым платочком, обшитым широкими кружевами.

Тифенталь говорил, обращаясь к Леше:

— Доктора наши-то... это — профанский-то народ, ну-у... Если бы профес-сор...

Скучно перебивал его Леша:

— Никакой профессор!.. Болезнь была неизлечимая. О чем и говорить.

— О чем говорить,— повторял Кука.

Вился и неслышно падал снег. На серых шинелях Сёзи

и Подчекаева он был едва заметен, на черные шинели Леши и Куки опускался пушистыми звездочками, и мирно и серьезно, как добросовестный работник, скреплял белыми прожилками свежие темные комья земли на могиле Антона Антоныча.

День был такой тихий, что падали снежинки — точно не падали, точно стояли плотно между землей и небом, белые внизу, темные вверху, не падали, а просто повисали лениво; и ели и сосны устойчиво молчали каждой иглой, опушенной синим инеем.

1909—1910

МЕДВЕЖОНОК

Поэма

1

Сибирь — большая; едешь-едешь по ней — день, два, неделю, полмесяца, без передышки, без останова,— футы, пропасть: такая уйма земли — и вся пустая. Вылезет откуда-то из лесу десяток баб с жареными поросятами в деревянных мисах; посмотрит на поезд спокойный обросший человек в красной фуражке; просвистит, как везде, кондуктор, соберет третий звонок пассажиров, разбежавшихся за кипятком,— и тронулись дальше, и опять пустые леса с обгорелым желтым ельником около линии, потом опять станция, бабы с поросятами, человек в красной фуражке, кипяток, и никак нельзя запомнить архитектуры этих маленьких станций на пустырях,— так они какие-то неуловимые: постройка и только.

Если бы был я бродягой, я смотрел бы на эти таежные пустыри с восторгом: экая девственная ширь! Но я больше степенный хозяин, чем бродяга; вот идет поезд мимо парня в красной рубахе, прикорнувшего на армяке у костра; парень спит, а ветер погнал уже огонь по сушняку в ельник, и пылают уже мелкие елки, и дымит палая хвоя, пойдет в глубь тайги затяжной пожар — кто его здесь остановит? Каюсь, огромного леса мне хозяйственно жаль,— плохой я бродяга. Если бы был я поэтом, воспел бы я сочные верхушки кедров, разбежавшихся с разгону в небо, ясные желтые вечерние зори, туманные утра, ширину быстроводных рек и многое еще. Но я прозаик, возвышенный стиль мне не знаком, тянет меня к жилью, к яичнице, к самовару... лучше я расскажу об одном медвежонке.

На базар в городишко Аинск приехал с поселка Княжое чалдон Андрей Силин — продавал чеснок, репу, клетку уток и медвежонка. На базар же вышел с поваром Мордкиным и денщиком Хабибулиным командир стоявше-

го в Аинске восьмиротного полка полковник Алпатов: любил хорошо поесть,— покупал иногда сам провизию на привозе; здесь они и встретились — Алпатов и медвежонок.

Андрей Силин был белесый мужик лет тридцати, не особенно высок, но что-то уж очень широк в плечах,— перли в стороны плечи, напруживши кругло старый армяк, и лапы были кротовьи, плоские, прочные, с черными твердейшими ногтями, с желтыми мозолями, круглоты в пятак, с заструпелыми морозными трещинами на суставах; а Алпатов был крупный, бородатый, лет пятидесяти трех, с красной толстой шеей и кровавыми щеками; говорил со всеми так, точно всеми командовал: сердитым тяжелым басом, отрывисто, тыкал, пучил глаза. Медвежонка не сразу заметил.

— Утки... м-м... почем утки? Любезный, ты-ы! тебе говорю, ты-ы!

— Я ведь слышу.

— Отвечать нужно сразу, а не в носу ковырять!.. Отчего чесноком от тебя прет, ты-ы?

— Да вон в чувале чеснок.

— Ты и привез даже? Вот дурак.

— Зачем дурак? Это я, кому надо, для колбас. Огурцы вот теперь солить — без чесноку как? Чесноком живем. Всякая птичка своим носиком кормится. У нас с братами чесноку-то, почитай что две десятины. В дальние места отправку делаем,— чесноком не шути: по восемь рублей тыщу покупают.

В сердитую бороду Алпатова глядел Андрей, улыбаясь щелками глаз:

— Хочешь утков взять — бери утков. Стоют оне почем? Стоют оне — пару пустяков.

Снял с воза клетушку утиную Андрей, а когда снял, обнаружился на возу медвежонок. Лежал он, пушистый, желтовато-дымчатый, уткнувши морду в передние лапы, спал, должно быть, и вот разбудили. Зевнул глубоко, вывалив острый язык, почесался жестоко за левым ухом, фыркнул, поглядел на Алпатова зелеными дремучими глазами, почесался, скорчившись смешно, еще и за правым ухом, встряхнулся, привстал.

— Ах ты, зверюк!— повеселел вдруг Алпатов.— Продаешь?— спросил Силина.

— Пошто не продать?— ответил Силин.— На то привез — продать.

Потрепал медвежонка по загривку Алпатов; медвежонок, играя, отмахнулся лапой, ворчнул даже.

— Веселый!— сказал Алпатов.

— А как же: малóй.

И Хабибулин, круглоликий башкир, с огромной корзиной в руках, подошел к телеге, осмотрел звереныша и доложил, сияя, Алпатову:

— Мальчик!

— Кобелек,— подтвердил Андрей.— Кобельки — они не злые, ничего.

Опять зачесался свирепо медвежонок.

— Блох!— сказал Хабибулин сияя.

— Блошист,— подтвердил Андрей.— Искупаешь — ничего. Казанским мылом вымой — повыскочат.

— Ты-ы вот что, любезный,— в носу нечего ковырять, а говори толком: если...— Алпатов обвел грозными глазами Андрея Силина, уток, желтую горку репы и весь базар и строго докончил: — Если все, то сколько?

— Стало быть, и утков?

— Дурак,— сказал Алпатов.

— И, значит, репу?

— Еще раз — дурак.

— Чесноку сотня пучков...

— Чеснок — к черту!.. Э-э... бестолочь, братец! В солдатах служил?

— Не... браты служили.

— Вот потому и дурак.

Через четверть часа договорились. По широкой мягкой улице повез свое добро Андрей к дому Алпатова, а Алпатов пошел в рыбный ряд за омулями.

Когда, лет двадцать назад, приехал сюда на службу из России Алпатов и узнал, что у командира полка одиннадцать человек детей, он говорил молоденькой жене, Руфине Петровне:

— Руфа, представь (испуганно) — одиннадцать!

— Черт знает что! — отозвалась Руфа.

— Одиннадцать! Нет, как тебе покажется, а? (Возмущенно.) Одиннадцать!

— Черт знает что! Какие же? Мальчики? Девочки?

— Разные... И мальчики и девочки. Нет, подумай (насмешливо): одиннадцать!

— Черт знает что!

Теперь у самого Алпатова было девять человек — и

мальчики и девочки,— и Руфина Петровна ходила тяжелая десятым, а еще не было ей и сорока лет.

Сибирь — большая, богатая: сто рублей — не деньги, триста верст — не расстояние. Жили плотно, хозяйственно, не торопясь; рожали детей, питали, заселяли пустыри, насколько были в силах.

Поезд в полях — июнь, жара,— кто встречает его с зеленой трубочкой флага у затерянной в глуши будки? Сторожиха, худощекая, корявая, черная от солнца баба и, конечно, с высоким животом. Поезд в лесах на севере, где дороги мостят плотами из бревен, осень, туман, непролазная дичь, и опять то здесь, то там — будка, «свободен путь», и опять вздутый бабий живот храбро торчит, раздвинув полы полушубка; и в пустых Закаспийских степях, в феврале, и в мае, и в октябре, вечно стоит на посту этот высоко торчащий живот и зеленый флажок над ним: путь свободен. Так из года в год, сами вызывая к жизни жизнь, заполняются пустые просторы.

Сидел на кухне Андрей, пил чай, рассказывал Алпатову, откуда взялся медвежонок.

— Была у нас пара лошадей — Солово́й да Серый. До чего дружны были — страсть: с жеребят в паре. В луга, летнее дело, пустишь — вон какие спины наедят — желоба!.. Случись раз — в этом месяце, в августе — задрал Михал Иваныч Серого, а Солово́й убег. А мы — нас четыре брата — хорошо это дело не разузнали,— может, жиган какой увел, летнее дело — шпана бродяжит... Солово́го беречь бы, а он тоскует без Серого, не ест, тоскует, голос подает... Со скуки так и ушел, на то же самое место убег; задрал и его, стало быть, Михал Иваныч. Тут уж мы их разыскали обеих: здесь Серый, какая остача, лежит, здесь подальше Солово́й, мошки на нем — туча... Жалость взяла. А нас четыре брата: Пармен, Силантий и, значит, Иван еще, да я... Сердце взяло!.. Топоры брали, так умом-то думаем: он еще на то место прибудет, может, ему еще кака лошадка... Ждем. Так к утру дело — фырчит, лезет. А у Ивана ружьишко было — дрянковато, на рябцов когда, дробовое... Он его лясь дробью!.. Как выходил, стало быть, на полянку эту,— он его лясь!

— Так что же он его дробью с дальней дистанции, какой же смысл в этом? Вот дурак.

— Нет, он не то дурак, а это, чтобы озлить: он человека учуял, гляди, опять задним ходом в дебрь — ищи его. Вот хорошо. Михал Иваныч наш на задние лапы вско́чил, в рев, на нас целиком, головой мотает,— в голову он его, Иван, а мы с топорами. Иван опять все поперед всех: попе́рек лапы передней топором его — лясь!.. Ему бы отбечь после, а он норовил его, стало быть, по другой лапе... Кэ-эк сгреб его, Ивана, лапой этой за плечо, значит, сгреб, а Пармен у нас до чего здоров! Осерчал: бросай, ребята, топоры, мы его голыми руками задавим! Топор, оголтелый, поло́жил, кэ-эк уцопит это место за шею — нет, врешь! Нет, брат, врешь, стало быть!.. Михал Иваныч туды-сюды головой, туды-сюды мотает, а лапами орудовать если — ему нельзя, и дыхания нет, и Пармен уперся это быком, с лица весь кровью залился, а Силантий смотрит — язык без путя болтается, он его, Михал Иваныча, за язык — так и вырвал... Я уж в это дело не встревал — вдвоем задавили. Я только Пармена не послушал, топором по боку два раза, как у него самый окорок игде — туда. Поранить нас всех поранил: Ивану — ну, это уж он сам бестолков,— ему он плечу повреждение сделал, ну, ничего; Силантий, опять, об клык напоролся; Пармену он клок волос с кожей содрал — ничего, зажило; а мне вот так ногтем по ноге — пимы на мне были,— скрозь пимы черябнул. Так уж нас и звать стали: Деримедведи; всё были Силин да Силин, а теперь уж нам и названия другого нет: Деримедведь. Не то что, стало быть, он нас задрал, а что мы его задрали.

— Ну, ты это что мне заливаешь? Дурак. Хороший медведь так не дастся, дудки!

— Медведиха.. Медвежонок откуда же? От ей. Другой был,— с сердцов его Пармен ногой затоптал. А этого уж я не дал. Я его молоком из мисы поил,— думаешь как? Он молошный.

— Какая же в тебе такая сила?— не поверил Алпатов.— Ну-ка, на, бери кочергу.

— Я не об этом, что у меня сила: браты здоровы... Я так себе, я проти их заморыш.

— Садись на пол.

— В перетяги?— спросил Андрей.— Я ведь не об себе...— Поплевал на руки, ухмыльнулся.

Уперлись они с полковником нога в ногу; не успел крякнуть полковник, как поднял его с полу Андрей.

Осерчал Алпатов.

— Ты-ы, дурак, срыву! Зачем срыву?.. И взяться мне дай.

— Тут не в том дело — срыву; тут в чижельстве дело,— усмехнулся Андрей.— Выхожу я пуда на двое легче и то сижу.

Опять уперлись нога в ногу. Потянул Алпатов — ни с места Андрей, потянул Андрей — повалился на него Алпатов.

Повар Мордкин кашлянул в кулак и отвернулся, Хабибулин цокнул и покрутил головою, а Андрей взял кочергу под мышку:

— Вот, как клюки не жалко, я из нее фертик сделаю, жалаешь?

Перегнул ее в дугу, связал в узел и концы закудрявил.

— Вот и фертик... Ведь как-никак из тайги домой по двенадцать пудов чувалы с орехами таскаем... Как это тебе?.. Шуточки?..

Любил силу Алпатов. Усадил его еще и обедать, напоил водкой. Хабибулин при нем вымыл в корыте медвежонка в теплой воде с казанским мылом. И Руфина Петровна, прочная в кости дама, снисходительно смеялась над ним: так забавен был мокрый, головастый, отбивающийся лапами, по-ребячьи фыркающий звереныш. Приказала только обрезать ему когти покороче. Обрезали. Заспорили со всех сторон дети, чей будет медвежонок: семилетнему Мите, восьмилетней Оле, и Наде, и Пете, и Виктору-кадету, и пуще всех малышам — Ване и Варе — всем хотелось присвоить медвежонка. Решил Алпатов, что будет он божий. Назвали его коротко — Миш.

II

Я далек от мысли рисовать сложную жизнь алпатовского двора, где поселился в новой березовой конуре медвежонок. Двор был обширный, обнесенный плотным забором, утоптанный крепко, обставленный птичниками, конюшней, коровником, каретным сараем; на всем этом легли тяжело слоеные крыши из розовых новых сосновых обапол, скребли куры — лонгшаны, важничали тулузские гуси, крякали утки — белые с красными мозолями над клювом, бормотали индюки белые и серые,— много скопилось крикливого земного добра. И собаки были: Шарик, Куцый, Барсук, Лягаш, Джек и Мэри; и было где кучеру Флегонту проводить пару дышловых лошадей, не особен-

но породистых, но рослых, дюжих и подобранных тщательно под масть — вороных, белокопытых: два белых копыта у одного, три у другого.

Иногда появлялся из дома кот Поваляпушка, серый, огромный, туземный кот — тринадцати фунтов весом. Староват был — все больше спал: подсунут ему мягкую подушку, и дрыхнет котище, положив круглую голову на лапу. Но иногда, когда солнышко, тепло, воробьиный гам, важно выходил промяться, шипел и фыркал на собак, и когда отставали, усаживался на крыше и озирал все кругом веще и хмуро.

Джек и Мэри были старые болонки со смышлеными мордами, обе белые, с черными глазенками. Лаяли звонко, но с достоинством, незаметно усвоенным от Руфины Петровны, и ровно столько лаяли, сколько нужно было: постигли такт. Везде шныряли бойко, ко всему принюхивались, приглядывались деловито — были как ретивые ключник и экономка. Ежегодно приносила Мэри белых курчавых щенят, и раздаривала их Руфина Петровна сначала полковым дамам, потом посторонним: по всему Аинску завелись белые болонки.

На Барсуке, приземистом жилистом псе серой шерсти, катались Ваня и Варя: была колясочка и сани с веселыми красными разводами; с Лягашом, глуповатой желтой вислоухой собакой, ходил поблизости в тайгу на охоту Виктор-кадет; а Шарик и Куцый были без особого назначения дворняги, и один от другого отличались только длиною хвостов.

Медвежонка, когда появился он на дворе, осели было — заступились дети, Хабибулин и сам Алпатов; отстали. А медвежонок малый, осмотревшись, устроился важно, тепло и хозяйственно, точно и отцы его и деды век свой прожили в березовой конуре. По двору прошелся не спеша, на все поднимая свой внимательный черный пятачок, кое-что потрогал лапой. На кучера Флегонта, сурового солдата из сибирских молокан, посмотрел беспомощными щенячьими зелеными глазами, и Флегонт, пынявший сапогом собак, потрепал его по пушистой холке, любя, и угостил хлебом.

Черных котов боялся Флегонт, потому что лошади его были вороные.

— Лошадь загубить ничего не стоит,— говорил он повару Мордкину.— Посади только ей кота на спину,— какой масти лошадь, такой чтоб и кот, и чтобы ночью,— вот-

те и все. На кота не смотри, что тихий,— он свое дело знает. Чтоб только посидел поплотней, не спрыгнул, так минуты три — вот-те и все. Из какой такой причины лошадь после этого от еды, от пойла отобьет — отобьет и все. Ни за что изойдет, ни работы от нее, ни удовольствия, ничего больше не жди... Брат ты мой! это дело нам очень хорошо известно, хоть цыгана какого спроси.

Повар Мордкин был спокойный, сытый, белый и ленивый, как все повара.

— Ничего нет мудреного,— говорил Мордкин.

III

Дом Алпатовых был одноэтажный, деревянный, как все дома в Аинске, но теплый и такой удобный.

Было три детских — розовая, синяя, желтая, а в них — чучело матерого волка, на котором катались верхом, усиленно двигаясь, пришпоривая и крича и хлеща арапником,— просмыгали густую шерсть вплоть до самой кожи; барсова шкура с зубатой глазастой головою, лапами и хвостом,— надевали, чтобы пугать друг друга; валялись везде трещотки, рожки, литавры, заводные барабанщики, бубны, свистушки... шумно жила крепкоухая молодежь. И широкозадая, низенькая, совсем круглая, белоглазая нянька Пелагея каждый день по вечерам настойчиво приводила здесь все в порядок.

Начиная с Виктора-кадета, Пелагея подняла всех девятерых детей Алпатова, десятого спокойно ждала подымать. Сама уж стала алпатовкой, так разучилась отличать себя и чувствовать отдельно от дома, и была положительно величава в своем неоспоримо уверенном «так, а не этак».

Когда раз поехала по железной дороге куда-то поблизости Руфина Петровна с Петей, который был тогда грудной, то на первой же остановке выскочила Пелагея мыть внизу в ручье Петины пеленки.

— Куда ты? Куда ты?.. Назад! — кричала Руфина Петровна.

— Ничего, барыня, помою — нельзя.

— Садись, не выдумывай — поезд сейчас пойдет!

— Подождет, ничего.

— Садись — останешься: второй звонок!..

Звенел второй, за ним тут же третий,— влезая тяжело на лесенку, недоуменно ворчала Пелагея:

— Какие деньги плочены, да не подождет... Вот дивно! И нешто же мы им простые?

На сон грядущий говорила детям протяжно про колдунов и ведьм, и сказала раз семилетняя Оля:

— Ах, если б их всех-всех на свете не было, колдунов и ведьмов, вот хорошо бы!

— Что же хорошего? — ответила Пелагея.— Слова нет — хорошо, только это перед концом света будет.

— А после что будет?

— А после конца-то тогда уж одни святые люди будут.

— Чем они святые?

— Так они свято жить будут, без гнева.

— А солдаты тогда будут?

— Нет, ничего этого не будет.

— А... а... вот... чибрики тогда будут? (Очень любила чибрики из сладкого творога.)

— Да ведь они бестелесные будут, святые-то... А питаться будут манной; бог посылать будет.

— А ты до этого доживешь?

— И-и, где мне, да и вы все не доживете.

— Вот хорошо как! И не надо, не надо! Вот хорошо.

Радостно прыгала и била в ладоши и обнимала няньку. Но лампадки ночью перед иконами благостно сияли во всех детских, розовая — в розовой, синяя — в синей, желтая — в желтой, и от этого иконы были лучисты, таинственны, ласковы и красивы: святы.

В гостиной мебель была церемонная, чинная, исключительно для дам; мужчины же косились на нее недоверчиво, слегка пробовали руками спинки из бархата, помпончиков и штофа и отходили, покашливая и кряхтя.

— Садитесь, пожалуйста, что же вы стоите! — упрашивала Руфина Петровна.

— Насиделись и дома, — кланялись гости, — только и делаем что сидим.

Тут на полу были густые ковры, а по углам японские веера и цветные фонарики; в столовой же висели картинки из охотничьей жизни, резные из дерева зайцы головами вниз, черные лебяжьи лапы и еще многое, что должно было возбуждать аппетит. Над огромным прочнейшим столом здесь висела добродушная широкая лампа с хрустальными висюльками в виде четырех связанных лир. В уголку одной лиры зияла щербина: это капитан Кветницкий, когда обмывал у себя Алпатов орден Владимира 4-й степени, поднял за него бокал.

Иногда, больше в будни, когда не было гостей, в столовой обедали и дети, но в кабинет отца, где стояла гордость Алпатова — по случаю купленная старинная мебель из мореного дуба,— дети заходили редко, урывками, как мыши, и тут, подымаясь на цыпочки, разглядывали два шкафа: один с уставами, с томами «Разведчика», «Инвалида», «Свода военных постановлений», с важными бумагами в синих папках и другой — с зеленым от старости медным шлемом, зубами мамонта, найденными в подмытом берегу речки Тептюги, рапирами, бердышами и полдюжиной уродливых китайских богов.

IV

Аинск от железной дороги стоял верстах в семи; кажется, тем только он и был замечателен, что стоял так близко от дороги. Прежде, когда «тайга гремела», сюда приезжали прокучивать золото, но отгремела тайга. Прежде по речке Тептюге ловили здесь много рыбы, били выдру, сводили лес и сплавляли. Но отловилась рыба, перевелась выдра, сильно поредели таежные делянки, хотя лесопилки и повизгивали еще кое-где. И если чем жив был этот городишко, то только полком.

Небольшой, но дружный полк пророс здесь во все стороны, всюду пустил корни, все переслоил, перевязал, перероднился, перекумился — одна семья. С полком слиты были все здешние радости и надежды. Казалось, только вырви отсюда полк — и тут же капут городишке: распадется, как комок сухозему, и перестанет быть.

И потому-то крупнее всего, что было здесь, был Алпатов, и нравилось всем, что он такой уверенный, выпуклый, важный, неторопливый и свой.

А ему год за годом примелькались тут все, и каждый круглился перед ним в особицу со своим обликом и именем, потому что был он прост со всеми, любил спрашивать, и память была на имена.

Даже Машку Бубнову, невоздержную девку, мать четверых малых ребят, знал Алпатов, и когда подходила она к нему на улице, часто кланяясь, и говорила певучей скороговоркой: «И-и, конца краю нет мучениям! Совсем я, ваше благородие, на нишшем полозу!.. На житье сиротское, на ребят моих солдатовых, на наши картины туманные приходи только посмотреть...» — и подносила фартук к глазам, Алпатов медленно давал ей двугривенный и говорил: «Иди с богом».

В аинском клубе, и основателем которого, и несколько лет членом был Алпатов, повесили на почетном месте его портрет, писанный с карточки местным живописцем Аверьяном Собачкиным, который божился даже, что за пятнадцать рублей масляными красками лучше сделать нельзя. И когда город решил на одной грязной площади разбить общественный сад, Алпатов посылал солдат копать ямы, посылал с артелками в тайгу за молодым березняком и ельником, сам вымеривал шагами и разбивал дорожки, сам обрезал корни,— столько хлопотал над этим садом, что аинцы и самый сад назвали Алпатовским садом.

Казначейство в Аинске стояло мрачное, с облупившейся штукатуркой, с выбитыми стеклами вверху в архиве, и бесчисленных сизых голубей ничем нельзя было убедить, что это не для них, а казначейство. Но женская прогимназия была и того хуже: старый, осевший деревянный дом с тесовой крышей, гнилой и дырявой; и даже мох на крыше был древен годами; молодой мох ярок, зелен, весел и, как все молодое, приятен для глаза, а пожилой нехорош: шершавый, жухлый, стертый, местами седой и — если не приглядеться к нему, а взглянуть сразу — даже как будто страшный.

И учителя попадались странные: то анекдотисты, то пьяницы, то сутяги, а один до того ясно представил, что воздух классов ему смертельно вреден, что никогда не заходил ни в один класс, стоял закутанный в шубу около форточки на улице или на дворе и явственно диктовал отсюда: «Ягненок... в жаркий день... зашел...» — или спрашивал, что такое залог.

Но так сильно хотелось аинцам видеть около себя необычное, громкое, далекое, что именно этого подфорточного учителя и считали под шумок светилом науки, говорили даже, что это — бывший профессор, пострадавший за убеждения, и что у себя дома по целым ночам, не разгибаясь, пишет он какой-то огромный труд.

И исправник здесь был не просто исправник, а сочинитель проектов, и известен был один проект его — как сберечь бродячих тунгусов от вырождения: нужно было собрать комиссию из представителей министерств — внутренних дел, просвещения, юстиции, финансов, миссионера, податного инспектора, воинского начальника и других; отправить комиссию изучать условия жизни тунгусов; дать ей на прогоны десять тысяч; и тунгусы были бы спасены, но проект этот не был принят.

По субботам парились здесь в банях Брёхова, где были даже номера, но такие холодные, что годились только для лета, и подозрительная баба, сидевшая за кассою, если спрашивал у нее кто-нибудь простыню, говорила:

— Простыню нате, ну, однако, сапоги вытирать простыней этой у нас нельзя... А то один тоже такой сапоги свои грязные вытирал, и с таким это усердием,— так мы до белого и не домылись.

По воскресеньям мещане здешние, разодетые в оттопыренно-хрустяще-новое, гуляли по тротуару из четырех досок, положенных иждивением купца Мигунова против своего магазина и еще на три аршина дальше, как хватило досок: махнул рукою, не отрезал — пользуйтесь.

И до того было мало и тесно это место гуляний, что вполне правильно называлось оно аинцами «Пятачком».

Но главное, что делали в Аинске,— это ходили в гости. Может быть, есть люди,— наверное, есть,— для которых это труднейшая и скучнейшая повинность: гости; в Аинске не было таких. Приходили и говорили: «Сыграем?..» Пытались жить этак до тридцати лет, а потом только «вспоминали из жизни». Дамы здесь очень любили лото и стуколку, мужчины — преферанс и винт, молодежь — веревочку и почту. Кому принимать гостей, блюли очередь, но гостям на всякий случай напоминали записками накануне — так требовал обычай,— и ходили по нужным домам денщики или стряпухи с общей кучей записок, выкладывали их на стол и говорили, вытираясь:

— Вот выбирайте свою тут, какая вам.

Были страшные морозы, с огненными кругами и столбами в небе и спешным птичьим падом, и вьюги, от которых слепли дни, но ничто не могло помешать этой ненасытной жажде общения, и даже весною, когда разыгрывалась Тептюга и затопляла нижние улицы так, что нельзя было ни пройти, ни проехать, в гости все-таки отправлялись привычно — в лодках, запряженных двумя-тремя лошадьми, цугом.

V

Потому ли, что Алпатов был высок и красен, всех выше и всех краснее, и громкоголос, и бородат, и грозен — хозяин со всех сторон,— или потому, что возился с ним по-отечески снисходительно-любовно, только его особенно отличал медвежонок и играл с ним забавнее и шустрее,

но зеленый дремучий глазок выбивался из дыма пушистой шерсти то справа, то слева; навстречу высоким старым серым глазам Алпатова полз снизу лукавый, лесной, щенячьи-молодой, зеленый, упорно наблюдающий глазок.

И однажды неприятно это стало Алпатову, и буркнул он: «Ты что это, дурак, а? Какой глазастый дурак, черт тебя дери!» Но тут же неловко стало, что буркнул вслух, и, чтобы загладить это перед самим собой, возился с ним Алпатов после того преувеличенно долго, переворачивал на спину, щекотал под лапами, давал кусать руку, стоял перед ним на корточках, пока не затекли ноги.

Чтобы не было скучно Мишке, завели ему товарища, щенка Дуная, такого же пухлого и лобастого, серого, с белой звездой во лбу.

С месяц прожили они в одной конуре, то играя неуклюже, что ссорясь, потом куда-то пропал Дунай, должно быть увязался на улице за какой-нибудь проезжей чалдонской телегой и ушел в тайгу; а повар Мордкин, человек спокойный и толстый, решил, что это он сгинул, как и быть должно, от медвежьего запаха.

А уж захолодало. Выпал снег. Из лесов ближе к жилью придвинулись огромные стаи чечеток, и Виктор-кадет мечтал в своем корпусе о пороше, о лыжах, о путаных заячьих следах. Неизвестно, от скуки ли, или от холода, чтобы согреться, иногда забивался Мишка в пустое полутемное стойло и ходил там из угла в угол упорно, настойчиво, однообразно, как человек: был похож на очень занятого какою-то сложною мыслью, которую никак нельзя распутать и разъяснить, если только не ходить из угла в угол. Маленький, таинственный, лесной — протоптал в стойле заметную дорожку; примял солому плоскими лапами и не лежал на ней, не зарывался в нее — только ходил и думал.

— Ты что это, а?.. Миш-Миш, ты зачем это? — спрашивали дети.

Отбивался от них и ходил упрямо.

Спрашивали Флегонта,— отвечал, разводя руками:

— Кто его знает — зверь.

Спрашивали отца.

— Его дело,— говорил, подумав, Алпатов.

В декабре же, ближе к середине, Миш как-то уснул в конуре и что-то спал долго, потом встал, беспокойно пофыркивая и косясь по сторонам, и принялся медленно таскать к своему логову щепу, старые метлы, солому.

Догадались, что готовится сосать лапу; принесли хворосту, закрыли им со всех сторон конуру, и Миш покорился непреодолимой спячке. Его не было, но он был. На алпатовском дворе без него стало просторнее и скучнее, но знали, что он никуда не ушел, что он тоже здесь, и каждое утро дети подходили к куче хвороста посмотреть, идет ли пар. На хворосте пар оседал густым шершавым желтоватым инеем; дети счищали днем этот иней, а наутро он налипал вновь. И сначала удивлялись, как это можно так долго спать, потом привыкли. Запрягали Барсука в санки, накрывали щеглов и чечеток лучками внизу на репейнике, а для снегирей привязывали силки на длинные, как удилища, палки и тихо подсовывали им под ноги на березы.

Зимой куда хочешь — дорога. Приезжали из глухих дебрей тунгусы с пушниной, а также для взноса ясака, и аинцы, те, что попроще, охотились за ними, как они за куницами.

Зимою сугробы на улицах бывали так велики, что для ходьбы около домов, как траншеи, копали узкие, тихие, синие коридоры, и оттого, что снежные стены подымались выше деревянных, в домах было темно и скучно. От скуки спали зимою, как могли много, а от затяжного спанья еще пуще скучали.

Но то, что у Алпатова на дворе, как в берлоге лесной, спал медвежонок, искренне веселило аинцев.

Спрашивали с молодым любопытством:

— Спит?

— Спит.

— Ишь ты его (добродушно), спит!.. Вот язва!

А когда собирались у Алпатова, то первым делом обхаживали кругом березовую конуру, забросанную хворостом и соломою и щедро укрытую сверху снегом. Приглядывались, слушали, спорили — спит ли?..

Спал.

VI

Девятнадцатого декабря родился у Руфины Петровны десятый ребенок. Незадолго перед этим маленький Ваня, ее любимец, уличал ее во лжи:

— Какая ты, мама, врунья! Ах, какая врунья!

— Я? Что ты!

— Какая врунья!.. Ты сказала, если я буду умный,

у меня будет еще сестрица. Вот я уже сколько дней умный, пять дней умный, шесть дней умный, а никого нет!

Но хоть и ждала девочку Руфина Петровна,— родился мальчик, большой и крепкий, как все Алпатовы. Назвали его Борисом, и полковник положил на его имя — как было и с прочими детьми — припасенную к этому случаю тысячу рублей в банк.

Боба был седьмым сыном, и когда поздравляли Алпатова с наследником, говорил он о себе значительно:

— Да, вот так-то: семь сыновей... Семь сыновей, да еще и сам соловей! — и подбрасывал крупную голову молодцевато.

Алпатов старел незаметно: сдавал себя времени по волоску, как хорошо защищенную крепость; каждый день, вставая, чувствовал себя, как вчера, и когда спросил его как-то с завистью значительно лысый, хотя и средних лет исправник:

— И отчего это нет у вас ни самомалейшей плеши?.. Удивлен!

Алпатов, в свою очередь, спросил, как бы удивляясь:

— Это что же такое — «плешь»?

— Иначе говоря — лысина.

— Как у вас?

— Именно, как у меня.

Внимательно и долго осматривал исправницкую лысину Алпатов и сказал неторопливо:

— Гм... Не полагается по уставу.

Но хоть и медленно, а старел. И так приятно было послушать горластого малыша: кричит и выбрыкивает, малое и верткое, бушует и ссорится с матерью, с нянькой, весь — свое, и, главное,— новое свое.

Как не поноветь в новом? Даже новый мундир молодит. И, строя Бобе привычную козу — отчего морщился малюсенький нос, чмокали губы, и серьезные мутные глазки таращились и жмурились,— чувствовал себя упористее Алпатов и еще молодцеватее носил голову.

На Новый год получил он новый орден, и, хотя был это очередной орден и представил себя к нему он сам еще в июле, все-таки приятно было, что он еще раз отмечен и награжден. На Новый же год известно стало, что прямой начальник Алпатова, командир бригады Подгрушный, вышел в отставку.

Генерал Подгрушный был уже глубокий старик, державшийся только по привычке держаться командиром, как

держатся шапки одуванчиков до первого ветра; но иногда забывался он, и тогда недослушивал ответов, задумчиво перебирал губами, тянул как глухие: «Да-а... Да-а... А-а?» Путал слова, вставлял в свою речь: «этого», «как его говорится», «и тому подобное», «вообще», забывал свои же приказы, шашку вдруг называл палашом,— уходил уже ото всех этих штыков, выправок и команд в безмятежное, стариковское, мягкое, где никакому осуждению нет уже места, где как будто накурено сизым кадильным дымом святости, всепрощения, надземной дали.

На место Подгрушного уже назначен был какой-то штабной генерал, барон, и уже одно это неизвестное: штабной, барон и новый, заставляло жалеть о привычном старике, который запросто обедал у Алпатова, когда навещал полк, ловко шаркая ногою, целовал пухлую руку Руфины Петровны, трепал по круглым щекам малышей, добродушно громко смеялся и мигал глазами с вечной слезой.

Алпатов перешел когда-то из гвардии и потому двигался в чинах быстро, и вот уже восемь лет командовал полком и два года числился одним из девяноста кандидатов в командиры бригады. Знал свою аттестацию, хоть она и писалась секретно: «Службу любит, здоровьем крепок, труды походной жизни переносить может; несколько излишне тяжел, но держится в седле уверенно; умственных способностей отменно хороших. В поле не потеряется и возложенную на него задачу выполнит с успехом; к подчиненным строго требователен, беспристрастен и справедлив...» и так много, и потом заключение: «Достоин быть командиром неотдельной бригады».

И за это заключение Алпатов особенно любил старика, потому что хоть и говорится язвительно, что «всякий генерал — поглупевший полковник», но всякий полковник неизменно желает поглупеть.

VII

Это было основное в Алпатове — полная ясность всего, что он делал, почему делал, зачем делал, как делал, и потому меньше всего понимал он неосмысленность, торопливость, растерянность, глупость, и потому так часто слетало с языка его слово «дурак». Была соблазнительная власть казнить, но и миловать тоже было в его власти: поднять голову, почесать, не спеша, в бороде указательным пальцем и сказать, брезгливо поморщившись,

расстановисто и очень низким, густым и сочным строевым голосом: «Пошел, ты-ы... к чертовой матери, дурак!»

Но бывают такие дни в жизни каждого, когда и самые расторопные люди вдруг почувствуют оторопь неизвестно почему, как неизвестно почему вдруг не хочет идти норовистая лошадь: мотает головой, пятится, фыркает, визжит от кнута и бьет в передок повозки задними ногами. Шестого февраля был такой именно день у Алпатова. День был солнечный, оттепельный, даже капало с крыши, и Алпатов приказал запрячь лошадей, чтобы объехать казармы, посмотреть утреннюю гимнастику на приборах, но вместо казарм очутился в поле, где, плотно прижавшись к снежным сугробам, полз тяжелый талый ветер и звенел сосульками на березах. И так долго ехал между снегами, казавшимися с море глубиною под очень высоким чистым бледно-синим небом; нагонял и объезжал крестьянские сани (день был базарный); проехал до десяти верст, и взмылились вороные спины, а когда обратно ехал шагом, то вздумал спросить у Флегонта: есть ли причастие у молокан? Никогда не нужно было знать этого раньше, потому и не знал.

— Ваше высокоблагоро...— обернулся Флегонт.

— Говори коротко.

— Так точно, нет причастия.

— М-м... вот как?.. Да ведь и священников нет?

— Никак нет.

— А Страшный суд есть?

— Так точно, есть.

— А святые?

— Так точно.

— А рай?

— Все это есть, так точно.

Алпатов всмотрелся в чутко слушающий кусок высунувшейся к нему желтой бородки, остро почувствовал, как сосет у него под ложечкой, и сказал недовольно:

— Ну, трогай.

Любил четкую машистую рысь Алпатов, и это был первый кучер у него, который знал лошадей и которого понимали лошади, как своего. Алпатов думал, что если не подыщется кто-нибудь из новобранцев, через год, когда уходил в запас этот молокан, нужно будет оставить его в кучерах за плату.

На дворе, когда приехал Алпатов, дети шумно лепили бабу из талого снега, и хорошая вышла баба, но как раз

на самой дороге; пришлось свалить ее дышлом, и дети кричали, собаки лаяли; нахмурясь, вылезал из саней Алпатов, задержал шаг возле Мишкиной конуры; поднял маленькую Варю «под самое небо» на протянутых руках.

— И меня под самое небо! — запросил Ваня.

И Ваню поднял; а шестилетнему Пете сказал:

— Ну, ты уж большая дылда: тебя не подымешь.

Завтракал Алпатов домашней колбасой с кашей и упорно думал обо всей этой своей шумной детворе, не помнил, чтобы когда-нибудь раньше так думал.

Сказал Руфине Петровне:

— Нужно летом Виктора отправить в Россию, проехаться по Волге, например, а?.. Пусть-ка посмотрит... Поручик Кривых хотел в отпуск на Кавказ — вот можно бы с ним: человек серьезный. А может, и сам я буду иметь возможность. Ты как думаешь, Руфа?

Смотрел на нее, широкую, белую, неряшливо причесанную, домашнюю, давнишнюю, всю свою, и ждал. Но она была сердита на кого-то: на Мордкина ли в кухне, на Пелагею ли в детской, на кого-нибудь из детей. Отрезала решительно и упрямо:

— Нечего по Волгам таскаться, и здесь хороши!

Поглядел на нее удивленно: стирала тряпочкой пыль с фарфоровых безделушек на этажерке.

— Гм... Неосновательно ты это...— Покачал головой, но не хотел спорить. Вспомнил снега, небо, мелкий звон берез и то, что думал о кучере: хорошо бы его оставить, когда будет выходить в запас. Готовился сказать это Руфине Петровне и подбирал не спеша слова; так почему-то хотелось, чтобы она согласилась с ним в этом, и загадал Алпатов, что если согласится, если скажет коротко и мирно: «Пожалуй, что ж», или: «Мне все равно, как хочешь», то перестанет сосать под ложечкой. Но она увидела в окно Флегонта, стоявшего возле калитки с лошадьми в поводу, и Гусар (два белых копыта), нагнувши голову, шарил по талым комьям горячими губами. Забарабанила сердито в окно и закричала:

— Эй, эй! Не видишь?.. Подыми Гусару мордочку: снег ест!

И, обернувшись к Алпатову, сказала с сердцем:

— Нужно этого лентяюгу в роту послать! Вот увидишь, испортит он лошадей... И возьми другого.

С двенадцати до часу сидел Алпатов в штабе полка. С адъютантом, штабс-капитаном Шалаевым, говорил о

том, что нужно объявить в завтрашнем приказе. И когда просмотрел, кто назначен дежурным по полку, кто арестован, кто болен, и что-то о каптенармусах и о мундирной одежде второго срока, он сказал вдруг твердо и раздельно:

— Назначить, ввиду теплой погоды и прочного наста, прогулку полку. Полку собраться к восьми часам утра около новых казарм в походной амуниции. Ротам выдать холостые патроны по три обоймы по числу нижних чинов... Запишите.

Но Шалаев знал, сколько будет бестолковых хлопот с этой прогулкой. Он недовольно посмотрел на Алпатова, на ясные окна и ответил:

— Да, мы назначим, а вдруг завтра ахнет мороз в шестьдесят градусов.

Алпатов оглядел строго костистую красную руку адъютанта и протянул начальственно:

— Прошу-у записать!

Иногда хорошо бывает осязательно, обеими руками в обхват, почувствовать, что ты на земле не гость. Многим знакомо это: сумерки — особенно зимние,— слишком синяя, чернеющая улица в окнах, отдыхающая, дремлющая, настоявшаяся за день мебель около, тишина,— и на минуту, на две ясно зазвучит вдруг в душе каким-то деревянным голосом, как стук снизу в дубовый пол: гость!.. Смотришь на улицу, на мебель, на самого себя в темное зеркало, а голос все так же тихо и деревянно: гость!.. Тогда становится немного жутко, зажигаешь лампу, опускаешь шторы сильнее, чем надо, ходишь по комнатам и стараешься ступать прочней.

Так было с Алпатовым в сумерки, и потом тоскливо ломило шею, сосало под ложечкой, и несвободно было в левой руке.

А вечером Алпатов пошел к своему заведующему хозяйством, подполковнику Бузуну, потому что была Бузунова очередь выставлять на окно лампу.

VIII

У Бузуна были огромные красные восточные ноздри, а все остальное лицо прилепилось справа и слева, сверху и снизу к ноздрям, как белесый гарнир к сытному, в меру прожаренному румяному бифштексу: хорошо с гарниром, но недурно и без него. Был он беззаботно весел и прост, и даже молодые субалтерны, едва попавши в полк, называ-

ли его не «полковник», не по имени-отчеству — Никита Фомич, а приятельски-ласково — Бубу. Было у него в разговоре множество присловий, вставок и обращений, кудрявых и мяконьких завитушек: дорогие мои, голуби мои, золото мое, сладость моя; и, когда говорил он, можно было разглядеть его глаза, детски влюбленные в того, с кем он говорил. Два самых бойких трактира в Аинске принадлежали ему, только торговали там подставные трактирщики — бывшие фельдфебеля,— и лесной склад на окраине Аинска над речкой Тептюгой был тоже его.

Скрипело звонкое крыльцо Бузунова дома, вздрагивала проволока звонка, бежал на носках денщик отворять засовы — так было со всеми, кто пришел раньше Алпатова, так было и с ним.

— Здравствуй,— сказал денщику Алпатов.

— Здравия желаю, ваше высоко-бродь!— гаркнул так, что мигом выскочил Бузун встречать командира, и пышная в лиловом шелковом платье Бузуниха заняла собою просвет дверей — вся радостная улыбка и колыхание, и из-за ее плечей показались головы казначея, лесничего, соборного протопопа о. Герасима, двух учителей прогимназии, капитана Гугнивого, капитана Пухова, поручика Кривых, и висела над ними ленивая синь накуренного дыма.

Хорошо быть красавицей,— так нуждается в человеческой красоте земля,— идти среди людей и дарить им улыбки, движения, взгляды — такие легкие, такие неожиданно дорогие, хоть и ничего не стоящие себе: кто-нибудь прикованный забудет о своей дороге и пойдет следом; кто-нибудь остановится и будет долго стоять, как божий блаженный, слепой и радостный; кто-нибудь усталый только проводит глазами дароносящую,— и вот он уже снова полюбил жизнь, а дароносящая и не знает об этом и дальше несет то, что ничего не стоит ей и в то же время дороже всего в целой жизни... Хорошо быть красавицей; но не плохо быть и командиром полка, прийти в гости к своему штаб-офицеру и уж от самых дверей быть всех заметнее и всех крупнее, уметь сказать два-три игривых слова пышной женщине в шелковом лиловом платье, перейти затем к другой женщине, жене лесничего, даме крикливой, скупой, желчной, и сказать ей, наклоняясь:

— Ничего в жизни так не люблю, как играть с вами за одним столом!— И, дойдя до молодой супруги пре-

старелого хилого казначея, поговорить с ней подробно о ветчине.

— Ну-ка, хозяйка... Вот мы сейчас узнаем, какая вы хозяйка. Как окорок запекается?

— Как? Вот новость какая!.. Вымочить в воде, а потом... потом в тесто: повалять да в печь.

— Ха-ха-ха... плохая хозяйка! Понятия вы об этом ни малейшего, а окорок запекать — это целое искусство. Хотите, расскажу подробно. Возьмите окорок, подымите ему шкуру — она отстанет, не ножом только, а пальцами, вот этими самыми пальчиками; шкуру содрали, сахарным песком сало присыпьте — сахару не жалейте; присыпали, приколите шкуру опять деревянными гвоздиками,— вот после этого уж в тесто. А в тесто отрубей добавьте, а не из чистой муки. В печке же ему стоять полагается, ну-ка, сколько?

— Час. Или, может быть, меньше... Не знаю.

— То-то — два с половиной часа. Я уж вижу, что вы не знаете. Два с половиной часа для среднего окорока в полпуда. Два с половиной.

И когда молодая женщина, пожимаясь от невнятной тоски, спрашивает: «А сахар под шкуру зачем?» — объяснить ей:

— Это для мягкости вкуса, а как же? Для сладости.

И добавить игриво:

— Вот на такой окорок, ждите не ждите, а уж я к вам в гости приду.

И еще добавить на ухо, но так громко, чтобы всем кругом было слышно:

— А когда у вас маленький будет, приглашайте кумом.

Неторопливый и важный, считался Алпатов крестным отцом до полусотни аинских ребят, и не было в Аинске такой глухой улицы, где бы не копались в пыли то Ваня Брёхов, то Коля Штанов, то Надя Мигунова — все крестники Алпатова.

Сначала был чай, а за чаем, если гость отказывался от варенья, лиловая подполковница делала понимающие большие глаза и говорила с растяжкой:

— Ну, конечно!.. Я так и знала: пьете!

И хотя в Аинске все пили, и не пить было никак нельзя, и не варенье — даже сахар к чаю многими признавался лишним, но как сочла нужным она удивиться этому лет двадцать назад, так и теперь все удивлялась.

Алпатов хотя из любезности и говорил, что любит иг-

рать со скупой женой лесничего, но уселся за одним столом с о. Герасимом, казначеем и Бузуном и сам предложил преферанс двойного счета с «разбойником», чтобы игра была азартнее и крупнее.

Не везло: хотелось быть шумным и веселым, но торчала на вскрыше шилохвостая шеперня: ни виста, ни масти. Нет людей суеверней картежников: три раза менял места Алпатов; садился и в прорезь стола, и в линейку, и опять в прорезь — карта уходила от него веером: то играл казначей — старенький, с сухой бородкой, утиным носом и тряской головой, то Бузун, то о. Герасим. И если кому везло, то больше всех ему, этому львинокудрому протопопу с рысьими глазами: распустил по зеленому полю черную рясу, сел всех шире и всех приземистей и раз за разом назначал игру.

— Вы не молебен ли отслужили, отец Герасим, несравненный мой?— ласково спрашивал Бузун.

— Да-а, а как же? Науму-пророку. Служил, служил.

— И что бы вам уж кстати за нас-то, грешных!— тряся головою, подхватывал казначей.

— И за вас я служил — Флору и Лавру и святому Власию, служил, служил.

Дерзок был на слово протопоп.

Но знали, что и у себя в соборе он тоже уверенно прост. Случилось как-то на проскомидии, вышел вдруг на амвон со стареньким поминанием, потряс им над головою, гневный, и закричал на всю церковь:

— Чье?

Прихлынул ближе к амвону народ; перешептывались, озирались: чье?

— Чье поминание, спрашиваю?

Еще ближе столпились, дышали друг другу в затылки, напирали плечами. Дрожала в крупных пальцах о. Герасима виноватая книжечка, маленькая, трепаная, в красненьком переплетце.

— Да чье же наконец? Есть ли ему хозяин?

И вот старушка из-за колонны, возле самых дверей:

— Никак мое!.. Ой, тошно мне!.. Никак мое, батюшка.

— Так что ж ты мне, старая палка, что ж ты мне копейку, а? Копейку за сорок душ, а? Сорок покойников тебе поминать на копейку, ах, язва!..

И шваркнул, сердитый, поминание вместе с копейкой через всю церковь старухе в ноги.

А то повадился было один баптист встречать о. Ге-

расима на улице и заводить с ним речи о первородном грехе, и о спасении, и о том, что нельзя натопить дома, если жечь дрова около него, а нужно топить внутри — и спасешься. Начинал издалека, сознавался в мучительных сомнениях, спрашивал совета и справлялся, как гласит Писание; но сам Писание знал куда лучше о. Герасима, ни в чем не сомневался и то на том, то на этом ловил его ехидно. Однажды надоело это протопопу.

— Ты — бабтист, значит,— от бабы. В православие ты не пойдешь — вижу. Не хочу говорить с тобой. Пошел!

— Батюшка, это неправильно. Конечно, и вы — от бабы, как всякий человек, только баптисты — это...

Осерчал протопоп и, так как был здоровее, сшиб его с ног и долго бил набалдашником посоха и пынял коленом.

А за свадьбы он, не в пример прочим попам, назначал по рублю с ведра водки, и тут не ошибся: в Аинске неслыханно много пили на свадьбах.

Отгорели наполовину свечи. С каждым часом записи протопопа делались все длиннее.

— Ничего с ним не поделаешь,— скромно сказал о нем казначей, поводя головою.

— Его день, его,— добавил Бузун.

А Алпатов внимательно осмотрел всего о. Герасима,— показался он ему, красный, толстый, волосатый, похожим на ярого быка, и не скрыл он этого — толкнул Бузуна:

— Эй, не стой на дороге: землю роет!

И удивились даже, что ничего не сказал на это поп: только сощурил злые рысьи глазки и выдохнул носом.

За ужином много пил Алпатов, заливал проигрыш, боль под ложечкой, смутную стиснутость, связанность и тоску, и очень хотелось подшутить то над тем, то над этим. Капитана Пухова, весьма безобразного человека, с двумя красными шишками над правой бровью и на шее, вечно потного, мокрого, с глубокими морщинами вдоль щек, весело назвал милашкой; казначею, с молоденькой женой которого говорил о ветчине, погрозил пальцем и подмигнул значительно: «Поглядывай, старче, посмат-ри-ваай!..» Учителя прогимназии Ивана Семеныча, сидевшего с ним рядом (не того, который диктовал в форточку, а другого), хлопнул по плечу и сказал ему вполголоса что-то такое, отчего Иван Семеныч замахал руками, потом прыснул и покачал головой. Лесничий, сырой хохол Зозуля, яростный охотник, прославился одним зайцем: состави-

лась веселая охота без гончих, и затеяли подшутить над Зозулей. Никому не дал он первого матерого зайца, сидевшего на опушке, подкрался, выстрелил — кубарем заяц. Но нашлась у добычи в зубах скромная записка карандашиком: «Не убивай меня, Зозуля, бо я давно уже убит». Напомнил лесничему зайца.

И все это делал просто и любовно, как старший, как привычный командир; никого не хотел обидеть — хотел, чтобы веселее было за столом. И когда столкнулся глазами с о. Герасимом, то крякнул, передернул плечами и пропел с задором:

У попа-то рукава-то, ба-тюш-ки!

Но только пропел — вскочил о. Герасим, кудлатый, красный, и глаза, как ракеты, поднял кверху широкий рукав, ткнул пальцем в сторону Алпатова (сидел он на другом конце стола, наискось) и пропел в терцию выше:

Посмотрите дурака-то, ма-туш-ки!

И стоял, наклонясь, выжидающе вдохновенный, точно приготовился сразу сочинить еще лихую частушку, если бы ответил Алпатов, и потом еще и еще, и пропеть все в терцию выше и с выражением.

Нехорошо вышло. Казначейша сказала: «Ах, боже мой!» — и замерла ожидая; пышная Бузуниха поднялась и открыла рот, неизвестно, от неожиданности или от желания вскрикнуть; сырой лесничий зачем-то тянул о. Герасима за руку книзу; появился рядом с протопопом и Бузун, наклонился близко к нему небольшой, до кожи остриженной головою и говорил встревоженно-ласково:

— Извинитесь, отец Герасим. Так нельзя... Родной мой, возьмите ваши слова назад.

А упрямый протопоп кричал:

— Не учить меня прошу! Я знаю!

И по тому, как мутно было у него перед глазами, Алпатов почувствовал, что он пьян, что все кругом так же пьяны, и больше всех о. Герасим, обидевший вдруг его, самого крупного, самого почетного, самого старшего здесь по чину; и неловко стало перед всеми, а больше всех перед ротными командирами и поручиком Кривых.

— Все мы — дураки перед господом: один он умен! Что тут обидного, ну? Что? — кричал кому-то о. Герасим. — И вы — дурак. И я тоже дурак.

В это время Алпатов мучительно думал, что можно

сделать с попом, и выходило, что сделать ничего нельзя.

Минут через десять о. Герасим мирился с ним, свел все к дружески-пьяной шутке; чокались они бокалами с какою-то крепкою бурдой и целовались.

Но остался стыд перед капитаном Пуховым, которого Алпатов называл милашкой, и перед поручиком Кривых, который молча глядел на него боком, как будто и ему было неловко, и перед маленьким Бобой, который недавно родился. И потому раньше других ушел он от Бузуна, изо всех сил стараясь держаться преувеличенно пьяно и весело; еще раз, напоказ крепко крест-накрест, как на Пасху, расцеловался с попом, еще раз напомнил казначейше о ветчине — как будто ничего не случилось,— все сделал, чтобы никто не сказал: вошел большим — вышел маленьким.

Небо было просторное, светлое. Затянуло лужи ледком. Хрустели под ногами сосульки, подопревшие днем. Слышны были ретивые колотушки (воровали в Аинске ежедневно). До дому был один квартал, но он обогнул этот квартал с тыльной стороны, хотелось о чем-то думать, побыть наедине. Постоял на одном перекрестке, на другом, посмотрел на синие тени на осевшем снегу, посмотрел на небо; но перекрестки были пусты, звезд вверху невиданно много... Обогнул еще перекресток, слушал шаги: шаги его были прочные, широко влипали в землю. Алпатов вспомнил номер своих калош — пятнадцатый,— весело стало от этого редкого номера калош.

А когда пришел наконец к своим воротам и хотел постучать щеколдой, чтобы выскочил Хабибулин,— вдруг услышал знакомое теплое урчанье над головой; поднял голову и отшатнулся: медвежонок... сидел, при луне весь отчетливо черный, на полке забора возле самой калитки; смотрел, пригнув голову, на Алпатова, и глаза светились, как две снежинки.

— Тты, черт! Как так?— растерялся Алпатов и вдруг не почувствовал темени: холодно стало под донышком шапки. Знал так твердо, что спал медвежонок,— кто же это сидел, урча и светя глазами?

Почуял ли звереныш тепло, или вот теперь именно должен был наступить конец его спячке — расшвырял он хворост и солому и вышел ночью, и, может быть, забыл уже, где он, обошел спросонья огромный двор и пришел к калитке, может быть, спасался от собак — хотя их не

было слышно — и полез на забор, цепляясь отросшими когтями, может быть, потянулся к круглому месяцу, как маленький лесной лунатик,— только сидел он около калитки вверху на широкой заборной полке, над самой головой Алпатова, тепло, дружески урчал и светил глазами.

— Тты, черт! Каким же образом?— вполголоса спрашивал Алпатов и не решался протянуть руку, чтобы привычно потрепать по холке. И тут, неожиданно, согласился он вдруг с протопопом и подумал про себя отчетливо: «Да, дурак».

В эту ночь спал он плохо, а утром разбудила его шумная детская радость: так ушел от зимы Мишка и так долго прятался в конуре, точно лежал в гробу мертвый, и так самовластно вышел вдруг, тощенький и шершавый, точно воскрес. И для всех это была радость: Флегонт добродушно чистил конуру, как стойло, наложил туда свежего сена, напоил Мишку из чистого конского ведра; мису теплых щей вылил в его корыто белый повар Мордкин. Хабибулин, сам как леший, стоял перед ним на корточках, разговаривал по-башкирски, чесал клочковатую шерсть, даже блюдечко меду прислала ему с детьми строгая Руфина Петровна. И, взявшись за руки, дети прыгали около него, как маленькие язычники вокруг идола, и заклинали на один голос:

Миш-Миш, ешь-ешь,
Ешь, Миш,— Миш, ешь!

Сначала выходило, потом запутались: Мешь, ишь, Мышь, муш... Хохотали звонко и опять схватывались руками в круг — Оля, Варя, Ваня, Митя, Петя — все полнощекие, яркие на зимнем солнце,— опять начинали хором:

Миш-Миш, ешь-ешь...

И тут же путали и хохотали. И не было предела их восторгу, когда Миш подымался на задние лапы, складывал передние когтями вниз и кивал лобастой головой. А проснувшийся Алпатов смотрел на него из окна и думал: «Нужно заняться с офицерами тактическими задачами... и проверить ротные отчетности... и заведующего хозяйством... и вообще все. Подтянуть полк...» Это он потому, что вспоминал вчерашний день, и карты, и ужин, и протопопа.

IX

Решил, должно быть, медвежонок, что больше уж незачем спать, только на ночь пригребал он к своей конуре хворост и солому и выходил каждое утро шаловливый и веселый, играл с детьми и собаками, много ел, подрастал заметно, нагуливал крепкое мясо, бурел. Но росло незаметно в нем и свое, лесное, о котором забыли.

Сначала придушил он до смерти бравого, старого белого селезня, и вышло это даже как будто кстати, потому что селезня этого все равно скоро хотели резать. Потом вскоре из незапертой случайно кладовой выкатил он большой круг замороженной свежины, затащил к себе и здесь долго возился над ним, пока хватились искать; и это ему простили.

Когда же Мишка разодрал в кровь спинку беленькой Мэри, поднялся переполох. Мэри явно страдала, ловила людское участие слезящимися глазенками и выла жалобно, а Джек заботливо и с большой серьезностью зализывал ей длинные, хотя и неглубокие следы от Мишкиных когтей.

Тогда около березовой конуры полукольцом стали, двигая хвостами, собаки, сошлись дети, и повар Мордкин, и Хабибулин, и на крыльцо вышла Руфина Петровна и вместе с нею, поставив вверх по ее клетчатой юбке толстый пушистый хвост, кот Повалянушка, и, увидев перед собою столько осуждающих глаз, забился медвежонок в глубь конуры и оттуда смотрел — не смотрел дремучими глазами: откроет их, поведет ими влево-вправо, вздохнет и закроет.

— В роту его! В казармы! Сейчас же в роту!— рассерженная, красная, кричала Руфина Петровна, грозя медвежонку пальцем. Собаки лаяли.

И, как в старину напроказивший дворовый, отправлен был Миш в солдаты, в казарму шестой роты вместе со своей конурой, но Алпатов сам позаботился о том, чтобы ему было сытно, тепло и удобно, и маленького левофлангового тамбовца Ефима Коноплева, мордвина из мещерских лесов, приставил к нему дядькой.

Шестою ротою командовал капитан Цимбалистов, старый человек со многими странностями: конечно, пьяница, едва ли не шулер, купался до зимнего льда, строил и про-

давал дома, был большой охальник, большой любитель церковной службы и большой театрал на ротных ученьях: он и под ружьем держал целую роту, и самовольно освобождал от занятий, и целовал иных за успешность, и тут же чуть не отправлял под арест; и задерживал по месяцам денежные письма, и, случалось, в праздники давал солдатам лишнюю чарку водки из своих средств; то бушевал и зверел, то длинно жаловался роте и на начальство, и на жену, и на свою старость; а иногда любил поговорить с самим государем: схватит непонятливого солдата за шиворот, подтащит к портрету государя, возьмет под козырек, выпятит грудь и гаркнет: «Ваше императорское величество! Вот, сами изволите видеть,— вот он, вот!.. Скажите, что же мне с этим окаянным, анафемским, диким, безмозглым иродом делать? Что?.. Что?.. Что?..» Ответа не было, и летел наконец ирод торчмя головой куда-нибудь в дальний угол.

Был Цимбалистов мал ростом и очень длиннобород, носил черные очки, имел рычащий от перепоев, хриплый голос, и когда ходил не в строю, а по улицам, то прихрамывал и опирался на палку, а за то, что сизый и крупный нос его был какой-то двойной, как бывают сливы-двоешки, солдаты звали его Перебейносом.

С Мишкой возился он сам, и это он научил его стоять на левом фланге в строю и отдавать честь, как следует, правой лапой, а глазами встречать и провожать начальство; и когда в роту поступил вольноопределяющийся, студент, капитан Цимбалистов на третий или четвертый день накричал на него, что не умеет брать под козырек, и торжественно повел его к Мишке, язвительно рыча:

— Вы знаете, есть поговорка такая: «И медведёв учут». Ну, иногда с медведями легче... Покажь, Мишка, господину вольноопределяющемуся, как надо честь отдавать. Нну, честь! Покажи, Мишка, честь. Та-ак!.. Еще раз... Видали? Вот. Вот так именно. Учитесь.

И был этот день — днем большого Мишкина торжества.

Но и солдаты баловали Мишку: научили его ходить по кухням, выпрашивать то кочан капусты, то хлеба, и начал он правой лапой отдавать честь, а левой тянуться за подачкой, и больше всего нравилось это последней рядовщине, которая всем козыряла, для которой все были то начальник, то старший, нравилось хлебопекам, кашеварам, денщикам, что вот стоит перед ним живое существо, правда четвероногое, головастое, лохматое, но во вся-

ком случае живое, и уж не они ему, а оно им отдает честь.

Так к маю, когда начинают зацветать кедры, лиственницы и сосны и у черемухи набухают зелененькие кисти, и березы расправляют как следует кисею плакучих веток, медвежонок уж стал полковой. Не было в полку солдата, который не потрепал бы его по холке, не подарил бы ему лишнего куска еды или ни на что не нужной копейки, не поговорил бы с ним по-рязански — на «а», с гнусавой растяжкой, по-костромски — на «о», частым говорком, по-полтавски певуче и ласково, по-башкирски, как журавли,— турлы-мурлы.

Так, к маю был полк в лесном захолустье, и в нем Алпатов, знамя, денежный ящик и медвежонок.

X

Май — приятный месяц, и даже здесь, в Аинске, хотя и шли часто обложные дожди, но они были бесспорные, нужные, теплые: от таких дождей только добреет земля.

Полк уже вышел в лагерь, надел легкие гимнастерки, кончал курсовую стрельбу, когда новый командир бригады назначил смотр.

И так же спокойно, как все, что он делал, Алпатов отдал в приказе по полку: батальонным командирам проверить готовность рот в своих батальонах. Потом покатилось это дальше вниз: к ротным, субалтернам, фельдфебелям — вплоть до последнего рядового, в цейхгаузы, пекарни, швальню, на обозный двор.

Как большое тело, ожидающее удара, полк подобрался, ощетинился, напружился, выправил сильные места, спрятал слабые, отправил плохих солдат из рот в околоток, наклеил на всякий случай новые мишени на старые, простреленные доски, пересмотрел запасы, пересчитал мундиры, хлеб начал печь такой, что аинские бабы и без слов догадались, что генерал едет.

Подполковник Выставкин из первого батальона, скорый на слова, но службист плохой, незадолго перед этим (на время, конечно) поссорился с другим батальонным, Зеленгуром, и потому теперь, проверяя готовность своих рот, он кричал то и дело:

— Это вам что? Второй батальон? А?.. У меня чтобы службу несли, а не брюхо... Это вам не второй батальон, нет-с! Извините!

А Зеленгур, усатый, понурый и с одышкой, когда за-

мечал неисправность в своих ротах, говорил язвительно и медленно:

— От, покорнейше прошу... Хым... Совсем же это, как в первом батальоне!.. Кому ж у них и учиться, как не нам, дуракам? Хым...

Генерал приехал с вечерним поездом. Встречать его на станцию выехал Алпатов с Шалаевым и верховым ординарцем подпоручиком Ткачом. Дорога в стороне от колеи была легкая, но Ткач, точно никогда не ездил верхом, управлял лошадью сразу всем телом — и руками, и ногами, и даже правым плечом. Это было первое смутное беспокойство Алпатова — плохой ординарец; и сердито крикнул ему, подъезжая к станции:

— Поручик!.. Не закапывать ре-едьки-и! — и сказал недовольно Шалаеву: — Выбрали тоже сокровище... Спасибо вам!

Когда остановился поезд и из синего вагона вышел генерал, очень высокий, немного, около самой шеи, сутулый, в небольшой красной фуражке и щегольской шинели, Алпатов двинулся к нему. На платформе толкалось много народу, сновали носильщики, пробегали с чайниками крикливые дамы, но даже дамы расступились перед Алпатовым — такой он был выпуклый и решительный, а сам он глядел только в небольшое лицо генерала, бритое, с подрезанными рыжими усами, с круглыми мешками внизу глаз, и, ставя прочно точные шаги — ни один ни больше, ни меньше другого, — отмечал дальше у генерала: нос длинный, сухой, с белым стрельчатым переносьем, зубы редкие, уши — топыром. Адъютанта его, необычно свежего, красивого, статного штабного подполковника, он взял глазами уже после, когда представился генералу.

Бывают странные встречи: случайно мелькнет перед глазами человек, а его потом долго помнишь. Забудешь иногда тех, с кем вместе рос, учился, служил, а этого случайно мелькнувшего никак не можешь выбить из памяти. Так показалось Алпатову, что если бы генерал и не был его начальником и не был бы даже генералом, и попался бы ему невзначай где-нибудь на улице, а потом навсегда пропал бы из глаз, все равно он бы его не забыл: нельзя было забыть, а в чем оно заключалось, незабываемое, — объяснить мудрено.

В четырехместном фаэтоне разместились так: на заднем сиденье генерал с адъютантом, на переднем — Алпатов с Шалаевым, и пока ехали к городу через выр-

ванные у тайги поля — теперь теплые на вид под низким солнцем, как сырая на просушке овчина,— все время смотрел в это большеносое, рыжеватое, сухое, сухоглазое новое лицо Алпатов, не подобострастно, не наблюдающе, а так как-то находилось в нем больше и больше на что смотреть.

Генерал говорил негромко, с растяжкой, немного в нос, но точно, четко и весьма уверенно, только ударения ставил иногда на таких слогах, на которых никто не ставит.

Он спрашивал — Алпатов отвечал, и сначала отвечал словоохотливо и с готовой улыбочкой, как милый хозяин, желающий занять гостя, потом — по трем-четырем морщинкам около глаз — заметил, что это не нравится генералу, тогда он круто перешел в излишнюю краткость, похожую на строевую.

— Располо-жены лагери у вас в сухом месте?— щурясь от солнца, спрашивал генерал.

— Место — песчаное, сухое,— тут же отвечал Алпатов и потом думал: «Нужно было добавить — высокое... пропустил...»

— Эпиде-мических болезней в полку нет?

— За все время моего командования полком...— длинно начал было Алпатов и обрубил тут же,— не было.

Ехали мимо поселка Никольское — двенадцать дворов, из них три раскрытых — стропила, как ребра; по непросохшей грязной дороге шлепали копыта, и летели в стороны брызги и комья грязи, и задряпанный, усталый, слишком пехотный вид был у рысившего Ткача, и как-то неловко за все это стало Алпатову: так преувеличенно щегольски одет был генерал, так изысканно красив был адъютант его, подполковник, так пахло от кого-то из них тонкими духами, и такие нестерпимо трезвые глаза были у обоих.

Генерал сидел прямо против Алпатова, колено в колено, об ноги его, сухие и длинные, иногда на колдобинах стукался Алпатов и, хотя не виноват он был в этом, невольно как-то прикладывал руку к козырьку. За своею спиною чувствовал он отвалившуюся старательно, чтобы было совсем по-кучерски, спину Флегонта и, когда взглядывал на Шалаева, понимал, что думает Шалаев о новом командире, не мог думать другого, думал то же, что он: высокомерен.

— Здесь, должно быть, только яровое сеют?— неожи-

данно спросил красивый подполковник, показав свежие зубы.

И, наклонившись радостно к нему, обстоятельно начал объяснять Алпатов, какие хлеба сеют здесь яровыми, какие — озимыми, в каких уездах возможен табак-махорка, в каких даже вызревают арбузы... И говорил бы так долго, если бы не кашлянул тихо генерал и не сказал с чуть заметной улыбкой:

— Виноват, я вас перебью... А как заготовляете вы сено для обоза?

От солнца, заходящего за густую синь лесов, все кругом было жидко-золотое; горели одинокие межевые сосны, подымались вечерние, весенние галочьи стаи, и от них широко и звонко делалось в вышине, но Алпатов — не потому только, что было четверо в экипаже, что наклонялась к его фуражке Флегонтова спина, что торчали спереди сухие чужие колена и вплотную сбоку пришлось тело Шалаева,— чувствовал себя стиснуто и неловко.

И так тянулась эта стиснутость и неловкость вплоть до гостиницы Чалбышова, где сняли для генерала четыре номера рядом, приткнули у входа пеструю будку и поставили почетный караул.

А не больше как через двадцать минут по улицам, обсаженным березами, теперь совсем живыми от миллиона майских жуков (как раз доцветали в это время березы), по лужам, запруженными мирными свиньями, между рядами любопытных трехоконных один в один домиков, проехал генерал в лагерь. В лагере же на передней линейке, поднятый наскоро Ткачом, ждал его полк. Зашло уже солнце, и все кругом — и лагерь, и плац, и полк — было такое мягкое, успокоенное, чуткое... Хорошо поются песни в такое время!

Звонкая, чуть дрогнувшая, встречная команда:

— Полк, смиррно! Слушай... на кра-ул! Господа офицеры!

Намеренно запоздалое, спокойное и не очень громкое, но такое слышное в тишине:

— Здорово, молодцы!

И гулкий рев:

— Здравия желаем, ваше прево-сходи-тельство!

— Рад служить с вами!

— Рады стараться, ваше прево-сходи-тельство!

И как радушный хозяин, чуть волнуясь и любуясь и всеми живя, провел генерала Алпатов вдоль полка, пред-

ставляя своих офицеров, преувеличенно громко называя фамилии и чины.

Со всеми поздоровался генерал, всем одинаково говоря: «Здравствуйте!», но никого ни о чем не спросив, и все отметили после, какая у него рука: холодная, узкая, костлявая, и молодой поручик Голобородов все время потом в ротонде усиленно тер свою ладонь о чужие спины, «чтобы согреть». И у всех остались в памяти узкие, холодные, сощуренные, *чужие* глаза и длинный, как хобот, нос с белым стрельчатым переносьем. Кто-то назвал его за сутулую шею «костылем», кто-то за длину «семиаршинным».

Всякому известно, что хозяйственный смотр бывает после строевого, но строевого смотра нельзя же было начать перед самой зарей, и генерал отложил его на завтра. Он обошел, широко забирая ногами, лагерь, обоз, где тщательно пересмотрел сбрую и подсчитал лошадей, потом кухни и пекарни, где пробовал ужин и хлеб, потом в ротонде перелистал запись офицерских долгов, потом в канцелярии полка, еще оставшейся на зимней квартире, пригласив Бузуна, казначея, других из штаба, приказал собрать книги отчетностей и неожиданно начал хозяйственный смотр.

XI

Сознаюсь, что мне труднее всего говорить именно об этом, о том, как упорно копался генерал в толстых исписанных книгах и в пестрой груде всяких расписок, счетов, ассигновок, квитанций и смет и усердно ловил Алпатова.

Полковое хозяйство совсем не такая простая и легкая вещь, как, может быть, думают иные, и так много в этом хозяйстве всяких отделов, отраслей и книг с длинными сложными названиями... я пересчитал бы их, если бы это не было скучно.

И не люблю я этих низких, ночных комнат с казенными шкафами и столами, от которых пахнет лежалыми пыльными бумагами, сургучом, кислым хлебом, смазными сапогами, керосином, мышами и плохим писарским табаком.

Но вот именно здесь до глубокой ночи все было так необычно и тревожно для Алпатова: своя канцелярия — и *чужой* генерал, свой рабочий стол, обитый синим сукном,— и за ним длинная узкая спина с ясными лопатками; свои мелкие домашние тайны, казалось бы, глубоко спря-

тайные, привычные и даже забытые,— и вдруг неожиданно легко открывались тайны.

Началось с галунов: было истрачено свыше ста рублей на серебряный галун для нижних чинов, но генерал приказал показать ему этот галун, прищурясь, посмотрел и сказал спокойно: «Это из алюминия». Потом как-то бойко успел сосчитать, что фуражу пошло вчетверо больше, чем нужно, и когда спрашивал об этом Бузуна, очень спутанно и пространно пустился объяснять Бузун, но генерал холодно оборвал его на полуслове. Потом — на пару обозных лошадей ушло не триста рублей, как полагалось по смете, а девятьсот, и были эти лошади не в обозе, а в конюшне Алпатова — вороные, белокопытые; и экипаж к ним был куплен на деньги, отпущенные для ремонта казарм.

Каких-то нужных бумаг не успел прислать исправник, и за ними бегали вестовые; в чем-то виноват был старик казначей с трясучей головой и еще в чем-то воинский начальник. Иногда попадались в книгах загадочные цифры, соскобленные ножом, а на их месте стояли новые, очень уверенные на вид. Перепутаны были записи: то, что должно было попасть в одну книгу, зачем-то попадало в другую; два довольно крупных счета показались подозрительны генералу, и он отложил их, чтобы проверить после, не подлог ли; и, наконец, остатков от сметных сумм оказалось что-то уж слишком много. Правда, они были истрачены «на нужды полка», но долго искали к этим тратам оправдательных бумаг, пока не сказал генерал:

— Нет, видно, уж не доищемся.

Больше всего путало и сбивало с толку то, что спокоен был генерал: как будто это самое он и думал найти и, находя, не удивлялся. И страшно было видеть — насколько для него было просто все это полковое, как проста и понятна в любой момент шахматная доска начинающих для игрока. Иногда он бывал даже рассеян, курил и следил молча за кольцами дыма, в то время как румяный подполковник отмечал, что нужно завтра проверить на складах.

Выразительно смотрел на вспотевшего казначея, поручика Дахнова, делопроизводитель, старый надворный советник Рябуха, неистово по давнишней привычке моргая тонкими черными веками; и, наклоняясь огромными ноздрями к уху Алпатова, растерянно шептал Бузун: «Это донос!»

Отворачивался от него Алпатов, морщась и хмурясь,— противно стало все Бузуново — и гладкая голова, и нос, и шепот, и, когда не обращался к нему генерал, упорно смотрел он в окна. А в окна, светом из окон же и освещенная, видна была напротив такая старая, давно знакомая мирная вывеска на маленькой лавочке: «Спички, свечи и красин» и внизу четкая фамилия лавочника: «Беспрозванный».

Алпатов думал, что эта фамилия точно нарочно создана для доноса, думал, что завтра может обнаружиться еще что-нибудь, несравненно более важное, о чем он не знал; думал, что пригласит его, уходя, генерал, чтобы поговорить наедине, начальственно, но просто.

Но в час ночи, уходя в гостиницу Чалбышова, не пригласил его поговорить наедине генерал: у подъезда он холодно простился с ним, пожелав спокойной ночи.

В эту ночь Алпатов не спал. Он хотел было разбудить Руфину Петровну, так как было о чем говорить с нею, но она за день так уставала от возни с Бобой, что жаль было будить. А рано утром, едва поднялось солнце, он прошел в синюю детскую, поднял старших — Петю, Ваню и Олю, и в своем вечернем мундире с орденами, медленный, выпуклый и простой, пошел не в лагерь, где теперь, знал он, кипуче, в последний час готовятся к церемониальному маршу, а совсем в другой конец Аинска, в поле.

Здесь подымался по буграм и лощинам перед тайгою низенький пока еще и невзрачный иван-чай; в конце июня он расползется на версты кругом — станет весь розовый, пышный, медовый, густой, по брюхо лошади. А желтого болотного курослепа и теперь было сколько хочешь, и от него, росистого, у бугров и лощинок был счастливо-пьяный, вихрасто-встрепанный какой-то вид.

Сочнейший осокорь, молодняк из пеньков, по дороге выгнал такие листья, лопух лопухом, что и поверить трудно было, что это — трясучий осокорь.

Кричали дети Алпатову: «Посмотри!» Обрывали листья спеша, делали из них зеленые зонтики. Поздний журавлиный косяк еле можно было найти глазами — до того углубился в небо.

— А куда это они, папа?— спросил Петя.

— Сибирь большая. Их дело. Уж они свое знают.

— А их много, папа?

— Я знаю, я знаю: маленькая тыща! — заспешил Ваня. Значило это — пятьсот. Свой еще язык был у Вани, и всегда он спешил сказать свое: скажет и ждет, так или нет, и бегает по всем бойкими глазенками, а тугие щеки надувает зачем-то, как мячи.

На одном из поворотов дороги, в стороне, на опушке, заметил Алпатов сырого лесничего с ружьем наизготовку, издали раскланялся с ним, но ничего не крикнул, чтобы не пугать его дичи.

По плотно убитой тропинке возле дороги вперегонку бежала крепконогая ребятежь — все в синих матросках с якорями, в шапочках с лентами, и уж когда-то успели жарко загореть у них и руки по локоть, и ноги до колен, и шеи. На белокрылых капустниц и пестрых крапивниц, подкравшись, набрасывались с гиком, а скользкий уж как-то хитро ушел из рук, зашуршал и уполз в валежник.

На привале, на подмытых полой водою сосновых корнях, осели матерого Алпатова крупные, складные, полнощекие веселые детеныши. Рядом с красным крестом воткнула ему Оля желтый цветок в петлицу, даже в ладоши захлопала — до того это вышло красиво.

Оглядевши кругом синие леса и зеленые бугры и лощины, медленно спросил серьезный Петя:

— Папа, а земля живая?

— Ну какой ты дурак! — подхватила Оля. — Земля живая!

— А ты почем знаешь? — упрямился Петя. — Может, она и живая!

— Ну разве ей больно?

— Может, больно... Ты ведь землей не была?

Гладил их, милых спорщиков, Алпатов, думал о вчерашнем и нынешнем генерале и о многом еще. А Ваня повис на его колене головой вниз, заболтал ногами и спросил неожиданно:

— Папа, а ты знаешь, как пароход в море огребается?..— Не дождался ответа, сам ответил сияя: — Хвостом!

И сказал Алпатов, не для них, про себя, только громко:

— Эка ведь, а? Поздно я женился на вашей маме... Не угадал.

От утра сосна вверху была вся дымчатая, потная, густая, и с концов игол скатывались и падали, шурша, смолистые капли.

Когда возвращался Алпатов и шел по аинским улицам,

попалась Маша Бубнова — худищая, слезоточивая, утиралась фартуком и причитала:

— Совсем я, ваше благородие, на нишшем полозу! Ишь какие деточки идут — чистые ангелы!.. А на мои картины туманные, на мое горе душное, на мои-то слезы сиротские...

Алпатов дал ей двугривенный.

Ехал пылко на ямской тележке в дорожной бурке крестьянский начальник Дыбов. Перекликнулись: «В уезд?» — «В уезд!»

Встретился держатель бань Брёхов — не затруднил разговором, только поклонился низко.

А около церкви, там, где от главной улицы к церковной площади прорезался проулок, увидал Алпатов о. Герасима: шел протопоп, заняв собою весь проулок.

Снял шляпу, львинокудрый, вытер лицо красным платком, спросил участливо:

— Смотр у вас нынче?

— Да, смотр.

— Что же, сердит приехал?

— Новый, батюшка, всегда бывает сердит.

— Что ж вы это так — гуляете семейно?

— Ничего, рано еще.

Посмотрел поп пытливо и весело:

— Встретился я-то вам на дороге — ведь вот!.. В такой день поп навстречу! Знал бы, обошел сторонкой — эх-хехе-хе!..

Захохотал, как заржал. Закланялся угодливо, в диком мясе лица пряча глазки; отошел, вспыхивая широкой рясой.

Целую ночь думал Алпатов, откуда донос,— теперь и на попа подумал: не он ли?.. И в первый раз в жизни омерзительным показался Алпатову обыкновенный, простой веселый человеческий смех.

XII

Сколько раз уже было это, что на полшага впереди Алпатова шел вдоль фронта какой-нибудь генерал, и ветром отдувало его шинель с красными отворотами, и из-под фуражки выплывал его розовый затылок, и слышались твердые вопросы: «Фамилия? Какого года? Кто твой корпусный командир? Открой подсумок. Покажи выкладку».

И всегда знал Алпатов, что́ любит тот или другой генерал: отделку приемов или стрельбу, словесность или чис-

тые портянки, бойкость ответов или хорошие щи (а был один и такой, что любил спрашивать «Верую», и тогда башкиры шли уж совсем не в счет).

Но вот, длинный и узкий в спине, шел новый бригадный командир, по-журавлиному с оттолочкой ставя ноги,— и весь целиком был он чужой и непонятный. И по тому, как внимательно, привычно, но как будто брезгливо щурясь, читал он строевой рапорт, видно было, что смотр готовится долгий, как суд.

Лагерь сбоку яснел, весь молодой от боярышника и свежей майской черемухи (сажал Алпатов), от пестрых палаток, набрякших за ночь и теперь ярко высохших по обтянутым ребрам, и больше всего от стеклянного голубого шара, беззаботно сверкавшего себе на шпиле ротонды. Лагерный плац чем дальше, тем был синее, и прошлись по синему вдали темные полоски — валы на стрельбище; и еще дальше за валами — лес. Под ногами стелилась по самой земле какая-то безымянная цепкая травка, такая вечная, что Алпатов без этой ползучей травки земли и представить не мог, как не мог представить первой роты без этих на диво розово-вороненых поясных блях, без грудастого молодчаги — капитана Кветницкого и без правофлангового Кобылина, известного тем, что мог съедать за один присест по двенадцати фунтов ржаного хлеба.

Когда приехал на плац генерал, Алпатов пучеглазо вглядывался в него, но он был заперт по-прежнему крепко, так же холоден и спокоен и так же высоко держал брови, только мешки под глазами набухли, что объяснялось недавним сном; вглядывался тревожно и в красивого адъютанта, но у того был такой свежий, ласковый, солнечный вид, что Алпатову сразу стало свободнее.

Строго по букве уставов, ничего не изменяя и не вводя от себя, приказал генерал разомкнуть на четыре шага шеренги, на два шага за второй шеренгой сложить на земле выкладку, а скатанные шинели положить на сумки концами во фронт; барабанщиков поставил на четыре шага перед строем, отделенных, взводных, фельдфебелей, офицеров — всех выстроил именно так, как полагалось их выстроить для инспекторского смотра, и занялся первой ротой.

Никто не сомневался в том, что, расставив так полк, генерал не хотел пропустить ни одного солдата, и Алпатов вспомнил, что сказал о генерале кучер Флегонт, когда спросил его вчера в свободную шутливую минуту Шалаев; Флегонт сказал всего только одно слово: «Жаден» — и

тогда усмехнулись этому оба, и Шалаев и он, но тепер понял Алпатов, что Флегонт прав.

На голову выше молодчины Кветницкого, совсем загонял его генерал: жирно пропотел двойной, празднично выбритый подбородок.

Сразу все оказалось не так в первой роте: не так пригнаны сапоги, не так мундиры, не так наушники, даже саперные лопатки оказались как-то не так; а когда коснулся чистоты солдатской, рассмотрел генерал даже и черные ногти.

У ефрейтора Балюры не было креста на шее.

— Православный?.. Почему нет нагрудного благословения?

— Де-сь загубив, ваше превосходительство.

— Спороть басон.

Поставил старого солдата Коптева на часы и обманом отобрал у него винтовку.

И, отходя ко второй роте, вкось сказал генерал Кветницкому:

— Плохая рота!

А цветущий адъютант, идя за ним, что-то мелко вписывал в книжечку.

У Пухова разобрали винтовки на разостланных шинелях. Кропотливо и долго выспрашивал генерал, как называются части. Путались. Видел Алпатов и сам, что плохо знали винтовку во второй роте, но генерал сказал ему удивленно и даже обиженно:

— Вы только послушайте, полковник! Послушайте, что они делают!

И, обернувшись к бледному, морщинистому, с красными шишками Пухову, спросил его быстро:

— Вы больны?

— Никак нет,— хрипло ответил Пухов.

— Нет, больны. Потрудитесь написать рапорт о болезни. Вам назначат комиссию для осмотра. Немедленно.

Сказал и пошел дальше, не объяснив Пухову, чем и почему он болен.

Попробовал осуждающе посмотреть на Пухова Алпатов — и не мог.

В третьей роте попался молодой солдат башкир Ахмадзянов, совсем не понимавший по-русски.

— Как его учили говорить? — спросил взводного генерал.

— Покажешь голову — говори: голова; покажешь но-

ги,— говори: ноги,— ответил бойкий взводный — костромич.

— Зубы, наверное, знаешь? — спросил генерал Ахмадзянова.— Знаешь зубы?

Но и зубов не знал Ахмадзянов; не мигая, блистал белками, крепко зажал в руке винтовку, молчал.

— Зачем же вывели его в общий строй? — спросил генерал Алпатова.

— Зачем вывели его в строй? — спросил батальонного Выставкина Алпатов.

И капитан Дудаков, на которого перевел глаза жидкий в корпусе Выставкин, задрал огненную бородку на генерала, поперхнулся было, но сказал твердо:

— Притворяется, ваше превосходительство.

Может быть, и притворялся. Только когда боролись эти Ахмадзяны в байрам совсем по-дикому, по-лесному, перекатами, бросками, перешвыривая друг друга через голову,— любил смотреть на них Алпатов; а солдаты они были трудные, по вечерам, собравшись в кружок, пели тоскливо и иногда бегали из полка и пропадали в безвестной отлучке.

К полдню, когда вплотную занят был пятою ротой генерал, солнцу надоело уже смотреть на него, заволоклось тучей, переполненно-сырой и серой, отчего потемнел лес, и плац, и лагерь и потухли штыки. И не от этого ли внезапно понял Алпатов, что генерал не только мелочен, не только «жаден», не только строг и не только высокомерен: он как будто и приехал с готовой уже мыслью провалить полк, поэтому и был такой «чужой».

Стало тоскливо — почти незнакомое Алпатову чувство,— не страх, не сознание оплошности, не сожаление о чем-то, что можно было бы исправить, а только густое томление, тоска. И уж не вмешивался ни во что, ничего не говорил Алпатов, только смотрел на всех озадаченно и как-то согласно со всеми: на ротного, как ротный, на фельдфебеля, как фельдфебель, на рядового, как рядовой.

А генерал шел вдоль фронта — очень высокий, сухой и прямой, чуть-чуть около самой шеи сутулый, так что голова по-черепашьи тянулась вперед и ярко краснела на ней фуражка, преувеличенно новая, твердая, с широкой тульей и аккуратно обрезанными полями.

И ни в одном слове не сбивался он: сказал и идет дальше, и нигде не повышал голоса, точно это и не смотр и он не генерал, точно все это — и полк, и смотр, и командир бригады, и небо в холодных тучах, и сосны на задней ли-

нейке лагеря, и он сам, Алпатов, не всамделишнее, а нарочно. Крякнул Алпатов, чтобы почувствовать себя, а в это время капитан Гугнивый, лучший из ротных командиров, объяснял генералу, что в чем-то он не виноват, и Алпатов хоть и не слышал ясно, но всем нутром своим знал, что прав Гугнивый.

— Капитан, положите перста на уста,— брезгливо сказал ему генерал и двинулся дальше.

Поймав на себе недоуменный и близкий такой взгляд Гугнивого, снова крякнул и сказал Алпатов:

— Лучшая рота в полку, ваше превосходительство.

Повернул к нему высокую черепашью голову генерал, скользнул глазами по его кокарде...

— Лучшей она будет там, в царствии небесном (кивнул на небо), а здесь она никуда не годится.

И опять ровный шаг вперед.

Провалилась словесность, провалились приемы; рядовой Суходрев, старый солдат с начищенной медяшкой за стрельбу, на прикладе почему-то явно свалил винтовку.

— Вы — из рук вон плохой ротный командир!— брезгливо и отчетливо сказал генерал капитану Гугнивому, и немолодое, корявое, угловатое лицо капитана стало вдруг мальчишески сконфуженным, жалким.

А по Цимбалистову, по его косому, мягкому, точно тряпками набитому животу, по огромной сивой бороде и черным очкам, провел чуть насмешливым взглядом и спросил:

— До предельного возраста вам сколько еще, капитан?

И, смешавшись и покраснев, не сразу ответил Цимбалистов:

— Ваше превосходитс... два года семь месяцев.

— Покажите шашку.

И Цимбалистов смешался и покраснел еще сильнее: нарочно для смотра взял он новую златоустовскую шашку, но забыл ее отпустить.

Генерал посмотрел упорно долго на капитана и обидно ничего не сказал, только, отойдя от него шага на два, обернулся к нему и спросил вбок:

— А ваши очки были объявлены в приказе?

И, нарочно не слушая, что ответит Цимбалистов, ткнул глазами в глаза курносого взводного:

— Первому взводу надеть шинели внакидку.

Нашел на шинелях не те клейма: не того срока, не там поставлены.

Третий взвод оглядел весь сразу, поморщился, почесал переносье, спросил:

— Отчего это у них такие тупые морды?

— Ваше превосходитс... большей частью башкиры,— ответил Цимбалистов.— Кроме того, мордва.

Отвернулся генерал, не хотел смотреть: двинулся дальше.

А когда дошел он до левого фланга роты, столкнулся с Мишкой.

Никто потом не мог ясно представить и объяснить, как именно и зачем попал на смотр медвежонок: вышел ли он на плац вместе с солдатами, или, оставленный в лагере, заскучал и пробрался в ряды, хитро крадучись уже в то время, когда начался смотр, только стоял он на задних лапах, приземистый, бурый, по форме теснясь к локтю маленького мордвина Коноплева,— правой лапой отдавал честь, левую сложил по-нищенски, калачиком, и ожидающе, преданно даже скосил глаза на генерала.

Остановился генерал, поднял голову, брови... Удивленно спросил своего адъютанта:

— Что это?

— Медвежонок,— улыбнулся адъютант молодо.

— Во-от!.. А! На смотру?.. Строевая часть?.. Убра-ать!

Крикнул вдруг голосом неожиданно высоким и писклибым, и первое, что подумал Алпатов, было: «Кричишь?.. Вот ты как кричишь?» И мелькнуло даже как будто благодарное чувство к Мишке, что вот до него не кричал генерал, а теперь показал голос — кричит просто и понятно, как все. Но, выйдя вперед, и вспотевши сразу, и зубами стукнув, Алпатов толкнул Мишку в грудь кулаком.

Растерянно прижав уши, подался Мишка, упал на четвереньки, фыркнул, мотнул головою, но никуда не ушел — припал, как собака, к земле, остался.

Побелел генерал.

— Убра-ать! — еще визгливее крикнул и руку поднял.

Плотный фельдфебель шестой роты подскочил, как нянька, обхватил медвежонка за шею, потащил, но Мишка упирался, косился назад, ворчал горлом. Еще несколько человек — и поручик Кривых и Коноплев — кинулись помогать фельдфебелю, а в середине расстроенной роты стоял высокий генерал, рассерженно чмыхал, пожимал плечами, качал головою и, как рыба, то открывал, то закрывал рот.

— Я вас спрашиваю, полковник, что это?

— Ручной,— виновато улыбнулся было Алпатов.

— Да, да, да... ручной!.. На смотру?

— Недоглядели, ваше превосходительство... Привык очень к людям.

— Бе-зо-бразие!..— Посмотрел на красивого адъютанта, точно ему жалуясь на Алпатова, передернул челюсть, точно зубы у него были вставные, и опять повторил:

— Безобразие... А?

Адъютант сочувственно кашлянул.

Отвели Мишку подальше от рот, в закоулок, к трем соснам у передней линейки (и все время стоял генерал и следил, как его вели), приставили к нему конвойных, но только отошли— кособоким резвым чертом бросился опять в строй медвежонок, и бежали за ним испуганные конвойные, штыки наперевес.

В это время (захолодало вдруг) дождь начал падать неожиданно большими звучными каплями, замигала белая сетка перед глазами, и в этой сетке по-новому для Алпатова замелькал бегущий медвежонок, как будто не он, как будто не сюда совсем, а к городу, и вдруг вот он, здесь, опять здесь и, подбежав, стал на задние лапы, а передними, как прежде, как всегда, отдавая честь правой,— левой просил подачки у сердитого генерала,— смотрел на него в упор, капризно шевелил пятачком и как будто вызывающе даже ждал, когда же наконец даст он ему сахару, булки, круглую медяшку, которую солдаты в кухнях честно обменивают на морковь и капусту.

— Ка-ак? — отступил на шаг генерал; лицо, мокрое от дождя, заструилось, острое, желтое.— Полковник! Нет, что же это?.. Это — не полк! Это — зверинец! Это... черт знает — зверинец!..

Похолодевший Алпатов бросился на своего Мишку, растопырив ладони, хотел схватить сгоряча за горло, как Силин Пармен, и не успел. Медвежонок как будто понял уже, что сердитый генерал — его враг: шерсть на холке поднялась дыбом, глазки стали острей, зеленей и злее, и тою самою правою лапой, которой только что отдавал честь, Мишка рванул генерала за рукав шинели — так и разодрал от локтя до обшлага прочный франтовской драп...

Полил дождь, заливал морду звереныша и лицо генерала, остервенело бил кулаком медвежонка Алпатов, генерал сипло кричал: «Застрелить! Убить!.. Расстрелять!» Выхватил шашку — золотое оружие за храбрость, взмахнул над головой, и видно было, как рука дрожала. Огля-

девшись быстро, красивый адъютант выстрелил из нагана в присевшего на землю звереныша сверху вниз между лопаток, в упор.

Поднял Мишка изумленную лобастую голову, всю зеленую от расширенных болью глаз, заревел протяжно, тяжело ринулся было к левому флангу роты, но Коноплев, его дядька, с размаху ударил его прикладом в затылок, и, ошарашенно завертев головою, он медленно опрокинулся на спину, сразу окровавив под собою глинистую грязь, и чей-то яркий, белый и жесткий штык вонзился ему сбоку между ребер и неловко пришил к земле. Столпившись, трудолюбиво, яро добивали своего медвежонка подкованными каблуками, прикладами, кололи штыками, и все молчали при этом, кричал только один генерал. Нагнувши к Алпатову голову, длинноносый, мокрый, растерзанный, нелепый, кричал он:

— Под суд!.. Я вас — под суд!.. За растраты, за упущения, за... за... за... безобразие — под суд!

— Ваше превосходительство...— пытался вставить Алпатов.

— Такого командира полка немыслимо терпеть в бригаде! Нет! Слышите? Нет! Под суд!..

И тут же с плаца уехал на станцию — даже церемониальным маршем не пропустил полка.

Обмякший, видел Алпатов, как отъезжали его (не его) вороные, разбрасывая грязь, как жирно лоснился поднятый верх его (не его) экипажа, и Флегонт в безрукавке и шапке с павлиньими перьями, несмело прикрытый клеенчатым плащом, неуклюже откачнувшись, торчал на козлах.

Генерала не было видно, но он был: отплывало злое, чтобы вырасти и прийти снова, и остановить его было нельзя.

С фуражки за шею холодная, гнусная текла вода; солдаты и офицеры все были мутные, мокрые, лишние; ненужные желтели медные трубы музыкантов.

— По палат-ка-ам! — во всю силу легких крикнул Алпатов и добавил кругло и сочно: — К чертовой матери, скоты!

Покосился на убитого медвежонка, похожего теперь на жалкую, втоптанную в грязь, дохлую шалую бурую собаку, махнул рукой; капитану Цимбалистову хотел было сказать густое слово, но только посмотрел на него долго и хмуро и тоже махнул рукой, и один, откланявшись офи-



ерам, пошел к городу, по привычке прочно ставя ноги. Шел и смотрел в землю.

А дома, где была тревожная Руфина Петровна, и нянька Пелагея, и дети, и Мэри, и Джек, и в столовой лампа с хрустальными висюльками, и в кабинете шкаф с медным зеленым шлемом и зубами местного мамонта, в сумерки, когда застучали, открываясь, ворота и Флегонт приехал со станции, с Алпатовым случился удар: отняло всю правую половину тела. Лежал он красный, тяжелый, силился говорить, но говорил бессвязно, и почему-то по-легкому, по-мужичьи: кумпол, Капказ, обнаковенно. Думали, что выходится, отпустит, но к ночи удар повторился, и уж ничего не мог выговорить Алпатов и на заплаканную Руфину Петровну и детей глядел непонимающими глазами.

От нового удара утром Алпатов покорно умер.

Хоронили его в Аинске, и в то время как писались о его полке куда-то выше злые бумаги, сам он медленно плыл на кладбище. Добросовестно начищенные к смотру медные трубы пригодились для похоронного марша, и медленно шел за оркестром зверинец-полк. День был теплый. Пахло весенними кедрами, листьями берез и тою безымянной травкой, которая ползуче стелется везде и без которой не мог представить себе земли Алпатов.

В августе, когда полком командовал уже другой полковник, маленький, щупленький, по фамилии Курч, и Руфина Петровна носила на могилу георгины и ждала пенсии, и Бузун, переведенный «для пользы службы», вышел уже в отставку, и желтели березы, и стаились птицы, из глухой тайги, с поселка Княжое, опять приехал на базар в Аинск чалдон Андрей Силин, по прозвищу Деримедведь. Привез на продажу мешок чесноку, горку крупной репы, клетку уток и клетку поздних цыплят, и вдобавок ко всему этому... малого сосунка медвежонка.

1911

МАЯК В ТУМАНЕ

Повесть

I

Это о годе двадцать восьмом: случайно застряло в старой моей записной тетради.

Да, приходится оговаривать это,— слишком стремительна стала жизнь, и сегодняшний день уже очень мало похож на день вчерашний.

Когда над морем, очень цепко присосавшись к воде, залегает плотный, волнистый, голубоватый, издали нехолодный даже, похожий на сбитое стадо белых овец туман, тогда отсюда, с горы, виден — и до чего же отчетливо! — весь изрезанный изгиб берега, и даже тот, самый дальний, похожий на голову нильского крокодила мыс, на котором по ночам сверкает маяк: три часа езды пароходом отсюда до этого маяка.

Мыс с маяком — он существует всегда, он каменный, вечный, и по ночам он подмигивает таинственно, но даже его съедает испарина моря, он расплывается в ней, зыблется, растворяется, перестает быть. И только туман над самой водою очерчивает вдруг его так ярко, только благодаря туману вдруг начинает он и днем глядеть в глаза всеми изломами своих базальтовых скал, откуда-то озаренных желтым, розовым, ультрамариновым.

Отхлынет от берега туман, унеся с собой очарование, и Пантелеймон Дрок,— весь голый, только ниже живота черный с красным горошком платком в обвязку,— весь медно-красный, весь состоящий из мускулов, пота и мозолей, перебивающий цапкой землю между своими кустами помидоров, баклажан, зеленого перца, посмотрит, бывало, на море и облегченно скажет:

— Ну, слава богу, черти его унесли!

На далекий, таинственный мыс он не посмотрит даже: ему не нужны ни мыс, ни маяк на нем. Он очень упористо стоит на своем куске земли босыми ногами, на которых

большие пальцы величины чрезвычайной и даже отставлены от других пальцев на целый палец.

Земля его в уютной котловине и глядит на юг. Где она выше — там чистая рыжая глина, где ниже — там наносный черный шифер, и Дрок заставляет ее на рыжем выгонять лопушистый табак, на черном — пшеницу и кукурузу, а где шифер лежит глубоко, на целую лопату,— там у него огород. Для поливки в разных местах у него копанки с желтой дождевой водой, и в одной, самой большой, купаются его ребятишки, когда пасут корову.

Направо, внизу — город, налево, вверху — несколько домишек. В одном, ближнем, живет слабоумный, разбитый параличом старик, сорок лет прослуживший здесь в таможне. Теперь он получает пенсию. Когда уходит в город его жена, тоже старуха, Настасья Трофимовна, ему уже через полчаса становится страшно одному сидеть в комнате; ступая правой ногой и подтягивая левую, опираясь на палку и держась за косяки дверей и выступы стен, он выволакивает себя наружу и, помещаясь между кустов так, что виден был город, начинает кричать:

— На-а-стя!.. На-стя-а!..

Потом чаще, чаще и совсем непрерывно, и очень долго:

— На-асть, насть-насть-насть... На-а-астя!..

Волосы у него длинные, белые, тонкие, как у детей, белая длинная борода, белое незагорающее лицо, и неизменная на нем черная тужурка, вся закапанная спереди. Голос у него был еще очень громкий. Фамилия его была Недопёкин.

Когда он видел Дрока, то кричал ему, но Дрок уже привык к этому и не отзывался. Жалости к старику у него не было, презрения тоже,— просто он был ему не нужен. Но рядом с Недопёкиным жил человек, которого он не любил: это был учитель пения — Венедикт Митрофаныч, человек уже пожилой тоже, но ученики звали его Веней. Дрок знал, что в школе он получал всего только сорок рублей, но проводил там не только целые дни, иногда и ночи,— это когда надо было готовиться к школьному спектаклю, шить и замазывать декорации: «Днем когда же?.. Ребята — разве они дадут?..» Или: «Ребята — они на тебе повиснут, разве от них уйдешь?»

Роста он был небольшого, с виду щуплый и хрупкий, но даже и ребята, которые целыми днями на нем висли, не могли его утомить.

Была одна ночь в марте, когда Веня подымался к себе

из школы часа в два, но светила ущербная луна, роились звезды, кричали дикие гуси, пролетая на север, и тянуло тихим теплом с юга, а Дрок на своей земле равномерно звякал железом лопаты о камень, спеша закончить перекопку. Он копал недалеко от дороги, и Веня разглядел, что он до пояса гол, как и летом.

— Что это вы, Дрок, себя надрываете так? — остановился Веня.

— Никакого надрывания тут нет,— отвечал Дрок недовольно.— А если я должен всю эту землю перевернуть, то... как по-вашему?

— По-моему?.. Большой у вас кусок земли, Дрок!

— Ага!.. Большой, находите?.. Так что вас завидки берут?.. А я же по копейке с метра в горхоз плачу!.. Ну, бегите теперь вы, давайте им по две або полторы,— вот и ваша будет!

— Мне не надо, на что она мне?

— Вам не надо, а сами говорите: большой кусок!.. Кому не надо, тот безо внимания, и даже он слова не знает, большой или маленький... Я с воза наземь двенадцать пудов сымаю, а недавно, года три назад,— я с земи на воз двенадцать ложил... Ну, мне уж сорок второй, я уж не молодых годов считаюсь... И должон бы я силу больше иметь, кабы руку себе не сломал...

— Что вы?.. Давно это?.. Не слыхал я что-то...

— Где же вам и слыхать, когда это ж в селе я тогда жил,— ну, одним словом, дома, в отца з матерью... Семнадцать годов мне тогда было,— на лошади я верхом,— и на всем скаку — туда к черту!.. Называется наше село Звенячка... Это... может, когда слыхали,— Ново-Ушицкий был уезд Подольской губернии. У меня же там брат живет,— как же!.. Как землетрясение было в прошлом годе, говорили тогда все: «Вот Крым провалится!.. Вот провалится!..» И как все отсюдова тикали, то была у меня думка домой отсюда ехать... Я брату пишу: чи ты примешь, чи ты не примешь, бо я вже сам-сем: такой урожай от меня... Он пишет мне по-своему, по-украинскому,— давал людям читать, как я уж того языка не понимаю: приезжай, пише, кусок хлеба знайдем... Ну, а тут успокоилось, я и раздумал тикать... А не так давно он уж мне пише: «Разоренный я совсем: хочу к тебе ехать... Може, где себе место знайду...» Я ему, конечно, ответ: «Раз ты теперь стал разоренный, то это ж нема чего лучше,— как ты теперь, стало быть, бедняцкого элементу...» Не знаю уж, как он

теперь... Руку же я себе сломал правую... Ну, спасибо, у нас в селе костоправ был, Гордей его звали, старик хотя, ну, такой вредный, что как ему горилки пивкварты не поставят, то он и лечить не буде... Выпил он, обрызгал меня из последнего, что в рюмке осталось. «Держите его, говорит, дужче, хай не копо́шится!» Пощупал он. «На четыре части, говорит, и то хорошо, что поперек, а не вдоль...» В полотно такое домашнее — непокупное — забинтовал, потом в лубок всю руку. «Так, говорит, и держи ее палкой и спать не спи...» Пришел на другой день к вечеру, пощупал: «Ну, кажи: боже, поможи». Я кажу: «Боже, поможи!..» А он мне как надавит вот это место пальцем, так я и зашелся весь... Это он мне еще одну косточку вправил... Потом даже три дня не являлся, а как явился, прощупал: «Ну, кажи, хлопче: «Славу богу!» — «Славу богу!» — «Ну вот за то же я тебе руку до шеи привьяжу!» А уж так недели через три: «А ну, хлопче, крестись»,— говорит. Стал я руку подымать и, значит, на лоб не могу и на правое плечо не могу, только на левое. «Ну, ничего, кажет, и сам бог с тебя кращего креста спросить не может, как он же тебе сам руку зломав...» Видали теперь, через что я силы настоящей не имею?

— Да уж больше, чем у вас, Дрок, сила,— куда же она еще?.. В цирке себя показывать? Вы как будто на меня серчаете,— смущенно говорил Веня, но Дрок кричал еще азартней:

— А кто теперь друг на дружку не серчает?.. Все не только даже серчают, а с лица земли готовы стереть!.. А мне то на вас досадно, что пению вы, извиняйте, учите, а ребята мои вот христославить не умеют... Также и на Пасху... Могли бы они заробить какую-нибудь копейку, а то они воют, как те коты, какие на крышах, а что они воют такое, этого у них даже в понятии нет...

— Христославить!.. Этого от нас не дождетесь,— улыбался Веня,— этому учить мы, конечно, не будем...

— А не будете, то зачем вы и учите?.. Ну, с тем до свидания, когда такое дело,— мне копать надо, а вам итить спать... И холодно начинает, как я раздевши...

Веня отошел, но, вспомнив, крикнул назад:

— Вы бы их в кино когда-нибудь повели, ребят ваших!..

— В ки-но-о?.. Это для пристрастия?..— на всю тихую весеннюю ночь кричал Дрок.— Да я в газете читал, как один мальчишка завел другого в сарай дровяной, там его

удушил, пальтишко снял с него, за трешницу продал да в ки-но-о!.. И почему же это он осмелился так?.. А это он до кина пристрастия имел, а денег не было!.. Ки-но-о!.. Это же для ребят все равно как для нас водка!.. Вон вы советы какие даете, а еще у-чи-тель!..

Веня отходил от Дрока поспешно и, отходя, долго еще слышал яростный звяк его лопаты о камешки и какое-то бормотанье, так как остановиться сразу и замолчать, как отрезать, Дрок не мог: он очень разжигался, говоря что бы ни было, в нем очень много подымалось, и, зная это, Веня боялся, не сломает ли он держак лопаты, слишком глубоко засаживая ее в тяжелую глину, и не будет ли потом ругательски ругать его во весь голос, свирепо доламывая буковый держак ногами.

И только добравшись до своего склона горы, откуда Дрока уже не могло быть слышно, Веня с радостью различал громкие крики весенних диких гусей в небе, посвистывание куличков над морским берегом и брачное хрюканье дельфинов, которые оглашенно ныряли и подскакивали теперь в лунном столбе, поднявшемся черт знает как высоко: если бы не лунная дорога в море, никак нельзя было бы поверить, что в такую дальнюю даль ушла линия горизонта.

II

Очень трудно было, особенно при плохом зрении, определить точно: что же это такое двигалось в гору медленно и цепко, похожее на огромную черепаху с четырехугольным черным блестящим панцирем, на вид очень тяжелым и прочным. И только когда черепаха эта проползла вблизи, совсем близко, в двух-трех шагах, можно было разглядеть, что это Пантелеймон Дрок тащил связанные проволокой листы старого кровельного железа — тыльной, промасленной, стороной кверху, покрашенной — вниз. Железо было десятифунтовое, и тащил он кипу в двадцать листов, и щедро капал пот с его весьма неправильной формы носа и широкого бритого подбородка.

Так, разобравши наконец, что это за черепаха, Настасья Трофимовна, крупная старуха с высосанным мучнистым лицом, всплеснула руками и сказала испуганно:

— Разве можно так, Пантелей Прокофьич?! Ведь у вас сердце этак лопнет!

И выпуклые, зелено-мутные глаза ее мигали часто.

Но, грохочуще проползая мимо нее, Дрок ожег ее выпадом злых багровых маленьких глазок и прохрипел:

— Покупайте мне лошадь, от тогда на лошади буду возить!

И только к вечеру этого дня, когда еще таким же образом два раза проволок он свои панцири из листового железа по пяти пудов каждый, узнала Настасья Трофимовна, что внизу, у моря, в доме отдыха металлистов, где был ремонт осенью, продают старое железо с крыши, и Дрок закупил его тридцать пудов, имея в виду скорую постройку своего дома.

Еще раз всплеснула руками Настасья Трофимовна и сказала шепотом:

— Кто же теперь строится? Какой кобель?

— Ну, значит, я и есть этот самый кобель, когда такое дело!— осерчал Дрок и добавил уже наставительно:— Мне з моим семейством жить негде, если вы хочете знать!.. У меня пьятеро, да шестое, извиняйте, в утробе матери!

— А разве ж вас с квартиры гонят?

— А какая у меня квартира?— кричал Дрок, потный, красный, размахивая проволокой, скрученной в тугой бунт.— Моя квартира — одна комната, и она холодная, что касаемо зимнего времени!.. А мне не меньше две комнаты надо, вот!.. И корове сарай, поняли?.. И курям опять же абы что... И табак на суруках было чтобы где сушить!.. И хлеб чтобы куда ссыпать!.. А также картошку, капусту складать... кабачки, кукурузу... вот!.. Мне для всего помещение надобно, а не одна комната!.. Я пенсии не получаю, как старик ваш живущий!..

Дрок упорно таскал к месту, облюбованному им для своей постройки, то старые балки, то стропила, то доски... Наконец завел тачку и начал издалека привозить дикий камень для стен и старый кирпич для печки.

С огромной яростью орудуя киркой, принялся он рыть канавы для фундамента и потом закладывать их бутом... Это было осенью, когда с поля и огорода все уже было снято, а если табак еще зеленел густо, то листья его шли уже от боковых побегов: такие листья не собираются, они красуются только до первого мороза, который одним ударом превращает их в бессильные кофейно-рыжие тряпки.

Дрок клал фундамент на извести, как заправский каменщик, сделавши себе из дырявой ряднины фартук, но

все не хватало у него песку, и он говорил удивленно: «На ж тебе, как эта звестка песок жрет!.. Все одно как свинья полову!..»

И шел с мешком на пляж, а когда тащил оттуда полный мешок мокрого песку, то шея его багровела, вздувалась и пульсировала звучно, а в голову снизу било жаркими железными обручами и бухало там, как в пустой бочке.

Должно быть, здешние горы строили свои крутобокие массивы с таким же напряжением, с таким же остервенением, с такою же злостью силы... И только время пригладило их, взъерошенных, только воды и ветры обрушили вниз все их колючее, острое, непримиримое и укрыло их дикие известняки и граниты однообразно-ласковым буковым лесом.

Класть прогоны на фундамент и устанавливать на них балки в отвес помогала Дроку жена Фрося.

Она не хотела, она ворчала, она говорила:

— Нанял бы ты лучше плотников на день!

Но кричал, свирепея, Дрок:

— Ка-ак это «нанял бы»?! Это чтобы они с меня по пьятерке содрали?.. И чтобы всеми считалось это наемный труд?.. Нехай они з меня заработают, как я подохну!.. А как я себе заранgolьше, перед смертью, гроб сделаю, то вот они с меня что заработают!

И перед самыми глазами Фроси (зеленоватыми, с золотыми блестками) тряс очень жестким кулаком, заляпанным сосновой смолой.

Смолоду Фрося, должно быть, была и весела, и беззаботна, и миловидна, потому что и теперь еще осталась, хоть и слабая, игривость в глазах и розовели иногда тонкокожие щеки. Но подобрались уже щеки, втянулись, губы подсохли, шея пошла складками, светлые волосы потемнели, поредели.

— Держи стояк, иди! — командовал Дрок. — Потрафляй, абы шпенек в гнездо вошел!

И Фрося, взглянув на него исподлобья, обхватывала столб огрубелыми, хотя и тонкими в запястьях, шелушащимися руками.

Дом себе ставил Дрок не в котловине на горе, где было его поле, а гораздо ниже, в балке, где прежний владелец этого участка выкопал колодец. О бывшем владельце здесь не осталось памяти, даже и смутной, а колодец Дрок сам вычистил и огородил. И теперь, когда, отдыхая,

пил взятую оттуда воду, он говорил вполголоса, оглядываясь кругом, Фросе:

— Ну, ты где еще такую воду пила, а?.. Я все здесь колодцы и фонтаны перепробовал, также и казенный водопровод,— не-ет, брат!.. Ты только языком своим бабским дзвону об этом не давай!.. После такой воды и зельтерской пить не захочешь...

Все было податливо и укладисто: земля, камень и дерево, но оказался очень коварен один продольный верхний прогон. Гнезда в нем выдолбил Дрок по нижним концам столбов, но разошлись немного верхние, и когда Фрося, стоя на лестнице, помогала его укладывать и приподняла его над собою, он вырвался у нее из рук. Он оцарапал ей плечо, чуть не выбив глаз другим концом стоявшему на другой лесенке Дроку, и, описав мгновенную прихотливую дугу, звонко брякнулся о другие прогоны и крокву.

Фрося зажала плечо рукой и спустилась молча, только поглядев в желтые глаза мужа своими зелеными, с искрой, и, усевшись поодаль от бревен на сухую щепу, спустив синий платок до переносья, плакала, всхлипывая, больше от испуга, чем от боли, а Дрок сел с нею рядом, чувствуя тоже какую-то оторопь и бормоча вполголоса:

— Могло бы и в голову вдарить — тогда крышка!.. Однако горобец и тот гнездо себе вьет... ворона даже — и она прутья до горы на деревья таскает... Обязан и человек хату себе сам своими руками делать.

И когда отплакалась Фрося, он сказал ей, поплевав на руки:

— Ну-ка, фатайся за тот теперь конец, а я уж за этот...

Тяжелый прогон снова пополз кверху, и на этот раз шипы столбов покорно вошли в гнездовья.

Однажды, лузгая семечки, подошли к Дроку два плотника, братья Подскребовы, Никита и Денис, молодые еще, но хлипкие, оба рыжие, с землистыми лицами, и Никита, старший, сказал, расставив ноги:

— Вот так столбы поставил!.. Да как же ты, дупло, без ватерпаса столбы поставил!.. Ведь они у тебя завалятся к черту при первой возможности!..

А Денис добавил:

— И план ты должен был представить на утверждение, то есть план свово дома. А то вполне мы можем эту твою халупу обраковать к чертям и совсем воспретить...

Но Дрок, медно-красный, вдруг поднял над головой

топор, как томагаук, и двинулся на них, ворочая медвежьими глазками и рыча, так что Никита отошел поспешно и, отзывая Дениса, говорил:

— Ведь он шутоломный, черт!.. От него можешь трудоспособности лишиться на все сто процентов!..

А Дрок кричал им вдогонку:

— Учить меня явились!.. А того и не знают, что я смальства по бондарной части работал... Также и по колесной тоже... Ва-тер-па-сы!..

Когда же и стропила он утвердил на два ската и запалубил под железо, откуда-то взялся печник Заворотько, семидесятилетний, полуслепой уже, но старавшийся держать серую кудрявую голову как можно прямее и делать вид, что он только что хорошо выпил, очень потому весел и весь свет ему любезен и мил.

Высокий, длинноногий, он подошел медленно, но уверенно, кашлянул браво и сказал вкрадчиво:

— Боже, поможи!.. А я смотрю иду, что ж воно такое?.. Чи воно завод, чи воно хвабрика... Аж воно ни завод, ни хвабрика, а то самое, до чего плиту треба... Та-ак!.. Ну, это тебе Заворотько,— печник есть такой,— сделает в лучшем виде... А уж грóши з тебе сдерет, как все равно святой с бабы!

— Про-валивай, куда шел!— отвернулся Дрок.

— Как это «проваливай»?.. А кто ж тебе делать будет?— спустился с веселого тона Заворотько.

— А сам я на что?.. Сам я делать буду,— вот он кто!.. Видал такого?— выставил перед ним кулак Дрок.

— Таких я, друг, видал многих,— только глину они зря портили да кирпич губили... И меня же сами звали они поправлять,— это чтобы бабы на ихних головах горшков дуже много не били, как и горшки тоже грóшей стоют!..

— Да понимаешь ты,— кричал ему прямо в уши, подскакивая вплотную, Дрок,— что тут все должна быть моя собственная работа, чтобы никто отнять моей хаты не мог?

— А на черта кому твоя хата, чтоб ее отнимать?

— Все встать могут в свидетели, как оно не купленное, а сделанное моим чисто трудом!.. Вот!.. Все видали кругом, и сейчас видят!— кричал Дрок.

— Ну, погоди,— останавливал его рукою Заворотько.— На стены ты камень припас, значит, видать, фáфарку хочешь делать?

— А, разумеется, фафарку!.. Что, мы вместе с бабой фафарки не слепим?

— Хитрости никакой нет!.. Только крестовины вставить...

— И вставлю!.. И окна-двери навешу!.. И железом накрою!.. Все сам!

— Ну, то уж дело твое... Хочешь, чтоб на голову тебе капало, тоди крой сам... А плиту тебе Заворотько-печник зложит... Думаешь, много он возьмет?.. Не-ет, он теперь много не берет, как он уж не союзный... И даже так я тебе скажу (тут Заворотько понизил голос до шепота), что даже он никому а ни-ни об этом! Придет он к тебе до сход солнца, а уйдет, как фонари зажгут... Так, чтоб его никто и не бачив!

К Новому году Дрок перешел в свой новый дом, в котором было только две комнаты, и, хотя железо на крыше на виду у всех укладывал сам Дрок и сам его красил, крыша все-таки не текла, а Заворотькиной плитой Фрося осталась довольна.

По стенам снаружи дома развесила она под самой полкой крыши пучки золотистых кукурузных початков, на крыше разложила оранжевые пузатые бородавчатые тыквы,— это было в теплый солнечный день,— и то и дело выбегала любоваться этим украшением и только вечером, когда натянуло с моря дождевые тучи, сняла.

А Дрок, водворивший уже в новом сарае корову, спешно сооружал другой сарай для сена. Он стучал бы и по ночам, если бы ночи не настали темные, хоть глаз коли.

В той же комнате, которую занимал он раньше, поселился какой-то приезжий по фамилии Дудич.

III

Упал в колодец средний сынишка Дрока — Егорка, лет восьми. Как он очутился там, на той самой дубовой почерневшей и скользкой балке, которую Дрок все собирался вырубить, этого Егорка не мог объяснить отцу потом, когда его вытащили.

Он стоял перед отцом круглоголовый, плотный, очень спокойный, даже пожимающий плечами, всем своим видом дававший понять, что иначе и быть не могло, что вообще всякий, кому случится упасть в колодец, должен стать

там на поперечную дубовую балку и время от времени не спеша кричать, чтобы его вытащили, — не спеша потому, что попадать в колодец не всякий день удается, а любопытного там очень много, и когда от стенки колодца там отрываешь маленькие камешки и бросаешь в воду, то они булькают совсем иначе, чем ежели бросаешь их сверху.

Побледневший, оторопевший, спрашивал сына Дрок:

— Стервец ты этакий, как же ты туда упал, скажи?

А Егорка, сморщив безволосые брови и глядя в землю, отвечал густо, однако немногословно:

— Упал, и все.

— А на перекладину же ногами ты как попал?— хотел допытаться Дрок, но Егорка отвечал так же густо:

— Попал, и все.

— Ну, мерзавец же ты этакий, как же ты летел туда, скажи: чи ты вниз головою, чи ты ногами вперед?— допытывался отец.

— А я же почем знаю?— светло глядел на него Егорка и пожимал не узкими для восьмилетнего плечами.

Лицо у него было щедро усеяно конопушками, левый глаз с маленькой косиной, заметной только тогда, когда он поворачивал голову направо.

Он непритворно был удивлен, почему это так в голос заплакала мать, когда его вытащили, а отец, заделывая брусьями устье колодца, кричал ей:

— Ты зря не реви, а кругом его щупай: чи не оборваны ль у него все печенки, или его в больницу сейчас вести надо!

Все у Егорки оказалось в целости, и вечером в этот день Дрок жестоко отхлестал его ремнем, больше имея в виду полную для себя непостижимость этого случая, чем со злости.

Зато вскоре после того сломал себе руку семилетний Митька. Он подставил с земли на крышу дома тонкую легкую доску и подпрыгивал на середине ее, пока она не переломилась пополам. Упасть ему пришлось о камень рукою, и то, что этот сынишка его так же, как и он когда-то, сломал не левую, а именно правую руку, и не в локте, а около плеча, очень поразило Дрока, так что пальцы его, привычно потянувшиеся было к уху Митьки, сами остановились на полдороге.

В больнице с Митькой проделали почти то же, что когда-то старый костоправ Гордей из села Звенячки проделал с самим Дроком, и руку подвязали ему марлевой по-

вязкой к шее, но ровно через четыре дня он, цепляясь за сучья одной левой рукой, полез на грушу следом за Егоркой, и вот тут-то уж жесткие пальцы Дрока дотянулись до маленького, прижатого Митькина уха.

— Соба-чонок скверный!— кричал Дрок.— Я тебе доску простил, поганец, а вона ж вещь хозяйственна, а ты, ка́лечь убогая, еще и грушу зломить хочешь?.. По-дожди!..— и тащил его к дому.

Митька был очень вертлявый и визгливый, и, вертясь и визжа, он всячески старался вырваться, даже пробовал кусаться, а когда оставил его отец, пообещал, хныча:

— Хорошо-хорошо... Вот я... еще одну руку сломаю!..

Но Дрок знал, что он, хотя и сердит, отходчив, однако говорил о нем Фросе:

— Убери от него все доски в сарай, абы на дворе не валялись!

На старшего, Ванятку, лет уже десяти, пожаловались Дроку, что он, такой же спокойный по натуре, как и Егорка, и такой же круглоголовый и плотный, когда пас корову около одного временно оставленного под присмотр Настасьи Трофимовны дома, обдуманно и метко швыряя с разных расстояний камнями, выбил все до единого стекла в окнах.

Настасья Трофимовна обычно несколько побаивалась крикливого Дрока, но теперь она кричала сама, часто нагибаясь в поясе:

— Что я теперь скажу хозяину?.. У-сте-рег-ла!.. И от кого же вред такой страшный? От мальчишки! От мальчишки! От хулигана! За которым отец-мать не смотрят!..

Все, что у нее накопилось против Дрока за несколько лет, выложила крикливо и сбивчиво эта старуха с мучнисто-белым иссосанным лицом, на котором и нос, и губы, и выпуклые глаза — все было громоздко; но чаще всего и язвительней всего повторялось ею:

— Извольте сейчас же вставить, гражданин Дрок!

И это больше, чем все другие ее слова, раскаляло Дрока.

Он начинал чаще и слышнее дышать, багроветь от шеи к вискам, и, может быть, он изувечил бы старуху, если бы Фрося не поспешила увести ее, как будто затем, чтобы посмотреть на битые стекла, но больше затем, чтобы спрятать от мужа своего старшего.

Прятать его пришлось ей дня три, пока не отошел Дрок. Он мерил стекла старым аршином, рассчитывал,

насчитал на двадцать с лишком рублей, думал мучительно и успокоился только тогда, когда пришел к твердому решению ни одного стекла не вставлять.

Тогда появился Ванятка, и между отошедшим отцом и провинившимся сыном произошел такой разговор:

— Теперь ты растолкуй мне, бо я не тямлю, зачем ты з этими чертовыми стеклами связался и что у тебя в башке было?— сдержанно, и нарочно сидя при этом и положив нога на ногу, начал Дрок.

— Ничего,— ответил на последнее Ванятка, упорно глядя на необычайно большие пальцы босых отцовских ног.

— Но ты же, олух, ты знаешь, что за те стекла два червонца я отдать должен?— повысил голос Дрок.

— Зачем?— как Егорка, пожал плечами Ванятка, несколько удивившись, и посмотрел отцу прямо в глаза.

Глаза Ванятки были, как у матери, зеленоватые, с золотыми жилками, и Дрок, подняв шершавые брови до середины лба, закричал, размахивая руками:

— Как же я матери твоей повсегда говорю, чтобы меньше как восемнадцать человек ребят у меня и не было, это знай!.. Потому, я говорю, хо-зяйст-во — оно требует!.. Одно чтоб курей пасло, друге чтоб гусенят пасло, третье чтоб телят пасло, а то чтоб отцу помогало, а та чтоб матери,— от когда хозяйство может итить!.. Ну, когда же вас у меня до осемнадцати ще богацько работы, ще только пьятеро, и то я з вами, з шибаями, не знаю, что делать, а когда вас осемнадцать будет?

— Тю-ю!— спокойно отозвался Ванятка.

— А что же ты тюкаешь на свово батьку?— снял ногу с ноги опешивший Дрок.

— Во-сем-на-дцать!— протянул явно презрительно Ванятка, но, увидя, что отец уже разгибает спину, вот-вот подымется, он опрометью кинулся между кустов к морю, и, наблюдая этот неистовый бег, сказал Дрок жене:

— Шо я тебе часто говорил: смотри, абы восемнадцать, как у моей матери было, то я уж теперь раздумал...

Сарай для табаку приделал Дрок из фанеры непосредственно к одной из стен своего нового дома, и густо один к другому висели там суруки с сухими листьями бродящего и удушливо пахнущего табаку. Зимою при небольшой лампочке каждый вечер допоздна делали папуши, и трое ребят Дрока, как бы они ни набегались за день, должны были папушевать табак, пока не засыпали сидя.

Дрок никогда не курил сам и не понимал, зачем курят,

но из всего, что он сеял и сажал на своем поле, только табак давал ему возможность существовать. Он заготовлял его плохо, понаслышке. Здесь много осело мелитопольских баб-табачниц, когда-то работавших на больших плантациях у татар и греков, но Дрок упорно никого не брал себе в помощь.

Спокойные Ванятка и Егорка были именно настолько медлительны, как того требовала кропотливая работа над папушами, и Дрок видел, что года через два, через три они уж научатся делать это не хуже матери. Сам же он был слишком нетерпелив, и грубые пальцы его иногда не могли разобраться как следует в нежных овальных листах и рвали их. Плохим помощником был и Митька, но уже совершенно мешали работе младшие.

Дрок немало гордился тем, что пока ни одной девочки не было у него в семье. Та жизнь, которую он вел теперь и которая рисовалась ему далеко впереди, требовала силы прежде всего. Даже и ум этой жизни был только сила. Земля здесь была, как дикий конь, а объезжать, обуздывать диких коней — не женское дело. Загадочная плодовитость земли, на которой прочно стоял Дрок узловатыми ногами, требовала ответной плодовитости Фроси, но из тех восемнадцати детей, которые представлялись его воображению, по крайней мере вся первая дюжина должна была бы быть мужскою, и пока Фрося не обманула его надежд и ожиданий в первом пятке.

Двое младших ребят Дрока (Колька, лет четырех, и Алешка, еще ползунок) характеры имели разные. Колька все плакал. Просил ли о чем, выходил ли из дому на двор, шел ли со двора в комнату, даже копался ли один в песочке около дома, этот приземистый большеголовый крепыш всегда сипло хныкал, точно хотел отхныкаться сразу за короткое время на всю остальную жизнь. Алешке же, наоборот, очень большого труда стоило заставить себя плакать.

Когда его оставляли дома одного, а он хотел ползать по́ двору, он подползал к двери и стукался в нее несильно лбом; так же несильно, исподволь, для начала заводил он рев:

— Хы... хы... хы-хы-ы...

Если никто не отзывался на это и не отворял двери, он стукался с бо́льшим размахом и от боли начинал реветь сильнее:

— Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э!..

Когда же и это не помогало и никто не приходил к нему, он стучал лбом без останову и от все растущей боли ревел все громче, все неистовей:

— А-а-а!.. А-а-а!.. А-а-а-а-а!..— пока не прибегала, запыхавшись, мать, тоже с криком:

— Алеша! Алешечка!.. Что ты, Алешечка?

Но Алешечка с красной шишкой на лбу, задрав ноги, закатывался неуемно, время от времени пробуя крепость пола затылком.

О нем говорил вдумчиво Дрок:

— Кто же это растет, такой упорный?.. Сказать бы, что на меня он схожий,— волос у него показался темный,— так я же разве головою об дверя бил?.. Никогда я этим не занимался!

— А ты разве помнишь, бил или нет?— спрашивала Фрося, усмехаясь, но Дрок кричал, блестя белками, зубами и каплями пота на носу:

— Все об себе человек должен помнить от самой даже утробы матери!

Фрося была в это время уже на сносях и вскоре родила девочку.

IV

Был июнь в начале.

Белобородый Недопёкин выволок свое очужелое тело в дубовые кусты, откуда был виден город, и кричал:

— Отра-ви-те меня!.. Яду мне дайте!.. Розалия Марковна!.. Отравите меня!.. Ведь вы меня слышите!.. Розалия Марков-на!..

Розалия Марковна была когда-то здесь зубным врачом, но уехала отсюда уже лет восемь назад. Старик забыл об этом. Он помнил только, что ушла, как всегда, на базар в город его жена, оставила его одного. Ужас его перед одиночеством был безмерен.

Небольшая собачонка Сильва, которую взяла щеночком и вырастила Настасья Трофимовна, тоже заболела уже в этом домике скулящей терпкой тоской. Как только показывался около кто-нибудь чужой, она — черненькая, лохматенькая, с белым воротничком — подбегала к нему со всех ног, ложилась на его дороге, изгибалась заискивающе, спрашивала тоскливыми глазами: «Может быть, ты меня возьмешь к себе? Может быть, тебе нужна такая маленькая собачка?..» А когда равнодушные ноги престу-

пали через нее и шагали дальше, она забегала снова вперед, ложилась и умоляла тоскливыми глазами.

— На-астя!.. На-стя-а!.. — кричал старик.— Насть-насть-насть-насть! Нас-тя-а!..

Сильва тоже, хотя и в стороне, смотрела на пестрый город внизу, и, заметив ее, старик подзывал собачку, подсвистывая:

— Сильва-сильва-сильва-силь-ва-а!

Сильва виляла хвостиком, но не шла, и, подымая в ее сторону палку с половинками, с остатками многочисленных монограмм, старик жаловался ей плаксиво:

— Вот... с этой палочкой... я гулял там... там!..

Указывал набалдашником на город и плакал.

Когда он увидел Дрока в праздничной белой рубахе, подпоясанной ремешком, как он пробирался в кустах ниже и левее его, он закричал было ему радостно:

— А-а!.. Гражда-нину Дроку!..— и даже сделал в его сторону два-три ковыляющих шага.

Но Дрок согнулся, чтобы не так заметно было его в кустах, и ярко замелькал своей праздничной рубахой по направлению к домику, где жил и — он знал — теперь был дома Веня.

Дроку также хотелось теперь кому-то рассказать о своем новом, и некому было здесь, кроме Вени. Он рассказал бы и старику, если бы тот способен был что-нибудь понимать.

Веня занят был тем, что, усевшись на табурете посреди двора, ставил аккуратные заплаты на свои летние брюки.

— Ага!.. Здравствуйте вам!.. С праздником!— протянул ему желтую, как репа, ладонь Дрок.— Или у вас нет праздника, тогда извиняйте. А у меня же прямо в кругу!.. Такой я сейчас довольный, во! (Чиркнул себя по литой медной шее пальцем.)

Посмотрел на него Веня удивленно: лучился Дрок. Он даже как будто моложе стал; он был без фуражки — волосы низко острижены, густые, черные, только на висках проседь; четырехугольный лоб без морщин; нижняя челюсть мощная; зубы все на месте и белые и завидно сверкают сплошь, когда кричит он:

— Такой я довольный, как все одно дождь на мою пшеничку линул, а на соседову — нехай когда-сь после!.. Я же работаю, как скаженный,— вам известно!.. И так что бывает, встану ночью, сижу на кровати, а сам себя ру-

гаю: и ноги у меня больные, и руки болят, и спину мою ломит, и цапáть идти надо, и до того даже, что я уже с вечера ищу-хожу, как бы мне с женой поругаться!.. Она же, баба, вы знаете, работница, она же называется друг мой!.. Я же с ней должен, как другие, в обнимку! (Тут Дрок обхватил тонкую шею Вени и губами — широкими, влажными — потянулся к его губам, чтобы показать, как именно должен бы он был обнимать ночью свою жену.) А я ей с вечера что?.. «Хворобы на тебя, на суку, нету!..» И дальше подобное... Это чтобы она заплакала, а я чтобы ведро с водой шваркнул или что еще и вещь эту изуродовал всю... Ну вот... В три часа ночи я встал сегодня цапáть и уж детей не будил, как жена говорит, что я их работой замучил,— может, и вправду замучил,— а день сегодня воскресный... Им же нужно корову пасти,— ну, а я: «Ничего, говорю, нехай уж я сам попасу и корову ту и телку... Я себе поцапáю, а они там в низочку хай походят, попасутся, ничего...» И вот я их выгнал, и черна моя корова,— ей абы б возле нее шо-сь краснело, а то скучать будет... Была ж у меня и красна корова,— ну, ту я продал... В резню продал и дешево продал,— ну так я ж никого не обманувал, не сказал, шо така корова, така корова,— три ведра надоишь!.. И она, как погода плохая, так она валяется и не встает... Ревматизмы или что у ней, быть может, что она и день валяется, и два, и даже три, бывало... И жрать не жрет... Какое от нее молоко?.. И мяса того ежели мясник наскребет с нее десять пудов,— его счастье!.. Ну, привязал я тую телку за веревку до кустика,— а там трава такая, что вырывал я ее, вырывал и никак вырвать не мог. Ну, пусть же, думаю, скотиной своей попасу... Корова, та умная, та понимает, что на табак ей идти нельзя, та пасется, а эта, стерва, маленькая, а хи-итрость в ней: оглянется на меня, видит — цапáю, а сама надуется загривком, веревку чтоб от кустика оторвать... Я вижу это, а сам думаю: «Куда уж тебе! Ты же паршивая!..» И что же она все-таки? Оторвала ветку и так это швидко-швидко, как у нас говорится, идет-идет, и куда же? Прямо в табак!.. Я ей кричу: «Ты-ы!.. Куда?» А она оглянется, видит, что я далеко, думает: «Ни-че-го! Ты меня не догонишь!..» А сама дальше!.. А там же шпорыш промежду табаку, а он же сладкий!.. Ну, ты же, стерва, табак мой топчешь ногами, хоть ты его и не ешь, а это же чистый вред называется!.. Я грудку взял, в нее бросаю: «Куда, стерва?» А она себе дальше... Я цапкой в нее кидаю, ну, конечно, далеко,

не докинул, а ей вроде бы игра: посмотрит, а сама дальше! И веревка та, ведь она за нею же волочится, а табак еще маленький, она же его, веревка та, душит... Не иначе — бежать мне туда к ней... Бегу, а она еще дальше... И хвост задрала, бегает по табаку... Игра тебе, стерва? Тебе игра?.. Вот же я распалился!.. До того я распалился, думаю: «Ну, догоню, убью!..» Я ведь ночей не спал, руки-ноги мне ломят, и пальцы все у меня потрескавши, болят... Из-за чего же все это? Из-за табаку. А она, стерва, по этому табаку, хвост задравши!.. Бегу я к ней, а сердце у меня бух! бух!.. Как все равно кузня там... и в глазах у меня пот красный... И уж даже телку ту насилу разобрать могу от того поту... Бегу,— конец ей; убью!.. А она (хи-итрость в ней!) крик мой поняла и домой норовит через овраг... А веревка, конечно, за ней... А тут куст один колючий,— боярышня у нас зовут, не знаю, как по-вашему... Она мимо того куста, а веревка же само собою узел на конце имеет, и в том кусту застряла... Телка моя с размаху, как бежала, хлоп!.. (Тут Дрок проворно присел на землю показать, как именно хлопнулась телка.) Так что передние ноги под нее, а задние в обе стороны (это он тоже показал). Называется по-нашему «расшагнулась»... Если б старая корова так, ту бы означало резать, та бы уж встать не должна... Ну, а у телки кости еще мягкие, хрящик... Лежит она, бедная, а я к ней добегаю: «Ага, сволочь!.. Ты от меня бегать?!» Да грудкой ее в спину!.. Да еще грудкой!.. А веревка же ей глотку затянула, язык она вывалила, и глаза у нее даже закоченели. Я же внимания на то не обращаю, я знай ее колочу. «Ну, думаю, сейчас ей живой уж не быть!» А сам думаю: «Вот так и людей убивают...» И жалости у меня к ней ни вот такой капли (Дрок показал кулак)... Не жалость, а стремление одно, как ее половчей ударить... Ногой я ее поддел, она кувырк с бугорка... Ну, думаю, подыхает... И откровенно сознаюсь вам, ничуть мне мою телку не жалко, а только у меня одна радость: «Не ушла же ты от меня, стерва!» А она, вижу, дернулась и стала, под бугор она уж упор своим коленям имела, веревка ей отпустила... Стала и на меня глядит и дышит... А я... тут колючий куст такой, будяк по-нашему,— он цветами красными цветет и много от себя веток пускает... Сорвал я его, бью ее будяком по морде: «Ты будешь? Ты будешь? Будешь по табаку скакать?» И такая у меня радость, поверите, что не по ее вышло, а я ее настигнул... А корова моя, как я думал, она умная, посмотрела — меня

близко лет,— дай, думает, и я пшенички попробую... Залезла так, где погуще (Дрок чиркнул себя по животу), тут спешит, рвет... Я ей: «Манька! Манька, черт!» Безо внимания!.. Я телку бросил, как она уж все равно уйти не могла, бежу к ней... А та, все же она умнее телки, повернула на прежнее, щипет, а сама на меня смотрит... Добежал я до ней, как хватил вот так, извиняюсь, за ро́ги (тут Дрок очень крепко схватил Веню за обе руки и выкатил страшно глаза): «Ты-ы что это, а?..» Ведь это уж целая животная, а не то что телка... Роги у ней вострые, а я к ним животом пришелся, к рогам... Держу ее, а у самого думка: «Двинет меня сейчас, ведь это животная, я и полечу!..» Думка есть, а руки знять я уж не могу, а только давлю крепче... (Тут Дрок сдавил руки Вени, как клешнями, и нижняя челюсть у него задрожала.) И так я минуты три стоял, и корова стояла... «Почему же она стоит?— так я себе думаю.— Потому не иначе, что вошла она в понятие, и мне она стала покорная... Ведь я же работаю, разве она не видит? Ведь я же всю эту землю расковырял на ее почти глазах, а она корова уж немолодая...» «Ты ж понимаешь, тварь ты?!» Вот так ее за роги трясу (он показал и это на руках Вени.) Она стоит вкопанно... И до того мне была тогда радость... Вот, думаю стою, и Петр Великий также... сына родного убил!.. За что же он его убил? «Я город на болотной местности строю, а ты моей смерти только ждешь, чтобы всю мою работу к свиньям!..» Я извиняюсь. «Так я ж тебя удушу, сволочь ты этакая!.. Потому что ты мой кровный сын, и должен ты меня пуще всех чужих слушать: я тебе отец, а не что!.. А ты против свово отца идешь, ты его смерти ждешь, так вот же тебе смерть за это!..» Правильно!.. И я бы так само сделал... И вот тут думка моя на вас... (Он отпустил наконец руки Вени.) Говорил же, думаю, мне человек этот как-то: «Подчиняться надо, а что из того выйдет, потом уж смотреть!..» А я осерчал тогда на вас, извиняйте... Вот корова моя мне подчинилась, и большой шкоды она мне не сделала, и она послушная в моих руках... Может, думаю, она поняла свово хозяина, что нельзя ему вред приносить... «Тебе сейчас есть что кушать, а зимой из этой пшеницы отруби тебе будут, а год плохой будет, и солому пожрешь, все ж таки ты жива будешь, а вот пущу я тебя зимой на снег, ты и сдохнешь...» И так я, за роги взявши, минут, должно, не три, а десять стоял... Я об своем думаю, она, животная, об своем, и только ноздрями дышит... А только

вижу я так, стали мы оба с нею согласные... «Ну, говорю, теперь иди, и бить тебя не стану...» Она два шага прошла, головой поболтала и опять себе траву щипать, а я за цапку... А довольный я от этого утра вот до чего! (Он опять чиркнул по шее.) Ну, с тем до свиданья!..

И Дрок снова протянул Вене желтую ладонь.

V

Ванька пас корову и насмотрел в канаве среди давнего мусора что-то позеленевшее, медное.

Ковырнул ногой,— оказалась небольшая граната.

В апреле восемнадцатого года штук двадцать таких гранат было послано с советского истребителя в город, занятый тогда отрядом контрреволюционных повстанцев — татар, и этого было достаточно, чтобы отряд кинулся в беспорядке в горы.

Граната, найденная Ванькой, должно быть, была кем-то потеряна, и никто не заметил ее целых десять лет. Таинственная, прильнула она теперь к рукам Ваньки, и он зажал ее крепко, по-воровски оглядевшись кругом.

Тут же в канаве он обтер с нее приставшую землю, потом куском кирпича старательно очищал с нее зелень, пока не заблестела, как новенькая. Теперь она стала похожа на большой ружейный патрон, и только теперь догадался Ванька, что именно он нашел.

Когда подошли к нему двое других пастушат, ребятишки счетовода Штукаренки, он сказал им важно, показав гранату:

— Это, вы думаете, что, а?.. Это, брат, такое, что стреляет!

И Ванька поднял гранату, как револьвер, и прищурил глаз. Штукарята отбежали с визгом. И так пугал их Ванька несколько раз, пока не надоело. Потом положил гранату на землю и стал швырять в нее камнями.

— Сейчас выстрелит! — предупреждал он Штукарят торжественно.

Нацеливался, иногда попадал и даже сбрасывал ее с места камнями, и она откатывалась, поблескивая начищенными пятнами, но не стреляла.

Даже и Штукарята осмелели. Одного из них звали Олег, другого Игорь, оба они страдали полипами и держали рты, как голодные галчата. Старший, Олег, счел даже своим долгом осмелеть гораздо больше, чем брат.

Он подошел к самой гранате, подбросил ее ногой, отбежал и засмеялся игриво:

— Вот это так стрельнула!

Ванька в досаде на это крикнул запальчиво:

— Не трожь!.. По морде получишь!

Однако граната стрелять не хотела,— это была обидная правда. И, разыскав в той же канаве среди мусора толстый гвоздь и зажав в руке камень-голыш, Ванька взялся за свою находку насупленный и сердитый.

У Штукарят тоже была корова и телка, как и у Ваньки, и теперь четверо четвероногих, дружелюбно обнюхавшись и закинув на спину хвосты, разноцветно мелькая между кустами, бодро уходили от своих пастухов, склонившихся над своенравным медным цилиндром.

Очень много было солнца, и застоялся около воздух до большой густоты. В стороне от ребят домик с двумя старыми кипарисами явно спал, разомлев; синие тени от кипарисов на белой стене тоже спали: смолою пахло удушливо...

Ванька сидел, вытянув ноги и между ног положив гранату, по которой то здесь, то там с размаху рассерженно бил камнем. Надорванный козырек его кепки болтался отчаянно, так что Олег, сидевший на корточках около, следил за этим козырьком, разинув рот, а Игорь стоял на коленях и очень внимательно смотрел на медную штуку, дыша с прищелками и сипом.

Камень, которым орудовал Ванька, был тонкий, и разбился, наконец, надвое, а медная штука только непобедимо поблескивала.

Игорь решил презрительно:

— Она не будет стрелять! — и поднялся с колен.

Но Ванька тут же скомандовал ему:

— Поди камень-дикарь найди, какой побольше!.. Ступай, тебе говорят!..

И ворчал ему вслед:

— Тоже знает один такой: «Не бу-дет»!..

А когда Олег хотел взять в руки гранату, Ванька ревниво толкнул его в бок:

— Не трожь! — и глаза сделались разбойничьи.

Тоненький девятилетний Олег только наполовину закрыл рот, но обида Ваньки была ему понятна, а Игорь уже тащил преданно порядочный кусок серого гранита.

— Ага!.. Есть такое дело! — важно сказал Ванька, принимая камень.— Вот теперь она у нас стрельнет!

Он поковырял гвоздем в одном замеченном им месте,— оказалась забитая сухой землей впадина. Сюда вставил он кончик гвоздя, подмигнул обоим Штукарятам, плюнул на камень, точно колдовал, плотно установил в земле снаряд «на попа», еще раз примерил гвоздь, еще раз подмигнул весело и ударил по гвоздю изо всей силы.

Десять лет дожидавшийся такого именно случая маленький снаряд оглушительно разорвался.

Игорь был убит наповал: осколок попал ему в любопытно раскрытый рот и развалил череп. Олегу раздробило ногу. Ванька же отделался дешевле: ему только оторвало прочь левое ухо и сорвало небольшой клок кожи с головы.

Первой обратила на это внимание пестрая корова Штукаренки. Она присмотрелась издали к лежащим ребятам и замычала протяжно. Потом из того сонного домика с двумя кипарисами неторопливо вышел старичок, сделал из обеих рук козырек над глазами и долго глядел, почему так странно лежат и как будто стонут даже после какого-то грома трое ребятишек?

В больнице койки их были рядом: Ваньки с забинтованной головой и Олега, которому в лубок заделали ногу. Жена счетовода Штукаренки тоже лежала в женской палате, самому же счетоводу было не до больницы: предстояла ревизия отчетности в горпо.

Босоногий Дрок сидел на табурете около койки своего старшего и глядел на его обмотанную голову остолбенело.

Сжимая на обеих ногах одни только далеко от других отставленные большие пальцы (он мог это делать), Дрок говорил придушенным голосом:

— Ты оказался всему этому делу зачинщик, и вот бог тебя перед неповинными спас... Они же молодше тебя и должны быть тебя глупее, а наказаны они дужче... И даже так (и тут он совсем понизил голос), что одного и на свете уж нет больше... Ты об этом что-нибудь думаешь дурацкой своей башкой? Думаешь или же нет?

Ванька отозвался угрюмо:

— А чего мне думать?

— Как чего думать? Как чего?.. Ты, выходит, для неповинных убийца и враг,— вот ты кто!

Глаз Ваньки сквозь бинты глядел дремуче и невозмутимо.

Дрок снова понижал голос до шепота:

— Этот мальчик — он безногий калека теперь будет, и

разве же он тебе простит?..— Никто свое уродство прощать не должон!.. Вот!.. И он так же само...

— А мне что? — спросил Ванька.

— Как это что? (Дрок разжал пальцы ног и сжал кулак.) Ты зачинщик этому делу, и бог тебя помиловал перед другими... Должон ты каждый день все молитвы читать утром и вечером...

Ванька молчал и глядел таинственно.

— Понял? — наклонился к Ваньке отец.

— Нет,— твердо ответил Ванька.

— Как это так «нет»? — отшатнулся Дрок, подняв брови.

— Зачем? — очень серьезно спросил Ванька.

— Молиться, что от смерти спас, зачем? — испугался Дрок.

— Кому это? — чуть насмешливо спросил Ванька.

— Богу, вот кому! — сказал Дрок громко на всю палату.

— А бога и вовсе никакого нет! — серьезнейше отозвался из-под бинтов Ванька.

Несколько длинных моментов Дрок сидел отшатнувшись и глядел только на белую, в тряпье, пухлую голову десятилетнего сына, потом он исподлобья оглянулся туда-сюда, не слышал ли кто ответа Ваньки, когда же убедился, что Олег Штукаренко спал (а соседняя койка в другую сторону от Ваньки была пустая), он просипел хрипло:

— Ты-ы... как это... смеешь так, подлец!

Ванька немного подождал с ответом, потом сказал просто:

— Так и смею.

— Кто же тебя наказал... и меня в том числе?

— Никто,— ответил Ванька.

— Ну, после этого издыхай! — бурно поднялся Дрок.— Издыхай, когда такая ты стерва!

И вышел из палаты торопливо и испуганно, ни на кого не оглянувшись кругом.

От ворот больницы Дрок, сам не зная зачем, но очень убористо шагая, пошел на квартиру к Штукаренке. Он не знал даже, о чем будет говорить с ним, только непременно хотелось ему узнать, есть ли в квартире его иконы.

Дрок был так растревожен, что даже не замечал, как он бормочет, глядя вниз на мелькающие свои пыльные босые ноги: «Кто больше наказан, тот больше и виноват!.. А Штукаренко же — он ведь член союза безбожников!..»

Наполовину ему казалось ясным это смутное дело, но если сам Штукаренко служил счетоводом и ему, может быть, иначе было нельзя, как сказаться безбожником, то жена его ведь просто была домашняя хозяйка, и на ее попечении росли дети.

Штукаренко от больницы жил далеко — в том же конце города, где и Дрок. Квартира его оказалась запертой, однако насчет икон Дрок справился у соседей. Икон не было.

— Та-ак! — понимающе качнул головою Дрок. Для него теперь совершенно ясной стала вся эта история с гранатой.

Чтобы попасть к себе, он должен был взять подъем и выйти как раз на свой участок. Подъем он сделал, не заметив его,— так он был поглощен загадкой, которую задала ему жизнь. Когда же он стал на перевале, то увидел в недоумении: по земле его ходил Дудич, длинный, жилистый рыжеусый человек, поселившийся с женою в той самой комнате, которая ему, Дроку, показалась так несчастно мала. Дрок нарочно присел за куст и видел, как Дудич растирает на ладони колосья его пшеницы, как рассматривает он початки кукурузы, как ковыряет землю в тех местах, где у него бураки, и морковь, и пастернак.

— Эгей!.. Товарищ Дудич! — заорал, вставая и стервенея, Дрок.— Вы что там у меня хозяйнуете?

И прыжками, не предвещавшими для Дудича спокойного разговора, он ринулся вниз. Дудич посмотрел на него, пожал плечами, и, так как стоял он около ограды, то, спустив колючую проволоку с кола, перешагнул, высоко занося длинные ноги.

Даже и еще шага на четыре отступил от ограды Дудич: очень зло полыхали черные глаза Дрока, когда подбегал он к ограде, крича:

— Вам это чего у меня... надо было́?

Дудич покачал головою:

— Вот же человек вздорный, ай-яй-яй!.. Ну что же, я у вас украл что или как?.. Не украл же, нет, глядите! — и показал руки не менее дюжие, чем у Дрока.

— То я хорошо и сам видал, что не украл, а чего бы я ходил-топтал по чужому участку, раз он есть чужой? — кричал Дрок.

Дудич расправил рыжие усы, покивал головою, громко

плюнув вбок, не спеша повернулся и пошел, чуть согнув широкую спину, из тех спин, которые любят землю и которые любит земля.

VI

Не совсем безразлично относился Дрок к Недопёкину: пожалуй, он его даже побаивался немного.

Было однажды с ним такое, что, вполне доверчивый к своей земле, он выкопал из нее фалангу, которой никогда не случалось ему видеть раньше. Ядовитое паукообразное поднялось на задние ноги и кинулось на лопату Дрока. Ему даже показалось, что оно пискнуло при этом, и он отступил в недоумении шага на два и потом целый день был в раздумье.

— Ну, уж ежели пауки стали пищать и на людей кидаться, так это что же? — говорил он Фросе, и в этот день все ему казалось подозрительно преображенным.

Так же пугающе на его глазах — правда, не в один день — преобразился Недопёкин, и если он не мог бояться старика, совершенно бессильного, конечно, то зато он начал бояться старости, которая всесильна, и когда-нибудь с ним, Дроком, сделает то же, что с Недопёкиным. Теперь и старость Дрок представлял именно такою: она белая, она колченогая, она глупая, она сама не знает, зачем бременит землю, она просит, чтобы ее отравили, только потому, что отлично знает — никто не будет ее отравлять, так что и в глупости ее есть какая-то хитрость, а зачем эта хитрость? Между тем несколько лет назад Пантелеймон любил говорить с Недопёкиным, потому что тот, тогда еще не разбитый параличом, говорил очень складно: Дрок даже почтительно его слушал, как ученик учителя.

Когда простые, кряжистые землеробы, родились ли они в Звенячке или другом селе, подходили к сорока годам, они начинали прислушиваться к белобородым.

Сорокалетние сами подходили к завалинкам, искали мудрости шестидесятилетних: так строилась неторопливая прежняя жизнь во всех Звенячках, и Дрок подходил к Недопёкину, будто повинуясь инстинкту.

Они оба были крикливы, но здесь, на пустынной горе, они иногда понижали голос, как заговорщики, и часто оглядывались в стороны и назад.

Но было одно, о чем они говорили громко,— это о боге. Дрок верил в то, что одна белобородая старость только и может знать об этом как следует, и видел, что Недопёкин

знал. И, поговоривши с ним так час и более, Дрок начинал сверкать глазами, краснеть от шеи к ушам, и, вытянув пальцы к самым глазам старика, он кричал, сгибаясь в поясе:

— Там за другое что нехай они говóрят, что им завгодно!.. Но уж что касается за бо-ога, то уж за это любому я выдеру очи!

Однако оглупел Недопёкин на его глазах: стал косноязычен богопознавший, неподвижен, неопрятен, даже и страшен чем-то нелюдским; и еще заметил Дрок, как другие исконные хранители мудрости старики или глохли, или слепли, или совсем обрушивала их жизнь, как хлам, как ветошь; прежде их было куда больше, прежде они были гораздо заметнее.

По воскресеньям Дрок неизменно ходил в церковь. Он делал это торжественно. Он брал за руку кого-нибудь из своих мальчуганов и медленно шел по набережной к церкви. На голове его важно чернела фетровая шляпа. Она чернела так не только зимою или осенью, даже и летом; просто шляпа эта была то самое, в чем он, Дрок, должен был идти к обедне. Очень угловатое лицо Дрока под этой шляпой казалось каменно-величавым.

Когда его выбрали председателем церковного совета, он не только не удивился этому, но сказал серьезно и с достоинством:

— А кому же еще больше и быть председателем?.. А вже ж больше и некому, как мне!

И если прежде он был в церкви только очень показательно богомолен, то теперь, входя в церковь, он становился даже, пожалуй, высокомерен, как всякий, облеченный властью.

Землетрясение сильно повредило церковное здание, и это было первое, что поразило Дрока. Можно сказать, что трещины, засквозившие под куполом, в нем самом засквозили. Он и бежать хотел из Крыма больше поэтому: стало ясно вдруг, что действительно должен провалиться Крым, если даже церковь лопнула вкруг всего купола и накренилась колокольня. Он подходил теперь к церкви, не надевая шляпы, а подходить нужно было часто: в церкви запретили службы, даже хотели закрыть ее совсем как опасную для населения. Когда толчки прекратились и перебрались люди из легких фанерочных палаток в свои дома, заметались по прихожанам поп, древний уже, в линючей лиловой рясе, и дьякон — помоложе, похитрее, в рясе

из темно-синего репса. Поп выписывал даже «Вестник знания» и пытался вчитываться в статьи о морской капусте, о путешествиях угрей, об электронах и протонах, всячески пытаясь для самого себя согласить старую религию с новой наукой, но дьякон давно уже махнул на все рукою и шил на продажу мишек из бежевого кретона; он делал бы их из плюша, но где же было взять плюш?

По склонности к некоторому озорству и по насмешливости своей натуры он придавал мишкам из кретона весьма плутоватый вид, а так как ценой на них не дорожился, то шли они довольно бойко, и не только местные гречата, даже и гораздо более косные татарчата увлекались мишками дьяконского изделия. Беда была только в том, что трудно было доставать подходящий кретон, поэтому на всех торгах можно было увидеть дьякона: жадно следил, не появится ли какая-нибудь старая, но пригодная рухлядь.

Кроме того, он очень искусно делал чучела из птиц, но это уменье приносило ему гораздо меньше пользы: на чучела меньше находилось охотников.

Так как Дрок ни одному из своих ребят никогда не покупал никаких игрушек, считая это баловством, то не уважал он и дьякона, но попа он спросил шепотом, кивая на треснувший купол:

— Как понимать это, батюшка?

Древний поп, кутаясь в лиловую ряску, сидел около окна и читал в это время в «Вестнике знания» статью под ошеломляющим заглавием: «Действительно ли шаровидна земля, или она — многогранник?» — и, с оторопью сквозь круглые очки глядя на Дрока, он ответил ему также шепотом:

— Испытание!

Этот ответ был как раз тот самый, которого желал Дрок, поэтому рабочим-строителям он всячески силился внушить, что ремонт церкви они должны сделать бесплатно.

Деньги на ремонт собрали, церковь поправили, опять зазвонила колокольня, но беспечный церковный совет не застраховал рабочих. Он не страховал их и раньше, когда приходилось делать покраску крыши, побелку стен. Наросла большая пеня.

Между тем зажиточные раньше и богомольные греки, бывшие лавочники и табаководы, теперь обеднели. Зашу-

шукались русские старушки и начали было ходить по дворам, кланяясь низко и жалобно выводя:

— Пожертвуйте, что в сила́х ваших, на церковь божию!..

Но очерствели людские сердца.

Собрали так мало, а срок уплаты по суду в страхкассу был уже так близок, что дьякон забрал все, что было собрано, сказал совершенно убитому и растерявшемуся попу, что поедет жаловаться куда-то в центр и на суд и на страхкассу, и действительно уехал, и прошла неделя, две, шла третья, а он не возвращался.

Для Дрока настали дни настоящего испытания: теперь он должен был спасать церковь, он один. Последнее, что прочитал ветхий поп в «Вестнике знания», было: «Фотографирование желудка». Это новое изобретение какого-то американца было для него каплей, переполнившей чашу всяческих бед: он слег, укрылся лиловой ряской, и, когда к нему приходили старушки справиться, как же быть с деньгами, он тянул жалобно:

— Что же я-я?.. Отхожу уж я!.. Идите к председателю совета... Он это должен...

И отворачивался лицом к стенке.

Дрок взялся было за дело яростно, как за всякое дело. Так как шел уже октябрь, то земля отдыхала от него, он от земли, и в маленьком городке на узеньких уличках он метался в волнении чрезвычайном. Он обходил прихожан, уже не вымаливая, как старушки, а требуя. Он кричал и ругался. Из двух квартир его выгнали. Одна скромная женщина на всю улицу кричала ему вслед:

— Вымогатель!.. В милицию сейчас пойду!.. Вымогатель!..

К концу третьего дня метанья по городу Дрок чувствовал себя куда более усталым, чем это было при его обычной работе: как будто бы церковь падала, а он вздумал ее поддерживать, упершись ногами и подставив плечи: ноги у него начали дрожать, спина ныла. Даже и Фрося решилась сказать ему:

— И будто бы церковь, что же она,— ребят, что ли, наших будет кормить?

Сказала между делом и пошла доить корову, но Дрок ничего не нашел, что́ бы ей ответить: подходил уже срок взноса денег, и страхкасса грозила описать двадцатку.

— Как это вы говорите: описать? — яростно спрашивал Дрок.

Ему ответили:

— Очень просто: описать имущество и продать с торгов.

— То есть, это значит и мою хату тоже?

— Раз вы председатель, то значит с вас первого и начнем.

В страхкассе сидели серьезные люди, Дрок это видел. Ему начало казаться, что делатель детских мишек и птичьих чучел просто ограбил церковь, весь приход, ограбил и его, Дрока, тоже, потому и бежал.

Однажды он встал в три часа ночи, зажег лампочку и на клочке линованной бумаги дрожащими неуклюжими буквами написал объявление в газету:

«Я, Пантелеймон Дрок, совершенно от леригии отказуюсь!»

Ему казалось, что написать надо было гораздо больше и объяснить все, но сведущие люди, с которыми он толковал в этот день, сказали ему, что чем объявление длиннее, тем дороже.

Утром он послал это объявление, положив в конверт рублевую бумажку.

Объявление напечатано не было; рублевая бумажка пропала так же, как пропал без вести и дьякон, но Дрок больше уже не хлопотал о церкви.

Кстати, ветхий поп отошел, и церковь отдали под клуб пионеров.

VII

Давно мешал Дроку большой камень на его земле — кусок серого гранита, и когда вырыл он ниже камня ко́панку для дождевой воды, явилась дельная мысль спустить камень в ко́панку: пусть там и лежит.

Но, заложив лом под камень и понатужась поднять его, почувствовал Дрок, что хряснуло у него в пояснице, и руки сразу стали бессильны, и обмякли ноги. Лом он оставил под камнем, а сам, звериным инстинктом почуяв, что надо скорее домой, смурыгая ногами, согнувшись, опираясь на держак цапки, кое-как добрался к себе и лег на кровать в сапогах, как был, а когда хотел подняться и снять сапоги, не мог уже этого сделать.

Фрося, придя с базару, спросила крикливо:

— Ты что же это — с грязными чоботами на одеяло?

Дрок поглядел на нее кротко и ответил вполголоса:

— Вступило.

Он слышал, рассказывали старики, что иногда что-то такое «вступает» в поясницу, и уж не сомневался в том, что это оно самое и есть. В небольших лесовых глазках его была теперь не только кротость, еще и недоумение, и даже испуг, и тоска, пожалуй.

Когда Фрося принялась стаскивать с него сапоги, он вскрикивал и стонал от боли.

— Что же это такое обозначает? — робко спрашивал он жену.

— А по-чем же я зна-аю?..— кричала Фрося, и зеленоватые ее глаза с золотыми искорками выражали не сожаление к нему, а в них была — он это видел — явная злость.

Только теперь, лежа бездельно на спине весь день, он замечал, как нет у нее ни минуты времени для жалости к нему. То она готовит у плиты, то рубит дрова, то идет кормить и доить корову, то бежит отбивать курицу у ястреба и визжит при этом пронзительно, чтобы его напугать, то укачивает маленькую, то оттаскивает от дверей Алешку, обдуманно набивающего себе шишку на лоб, то утешает плакучего Кольку, то чинит рубаху Митьке, то разнимает Ваньку с Егоркой, которые вцепились друг другу в волосы, сосредоточенно колотят друг друга ногами и сопят... А вечером, при лампе, он знал, ей надо еще сидеть допоздна за папушами.

— Может, ты бы в больницу меня? — робко сказал ей Дрок на другой день утром, увидя, что ему не лучше.

Но она ответила сурово:

— Куда это в больницу?.. Лежи уж! — и растерла ему поясницу скипидаром. Она помнила, что во время голода, когда у соседей валялась и била ногами лошадь, растерли ей крестец скипидаром, и она вскочила как встрепанная. Она думала, что так же вскочит и Пантелеймон, но он не поднялся.

На ночь она растирала его камфарным маслом, утром — горчичным спиртом; однако и это не помогло.

Как-то летом, когда здесь были приезжие, привлекаемые широким пляжем, и поселялись они не в одних только домах отдыха, Фрося носила молоко на одну небольшую дачку, и ребята из того времени запомнили такую сцену:

— Кому молоко раздала? — спросил отец.

— Денег не получала, бо такие, шо постоянно брать будут,— ответила мать.

— Значит, их записывать же надо или как?

— Вот и записуй: тому, что бородка рыжая, — этому две кружки,— бойко стала перечислять мать.

— Как это бородка?.. Какая бородка рыжая?.. Фамилие его как? — крикнул отец

— Даже фамилии я не спросила!.. А тому еще, дверь у него тугая, он сам из себя бритый, худой,— так тот полторы кружки взял...

— Как же это я его должен записывать?.. Дверь тугая?..— кричал отец.

— Ну, а что такого?.. Ну и «дверь тугая»!..— кричала и мать.— Он рукастый такой, я его помню... А женщина еще одна взяла,— она стриженая под бобрик и так что юбка до колен... Этой кружку одну...

— Черт тебе пусть записывает!.. «Юбка до колен»!.. У всех теперь юбки до колен! — и отец разорвал бумажку и бросил на пол, туда же и карандаш швырнул, дверью хлопнул и на дворе потом долго еще ругался.

На другой день мать пришла уже довольная и сказала отцу:

— Ну вот, узнала, как ихние фамилии, а ты уже думал: они с нашим молоком куды-сь забежать должны!.. Этот, шо бородка рыжая,— он опять две кружки взял, и молоко ему понравилось,— так этого звать Зайчик...

— Зайчик? — переспросил отец.

— Зайчик... А тот, бритый, рукастый, так тот Мейчик...

— Как это Мейчик?

— Ну, а черт его знает!.. Мейчик... Так мне сказал и даже на записочку записал,— там, в бетоне, записка... Он по одной кружке брать будет, больше ему не нужно... А женщина, юбка короткая, та — фамилие Тонконог.

— Тонконогова?

— Сказала так, явственно: Тонко-ног!

— Почему же они такие подобрались?

— А я знаю? — ответила мать и пошла мыть бидон.

Они же ребята, старшие трое, переглянулись, и Ванька густо сказал Егорке:

— Зайчик!

— Мейчик! — тут же отозвался Егорка.

— Тонконог! — подхватил бойкий Митька.

И через минуту они уже кружились по комнате, приплясывая, притопывая, подпевая:

— Зайчик, Мейчик, Тонконог!.. Зайчик, Мейчик, Тонконог!.. Зайчик, Мейчик, Тонконог!..

— За-мол-чать, гадюки! — крикнул на них отец. — Песня вам это, что ли?.. За-мол-чать, босявки!..

Но так просто взять и замолчать, когда такое подвернулось, не могли, конечно, ребята, и стоило только одному сказать: «Зайчик!» — как другой подхватывал: «Мейчик!» — и ими овладевал бес крайней веселости и не добавить еще и «Тонконог!» было совершенно невозможно.

Тогда отец избил их.

Но вот теперь он лежал днем на кровати — широкой, желтой, деревянной кровати, — непривычно неподвижный, и глаза у него ввалились. И именно теперь, когда матери не было дома, маленькая спала в люльке, а Колька с Алешкой возились где-то на дворе, около коровьего сарая, когда только они, трое старших, расположась около плиты, азартно играли в перышки, Митька сказал вдруг радостно и звонко, точно его осенило что-то необычайное:

— Зайчик!

— Мейчик! — глухо подхватил Егорка.

— Тонконог! — припомнил Ванька.

Они перебросились этими подмывающими словами, как боевыми сигналами, несколько раз и вдруг закружились по комнате неудержимо.

— Зай-чи-и-ик, Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!.. Зай-чи-ик, Зайчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог! — в упоении визжали они по-поросячьи.

— За-мол-чать, вы! — крикнул было Дрок, подняв голову, всклокоченную и в пуху.

Они видели, что теперь отец не погонится за ними, не вскочит даже, что он будто связан веревками, а они — вот они, возьми их теперь за уши! — им хочется визжать, и они визжат, и топают, и пляшут, и кувыркаются... «Зай-чи-ик-Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!»

Разбуженная, залилась звончайшим плачем маленькая в люльке. На пение и крик пришли Колька с Алешкой и, сразу поняв, что надо делать, тоже начали подвизгивать и подтопывать, и вот уж пятеро закружились около неподвижного Дрока, голося разноголосо:

— Зай-чи-ик-Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!

Дроку стало наконец страшно.

— Я же вас породил, босявки, и вы же меня так, гадюки! — пытался он кричать, протягивая к ним руки с разжатыми пальцами.

Но они пятеро заглушали его, а маленькая шестая будто вторила им пронзительным плачем.

— Фро-ося!.. Да куды же тебя черти унесли! — старался перекричать их Дрок.

А старшие трое, точно входя в больший и больший задор, стали подскакивать к нему. Он размахивал руками, стараясь напугать их. Но они увертывались от рук, ноги же его были беззащитны, ногами он не мог двигать от боли.

Дрок начал шарить кругом себя глазами, чем бы в них бросить, но, кроме подушки, нечего было захватить руками. Бросил подушкой, стараясь попасть в наиболее верткого и горластого Митьку, но попал в Алешку и сбил его с ног. Алешка стал очень часто и деловито стукаться об пол затылком, чтобы зареветь в голос.

К маленькой, все продолжавшей брать самые высокие ноты в своей люльке, пристал Алешка, набивший наконец порядочную шишку на затылок.

Проходивший мимо старый печник Заворотько услышал визг и плач и завыванье и зашел в раскрытую дверь. Он думал, что в домишке Дрока покойник. Стаскивая картуз левой рукой, он уже приготовился креститься правой, и когда ребята замолчали и отодвинулись, увидел, подслеповатый, что лежит на кровати длинное тело.

— Вот тебе на! — сказал он оторопело и горестно и закрестился частыми крестиками.

— Держи их! — закричал вдруг ему вне себя Дрок.

Заворотько, как ни был слеп, разглядел перекосившееся яростное лицо Дрока, перестал креститься и спросил недоумело:

— А чего ж ты их сам не фатаешь?

Между тем ребята брызнули на двор, только Алешка остался сидеть на полу, но уже отхныкивал и глядел на высокого старика с любопытством.

— Я их воспитую, я их кормлю-пою, а они — вон как они! — жаловался Дрок Заворотько.

Заворотько пощупал плиту, нет ли где трещин, нашел табуретку, сел в головах у Дрока и слушал его долго и участливо. Даже встал и покачал люльку, чтобы заснула маленькая. Он любил заходить туда, где клал печи, потому что часто угощали его вином. Для поясницы посоветовал свиного сала пополам с керосином. О ребятах сказал:

— А какие теперь ребята?.. Так, абы что... Они теперь, чуть отец их за вýхи, в милицию заявляют,— вот как!..

И, слушая жалобы Дрока и думая о вине, часто вставлял:

— Вот же пропала твоя хозяйка, ну и пропала ж!.. Чи не забегала до какого-сь суседа дальнего?.. Вот так пропала!

А когда пришла наконец Фрося, запыхавшись и кинувшись от дверей к люльке, Дрок только приподнял голову ей навстречу, покачал головой и отвернулся к стене.

VIII

Ветеринар Обернихин, тощий, задумчивый человек в бурке, на которую садились ленивые пухлые снежинки, и в рыжей кубанке с белым верхом, стоял в дверях коровьего сарая Дрока и говорил медленно и важно:

— Да-а... Случай из рук вон замечательный...

Он появился в городе не так давно,— раньше был другой, очень речистый, толстый, хороший охотник на зайцев, но его перевели в Вятку, а об этом говорили, что он не то из Томска, не то из Омска, вставая по утрам, поет тягучие сибирские песни и едва ли даже ветеринар.

Пахом Безклубов, извозчик,— Дрок знал это,— привел к нему недавно свою серую кобылу, которая перестала есть, и обстоятельно объяснял:

— Зуб у нее, понимаете, сломался кутний, и тычет он ей, понимаете, в самую мякоть востряком... Разумеется, по причине такого востряка кушать она отказывается совсем... Желаете посмотреть? Сейчас я ей рот раззявлю...

— Нет, зачем это? — сказал ветеринар. — Не видал я зубов кобыльих?.. Зуб он и есть зуб... Чем я могу ей помочь, ежели он сломался?

— А как же, товарищ? — удивлялся Пахом.— Тут дело сущий пустяк... Машинка такая есть зубная... Ее, машинку, к зубу приставить, после того толкнуть,— он и долой...

— Машинка такая есть... Угу... А хотя бы ж машинка была, — как же ей зубы разжать, твоей кобыле?.. Ты ей разожмешь, а она тебе палец оттяпает...

— Зачем же, товарищ, своими пальцами действовать? — удивлялся Пахом. — Для этого ж растопырка такая есть, она и действует...

— Ага, растопырка... Растопырка — это другое дело... Это, конечно, можно представить...

— Так, стало быть, выбьете, товарищ?

— Что выбью?

— Да зуб этот...

— Ни-ка-кой рас-то-пыр-ки у нас тут не-ет!.. Ни-ка-кой ма-шин-ки не-ет!.. Понял?

— А как же быть теперь?

— А так же... Написать можно в центр, может, там имеются... растопырки эти всякие... Бумагу написать об этом...

— Так это же сколько времени ей, бедной, ждать придется? — испугался Пахом.

— Сколько?.. Может, неделю, а может, весь месяц...

— Так она же околеть через это должна, кобыла моя! — ударил горестно ее по крупу Пахом.

— Небось!.. Захочет жить — не околеет...

— Пойдем, Дунька, к кузнецу, когда такое дело!

И повел Пахом свою серую Дуньку в кузню, и кузнец Гаврила, запойный пьяница, с раздутым синим лицом, выбил ей зуб без растопырки и без машинки, действуя только молотком и пробоем.

Рыжую телочку выгнали из сарая, чтобы не мешала, и она жевала в стороне сухое, колючее перекати-поле, всячески изловчаясь забрать его в рот целиком, а Манька лежала, не подымая головы на Обернихина, как будто думая про себя, что он ей все равно не поможет. Дрок же так не думал, он боялся так думать, он надеялся тем более, что и сам он лежал пластом четыре дня, а вот встал же, встал, как только услышал от Фроси, что Манька отелила бычка такого же черного, как сама, только лоб белый. Это было рано утром, и он просто спустил ноги и пошел смотреть бычка: в ногах оставалась только слабость, но можно было держать при ходьбе тело так, что боль в пояснице отдавалась тупо и не при каждом шаге.

— Вот же я поднялся, — так говорил Обернихину Дрок, — человек один — ну, может, вы его и знаете, — Заворотько печник совет дал, чем помазать... Ну неужли ж для коровы какого средства нет?

— Подоила ее я утром, полную доенку дала, ну, правду сказать, шумы́ много было, — объяснила Фрося торопясь, а ветеринар перебивал вдумчиво:

— Какой же это такой «шумы́»?

— Ну, по-русскому называется «пена»...

— Ага!.. Та-ак...

— А потом еще в кастрюлю бутылок пять дала... И ничего, на пойло кинулась с жадностью... Я ей и то молозиво ее отдала всю доенку, бычку и в кастрюле довольно, — и молозиво она выдула.

— Зачем давала? — строго сказал Обернихин. — Не нужно было давать...

— Ну, у нас же все бабы так привыкли, — и ничего...

— Глупо!.. Очень глупо...

— И сено потом трескала... А в обед пришла доить, тут уж она только три бутылки дала, и смотрю — на носу у ней пот холодный... Потом к вечеру уж легла вот...

— Помещение у вас для коровы скверное, — важно сказал Обернихин. — Хлева должны быть утепленные, отчего скотина прибавляет молока вдвое...

— У нас зима теплая и так, — и оглядел Дрок весь сарай, который он делал так старательно, одна на одну вна́полз набивая доски.

— А это что такое: кровь у нее под хвостом? — вдруг спросил Обернихин, тыкая носком сапога в податливое вымя Маньки.

— Да ведь после стелу же! — удивилась Фрося и добавила с опасением: — Мне то́ страшно, а вдруг это́ стельная горячка у нее?

Она просительно посмотрела на впалый мутный глаз ветеринара, глубоко ушедший под выпуклую надбровную дугу, и глаз этот прошелся безразлично по ней, смерив ее от головного старого линялого платка до щедро унавоженных калош на босу ногу, а потом тонкие, плоские, как блинцы, не моложе как сорокапятилетние губы чуть шевельнулись:

— Все может быть... Может, и горячка стельная...

— Так ведь если ж горячка родильная, прививку скорей нужно делать! — весь так и подался к нему скрюченный в пояснице Дрок, который почувствовал, что от этих слов ветеринара опять «вступило».

— Выдумывают тоже! — отвернулся Обернихин. — Каки-е тут прививки?..

И в полутемном уже вечернем сарае около самой его двери, двигавшейся не на петлях, а на скрученной втрое жженой проволоке, скрестились четыре пары глаз: две пары острых, пронизанных и просветленных смертельным испугом, — глаза Дрока и Фроси, и две пары тусклых и равнодушных, безучастных к тому, что было около, — глаза поднявшей голову Маньки и ветеринара Обернихина, который услышал слабое призывное мычанье рыжей телушки и, еще раз пнув Маньку в вымя, спросил:

— А это взревело там — тоже от нее приплод?

Потом он поправил кубанку, запахнул бурку и медленно двинулся от сарая.

— Средство же какое-нибудь пропишите,— старался поспеть за ним, держась левой рукой за поясницу, Дрок.

— Завтра будет видно, какое ей средство, завтра об это время, — отозвался Обернихин и пошел неожиданно очень подбористо, делая широкие шаги, и бурка его развевалась при этом торжественно и неумолимо.

Дрок спросил Фросю:

— Что же он признал в ней?

Фрося ответила оторопело:

— Да ведь ты слыхал сам иль нет?.. Горячка стельная!..

И оба пошли снова в сарай, сели на корточках около Манькиной головы и поочередно щупали ей рога, насколько горячи, и нозри, насколько они холодны и сухи.

— Мань!.. Мань, а Мань!.. — с расстановкой, искательно, с боязливой лаской в голосе сказала Фрося. — Или ж это тебе в голову вдарило, что я тебе, злодейка, доенку молозива дала?..

— Ма-анька! — закричал вдруг Дрок, схвативши ее за оба рога, как он это сделал раз, когда залезла она по брюхо в зеленую пшеницу. — Мань-ка, че-ерт!.. Ты что же это с нами делаешь?.. Вставай, стерва!.. Вставай, ну, вставай, черт!.. Вставай!..

И, сидя на корточках и не зная еще, сможет ли разогнуться и подняться сам, он тряс за рога корову, однако корова только вздохнула шумно и перебрала медленно лопушистыми ушами.

— А может, у нее тоже ревматизм? — попробовала утешиться Фрося, но Дрок, заметив подошедшего в это время Кольку, крикнул ему ожесточась:

— Гляди!.. Иди гляди, как корова наша подыхает!

Колька привычно поспешно спрятал в щелки глаза, открыл мелкозубый слюнявый рот и залился плачем.

К утру Манька действительно издохла. Войдя к ней часов в пять с фонарем (еще было темно), Дрок услышал, как выдохнула она с жужжащим глухим звуком, как из пустой бочки, последний воздух, уже вытянув ноги прямо и уложив голову покорно и покойно.

Рыжая телочка стояла, испуганно вдавившись боком в стенку сарая, и широкие глаза ее показались Дроку прозрачно-голубого цвета.

Проходивший часа через три в школу мимо хаты Дрока тщедушный, но неутомимый Веня крикнул Егорке и Ваньке, своим ученикам:

— Ребята, кирку и лопату бери!.. Вчера клыки мамонта нашли, пойдем откапывать!

Дрок спросил глухо и строго:

— Это какого такого мамонта?

— А это... вроде слона лохматого, — беспечно ответил Веня.

— Сло-на-а?.. Коровы бы дохли, а слоны бы водились?..

Дрок стоял скорченный, но, не вступись Фрося, он много мог бы наговорить ничего не понявшему Вене: глядеть на людей ему было трудно теперь: рябило в глазах.

IX

Дул норд-ост.

На пристань шли и шли шальным пьяным приступом кипящие трехметровые волны; двухтавровые балки раскачивались, пристань скрипела.

Около, через речку, которая заметна была только зимой, когда шли ливни в горах, перекидывали новый железобетонный мост, хотя вполне исправен был деревянный старый, стоявший рядом, шагах в двадцати от впадения речки в море. Кучи пустых цементных бочонков нагромоздились тут же, и ветер стремился вырвать из них серую бумагу. В косматом от туч сизом небе сверкали крыльями и визжали голодные чайки. Вразнобой стучали обухами топоров плотники, делая настил для бетонной массы.

На толстом, сыром, краснокором сосновом бревне сидел Дрок рядом с татарином Сеит Халилем. Халиль был дрогаль, старик с очень морщинистым лицом, но с дюжими еще плечами. Глаза слабо были заметны, и Дрок не мог разглядеть и теперь, как никогда раньше, карие они или серые, но загнутый нос его был огромен.

— Ишь рвет, черт губастый! — говорил о ветре Дрок, со злостью следя, как нагибались напротив, во дворе грека Гелиади, средних лет кипарисы.

— Тепер да меньше стал!.. А вчерась — ай-ай-ай, что он делал!

Сеит Халиль совсем сморщился, остались только нос да шишка подбородка.

— Я об этом и говорю, что овчо́ра ночью он сарай мне раскрыл! — блеснул глазами Дрок. — Пьять пудов табаку загубил! Понял?.. Как линул дожж, так и... туда к черту!

— Це-це-це!.. Гм... Пять пуд!.. Табаксоюз теперь что давать будешь?

Шапка Халиля была дырявая; от зеленоватой, вытертой добела, лопнувшей под мышками теплой куртки пахло топленым бараньим салом. Он стал вдруг очень таинственным, когда подвинул свою голову к голове Дрока и сказал тихо:

— У меня лошадь купи, а?.. Тыридцать урублей дашь, айда, бери!.. Сто десят сам платил, правду тебе говорим...

— На черта мне лошадь зимой? — отвернулся от него Дрок.

— Как это, на черт, на черт?.. Тебе карова здох, сена остался!

— Ну?.. А твоя лошадь чтоб мое сено сожрала?

— Када купишь, не мой лошадь будет, твой лошадь будет: он мерин...

Мерин этот, белый, шершавый, с подстриженной гривой и куцым хвостом, запряженный в старые дроги, стоял тут же и оглядывался на Халиля, точно подозревал его в какой-то гнусности, а между тем Халиль его расхваливал, как умел:

— На горá куды хочешь, — айда!.. Он такой, кнут ему не надо, сам да идот!

— Что, другого одра приглядел, — купить хочешь? — спросил Дрок, зная, что лошади у Халиля долго не держались.

— Верна! — радостно ударил его Халиль по колену, и тут он поднял редковолосые брови, весь просияв, и в первый раз заметил Дрок, что глаза у него серые, даже совсем белесые, что редко встречается у татар.

— Не купишь ты, другой человек не купит, никто не купит, айда гоню его на яйлá, нехай там пасется...

И Халиль сунул грязную старую руку Дроку, сел на дроги, крикнул, подобрав вожжи, и вот белый шершавый мерин, точно желая показать Дроку, что он совсем не такой одер, как тот думал, с места пустился скакать, как оглашенный.

Лошадей все продавали за бесценок, это знал уже Дрок; он думал раньше, не купить ли лошадь, теперь он видел, что не стоит, но почему не стоит, было не совсем ясно.

Два брата плотники, Денис и Никита Подскребовы, тоже стучали тут топорами, а техник, со значком на фуражке, считал толстые вершковые доски, в стороне лежавшие штабелем. Дрок прошел по старому мосту, серчая на этот крепкий новый лес, и думал о своем сарае, раскрытом бурей.

— Что лодыря гоняешь? — крикнул ему Денис.

Боль в пояснице прошла у Дрока, но осталась какая-то недоверчивость к ногам, и неуверенно поворачивалось тело, поэтому Дрок только повернул голову к Денису и перебрал нижней челюстью раза два, но ничего не ответил, прошел.

Он вышел узнать, нельзя ли получить страховые за корову. От ветра надвинул он старый суконный картуз на самые уши, а руки держал спереди, засунув их в рукава, как в муфту.

На своем месте, как всегда, сидела Степочкина Аксинья, пирожница. Раньше у нее была палатка на берегу, как раз около автомобильной конторы, и все, кто ехал дальше на Южный берег, покупали у нее яблоки, орехи, булки, копченую кефаль и мало ли что еще. Но палатку закрыли; теперь ее переделали, покрасили охрой, поместили в ней отделение кооператива, а Степочкина неизменно каждый день приходила сюда, садилась рядом на складном стульчике и устанавливала перед собой железный ящик, в котором горел примус: пирожки всегда были горячие.

Закутанная в теплый коричневый платок, с обычным обветренным багровым тяжелым лицом, она смотрела на всех с вызовом и упорством. Как будто все виноваты были в том, что прикрыли ее палатку, и надменные глаза ее говорили всем: «Хоть потоп, хоть издохну, а торговать буду!..»

Толстый отправитель автомобилей, стоя около конторы, покупал у охотника, цыгана Велиша́, ободранного ярко-красного со страшными глазами зайца. Но два рубля за зайца ему казалось очень дорого; он повторял задумчиво:

— Гм, Велиша, Велиша!.. Чи ты сдурел?

— На вот птица бери, полтинник дашь! — говорил Велиша. — Это, Исак, птица, ах! Чего-нибудь стоит!.. Называется ба́ложник...

И он вытянул из своей сетки вальдшнепа за самый кончик носа, чтобы дичь казалась длиннее, больше... Пока проходил Дрок, они все никак не могли сойтись в цене, оба очень черные, только цыган выше и тоньше.

Два крепких хозяина греки-виноградари встретились Дроку дальше — Канаки и Кумурджи; глаза их были горячие.

— Тебе восемьдесят рублей нет позычить? — загородил ему дорогу Канаки, но Кумурджи насунулся на него сбоку и сказал тише, но внушительней:

— Я тебе, слушай, про́цент больше дам! Мне дай восемьдесят рублей!

Оказалось, оба получили повестки на уплату немедленно

по восемьдесят пять рублей на землеустройство и вот ходят· ищут, у кого бы занять...

Направо от почты, на пустыре, где разобрали в двадцать первом году на дрова большой деревянный дом Пушкарева, увидел Дрок человек пять пожилых татар, а между ними письмоносца Желоманова. Желоманов, костлявый парень, низенький и с бельмом на одном глазу, но звонкоголосый, выкрикивал отчетливо:

— И еще надо вам то знать, товарищи, что уж не копать тогда вы будете под табак, которое, известно, работа вполне адская, а пришлют нам трактор сюда, и он враз все ваши земли перепашет на сто процентов!

А Мустафа Умеров (борода уже с большой проседью) подтянул широкие, красноватого толстого сукна шаровары и перебил его запальчиво:

— Постой!.. Товарищ, немножко постой, пожалуйста!.. Трахтор-махтор — что такое? Афф-тамабиль?.. Где у нас афтамабиль ходит, скажи?.. На соше ходит, другом месте не ходит!.. На соше что пахать будешь? Ка-минь?.. Другом месте — тама балка, тама го-ора, как ходить будет, скажи?

— Правильно! — буркнул Дрок, проходя мимо. — Морским цветом тут люди живут, а земля — она тут про́клятая! Ее никакой трактор не возьмет...

Когда шел Дрок обратно, он встретил на пустой набережной знакомого белого мерина; рядом шел, держа вожжи, Хахиль. На дрогах, прикрученный веревкой, покачивался и подскакивал простой некрашеный гроб. За гробом тяжело ступала, утирая слезы платком, Настасья Трофимовна.

Дрок понял: умер старик Недопёкин, везут его на кладбище закапывать в землю... Никто не будет больше кричать над его, Дроковым, полем: «На-стя-а!..» Едва ли сама старуха будет жить теперь так далеко, на отшибе, в пустом домишке: должно быть, переберется в город.

Дрок не говорил с нею с того самого дня, как Ванька разбил стекла, но смерть примиряет: он издали снял картуз и стоял так на тротуаре, пока проезжали дроги.

Халиль очень оживился, увидя его. Он крикнул:

— Смотри ты!.. Смотри хорошо!

И, подняв левую руку, распялил на ней пальцы и четыре раза наклонил ее так к нему, хитро кивая в то же время подранной шапкой на уныло шагавшего мерина.

Дрок понял, что он продает уже теперь лошадь за двадцать рублей, но покачал головой отрицательно.

Толстый нос Халиля сразу стал сердитый. Зло ударили

по мериновой спине вожжи. Потом гроб завернул в переулок, белея только что выструганным тесом.

Тяжелые ноги старухи, мешая одна другой, проволоклись за задними грязными колесами, из которых одно, заметил дрок, было даже и не круглое, а какое-то пятиугольное.

Ветер с Кавказа, холодный, упорный и очень плотный, не дул, а толкал в спину с яростью. Топоры на мосту стучали глухо.

X

Норд-ост протащил дождь дальше, а здесь сеялось что-то мелкое из охвостьев туч. И как-то среди дня, как будто тоже высеялся вместе с дождем, стал около домика Дрока с толстой дубовой палкой в руке и с вещевым мешком военного образца через плечо, высокий, плечистый, круглочернобородый, совсем незнакомый Фросе и по обличью даже нездешний, и спросил ее пытливо:

— А чи не здесь живе Пантилимон Прокохьич?.. Казалы мiнi, мабуть здесь, а там вже, як хозяюва скажуть.

Взгляд у него был хотя и усталый, все-таки немного почему-то лукавый, и Фрося медлила ответом, соображая, зачем мог бы прийти к ее мужу этот чернобородый. Она подумала, не сено ли привез он на базар из деревни Ивановки, и ответила, отвернувшись:

— Так коровы уже нема: пропала!

— Як так?.. Пропала? — живо подхватил чернобородый и снял даже шапку от крайнего изумления, — пожалуй, огорчения даже.

Оказалось при этом, что спереди он начисто лысый и лоб крутой и широкий. Тогда вышел из комнаты Дрок, который ходил сердитый все эти дни, и закричал срыву:

— То не у твоего тестя старого я сено купил месяц тому назад тюковое?.. Шесть тюков, хай ему кишки так попреют, как оно нашлось прелое в середке!..

И с размаху стал как раз лицом к лицу с чернобородым, блистая злыми запавшими глазами, а чернобородый отозвался ему вопросительно и не в полный голос:

— Пантик?

— Как это «Пантик»? — откинул голову Дрок.

— Ну, може, я обознався, тоди звиняйте! — пожал плечами чернобородый. — А только я, може, знаете, Никанор Прокохьич, а фамилию имею — Дрок.

Это был тот самый брат из Подолии, к которому во

время землетрясения хотел ехать Пантелеймон. Теперь его вытряхнуло оттуда сюда. Они не видались двадцать один год и смотрели друг на друга больше с недоумением, чем с радостью.

Потом они сидели за чаем рядом, и Фрося только и делала, что наливала стаканы: чай пьется без счета, когда так долго не видались братья.

— Ты же писал, шо ты обеднял совсем, ну, а как же потом ты? — спрашивал Пантелеймон, блестя потом:

— А писля то́го,— не спеша отвечал Никанор,— жинку з двомя дітьми до шуряка отправил в Винницу,— там же все ж таки город, а сам до те́бе...

— А чого ж ты до ме́не?

— А я же плотник!.. И по столярству я скрозь мо́жу... Думаю себе: зимою ж там постройки або рэмонты... це ж Кры-ым!

— «Ду-маю»! Ты бы спытал сначала, а посля того думал!.. Ни одной постройки тут нет... Может, где в другом месте: Крым великий...

— Вот и я же к тому... А не на́йдется плотницкой работы, може, кузнечну знайду...

Пантелеймон не удивлялся тому, что Никанор оказался еще и кузнец; он сказал только:

— Как у нашего здесь кузнеца Гаврилы запой бывает, он за́годя шукает себе тоди помощника, потому запой этот у него не меньше как на три недели, а то на месяц...

— А давно не было?.. Може, как раз на мое горькое счастье, чтоб я тебя квартирой здря не стеснял, он и запьет, а?..

Нашлась все-таки плотницкая работа для Никанора, — делал он в этот день рамы из реек, и стружки из-под его отдохнувшего шершебка вились, как змеи, а Митька подхватывал их и вскрикивал то и дело:

— Эх, ты-ы!.. Вот линная! (Второпях «д» пропускал.) И глаза у него первобытно блестели.

Но и Егорка с Ваняткой сидели на корточках около (не нужно уж было пасти корову): они тоже собирали стружки в пучки, иногда говоря басом:

— А вот еще линнее!..

Однако никуда не уходили и Колька с Алешкой. Колька лежал навзничь; Алешка засыпа́л его азартно мелкими стружками; Колька плакал.

Маленькую в комнате около окна укачивала Фрося, равномерно толкая зыбку, а самого Пантелеймона не было: в Тара-Бугазе, в греческой колонии, в трех верстах от города, он в это время присматривал поросенка.

Ласточки уже отсидели сколько им полагалось на проволоках телеграфа и улетели в Египет. Ворона, — видно, уж очень старая, — с кривого разлета шлепнулась на крышу, огляделась и очень старательно прокричала раза четыре: «Илла-а!.. Илла-а!..» При этом она ерошила перья, вытягивала книзу шею, раскачивалась, пожимала крыльями, — вообще кричала свое с соблюдением многих вороньих церемоний, пока Егорка не бросил в нее камнем.

С тополя, стоявшего около колодца, медленно капали вниз золотые листья, а тень от него ушла на ближайший соседский двор; вечерело, солнца осталось минуты на три.

Сказал Никанор Фросе:

— Будто карасин вечером хотели выдавать...

— Так масло же постное, а не керосин вечером! — отозвалась Фрося.

— То ты слыхала, будто масла, а я утром слыхал: карасин...

— Ну, должно, две очереди... Ребят надо послать...

Однако немного погодя, укачав девочку, она разыскала бутылку для масла, жестянку для керосина, и пошли они вдвоем с Никанором, который на крышу сарая уложил готовые планки и, озираясь на ребят, в сенную труху в коровнике спрятал мешок с инструментами.

Уходя, он закурил, а пустую коробку от спичек бросил.

Быстроглазый Митька подобрал коробку и нашел в ней незаметную сначала, притаившуюся спичку.

Он ее не вынул, он только крепко зажал коробку в руке и беспечно сказал пытливо на него глядящему Ванятке:

— Сербиньянская собака брешет...

Действительно, в это время раза три ударил в свой густой колокол сенбернар на ближайшем от них дворе, собака очень пожилая и ленивая, но говорить об этом незачем было, и Ванятка понял, что в коробке была спичка.

Когда пасли они корову, неизбывна была их скука. Тогда они украли дома спички и раскладывали под кустами карагача костры. В этих ребятах было что-то такое же древнее, как и в огне костров, и огонь, лизавший красными языками зеленые листья карагачей, приносил им жгучую радость. Они кричали самозабвенно, они подпрыгивали около костра, визжа...

Но спички, украденные тайком у матери, были все-таки запретные спички. Эта, найденная Митькой и зажатая в его руке, — своя, разрешенная, как будто чей-то подарок. А каждая спичка, попавшая к ним, представлялась им не иначе как будущий костер... И Митька, оглядев своих четырех братьев несколько пренебрежительно, набрал охапку стружек, отошел с нею за дом шагов на десять, в буерак, деловито там ее уложил и поджег.

Ого, как весело загорелись стружки! Куда ярче, чем влажный сушняк под карагачом... И с пучками и с охапками стружек к этому костру, самому веселому в их жизни, бежали остальные ребята, даже Колька перестал плакать, — он стоял ближе всех к огню, весь блаженный, розовый с головы до ног, а маленький Алешка трубил, как в большую медную трубу: «Гу! Гу! Гу!» — и бил в ладоши.

— Картошку печь! — сказал Ванятка.

— Картошку! — подхватил розовый Колька так радостно, как будто ел ее только один раз, давно когда-то, в самый большой праздник.

А Митька, живой, верткий, неожиданный во всем, что делал, выхватил из костра самую длинную стружку, светло пылавшую, и бросился с нею к дому, как с факелом.

Он принес картошки в подоле рубахи; он не заметил только, как упала перегоревшая стружка у самых дверей, недавно покрашенных охрой.

Две вороны, усевшись на коньке крыши, одна перед другой, точно кланяясь друг дружке, вытягивали церемонно: «Илла-а... Илла-а!..» Но уже некогда было кидать в них камнями: пеклась картошка.

И сумерки надвинулись, — осенью они скоры... И туман потянул с моря, — осенью это бывало часто... И около самых дверей, окрашенных в желтое, из раздавленных на ходу стружек подымались головки рождавшихся огоньков...

Эти маленькие новорожденные огоньки страдают большим любопытством, а новая крашеная дверь даже и неплотно прикрыта стремглав выбежавшим Митькой. Маленькая в зыбке чихала.

Сербиньянская собака потянула носом и ударила в свой колокол раз и два и, спустя время, еще раз. Вороны, косо ныряя и крича, полетели к городу. Ванятка сказал Егорке, ухватив его за грудки и наморщив брови:

— Ты будешь?

Это касалось того, что Егорка раньше времени ворошил картошку в золе, и было понятно всем. Алешка от нетерпе-

нья кусал Колькину ногу, но Колька на этот раз терпел и не плакал. Проворный Митька метался туда и сюда, все подтаскивая в костер: сухую тыквенную ботву, объедья кукурузных початков, даже черепные бараньи кости.

— Кости разве будут гореть? — басом спрашивал Егорка.

— А то разве нет?.. Ду-у-рак! — отзывался Митька.

Костер горел вовсю, и дым от него мешал видеть дым горевшего сзади ребят дома.

Масла не выдавали в этот вечер, только керосин; Фрося шла домой и размахивала пустой бутылкой забывчиво. Она раздумывала, за много ли удастся Пантелеймону купить поросенка. И вдруг она услышала звонкий крик своей маленькой.

Потом она рассказывала всем, что прежде всего услышала этот крик, а потом почуяла дым и увидела огонь уже после, но было наоборот, конечно. На ней загорелось платье, когда она вытаскивала девочку в окно, но ожог тела был небольшой.

Сербиньянская собака лаяла безостановочно. Сбежались соседи. Появились даже четверо из пожарной дружины, — у всех четверых оказался один топорик. Они вытирали потные лбы и сплевывали от дыма, лезшего в глотку. Домишко охватило уже огнем со всех сторон.

Говорили одни:

— Что же это за дым такой, будто кто курит?

— Да ведь табак у человека горит, — объясняли другие.

Фрося собирала детей, голося: она уж не думала что-нибудь вытащить из дома. Телка, вырвавшись из коровника, взревела яростно, и помчалась, и долго бежала, задравши хвост. Никанор, так и не получивший керосина, метался от колодца к дому и от дома к колодцу с разбитым уже кем-то ведром, из которого во все стороны брызгала вода. Весь мокрый и грязный, он расталкивал всех с такою силой, что кричали ему:

— Ты!.. Сомашедчий!..

Когда первая бочка приготовилась выбросить из брандспойта первую струю воды, шумно и злорадно, точно этого только и ждала, рухнула крыша и вверх, рядом с трубою, выставила краснозубые балки, от которых прыснули во все стороны искры.

Пантелеймон долго ждал хозяина выбранного поросенка, очень долго с ним торговался... Часов около десяти вечера подходил он к себе, нарочно идя по городу самыми

глухими переулками. За спиной в мешке изредка отрывисто хрюкал поросенок: визжать он уже устал.

Луна была ранняя, и при этой ранней, неполной луне Дрок разглядел еще от тополя у колодца, что случилось страшное. Ноги увязли в грязи, колени задрожали... Гарью пахло кругом; луна блестела в лужах...

Он вытянул шею к сараю, цел ли? Сарай был цел, и там кто-то двигался тихо. В это время поросенок завизжал оглашенно. Дрок размахнулся мешком, ахнул и изо всей силы ударил поросенка о каменное устье колодца.

— Это кто?.. Это ты, Пантик? — крикнул Никанор от сарая.

Подходя, говорил он:

— Ничего, семейство твое все в целости...

— Ты что мне за семейство, а? — закричал Дрок. — Ты мне кажи, кто это дом мой спалил, — я его изувечу!..

И соседи слышали, как целую ночь до света бушевал Дрок на пожарище, а Фрося то и дело вопила в голос:

— Хочешь разводиться со мной — разводись, проклятый!.. Разводись!.. Разводись!.. А детей я тебе бить не дам!.. Не дам!.. Мои дети!..

И сербиньянская собака, обеспокоенная неурочным шумом, несколько раз принималась изумленно лаять.

Все утро после пажара Дрок то ошеломленно, непонимающе сидел на корточках, по-татарски, перед остатками сгоревшего дома, то бестолково метался от закоптелого угла к другому, ковырял палкой золу и угли, которые все еще дымились, и, наконец, сказал Никанору, как вполне решенное:

— Ты, я знаю, зачем приехал!.. Ты приехал, чтобы мне хату спалить, вот!.. Потому что стружки были твои и спички, коробка то же самое, были тобою брошены... Что же я тебе должóн сказать на это?

— Во-первы́х... — начал было обиженно Никанор, но Пантелеймон перебил запальчиво:

— Во-первы́х, черт тебя до меня принес, как я тебя совсем и не знал, — это раз!.. А во-вторых, я с тебя судом стребую, сколько мне этот дом мой стоит, а также какая сгоревшая мебель, и табаку сколько там было пудов, и хлеба, и всего... вот!

Никанор посмотрел на него внимательно, подумал и сказал медленно:

— Когда собака, какая называется бешеная, на людей кидается, так это она не от злости делает, конечно, а един-

ственно от своей лютой боли,— так мне один фельдшер сказывал... Однако легкости ей от подобного не бывает... А уйтить я, разумеется, обязан, как вам тут и самим жить негде...

Планки его все уцелели на крыше сарая, инструменты тоже. Он все собрал и понес в город, а немного погодя пошел в город и Пантелеймон.

Он входил в горсовет по лестнице на второй этаж не придавленно, нет,— он входил негодуя: на пожарную команду, которая никуда не годится и не могла вовремя прискакать на таких лошадях, как звери, от которых только звон, и гул, и топот, и дрожит земля, — и в какие-нибудь две-три минуты залить целой рекой воды огонь в его хате; на то, что нет в их городишке страхового агента, а нужно ждать его и не пропустить, когда он приедет из районного центра, а ждать его каждый день некогда, и захватить его, когда приезжал он, не удавалось, — и вот он, Дрок, не успел застраховать дома, поэтому, значит, весь труд его пропал, и деньги, какие затратил, пропали, и вся жизнь пропала, так как жить ему теперь негде, и пропали три мешка пшеницы, пропал табак — все пропало!..

И в такт толчкам сердца при подъеме на лестницу жалобы эти кружились и сплетались в нем все беспорядочней, и, еще никому ничего не говоря, он в коридоре, где столпились кое-какие ожидавшие люди, начал взмахивать то правой, то левой рукой, то обеими вместе, а когда увидел наконец вышедшего из своей комнаты с какими-то бумагами председателя горсовета, бывшего слесаря Опилкова, то так и кинулся к нему, расталкивая других, и сразу прижал к стене:

— Вы это слыхали, товарищ Опилков?.. Дошло это до ваших ушей, что погорел я? — закричал Дрок во весь голос сразу. — Квартиру мне дайте с семейством моим — вот что, — как у меня шесть человек детей да еще седьмой, извиняйте, во чреве матери!..

— В жилищный отдел! — бросил Опилков, продираясь сквозь частокол тычущих во все стороны как будто двадцати — тридцати Дроковых рук.

С десяток столов стояло в общем зале горсовета. Туда прорвался наконец Опилков, но Дрок не отставал. Около столов много толпилось народу, и всем нужен был председатель, но Дрок никому не хотел его уступить.

— Я пойду в жилищный отдел, — кричал он, — а жилищный отдел меня целый месяц водить будет, а у меня только

один сарай остался!.. А как ежели он мне помещение отведет где у черта на выгоне, так что мне до участка свово пять часов ходить надо будет, а?..

Он уже был весь красный, и жилы на шее вздулись, точно он тащил мешок песку в гору.

— Ага, участок?.. Вы арендуете у нас участок?.. Та-ак!

Опилков посмотрел на него и добавил:

— Придется на будущий год договор с вами расторгнуть, гражданин Дрок!

— Ка-ак расторгнуть!..

Дрок выпрямился и начал белеть.

— Есть у нас сообщение... Вы, оказывается, эксплуатируете наемный труд...

— Я-я-я?.. Труд наемный?..

Дрок согнулся в поясе; шея, и щеки, и глаза его густо налились кровью.

— Это кто же такой... сообщение вам такое, а-а?..

И вдруг он ухватил Опилкова за руки:

— Говори сейчас!.. Тебе кто это, а?.. Сообщение такое...

Бегающие глаза Опилкова остановились на ком-то в толпе кругом, и он крикнул:

— Вот того гражданина сюда!.. Гражданин Дудич!...

— Дудич?..

Дрок мгновенно бросил руки Опилкова и обернулся. Увидел, — Дудич протискивался, чтобы уйти в коридор, но его остановили.

— Так Ду-дич это?

И, распихивая всех, Дрок подскочил к Дудичу.

— Ты где это взял, что я наемным трудом, а?.. А-а?.. Что я погорел, так тебе этого мало, ты у меня землю, землю оттягать хочешь?..

Тут Дрок взвизгнул как-то совсем не по-человечьи и кинулся на Дудича.

Замелькало, зарычало, завозилось и рухнуло с грохотом на пол между стоящих в два ряда деловых столов, и все кинулись оттаскивать оказавшегося сверху Дрока, по-звериному впившегося зубами в мясистый, плотный, гладко выбритый подбородок Дудича, хрипло вопившего от боли.

XI

На свое пепелище Дрок пришел уже только в полдень — черный, с провалившимися глазами, с обтянутыми мослаками скул.

В это время Фрося, держа маленькую на руках, оглядывала самое привычное для нее в сгоревшем доме — плиту, прочно сложенную подслеповатым Заворотько, и встретила его радостью:

— Вот дивно мне: плита вся в целости!.. И дымоход тоже до самого боровка. Я дрова туда клала — ничего, горят. Тянет, — ей-богу, правда!

Дрок поглядел страшными, угольно-огненными глазами в ее робкие, выцветшие, с потускневшими золотыми жилками и медленно повел раза три головой.

— По-ды-хать,— а она про какую-сь плиту!.. Э-эхх!

Заскрипел зубами, раздул ноздри.

— Телку продадим. Все равно ее только кормить зря зимою, — тихо сказала Фрося.

— Ну-у?.. «Тел-ку»!.. Что «телку»?.. Там на меня уж и протокол составили, и землю отымают, а она...

Тяжело задышал, поднял оба кулака вровень с ее лицом и, когда ребенок залился плачем, пошел в сарай.

Там он лег в углу на прелом сене, покрытом сухою кожей Маньки, и так лежал долго, ничком, и, если б не шевелились пальцы босых его ног, то сжимаясь, то разжимаясь все время, Фрося могла бы думать, что он спит.

О протоколе каком-то и о земле, которую будто бы отнимают, она не думала: просто это было то совершенно лишнее, что уже не вмещается в мозг, и без того переполненный, даже не проникает в него: дотронувшись, отскакивает — и только.

Ребята в этот день никуда не уходили. Они сидели полукругом, жевали хлеб, понимая, что обеда никакого не будет, и говорили о хозяйственном.

— Три стенки совсем почти целые: одна, вон — другая, а вон — третья, — тыкал в сторону сгоревшего дома Егорка. — Дверя пропали да еще окна тоже...

— Дядя Никанор сделает! — быстро глянул на него и на Ванятку Митька.— Что? Думаешь, не может сделать?

Ванятка, у которого рыжеватые косицы висели в обвис, прикрывая безухость слева, имел из трех старших наиболее озабоченный вид. Он сказал важно:

— А крыша тебе что? Крыша тебе кое-как?.. Крыша тебе не нада, а только чтобы стенки?.. Все железо погорело к чертям!

Егорка добавил:

— Кабы чере-пи-ца! Черепица небось бы не сгорела, а то же-ле-зо!

Он — так случилось — больнее других был избит ночью отцом, — у него заплыл глаз и косо держалась шея; для него отец явно сам был виноват в том, что сгорела крыша: тоже еще, не мог покрыть черепицей!

Дрок вышел из сарая часов в пять вечера, когда уже село солнце за горы. Хотя он и не спал, но веки его набрякли, глаза стали еще краснее, меньше, острее, напряженнее. У кулачных бойцов, когда готовятся они, высмотрев слабое место противника, нанести решительный удар, бывают именно такие глаза.

Ребята, увидя его, встали, попятились и отошли, но он крикнул:

— А ну, идить сюда все до купы!.. Вы палить хату умели, которая отцу з матерью трудов многих стоила,— иди тогда и слухай ухми! Как вы теперь тут уж одни з матерью останетесь, а я уйду.

— Куда же это ты уйдешь? — испугалась Фрося.

— Ку-да-а? — гаркнул вдруг Дрок.— А куда донесут ноги мои, то там уж и останусь, вот куда! Гóди!

— А я же как буду?

— А то уж твое дело — как! Поняла теперь? Вот!.. Дудичу земля достается, как он, не иначе, хабаря Опилкову дал!.. Вот! Ну так пускай теперь горхоз тебя з детями кормит або Дудич, как он пока в больницу на перевязку пошел, а з меня, говорят люди, полным манером может стребовать за свою рожу калечную. Ну, только вот он что з меня получит!

И Дрок поднял было кулак, однако невысоко. Только тут поняла Фрося, что с ним в городе случилось что-то еще менее поправимое, чем вчерашний пожар, и присела на камень, чтобы не упасть. Маленькую она только что перед этим передала Ванятке, однако силы у нее оставалось мало, в глазах темнело. Она сказала тихо, одними губами:

— Куда же я одна с такой оравой? Мне же тогда смерть!

— Куда знаешь, — отозвался Дрок.

Фрося долго смотрела на него, и пристально и как будто плохо его видя, и проговорила так же тихо, как прежде:

— Кукурузы мешок Никанор вытащил — поспел... Это же помолоть нам можно... Что же — люди лепешки едят из кукурузы, и мы будем...

— «Ку-ку-ру-зы мешок»! — презрительно вытянул Дрок. — Вот еда!

— Пшеница, она тоже не вся погорела, она только сверху и дымом зашлась.

— А так же водой она залйтая и на всех она чертей похожая!

— Это ж промыть — высушить можно...

— Ну вот и мой. И ешь! И щененки эти пускай горелое жрут, в сарае ночуют. А как они и сарай спалят, тогда под кустами! Ну, одним словом, раз Никанорка своих бросил, то и я бросаю, гóди! Он по столярству пошел, а я по бондарству пойду,— вот!

— Так у Никанора ребята уж большие, он говорил — у него же самый меньшенький, как наш Ванятка,— а я же как с такими останусь?

Глаза Фроси налились слезами не сразу, но когда налились, и все лицо стало старушечьим, и голова задрожала, Колька мгновенно растянул рот, зажал плотно веки и завел привычный для него плач, размеренный и скорбный.

— Хы... хы... хы... хы-ы... — начал выводить стукнувшийся уже лбом о землю Алешка.

Одиноким, незаплывшим глазом упорно глядел на Ванятку Егорка, спрашивая, — понятно для того, хотя и безмолвно, — что это такое происходит? Действительно ли уйдет отец, или это только одни разговоры?

Митька отвернулся и ненужно старался вытащить из земли какую-то траву с корнем.

А в стороне, за кустом помятого при пожаре карагача, стояла телка. Напасшись днем, она теперь, лениво действуя языком, захватывала ветку выше своего роста, но смотрела сюда, на своих хозяев, очень внимательно: вчерашняя ночь, озарившая ее огнем и оглушившая криками, ее испугала надолго: ее сарай — она видела — плотно был занят людьми; было над чем задуматься.

А Дрок повысил голос до крика:

— Мне теперь жизни тут нету, — поняла ты своей это дурною башкой? Мне теперь або з пристани в море вниз головой, або по соше итить, куда прийдется! Вот какие мои концы-выходы теперь! Вот чуть потемнейше станет, я и пойду!

— Ты бы... может, уж завтра хоть... Ты бы... может, поспал бы ночью, — сквозь слезы сказала Фрося.

А Митька тихо дернул ее за рукав:

— Мам! Это какие к нам идут двое?

Двое, которые подходили со стороны города сюда, были: Веня — незаметный, маленького роста человек, которого в сумерках можно было принять за любого подростка, и Опилков с неизменным портфелем.

— Добрый вечер! — сказал, подходя, Веня.

Дрок помолчал немного и ответил:

— Может, для кого-сь и добрый...

Он глядел не на Веню, а на Опилкова, и уже все напрягалось в нем буграми, потому что Опилков был с портфелем.

Но Опилков сказал просто, слегка почесав за ухом и оглядывая пожарище.

— Вот какая тут история случилась!

— Такая история, что человеку с подобным большим семейством — петля, зарез, как я говорил... История тут... наглядная! — засуетился вдруг Веня, суя туда и сюда руками.

— Где же вы теперь ночевать будете? — спросил Опилков Фросю, которая стала перед ним, утирая фартуком глаза.

— А в сарае вон — где ж...

— Положим, что в прошлом году люди, как землетрясение было, тоже в подобных сараях ночевали из боязни,— важно сказал Опилков,— ну, тогда время было экстренное... Кроме того, ребят застудить можно... Надо поэтому ремонт дому давать.

— Из чего это я буду ремонт давать? — вдруг закричал во весь голос Дрок.— Ты меня пришел заставлять ремонт делать?

— Э-э... заставлять! — поморщился Опилков.— Необходимость тебя заставлять будет, а не я.

— Ты у меня землю отымаешь, хабаря з Дудича взял, и ты же мне тут, чтобы я ремонт делал? — подскочил Дрок вплотную к Опилкову.

— Ну ясно, человек не в себе от такой разрухи,— заторопился объяснить Опилкову Веня, выставляя против Дрока свою худенькую ручку с небольшой, детской ладонью.

— Кто у тебя землю отымает, — какой черт? — прикрикнул на Дрока Опилков.— Чего орешь зря?

— А разве же ты мне не сказал, что отымешь, будто как я наемным трудом? — спал с голоса Дрок.

— Вас тут в городе жителей пять тысяч человек,— вра-

зумительно начал Опилков,— а я — один! Понял?.. Я, конечно, обо всех все должен разузнать, а сразу каким я это образом могу сделать? Вот человек мне рассказал, что ты не то чтобы лодырь, а бешеный прямо работник, кто же у тебя землю отнимать будет? А? А ты мне насчет хабаря бухаешь не спросясь!

— Ну, тогда извиняйте! — буркнул Дрок.

— Вот! Так же и с халупой твоей погоревшей... Выясняется,— вот человек говорит,— она совсем даже и не застрахованная?

— А где же я ее мог страховать, когда того агента тут черт мае? — крикнул Дрок.

— Ну, мог бы поехать ради такого случая в районный центр или отсюда написать. Одним словом, твоя оплошность личная,— однако несчастье постигло. Тут завтра торги на сарай назначены, вот ты чего не прозевай: сарай с торгов продается. Идет за пятьдесят рублей, а в нем только стенки, конечно, слабые, а железо еще — вполне! И на весь твой домишко хватило бы.

— Аджи Бекира? — даже как-то на пальцы босых ног поднялся Дрок.— Там же и балки вполне справные, тоже и стояки дубовые.

— Ну, разумеется! Что гнилое — на дрова тебе пойдет. А подводу перевезть — я тебе дам горхозную.

— Вот спасибо вам! — низко поклонилась, обычно побабьи положа руки на живот, Фрося.— А мы телку вот продадим, деньги взнесем...

— Да телку можете и не продавать, положим. Денег сейчас взносить надо только десять процентов,— остальное потом... Также и насчет налогу... Освободим по случаю пожара.

— От сельхозналога освободят, поняли? — объяснил Веня Дроку, который глядел на Опилкова как-то не совсем доверчиво.

Но, продолжая и после слов Вени глядеть так же недоверчиво, глухо проговорил Дрок:

— Что касается от налога освобождение дать, это, конечно, следует, и халупу свою я это мог бы в порядок произвесть, а только вот хлеб погорел... Работать это я могу, как вам это теперь известно, а только вот хлеба же нет,— обернуться нечем, так же и семейству тоже...

— Корова подохла? — спросил Опилков.

— Подохла же!

— Страховые получил?

— Обещать обещали, а чтобы получить... то уж извиняйте!

— Ну, получишь, ничего... А шкуру сдал?

— Нет. Шкура дома.

— В сарае шкура,— уточнил Митька.

— Отнеси шкуру, в кооператив сдай, я там скажу, чтобы тебе муки выдали... Какая шкура смотря, а то можешь четыре пуда муки получить. Понимаешь,— деньгами тебе за шкуру полагается семь или восемь рублей, ну, раз тебе такая подошла крайность... Одним словом, скажу, чтобы по своей цене муку посчитали.

— Вот это спасибо, товарищ Опилков, как теперь не то что за восемь рублей чтоб четыре пуда муки, а даже и одного не купишь,— сказал Дрок, и голос у него дрогнул.

— А насчет того, чтобы помочь вам тут, когда материал доставите,— это я могу в старших группах воскресник устроить,— очень оживленно подхватил Веня.— С большой охотой ребята пойдут и даже инструменты принесут, там есть такие... И двери-окна сделают, и столы-табуретки сколотят... А свои ребятишки помогут... а? Помогать будешь? Ты!

Он ткнул в круглый затылок Ванятку, и тот подбросил по-отцовски свою бедовую одноухую голову, сказал: «Ого!» — ухарски плюнул на руки, растер и стал подбочась, точно приготовился драться.

Была ночь уже, круглилась над тополями полная луна, с моря наплывал туман; Дрок не спал.

Дрок стоял около своего дома,— не того, от которого остались только три, и то щербатые стены, а нового, который настолько ясно представлялся ему, как будто был уже поставлен, слушал, как жевала жвачку телка, привязанная к кусту,— ночь была совершенно тихая,— и смотрел на этот туман в море, плотно колыхающийся под луною, синевато-белый, непроходимый на вид.

Далеко, на том мысе, который похож был на голову крокодила, время от времени сверкал маяк. Даже и при полной луне он сверкал резким красноватым светом, и Дрок припомнил, как пришлось ему как-то ехать на пароходе в туман, не ночью даже, а днем, и пароход все гудел,

как шмель, боясь наскочить на другой такой же пароход, или на баркас, или на рыбачью лодку, и пароход тащился точно на волах, самым тихим ходом, так как мог наткнуться на торчащую скалу или большой камень под водою,— до того трудно было что-нибудь рассмотреть из-за тумана. Но это было ведь среди белого дня, а не ночью.

И Дрок буркнул, как привык он говорить, хотя и про себя, но вслух, копая по ночам землю:

— Это были, известно, умные люди, какие надумали тот маяк блескучий поставить!

1933

ВЕСНА В КРЫМУ

•

РОМАН

Глава первая

I

Было утро 20 февраля 1917 года, когда художник Алексей Фомич Сыромолотов сказал за чаем своей молоденькой жене:

— Ну, Надя, сегодня я решил поставить точку. Свою «Демонстрацию перед Зимним дворцом» считаю вполне законченной. Ни одного мазка добавить к ней не могу и даже боюсь, чтобы не засушить.

— А что значит «засушить»? — спросила Надя, некрупная, русоволосая, с голубыми глазами, начавшая уже убирать со стола лишнюю посуду.

— Вот на-а! Не знает, что значит «засушить»! — с виду как бы удивился Алексей Фомич.— Это значит переборщить, перемудрить, а в результате испортить картину... Начнет художнику казаться, что вот бы добавить еще такую деталь, а в ней, в этой детали, совсем никакой надобности нет, а есть только прямой вред: упрется зритель в нее глазами, и ее, эту деталь-то, он, конечно, разглядит, а целое упустит... Из-за деревьев леса не заметит! Из-за букашек и таракашек — слона!.. Каждая деталь должна в одну общую цель стрелять, а не раскорячиваться самовольно и неизвестно, зачем именно!

Алексей Фомич встал и сделал по столовой несколько медленных и тяжелых шагов, отчего зазвенели на столе стаканы, и, увидя, что Надя взяла в руки полотенце, чтобы начать мыть в полоскатель-чашке и вытирать посуду, взял ее за руку и сказал:

— Брось-ка это, Надя, и давай посмотрим на картину как посторонние люди, но-о... знатоки искусства! Такие, что пальца им в рот не клади,— откусят! Помаши-ка вот так рукой перед глазами и свою привычку к картине смахни,— поняла?.. Ты теперь не ты, а какая-нибудь Фелицата Кузьминишна,— и не какая-нибудь так себе вообще, а тоже ху-

дожница, вроде Виже Лебран, и можешь мне прописать ижицу!

— Не пойму, Алексей Фомич, что тебе еще от меня надо,— несколько недовольно сказала Надя,— я тебе, кажется, все сказала, что мне казалось нужным...

— Все?.. Вот как!.. А пер-спек-тива? — И Алексей Фомич покачал влево и вправо головой.

— Какая такая перспектива? — удивилась Надя, Алексей же Фомич почти испугался:

— Ты... жена художника... не знаешь... что называется перспективой?

— Ты мне никогда не говорил о ней,— защитилась, но покраснела Надя.

— Не говорил?.. Неужели не говорил?.. Значит, думал, что тебе это там, в твоей гимназии, говорил учитель рисования!.. А если он вам — девицам, не говорил, что такое перспектива, то почему же, спрашивается, его держали в гимназии? Что же это такое? Может быть, у тебя даже и чувства перспективы нет, а?

— Не знаю, есть или нет,— созналась Надя, сидевшая все еще с полотенцем в руках.

— Вот, например, что такое перспектива линейная,— так как есть еще и воздушная,— она касается красок. Видишь,— дверь: обе половинки закрыты... Какая фигура каждой половинки? Геометрию-то у вас преподавали?

— Прямоугольники это,— слегка вздохнув, не совсем уверенно ответила Надя.

— Прямоугольники,— очень хорошо!.. Хорошо, что не сказала: квадраты... А если эту половинку я открою, то какая фигура получится тогда?

И Алексей Фомич открыл дверь и впился испытующим взглядом в растерявшиеся от неожиданности глаза Нади.

— Какая же фигура может получиться из прямоугольника, кроме того же прямоугольника? — проговорила Надя.— Ведь это не из ниточки прямоугольник, а из доски.

— Та-ак! — очень пренебрежительным тоном протянул Алексей Фомич.

— Ты, кажется, вздумал меня расспрашивать? — и отвернулась недовольно Надя и от двери и от мужа, но приняться за мытье стаканов и блюдечек ей не удалось: Алексей Фомич поднял ее сзади под мышки, поставил прямо перед дверью и сказал не рассерженно, а спокойно:

— Смотри в оба и убедись, что не прямоугольник, а трапеция! Причем неравнобокая,— это тоже заметь.

— Почему трапеция,— не понимаю!

Так как это непонимание прочитал на лице жены Алексей Фомич еще раньше, чем она в нем призналась, то он вынул карандаш из бокового кармана тужурки и подал ей:

— Вот — меряй!.. Возьми его так, левый глаз прищурь и меряй заднюю линию двери и потом переднюю... Меряй внимательно, а не кое-как! Отметь ногтем на карандаше, где задняя, где передняя линия...

Надя внимательно поглядела на мужа,— не шутит ли,— потом, поняв, что не шутит, принялась измерять карандашом обе линии двери, и, наконец, сказала удивленно:

— А ведь ты, Алексей Фомич, действительно, прав!

— Как всегда!.. Добавь это: как всегда! Да, наконец, ты это и по верхнему углу могла бы заметить без всякого измерения... Видишь, куда он опустился сравнительно с передним углом? Вот это и есть закон перспективы: в науке — быть, а в искусстве — казаться!.. А профессор живописи Зорянко, чтобы вколотить в головы своих учеников законы перспективы, приносил в класс веревки и натягивал их на аршин от пола вперекрест, поперек и вдоль, чтобы получилось подобие паркета: сидите или стойте, но зарисуйте, что видите, в точности! А профессор Чистяков доказывал, что на исторической картине художника Лебедева «Боярский пир» человеку, который вносит на блюдах лебедя, совершенно нет места на полу: идет по воздуху!.. Вот что такое линейная перспектива! Быть и казаться! Быть и казаться!.. А если бы не было этого самого «казаться», то не могло бы быть и никакого искусства!

— Хорошо, перспектива,— но почему же так? — продолжала недоумевая Надя.

— Таково устройство нашего глаза. А как устроен наш глаз, это ты тоже должна была узнать в своей гимназии. Хотя, конечно, можно представить, как у вас проходилась физика! Ну, после такого вступления пойдем в мастерскую!

Надя повесила было полотенце на стул, но в это время раздался оглушительный лай овчарки Джона, и оба они повернулись к окнам, выходящим на двор.

Джон был в передней, скреб лапой входную дверь и не переставал лаять, а на дворе показалась какая-то хлипкая, сутулая фигура явно духовного звания.

— Какой-то поп! — определила Надя.

— Да-а... Что-то в этом роде... Зачем же ко мне поп, сам я еще пока жив? — недоумевал Алексей Фомич.

— Я пойду его встречу, а ты, Алексей Фомич, уведи

Джонни на кухню, а то кабы не порвал! — И оба пошли в переднюю, причем Сыромолотов бурчал на ходу:

— Может быть, это он с фронта и что-нибудь насчет Вани сказать хочет?

Фигура духовного звания оказалась дьяконом, по имени Никандром, приехавшим из городка на южном берегу.

У Сыромолотова недоуменно были подняты брови, когда дьякон Никандр объяснил ему, зачем он приехал.

— Понимаете ли, Алексей Фомич, несчастье случилось, икону нам один доброхот пожертвовал, большая икона и название имеет: «Христос у Марфы и Марии». Так вот, икона эта пострадала от свечки.

— То есть как пострадала? — спросил Сыромолотов.

— Так, стало быть, свечка наклонилась к иконе из подсвечника, а никто не доглядел. Тлел, тлел холст, и порядочный кусок сотлел.

— Позвольте, икона, вы говорите, а не то что это копия была с картины Генриха Семирадского. У Семирадского как раз и есть такая картина «Христос у Марфы и Марии». И должен вам сказать, что мне она нравится и по замыслу и по исполнению. Отлично передан там свет солнечный, южный, и сюжет хорош. Христос на ней это, конечно, символ общедоступный и общепонятный. Мог быть и не Христос, а, например, философ Платон или художник Леонардо да Винчи, или итальянский поэт Торквато Тассо, или, наконец, Ньютон, Коперник, вообще человек духа, а не желудка. Мария сидит около ног Христа и его слушает, а сестра ее, Марфа, требует, чтобы она помогала ей по хозяйству. Тут единственный случай в жизни этой Марии, около ног ее лежит какой-то струнный инструмент, значит, она занимается музыкой. А тут не угодно ли идти помогать варить чечевичную похлебку. Исключительный случай в жизни, завернул в их хижину великий человек, и Мария не хочет пропустить ни одного его слова,— вот смысл этой картины.

— Мы ее освятили, Алексей Фомич, какая же она теперь картина, она икона,— и лицо дьякона Никандра стало вдруг строгим. Лицо это занимало Алексея Фомича тем, что челюсти на нем очень заметно шевелились и прихотливо вели себя в то время, когда говорил дьякон. Небольшие черные глаза дьякона теперь глядели на художника в упор, и, заметив это, Алексей Фомич спросил:

— Большой ли кусок холста истлел?

Дьякон отмерил на столе три своих четверти в высоту и две четверти в ширину

— Так я должен восстановить это? — спросил Сыромолотов.— Картину я представляю, но вы не сказали мне, где это выгорело,— слева, справа, в середине?

— Это в левом углу,— сказал дьякон.

— А-а, это там, где голуби,— догадался Алексей Фомич.

— Истинно, где голуби. А это у прихожан любимое было место, куда они прикладывались.

— Ну да, ну да,— сказал Сыромолотов,— ведь голубь это тоже символ святого духа третьего естества троицы, значит, мне голубей надобно написать вновь на своем холсте, а потом мой холст пришить к картине, то есть к иконе. У меня где-то есть репродукция Семирадского, где-то в папке лежит, могу найти. И, пожалуй, даже если бы мне поехать с вами, я бы мог там, на месте написать голубей и сам пришил бы холст. Вообще сделал бы всю реставрацию.

Эти слова заставили дьякона Никандра просиять неподдельно.

— Вот бы обрадовали и наш причт, и прихожан наших,— он опять сделал ударение на «о». А Алексей Фомич тут же поднялся и начал искать в шкафу папку с репродукциями картин.

— И неплохо то, что прихожане прикладываются к голубям, так как голубь символ третьего лица троицы святого духа... И то сказать, голубь-то летает, а человек в те времена только мечтал о том, чтобы летать.

— Времени я терять не привык, отец дьякон,— сказал Алексей Фомич, когда красочная репродукция с картины Семирадского была у него в руках.— Если ехать, так ехать. Угостить вас могу только чаем. Стали жить скудно. И я тоже удивляюсь, как это у вас остались свечи?

— Свечи? Да заготовили раньше, в начале войны. Ведь от свечей главный доход церкви, а потом даже делали и так: погорит, погорит свечка в подсвечнике — приказываем ее снять, среди службы снимает свечной староста, а потом продает как новую. Так одна свечка на несколько служб.

Не больше чем через час Алексей Фомич, условясь с дьяконом о плате за реставрацию иконы и взяв с собою все нужное, выезжал на извозчике из Симферополя. И в то время, как дьякон рассеянно глядел вперед, Алексей Фомич, как сухая губка воду, впитывал в себя холмистую местность, на которой кое-где пятнами виднелись небольшие стада коров.

— Давно не ездил тут. Это вы, отец дьякон, явились ко

мне, должен вам сказать откровенно, очень кстати, и отдохнуть и встряхнуться мне было надо.

Когда начали спускаться с перевала, внимание Алексея Фомича приковала к себе гора Екатерина, на которой искусством самой природы как бы был поставлен памятник Екатерине II, в царствование которой Крым был присоединен к России. Когда же доехали до памятника Кутузову, Алексей Фомич, как ни спешил к месту работы, попросил дьякона остановиться.

— Поймите,— говорил он,— ведь именно тут, в этих местах было сражение Кутузова с десантным отрядом Гассана-паши. Здесь он получил свою знаменитую рану в голову. Вот, может быть, под этой двухсотлетней дикой грушей он и лежал раненый. А Екатерина с горы своего имени на него глядела.

Алексей Фомич за все время остановки ходил между деревьями, стремясь вообразить и представить, где тут могли быть отряды русских солдат и где турецкие десантники в своих красных фесках.

— Именно сюда,— говорил он дьякону Никандру,— я и приехал бы писать этюды для картины, если бы такую картину задумал. Какая обстановка, поглядите, поглядите-ка хорошенько!

Дьякону пришлось напомнить Алексею Фомичу, что надо ехать, до того он увлекся.

Так как в городок приехали еще засветло, то Алексей Фомич решил тут же приступить к делу, и дьякон отворил для него церковь.

— Плохо освещена картина,— сказал дьякону Алексей Фомич,— но даже при таком освещении, должен вам сказать, копия сделана отлично. Можно пожелать мне, чтобы копии с моих картин делались бы так же талантливо.

Только после этого он начал ковырять пальцами то, что истлело, и примерять привезенный им кусок холста.

— Кстати,— сказал он,— я думал, что меня встретит ваш священник.

— Отец Виталий болен, лежит. Я не говорил об этом, лежит, вы уж извините,— заторопился дьякон.— Он бы и сам поехал к вам, да разболелся. Вы уж извините, Алексей Фомич.

— Охотно, очень охотно извиняю.— И тут же, вынув из ящика палитру, кисти и краски, Алексей Фомич начал копировать с репродукции голубей.

II

— До того, как настанут сумерки, я, пожалуй, этих голубей напишу,— говорил дьякону Алексей Фомич.— По готовому образцу,— отчего же не написать. Три сизых, один светло-коричневый. В естественную величину написал их Семирадский, хотя они и не на первом плане. Погрешность его против линейной перспективы.— Ну, так и быть, поправлять его не намерен.

— Вот как, Алексей Фомич! — обеспокоился дьякон Никандр.— Так вы, значит, ошибку тут находите?

— А как же! Ошибка, конечно... Поглядите на Марфу: далеко ли стоит она от голубей, а какая маленькая фигурка! Если голуби в естественную величину, то и Марфа, и Мария, и Христос только чуть-чуть меньше своей естественной величины.

— Гм... Вот ведь как один художник судит другого, а мы, как бараны, ничего не замечаем,— до того опечаленно проговорил дьякон, что Сыромолотов решил успокоить его:

— Это — пустяки, то ли еще бывает! по недосмотру. А вот я должен писать тонкими кистями, чтобы не получилось больше, чем надо. Да еще, должен вам сказать, прибегаю к сиккативу, чтобы к завтрашнему утру краски высохли,— иначе как же я пришью свой кусок холста? Между прочим, и цыганскую иголку и суровые нитки для этого я захватил из дому, так что об этом не беспокойтесь.

В это время в церковь вошла молодая красивая женщина, одетая просто, но не бедно, с черными страусовыми перьями на шляпке, с высокой открытой белой шеей.

— Привезли Алексея Фомича? — оживленно обратилась она к дьякону.— Вот как хорошо получилось.— И тут же обратилась к Сыромолотову: — Здравствуйте, Алексей Фомич!

— Простите, я... Откуда вы знаете мое имя и отчество? — пробормотал Сыромолотов.

— Все знают, не только я,— продолжала вошедшая.— А я — виновница того, что часть иконы истлела: у меня была свечка, осталась еще от похорон отца полковника,— десятикопеечная, длинная, с золотой канителькой... Я ее поставила перед любимой своей иконой, да значит, она не вошла как следует в подсвечник и наклонилась... А другие свечки в этом подсвечнике были все маленькие, огарки. Я же и заметила, что икона горит, кинулась поправлять свою

свечку,— оказалось, что поздно. Я же посоветовала вот отцу дьякону к вам обратиться.

— Это верно,— поддержал ее дьякон.— Наталья Львовна наша прихожанка, она нас надоумила,— верно!

— Но, прошу меня извинить,— времени у меня в обрез,— я должен писать и стоять к вам спиною,— проговорил с досадливыми нотками в голосе Алексей Фомич.— А слушать вас я, конечно, могу...

— Нет, нет, что вы! — замахала рукой Наталья Львовна.— Я совсем не хочу вам мешать! Я зашла потому только, что дверь была открыта... Сейчас уйду!

И она действительно направилась к выходу, а за нею пошел дьякон, говоря на ходу:

— Как же это я дверей не закрыл, разиня! Ведь так и еще кто может зайти, кого не нужно совсем.

Когда он вернулся, Алексей Фомич спросил:

— Кто эта дама?

— Жена одного тут подрядчика — Макухина... Свой дом у него, а сам он на военную службу в начале войны взят... Пока что бог милует, жив... А полковника, отца ее, действительно у нас на кладбище похоронили,— в цинковом гробу его привезли... Потом и мать слепую ее мы отпели,— так что осталась теперь она одинокой.

— Дда, видно, что военная косточка: походка четкая, строгая,— заметил Алексей Фомич.

— Осталась тут, возле паперти: говорит, что дождется, когда вы выйдете.

— А-а! Какие-то, стало быть, виды на меня имеет? Таак! — протянул Алексей Фомич.— Может быть, желает пригласить меня поужинать,— что же, я не прочь... Да и вам, отец дьякон, вреда это не принесло бы...

— Ну, теперь редко кто кого в гости зовет,— усомнился дьякон, но Сыромолотов оказался прав: только что оба они вышли из церкви, когда стемнело, они увидели Наталью Львовну, которая сказала, обращаясь к Сыромолотову:

— Вы где будете сегодня ужинать, Алексей Фомич?

— Да вот, в самом деле,— улыбнулся ей Алексей Фомич.— Я полагал, что вот отец дьякон что-нибудь приготовил в этом роде.

— Ну, что вы! У отца дьякона семья и где же у него там? Нет, уж раз я виновница вашего беспокойства, то вы ко мне и идите. Много обещать не могу, конечно, не то вре-

мя, но что-нибудь заморить червячка у меня найдется. Идемте без разговоров!.. И вы, отец, дьякон!

Дьякон вопросительно поглядел на Сыромолотова, и Алексей Фомич понял, что отказываться от приглашения поужинать было бы, может быть, даже оскорбительно для этой одиноко живущей молодой женщины, и не больше как через десять минут он входил уже, вместе с дьяконом, в просторный дом подрядчика,— ныне каптенармуса одного из пехотных полков на фронте, Макухина.

Без проволочек сели за стол, покрытый белой клеенкой, и когда прислуга Натальи Львовны Поля, низенькая круглая женщина, глядевшая серьезно и исподлобья, принесла из кухни что-то дымящееся, дьякон вполголоса, хрипуче обратился к Наталье Львовне:

— Свечка десятикопеечная у вас, вы сказали, залежалась, а может, и бутылочка винца от хороших времен, а?— На это Наталья Львовна только развела руками, и дьякон горестно выдохнул:

— Эхх! Всех нас доняла война эта!

— Чтобы вас утешить, отец дьякон,— сказал Алексей Фомич,— полагаю с большой вероятностью, что скоро вина польются реки.

— Почему это вы так полагаете? — очень оживился дьякон.

— Да по той простой причине, что скоро у нас начинается революция... как это было в девятьсот пятом.

— Это что же,— вы так думаете, Алексей Фомич? — приостановилась раскладывать жаркое на тарелки Наталья Львовна, а дьякон только открыл изумленно рот.

— Очень многие теперь так думают,— уверенно ответил Сыромолотов.

Дьякон поглядел на него с затаенным лукавством в глазах и обратился к Наталье Львовне:

— Не допустят теперь такого, как в девятьсот пятом!

— А убийство Распутина допустили же! — заметил на это Алексей Фомич.— И кто же были убийцы Распутина? — Великий князь Дмитрий Павлович, князь Юсупов, царский родственник, и Пуришкевич — члены Государственной думы, правой, а не левой!

— Так вы думаете, значит, Алексей Фомич,— упавшим уже голосом начал было дьякон, но Сыромолотов перебил его своими прежними словами:

— Не я один,— очень многие так думают.

III

Когда собрался уходить дьякон, он обратился к Наталье Львовне:

— Как скажете, так и сделаю: скажете — увести Алексея Фомича,— уведу, у меня переночует, а скажете — оставить, то оставлю.

— Конечно, конечно, Алексей Фомич, вы у меня и заночуете! — кинулась к Сыромолотову и взяла его за руку Наталья Львовна.— Где же вам у отца дьякона ночевать? Совершенно негде! Разве я не знаю его квартиры? У меня, у меня, разумеется: дом большой и весь пустой.

— А может быть, лучше будет, если в гостинице? — в сторону дьякона сказал Алексей Фомич.

Но дьякон замахал руками:

— В гостинице! Чтобы деньги зря тратить! Ведь не вы будете платить, а мы должны,— приход; мы же люди вообще бедные, и у нас каждая булавка на счету!

— Вам здесь хорошо будет, вы увидите,— заснете, как у себя на даче!

— Вам неудобства доставлю, Наталья Львовна,— вот я о чем...

— Никаких решительно! Я даже гордиться этим буду, что вам случилось ночевать в моем доме!

Тут дьякон простился и с художником и с хозяйкой дома и решительно направился к выходной двери.

— Я ведь и с вашим сыном знакома, Алексей Фомич,— радостно сказала Наталья Львовна, подходя к Сыромолотову с папиросами.

— Не курю, спасибо! — отодвинул коробку Алексей Фомич.— С сыном моим? Где же и когда же это? Сын мой вот уже с самого начала войны взят в ополчение, а не так давно был тяжело ранен...

— Не-у-же-ли тяжело ранен? — вскрикнула Наталья Львовна с такою острою болью в голосе, как будто ранена была сама.

— Да, писал, что тяжело и что дают ему какой-то «бессрочный отпуск», а это значит, что не полная отставка, но все-таки к строевой службе считается уже не годен.

— Вот как! — глухо отозвалась она и жестом, повторившим жест Сыромолотова, отодвинула от себя коробку с папиросами, добавив: — Я тоже совсем почти перестала курить после смерти моей матери. А с вашим сыном я познакомилась здесь, в Симферополе, в больнице.

— В больнице? — удивился Сыромолотов.— Когда же он лежал в больнице? Что вы?

— Лежал в больнице не он,— поспешила объяснить Наталья Львовна,— наш общий с ним знакомый. И ваш сын, и я — мы в один час приехали в больницу его проведать,— поэтому и познакомились. Богатырь такой показался мне тогда он, ваш сын, и вот...

— И вот искалечен,— закончил за нее Алексей Фомич,— и уж едва ли будет теперь художником.

— Будем надеяться на лучшее...

— Надеяться никому не воспрещается. Надеюсь и я, что вы мне покажете комнату, где будет моя постель.

Постель оказалась уже заготовлена в комнате, которую Сыромолотов сразу признал уютной и располагающей к крепкому сну.

— Может быть, вам какую-нибудь скучную книгу дать, Алексей Фомич, чтобы вы поскорее заснули на новом месте? — предложила Наталья Львовна.

— Зачем? — удивился Алексей Фомич.— Нет, я имею свойство засыпать сразу, чуть голова моя коснулась подушки.

— Хорошо, что вы мне это сказали, а то я могла бы говорить с вами до полночи: здесь ведь говорить не с кем. В таком случае — покойной ночи!

И Наталья Львовна ушла к себе в спальню, а Алексей Фомич, хоть и казалось ему, что он рано заснет, довольно долго перебирал в мозгу впечатления этого неожиданного для него дня, причем воображение его, как художника, больше всего занимала молодая женщина с высокой шеей и красивыми, но тоскующими глазами.

И он даже пожалел о том, что как-то очень круто и поспешно напомнил ей, что ему хочется спать с дороги, она же, видимо, хотела высказаться, так как говорить здесь о своем ей было не с кем.

Встал он чуть рассвело, и тут же после чая поспешил в церковь, чтобы пораньше закончить свою работу.

Прощаясь с Натальей Львовной, он сказал ей, что больше уж некогда ему будет зайти в ее дом: прямо после того, как закончит реставрацию иконы, поедет к себе домой.

— А вот вы, если будете в Симферополе, милости прошу, заходите ко мне,— закончил он и увидел, как эти несколько слов обрадовали ее, как она вся засияла.

Эта неподдельная радость тронула Алексея Фомича, и он еще раз сказал: — Прошу, прошу! Загляните!

К церкви он подошел одновременно с дьяконом. Сиккатив помог закрепленному с вечера холсту высохнуть. Сыромолотов теперь, пользуясь цыганской иглой и суровыми нитками, аккуратно пришил привязанный им кусок холста к картине.

— Это — самое важное, отец Никандр,— самое важное. Нитки потом я замажу, и никто, издали глядя, не догадается даже, что здесь была зияющая прореха,— говорил Алексей Фомич, делая частый шов.

Голуби, уже наполовину сделанные, теперь, при дневном свете, были как живые. Без особых усилий закрепил потом Алексей Фомич уже в раме холст ниже голубей — глинистую золотую землю и узкий черный кувшин на ней; а к полудню садился уже на линейку извозчика, снабженный на дорогу куском серого хлеба и вареными яйцами. Уже смеркалось, когда пара плохо кормленных извозчичьих коняк довезла Сыромолотова до его дома на Новом Плане.

IV

А Надя после того, как уехал Алексей Фомич, была в большой тревоге.

Она началась с того, что к Наде пришла мать ее, Дарья Семеновна. Прямо с прихода спросила она:

— Куда это Алексей Фомич поехал с каким-то попом?

— А ты, мама, разве видела, как он поехал?

— Правда, значит? Вот видишь! Это мне один странный человек сказал,— плотник он. Заходил работы спрашивать... Что плотник, то он не врал,— он же гроб обновлял, как мы деда своего хоронили, так же и здесь у Алексея Фомича, говорит, работал что-то; очень странным мне показался, вот я и пришла к тебе.

Надя вспомнила день похорон своего дяди, которого все называли дедом за его большие года, вспомнила и плотника, которого Алексей Фомич называл Егорием, и даже жену его Дуньку,— они оба шли за гробом на кладбище тут же позади ее.

И вдруг сильный лай Джона заставил ее поглядеть в окно: этот самый плотник Егорий шел вихлястой походкой от калитки к дому.

— Вот он! Этот самый! И сюда пришел? — почти завопила Дарья Семеновна, а Надя, держа за ошейник Джона, отворила форточку и крикнула, стараясь перекричать лай:

— Вы кто такой? Вам чего нужно?

Подойдя к самому дому, как бы затем, чтобы заглянуть в комнату, Егорий снял картузик с маленьким козырьком.

— Вы что же это не ждете, когда вас позовут, а ходите набиваетесь? — едва сдерживая Джона, выкрикнула Надя.

— Волка ноги кормят,— вкрадчиво ответил Егорий.

— Нет у нас никакой работы!.. И, пожалуйста, уходите сейчас же, а то я собаку не удержу!

Джонни действительно так и рвался к окну, и Надя боялась, что он кинется, разобьет стекло и выскочит на двор.

Егорий же как бы только хотел убедиться, что Алексей Фомич еще не приехал, а убедившись, шлепнул на голову картузик, примял его рукою и сказал:

— Ну, тогда прощевайте! — и той же неспешной вихлястой походкой пошел к калитке.

Наде показалось, что не спешил уходить он потому, что очень внимательно оглядывал двор. Можно было подумать, что плотник высматривает, что тут обветшало, к чему мог бы он приложить свои руки, но и Дарья Семеновна и Надя многозначительно глядели одна на другую, и чуть только затворил за собою калитку Егорий, Надя вышла, все еще держа Джона за ошейник, и заперла калитку на замок.

А когда вернулась, Дарья Семеновна сокрушенно говорила ей:

— И как это Алексей Фомич мог так поступить необдуманно,— взял да уехал на два дня, а тебя одну оставил в такое время! За два дня-то мало ли что случиться может? Вот пускай-ка вернется, я ему не смолчу, я ему напою, что нельзя так! Диви бы молоденький, а то ведь седьмой десяток пошел... Плотник!.. Он сегодня — плотник, а вчера был острожник, а на завтра в каторжники метит...

И весь этот день, когда ушла к себе Дарья Семеновна, Наде было очень как-то жутко оставаться одной, а когда настала ночь, она все время ждала, что вот-вот оглушительно залает Джон. Только когда забрезжило в окнах утро, она заснула, и в этот новый день держалась она как в осаде: калитку открыла только для Дарьи Семеновны. Она приходила попенять зятю за его легкомыслие, но ушла, его не дождавшись.

А Сыромолотов приехал веселый, возбужденный поездкой, очень далекий от всяких женских страхов и сказал: «С заработком», который был не лишний в их уже оскудевшем хозяйстве.

Когда Надя подробно рассказала ему о приходе без не-

го Егория, он не придал этому никакого значения, лишь сказал:

— Жена его, Дунька, сама мне сказала, за какую «политику» сидел он в тюрьме: «За тую политику, какая «иржеть»,— то есть за конокрадство. Но, имей в виду, одно — воровская специальность конокрадство, а совсем другое — грабеж. Не знаю, есть ли у него достаточный в этой области опыт.

Глава вторая

I

Когда утром на другой день — это было 27 февраля,— Алексей Фомич смотрел на свою картину, он смотрел уже не прежним своим глазом, а новым, всем тем, что он видел во время поездки: и горами, и морем, и целым приморским городком. Даже и все люди, какие встречались ему,— не только дьякон Никандр и Наталья Львовна,— все толпились тут около него в его доме: ведь картина должна быть выставлена для всех.

Разумеется, нечего было и ждать, чтобы хоть один человек из публики в красках и линиях картины увидел то, что вложил в нее и видел автор картины.

Да и можно ли вообще кому бы то ни было, за короткое время обзора картины, заметить и вобрать в себя все, что вкладывалось в нее художником изо дня в день за годы? Ведь каждый штрих, каждый мазок картины — это мысль художника, выношенная им в одиночестве: не с кем делиться ему этими мыслями, пока он пишет. Пусть хотя бы только это одно: ушел зритель из выставочного зала и унес с собою те образы, что остались в его восприятии от картины. Больше ничего и не нужно: он разберется в картине потом, у себя дома.

Но когда Сыромолотов дошел до выставочного зала и зрителя, неожиданно возник вопрос: где же можно было выставить такую картину теперь, когда царь все еще царствует и война все еще идет. Ведь его «Демонстрация перед Зимним дворцом» с первого же взгляда на нее будет всякому царскому чиновнику полиции напоминать 9 января 905 года, когда поп Гапон привел толпу безобидных рабочих к Зимнему дворцу, где их встретили залпами!

Это ничего не значит, что автор этой картины всячески

отклоняется от «9 января», что он стремился отыскать вечное во времени,— этого не поймут, этого не захотят и понимать. Просто сделают то, что привыкли делать с «нецензурными» произведениями.

Подобные мысли скопились в Алексее Фомиче до того густо, что он не пригласил уже Надю в этот день для окончательного просмотра картины.

А часа в четыре, когда уже начало смеркаться, в калитку ворвался одержимый бешеным восторгом мальчишка-газетчик с красными листами телеграмм, только что выпущенных местной газетой, и пронзительными криками:

— Рево-люция в Петрограде! Революция в Петрограде!

И первым, кто в доме Сыромолотова громогласно приветствовал это известие, был Джон, умная овчарка, когда-то купленная Алексеем Фомичом.

Навстречу подбежавшему мальчику Алексей Фомич приоткрыл окно, но когда хотел взять у него три листа телеграмм, маленький газетчик сказал строго:

— Довольно одного. Другим тоже надо.

И побежал к калитке.

Эта стойкость мальчика, которому не так было важно, что он раздаст все данные ему телеграммы, как то, что он обрадует побольше людей, очень понравилась Алексею Фомичу, и, передавая красный лист Наде, он сказал:

— Заметил я, что война эта заставила очень многих у нас, особенно из молодежи, зна-чи-тельно поумнеть! Читал я где-то, что во время французской революции, какую называют «Великой», парижские извозчики в ожидании седоков читали газеты. Не думаю, чтобы нынешние петроградские занимались этим, но вот новое поколение появилось,— вроде мальчишки-газетчика,— приходи, кум, радоваться! Умнеют люди от каждой большой войны,— вот мой вывод, и дойдут когда-нибудь до того, что выкинут всякие войны из обихода их жизни!

II

— Ну вот,— весело говорил Наде Алексей Фомич,— теперь вполне беспрепятственно могу я выставить свою картину! Вовремя, значит, я ее закончил.

— Только что против истины погрешил,— заметила Надя:— Зимний дворец в телеграммах совсем не упоминается: без него обошлись.

— Да ведь царя не было в Зимнем,— он уехал в Ставку... А Зимний или какой другой дворец без царя что же

он такое? Просто огромное здание, прочно построенное.

— Все-таки, Алексей Фомич, имей в виду, что публика вернисажа будет говорить: — Не так произошла революция!

— Да ведь я не иллюстрацию на тему дня выставлю, а картину, то есть произведение искусства! — горячо возразил Алексей Фомич.— Так на мой холст и надо будет смотреть.

Однако Надя не сдавалась:

— Я ведь не о том говорю, как ты сам смотришь на картину и как я на нее смотрю, а как посмотрит на нее провинциальная публика! Кто тут у нас понимает искусство так, как понимаешь его ты?

— Так что же,— в Петроград мне везти картину?

Алексей Фомич прошелся по комнате и добавил:

— Пожалуй, ты права,— картину оценить смогут только в Петрограде, а не здесь, но... будут ли исправно ходить теперь поезда? И можно ли будет в обстановке, какая теперь сложится, довезти картину целой до Петрограда?

— Я думаю, что надо подождать, а не с места в карьер,— решительно отозвалась на это Надя.— Поедем в Петроград,— тут у нас все ограбят... То была полиция, а теперь кто будет?

— Да, в самом деле,— ведь теперь должны быть поставлены везде новые люди, а тем более в полиции! Эта полиция давно уже засела всем революционерам в печенки... Подождать, говоришь? Подожду, что ж... Надо оглядеться, это так.

И Алексей Фомич оделся и вышел из дому, обещав, впрочем, жене, что пройдется только по своей улице и дальше уходить не будет.

III

Выйдя из калитки на улицу, Алексей Фомич даже остановился в изумлении: первый, кого он увидел, был плотник Егорий. Он шел именно по той стороне улицы, где стоял дом художника, и художник вспомнил рассказ своей жены о ее страхах и дневных и ночных.

Поравнявшись с Сыромолотовым, Егорий снял картузик и проговорил, как заученное:

— С революцией поздравляю, барен! Как вы есть сознательный елемент, хотя, конечно, из буржуазного сословия...

— Спасибо,— революция всем нам нужна,— ответил Алексей Фомич,— а вот заходить ко мне на двор, зная, что меня нет дома, вам бы не следовало.

Егорий насторожился и отозвался не сразу:

— Работенки, конечно, искал,— слова нет,— как она сама с неба нашему брату-голяку не свалится.

— А почему же вы допытывались, куда это и надолго ли я уехал? «С каким-то попом»? Значит, вы это видели?

— Глаза, когда смотрят, не закажешь, чтобы они, например, не видели,— теперь уже заносчиво сказал Егорий.

— Это что же вы, следите, что ли, за мной вроде шпика? Кто же это вас ко мне, хотелось бы знать, шпиком приставил?

— Шпи-ком? — так и дернулся Егорий.— Шпики же эти вчерашний день еще были, а нынче их уж и духу-звания не должно быть!

— Однако у вас как будто и занятия никакого нет больше, как по этой улице фланировать!

— Да ведь как сказать, барен, никакому человеку воспретить нельзя, где ему ходить... С тем прощевайте!

И пошел дальше, а Сыромолотов стоял около своей калитки, смотрел ему вслед, пока он скрылся в переулке.

Конечно, ничего еще не изменилось здесь, на тихой улице очень отдаленного от столицы южного города, потому только, что в Петрограде началась революция, но художнику уже представлялись какие-то невнятные пока еще отзвуки, отголоски, течения в воздухе.

Даже как будто тише, чем обычно, была тихая улица, по которой вихрем пронеслись мальчишки-газетчики с красными листами телеграмм.

Алексей Фомич представил этот красный вихрь по всем улицам города и неминуемую ошеломленность у всех людей, хотя и ожидавших, что революция должна непременно совершиться.

Небольшая, шедшая поспешной семенящей походкой старушка встретилась Алексею Фомичу на перекрестке улиц: это была его теща Дарья Семеновна.

— Ах, как я рада! Ах, как рада! Даже и сказать не могу,— заулыбалась она полубеззубым ртом.

— Вы тоже рады? Вот как! — несколько недоверчиво протянул Сыромолотов.— Революции рады, а?

— Ка-кой такой революции? — испугалась Дарья Семеновна, и улыбка ее сразу померкла.— Вам рада, что вы приехали, а об какой это революции вы сказали?

— В Петрограде!

— В Петро-гра-де? — И по ее округлившимся испуган-

ным глазам Сыромолотов увидел, что красные телеграммы до нее не дошли.

— Несколько телеграмм на отдельных листах выпустила пока газета.

— И что же там, в телеграммах?

— Народ вышел на улицы... Главным образом женщины... и кричат: — Хлеба!.. Работницы фабрик и заводов... матери семейств... Детей-то кормить им надо, а хлеба нет: довоевались! Довоевались до того, что кормить людей нечем стало.

— Ну, вот! Женщины! Их и расстреляют! — сказала Дарья Семеновна.

— А кто же будет их расстреливать, когда солдаты от этого отказались? Что же, солдаты звери такие, что в своих матерей и жен стрелять будут?

И Алексей Фомич сжал свой крепкий кулак и потряс им в воздухе по направлению на север.

IV

Как этот, так и несколько последующих дней Алексей Фомич жил всем своим существом не в своем городе, а там, в Петрограде, где вот именно теперь, как ему ясно представлялось, он мог выставить свою картину. А так как без дела проводить время он не мог, то делал наброски карандашом: толпы народа посредине чинных улиц столицы.

Он как бы делал зарисовки с натуры, до того отчетливо представлялись ему и опрокинутые народом вагоны трамвая, и пылающее здание суда на Литейном проспекте, и арестованные министры, и генералы, которых на грузовиках везли к Государственной думе.

Прочно обрадован был он, когда узнал об отречении Николая II на станции Дно, под Псковом.

— И название станции-то какое, а? — почти кричал он, обращаясь к жене: — Точно нарочно придумано для этой страницы истории! Дошел до дна! До дна, куда успешно тянул его в последние годы Распутин! Станция Дно! Ну, как хочешь, а исто-рия, она часто бывает неожиданно остроумна! Утонул в этой страшной войне и дошел до «Дна»! Ниже уж некуда,— конец! И теперь пока просто полковник Романов!

Сыромолотов теперь читал все газеты, какие мог достать в ближайшем газетном киоске.

Однажды, в начале марта, к нему подошел плохо одетый, но с тонкими чертами лица юноша. Глядя на художни-

ка проникновенно, он подал ему свернутую почти в комок газету и сказал:

— Вы вот нашу «Правду» почитайте, Алексей Фомич, а из буржуазных газет что же вы узнаете?

— «Нашу Правду»,— повторил недоуменно Сыромолотов.— Это что за газета?

— Газета нашей партии большевиков,— объяснил юноша.

— А-а! «Нашей партии большевиков»,— снова повторил его слова Сыромолотов.— Значит, вы — партия большевиков? А почем вы знаете, как меня зовут?

— Ну, кто же у нас тут этого не знает? — даже как будто обиделся юноша.— Тем более я должен знать, так как мой покойный отец — доктор Худолей — вздумал както перед войной устроить пансион в доме сына вашего, Ивана Алексеевича.

— А-а! Вот вы кто!.. То-то я смотрю на вас и думаю, что как будто где-то видал...— Алексей Фомич подал Коле Худолею руку, добавив при этом:

— Он тяжело ранен, мой сын... Но мне послышалось, что вы сказали «покойный отец»... Это что же значит? Умер или убит на фронте?

— Убит... И там где-то схоронен... А я приехал домой из ссылки только вчера... И я в доме Ивана Алексеевича успел побывать,— там в нижнем этаже теперь опять как будто пансион для дураков.

— Да, на дураков моему Ване везет! — улыбнулся Сыромолотов.— Когда он уезжал, то нотариусу оставил доверенность на продажу дома, но тот решил дома не продавать: дескать — это «реальная ценность», а деньги теперь — одна видимость, и вот сдал кому-то весь нижний этаж с кухней. Я к сыну в дом, признаться, не заходил... Так дураки, вы говорите, там поселились?

— Полнейшие! — с живостью ответил Коля.

— Значит, такова уж судьба этого нижнего этажа, чтобы кто умный там и не поселился,— заметил Алексей Фомич и добавил: — Вот вы — партиец и, значит, вам книги в руки. Скажите,— образовалась ли у нас в городе какаянибудь власть?

— А как же! Известно со времен Ломоносова, что природа тел не терпит пустоты! — бойко сказал Коля.

— Из кого же она образовалась?

— Там теперь всякой твари по паре... Есть эсеры, есть меньшевики, есть кадеты... Только большевиков нет...

— Вот как! — удивился Алексей Фомич.— А почему же собственно нет?

— Мы пока под запретом! — И Коля Худолей приложил к губам указательный палец.— Но погодите, погодите, голубчики,— вдруг преобразился он.— Вот приедет наш Ленин, и тогда все будет по-другому.

— А-а! — протянул Сыромолотов.— Так что партия партией, а... как бы это сказать...

— Вождь вождем,— договорил за него Коля.

— Вождь вождем?

— Разумеется! Наша партия большевиков имеет гениального вождя, а где же подобные вожди в других партиях?

— Так, так... Так, так... гениальный вождь, вы сказали... А где гений, там и победа... Так всегда бывало в истории.

Говоря с Сыромолотовым, Коля Худолей понемногу отходил от киоска, и Алексею Фомичу приходилось двигаться тоже. Наконец, он заметил:

— Вы как будто боитесь, чтобы кто-нибудь вас не подслушал?

— Отчасти, конечно, в этом есть привычка подпольщика, а отчасти — ведь пока что все другие партии смотрят на нас, большевиков, косо и в Советы нас не пускают... По крайней мере, здесь в Симферополе... А как в других местах, я точно не знаю...

На перекрестке двух улиц, до которых дошли Алексей Фомич и Коля Худолей, сидела пожилая женщина в очках, а перед нею на скамеечке возвышалась корзина с пирожками, прикрытыми вышитым полотенцем. Остановившись, Коля так приковался глазами к пирожкам, что Алексей Фомич спросил его:

— Позвольте-ка: а вы не хотите ли есть? Случается это иногда с людьми.

— Очень! — признался Коля.— Мать меня кормить не может, а работы я пока никакой не нашел.

— Ну-ка, берите, сколько сможете скушать,— сказал Сыромолотов, доставая кошелек, и добавил:— Это я вам плачу за вашу газету «Правда».

V

Прошло еще несколько дней, пока Алексей Фомич укрепился в мысли — сходить в бывшую городскую управу, где теперь был городской Совет рабочих депутатов: не помогут ли ему выставить картину.

— Ведь эта картина не мое только личное, частное дело,— говорил он Наде,— а общественное. Картина совпадает с событиями и всем будет вполне понятна...

— А не спешишь ли ты, Алексей Фомич? — подумав, сказала Надя.— Что-то подозрительно тихо у нас: повесили везде красные флаги, заменили полицию милицией... Кое-кто взял власть, но...

— В неопытные руки,— вставил Алексей Фомич.

— А когда же они стояли у власти?

— Ну были бы головы на плечах... Мужик сер, да ум у него не волк съел. А мне почему-то кажется, что теперь самое подходящее время для выставки. Пока тихо, а вдруг начнется борьба политических партий за власть,— и тогда уж будет широкой публике не до картины. Вообще, отчего не попытаться? Может быть, как раз попадется мне человек, что-нибудь понимающий в искусстве, отведет помещение и даже, может быть, закажет в типографии афиши...

— Попробуй,— согласилась, наконец, Надя, и он пошел в горсовет.

В знакомое ему здание бывшей городской управы, теперь украшенное длинными и широкими полотнищами кумача, Сыромолотов входил с сознанием своего достоинства, как большой художник, честно и во всю силу своего незаурядного дарования трудившийся в течение двух с половиной лет.

В коридор выходили двери нескольких кабинетов, причем на дверях, обитых черной клеенкой, были плотно приклеены, а где уже болтались, бумажки с надписями от руки, что это за кабинеты.

В коридоре было пусто, спросить было не у кого, и Сыромолотов, остановившись перед дверью с надписью «Зав. культ. просвет. отделом», отворил ее. За столом сидел и читал какую-то длинную бумагу небольшой черноволосый, молодой еще человек, с весьма нахмуренным лбом и маленькими глазками, которые очень злобно уставились на вошедшего.

— По всей видимости,— начал Алексей Фомич,— к вам именно должна относиться моя просьба: отвести мне в центре города зал для выставки моей большой картины...

— Ка-а-ак? — выкрикнул фальцетом черноволосый человек, воззрившись на художника агатово-черными глазами и изобразив полнейшее недоумение на худощавом длинном лице.

— Я — художник, написал картину «Демонстрация перед Зимним дворцом» и хотел бы показать ее народу, ныне уже свободному,— объяснил Алексей Фомич и думал, что теперь все стало уже понятным для этого странного человечка.

Однако человек заерзал на стуле, точно его кололи булавками снизу, и завопил еще более высоким фальцетом:

— Ка-а-а-ак! — Черноволосый и не закрыл после этого рта, как бы приготовясь выкрикивать еще и еще это начальственное «как».

И это «как» точно подбросило Алексея Фомича, и он выкрикнул в свою очередь:

— Ка-ак-ать иди в другое, более подходящее место, а здесь городской Совет, учреждение официальное! Понял?

И, круто повернувшись, ушел, хлопнув дверью. Теперь, когда он шел по коридору к лестнице, шаги его были тверды, четки и даже быстры. Совершенно взбешенный Сыромолотов столкнулся тут же у кабинета, из которого он только что вышел, с молодым еще, но каким-то сильно полинявшим, помятым человеком, который вдруг схватил обеими руками его правую руку, сияя радостно глазами, и проговорил с большим чувством:

— Спасибо вам!

— За что спасибо? — не понял Сыромолотов.

— За то, что накричали на этого!.. Очень зазнался!

— Да откуда он взялся? Кто он такой?

— Прислали!.. Из Одессы. Эсер. Дурак дураком — непроходимый. Но метит по меньшей мере в гении.

— Какое же нам дело до Одессы,— искренне удивился Сыромолотов.— И зачем же дурака в Совет пустили?

— Да он, небось, сам. Это хитрый дурак. Из породы ловкачей. У них тонкий нюх, чуют, где жареным пахнет,— успел сказать линялый человек, и тотчас же отошел от него, так как дверь кабинета отворилась и в ней показался черноволосый и угрожающе крикнул подошедшему к нему линялому:

— Что-о?

— Я — здешний адвокат... Фамилия моя Кашнев,— расслышал, спускаясь по лестнице, Сыромолотов.

— Ка-ак?

— Каш-нев! Адвокат здешний.

Сыромолотов стал спускаться, переступая через две ступеньки и стараясь ничего уже больше не слышать.

Когда Алексей Фомич вернулся, он сказал Наде:

— Совершенно неожиданно для меня ты оказалась права. Я поспешил и только себя насмешил. Людей надо, чтобы завертелась машина, а разве их сразу найдешь? Вот и сажают черт знает кого,— лишь бы умел на стуле сидеть! А в черепушках у них сенная труха!

VI

Еще прошло дня четыре. Алексей Фомич начинал уже привыкать к мысли, что и картину «Демонстрация» так же трудно будет выставить, как и картину «Майский день».

Он говорил Наде:

— Уехав из столицы, уединившись здесь, я бил на то, чтобы быть совершенно независимым и в выборе сюжетов для картин своих и в технике письма. В то время, когда я так сделал,— имей это в виду,— появились такие объединения молодых художников, как «Ослиные хвосты», «Червонные валеты», «Кубисты», «Лучисты» и черт там их знает, как они там еще назывались. Я добровольно взял на себя миссию: настоящее, исторически сложившееся, большое искусство сохранить и, по мере сил и возможностей своих, продвинуть вперед. Я был достаточно силен и смел, чтобы жить здесь одиноко. Положим, что в этом направлении, каким я шел, кое-чего я все-таки добился. Но я не учел одного, всесильного в наше время,— рек-ла-мы! Репин от столицы не отрывался: от его Куоккалы до Петербурга рукой подать. Кроме того, он среды завел. Пусть угощал гостей каким-то анекдотическим супом из сена и вареным сельдереем, однако и это заставляло публику говорить о нем. А я что же? Затворник! Пещерно-житель!

— Неправда! Тебя везде знают! — пылко перебила Надя.

— Ну, так уж и знают? — махнул рукой Алексей Фомич.— Я и сам полагал, что знают, а в городском Совете услышал самое пренебрежительное: «Ка-а-ак?»... Он мне говорит, нездешний этот «Ка-а-ак?», откуда-то присланный развивать здесь у нас культуру. А культура это что такое? Это — искусство и наука. Печной горшок,— да, он необходим, конечно, для жизни, и как же без него обойтись в деревенской избе? Но это не культура, это — первобытная цивилизация, то есть то, что отличало человека от животных.

Волк баранину не варит, а жрет сырьем. А люди Европы ели вареное мясо руками до конца шестнадцатого века, когда при дворе испанского короля введены были в употребление вилки. А у нас по глухим деревням и до сего времени обходятся без вилок. И с вилками или без них — это жизнь брюха, а не духа. А вот «Илиада» и «Одиссея», а вот «Лаокоон», а вот «Сикстинская Мадонна», как апофеоз материнства,— это жизнь духа, а не брюха. И в моей картине не голая злободневность, нет! Ищите в ней вечные мотивы. Разве была злободневность в репинских «Запорожцах, пишущих ответ турецкому султану»? Когда жили те запорожцы, и когда написана и выставлена картина? Что же было в ней вечного, что привлекло к ней всеобщее внимание? Смех! Вот что там было и есть и останется навсегда... «Поцелуй ось куды нас»,— пишут вольные запорожцы всесильному тогда турецкому султану, и все хохочут, так как представляют все одинаково, что это значит «ось куды»!.. А в другой картине Репина «Смерть сына Ивана Грозного» что вечно? Там — ужас на лице Грозного, ужас перед тем, что им только что сделано: убийство собственного сына! А не будь этого ужаса, какое бы нам через четыреста лет было бы дело до Ивана Грозного с его сыном? Я вывел на своей картине толпу людей, толпу безоружных, людей разных возрастов, но объединенных одним порывом, и это же не «9 января» и не «27 февраля», а бери глубже и без чисел, без месяцев, без годов! А если уж очень хочется тебе, чтобы непременно были и число и месяц, то поставь гоголевские из «Записок сумасшедшего»: «Мартобря 2733 дня»!

— Ты всегда что-нибудь такое скажешь, Алексей Фомич,— улыбнулась последним словам Надя,— что даже и наш Джон, хоть он на дворе, начинает лаять.

— Не Егорий ли опять гремит там щеколдой? — попробовал догадаться Алексей Фомич.

— Нет! Это какой-то солдат... Шинель без погонов... в левой руке чемодан — довольно объемистый... Джон, Джон! Назад! Сюда! — закричала в форточку Надя.

И тут ставший рядом с нею Сыромолотов вскрикнул:

— Да это же Ваня! Это Ваня из госпиталя, с фронта!

VII

Алексей Фомич все следил за тем, владеет ли правой рукой его Ваня, и когда увидел, что сын его, несший чемодан левой рукой, перенес его в правую и правой поставил в передней на пол, радостно сказал:

— Браво! Значит, писать кистью и подавно можешь! Брависсимо!

Заметив, как недоуменно глядит Ваня на молоденькую женщину с голубыми глазами, Сыромолотов поспешно представил Надю:

— Моя жена! Ведь я, кажется, писал тебе, что женился?

— Нет, ничего не писал,— отозвался на это Ваня, целуя руку Наде почтительно, как совсем еще незрелый пасынок у мачехи величественного отца. Алексей Фомич бормотал при этом:

— Странно! Неужели не писал? Но в конце-то концов не все ли равно, писал или нет! Важно то, что если тебя и покалечили, то как будто по-божески, по-божески... Дай-ка пощупаю, где это! — очень оживленно протянул руку Алексей Фомич к предплечью сына, когда тот снял шинель и оказался в мундире тоже без погонов.

— Пощупай, пощупай! — улыбнулся Ваня, и отец охватил его бицепс, твердый почти как камень.

— Это и есть протез, о каком ты писал?

— Это он самый. Под ним трубчатая кость, которую сломать ничего не стоит любому борцу.

— Ну уж, только ли борцу! Стало быть, теперь ты ни в каком цирке выступать не будешь.

— Куда уж теперь выступать в цирке! — горестно согласился Ваня.

— А красками писать пробовал?

— Пробовал: могу.

Алексей Фомич ждал, что сын теперь спросит, в свою очередь, его, окончил ли он свою картину? Но Ваня сказал:

— На тебя вся надежда: дай мне какое-нибудь свое старенькое пальтишко вместо проклятой моей шинели! Твое на меня годится, а в магазине готового платья я не мог по себе подобрать. Из твоего дома в свой я должен буду перейти совершенно штатским во избежание... как бы это выразиться... неприятных инцидентов со стороны солдат, хотя погоны и с шинели и с мундира я снял.

— Постой-ка, постой-ка! Ты каких-то страстей наговорил за одну минуту столько, что и в голову не уложишь!

— Да ты читал ли приказ по армии номер первый?

— Это, кажется, чтобы солдаты не отдавали больше чести офицерам? — не совсем уверенно припомнил Алексей Фомич.

— Вот именно! И с того началось!.. Потом пошли «Советы солдатских депутатов»,— «солдатских»,— понимаешь?

А не «солдатских и офицерских»... Значит, офицеры в армии стали лишними, и сиди — жди, когда тебя выволокут и убьют!

Заметив, что великовозрастный пасынок ее очень взволнован, Надя сказала:

— Иван Алексеевич! Вам с дороги и белье переменить надо. На кухне у нас сейчас никого нет, а на плите в котле много горячей воды... Подите, выкупайтесь! Алексей Фомич вам поможет.

— Непременно! Это непременно надо сделать в первую голову! — поддержал жену Сыромолотов и повел сына на кухню.

XIII

У Вани был счастливый, сияющий вид, когда после головомойки, как он это назвал, устроенной ему отцом на кухне, он сидел за самоваром, поставленным его мачехой, допивал восьмой стакан чаю и говорил:

— Не знаешь, где найдешь, где потеряешь, а это оказалось большой моей удачей, что меня ранили австрийцы, если бы не эта рана, я не попал бы в госпиталь, и меня убили бы свои. Убивают и младших офицеров, не одних только кадровиков ротных и батальонных. Развал армии — вот что делается на фронте. Стихотворение кто-то из младших офицеров написал на эту тему,— оно ходит среди горемычного офицерства. Длинное, и я помню из него только три первых куплета:

О боже, святый, всеблагий, бесконечный,
Услыши молитву мою!
Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибель в бою!
Смертельную пулю пошли мне навстречу,—
Ведь благость безмерна твоя!
Скорей меня кинь ты в кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я!
На родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас сколотил погребальные дроги
И грязью нас всех забросал.

Непременно я был бы убит: ведь я полковым адъютантом был,— приказы по полку составлял,— непосредственно, значит, помогал командиру полка, а против этого командира взбунтовался полк еще до революции. Фамилия командира нашего полка — Ковалевский. Говорили мне, когда я

был в госпитале, что ему удалось спастись, одна пуля прошла сквозь шею,— лежит теперь в госпитале, а выживет ли,— неизвестно: рана куда более тяжелая, чем моя.

— Тебя лечили на совесть,— вставил Алексей Фомич.— Протез бицепса отлично сделан и хорошо прилажен к руке... Гм... где же я читал о князе Меншикове,— не петровском Сашке, а его внуке или правнуке, ну о том самом, который Крым защищал — читал, что при осаде нами в Турецкую войну Варны был ранен в икры обеих ног турецким ядром,— тоже вот так, как ты, снесло ему это ядро икры обеих ног,— и вот еще в те времена, —почти сто лет назад,— ему сделали протезы, и представь, он мог отлично верхом на лошади ездить... Что же из этого следует — какой вывод? Не призовут ли тебя обратно в твой полк, а?

— Могут призвать,— согласился Ваня.— Ведь в бумажке у меня стоит не «отставка», а только «бессрочный отпуск». Могут взять меня на нестроевую должность, однако куда же именно брать и зачем брать? Союзники наши — англичане и французы — требуют от нас наступления во что бы ни стало в апреле, а у нас развал армии, и мы не только наступать, даже и защищаться не можем. И наступать нам не с чем: у нас ни снарядов к трехдюймовкам, ни пулеметных лент, ни патронов для винтовок,— ничего!

— Позволь, позволь! — удивился Алексей Фомич.— А почему же все-таки ничего этого нет?

— Рабочие Петрограда это нам доставляли, а теперь они не работают,— бастуют, требуют увеличения платы. Кроме того,— англичанам и французам хорошо назначать день всеобщего наступления до 10 апреля по новому стилю, а у нас в это время — половодье, везде разливы рек и речек. Одним словом, положение такое: немцы могут устроить баню нам в любой точке и даже в ста точках сразу!

— Почему же они этого не делают? — не понял сына Алексей Фомич.

— А чего они будут кормить пленных наших солдат? У них и без того есть два с половиной миллиона пленных с одного только русского фронта. Они, эти немецкие генералы — гинденбурги и людендорфы — воевать умеют: линию Западного своего фронта они выпрямили: на сто шестьдесят километров она стала меньше, освободилось сорок дивизий, и этого вполне довольно, чтобы им резать русский фронт где угодно, как мясо ножом! Они этого пока не делают, а зашевелись мы, выйди из окопов,— что им помешает где угодно зайти нам в тыл? Перед выпиской из госпита-

ля я слышал, что все наши запасы продовольствия измеряются несколькими днями: на двенадцать дней,— только и всего! А Нивель, главнокомандующий французов, требует непременного наступления всем фронтом в конце марта по нашему стилю!

— Значит, теперь же должны готовиться? Понимаю... Но почему же нашими войсками командует какой-то Нивель?

— Потому, что мы были куплены за огромный заем,— вот почему! Мы — пушечное мясо французов... Когда немцы перебили всех сингалезцев под Верденом, туда погнали наши корпуса... А теперь наша революция взбесила наших хозяев в Париже: — тоже нашли время, когда революцию делать! И вот теперь министр обороны или военный — Гучков наседает на Алексеева, Милюков-Дарданельский — министр иностранных дел — хоть сейчас готов толкнуть в наступление миллионы наших солдат и офицеров: — А то не получим от союзников Дарданеллы! — А русские солдаты предпочитают убивать своих офицеров, чтобы через них французские генералы Нивели и прочие ими не командовали... И солдаты бегут, бегут неудержимо! И никакие полевые суды удержать их не могут.

— Ты таких ужасов нам насказал,— поежился Алексей Фомич,— что я уж не удивлюсь, если увижу немецких солдат у нас в Крыму!

— Вполне возможна такая картина,— согласился Ваня.— Вполне возможна... Одним словом, события были большие, а ожидают нас огромнейшие... И пока что я в твоей рубахе и в твоем старом пиджаке чувствую себя в полной безопасности, а может случиться и так, что и они не спасут, что через какой-нибудь месяц и они не спасут: все может полететь кверху ногами.

Алексей Фомич долго смотрел на сына, пившего в это время десятый стакан чаю, и проговорил, наконец:

— К ци-ви-ли-зации рвутся люди, это их законное право. Только вот меня интересует: а как все-таки пойдет дальше? Ты был там, в самой гуще, два с половиной года, тебе виднее, чем мне: как может пойти дальше? Не может ли случиться так, что и из других армий, даже из германской, начнут бежать домой, а? Из французской армии тоже могут бежать,— если, разумеется, побегут из германской; ну, а австрийцам и сам бог велел на Вену, оперетки Штрауса слушать... Не может ли так случиться, а? Как ты полагаешь?

— То есть, это чтобы и там началась революция, как у нас? — качнул головой Ваня.— Не-ет, они там, то есть правительство германское, а также австрийское,— нашим пленным читают лекции о революции, это я слышал, а чтобы у себя,— не-ет, этого они не допустят.

— Постой-ка, ты какую-то ересь и дичь понес... Тебе говорили, а ты повторяешь, как попугай! Какие такие лекции нашим пленным? Зачем им это?

— Как же так зачем? Расчет у них очень понятный,— зарокотал Ваня.— Два с половиной миллиона, говорят, наших пленных в одной Германии,— это ли не сила? Пять-шесть огромных армий. Их там обучают, как им сподручнее будет отнимать земли у помещиков, и выпустят к нам через границу: идите, действуйте в этом духе! Они и пойдут чесать.

— А за ними Вильгельм?

— А за ними, конечно, Вильгельм, чтобы занять территорию нашу до Урала.

— Ты-ы... ты, кажется, чью-то шутку принял всерьез, а? От тебя станет!

— На шутку это чем не похоже? Похожа, как гвоздь на панихиду,— угрюмо отозвался Ваня.

— Два с половиной миллиона даровых рабочих чтобы выпустил такой хозяйственный народ, как немцы? — искренне возмутился Сыромолотов-отец.

— Даровых, да не очень,— пояснил ему Ваня.— Эту рабочую силу кормить надо, а чем? Из Румынии вывезли недавно хлеб, это так, а надолго его хватит? А хлеб теперь и есть самое дорогое, именно хлеб, а совсем не какие-то бумажки всех цветов радуги и не почтовые марки... Выпустят два с половиной миллиона ртов, чтобы от них избавиться,— это с одной стороны, и чтобы они у нас все подчистую съели,— с другой стороны.

— Если это действительно будет так, как ты сказал, то план этот... план этот какой-то даже и не человеческий. Вот что значит заниматься всю жизнь свою искусством и никогда не соваться в политику. За это мне и наказание.

— Как это тебе наказание? — буркнул Ваня и посмотрел на отца, взметнув брови.

— Есть где-то такая строка: «И это все, чему я поклонялся!» — глядя в пол, говоря как бы сам с собою, начал объяснять сыну Алексей Фомич.— Искусство, культуру человеческую и общечеловеческую ставил я во главу угла всей своей жизни, и вот выходит, что же именно выходит?

Выходит, что совсем не на ту карту ставил... Проиграл, значит, а? Да-да, да, да, да-а-а... Выходит, что проиграл... Это и есть наказание. Ведь ты, кажется, сказал, что это в одной Германии два с половиной миллиона?.. Ну да, именно в одной, и я сам где-то читал... А ведь есть еще много таких пленных и в Австрии... Сколько?.. Если, например, считать тоже до двух миллионов, а?.. Пусть даже только полтора. Всего, значит, у них четыре миллиона... Ого! Ого-о-о!

— Хотя, конечно, не все же будут убивать и грабить,— вставил Ваня.

— Не все? Да, допустим, что только половина, а другая половина вернется к своим хозяйствам, чтобы их тоже ограбили...

— Это ты вспоминаешь девятьсот пятый год, а теперь, может быть, как-нибудь иначе будет,— вздумалось Ване дать другое направление мыслям отца.

— То есть еще страшнее, ты хочешь сказать. Иначе? Как же именно иначе? Ведь они голодные будут, эти миллионы ртов. А где голод, там какие же законы могут удержать людей? Что такое голод? Прежде всего невменяемость!.. Земля, это потом. Какой-нибудь чернозем его человеческий желудок не переварит... Значит, что есть в печи, то на стол мечи!.. Нет у тебя, ты говоришь? Прячешь? Мы кровь свою проливали, а ты дома сидел, а теперь от нас же прячешь? Вон же за это! Хоп — и дух вон! В том-то и будет ужас, а с точки зрения голодных какой же тут ужас. Это только всего навсего в порядке вещей. Ты чтобы сытый был, а мы чтобы с голоду сдохли. Хлоп камнем по голове и давай шарить, хлебушка искать.

— Вся надежда на то, что они все-таки солдаты, что военному делу их обучать не надо. Так что дай закон, крепкую власть,— огромная может быть армия...

— Против кого? Армия?.. Еще бы не армия, а против кого?

— Против тех же немцев, конечно... чтобы не дошли до Урала.

— Четыре миллиона голодных людей... Пусть даже только два... если два устроятся дома... Не могу представить, не хватает воображения... Тут только статистика, статистика нужна, а не воображение, потому что это же потоп, а не человек... Стихия это, а стихия всегда вне всякой человеческой логики... Стихия живет сегодняшним днем, когда разбушуется, а о завтрашнем дне зачем ей думать?

У стихии не мозг, а только чрево. И она проглотит, она все проглотит: и хлеб, и водку, и искусство.

— Принимаю! — вдруг снова выкрикнул Алексей Фомич.— Принимаю, но-о... но с оговоркой: чтобы не был расчеловечен человек, чтобы человеческое в человеке удержали, вот!.. Чтобы не погибло наше с тобой искусство.

— Погибнуть оно не может,— пробасил Ваня,— а временно, конечно, должно уйти...

— Куда уйти?

— Со сцены уйти,— хотел я сказать, ну, просто, не тем люди заняты будут...

— А надолго ли уйти со сцены велят? Ты был там на фронте, может быть, у тебя сильнее представление. И в госпитале с рукой лежал, мог думать на свободе... Надолго?

— Трудно сказать.

— Смотря, значит, как пойдет дело... Дело всех миллионов, о каких ты говорил, и всех прочих миллионов и у нас, и в Германии, и во Франции... везде?..

Алексей Фомич отошел к окну, глядел в него с минуту и добавил:

— Чувствую, что надолго...— И затем, после долгой паузы, проговорил: — Значит, мне совершенно незачем думать о том, чтобы выставить свою картину?

— Да, вот картина! — вскинул голову Ваня.— «Демонстрация»?.. Много фигур ты там задумал... А в каком же они виде сейчас?

Алексей Фомич не отрывал глаз от сына, пока тот говорил, а на вопрос его вяло ответил, переводя взгляд на жену:

— Поставил точку.

— Неужели успел закончить?

— Закончил... А выставлять, вижу, что негде будет...

— Посмотреть можно? — очень знакомым Алексею Фомичу просительным тоном обратился к нему Ваня, перевертывая над блюдечком пустой стакан в знак того, что больше уж самовар ему не нужен.

У художников принято, как правило, что рассматривать можно только с расстояния трех диагоналей картины, но «Демонстрация перед Зимним дворцом» занимала целую стену в мастерской Алексея Фомича, от этой стены до двери влезали только две диагонали, поэтому, показывая картину сыну-художнику, открыли настежь обе половины дверей из мастерской в столовую.

Сам Алексей Фомич стал так, чтобы ему было видно

лицо сына, на котором он мог бы разглядеть первое, самое дорогое для него, впечатление от картины. Ваня же непосредственно по-детски, как всякий истинный художник, воспринимающий живопись, отшатнулся на полшага, как будто трех диагоналей, отмерянных для осмотра картины отцом, ему оказалось мало.

Людей на полотне было много: они были очень разнообразны по своей одежде и лицам, но все они были живые, все смотрели в одном направлении через решетку фигурной железной ограды, отделяющей панель площади от обширного дворцового двора. На всех лицах чувствовалась ярко схваченная одна мысль, одна всех охватившая решимость вот именно теперь, уйдя от своих обычных будничных забот, добиться чего-то большого, способного в корне изменить всю жизнь.

Люди, занявшие передний план картины, были написаны в естественную величину, и они стояли на мостовой так, что над их головами поднимались головы фигур второго плана, занявших панель.

Как художника, Ваню изумило то, с каким искусством его отец расположил на картине разнообразные красочные пятна, слив их в то же время в одно гармоническое целое и в единый порыв: напряженность всей картины в целом ощущалась и в каждом отдельном мазке.

А левый фланг картины, свободный от человеческих фигур первого и второго плана, занял конный отряд полиции с монументальным приставом во главе, сидевшим на красивом, породистом гнедом коне, тонкие ноги которого были в белых чулочках; так что совсем рядом с требовательной, охваченной одним порывом, но совершенно безоружной толпой стояла и вооруженная, притом конная охрана дворца, ожидавшая, как это было очевидно, только команды, чтобы ринуться на толпу и частью смять ее, частью рассеять.

Прошло в полном молчании не меньше десяти минут: сын смотрел на картину отца, отец смотрел на лицо сына. Но вот это лицо медленно повернулось к нему, и слабым по тону голосом, почти шепотом, сын сказал:

— Это... изумительно!

— Что изумительно? — также не в полный голос спросил его отец. И сын, помолчав, ответил:

— Изумительно прежде всего то, что ты с таким огромным холстом справился с неслыханной быстротою.

— Я ведь только этим холстом и был занят все время,— больше ничем,— ответил отец.

— А где же ты взял этого командира конной полиции? Необыкновенно он тебе удался... И мне даже кажется, что я его где-то видел такого точно.

— Ты и мог его видеть у нас здесь: это бывший наш пристав, только потом его перевели в Петербург, где я и сделал с него, конного, этюд. Фамилия его Дерябин.

— Хорош! Очень хорош!.. Олицетворение идеи самодержавной власти... И вообще у тебя что ни деталь — бьет прямо в цель! Не картина это, нет!

— А что же?

— Подвиг во имя искусства. Чудо, а не картина!

— Это ты серьезно говоришь, или...

— Не говори ничего больше! — перебил сын и широко открыл для отца объятия.

Глава третья

I

Так как день развернулся теплый, то Алексей Фомич дал Ване не пальто, а плащ — черный, с капюшоном и белой металлической застежкой в виде львиной головы. Сам он не носил этого плаща, поэтому плащ имел такой вид, как только что купленный в магазине.

Так в черном плаще и в серой отцовской шляпе, как вполне штатский человек, Ваня отправился посмотреть, в каком состоянии теперь дом, принадлежащий лично ему. Единственное, что пока он узнал о своем доме, было то, что сказал ему отец со слов Коли Худолея:

— В нижнем этаже там у тебя поселились какие-то идиоты. Не знаю, семейство ли какое умственно-убогих, или это какой-нибудь союз идиотов,— там на месте будет тебе виднее.

На Ване под штатскими брюками оставались высокие фронтовые сапоги, и он по привычке делал широкие строевые шаги, когда подходил к своему дому.

Но как только Ваня остановился перед своим домом, оглядывая по-хозяйски, какого ремонта он требует, к нему подбежал гулявший невдалеке длинный, но тонкий подросток лет шестнадцати и, прищурив левый глаз, с самым

серьезным видом стал щелкать, «стреляя» в него из игрушечного пистолета.

— Это что? Ты кто такой? — крикнул Ваня.— Не идиот ли номер первый?

Однако и «идиот номер первый» закричал визгливо:

— Я тебя убил! Я тебя убил, и ты падай!

Ваня схватил левой рукой его правую и вырвал игрушку, сунув ее на всякий случай в карман пиджака, но мальчишка заорал так неистово, что из дверей дома выскочила растрепанноволосая пожилая женщина в фартуке и тут же кинулась на Ваню:

— Вы что это, а? Вы что это бьете моего сына, а?

— А-а! Вы, стало быть, семейство, а не то чтобы союз идиотов! — спокойно сказал Ваня, входя в дом.

— Вы куда? Вы зачем это к нам? — вопила женщина, хватаясь за плащ Вани.

На что Ваня отозвался как мог спокойнее:

— Я — хозяин этого дома.

Женщина в фартуке бросилась к дверям, ведущим в другую комнату, и из-за этих дверей донесся ее крикливый голос:

— Спишь все, дурак проклятущий! А там уж хозяин какой-то явился.

— Там, значит, идиот номер третий,— пробормотал Ваня, а спустя минуту появилась из дверей заспанная красноглазая фигура седого, подстриженного ежиком коротенького человечка в грязных подтяжках на явно давно уже не стиранной рубашке.

— Ваша фамилия? — спросил, брезгливо его оглянув, Ваня.

— Я должен спросить вашу фамилию! — наставительно, но хрипуче выдавил из себя человечек в подтяжках.

— Извольте: моя фамилия Сыромолотов, и я хозяин этого дома.

— Когда я снял квартиру в этом доме, мне сказали, что хозяин на фронте, прапорщик и, кажется, даже убит.

— Был тяжело ранен, лежал в госпитале, теперь в бессрочном отпуску, то есть в отставке... Сегодня утром приехал. Считаю, что с вас этого довольно. А вы кто и на каких условиях снимаете у меня квартиру?

— Я тоже теперь в отставке, а был делопроизводителем штаба начальника дивизии,— прокашлявшись, сказал квартирант Вани.— Так что я — я тоже военный, хотя нестроевой, как, скажем, врачи полковые, а также и дивизионный.

— Как же в Симферополе могли вы быть делопроизводителем штаба дивизии, когда здесь стоял всего один пехотный полк? — не поверил Ваня, но человечек в подтяжках замахал руками:

— Не здесь! Не здесь! Я из Нижнего Тагила, с Урала сюда переехал на постоянное жительство, исключительно в целях экономии в дровах.

— Какой экономии в дровах? Ничего не понимаю!

— Написали мне отсюда хорошие знакомые, что здесь можно прожить зиму, не топя, вот я и двинулся.

Ваня с интересом, присущим только художникам, наблюдал лицо своего квартиранта. Оно все — желтое и дряблое,— состояло из одних только параллельных морщин: прямые морщины располагались на лбу, а навстречу снизу от подбородка шли закругленные, но тоже строго параллельные морщины.

Ваня даже подсчитал эти морщины: их оказалось — восемь на лбу и шесть идущих снизу.— Не лицо, а гармошка! — подумал Ваня и разглядел еще у своего квартиранта во внешних уголках маленьких мутных глаз какие-то совершенно ненужные, но плотно усевшиеся наросты, отчего глаза казались еще меньше, чем были, и совсем незрячими.

А человечек, приехавший сюда с Урала с очень большой надеждой на крымское солнце, продолжал:

— Дрова нас там одолели, в Нижнем Тагиле! Восемь месяцев в году топка печей, а пенсию дали небольшую. Там она вся, эта пенсия, выходила из трубы дымом. Полагал, истинно полагал, что скорая будет победа, однако наши генералы Дитятины, оказалось, воевать совсем не умеют.

— Какие «генералы Дитятины»? — не понял Ваня.

— А те самые, каким лекарь Пирогов «ап-перацию» делал: череп отпилил и мозги вынул, положил на тарелку, он еще тогда только полковник был, этот Дитятин, а тут вдруг вы из полковников произведены в генерал-майоры! — А-а! — тут говорит Дитятин.— Лекарь Пирогов, пришивай мне обратно череп.— Пирогов с перепугу череп-то пришил, а мозги позабыл вставить на свое место. Генерал Дитятин махнул на свои мозги рукой: — Раз я теперь генерал-майор, то зачем же мне какие-то там еще мозги! — И пошел.

— Это, кажется, рассказ Горбунова,— вспомнил Ваня.— Но генералы в нашем поражении меньше виноваты, чем тыл. Однако вы мне не ответили, сколько вы платите за квартиру в моем доме и кому именно платите?

— Ни-ко-му ни-чего не пла-чу! — приподнявшись на

носки и на них покачиваясь, раздельно проговорил жилец.

— Вот тебе раз! — удивился Ваня.— Я дал доверенность на продажу своего дома одному нотариусу, и это уж его промах, что он не продал дома, а нашел мне такого квартиранта, как вы!

— Ага! Вот-вот! Я тоже так думаю, что в видах возможной революции умнее было бы его продать, а то могут ведь отобрать и бесплатно,— и жилец торжествующе захихикал.

— Таких домишек отбирать не будут... До этого не дойдут.

— Однако же двухэтажный! — продолжал жилец.

— Ну, с меня довольно,— выкрикнул Ваня,— и с вами я больше говорить не хочу! Пойду к нотариусу!

Несколько успокоило Ваню только то, что, поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, где он сам жил прежде, он увидел на дверях тот самый прочный висячий замок, какой повешен был им, когда он уезжал в ополченскую дружину.

II

Нотариус Солодихин был, как помнил Ваня, преисполнен сознанием важности занимаемой им должности. Пенсне у него было в золотой оправе и на обеих руках тяжелые золотые перстни.

Седая прямая узенькая бородка придавала некоторую картинность его крупному лицу с широким лбом. Ценя каждое свое слово, говорил он медленно и наставительно, так как строго придерживался законов. Какие же и могли быть у него ошибки, если законы он знал?

Таким видел Солодихина Ваня около трех лет назад, но теперь пред ним сидел очень поседевший и ставший почему-то суетливым человек, снявший с себя и золотое пенсне и перстни. И сам он подсох и сгорбился, и пиджак на нем оказался поношенным.

И Ваню Сыромолотова он узнал только тогда, когда тот сам ему назвался. Ване пришлось напомнить ему и о своей доверенности на продажу дома, и когда Солодихин припомнил все обстоятельства дела со сдачей квартиры «какому-то приезжему надворному советнику в отставке», то даже улыбнулся и с чувством сказал:

— Прирожденный мошенник, хотя и надворный советник! Я с него получил только за первый месяц, а потом от него услыхал: — Так как деньги падают в цене, то я за-

трудняюсь высчитать, сколько я должен добавлять ежемесячно к назначенной вами квартирной плате! — Я увидел, с кем имею дело, и махнул рукой: сторожа, думаю, если нанять,— ему надо платить, а тут этот отставной будет торчать бесплатно.

— Ну, а теперь мне как же с ним быть? — спросил Ваня.

— Вы — другое дело,— вы хозяин, вы можете заявить, куда теперь следует заявлять, и его выкинут, я думаю. Кому теперь нужен отставной надворный советник, который работать не может или не хочет? Я постарше его, однако же вот сижу на своем прежнем месте и при новом строе... покамест не прогонят, конечно.

Так как нотариус посмотрел при этом на Ваню вопросительно, то Ваня стал уверять его, что он необходим при новом строе: как же без нотариуса? Ведь собственность на мелкие усадьбы и дома остается, и ее разрешается продавать и покупать — вот на это и необходима нотариальная контора. А что касается новых людей, то ведь их еще надо приучить к такому сложному делу.

С этим Солодихин согласился охотно и добавил в своем прежнем наставительном тоне:

— Государственная машина создавалась веками и даже тысячелетиями, так вот сразу все переделать в ней нельзя, а надо исподволь и в порядке необходимости.

У Солодихина Ваня узнал фамилию своего жильца — Епимахов — и пошел снова к себе домой.

III

Идиот и на этот раз торчал на улице, но теперь без своего пистолета, он испуганно бросился бежать, когда подходил известный уже ему хозяин дома. Мать идиота открыла запертую теперь дверь, чуть только дотронулся до звонка Ваня, а Ваня, войдя, поднялся по лестнице и отомкнул объемистый замок.

Все оставалось в целости, как было, но что удивило Ваню — это пыль, лежавшая на всем густым серым слоем.

Здесь было тоже три комнаты, как и внизу, причем самую большую Ваня обратил в свою мастерскую.

В углу этой мастерской Ваня нашел и холсты и картон, свернутые в трубки.

Не раздеваясь, так как в комнате было холодно и сыро, Ваня развернул и расстелил холсты на полу, прижи-

мая к полу прессами их углы, и этим занят был больше двух часов. Еще утром в этот день бывши прапорщиком, получившим «бессрочный отпуск», он искал тут теперь прежнего, довоенного себя, художника, который носил когда-то имя — «любимое дитя академии художеств» — и получил командировку за границу.

Мало сказать, что был обрадован Ваня: он как бы переродился сразу, восстановился, сбросил с себя наносное фронтовое.

Добродушный по природе, какими бывают многие очень сильные физически люди, всем своим товарищам и по академии художеств и по полку позволявший называть себя попросту Ваней, он не удивился бы теперь, если бы Ваней назвал его вдруг нечаянно и «прирожденный мошенник», его жилец.

Он представил, как, если не сегодня еще, то непременно завтра, прислуга отца принесет сюда дров из отцовского сарая и затопит здесь печку, а пока будут гореть дрова, тряпкой, как это умеют делать женщины, сотрет со всей мебели и подоконников пыль. Тогда он вновь приспособит под постель свою широкую оттоманку и перейдет на «свои хлеба», лишь бы удалось найти какую-нибудь работу или продать что-нибудь из своих картин.

Закрыв снова свой этаж на замок, Ваня пошел к отцу теперь уже как художник к художнику, причем художник, куда более зрелый, чем четыре года назад, когда он приехал сюда из Риги с цирковой акробаткой немкой Эммой Шитц и тогда купил здесь по дешевке хотя и старый уже, но все-таки двухэтажный дом.

Глава четвертая

I

Когда дочь полковника Наталья Львовна вышла замуж за арендатора каких-то каменных карьеров и известковых печей Федора Макухина, то первая, кто удивилась ее поступку, была она же сама. Но с каждым может случиться, что неожиданно для себя он вдруг сделает плохо обдуманный, однако важный в своей жизни шаг, а потом не знает, как выбраться из трясины, в какую попал.

Когда делала опрометчивый шаг свой Наталья Львовна, она как бы хотела показать тому, кто пренебрег ею,

что у нее есть своя ценность, что она замечена другим, что она не осталась старой девой. И она не бедна теперь,— у нее есть свой дом, и муж ее, пусть он и не так хорошо образован, заявил во всеуслышанье, что большие дела будет делать вместе с нею.

Война помешала этим его «большим делам», но война когда-нибудь должна же будет окончиться, тогда-то именно и начнутся «большие дела». Что за «большие дела», она не знала, но понимала только, что нужна своему простоватому мужу для этих дел так же, как вдохновение необходимо художнику.

И вдруг — война, и муж ее оторван от всяких дел,— на нем рубаха защитного тускло-зеленого цвета с унтерофицерскими погонами, и все, чем он занят теперь,— называется мудреным словом «каптенармус».

Порывистая по натуре, она всю жизнь, пока еще недолгую, куда-то рвалась, но война, взяв от нее и отца и мужа, оставила ее только с беспомощной слепой матерью, от которой куда же можно было уйти?

Жизни не было — а что же было? Как бы сон, затянувшийся на года.

Слепая мать, которая прежде все говорила мужу, полковнику в отставке:— Ты от меня не уходи, а то мне в темноте страшно одной,— теперь то же самое говорила ей. И если отец отвечал ей, бывало:— Куда же я от тебя уйду? Ты — крест мой,— то она отвечала кротко: — Ухожу только по делам, и то когда ты ложишься спать.

Она стала вообще кроткой, притушенной, как лампа с подкрученным фитилем. Оставшаяся на ее заботах слепая мать давала оправдание ее жизни.

После того как, благодаря стараниям мужа, привезено было в цинковом гробу для похорон на здешнем кладбище тело ее отца, неотступно преследовала ее мысль, что вот-вот сообщат ей, что убит ее муж, старший унтер-офицер Макухин Федор. Тело его не привезут, конечно,— схоронят в большой общей могиле рядом с другими убитыми, но написать ей об этом из канцелярии полка должны,— так она думала.

Такою же притушенной, как сама Наталья Львовна, становилась день ото дня заметнее и ее мать. Теперь она пила только чай,— пива ей не покупали: никакие гости не приходили больше в их дом,— в преферанс играть было не с кем; даже и просто поговорить о чем-нибудь не с кем было. Только иногда Наталья Львовна читала ей из газет

телеграммы с театра военных действий, но чем дальше, тем все меньше и меньше они ее занимали.

И вдруг, после одного из таких чтений телеграмм, слепая сказала проникновенно:

— Ох, Наташечка, мой дружок... Кажется, я уж умирать начала!..

Очень много почувствовала Наталья Львовна в этих неожиданных словах матери и испуганно начала целовать ее в незрячие глаза.

Но слова эти стали повторяться, только короче теперь говорила мать и убежденнее:

— Чувствую, что умираю...

И в конце ноября, когда было дождливое подслеповатое холодное утро, она уже не проснулась. А с вечера, когда ложилась спать, проговорила многозначительно:

— Освобожу тебя скоро...

Наталья Львовна не поняла ее и переспросила, а в пояснение услыхала:

— От себя освобожу... вот что...

И освободила. И это было как раз в то утро, когда Наталья Львовна, ходившая на базар вместе с прислугой Пелагеей, купила полдюжины бутылок пива.

После похорон матери, когда Наталья Львовна угощала обедом причт, пиво это выпил дьякон Никандр.

А когда окончился обед и Наталья Львовна осталась одна, ее охватила непередаваемая словами пустота.

В одной комнате пусто, в другой пусто, в третьей пусто... Пустой дом и чужой. Пока жива была мать, хотя и слепая, хотя и немощная, все-таки дом был свой,— таким он казался ей... И вот оборвалось.

Дом был Федора Макухина, ее мужа, а если он уже убит теперь и она только пока не знает об этом? Тогда неизвестно, чей это дом, только не ее... Она не успела к нему привыкнуть.

Своего дома не было никогда и у ее отца; к своему дому никогда и раньше не стремились ее мысли.

Однажды, когда она была еще девочкой, случилось ей видеть большое грачиное гнездо на старой осине. Особого искусства не показали, строя свое гнездо из сухих прутьев, грачи. Но все-таки гнездо это держалось, как ветры ни раскачивали осину. И это был законный их грачиный дом,— вот именно этой пары грачей. А в свой дом ввел ее Макухин, как раньше вводил ее в номера гостиницы, в которой тоже было все для нее чужое.

Чужою была для Натальи Львовны и ее прислуга Пелагея Позднякова, незадолго до смерти матери нанятая ею, так как прежняя прислуга уехала к себе домой в Орловскую губернию.

У Пелагеи к тому же были какие-то недобрые глаза. Было ей лет сорок, глядела она, низенькая, исподлобья, а улыбаться как будто даже не умела: по крайней мере Наталья Львовна не могла приметить ее улыбки.

После смерти матери Наталье Львовне стало даже как-то жутко оставаться в пустом доме вдвоем с Пелагеей, и на ночь она запирала дверь, ведущую из комнат на кухню.

Иногда, просыпаясь по ночам, она замечала, что щеки ее мокры от слез, хотя не могла вспомнить, что же такое печальное видела она во сне, от чего нельзя было не заплакать.

После смерти матери она стала совершенно одна и отъединенно от других, которых приходилось ей встречать здесь. У нее не было желания с кем-нибудь поближе познакомиться, пригласить кого-нибудь к себе в гости, пойти к кому-нибудь в гости самой.

Стараясь разобраться в том очень запутанном и сложном и страшном, что происходило в мире и называлось мировой войной, она читала газеты. Однако или в газетах не писали того, что надо было ей узнать, или она сама неспособна была понять в газетах то, что таилось в них между строчками, только непонятное так и оставалось для нее непонятным.

Непонятным для нее было и то, что муж ее присылал ей время от времени подписанные им чеки на местный банк, и чеки эти были не очень крупные, так что ей приходилось жить поневоле расчетливо, к чему она совершенно не привыкла.

В этих скупых чеках она видела недоверие к ней мужа. Но в то же время никаких дел его она вести не могла, и они сами собою зачахли.

Похоронив мать, она стала часто ходить в церковь, куда усиленно гнал ее испуг перед смертью, врывавшейся к ней так неотвратимо.

В здешней церкви во имя Федора Стратилата не было ничего такого, чего она не видела бы раньше в других церквях, но сама теперь была новой, гораздо более, чем когда-либо раньше, податливой к тому, что внушала церковь. Кроме того, здесь на левой стороне висела как икона

большая копия с хорошо известной ей картины художника Генриха Семирадского «Христос у Марфы и Марии».

Эта картина-икона заставила ее вспомнить о другом известном художнике — Сыромолотове, сына которого она нечаянно встретила в симферопольской больнице года три назад, у койки того, кого любила тогда — Ильи Лепетова, раненного Алексеем Ивановичем Дивеевым, мстившим ему за смерть своей жены Вали.

И теперь, когда она смотрела на картину Семирадского, перед нею неотступно стоял не Илья уже, а почему-то этот Ваня Сыромолотов, молодой богатырь несокрушимого вида.

Как вышедший из земли слабый стебелек вьюнка ищет по сторонам, на что бы опереться ему, вокруг чего бы обвиться, чтобы вслед за большими сердцевидными листьями распустить красивый колокольчик — цветок искрасна-розово-лиловый,— так и Наталья Львовна, оставшись совсем одинокой, искала в памяти, не находя вблизи себя, кого-то каменно-крепкого, к которому не смела подходить смерть.

О том, что он мог быть взят в армию, как очень многие, ей почему-то не думалось. До нее дошло, что и Алексей Иванович, стрелявший в Илью, пошел в армию добровольцем,— его могли бы не взять в ополчение, как больного. А насчет Вани Сыромолотова была почему-то прочная уверенность, что он недалеко от нее, в том же городе, где живет и его отец. И когда во время всенощной упала свеча на картину-икону, Наталья Львовна уверила себя, что это именно ее свеча упала, и заставила подумать даже и причт церкви о художнике, который мог бы помочь в беде. Она хотела даже ехать вместе с дьяконом, но Никандр остановил ее резонными словами:— Зачем же вам тратиться зря? Авось, художника этого я, с помощью божьей, и один уломаю.

Когда он вернулся довольный своею удачей, она спрашивала его, видал ли он сына Сыромолотова, и опечалилась, когда тот ответил, что не видал.

И как же могла она утерпеть, не прийти в церковь посмотреть на отца Вани. Очень поразило ее, когда узнала она от Алексея Фомича, что его сын также служил в армии, был на фронте, где и ранен; и очень обрадовало, что он освобожден теперь и обещал скоро приехать. Еще неизвестно было, приедет ли, и гораздо менее известно,

как можно будет ей хотя бы увидеть его,— но она уже чувствовала, что оживает.

Еще страшно было, проснувшись среди ночи, ощущать, что одна во всем доме, и не в своем доме,— чужом,— она никак не могла привыкнуть к мысли, что это ее дом; еще слезы тут же наполняли глаза и скатывались по щеке на подушку; но уже рождалось что-то вроде светлеющих при утренней заре полосок между окнами и ставнями: скоро должен приехать сын Сыромолотова.

Ей даже не казалось странным, что так любимый ею прежде Илья Лепетов, около койки которого в больнице сидел сын Сыромолотова, как будто растерял все свои яркие тона, выцвел, потускнел в ее глазах, а о муже в такие часы она даже и не думала совсем. Теперь каким-то непостижимым для нее самой наваждением представлялось ей, что она жена унтер-офицера Федора Макухина и бережет теперь для него дом, в котором живет.

Никакой привычки к нему у нее не было и прежде, так что нельзя было бы сказать, что она от него отвыкла. Когда приходили от него письма с грубыми ошибками и без знаков препинания, то она стыдилась показывать их кому-нибудь, хотя и не рвала: клала в стол,— пусть себе лежат.

День ото дня яснее складывалось в ее голове несколько слов, имевших, по ее мнению, очень большой смысл:— Одиночество для молодой женщины — совершенно непереносимое состояние. И никого не было около, с кем можно бы было хотя бы поговорить.

Соседка ее, чахоточная старуха Боярчук, вдова почтового чиновника, но не умевшая читать и похожая на цыганку, промышляла гаданием на картах и все набивалась ей погадать о муже, и в ней она нажила врага, так как говорила, что в гаданье не верит.

В отместку за это Боярчук презрительно называла ее «мещанка», о себе же говорила, что она дворянка.

А соседка с другой стороны была Мелешко, жена плотника, причем плотник промышлял где-то в деревне поблизости и приходил домой только по воскресеньям и спал тогда целый день, так как пить было нечего. А Василиса Егоровна, его жена, если о чем могла говорить, то о своем коте черной масти с белой «душкой», которого нежно звала «Коточка-Проточка». Нахвалиться им она никак не могла: он и будил ее по утрам, стаскивая с нее одеяло; он и «звал ее на двор, если заходил кто-нибудь чужой:

мяукал, глаза страшные делал и хвостом водил!»... Он до того был к порядку приучен, что даже колбасу не трогал, если ему не давали... Но он же часто убегал из дома, и Василиса Егоровна ходила по соседским дворам и звала его: «Коточка-Проточка! Коточка-Проточка!»

Очень надоедал летом своим визгом поросенок, которого Василиса Егоровна привязывала к колу посредине своего двора. Осенью визги затихли, и Василиса Егоровна горестно жаловалась Наталье Львовне:— Намерение мое иное было: откормить, а к рождеству резать, ну что ты будешь делать, когда кормов нигде нет,— вот оно когда горе-то горькое явилось!

Наталья Львовна ходила в библиотеку читать журналы, и однажды,— это было в феврале, после приезда художника Сыромолотова,— она увидела в библиотеке нового для нее человека, лет сорока пяти, в черепаховом пенсне и с остроконечной бородкой чалого цвета. Он делал в записной книжечке какие-то выписки из книг, почему Наталья Львовна приняла его за журналиста. С первого на него взгляда чем-то напомнил он ей Алексея Ивановича Дивеева. Этот был так же лыс, как и Алексей Иванович, но ниже ростом, и никакой стремительности, как у того, не было в движениях этого. Так как она ввиду этого сходства внимательно приглядывалась к нему, то он потом еще внимательнее и дольше глядел на нее, так что Наталье Львовне стало неловко, и она поспешила уйти, не спросив у библиотекарши, кто бы это мог быть.

Но на другой же день, когда она сидела на набережной на скамейке, перед войной окрашенной в голубой цвет, а теперь ставшей почти белой, и глядела на чаек, носившихся над морем, к той же скамейке подошел человек в черепаховом пенсне и серой шляпе, и, сняв на отлет шляпу, просил почтительно позволения сесть рядом.

Наталья Львовна кивнула головой, хотя и не знала, чем она привлекла его внимание, и, садясь, он заговорил:

— Я приехал сюда для изучения здешних памятников старины... Мне кажется, что и вы здесь в тех же самых целях, а? Или я ошибся?

— Да, вы ошиблись,— спокойно сказала Наталья Львовна.— Я здесь живу, вот уже три почти года, и ни о каких памятниках старины не думала. Кажется, их здесь и нет даже.

— Ну, как же так нет! А генуэзская башня?— изумил-

ся ее легкомыслию он и даже реденькие белесые брови вздернул.

— А, да,— это где голубей всегда много? Там у них, должно быть, гнезда...— А еще какие памятники?

— Есть еще каменная стена на горе Кастель,— поспешно ответил он.— Это, видимо, остатки крепостной стены: ведь слово Кастель с итальянского взято и значит «крепость»... Затем я еще нашел тут в окрестностях, в Кизилташе, что значит по-татарски «красный камень», в монастыре, две колонны из цельного камня: они древней работы. Они круглые, книзу шире, а кверху у́же и без капителей... Очень древней работы... Может быть, и не здесь даже их делали, и сюда только привезли их откуда-нибудь из Малой Азии, например, из Синопа, родины философа Диогена... Могли, конечно, сделать такие колонны и в Херсонесе, там были в старину хорошие мастера.

— Да, вот... В Херсонесе, конечно, есть древности, а не у нас,— вставила Наталья Львовна.

На что он отозвался очень оживленно:

— Был, был я там,— а как же! Я две недели там жил... Там сохранилось несколько колонн, только они на цементной кладке и оштукатурены цементом... и с капителями... Но в общем, должен сказать, сохранилось там мало... И музей тамошний — это очень бедный музей по своим экспонатам... очень бедный... Это, конечно, в связи с постройкой Севастополя, куда самым откровенным образом свозили из Херсонеса камень... Ведь Херсонес теперь что же он такое? — Пустыня! Сорок шесть десятин считается там пустой земли на берегу моря... Очень жалкая картина, очень... В Балаклаве, при входе в бухту, была крепость, но от нее теперь осталось одно грустное воспоминание...

Наталья Львовна поняла, что рядом с нею человек, действительно увлеченный далекою стариною, и сказала:

— В Судаке, мне говорили, уцелела генуэзская крепость,— сама я там не была и не видела.

Этого напоминания о крепости генуэзцев в Судаке было достаточно, чтобы воодушевить его.

— Это — замечательный памятник, замечательный. И я там уже был и сделал снимки... Я в первую голову именно туда и поехал из Феодосии. А в Керчи я осмотрел церковь седьмого века во имя Иоанна Богослова... Седьмого века,— вы представляете? Маленькая, низенькая,— вроде часовни. Снимки этой церкви я сделал, у меня есть. Совсем маленькая! На сколько же человек? Ну не больше, как

на двадцать, не больше! В Херсонесе тоже откопал одну такую церковь, то есть пол, конечно, из каменных плит... Удивительно маленькая тоже! Как же это прикажете понимать? Христиан ли тогда было так мало, или это были частные церкви, домашние, так сказать, богатых людей? А? Вы как думаете?

— Совершенно никак,— правдиво сказала Наталья Львовна.

— Второе предположение, конечно, вероятнее,— как бы не заметив тона собеседницы, продолжал знаток старины.

Наталье Львовне представился Алексей Иванович Дивеев, архитектор, и она сказала:

— Вас, стало быть, интересует старинная архитектура?

— Вообще искусство, а в частности, разумеется, архитектура, как более долговечное искусство... Я — искусствовед... Пишу книгу об искусстве Крыма... А родом я москвич, Жемарин — моя фамилия, имя-отчество — Николай Андреич...

И, назвав себя, он посмотрел так испытующе на Наталью Львовну, что той пришлось отозваться.

— Не встречала, простите, вас в журналах. Впрочем, я ведь мало читаю, редко когда... Я — домовладелица здешняя... и только... И больше нет у меня никаких достоинств. Когда-то была у меня подруга по гимназии... Встретились мы с нею потом через несколько лет, спрашиваю ее, чем занимается, а она мне вдруг:— Китайской живописью XVI века!..— Я, конечно, чуть в обморок не упала: явно,— с ума сошла!

— Китайской живописью XVI века?— повторил Жемарин.— Это идея... Но позвольте: какие же художники были в Китае в XVI веке?

— Ну, уж не знаю я таких тонкостей,— это вам знать, а совсем не мне.

И, найдя, что и так очень долго говорила о том, что ее совсем не занимало, Наталья Львовна поднялась, сослалась на то, что у нее дело по хозяйству, и простилась с искусствоведом так, видимо, неожиданно для него, что он не решился провожать ее: постоял около скамейки, посмотрел ей вслед и, когда она свернула с набережной в переулок, медленно пошел в направлении, взятом им раньше.

Наталья Львовна пришла к себе домой, возмущенная

этим Жемариным, мысли которого витают где-то около церквей седьмого века и колонн, вытесанных из цельных камней, может быть, две тысячи лет тому назад, где-нибудь в Синопе. Она даже и Пелагее, подававшей на стол к обеду, сказала с сердцем:

— Какие еще люди есть, прямо удивительно! Идет война, убивают стольких людей, все уничтожают, понимаете?— все дочиста, а они, Жемарины какие-то, приезжие из Москвы, скорбят о чем же, скажи пожалуйста? О том, что у нас в городе не генуэзцы какие-то!

— Шпиены, значит?— догадлизо заметила Пелагея.

— Не шпионы, а сумасшедшие! Не иначе как в сумасшедшем доме в Москве сидел, а по случаю войны выпустили.

— Значит, из богатых: откупился, вот и выпустили,— догадалась Пелагея, гремя тарелками.

Не было никакой надобности, по мнению Натальи Львовны, так греметь тарелками, но Пелагея, видимо, считала это совершенно необходимым, и тарелки у нее всегда гремели.

Разговор об искусствоведе из Москвы на этом и кончился, но на другой же день и тоже на набережной он встретился Наталье Львовне снова и, держа на отлет шляпу в левой руке, сказал восторженно:

— А в Петрограде,— читали?— что-то вроде беспорядков!

Наталья Львовна не успела еще узнать об этом, и он продолжал:— Усмирят, конечно, в этом не может быть сомнения — там большой гарнизон, и полки гвардейские... Но все-таки,— как вам это понравится?

— Что же собственно там происходит?

— Рабочие бросили работу и вышли на улицу... Точнее, на улицы, так как рабочих много в Петрограде...

— Забастовка?

— Да, разумеется, а как же еще можно это понять? Только ведь заводы казенные, военные,— забастовка во время войны... Это как называется?

У Жемарина был даже несколько испуганный вид, и, чтобы успокоить самого себя, он добавил:

— Усмирят, конечно, однако чего будет стоить даже час такой забастовки в военное время, а не то чтобы целый день: ведь снаряды фронту нужны как хлеб, а их, значит, вовремя не доставят,— вот чем это угрожает. У нас забастовка рабочих, а этим воспользуется против-

ник и нападет. Наконец, это плохо подействует и на солдат на фронте, а?

— Что же все-таки за беспорядки?

— Будто в продуктовых магазинах и в булочных бьют витрины, грабят и тут же едят...

— Значит, голод выгнал их на улицы?

— Это заранее обдуманный был, конечно, шаг, поверьте!— И Жемарин приложил руку к сердцу.— Голода, конечно, нет, а только приказано им было кричать: «Хлеба! Хлеба!» — вот и кричали.

— Кто мог им приказать это?— удивилась Наталья Львовна.

— Да ведь план беспорядков разрабатывался опытными в этом деле людьми. По-нашему с вами «беспорядки», а по-ихнему — «старый порядок».

— По «нашему с вами», вы говорите?— вдруг спросила Наталья Львовна.— Нет, я думаю, что если люди громят булочные и тут же едят булки, то это значит, что они голодны, сытые не станут есть лишнего для их желудков! Кроме того, я вчера читала в газетах, что там на иных заводах нет каменного угля, а как же можно работать на заводе, если нет каменного угля? А уголь там откуда, не знаете?

— Из Донецкого бассейна, конечно.

— Вот видите! Оттуда его надо привезти в Петроград по железным дорогам, а для паровозов тоже надобен уголь!

— А как же иначе!— согласился он.

— А те, кому уголь приходится добывать, убиваются на фронте. Спрашивается: откуда же возьмется уголь?

— Введено военное положение,— сказал Жемарин вместо ответа.

— Может быть, кричали и чтобы переговоры о мире начать?— спросила Наталья Львовна.

— Ну уж, это ведь дело правительства, а не...

— А не тех, кого убивают? Так вы хотите сказать? У меня отец убит на войне. И мать моя умерла недавно!.. А муж, может быть, тоже убит, только до меня это пока еще не дошло, так как не офицер он, а то, что называется «нижний чин»!

Все это Наталья Львовна выговорила без передышки и пошла, едва кивнув головой Жемарину. Она пошла к газетному киоску и, не отходя от него, пробежала две столичные газеты и розовый листок телеграмм.

— Усмирят или нет?— спросила она газетчика, и тот поглядел на нее исподлобья, погладил лохматые рыжие с проседью усы и ответил с большой серьезностью:

— Их как мурашей там!

— Кого «их»?— не поняла Наталья Львовна.

— Рабочего сословия — вот кого!.. Как мурашей, говорю! А нешто мурашей всех передавишь?

— Так что, вы думаете, победят рабочие?

Газетчик присмотрелся к ней, хотя почти каждый день ее видел, и ответил, многозначительно:

— Всего можно сказать по настоящему времени.

И Наталья Львовна отошла от него почему-то радостно встревоженная.

— Ну, в Петрограде что-то такое затеялось!— обратилась она к Пелагее прямо с прихода.

— Заварюха, что ль?— насторожилась Пелагея.

— Какая «заварюха»?

— А вот какая в японскую войну была?

— Заварюха так заварюха... Однако там войска много... Посмотрим, как дальше пойдет эта заварюха. Завтра не прозевай, телеграмму купи. Или лучше я сама пойду: я сказала газетчику, чтобы для меня одну спрятал, никому другому не продавал. Авось, не забудет.

В газетах, которые купила и принесла домой Наталья Львовна, о «заварюхе» ничего не говорилось, но никогда с таким вниманием не читала она газет, стараясь выяснить, что могло привести к «беспорядкам», начавшимся неожиданно. Она чувствовала, что в жизнь ее, как и всех кругом, вошло вдруг что-то очень большое, чего задавить, усмирить, уничтожить нельзя, и с вечера долго не могла заснуть.

И это не война где-то там, в Галиции, или в каких-то Августовских лесах, или в болотах Восточной Пруссии,— это — в своей столице, которую совсем недавно, в силу ярко вспыхнувшего патриотизма, назвали наконец по-русски Петро-град, а то двести лет с лишком называлась она то Санкт-Питербурх, то Санкт-Петербург, то короче — Петербург. Теперь в этом русском уже городе заговорили наконец по-русски:— Хлеба!.. Хлеба!.. Хлеба!.. Во множестве вышли с фабрик женщины, которым нечего есть самим, у которых голодают дети. Как же воевать дальше, если нечего есть даже в столице? И почему об этом не подумали раньше, когда начинали войну, что солдаты не пашут, не сеют, а только едят готовое, и кто же теперь пашет и

сеет, и убирает хлеб по деревням? Старики, женщины, ребята? Прежде они помогали, но «кормильцами» семей их никто не называл: кормильцы эти теперь там, на фронте, где и ее муж, полковой каптенармус Федор Макухин, хотя и старший унтер-офицер, с тремя басонами на погонах, но все же «нижний чин», которому говорят «ты» все офицеры.

— Ну, что? Усмирили?— спросила Наталья Львовна газетчика, когда утром брала из его рук оставленный для нее листок телеграмм.

— Ку-у-д-а!— сказал газетчик сияя и махнул рукой.

— Ну вот!.. То-то... Это хорошо!— вырвалось у Натальи Львовны.

— Чего лучше!— в тон ей отозвался газетчик. Тут он поглядел кругом, понизил голос почти до шепота и добавил:— Прекращение войны может быть из-за этого дела,— вот что!

И потом с каждым днем все веселее становился этот суровый с виду, как школьный сторож, газетчик, а третьего марта он уже по-приятельски подмигнул ей, когда подошла она за телеграммой, и сказал громко:

— Отрекся — заставили! Сняли с престола!

— Ура!— вскрикнула неожиданно для себя самой Наталья Львовна.

— Ура-а!— крикнул и газетчик. Потом он снял левой рукой картуз, а правую протянул ей:— С чем вас и поздравляю!

Весь этот день был праздником для Натальи Львовны, притом таким, какими бывают праздничные дни только в детстве. Удивило ее и то, что так же приподнято чувствовали себя и другие, однако были и недовольные. Об одном таком рассказал ей почтальон Пантелеймон Дрок. Это красноглазый, но дюжий крепыш, лет под пятьдесят, был вообще разговорчив, когда приносил ей почту, но в этот день, принеся газету и письмо от Федора, он был особенно многословен и громкоголос:

— Вот случай какой со мной вышел на почте, прямо мне даже самому удивительно, до чего это я осмелел! Приходит к нам на почту письмо заказное сдавать советник действительный статский Аверьянов,— хотя в отставке уж теперь считается, ну все равно форму свою носит.

Глядит на стенку, а там портрета царского нема-а! Сняли. Я сам сымал утром, как телеграммы получились.

Своими руками сымал, вот! (И протянул Наталье Львовне обе руки.) Как заорет советник этот:— Как смели портрет царский снять! Как смели! В острог вас за это! А я ему:— Чего орете зря, когда уж он от царского звания отрекся!— А он палку свою поднял да на меня! А я все одно как тот черток с рожками, какого на иконах малюют, верчусь, за людей прячусь, а сам кричу:— Отрекся! Отрекся! Отрекся!..— Вот до чего осмелел!.. Ну, тут другие ему тоже со всех сторон:— Раз царя теперь нету, портреты его все теперь на чердак: там их место!— Палку у него отняли, а самого на скамеечку посадили, хоть и царский советник он, и в форме своей ходил, а теперь он куда? Ну, извиняйте и с тем до свиданья,— в разноску идти мне надо!

Письма от Федора приходили с большим опозданием: писано оно было еще 15 февраля, а тогда все солдатские письма читались. Письмо это было в духе прежних его писем, и кончалось оно обычными словами: «Здоров, слава богу, чего и тебе желаю».

Прошло еще с неделю,— все дни одно другого необычайнее. Жемарин не встречался Наталье Львовне в эти дни, и она думала, что он совсем уехал из Крыма.

Но вот как-то уже в середине марта, выйдя в сумерки купить хотя бы медовых пряников к чаю (сахару тогда уж не продавали), Наталья Львовна увидела Жемарина в лавке,— он тоже покупал медовые пряники, которые шли здесь нарасхват.

Из лавки они вышли вместе. В лавке горела какая-то коптилка, а на улице было уже темно, и Жемарин сказал:

— Как угодно, Наталья Львовна, но обязан проводить вас до вашего дома.

Так как ей хотелось узнать, где он был эти дни, то она пошла с ним рядом, говоря:

— Вы отсюда куда-то скрылись, и я подумала, что уехали к себе в Москву.

— Не только в Москву, никуда вообще не уезжал,— сказал Жемарин,— но, во-первых, мне нездоровилось,— это во-первых, а во-вторых, я приводил в порядок что писалось урывками, на клочках... Случайно мне удалось тут купить тетрадь в целую десть,— туда я и переписал с клочков и планы раскопки и свои зарисовки... Судакскую крепость, например, я зарисовал с нескольких точек,— и она того стоит, конечно, это редкостный памятник искусства!.. А делать все это я мог только при дневном свете... У моих хозяев имеется только моргалка, а керосину нет...

Говорят, в церкви здесь свечки были еще с месяц назад, а теперь уж и там нет.

— Да, теперь уж негде достать и восковых свечек,— согласилась Наталья Львовна и добавила: — А если даже восковых свечек не достанешь, то кому же будет нужно, что вы пишете о всяких там крепостях генуэзских?

— Сейчас, конечно, кому же нужно, это так... Но как только жизнь войдет в норму...

— Чего вам, пожалуй, придется ждать,— вставила Наталья Львовна.

— Долго ждать?.. Не думаю... нет, я так не думаю.— Тон Жемарина был решителен и даже будто немного насмешлив.— Великий князь Николай Николаевич пришлет согласие занять трон, и все восстановится очень быстро,— вы увидите.

— Позвольте, что вы! Ведь ему же предлагали князь Львов и Родзянко, и он уже отказался,— разве вы не читали в газетах?

— Пус-тя-ки! Отказался сегодня, согласится завтра,— под давлением обстоятельств... Да ведь и союзники наши заинтересованы, чтобы в России была крепкая власть, а не какая-то там республика! Не кто во что горазд, а «мы, милостью божией» и так далее... указом «повелеваем» и тому подобное.

Так странно было слышать это Наталье Львовне, что она простилась было с Жемариным, но тот обиделся.

— Чуть ли не две недели я не видал вас, и вы не хотите позволить мне довести вас до вашего дома? За что же такая немилость?

Идти оставалось уже совсем недалеко, и Наталья Львовна дошла рядом с ним до дома, но тут Жемарин сказал просительно:

— У вас, наверное, есть что-нибудь вроде лампы, Наталья Львовна? Надеюсь, вы разрешите мне посидеть немного около лампы вашей, дадите мне настоящего чаю стакан, а?

Наталья Львовна не успела ничего ему ответить. Она в это время стучала во входную дверь, которую заперла за ней Пелагея. И вот дверь отворилась, но когда вслед за ней в темную прихожую втиснулся и Жемарин, то чьи-то сильные, совсем не женские руки так толкнули его обратно на улицу, что он упал там, хрипло вскрикнув. Вскрикнула и испуганная Наталья Львовна, но тут же щелкнул замок, щелкнула зажигалка, и она увидела перед

собою своего мужа, Федора Макухина, которого узнала, хотя он был не в служебной шинели, а в черном штатском пальто.

II

Насколько могла рассмотреть Наталья Львовна при слабом свете желтого колеблющегося язычка зажигалки, неожиданно появившийся в доме за короткое время ее отсутствия был действительно ее муж, хотя одутловатым сделалось его лицо, раздался в стороны нос и вполне фельдфебельскими стали усы.

Однако испуг, охвативший Наталью Львовну, был до того силен, что она только дрожала всем телом, а из ее открытого рта не вылетало ни одного звука. В себя пришла она, когда Макухин, отставив левую руку с зажигалкой, обнял ее правой, сказал:— Ну, теперь здравствуй, Наташа!— и ткнулся волосатыми губами в ее щеку.

Потом он взял ее под руку и повел в столовую, где горел огарок стеариновой свечки, воткнутый в горлышко бутылки, и стоял начищенный толченым кирпичом самовар. Только теперь, в столовой, сказала Наталья Львовна тихо, почти шепотом:

— Я сяду... я... не могу стоять...

И она опустилась на стул совершенно бессильно и заплакала вдруг, а появившаяся в это время с тарелками Пелагея тоже вполголоса заговорила:

— Ничего, Федор Петрович, ничего, пусть... Это они со страху так... Это ничего...

Однако Федор спросил ее, и не шепотом, а в полный голос:

— А этот — в шляпе, он часто ходил сюда без меня, а?

— Ка-кой «в шляпе»?— удивилась неподдельно Пелагея...— Никто ни в шляпе, ни в картузе,— это вы напрасно, Федор Петрович!

— Ну, стало быть, это черта толкнул я сейчас,— зло сказал Макухин.

— Неуж в самделе толкнул кого? — и хлопнула себя по крутым бедрам Пелагея.

— Не иначе, поэтому, черта,— повторил Макухин, и только после этого подняла на него мокрые негодующие глаза Наталья Львовна и проговорила:

— Как тебе не стыдно так!.. Как тебе не стыдно!

Федор не сразу отозвался на эти первые слова жены, он как бы вздыхал и сказал, глядя в пол перед собою:

— Поэтому черт...

Но тут же обратился к Пелагее:

— Посмотри поди, отвори двери,— упал ведь, я явственно слышал,— может, и теперь лежит,— тогда его сюда втащим с тобой,— разглядим как следует, какие черти бывают.

Пелагея тут же пошла в переднюю, но следом за нею, быстро поднявшись со стула, пошла и Наталья Львовна. Федор тоже поднялся, подождал, пока она выйдет из столовой, и тяжело тронулся с места. Когда он вошел в переднюю, Пелагея, отпершая дверь, говорила Наталье Львовне:

— Похоже, никто не валяется... Может, дальше где?

И вышла на улицу.

Наталья Львовна только чувствовала, что рядом с ней стоит Федор. И с минуту было так, и не навертывалось ни одного слова: острая обида отшвыривала все слова. Но вот вошла Пелагея, буркнула: — И дальше никто не валяется! — и закрыла дверь. Только тогда щелкнул зажигалкой Федор, выходя из передней в столовую, и сказал угрюмо:

— Раз он черт, этот в шляпе, он валяться не должен, а должен он ускакать на своих козлиных ножках куда подальше.

— Черта этого фамилия Жемарин,— отчетливо отозвалась на это Наталья Львовна.— Он искусствовед, чего ты не понимаешь и чего тебе втолковать нельзя... Он меня провожал сюда из лавки, как это делают порядочные люди, и ты завтра же извинись перед ним за свой дикий поступок.

— Я чтоб? Извиняться? Держи карман! — крикнул Федор.— А как он сюда сам заявится, то увидишь, как я ему морду набью!

— Таким, какой ты теперь, Федор, я тебя не видела,— скорее с удивлением, чем с обидой в голосе, сказала Наталья Львовна.— Ты не таким зверем уезжал отсюда, каким вернулся. Ты очень озверел там, ты знаешь?

— Еще бы не знать,— кивнул головой Федор.— Там нет человека, какой бы не озверел,— на то он и называется фронт. Убивают там людей, или что с ними делают? В лапту, что ли, играют? Убивают как последнюю сволочь, какой жить зачем?.. Незачем! Вот!..

— А почему ты в пальто, а не в шинели? — вдруг спросила Наталья Львовна.

Федор поглядел строго на Пелагею и сказал:

— Сделала одно свое дело,— иди делай другое,— чего зря стоишь!

— И то зря стою,— согласилась Пелагея и ушла, но дверью хлопнула громче, чем могла бы.

Федор подождал немного, прислушиваясь к ее шагам, потом придвинулся на шаг к жене и сказал вполголоса:

— Потому я в штатском, что войну со своей стороны я самовольно кончил... чтобы свои от большого ума меня не убили,— вот!

— То есть, другими словами... ты, значит, просто бежал! — с нескрываемым презрением и на лице и в голосе сказала Наталья Львовна и добавила: — Ты, значит, ни больше ни меньше как дезертир?

— Все бегут оттуда,— поняла? — выкрикнул Федор.— Там теперь никакой не фронт, а настоящий ад кромешный! Никто никакого начальства не слушает и даже чести генералам не отдают,— какое же это теперь войско? Это называется сброд, а не войско, как никакой дисциплины военной там нет!.. И воровство пошло повсеместно, а также и грабежи среди бела дня и убийства, если ты хочешь знать,— вот! А за военные действия кто из офицеров если скажет,— ну уж в живых его тогда не ищи!.. «Де-зер-тир!» — вытянул он.— Вон чем напугала! Теперь ты поняла, зачем я шинель бросил, а пальто купил? Поняла?

— Поняла,— ответила она, но отвернулась.

— Не понравилось тебе, значит, что я приехал? Хотелось тебе, значит, чтобы меня ухайдакали?

— Нет, этого мне не хотелось!

С такой искренностью вырвалось это у Натальи Львовны, повернувшейся теперь к мужу, что Федор не мог не поверить ей, и он отозвался на это, прикачнув головой:

— Как по тебе заскучал я там, об этом не говорю: писал же тебе,— должна была знать... А заместо того — вон как ты меня встретила!

И Федор не сел после этих слов на стул, а как-то рухнул и голову взял в обе руки.

Наталья Львовна сказала было:

— Ты меня встретил, а не я тебя...— но тут же поняла, что говорить этого было не нужно. Она села рядом с ним, так же, как он, опустила голову на руки и заплакала снова.

Так они сидели и молчали минуты три, и первой заговорила Наталья Львовна.

— Значит, ты вошел в дом, когда я только что ушла, а как же тебя впустила Пелагея?

— Ведь я же ей сказал, кто я такой.

— Хорошо, допустим... А как же ты разглядел этого Жемарина, не понимаю.

— Очень просто я его разглядел: стоял у двери и в прорезь глядел на улицу... А на улице нешто так уж темно было? И разговор его я слышал.

Наталья Львовна догадалась, о какой прорези говорил Федор: в двери была щель, а под нею с внутренней стороны ящик для писем и газет, и ей самой показалось странным то, что такая мелочь почему-то сразу ее успокоила. Она поднялась и сказала теперь уже тоном жены и хозяйки:

— Ну, что ж,— значит, с приездом! Снимай пальто, садись к самовару поближе, будем чай пить... Я сладких пряников принесла, а чай у меня настоящий, а не какой-нибудь.

Ей даже показалось, что надо бы улыбнуться теперь мужу, но в улыбку,— точно она забыла, что это такое,— никак не складывались губы.

— Все-таки мне не совсем понятно это,— заговорила Наталья Львовна, наливая стакан мужу.— Вот подошел к двери, постучался, вышла на этот стук Пелагея,— и как же она тебя пустила? Ведь так, согласись с этим, она могла бы пустить и кого угодно, даже двух-трех грабителей. А ведь я ей сколько раз приказывала, чтобы она спрашивала: — Кто там?

— Она и спрашивала, а как же иначе? — объяснил Федор.— А я ей: — Это ты, Пелагея?

— Почему же ты знал, что ее зовут Пелагея? — удивилась Наталья Львовна.

— Вот тебе раз! — удивился и Федор.— Раза два мне в письмах ты ее имя называла, значит, об этом забыла? — Она мне в ответ:

— Я — Пелагея, а ты кто такой? — А я говорю — твой будущий хозяин, Федор Петрович.— Врешь, говорит, наглая душа,— Федор Петрович наш на фронте воюет.— Был, говорю, на фронте, точно, а теперь я здесь, только что приехал... Ну, она и отперла дверь... Вот как это получилось у нас с Пелагеей.

— Ну, тогда ее и спроси, бывал у меня этот в шляпе — Жемарин, или она его никогда не видела? При мне спроси!

Федор выпил полстакана горячего чая, потом вздохнул и сказал:

— Разве прислуга против своей хозяйки что сказать посмеет? Чудное дело! Она же за свое место будет опасаться... Об этом не беспокойся: я у людей спрошу, какие считаются посторонние.

Наталья Львовна поглядела на него изумленно:

— Да ты понимаешь, что оскорбляешь меня такими словами, или не понимаешь?

— Ну, какое же в этом может быть оскорбление,— отходчиво ответил Федор.— Твое дело молодое, и считалась ты солдатка, а солдатки — они уж известные...

Наталья Львовна долго глядела на него широкими глазами, наконец покачала головой и сказала:

— До чего ты поглупел там у себя на фронте за эти два с половиной года, что даже и слушать тебя противно! Не говори ничего больше!

Посидев за столом молча еще с минуту, она ушла к себе в спальню и заперлась там, а Федору через дверь сказала:

— Поди на кухню и вымойся там, а чистое белье достанет тебе Пелагея.

— Помыться с дороги, конечно, надо,— согласился с нею Федор,— и она слышала, как он отошел от двери, а потом заскрипел стулом: значит, сел допивать чай.

Она прислушивалась потом, пойдет ли он на кухню, и услышала, что он позвал Пелагею и сказал ей громко:

— Воды мне нагрей котел: купаться буду!

Хотя было еще рано, чтобы ложиться спать, но Наталья Львовна легла просто из боязни, что к ней постучится Федор, но он не постучался.

Она не зажигала и своего ночника, хотя темноты и боялась. Для нее теперь не было темноты, до того ярко стояло перед глазами все то неожиданное, что она только что пережила.

И разговор ее с Федором продолжался здесь, в ее спальне, хотя сам Федор был в это время на кухне.

Ни смерть отца, ни смерть матери так не ошеломили Наталью Львовну, как смерть ее мужа, того Федора Макухина, какого она провожала на вокзал, когда его вместе с полком отправляли на фронт.

Вернулся кто-то другой, а тот не то чтобы убит, как был убит отец, а умер, умер на ее глазах, вот теперь, и

это оказалось очень страшно, почти непереносимо страшно.

Вышло так, что испуг, охвативший ее, как только отворилась входная дверь и совершенно необъяснимо выброшен был на улицу вошедший вместе с нею Жемарин, не покинул ее,— он продолжался потом в столовой, продолжался и здесь в ее спальне, испуг непреодолимый, ошеломляющий!

Был два с половиной года назад привычный уже для нее Федор, Федор Петрович Макухин, по-своему неглупый, очень услужливый, ценивший ее над собой превосходство, благодарный ей за то, что снизошла к нему, согласилась стать его женой; и вот теперь явился вместо того Федора Макухина кто-то другой, похожий на него, только гораздо старше на вид...

Проблескивала мысль, что он не мог быть прежним,— фронт вселился в него,— но тут же отбрасывалась эта мысль, как ненужная, только мешающая... Представлялся тот Федор, который на ялике в море стал было жертвой шторма, и какой он был, когда его спасали люди, работавшие у него на известковой печи... Представлялось, как он, чтобы отблагодарить рабочих за спасение своей жизни, дарил им вот здесь, в этом доме, в день свадьбы, и печь эту и постройки, в каких они жили, и как рабочие нашли тот подарок для себя обременительным и от него отказались.

Тогда она любовалась своим мужем, тогда он был ей понятен. Любовалась им и тогда, когда надел он блузу цвета хаки с унтер-офицерскими погонами: у него был тогда бравый вид настоящего защитника отечества,— он был тогда в ее глазах воин в войске, в котором ее отец был в числе командиров,— именно воин, а не какой-то там «нижний чин».

И вот теперь он уже больше не воин, а дезертир, которого уважать за что же? За то, что больше не хочет защищать ничего, даже этого вот своего дома, который она берегла для него два с половиной года?.. Она берегла и сберегла, а он даже спасибо не сказал ей за это!

Она представляла любителя старинных построек, Жемарина, и ее охватывал острый стыд за то, что так дико обошелся с ним ее муж. Догадался ли он, Жемарин, что именно нежданно вернувшийся муж его недавней знакомой выбросил его на улицу? Не повредил ли ему руки или ноги Федор?.. А может быть, он подумал, что дом

захвачен грабителями, и пошел заявить об этом в полицию?

Что ей утром надо уйти из этого дома, сразу ставшего ей чужим, к этому решению она пришла, когда сидела в столовой с Федором; но куда уйти, с чем уйти, об этом она думала теперь, в темной спальне, но ничего не придумала: ни куда именно ехать, ни с чем.

Она жила здесь на те деньги, какие присылал ей Федор с фронта, а где он их брал там, это ее не занимало. Теперь ей представился единственный выход: завтра она скажет Федору, что от него уезжает, только просит дать ей на дорогу денег. Если он спросит ее, куда она поедет, то что может она ответить? Только одно ответить может: там видно будет, куда... Только так, потому что сама не знает, куда.

III

Утром Наталья Львовна поднялась по привычке, когда начали белеть окна. Она спала в эту ночь мало, забылась только под утро. Встала она не то чтобы разбитой, но охваченной одним желанием бросить дом своего мужа и этот городок, в котором прожила года три и где она как будто совсем не была собою. Как будто тянулся какой-то тяжелый полусон, но поняла это она только вчера, когда проснулась.

Когда она вышла в столовую, то первое, что ее остановило, было новое в доме: кто-то спал на диване. Первой явилась именно эта мысль: какой-то чужой человек спит на диване; только через момент она поняла, что это — Федор, но иначе чем о чужом она не могла уже о нем думать. И чтобы не разбудить его, этого чужого, она на цыпочках прошла на кухню, стараясь не скрипнуть дверью.

Пелагея уже возилась около плиты, однако Наталья Львовна заметила, что смотрит она как-то по-новому. И сразу же зашептала Пелагея:

— Боязно мне стало теперь у вас, прямо вам скажу,— вот что: боязно... И кажется так, что лучше всего будет мне от вас уйтить!

И хотя Наталью Львовну удивило то, что и Пелагея, как и она сама, решила за эту ночь куда-то уйти, она спросила с виду спокойно:

— Как это так уйти? Почему боязно стало?

— Да ведь вон какой приехал,— поспешно зашептала Пелагея.— И все меня допытывал, кто к вам сюда из мужиков приходил.— Никто, говорю, не приходил и даже нехорошо это с вашей стороны. — А он мне, — Федор Петрович-то,— кулак свой прямо к самому носу поднес, а? Это как? хорошо это?.. А между прочим требует, чтоб я никому, боже избави, ни одним словечком не проболталась, что он приехал,— вот как! Твое, говорит, дело такое: — Никого не видала, ничего не знаю! Вот твое дело!— Как же теперь, может, убил он кого, Федор-то Петрович, потому скрывается, а?.. Я, говорит, и на улицу даже выходить не буду, а только нешто когда стемнеется совсем, потому что ночью все кошки серые.

— Убивать-то он, конечно, никого не убивал, — медленно находя слова, сказала Наталья Львовна, — даже и на фронте, ведь он в нестроевых, полковой каптенармус... Он боялся, как бы его свои же солдаты не убили. Дисциплины теперь никакой на фронте, и никто начальства слушать не хочет... Вот почему многие уезжают...

— А говорить, стало быть, об этом все-таки никому нельзя? — еще более испуганно спросила Пелагея.

— Если Федор Петрович так... советует не говорить, то, значит, он понимает свое положение... Поэтому говорить никому и не надо.

— А если полиция спросит?

Такого вопроса от Пелагеи не ожидала Наталья Львовна, и, подумав, она сказала:

— Полиция спрашивать тебя не будет, а сама сюда придет, если ей понадобится!

Когда она проходила через столовую обратно в спальню, то могла убедиться, что Федор спал крепко и что Пелагея напрасно шептала так таинственно.

То, что Федор, по словам Пелагеи, вынужден прятаться, как всякий дезертир, подняло ее в собственных глазах: правота была за нею, а не за ним,— ей прятаться ни от кого не было нужды. Выходило так, что не только Пелагея, но и она не должна была никому говорить, что в доме теперь ее муж. Между тем не зря Пелагея вспомнила о полиции: в домовую книгу должно быть вписано, что в доме Макухина живет с такого-то марта сам владелец дома Федор Макухин, и домовая книга с этой записью должна быть заявлена в полиции.

Какое-то превосходство свое над мужем почувствовала теперь Наталья Львовна, и, хотя старалась проходить че-

рез столовую как можно тише, чтобы не разбудить Федора раньше времени, все-таки стала крепче.

А Федор спал долго: было уже двенадцать часов, когда он, наконец, заворочался на диване, загремел отодвинутым стулом и поднялся. Можно было понять, что ему мало приходилось спать в дороге, и она поняла это, когда, одетый, уже стоял он перед нею, виновато, по-довоенному улыбаясь ей, в то время как ее губы, как одеревенелые, не могли сложиться в улыбку. С минуту держалась на его лице, ставшем после долгого сна еще более одутловатым, эта виноватая улыбка и потухла. Он отвернулся к окну, и Наталья Львовна услыхала глухим голосом сказанное им:

— Пока что ни одна душа не должна знать, что я здесь, потому, понимаешь, с моей стороны так надо, а по закону выходит незаконно. Между прочим, власти царской, которой я должен был присягать, что буду служить верой, правдой, больше уже не существует, а другой власти, какая теперь, я не присягал, даже не знаю толком, что это за власть такая, да и никто на целом фронте того не знает! По тому самому и бегут... А тут, может быть, знают и, чтоб пред новой властью отличиться, станут нас ловить, чтобы обратно на фронт доставлять — вот! Одним словом, погодить надо с объявлением,— поняла или нет? Тут Федор повернулся к ней и поглядел на нее в упор.

— Отчего же не понять? Поняла, конечно,— ответила она и отвернулась. И даже отошла поспешно,— пошла на кухню, давая этим понять и ему, что больше говорить о его положении ничего не надо.

И глаза ее в это время были отчужденно холодные и даже для нее самой непривычно серьезные.

Когда снова прошла из кухни через столовую Наталья Львовна, она увидела, что Федор стоял около окна и через занавеску глядел на улицу. Это прежде всего бросилось ей в глаза, что он не откидывал занавески, с вышитыми на ней журавлями, а глядел сквозь нее, чтобы его самого не разглядел кто-нибудь, проходя мимо дома.

И тут же самой себе призналась она, что не было у нее жалости к мужу, которому приходится скрываться: чужого не жалко.

А он обернулся к ней и по-прежнему деревянно и без малейшего оживления в плотном одубелом лице проговорил:

— Смотрю на всякий случай; нет ли еще кого из таких,

какой тоже с фронта прибег и свободно себе ходит,— и добавил:

— Приставу, конечно, если дать сотняги три, то он будет молчать, только вопрос в том, как эти три сотняги из банка взять... Конечно, и для домашности нам деньги тоже понадобятся, а как я сам за ними в банк заявлюсь, тут меня и на цугундер: каким манером в Крыму ты оказался, когда на фронте обязан быть? Это теперь нам вдвоем очень тонко обдумать надо, чтобы с деньгами быть, а не то чтобы с пустыми карманами. Хотя бумажки эти теперь уж мало что стоят, однако же и без них тоже никак нельзя.

Наталья Львовна ни одним словом не отозвалась на это и прошла в свою комнату.

С полчаса пробыла у себя она, все ожидая, что он отворит дверь и войдет, но он так и не отошел от окна.

А когда снова понадобилось ей пойти на кухню, он бросил ей вслед:

— Дал я этой дуре твоей Пелагее бумажку, чтобы молчала, ну да ведь бабий язык, он известный! Чтобы баба утерпела не сказать, хотя бы ее никто и не спрашивал, этого не жди... Ты бы ей со своей стороны тоже внушение сделала.

Наталья Львовна сочла нужным слегка кивнуть головой, но не обмолвилась ни словом. А Пелагея сказала ей шепотом:

— Вот страху на меня нагнал Федор Петрович-то ваш, ну и нагнал!.. Страху, говорю... — «Ты, говорит, чтоб никому и ни-ни-ни! А то, говорит, пришибу, как все одно суку!»

— Это насчет чего он? — полюбопытствовала Наталья Львовна тоже почему-то шепотом.

— Да вот насчет того, что в свой собственный дом приехал! Диви бы в чужой, а то в свой... Не убил ли кого, а его полиция ищет? Аж боязно мне стало,— как хотите...

— Ну вот еще глупости выдумала,— «убил»! — успокоила ее Наталья Львовна, а сама подумала: «Может быть и в самом деле убил кого?» И тут же придумала что сказать: — Долги у него здесь, а денег на руках пока нет,— нужно в банке взять,— только и всего.

И даже добавила:

— Хорошо, что ли, если сюда к нам приходить будут, требовать?.. А деньги в банке возьмет, сам будет искать, кому должен, чтобы расплатиться.

— Так, так,— деньги, это, конечно,— протянула Пелагея, но тощей шеей повела недоверчиво.

Войдя в столовую, где так же у окна за занавесками с журавлями стоял Федор, Наталья Львовна сама обратилась к нему, не подходя, впрочем, вплотную:

— Тебе неудобно самому идти в банк,— так что же тут такого? Напиши чек на мое имя, я пойду и получу.

— «Пой-ду»! — передразнил ее Федор.— В Симферополь пешком пойдешь?

— В симферопольском банке деньги?

— А то в нашем «Взаимкредите»? Да он теперь, должно быть, уж лопнул...

— Об этом не слыхала, чтобы лопнул... А в Симферополь могу хоть сейчас поехать.

— Сей-ча-ас? Как это так сей-час? — удивленно вытянул Федор.— Не завтракав, не обедав?

— Позавтракать и в дороге можно... А если сейчас не поехать, то до сумерек и не доберешься.

— До сумерек дай бог и теперь добраться: дорога грязная,— я ведь видел.

— За один день все равно не сделаешь этого...

— Обыденкой не выйдет дело... Придется ночевать там в гостинице... Пока приедешь — банк закроют: банки в два часа закрываются... Ехать, так завтра с утра пораньше, а нынче извозчика договорить.

— Конечно, если завтра пораньше выехать, то будет гораздо лучше,— сразу согласилась она, довольная уже и тем, что может поехать.

Завтракали вместе. Лицо Федора и за завтраком оставалось деревянным.

— Князь Львов будто стоит во главе теперь,— говорил он, жуя крутое яйцо.— Пускай себе он князь, но сила, однако ж, в том, что не великий, а маленький, вот что! Родзянко — помещик екатеринославский, Керенский — адвокат... Там и другие еще всякие,— однако ж я им не присягал, и не смеют они от меня никакой службы требовать... Да там и не служба — это в мирное время считается служба, а там, на фронте, сейчас ты живой, а через пять минут сапоги с тебя с убитого сымут... А также шинель твою и всю одежду мундирную обратно в цейхгауз сдадут, другим каким пригодится,— вот как на фронте: не об человеке забота, а об одежде, об сапогах. А от вас, от людей, какое вы прежде название имели,— отодрали подковки, свалили вас в кучу, как все одно поленья, полковой поп вас отпел, кадилом над вами помахал и в яму вас общую свалили,— назы-

вается это «братская могила»... И в список вас занесли писаря на случай справок каких — вот и вся ваша жизнь.

Наталья Львовна слушала Федора, и перед ней вставала не куча, а целая гора человеческих тел, едва прикрытых, а рядом другая гора грязных и дырявых шинелей, стоптанных и тоже дырявых и грязных сапог, мундиров и шаровар, которые должны будут пригодиться для других, пригнанных на фронт,— именно «пригнанных», как пригоняют гурты скота на убой. А все-таки, как ни странно казалось это даже самой Наталье Львовне,— она не чувствовала ничего, глядя на Федора, кроме очумелости: сидит за одним столом с нею чужой ей человек. Он — муж ее, но чужой, и это проникало в нее, как страх... А страх был такой ошеломляющий, что хотелось вот сейчас вскочить из-за стола, выскочить в дверь и бежать куда-то по улице... Куда? — Все равно куда.

Вот почему она действительно вскочила и даже вскрикнула: — Я поеду!.. Я сейчас же поеду!

Тогда Федор, одолев крутое яйцо, сказал хозяйственно, повторяя уже однажды сказанное:

— Прежде всего нам что надобно сделать? Прежде всего надобно денег в банке взять,— человек, который без денег, это не человек, а шваль! Деньги же мои, хотя их не так уж теперь много осталось, в симферопольском государственном банке лежат. А мне, в моем сейчас положении, ехать за ними нельзя,— вот какое выходит дело! Я поеду, а там везде сыщики: заметят, что возраст у человека военный и собой незаметно, чтобы хворал чахоткой,— сейчас к тебе проберется бочком, и пожалуйста бриться... Не иначе, как придется тебе поехать,— а я тебе чек на полторы тысячи рублей дам,— такое дело!

Когда Наталья Львовна крикнула: — Я поеду! — Федор поглядел на нее понимающими глазами.

— Засиделась ты тут, конечно, два года сидишь да еще и с лишком большим...

— Сейчас и могу поехать! — повторила она.

— Сейчас?.. Сейчас уж девятый час идет. Пока извозчика договоришь, пока выедешь, будет не меньше как десять... А езды считается битых пять часов... И то это если лошади хорошие. Ну, одним словом, за день не обернешься, чтобы тебе засветло домой вернуться. А ночью ехать с деньгами, это — не модель, по нынешним временам: вполне могут ограбить!

— Значит, в гостинице лучше переночевать? — вставила быстро она.— Ну, что же тут такого? Переночевать в гостинице! А завтра пораньше деньги получу и тут же назад, чтобы засветло приехать...

Говоря это, Наталья Львовна подумала вдруг, что у нее теперь предательски радостно должны сиять глаза, и, чтобы не обратил на это внимания Федор, она круто отвернулась к окнам.

Федор понял это по-своему и сказал:

— Смотришь, дорога не грязная ли будет? Это, конечно, тоже надо иметь в виду... Дорога, я тебе скажу, такая, что считай все шесть часов туда,— шестнадцать верст считается подъем до перевала. С перевала вниз лошади сами, без кнута, бежать будут... Оттуда, значит, за пять часов. Да в банке — пускай всего час... Вообще считай двенадцать часов... Вот я почему и говорю: обыденкой не обернешь.

— Если вот теперь поеду,— излучая сияние глаз и даже как бы считая про себя часы, сказала Наталья Львовна,— то засветло доеду, не до банка, а до гостиницы; там переночую, а завтра утром в банк и как получу деньги, сейчас же, на том же извозчике, обратно. В девять если оттуда выеду,— в два приеду.

И, посмотрев на мужа взглядом вполне серьезным, она добавила: — Этого ни на один день откладывать нельзя при твоем положении: могут и сегодня от кого-нибудь узнать, что ты самовольно отлучился, а не то чтобы отпуск получил,— а завтра смогут тебя проведать,— вот деньги и пригодятся,— кому-нибудь сколько-нибудь сунуть, а?

Федор ответил ей не сразу. Он посмотрел ей прямо в глаза, посмотрел потом на дверь, как бы желая представить, кто именно может непременно в нее войти, чтобы его проведать, и только через минуту, не меньше, сказал тихо, но решительно:

— Что так, то так... Полиция чем живет? Хабаром, а не то чтобы своим жалованьем... Ну что ж,— когда такое дело, иди ищи извозчика... Только боже тебя сохрани проболтаться ему, что в банк за деньгами едешь!.. Боже сохрани! Слышишь?

— Что же я, девочка, что ли? — тоном обиженной отозвалась на это Наталья Львовна и тут же пошла в свою комнату готовить чемодан в дорогу.

IV

Бывают такие счастливые моменты в жизни людей, когда они будто перерождаются вдруг каждой клеткой своего тела. До последних мелочей ясно становится им, что надобно делать и как делать. Тяжесть их тела отлетает куда-то,— оно становится невесомым. Человек становится одно стремление, захватившее его целиком, и в действиях его не может уже проявиться ни малейшей ошибки. Так почувствовала себя Наталья Львовна после разговора с мужем. Войдя в свою комнату собираться в дорогу, она даже намеренно крепко притворила за собой дверь, чтобы ей не мешал Федор: пусть садится за свою чековую книжку, пишет для нее чек на полторы тысячи.

Она была похожа самой себе на заключенную в тюрьму, подготовившую уже все для своего освобождения, ожидавшей только момента, когда можно было совершить задуманный побег.

Момент этот настал. Ею как будто уже овладел кто-то невидимый, но все видящий сам, и ей нужно было как можно быстрее исполнять все, что он прикажет. А теперь он приказывал ей в последний раз пересмотреть все свои золотые вещи, которые были уложены ею еще ночью, а потом тут же надеть на свое платье другое, затем третье из более дорогих и новых, а сверх них меховую шубку. Она была просторная, и сколько под нею платьев, не мог бы угадать Федор.

Именно затем, чтобы не возбудить у него никаких подозрений, она брала с собою и небольшой чемодан, легкий на вид, хотя ей и жаль было того, что оставалось здесь из ее вещей. Но она как бы летела уже теперь, выходя из своей комнаты одетая и с чемоданом в руке, а в полете всякая лишняя тяжесть очень тяжела.

И тот невидимый, который руководил ею в побеге, подсказал ей, что она должна теперь погасить свою радость и принять вид озабоченно-серьезный. Придав себе такой вид, она и подошла к Федору.

— Уже собралась?.. Скоропалительно! — с нотой явного одобрения в голосе встретил ее Федор.

— А как же иначе? Надо же извозчика найти, чтобы засветло доехать,— озабоченно ответила она, беря у него чек.

— И как же у меня там в банке,— паспорт будут тре-

бовать? — спросила она, очень внимательно вглядываясь в то, что написал Федор.

— Зачем же им паспорт, когда чек на предъявителя? — объяснил он.— А паспорт, разумеется, возьми, раз придется в гостинице ночевать.

— Я и взяла, а то как же,— очень серьезно отозвалась на это она и головой прикачнула.

Чек она спрятала во внутренний карман шубки и, не ставя чемодана на пол, чтобы показать, что он очень легкий, обняла мужа, чтобы тут же поспешно летучей походкой ринуться в переднюю, отпереть выходную дверь и выскочить на улицу. Где и как найти извозчика, она знала.

А на улице первое, что ее встретило и обняло гораздо крепче, чем муж, была весна.

Мы всегда глядим, но редко видим.

Когда мы глядим на то, что уже примелькалось нам, то думаем в это время о чем-нибудь своем, иногда очень далеком от того, что кругом. Мы наперед знаем, что встретит наш глаз, когда мы будем продвигаться дальше и дальше. Мы будем проходить мимо известных уже нам домов, встречать ненужных нам людей, по которым бегло скользит взгляд. Мы смотрим на тротуарные тумбы, на приклеенную к стене большую, цветную и уже разодранную афишу и на многое еще, а видим в это время только того или тех, о ком думаем.

Бывает, что, увлекшись разговором с ними, мы не замечаем даже, что шевелим губами, хотя это замечают встречные и смотрят на нас удивленно.

Когда Наталья Львовна шла по улице теперь, она чувствовала себя так, будто никогда раньше не видела этой улицы, преображенной весною.

Она сверкала вся до рези в глазах, так щедро хлынули на нее потоки солнца. Даже стариннейшая нескольковековая генуэзская башня, верхушку которой, украшенную бесчисленными голыми теперь кустами, она видела с улицы, и та глядела на нее вызывающе молодой и веселой. Все семь или восемь веков истории смыло с нее весеннее солнце.

На заре шел, видимо, небольшой неторопливый дождь, и теперь все добротные каменные дома на улице были в ярких радужных каплях, радостных необычайно. По обочине тротуара выбилась уже из земли пахнущая весною густая трава, и ее щипали жадно и радостно очень красивые по оперению разномастные куры, а большой золотистый петух залился вдруг таким оглушительным «кукареку» как раз в

то время, как подходила к нему Наталья Львовна, как будто тоже вместе с нею был рад тому, как удачно вышел ее побег.

И извозчик Силантий, которого она знала раньше, показался ей теперь новым, увиденным как следует в первый раз. Это был хотя и кривой на один глаз, но разбитной малый, как и полагается быть извозчику, который по три, по четыре раза в неделю делает концы в пятьдесят верст через перевал, по шоссе, огибающему Чатырдаг.

У него были белесо-рыжие усы под утиным носом, а единственный глаз, серый, бойкий и не сомневающийся в себе круглый глаз, встретил ее весело и довольно.

— Ехать на Симферополь желаете? — первый заговорил Силантий, который уже надевал в это время хомут на своего крепкого, сухопарого, но жилистого на вид коня вытертой вороной масти.

Сильно поношенный был и теплый на вате зеленоватый пиджак Силантия. И шапка-ушанка на нем, тоже старая и неопределенного цвета, надета была весело, ухарски, набекрень.

— Еще один у меня договоренный пассажир есть — Черекчи, лавочник,— сообщил ей, орудуя привычно руками, Силантий.— Их два брата в лавке торгуют, считается так — две Июды Скариотские — так это старший. Сейчас подойти должон. Приискивался еще один — печник, за печным прибором будто бы ему надо, будто здесь ему печного прибора не хватает, ну я ему сказал: — Деньги вперед заплотишь, тогда поедешь, а на шермака если желаешь, то это уж — ах, оставьте!.. Бывает, по дороге, по деревням люди с чемоданами стоят, извозчика дожидают,— тех возьму, а печника этого, как он мне поперед деньги не уплатит,— не-ет!

И пока подошел грек Черекчи, Силантий успел сообщительно рассказать, что не взяли его по мобилизации из-за глаза.

— Вот же мне горе какое было из-за этого глаза, ежель хотите вы знать, как я его, еще парнюгой был, выколол ночью об сучок сухой,— и-ж, сказать нельзя, сколько горя принял!.. А что же оказалось в конце-то концов? А в конце концов — вот я, кривой, жив себе и здоров, а какие с обома глазами были, тех на фронт взяли, и поди ищи ты, ворон-птица, где их кости закопаны. Вот как дело обернуться может, каким концом!

Счастливого человека видела перед собой Наталья

Львовна, и так шел этот бойкий, поворотливый, одноглазый человек ко всему весеннему, что видела она кругом!

Подошел Черекчи, низенький, тучный, чернобородый, с совершенно деревянным каким-то, желтым, оплывшим лицом, но и тот как бы озарился чем-то веселым, весенним и постарался сделать улыбчивыми агатовые глаза, протягивая ей деревянную, неспособную гнуться руку.

При виде его вспомнила Наталья Львовна, как два с половиной года назад ехала она тоже в извозчичьем фаэтоне вдоль берега моря, стремясь спасать Федора, которого в море захватил на легкомысленном рыбацком ялике шторм. Тогда на обратной дороге попался ей другой грек — Попандопуло. И странно было ей самой чувствовать, что будто очень давно это случилось с ней, а между тем теперь она гораздо как-то моложе и душой и телом, чем была тогда. Потому она весело улыбалась даже этому своему спутнику, одному из двух «Скариотских Июд».

Она улыбалась и глядя на печника, который явился следом за греком,— борода клином вперед, лоб под старой фуражкой покато назад, а глаза красножилые, как будто успел он уже где-то несколько выпить.

Деньги вперед он действительно не дал, и Силантий не взял его в свой фаэтон.

V

Наталья Львовна знала обоих Черекчи: в их бакалейной лавке покупала она сама или посылала Пелагею, и две Июды знали ее. Потому не удивилась она, когда грек обратился к ней полушепотом, чтобы не слышал его возившийся около лошадей Силантий:

— Что будем делать, а? Как жизнь будет, а?

— Это вы насчет революции? — в тон ему полушепотом спросила она. Черекчи оглянулся на Силантия, отошел шага на три дальше и ответил:

— Это какой революции, xxe! Это... так не будет,— наш грек говорит себе так: оч-чень плох будет, оч-чень! Попандопуло — он хитрый человек,— дом свой продал.— Наталья Львовна знала, где — на набережной — был большой дом Попандопуло,— в нижнем этаже ресторан,— и удивилась:

— Продал? Неужели? Зачем?

— Греция едет! — таинственно сообщил Черекчи.— Спугался... Боится оч-чень!

— Вот как? Боится? А кому же продал?

— Приезжий один... Богат человек... Там боялся оччень, там земля да продал, здесь дом да купил.

— А кто купил у него землю, у того помещика, тот, значит, не боялся?

Черекчи выпятил толстенные губы и развел коротконалые руки в знак непонимания. Но тут же он перешел на шепот:

— Муж ваш, скажите, приехал, тоже дом свой продавать будет, а?

Это удивило Наталью Львовну.

— Ка-ак так мой муж приехал? Что вы говорите? Он на фронте!

— Фронте, да! Я тоже сам знаю! Фронте, да!.. Говорил так один человек, ххе. Значит, так думаем — врал!

А Наталья Львовна думала в это время:— Пелагея сказала,— кто же больше!— И невольно оглянулась назад и по сторонам, не идет ли Пелагея: вдруг ее послал Федор, чтобы она отложила поездку и вернулась домой.

Поэтому тут же пошла она к Силантию и спросила резко:

— Ну что же, мы все-таки поедем сегодня?

— Готово,— все готово,— садитесь! — и Силантий отстегнул кожаный черный фартук фаэтона и поддержал ее под локоть, когда она, став на ступеньку, занимала заднее место. Рядом с нею грузно уселся Черекчи, который тут же обратился к Силантию:

— Тарабогаз будем ехать,— Гелиади возьмешь! — Гелиади,— слышаль?

— Мне все едино, какой он там, лишь бы пассажир был — настоящий! — буркнул Силантий, влезая на козлы, и тронул лошадей. А Наталья Львовна очень встревоженно и в то же время притаясь на своем месте, глядела, не бежит ли остановить ее Пелагея, и успокоилась только тогда, когда экипаж оказался уже на шоссе, ведущем к Тарабогазу, небольшой пригородной слободке, где жили одни только греки. Оказалось, что Гелиади был не один, а с женой, что понравилось Силантию. Понравилось это и Наталье Львовне, так как у новых пассажиров завязалась с Черекчи оживленная беседа на их языке и к ней Черекчи больше уж не обращался.

Гелиади был лет сорока, с горбатым тонким носом, с черными редковолосыми усами и бритым сухим подбородком. На нем была черная круглая смушковая шапка, та-

кая же, как и у Черекчи. Был он подрядчик, хозяин артели каменщиков, строивших дома. И хотя теперь, во время войны, домов никто уж не строил, все-таки у него осталась привычка как со своими рабочими, так, видно, и со всеми рассуждать громко и с полным знанием дела. А жена его, полнотелая и неуклонная женщина, была, как определила ее Наталья Львовна, из тех рано стареющих гречанок, которые способны были делать сразу три дела: гнать домой свою корову с пастбища в мелколесье, тащить на спине охапку сушняку, набранного там, и вязать спицами шерстяной чулок себе или мужу на зиму. Закутанная в теплый коричневый платок, она внимательно слушала то, о чем говорил Черекчи с ее мужем, но сама каменно молчала.

Однако, взглядывая на нее, Наталья Львовна думала о ней, что вот она отлично знает, куда и зачем она едет; может быть, так же, как и Попандопуло, хотят они с мужем продать свой дом в Тарабогазе и уехать в Грецию, не ожидая ничего хорошего для себя здесь, в Крыму, в близком будущем; а вот она сама, уехавшая от мужа, никак не может представить себе ясно, куда она поедет дальше, когда получит деньги по чеку: ей совершенно все равно было, куда ехать, лишь бы куда-то дальше.

Между тем по обе стороны извилистого шоссе, на обнаженных гладко обкатанных камнях которого подпрыгивали колеса на старых резиновых шинах, плотно прижалась ко всем лесистым взгорьям и балкам та же сверкающая весна, какая встретила ее тут же по выходе из дома.

Только здесь она была необъятно шире, эта весна, и охватила Наталью Львовну всю целиком.

Какие бы ни были кругом безлистые кусты и деревья, дубняк или граб, дикие груши или дикие черешни, кизил или орех-фундук,— они проникали в нее, во все поры теми своими бойкими весенними соками, своей безмолвной, как бы не очень говорливой радостью возрождаемой жизни. Радостно весенней была и каждая одинокая хатка, попадавшаяся по сторонам дороги. Белые стены ее казались именно весенне-белыми, а черепичная крыша ярко-светло-красной, в то время как небо было ослепительно голубое, без единого облачка.

Как настоящее подлинное освобождение от того, что почти задавило ее в последнее время, особенно же в два последних дня, вдыхала Наталья Львовна вместе с воздухом южно-горной весны ширину, простор, ликование. И не только в подъем на перевал — теперь уже шагом шли ло-

щади,— а это в ней самой рос и рос подъем, и что еще отметила она в самой себе — ворвалась в какую-то большую удачу, которая ее ждет, и даже на безмолвную гречанку Гелиади Наталья Львовна глядела радостными, помолодевшими, мечтательными глазами.

Проехали деревню Шумы, где домики затейливо амфитеатром расселись на горке над самым шоссе, а сады с большими орехами, яблонями и грушами и виноградники, в которых обрезанные кусты были похожи на кочерыжки, стремительно поползли от шоссе вниз, в глубокие балки.

Силантий обернул к Наталье Львовне красное рыжеусое лицо и сказал:

— Значит, считается, семь верст отмахали... А еще пять отмахаем, остановку сделаем коней поить,— колодец там есть.

— А до перевала оттуда сколько останется? — пусто, но радостно спросила она.

— До перевала оттеда еще четыре считается, ну, те четыре двадцати стоят, потому как дорога там скаженная,— объяснил Силантий.

Ей хотелось узнать не это, а то, сколько времени пройдет еще, пока, наконец, окончится «скаженная» дорога и начнется веселый спуск вниз, но тут же показалось ей совершенно лишним даже и спрашивать об этом: как бы медленно ни двигался фаэтон, двигался он к ее удаче.

И так как она верила в свою удачу, то удача ее и ожидала на месте остановки у колодца на двенадцатой версте вблизи красивого одноэтажного здания — шоссейной казармы. Там,— не на шоссе, а под огромной старой, может быть, двухсотлетней дикой грушей стоял фаэтон, запряженный парой гнедых коней, поджарых и усталых на вид, и возница сидел на пеньке с задним колесом, снятым с оси, а пассажиры,— их было четыре,— стояли около него с лицами не очень веселыми. По знакомой ей старой коричневой шляпе Наталья Львовна узнала среди этих четырех Жемарина, хотя он стоял в это время и спиною к ней. Именно это и признала она удачей. Тут же выпрыгнула она из своего фаэтона и подошла к нему.

Жемарин — он был без пенсне и потому несколько странен на вид,— обрадовался ей чрезвычайно. Даже слезы на его подслеповатых глазах заметила она и приписала их этой именно радости.

— Вы? Невероятно!.. Какими судьбами?

— А вы какими? — шаловливо спросила она.

— Я еду к себе домой, в Москву, а вы?
— Я только в Симферополь... А где же ваше пенсне?
— Там осталось где-то... возле вашего дома...
— Упало, и вы его не нашли?
— Я его искал, и под ногами что-то хрустнуло... По всей вероятности, я его раздавил... А в аптеке тут хотел купить новое,— оказалось — нет... Доеду до Симферополя,— прямо в оптический магазин.

Тут он приблизил свое лицо к ее, чтобы разглядеть ее лучше, и добавил встревоженно:

— А почему у вас глаза так блестят? Вы не больны ли? Только при повышенной температуре могут быть у людей такие глаза.

— У меня и в самом деле повышенная температура,— тут же согласилась с ним она и еще радостнее улыбнулась. Потом, взяв за руку, отвела его на несколько шагов и добавила, понизив голос:

— Это у меня не от болезни,— чего вы вздумали! Это от счастья, что я уехала!

— То есть, как «уехала»? — не понял он.

— То есть, совсем: и от мужа и из его дома!

— И куда же? К кому же? — вдруг так и засиял Жемарин, и слезы переполнили его глаза и покатились по щекам. И снова они показались Наталье Львовне слезами радости, и ответила она вполне безжалостно:

— Не к вам, конечно, так как не думала вас даже и встретить тут на дороге. А к тому,— да, действительно, к тому, кого, может быть, и не встречу совсем!

— Вы сказали «от мужа»,— значит, действительно ваш муж приехал, и это он меня... толкнул за дверь,— он? — очень возбужденно, хотя и не повышая голоса, заговорил Жемарин, и брови его заерзали по лбу.

— Конечно, муж... А вы как подумали? — И Наталье Львовне тоже пришлось поднять брови и округлить глаза, когда Жемарин ответил.

— Я думал, представьте себе, мне от неожиданности показалось, что в ваш дом проникли грабители...

— Та-ак,— протянула Наталья Львовна.— И какой же у вас тогда план действий?

— Я хотел тут же бежать в полицию, заявить об этом.

— Вот был бы театральный трюк!.. Однако вы одумались?

— Одумался, совершенно верно... Ведь вы мне говорили, что ваш муж на фронте,— вот я и догадался потом, что

это именно он приехал, когда вы сидели на скамейке на набережной. Я только не мог понять одного,— и сейчас не понимаю, признаться — как он мог меня увидеть...

— По его словам, разглядел вас в дверную щелку, куда почтальон письма и газеты просовывал,— объяснила Наталья Львовна.

— А-а... Вот в чем тут был секрет!.. А что догадка моя была правильна, я уж на другой день услышал: говорил кто-то, какая-то женщина.

— Эта женщина была, конечно, Пелагея,— кто же еще. Ну, хорошо, об этом довольно. Это мне больше совсем не нужно.

И, смотря прямо в слезящиеся глаза Жемарина, сквозь них и даже сквозь лесистую гору перед собою, Наталья Львовна добавила:

— А если я не встречу, кого хочу встретить, то... то, может быть, меня примут в труппу. Могут ведь принять, хотя бы сначала и на выходные роли, как вы думаете?

И, не дожидаясь, что ответит Жемарин, ответила себе сама:

— Конечно, примут! — и головой прикачнула уверенно.

— На сцену? А-а!.. Тогда вам лучше всего в Москву!— очень оживился Жемарин и даже взялся за рукав ее шубки, как бы с намерением помочь ей доехать до Москвы, но она коротко отозвалась на это:

— Нет там у меня знакомых...

Она почувствовала себя даже как бы оскорбленной им, этим любителем старинных построек: он не поверил в то, что ей суждена удача! И она отвернулась от него и пошла к своему фаэтону, где Силантий встретил ее бодро:

— Коней напувал... по две цибарки выпили,— вот какая у нас дорога,— сейчас поедем, сидайте.

— А у них там что такое случилось? — кивнула Наталья Львовна широко рукой.

— Раз плоха справа, куда же ты едешь и людей берешь!.. Шина лопнула в двух местах, проволокой ее чинит, а ехать еще верстов сорок... На полчаса раньше всех поехал, а приедет на час або на два позже,— вот что у него случилось. Сидайте, эй! — крикнул он в сторону Черекчи и Гелиади.

Когда Наталья Львовна прощалась с Жемариным, он поцеловал ее руку, и на эту руку упала его слеза.

VI

Поднимались на перевал шагом. На этом участке шоссе Наталье Львовне отчетливо были видны щедро освещенные то синеватые, то почему-то оранжевые скалы на ближайшей половине ровной, как стол, вершины Чатырдага. Кое-где между скалами ярко белели полосы снега. Это было величественно и казалось очень близко. Наталья Львовна так и сказала об этом Силантию:

— А Чатырдаг-то, красавец какой! И совсем он близехонько!

Но на это Силантий отозвался, крутнув головой:

— Глазком-то видно, да ножкам обидно... С перевала туда люди ходили, какие приезжие,— пойдут, так на цельный день... Теперь уж не ходят тут,— на фронте ходят.

Зато очень оживился Силантий, когда встретились три огромных дилижанса с сеном. Он даже остановил свою пару, сам слез с козел.

Сено чудесно пахло, и Наталья Львовна поняла Силантия, когда он подошел к первому возу, выхватил клок сена и стал его нюхать и разбирать руками. Но он минут пять стоял и говорил с хозяином сена, а когда сел снова, сообщительно обратился к ней:

— Сказал ему, чтоб один воз обязательно ко мне завез, там жинка примет... Как мои, бидолаги, и летом на траве не пасутся, а все то же сено хрумкают. Сено степовое,— хорошее сено,— хаять никто не будет.

«Степовое» сено это как нельзя более кстати подошло к настроению Натальи Львовны. На нее, освободившую себя, повеяло степным простором, отчего и уверенность в душе окрепла.

И теперь уже бесповоротно ушло все старое, даже и Жемарин, и фаэтон, на котором он ехал. Думалось об одном только человеке: сыне художника Сыромолотова. Память сохраняла его всегда целиком таким, каким был он тогда, более двух с половиной лет назад, в больнице того города, в который она ехала. Перед койкой раненного Алексеем Ивановичем Дивеевым Ильи Лепетова он сидел на белом табурете, поразив ее тогда своею мощью. В просторном сером пиджаке, голубоглазый, круглоголовый и с прочным лицом, и ростом выше своего отца, и видом открытее, благодушнее: у отца оказался сверлящий, пронизывающий взгляд, не привлекающий к нему, а останавливающий на том или ином расстоянии.

Отец сказал ей, что сын его тяжело ранен, но она так обрадовалась тогда, в церкви, тем, что он скоро приедет, что не спросила, как именно ранен, куда ранен. И даже после, там, в доме Федора, ей почему-то не думалось об этом. Только вот теперь, когда медленно везла ее вороная пара Силантия на перевал, ей стал представляться сын Сыромолотова, как раненный то в ногу, то в руку, то в его богатырскую грудь.

Ей представилось вдруг даже самое страшное, что только могло быть с молодым Сыромолотовым: он не приехал, его привезли, так как ему оторвало обе ноги большим осколком снаряда, и вот теперь прислуга отца везет его в коляске!..

Наталья Львовна так измучилась нарисованной ее же воображением картиной, что закрыла глаза, а когда открыла их снова, то стала очень внимательно глядеть на лес по сторонам шоссе.

Тут, на довольно большой уже высоте, были большие деревья: она не знала, что это дубы, грабы, ясени, дикие груши, но по цвету этого моря безлистых веток, тоже льющемуся вниз, к другому, голубому морю, видела, что лес ожил весь, что нет в нем нигде места, где бы не наливались теперь почки.

Этими миллиардами почек древесных и пахло теперь так же сильно, как от степного сена. И думалось ей только о том, что ее непременно примут,— не могут не принять! — хотя бы на первое время только на выходные роли, а через месяц-другой она добьется того, что ей будут давать и главные.

От перевала вниз лошади уже бежали сами. Лес здесь пошел буковый; огромные деревья с корою около получаса радовали Наталью Львовну, но кончался спуск, ровное предгорье как бы бежало далеко между высокими берегами, и то справа, то слева часто стали попадаться и небольшие хутора, и целые деревни, а потом даже и село с церковью; и старые двухохватные тополя стояли рядом возле каждого хутора, каждой церкви, точно для того, чтобы показать всем едущим по шоссе, что и двести лет назад тут тоже жили люди, сеяли пшеницу, сажали капусту, разводили кур и овец.

Когда подъехали к окраине города и показались совсем неказистые, как бы сложенные из глины хатки с маленькими подслеповатыми окошками, Наталье Львовне подумалось, что может случиться и так: нет здесь теперь никакой

труппы, и что ей делать тогда? Остается только одно: уехать в большой город — Екатеринослав или Харьков, где театры даже и теперь должны быть непременно.

Но потом пошли большие белые здания консервных заводов; проехали мимо очень памятной Наталье Львовне обширной городской больницы, а затем вспомнила она и все людные улицы города, в котором было не менее пятидесяти тысяч жителей, и опять появилась уверенность, что должна играть тут труппа,— как же иначе? — и что ей удастся поступить в нее, если задобрить директора театра.

Шел всего только пятый час, и то в начале, и было еще совершенно светло, когда Силантий подвез всех своих пассажиров к гостинице,— не к той, где прожила Наталья Львовна несколько дней с Федором, а к другой, гораздо проще на вид, но знакомой грекам, и чета Гелиади и Черекчи тут же вошли в нее нанять номер, а она медлила.

Она слышала, как греки говорили Силантию, что пробудут тут два, а то и все три дня, и как Силантий говорил, что ему их ждать «безрасчетно».

Поэтому и она сказала Силантию, что может задержаться тут по делам дня на три, чтоб он и ее тоже не ждал.

— Дело хозяйское,— отозвался на это Силантий.— Буду других шукать... А на всяк случай завтрашний день сюда утречком, часов в десять зайду,— може надумаете домой возворочаться... Пока я на постоялый.

Дотронулся до своей ушанки и повернул лошадей. И только теперь почувствовала себя Наталья Львовна совсем и навсегда отрезанной и от дома Федора, и от маленького городка, в котором пришлось ей прожить более трех лет.

Глава пятая

I

Оставшись одна, Наталья Львовна пошла к гостинице, очень внимательно, как человек, сбросивший с себя тягостное прошлое, всматриваясь во все встречные, совершенно новые для нее лица.

В то же время она искала глазами круглый широкий столб, на который наклеивались афиши, и такой столб скоро попался; на нем розовела последняя афиша: в здешнем театре в этот день должна была идти «Свадьба Кречинского». С радостным лицом прочитала она всю афишу с нача-

ла до конца и твердо решила этот вечер провести непременно в театре, чтобы посмотреть, что тут за актрисы. Так, неся на лице радость, разрумянившую ей щеки, шла она дальше к намеченной гостинице и вдруг почувствовала, что побледнела. И это произошло от другой радости, несравненно более сильной и охватившей всю ее до самозабвения: навстречу ей шел очень широкоплечий, в широкополой серой шляпе и в черном плаще с металлической круглой застежкой вверху Ваня Сыромолотов.

Он шел упругим твердым строевым шагом, отчего развевался, как от ветра, хотя было совершенно тихо, его накинутый на плечи безрукавный плащ с пелериной. Наталья Львовна подумала, что он спешил куда-то, но не сошла в сторону; она остановилась прямо против него, чувствуя, что не только очень бледна, но и ослабела вдруг и что у нее широкие и неподвижно устремленные только на его лицо глаза. Ваня сделал было широкий шаг в сторону, но она протянула к нему руку, как бы за помощью, и он остановился и спросил:

— Что? Вам дурно?

— Да... Мне дурно...— совсем почти обессилев, отозвалась она, и Ваня тут же взял ее за руку и подвел к стене дома, чтобы ей было обо что опереться и чтобы ему самому не мешать движению прохожих.

— Вы меня никогда не видели? — спросила она, почувствовав опору и овладевая собою.

— Нет, не приходилось,— тут же ответил Ваня и добавил: — Я сюда совсем недавно приехал.

— А я только что... И весь багаж мой со мною... Но вы видели меня, как и я вас, здесь, в больнице, когда вы сидели около Ильи, раненного здесь на вокзале...

— Илья? Он где теперь? — оживился Ваня.

— Не знаю. Когда я вошла в палату, где он лежал...

— Вспоминаю! — перебил ее Ваня и посмотрел на нее очень внимательно, несколько даже наклонившись к ее лицу.— Вы и еще с вами кто-то похожий на унтер-офицера запаса.

— Он и был тогда унтер-офицер запаса... а в самом начале войны был взят в армию.

— Как и я... Я только недавно получил так называемый «бессрочный отпуск», отставку...

— Это мне говорил ваш отец.

— Вот как? — очень удивился Ваня.— Где? Когда?

— Алексей Фомич сказал мне, что вы были тяжело ра-

нены, но он не сказал мне, куда, и вы представьте себе, что я подумала? Я представила, что вы ранены были в обе ноги! И как же я рада теперь! Вы остались такой же, каким и были... И даже еще могучее!

Это было сказано так неподдельно горячо, что Ваня улыбнулся и прогудел:

— Благодарю вас... Весьма благодарен!

Но тут же дотронулся до своей правой руки левой и постучал пальцами по протезу:

— Вот здесь у меня мышцы, называемой бицепсом, уже нет. Так что эта рука у меня теперь инвалид... Кстати сказать: вы вспомнили про Илью, а я вспомнил фамилию психически больного этого, который в Илью стрелял,— ведь он в моем доме жил потом с месяц,— Дивеев...

— Да, Дивеев Алексей Иванович!.. Вы знаете, ведь он добровольно поступил в армию! Вот чем окончилась его болезнь,— с большою как бы даже радостью за Дивеева сказала Наталья Львовна; но Ваня отозвался на это опечаленно:

— Ну, значит, это и был он самый, а не какой-то его однофамилец!

— А что? Что такое с ним, скажите? — встревожилась она.

— Когда я прочитал в списке убитых офицеров «Прапорщик А. И. Дивеев», то вспомнил, конечно, что нашего с вами Дивеева звали Алексей Иваныч,— меня зовут Иван Алексеич, а его — наоборот — запомнить было легко.

— Значит, он убит? И Алексей Иваныч тоже убит! — Тут глаза Натальи Львовны наполнились слезами, она взялась за руку Вани, и тот почувствовал на своей руке ее слезы. И почувствовав эти ее слезы, Ваня положил другую руку на ее плечо и проговорил взволнованно:

— Позвольте, я теперь вспомнил, что ведь вы же приезжали в мой дом к этому самому Дивееву... Вот теперь только я это отчетливо вспомнил! Приезжали вместе с вашим мужем,— помню! И тогда как раз был у меня на верхнем этаже Илья, когда вышел из больницы... Алексей же Иванович и другие... несколько человек их было,— в нижнем этаже... А теперь вы куда же шли?

— Никуда,— ответила Наталья Львовна.

— Ни-ку-да?.. Как же так «никуда»? — пробасил Ваня удивленно и даже обеспокоенно: ведь только что вспомнил он пансион доктора Худолея, открытый в его доме года три назад для психически неуравновешенных.



— Никуда,— повторила она.— В гостиницу — это все равно, что никуда.

— Ну и где,— позвольте,— где же вы постоянно живете? — совершенно недоуменно спросил Ваня.

— Нигде! — с большою ясностью в голосе и в глазах ответила она, все еще держась за руку Вани.

Она ничего не добавила больше, она только смотрела в лицо Вани, и этот многоречивый взгляд ее Ваня понял.

— Знаете ли что? — сказал он тоном человека, принявшего твердое и единственно нужное решение: — Вам необходимо отдохнуть, а в гостинице кто же там около вас будет? Только чужие люди. Поедемте в тот дом, где вы были, — в мой дом, только на верхний этаж, а в нижнем — там опять поселились идиоты. Там отдохнете, с мыслями соберетесь... Чаем вас напою... И знаете, что еще? Портрет ваш набросаю углем на холсте: пальцы у меня работать еще могут... А? Поедемте?

Наталья Львовна ничего не сказала. Глаза ее вновь переполнились слезами, только слезы эти были уже другие слезы. И Ваня, оглянувшись в сторону гостиницы, к подъезду которой извозчичий экипаж привез кого-то, крикнул зычно:

— Извоз-чик!

Они стояли укрыто от тех, кто шел по тротуару. Тут на улицу выходил подъезд большого двухэтажного дома; но если бы и не было этого, Наталья Львовна все равно не в состоянии была обратить внимание на проходивших мимо. Но она не разглядела и лица извозчика, который повез ее в дом Вани, не заметила и того, какого цвета были его лошади. Она глядела только на того, кого как бы подарила ей судьба.

II

Ваня шел из своего дома после того, как провел с полчаса в беседе с главою семьи, поселившейся в его нижнем этаже, а беседа эта была совсем не из приятных.

Дела какого-нибудь в области живописи искал Ваня с первых же дней по приезде сюда, так как картин продать было здесь некому. Тут был музей и при нем небольшая картинная галерея, но для нее были сделаны когда-то покупки нескольких картин известных художников, между ними и две картины Алексея Фомича, но для покупки других и теперь, во время войны, и тут же после падения царской власти, у музея, как сказали Ване, не было «надлежащих средств».

Представилась только одна возможность: написать занавес для небольшой театральной сцены в новопостроенном купеческом клубе, причем тема для занавеса была там своя: пролог сказки «Руслан и Людмила». И занавес на эту тему был уже написан учителем рисования здешней гимназии, взявшим за свою работу не так дорого; но этот художник все свое внимание обратил на русалку, которая «на ветвях сидит». Его русалка не сидела, а лежала, заняв собою половину занавеса, так как оказалась очень толста и велика ростом. Художник, не имея для русалки более подходящей натуры, написал ее со своей жены, дамы весьма дородной. Это обстоятельство очень озадачило членов хозяйственной комиссии клуба. Одни из них сомневались, чтобы возможны были вообще такие сверхдородные русалки; другие недоумевали, на чем держалось такое исполинское тело, так как каких-либо очень толстых и потому крепких сучков под ним не было; третьи утверждали, что висеть такому занавесу в театральном зале клуба даже как будто и зазорно, что клубная русалка вредно будет влиять на воображение не только подростков обоего пола, но и зрелых людей, отцов семейств. Занавес решительно забраковали, автору его ничего не заплатили и только оставили ему в утешение холст, так как холст был клубный.

Новый занавес, на котором были бы и дуб зеленый и кот ученый, русалка, такая воздушная, чтобы действительно могла сидеть на ветвях, и взялся написать Ваня, обещав, что русалка его будет полузакрыта листьями дуба, почему и смущать никого собою не станет.

Получив холст, Ваня в этот день с утра весь погрузился в расчерчивание его углем, придерживаясь заказа, сделанного красками, но кое в чем его и дополняя, когда вдруг донеслась до него из нижнего этажа через пролет деревянной лестницы затяжная и вполне самозабвенная старая песня. Пел ее жилец его, отставной военный, у которого оказался голос очень неприятного тембра да еще и с завываниями.

Жилец пел о каком-то вине «крамбамбули».

Крам-бам-були, отцов на-след-ство,
Питье любимое у-у нас,
И у-у-тешит — такое средст-ство.
Когда взгрустнется нам подчас.
Тогда мы день и ночь
Готовы пить крам-бам-були,
Крам-бам-бам-бам-були,
Крамбамбули!

Тут старик сделал небольшую паузу,— должно быть, прошелся по комнате, — потом запел снова:

Когда-а-а — мне из-меняет де-е-ва,
Недолго я о том гру-у-щу-у:
В при-па-адке пра-ведного гне-е-ва
Лишь проб-ку в потолок пущу!
Тогда всех дев хоть черт бери,
Тогда я пью крамбамбули,
Крам-бам-бам-бам-були,
Крамбамбули!

Ваня как раз в это время определял место на холсте для своей девы-русалки, которая по его замыслу должна была прельщать собою публику зрительного зала, и отношение старика внизу к его деве и ко всем вообще девам прозвучало как нельзя более некстати, но он думал, что песня уже окончена, однако, выдержав паузу, жилец его завыл дальше:

Когда-а случится мне заехать
На грязный по-сто-я-ялый дво-ор,
То, не садясь еще об-е-едать,
Я к рюмкам обра-щаю взор...

Тогда Ваня оставил занавес и спустился вниз.

Епимахов встретил его широко открытым ртом и вопросительными глазами.

— Вы что это распелись, как какой-нибудь соловей курский? — грянул Ваня.

Небольшое подвижное лицо Епимахова собралось в льстивые складки, и в глазах услужливая веселость.

— Удовольствие вам имел намерение доставить, Иван Алексеич, — удовольствие! — заговорил он. — Песня эта старинная, правда, да ведь она военная, гусарская, а вы давно ли с фронта. Вот я и подумал: дай-ка спою, а Иван Алексеич послушает и мне спасибо скажет!

— Спасибо-о?.. Как же!.. Держите карман! — рокотнул Ваня, но это не смутило Епимахова.

— Не нравится вам эта, я могу другую, посовременнее: юнкерскую!

И, как ни в чем не бывало, начал с большим подъемом:

Ура — нашили мы шевроны,
Переме-ни-ли тем-ля-ки-и,
И уж кор-нет-ские по-го-о-о-ны-ы
Не-да-леки, недалеки!

Ваня насупился и отчеканил громко и раздельно, чтобы перекричать певца:

— Пре-кра-ти-те обезьянство!

Епимахов как бы растерялся, но тут же подвижное лицо его приняло недавнее льстивое выражение, и он как бы пролепетал просительно:

— А в преферансик, а? Сыграем втроем, — вот жена с базара придет, а?

— Нет! Это черт знает что такое!— совершенно возмутился Ваня.— Вы пьяны, что ли?

— С удовольствием, с большим удовольствием выпил бы что-нибудь, — что вам будет угодно мне поднести, — с большой благодарностью!.. Хотя бы денатурата даже, а? Есть? Я его через хлеб пропущу, и ничего! И он будет почти что безвреден... А? Угостите?

— Я вижу, что вы уж и без меня угостились! — буркнул Ваня, но Епимахов взял его за руку и заговорил умоляюще:

— Для спиртовки, а? Вам, как домовладельцу, поверят в казенной винной лавке, — поверят, ей-богу, поверят! А мне — нет! Сколько ни заявлял я насчет спиртовки ни-ка-ко-го внимания! И даже, скажу вам, как хозяину этого дома, — есть нечего! В буквальном, в самом буквальном, а не то чтобы фигурально как-нибудь!.. Вот пошли на базар жена с сыном, — понесли по два стула каждый, то есть, — жена и сын! — И вот думай, как хочешь, если продать их удастся, — что-нибудь купят на обед, а если нет? А если нет, я вас спрашиваю? Стульев же люди не кушают!

— Каких стульев? — изумился Ваня и оглянулся, а Епимахов тут же помог ему догадаться:

— Ваших, конечно, а то каких же еще!

— Во-ру-ете мои стулья? — загремел Ваня.

— Да, воруем, а как же иначе? С голоду прикажете умирать?

И Епимахов даже выпрямился, и осерьезилось его складчатое лицо.

— У меня здесь в нижнем этаже была дюжина стульев! — вспомнил Ваня.

— Совершенно верно,— подтвердил Епимахов.— Была дюжина — двенадцать...

— И было семь коек!

— Совершенно верно, семь... **Было** семь! — подчеркнуто повторил Епимахов.— Осталось же три,— только три, так как больше нам троим зачем же, посудите сами? — что же касается стульев, то... мы с женой решили оставить только три тоже, по числу членов нашей семьи...

— Это... Это, знаете ли, черт знает что! — закричал Ва-

ня, но Епимахов только развел на это руками и только спустя несколько секунд добавил:

— Определяйте наши поступки, как вам будет угодно,— вы хозяин!

— Полиция! Полиция, а не я! Полиция определит, как это называется! — совершенно вне себя выкрикнул Ваня, но Епимахов был с виду спокоен, когда отозвался на этот крик:

— Полиция что же тоже может сделать с надворным советником? Ничего особенного, смею вас уверить... Составит, разумеется, протокол, и затрудняюсь даже представить, что же еще скажет тут эта самая полиция. Я ведь не к соседям хожу воровать, а в своей квартире лишние для меня вещи сбываю, и все... Какой же тут особенный состав преступления?

Ваня не успел еще прийти в себя от этих вполне рассудительных слов, как жилец добавил радостно:

— Ну вот, идут оба: и жена, и сын!

Ваня стоял спиною к окнам, выходившим на улицу, и не мог этого заметить, но тут же услышал визгливый голос жены Епимахова:

— Покажи отцу, дурак болваныч, а не ставь тут!

Ваня понял, что должен был дурак показать отцу, только тогда, когда в комнату ворвалась, широко отворив дверь, женщина с венским стулом в руках, причем ясно стало и то, почему она негодовала: у стула висели отломанные обе передние ножки.

Увидя Ваню, которого не ожидала, конечно, встретить, она быстро спрятала стул за спину, но Епимахов махнул ей рукой и прикивнул, и эти жесты мужа она поняла без слов.

— Кто сломал? — спросил Епимахов.

— Дурак наш, — кто же еще? — отвечала она, глядя не на него, а на Ваню, так как поняла уже, что хозяину дома все известно.

— Каким же образом? — спросил Епимахов.

— Таким, очень простым: в собаку бросил стулом, — в ту, какая на него и не тявкнула даже,— бойко объяснила она.

— А три стула вы, значит, продали? — спросил Ваня.

— Этого, конечно, как колотого никто не взял, а три взяли и даже просили еще принесть.

— Давайте деньги сюда! — крикнул Ваня.

— Что-о-о? — изумилась жена Епимахова. — Как это так, деньги чтобы вам?

— Очень просто! Стулья мои, а не ваши!

— А продавала их я, а не вы, — вот что! Я их на базар тащила, а вы у себя барином сидели!

И вдруг, как бы испугавшись, что деньги у нее сейчас будут отняты, или отнято то, что ей удалось купить на базаре, она с большим проворством выскочила из комнаты, а на ее месте оказался дурачок, ее сын, который выхватил из кармана свой игрушечный пистолет, навел его на Ваню и щелкнул раз, потом другой раз и третий.

Однако когда Ваня сделал шаг к нему, он выскочил с материнской поспешностью, не успев сказать своего: — Есть еще один! — не успев захлопнуть за собою дверь.

Ваня так был озадачен, что, уже не поднимая головы, сказал Епимахову:

— Сейчас пойду в полицию.

Однако Епимахов отозвался ему, когда он уже поднимался по лестнице:

— Зря, Иван Алексеич! Зрящая потеря времени! Нечего тут полиции делать. И нет теперь никакой полиции.

И как бы даже усмешка почудилась Ване в его словах.

Он тут же надел шляпу и плащ с блестящей застежкой в виде львиной головы, запер свою дверь и вышел на улицу, где и встретилась ему смертельно-бледная молодая женщина, красивое лицо которой показалось ему почему-то знакомым.

III

Когда Ваня подвозил к своему дому Наталью Львовну, он увидел дурачка Епимахова, стоявшего точно на часах перед своею входною дверью; как только извозчик остановился перед домом, дурачок юркнул в дверь. Ваня провел Наталью Львовну узким коридорчиком на крутую лестницу, а дверь на эту лестницу закрыл на задвижку. Теперь ему было не до жильцов: он вел к себе натурщицу для русалки. А так как его все-таки беспокоило, не толста ли эта натурщица, то первое, что он сказал ей, когда ввел ее к себе, было коротенько:

— Раздевайтесь! — И он сам помог ей снять шубку.

Живя два с половиной года в доме мужа, Наталья Львовна не успела располнеть, а два платья, напяленные ею на себя при отъезде, она сняла сама, так как они очень ее стесняли, тогда Ваня восхищенно пробасил:

— Вот повезло мне! Вот так повезло!.. Все равно, как Сурикову, когда он своего «Меншикова в Березове» писал!.. Меншиков-то задуман как и надо, а где же для него натура? Ходит Суриков по питерским улицам, — во все глаза смотрит... И вдруг — вот он идет, великан — на голову выше всех, кто по Невскому проспекту движется, и усы подрезанные и с небольшим задором, как у Петра Великого, и в шляпе с короткими полями, одним словом, лучшего желать нельзя, — есть натура! Повезло!.. Идет Суриков за великаном этим следом, спешит, упыхался... Тот, наконец, подошел к одному дому и на лестницу, — Суриков за ним! Тот на третий этаж, — Суриков не отстает... Тот перед дверью остановился, ключ из кармана вытащил, — Суриков ждет... Тот в дверь свою входит, — Суриков за ним... Тут его натура и сказала: «Ах ты, мерзавец, такой сякой! Давно я вижу, что ты за мной следишь! Да, думаю, не настолько же ты, ворище, нахален, чтобы ко мне залезть!» — А Суриков, он росту невысокого, — открылся, конечно: — Я, говорит, совсем не ворище, а известный художник Суриков! Картину «Казнь стрельцов» небось видели? Моя ведь картина! — Одним словом, спас себя от увечья, а Меншикова с этой самой натуры написал. Оказался великан этот всего-навсего учитель истории.

Наталья Львовна теперь не была уже такой бледной, как при встрече с Ваней; она порозовела, большие красивые глаза ее блестели по-девичьи, и Ваня с самым искренним увлечением подвел ее к занавесу, который писал, и сказал торжественно:

— Вот видите? «Русалка на ветвях сидит»... Здесь именно вы и будете сидеть. Именно вы!.. А то, знаете ли, один здешний художник написал для занавеса театрального такую русалку, что один из купцов здешних очень метко сказал о ней: «Грузоподъемная милочка!» Я того занавеса не видел, правда, но представляю ясно... Что же это за русалка, ежели она «грузоподъемная»?

— Я очень рада, что могу быть вам полезна, — сказала Наталья Львовна.

— Что? Рада?.. хочется плавать на ветвях? — обрадовался Ваня. — Но ведь вы куда-то шли...

— Нет, я никуда не шла, — твердо ответила она.

— Так что можно, значит, вот теперь, с приходу, начать вас писать? — не скрывая этого, восхитился Ваня своей удачей.

— Разумеется, можно и завтра, — сказала Наталья Льво-

вна, потом, прикачнув головой, добавила:— Можно и послезавтра.

Глядя на нее восторженно-выразительно, Ваня положил обе руки на ее покатые хрупкие плечи, она же продолжала с виду спокойно:

— Завтра мне надо будет получить полторы тысячи здесь в банке, — этого нам хватит пока, на первое время... А там подумаем, как нам устроиться дальше.

— Что же это, позвольте? — ошеломленно забормотал Ваня. — Значит, мне повезло гораздо больше, чем Сурикову? А муж ваш? — вспомнил он вдруг. — Он что же, — убит, как Дивеев?

— Да, он убит... для меня убит... Хотя для себя и жив... Он стал мне невыносимо ненавистен.

Говоря это, Наталья Львовна не выбирала слов: они появлялись сами.

— А если бы я не встретился вам на улице? — невольно вырвалось у Вани.

— То я нашла бы вас завтра сама, — объяснила ему она. — Это ничего не значит, что вы не думали обо мне... Зато я все последнее время думала о вас... Я чувствовала, что очень побледнела, когда вас увидела, но это я от радости, а не от испуга...

— От радости? — повторил Ваня, слегка пожимая пальцами ее плечо.

— Да, от радости, что вы идете и таким широким шагом, а не то, чтобы вас возили на тележке,— вот почему!

— Меня? На тележке? Почему?

— Потому, что от вашего отца слышала я там, у себя, что вы тяжело ранены... Вот мне и представилось: а вдруг в обе ноги!

— И вдруг их у меня отрезали? Вот так воображение! — И Ваня привлек было ее к себе, но тут же отодвинул:

— Вы, значит, знакомы с моим отцом? Вот это для меня неожиданно!

Когда Наталья Львовна рассказала, как она познакомилась с Алексеем Фомичом, Ваня усадил ее на свой единственный диван и сел рядом, наклонив голову к ее голове.

Завечерело, и стало быстро темнеть, как это обычно бывает ранней весною в Крыму.

Вечернему часу положено быть тихим, но снизу донеслось до Натальи Львовны пение, причем голос был простуженный, старческий и с большой хрипотой, но слова выговаривались отчетливо:

...Бра-ни-ится мут-тер, пла-чет шве-стер,
А фатер выдрать о-бе-ща-ал...
Но я надул своих родных
И вы-пил за здо-ровье их.
Крам-бом-бом-бом-були,
Крам-бом-були!

— Опять этот мерзавец распелся! — горестно сказал Ваня, поднимаясь, чтобы спуститься вниз, но Наталья Львовна удержала его, спросив:

— Кто же это?

— Жилец у меня тут завелся, черт бы его взял! Без меня, когда я был на фронте... Ничего мне не платит да еще и мебель мою продает...

— Даже мебель продает?.. Значит, ему не на что жить... Он одинокий?

— Жену и даже сына имеет... Идиота... Вы его видели, когда мы подъехали.

— Да, кто-то стоял около дверей, — потом исчез... Всех, значит, трое... Это, конечно, хуже, чем если бы их было только двое: муж и жена, — рассудительно проговорила она.

— А почему все-таки хуже? — не понял Ваня.

— Ведь они для себя готовили что-то, — в коридорчике кухней пахло, когда я вошла.

— Жена этого петуха, конечно, готовит что-то, — буркнул Ваня.

— Могли бы готовить и на нас двоих... Вы где обедаете?

— Я?.. Где придется... Когда у отца, когда в ресторане...

— Ну вот... А можно сделать так, что обед каждый день будет дома... Представьте, что мы наняли бы кухарку. Ей комнату дать надо? Вот ей комната в нижнем этаже, рядом с кухней. Муж кухарки — придаток нежелательный, конечно, да ведь время теперь какое! Он вроде как бы сторожем мог быть дома... А идиот — это, разумеется, совершенно уж ни к чему.

— Вот! Вот именно! Революция это очень хорошо, а скажите, пожалуйста, как быть с идиотами? — Их никакая революция не переделает, и умными они не станут!

И Ваня поднялся, чтобы закрыть ставни и зажечь огарок свечи.

IV

На другой день утром получать в банке деньги по чеку, данному ей Федором Макухиным, Наталья Львовна пошла вместе с Ваней Сыромолотовым.

Этот день здесь, в большом все-таки городе, был куда более пронизан весной, чем день вчерашний. Он весь сиял

до ощутимой боли в глазах; он был подмывающе легок сам по себе и делал почти совершенно невесомым тело. Наталье Львовне казалось, что она и не шла, а хотя и тихо, — что вполне согласно было с торжественностью этого дня, — но как бы проплывала над тротуаром, не касаясь его. Так было с нею только в счастливом девичьем сне, когда она летела над сонной землею, стоя прямо и изумляя этой своей способностью всех кругом.

Счастливый девичий сон ее повторился теперь наяву, и она даже подносила иногда руку к глазам, не для того, чтобы защитить их от слишком яркого солнца, а для того, чтобы еще и еще раз убедить себя, что она не спит и что рядом с нею, слабой и такой легкой, что можно сидеть на дубовых ветках, как пушкинская сказочная русалка, рядом с нею мощный молодой художник, пусть хищно укушенный войною, но вырвавшийся из ее зубов и оставшийся тем же, чем и был,— талантливым и сильным.

О Федоре Макухине, еще вчерашнем своем муже, она и не вспоминала теперь, как будто и не было его, — так все прошлое было прочно зачеркнуто вчерашним вечером и наступившей вслед за ним ночью.

Даже и встречных людей вот теперь, когда шла, не видела Наталья Львовна: она глядела на них и в то же время не видела, — не пыталась разглядеть ни одного лица; ведь они были ей совсем не нужны, — они проплывали мимо, как бесплодные виденья во сне.

Перерожденной самой, ей все встречное представлялось тоже перерожденным, не только люди, и стены, и окна домов, и бетонные тротуарные тумбы, и камни мостовых там, где они не были покрыты асфальтом, и колеса фаэтонов. И когда Ваня сказал ей весело:

— Ну вот и пришли: банк! — она не сразу поняла, что это значило, и куда именно она пришла.

Даже оказалось нужным ей повести влево и вправо головою и пристально оглядеться, чтобы войти в себя, прежде чем она вошла в увесистое деловое серое здание банка.

Здесь оказалось очень тесно, что удивило Наталью Львовну, большинство людей было как-то непривычно для нее одето.

— Кто это? — шепнула она Ване.

— Беженцы из западных губерний, — шепнул ей наклонясь Ваня. — Их у нас тут довольно.

Как раз в это время один из этих беженцев, чернобородый и с затейливыми черными шнурами спереди на серой

теплой куртке, громко и с размашистыми жестами говорил другому, рыжебородому:

— Союз земств-городов, о-о-о, это ка-пи-таль-ная организация, я вам говорю.

Вопросительно поглядела на Ваню Наталья Львовна, и он, снова наклонясь к ее уху, объяснил ей:

— Поляк откуда-нибудь из Белостока.

Очереди были только перед двумя окошечками, где предъявлялись чеки и где выдавали деньги, и люди медленно продвигались вперед. Прошло минут двадцать, пока Наталья Львовна подошла, наконец, к первому окошку. Усталого вида пожилой человек в очках, в форменной тужурке, но уже без петлиц и с пуговицами черными, гладкими вместо бронзовых орлиных, очень внимательно посмотрел на нее, принимая чек, и стал перелистывать толстую, лежащую перед ним книгу. А когда нашел, что было ему нужно, и начал делать отметки в ней правою рукой, то левую поставил как бы экраном между собой и ею предъявленным чеком.

— Сколько еще денег осталось на счету Макухина? — спросила она. Он же, поглядев на нее недоуменно и даже как будто строго, проговорил:

— Таких справок предъявителям по чекам банк не дает.

Этот взгляд бывшего чиновника и эти слова показались ей настолько обидными, что у нее чуть было не вырвалось: — Я — жена вкладчика! — Но она сказала только: — Я...— и добавила:— Этого не знала...

Сделав на чеке пометку и протягивая его ей обратно, банковский сказал коротко:

— В кассу!

От только что испытанной неловкости она оправилась только тогда, когда кассир, с серыми усами, висевшими подковкой, и плохо выбритым острым подбородком, отсчитал и подал ей пачку кредиток. Она не пересчитывала их, так как следила за всеми движениями его тонких пальцев и за тем, какие появлялись одна за другой бумажки. Открыв свою сумочку, она поспешно сунула туда всю пачку и отошла, поглядев на Ваню осчастливленными глазами.

И первое, что она сказала, когда они спускались по лестнице вниз со второго этажа, было:

— Ну вот, Ваня, теперь у нас есть деньги на первое время!

Едва прошли они несколько домов от здания банка, как увидели на тротуаре толпу людей.

— Ну, закупорка! — буркнул Ваня. — Летучий митинг.

— Послушаем! — прижалась к нему просительно, как девочка, Наталья Львовна, но он, взяв ее под руку, повел решительно по улице, в обход толпы, говоря при этом:

— Тут только остановись с твоей сумочкой — живо выхватят... где такой летучий митинг, так уж наверное человек пять жуликов, — это, пожалуйста, знай на будущее время.

— Да, голос у этого оратора зычный, — можно его слушать издали, — отозвалась она.

Голос у говорившего, действительно, был очень громкий, и, остановясь шагах в десяти, они услыхали:

— И коли товарищи взяли на себя власть надо всем народом, понять они должны одно коротко! Народ исключительно надо кормить, — вот! А без кормления народного дело товарищей этих станет о-гро-мад-ней-ший ноль!

Ему захлопали.

И в эти нестройные, беспорядочные хлопки уже ворвался молодой звонкий голос нового оратора. Да и сам оратор был очень молод, почти юноша-гимназист, хотя и говорил он с проникновенной убежденностью.

— Это разве та революция, товарищи, какая необходима нашей России? Это реформа, ни больше ни меньше! Царя скинули и только! Стала обыкновенная буржуазная республика. Правящий класс как был правящим, так и остался! Война как шла, так и идет! Да, это реформа, товарищи, а совсем не революция! Как была рубашка дырявая, так и осталась! Как вели войну в интересах Франции и Англии, так и ведем! Кому же нужна война? Пролетариату не нужна война! Пролетариат, руками которого разрушено самодержавие, не стал у власти! Нет — власть в руках все тех же имущих классов, эксплуататоров. Настоящая революция впереди, и ее сделаем мы, партия большевиков! И для этой нашей пролетарской революции приехал в Россию из-за границы, где он был в эмиграции, наш вождь, товарищ Ленин!

В публике захлопали. Захлопала в ладоши и Наталья Львовна, пробираясь ближе к трибуне и увлекая за собою Ваню. А юный оратор продолжал уже стихами:

Станем грудью вокруг всего земного шара
И по знаку, в час урочный, все вперед!
Враг наш дрогнет, враг не выдержит удара,
Враг падет, и возвеличится народ.
Мир восстанет из развалин и пожарищ,
Нашей кровью искупленный, новый мир,
Кто рабочий — к нам за стол, сюда, товарищ!
Кто хозяин — тот наш враг, оставь наш пир!

И снова ему аплодировали. А он продолжал говорить с нарастающим жаром:

— Ленин, товарищи, сделает то же самое, что он сделал в девятьсот пятом году: рабочих поднимет!

— Как это поднимет? — послышались реплики, и они, эти реплики, точно подстегивали оратора:

— Он знает! Ленин знает, как это сделать!.. И куда поднимать и зачем поднимать... Только царя сбросили, а власть оставили в чьих руках? В руках хозяев, товарищи! Кто такой Родзянко? Помещик из самых богатых во всей России. Что он, за рабочих будет стоять? Как бы не так! Нам нужно, товарищи, чтобы в России была рабочая власть, вот тогда Россия пойдет вперед! А власти рабочим никакие Родзянки не уступят... Значит, что же надо делать? Надо эту власть взять нам силой! Силой! Кого больше? Помещиков, заводчиков, фабрикантов, банкиров или рабочих? Вот рабочие и должны получить полную власть. Хозяином на земле должен стать тот, кто на ней работает, а не биллиардные шары гоняет по зеленому столу, не в карты играет, не дома себе семиэтажные строит! Народу нужна не реформа, не буржуазная республика. России нужна пролетарская революция, которая создаст республику рабочих и крестьян! Долой войну! Долой правительство Керенских и Родзянок! Да здравствует пролетарская революция!

И теперь аплодисменты прокатились гулкой и широкой волной. Аплодировали Наталья Львовна с Ваней Сыромолотовым, захваченные общим энтузиазмом публики. И этот шквал аплодисментов заставил Ваню осмотреться.

— А народу-то набралось, — с удивлением пророкотал он. — Как-то вдруг, а? Откуда столько?

Но в ответ на его слова Наталья Львовна вспомнила две строчки из Фета и произнесла вслух:

Только песне нужна красота,
Красоте же и песни не надо.

А Ваня ей в тон пробасил:

— Вот, оказывается, какое еще есть искусство: искусство революции...— Он, посмотрев пытливо на свою спутницу и поймав на ее лице тайный упрек, добавил:— Это я не так себе, не для красного словца, а вполне серьезно...

Как раз в это же самое время мимо них пробирался сквозь толпу тот самый юный оратор, который только что

сообщил о приезде Ленина. Он пытливо посмотрел на Ваню ясными сверкающими глазами, и глаза эти показались Сыромолотову до того знакомыми, что он не удержался, проговорил в сторону юноши:

— Подозрительно, какое сходство! Вы не сын ли Ивана Васильевича?

— Сын... И вас я знаю... Вы чемпион по французской борьбе.

— Был когда-то...— заметил Ваня, но юноша не обратил внимания на его слова и сказал:

— Вы у меня были года три назад... Я помню...

— Да, Иван Васильевич снимал тогда этаж в моем доме. Где он сейчас?

— Погиб... на фронте.

И глаза юноши, так изумительно похожие на «святого доктора» Худолея, сразу замигали и потускнели. И тут Наталья Львовна, чтобы как-то перевести разговор, сказала восторженно, обратясь к юноше:

— Мы очень благодарны вам... Вы так хорошо говорили, так проникновенно... Вам нельзя не верить... Значит, это хорошо, что Ленин теперь в Россию приехал?

— Очень хорошо. Теперь у нас главная задача — вырвать власть из рук эсеров и меньшевиков, у которых с кадетами подлинный блок.

Наталье Львовне, да и Ване хотелось еще поговорить с этим симпатичным юношей, но тут, проходя мимо, такой же юноша, очевидно товарищ его, сказал негромко:

— За тобой следят. Уходить надо.

Сын «святого доктора» сделал поклон и сказал, обратясь к Ване:

— Родителю вашему, Алексею Фомичу, кланяйтесь и еще раз благодарность мою передайте за пирожки.

— За какие такие? — не понял Ваня.

— Он знает. Пусть газету «Правду» вспомнит.

И Худолей-младший растаял в густой толпе.

— Пожалуй, что на сегодня с нас хватит,— сказал Ваня и предложил Наталье Львовне возвращаться домой.

Однако, когда они повернули на другую улицу, которая должна была вывести их к дому Вани, то встретили тоже толпу, только небольшую. В середине ее стоял почтальон с сумкой и с палкой, пожилой уже, невзрачного вида человек в порванном снизу и под мышками пальто. Он как будто поджидал, когда подойдут они двое, а когда подошли, начал вдруг с большим подъемом:

Говорится: почтальон...
И-эх, почтальон, почтальон!
Что же такое почтальон?
Пальто драное на нем...

Должно быть, он полагал, что митинговые речи надо говорить непременно стихами, и составил это свое четверостишие заранее, чтобы обратить внимание слушателей на бедственное положение почтальонов, но стихи его вызвали только усмешки, а одна сурового вида старуха в теплом платке сказала ему громко:

— Что же ты, лодырь божий, и пальто себе починить не можешь? Али ниток-иголки на тебя не припасено?

Но тут же нашелся и у почтальона защитник:

— Бесполезно чинить через собак! Сегодня ты починил, а завтра собака опять порвет.

И все захохотали, а Ваня зашагал дальше.

Около дома его встретил дурачок, который теперь почему-то не прятался, а очень воинственно нацелился из своего оружия прямо в лицо Натальи Львовны и успел щелкнуть один раз, после проворно пустился бежать вдоль улицы.

— Знает, хоть и дурак, что бежать за ним я не буду! — сказал Ваня и добавил: — А в участок все-таки надо будет зайти сегодня...

Когда же они вошли в коридорчик, то увидели в дверях, ведущих на кухню, Епимахова. Улыбаясь сладенько-лукаво, театрально склонив голову вбок, он выпалил:

— Поздравляю вас нижайше с незаконным браком! — И тут же подался назад и захлопнул за собою дверь.

Ваня не задержался тут, поднялся к себе и совсем без раздражения сказал Наталье Львовне:

— Вот, — видела, какие у меня жильцы? А ты думала, что можно их к чему-то там приспособить по домашности!.. Не-ет, таких не приспособишь!

— Так что же, в самом деле, с ними сделать? — захотела узнать она.

— Это уж милиция пускай придумает, куда их девать, а нам придумать бы, куда спрятать деньги, чтобы этот гусь лапчатый их не нашел, а то ведь непременно украдет, когда мы уйдем! — забеспокоился Ваня. — Подобрать ключ от дверей что ему стоит? Решительно ничего!

Наталья Львовна испуганно бросилась к своему чемоданчику, в котором были заперты браслеты, медальон, кольца, а когда убедилась, что он не был отперт жильцами, на-

чала, как и Ваня, оглядываться по сторонам, куда бы спрятать подальше свое достояние.

В самой дальней от входа комнате была узенькая кладовка, едва выступавшая из стены, — на ней и остановились, и туда спрятали чемоданчик с золотыми вещицами и деньгами.

А когда Ваня запер кладовку и даже забил дверь гвоздями, он обратился к Наталье Львовне:

— Сейчас нам надо пойти — сделать так называемый визит отцу.

Наталья Львовна посмотрела на него пугливо, но так и не прочитала в его глазах, почему идти к Алексею Фомичу нужно было именно теперь.

V

Когда Наталья Львовна подошла к дому Сыромолотова-отца, почувствовала такую робость, что тихо сказала Ване:

— Может быть, отложим это на завтра, а?

Ваня улыбнулся и ответил:

— Есть такое правило: «Что можешь сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра»... Этому меня и отец учил.

И добавил:

— У отца есть собака-овчарка Джон, — ты ее не бойся, если и залает... Впрочем, едва ли залает, он ко мне уж привык.

Джон, который был на дворе, действительно, не лаял: он только подошел степенно к новому для него человеку — Наталье Львовне — и понюхал сумочку. Привлекли внимание его и два свертка, какие нес Ваня: кое-что из закусок удалось все-таки купить.

Алексей Фомич увидел Наталью Львовну в окно, узнал ее и вышел в прихожую, и первое, что они от него услышали, было:

— Что? Вам опять удалось подпалить свечкою Семирадского?

И она еще не знала, как отнестись ей к его шутке, когда Ваня серьезным и даже торжественным тоном сказал отцу:

— Прошу любить и жаловать: моя жена!

Алексей Фомич отступил на шаг от изумления, поднял брови, пробормотал было: — Когда же это ты успел? — Но тут же, наклонив голову и сделав широкий жест правой ру-

кой, сказал громко и отчетливо: — Честь и место! — и помог Наталье Львовне раздеться.

А когда повесил на вешалку ее шубку, то поцеловал ее в лоб и спросил:

— Значит, вы мне приходитесь теперь снохою. Вот надо же, как скоропалительно это случилось! Ведь совсем недавно, Ваня, видел я твою теперешнюю жену в одной церкви, — о чем она тебе, должно быть, уже сказала, — и она, действительно, спрашивала о тебе, — значит, вы были знакомы раньше, — тогда все для меня понятно.

Чтобы не вступать в длинные объяснения, Ваня сказал:

— Да, вот именно: мы были знакомы еще до войны, а теперь только это — нашли друг друга.

— Все понятно... Все понятно! — повторял Алексей Фомич и широко отворил перед женою сына дверь в комнаты.

И введя Наталью Львовну к себе в дом, Алексей Фомич продолжал разглядывать ее глазами художника и вдруг сказал Ване:

— Русалка, а? Вот с кого писать тебе свою русалку!

— Уже написал, — улыбнулся Ваня.

— Ну, еще бы нет, еще бы нет! Я бы и сам написал! — И Алексей Фомич, совершенно развеселясь, хлопнул по плечу сына.

Только после этого улыбнулась облегченно и обрадованно Наталья Львовна.

— Приятно, приятно видеть! — проговорил Алексей Фомич, и она поняла это так, как ей хотелось понять, — что улыбка красит ее лицо, а не портит. Это она о себе знала.

А Сыромолотов обратился к сыну:

— Ты что-то принес там такое, — неси на кухню и зови сюда свою мачеху.

Ваня тут же вышел, и Наталья Львовна поняла, что Алексей Фомич вполне обдуманно удалил Ваню, потому что, очень внимательно глядя в ее глаза, он сказал, вдруг понизив голос:

— Позвольте разобраться: ведь вы замужем там за кем-то, кто сейчас на фронте? Так мне говорил дьякон Никандр, да ведь как же и могло быть иначе?

— Нет, теперь больше не замужем, — с большим ударением сказала она.

— А-а! Вы получили известие, что он убит, и стали, значит, свободны! Все понятно!

Наталья Львовна почувствовала большую неловкость от этой догадки, но ничего не сказала, даже не повела голо-

вою; да и некогда уж было что-нибудь говорить в объяснение: в комнату входили Ваня и Надя, поспешно вытиравшая руки о фартук.

Должно быть именно то, что руки ее были еще влажны, молодая жена старого Сыромолотова, не подавая руки своей новой родне, просто обняла ее и поцеловала в губы, а следивший за нею Алексей Фомич весело подмигнул сыну и еще веселее проговорил:

— У Шопенгауэра в его «Афоризмах и максалах» есть такой афоризм: «Когда молодая женщина встретит на улице другую незнакомую ей молодую женщину, то они смотрят друг на друга, как гвельфы на гибеллинов», то есть очень враждебно. А посмотри ты, как встретились наши с тобой жены!

Это замечание Алексея Фомича совершенно ввело в себя Наталью Львовну, и она уже сама обняла Надю и с восхищением сказала ей:

— Какая же вы молоденькая! И какая хорошенькая! И совсем не гвельфами и гибеллинами, а большими друзьями мы с вами будем!

И тут же, точно по какому-то наитию, добавила:

— Покажите же мне картину свою, Алексей Фомич! Я так много слышала об этой картине от Вани!

— Вот! Это называется — с места в карьер! — как бы еще более развеселившись, обратился к сыну Сыромолотов. — И знаешь ли, мне показалось там, в церкви, около Семирадского, что она что-то понимает в живописи!

— Она понимает! — подтвердил Ваня, но лицо Сыромолотова посуровело вдруг и повернулось к окну, в которое он и проговорил как бы про себя:

— Что же смотреть картину, когда она запоздала появиться?.. Вчерашний день, вчерашний день!

Однако Надя, обняв Наталью Львовну за талию, как бы сама возбуждаясь ее любопытством, сказала радостно:

— Идемте, я покажу вам картину!

А Алексей Фомич вполголоса спросил сына:

— Как жена твоя, не двулична ли?

— Не замечал этого за нею, — подумав и вполне серьезно ответил Ваня...

— Ну, если так, пойдем, послушаем, что скажет. Первое впечатление — важно... Картина Семирадского ей нравилась, может быть, понравится и моя тоже...

Наталья Львовна вошла в мастерскую Сыромолотова благоговейно. Это слово навертывалось ей и тогда, когда

она подходила вместе с Ваней к дому Алексея Фомича, но вполне ясно представилось оно ей во всей своей глубине только теперь, когда, стоя в дверях, где поставила ее Надя, она бросила на картину первый взгляд. Оторваться от картины она уже не могла и не слышала, как подошли и стали сзади ее Ваня с отцом.

Она не просто смотрела, а как бы переселилась вся целиком туда, на площадь перед Зимним дворцом, где происходило нечто чрезвычайно огромное в жизни не этой вот только захваченной кистью художника толпы, а целого народа. Когда Ваня описывал ей картину отца, она из его слов представляла и часть дворца, и толпу в несколько десятков человек различных возрастов и обличья, и конный отряд полиции с величественным приставом во главе. Но Ваня не сказал ей того, что ярко вдруг блеснуло в ней самой: это люди, пришедшие к дворцу, видели тут то, что не могло быть изображено красками на холсте, но в то же время ярко ощущалось вот теперь ею.

Это ненаписанное и все-таки явно воплощенное было — Свобода! Свобода огромного народа, который занял за тысячелетие своей жизни огромнейшие пространства Земли и в то же время совсем не имел права распорядиться своею судьбою, а должен был, хотя бы и в явный вред себе, исполнять беспрекословно чужую волю, и вот до чего дошел в еще не оконченной войне. Она поняла так картину потому, что только накануне вырвалась на свободу сама; сквозь то, что в картине было приурочено к современности, она увидела вечное, то, что свершилось с нею самой, то, что может свершиться со всяким и где и когда угодно, то, что может и должно свершиться с любым народом, так как самое ценное, что есть в жизни каждого и всех,— это — свобода.

И когда ощущение великого, совершенно исключительного, что было вложено в картину художником, пронизало Наталью Львовну насквозь, она не в силах была вынести этого спокойно, — она обняла Надю и заплакала, прижав голову к ее щеке.

— Что ты? Что ты — Наташа? — обеспокоился Ваня и хотел было отнять ее руки от Нади, но Наталья Львовна еще сильнее, всем телом прижалась к ней.

— Голова, должно быть... Компресс надо... Поди воды принеси, — забормотал испуганно Алексей Фомич.

Тут же принесенная Ваней вода в стакане действительно помогла. А когда Надя усадила Наталью Львовну и, выти-

рая ее лицо платком, вздумала сделать ей выговор, как свекровь снохе:

— Разве можно быть такой нервной в наше время? — сноха поглядела благодарными глазами на свекровь и слабо улыбнулась ей.

А через минуту она встала и обратилась к свекру:

— Алексей Фомич! Вы мне разрешите поцеловать вас?

— Сделайте одолжение! — потянулся к ней Сыромолотов, и она поцеловала его в волосатую щеку по-детски и только после этого сказала восторженно:

— Это гениально, что вы сделали! Гениально, и это совсем не какая-то «демонстрация».

— Да, вы верно говорите,— согласился Алексей Фомич.— Это у меня не домонстрация — нет, — это своеобразный штурм Зимнего дворца, вот что! И охраняет дворец все тот же пристав Дерябин! Он не убит, нет, — полиция осталась вся на своем месте... На посту! Дерябин на своем посту, — вот что, а не то, чтобы убит. Не опоздал я со своей картиной, а совершенно напротив,— предупредил события, которые не-из-беж-ны! иначе не может быть: у всех исторических событий железная логика. Это не только потому, что на них тратится много железа. Посчитайте-ка, сколько железа потрачено на эту войну и сколько мозга, и увидите, что мозга не меньше железа. Вот в силу этой самой логики я и выставляю свою картину, а назову ее... назову уж теперь не «Демонстрация», а... Тут нужно энергичное военное слово... Как бы? «Атака»? а? «Атака Зимнего дворца», или еще лучше — «Штурм» — да! «Штурм Зимнего дворца»! А еще короче и выразительнее — «Штурм власти», которая не на месте. Да! Которая должна быть общенародной! Да, именно! Так я и сделаю! Не «Демонстрация», а «Штурм»!

Ваня с восхищением смотрел на отца, а когда тот кончил говорить, вдруг сообщил:

— Удивительное совпадение: примерно эти же слова говорил сейчас на митинге один юный большевик, который, между прочим, просил тебе кланяться... Да ты его знаешь — сын Ивана Васильевича Худолея.

— А-а-а? Вот как? — обрадованно протянул Алексей Фомич.— Интересно, какую ж он речь говорил, этот славный юноша?

— Он говорил, что власть по-прежнему держат в руках имущие классы, а не народ, — ответил Ваня, пытаясь наиболее полно припомнить содержание речи Коли Худолея. —

Но скоро все переменится, поскольку произойдет новая революция, пролетарская.

— И что сделает ее Ленин,— подсказала Наталья Львовна.

— Да, именно Ленин, — немедленно согласился Алексей Фомич, что несколько удивило Ваню. А отец повторил с убежденностью: — Именно Ленин... Но ведь он где? — В эмиграции.

— Приехал! — поспешила первой сообщить Наталья Львовна.

— Уже?! Ленин приехал? В Россию?

— Да, в Петроград. Так Худолей сказал, — подтвердил Ваня.

— Ну вот... видите,— Алексей Фомич энергично заходил по комнате. — Видите!.. Он уже в Петрограде. Значит, там и начнется... новая революция... Теперь я знаю — моя картина нужна. Там, в Питере. Я ж говорил — не опоздала. Слышишь, Надя! В Петроград ехать! Немед-лен-но!.. Там помещение ей найдется. Там помогут. Вот они — путиловцы помогут. — Он указал кивком на фигуры рабочих, изображенных на картине. — Помнишь Ивана Семеновича, Катю? С Путиловского завода? — Вопрос относился к Наде. — Они наверно будут на баррикадах. Да уж непременно. А где ж им быть, как не на баррикадах с Лениным во главе...

1958

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий сборник Сергея Николаевича Сергеева-Ценского вошли произведения, написанные им в разные годы, начиная от первого стихотворения в прозе «Полубог», и завершается том романом «Весна в Крыму», над которым писатель работал в последние дни своей жизни.

Трудно, разумеется, в одной книге показать все многогранное творчество С. Н. Сергеева-Ценского, для этого потребовался бы не один десяток томов, но то, что включено в эту книгу, достаточно ярко показывает сложный, более чем полувековой творческий путь писателя и позволяет читателю оценить стиль, мастерство и особенности художественных приемов великого мастера русской прозы.

ПОЛУБОГ. Стихотворение в прозе. В автобиографии, написанной в 1958 г., Сергеев-Ценский писал: «Печататься начал я в 1898 г. и первыми печатными произведениями моими были: стихотворение в прозе «Полубог» и сказка «Коварный журавль». «Полубог» появился в одном иллюстрированном еженедельнике, а «Коварный журавль» в приложении к детскому журналу «Родник». Эти приложения из отдельных книжечек и назывались «Читальня народной школы». Печаталось: журн. «Освободительное движение», 1906, № 1; «Всемирный вестник», 1908, № 1; сб. Чтец-декламатор, Спб., 1909; альманах «Наши

дни», Спб., 1911; «Живая вода», Воениздат, 1963; Повести и рассказы. Симферополь: Крымиздат, 1963.

ПЕЧАЛЬ ПОЛЕЙ. Поэма. Впервые опубликована в литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник», 1909, кн. 9. При своем появлении «Печаль полей» вызвала разноречивые отклики критики. Отвергая несправедливые упреки одной корреспондентки, Сергеев-Ценский так пояснил замысел поэмы: «А вот насчет «усталости» в конце «Печали» — я с Вами не согласен. Вся вещь построена... как музыкальное произведение... После смерти Анны нельзя уже было ни быть слишком красочным, ни быть бравурным: нужно было постепенно... сойти на нет».

В предисловии к переводу романа «Преображение» на французский и английский языки в 1924 г. А. М. Горький писал: «Пораженные необычайностью формы, критики и читатели не заметили глубокого содержания произведений Сергеева-Ценского. Лишь когда появилась его «Печаль полей», они поняли, как велико его дарование и как значительны темы, о которых он пишет». Очень высоко ценил «Печаль полей» А. М. Горький. В письме к ее автору 15 августа 1927 г. он писал: «Очень обрадован тем, что книги Ваши, наконец, выходят, дорогой С[ергей] Н[иколаевич]. Предвкушаю наслаждение перечитать еще раз «Печаль полей», вещь, любимую мною. Да и все Ваши книги очень дороги мне».

О трудностях в создании «Печали полей» Сергеев-Ценский рассказал в цикле статей «Слово к молодым» (статья «Художественная деталь»):

«У меня перед глазами было только название, когда я написал первую главу о силаче Никите Дехтянском, и я не знал, куда мне идти дальше. Между прочим, Никита Дехтянский был достопримечательностью Козловского (ныне Мичуринского) уезда Тамбовской губернии, а я его видел в Тамбове, в цирке, как участника чемпионата борьбы. Кроме Никиты, у меня было, конечно, еще много деталей к поэме, но не все, что мне было нужно.

В противоположность написанной как бы за один присест «Лесной топи», «Печаль полей» писалась урывками; писались мною в это время и другие вещи. Летом 1908 года я поехал из Самары (точнее, со станции Кинель под Самарой) в Среднюю Азию, чтобы прояснить для себя тему «Печали полей». Поездка эта, начатая наудачу, оказалась удачной в смысле охвата всей темы издалека и подбора деталей. Но сюжета у меня все-таки не было. Детали лежали передо мной грудой, разноцветно сверкающей, как бусы, но не было нитки, на которую можно было нанизать все эти бусы.

И вдруг по приезде в Петербург осенью этого года мне повезло: я услышал там в летучем разговоре о том, что жена одного профессора-экономиста, бывшая шесть раз беременной и рожавшая мертвых детей, умерла на седьмой беременности, и я понял: сюжет «Печали полей» нашелся!

В тот же день я уехал к себе в Алушту и, не отрываясь, написал всю поэму в течение трех недель».

«Печаль полей» вошла: в Собр. соч. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1913, т. 4; Собр. соч. Л.: Мысль, 1928, т. 6 (в этом издании автор дал подзаголовок «Поэма», датировав: «1908 г. Крым»); Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955—1956, т. 1 (в последнем прижизненном издании автор изменил датировку: «1909 г.»); Собр. соч.: В 12-ти т. М.: Правда, 1967, т. 1. (Б-ка «Огонек»).

УЛЫБКИ. Стихотворение в прозе. Впервые опубликовано в журн. «Современный мир», 1909, 11 (с подзаголовком «Этюд»). Вошло: в Собр. соч. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1913, т. 5; во 2-е изд., 1919, т. 5; Собр. соч. Л.: Мысль, 1928, т. 5 (под названием «Береговое»); Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 1 (автор дал «Улыбкам» подзаголовок «Стихотворение в прозе»).

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ. Поэма. Впервые напечатана в журн. «Современный мир», 1911, № 12. Вошла:

в Собр. соч. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1913, т. 6; во 2-е изд., 1918, т. 6; в Собр. соч. Л.: Мысль, 1928, т. 6 (с датой: «Ноябрь 1911 г.»); Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 2.

НЕДРА. Поэма. Впервые опубликована в журн. «Северные записки», 1913, № 1 (с подзаголовком «Рассказ»). Вошла: в Собр. соч. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1913, т. 6; во 2-е изд., 1918, т. 6; Л.: Мысль, 1928, т. 6 (с датой: «Ноябрь 1912 г.»); Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 2.). «Недра», по свидетельству известного советского критика Н. И. Замошкина, очень нравились писателю В. В. Вересаеву. Когда Вересаеву поручили организовать новое издательство, он предложил назвать его «Недра», и первая книга, выпущенная издательством в 1924. г., был сборник рассказов и повестей Сергеева-Ценского под названием «Недра».

В книге «Избранное» (М.: Сов. писатель, 1941), автор дал другой подзаголовок «Недрам»: «Поэма».

БЛИЖНИЙ. Рассказ. Впервые напечатан в журн. «Современный мир», 1912, № 12. Вошел: в Собр. соч. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1913, т. 6; во 2-е изд., 1918, т. 6; Собр. соч. Л.: Мысль, 1928, т. 4; Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 2.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ. Этюд. Вошел: в Собр. соч. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1916, т. 7; во 2-е изд., 1918, т. 7; Собр. соч. Л.: Мысль, 1928, т. 7. Публикуется по: Собр. соч.: В 12-ти т. М.: Правда, 1967, т. 2. (Б-ка «Огонек»).

ГРИФ И ГРАФ. Рассказ. Впервые опубликован в журн. «Красная нива», 1927, № 19. Вошел: в сб. В грозу. М.: Федерация, 1929; Избр. произведения: В 2-х т. М.: ГИХЛ, 1937, т. 2 (с датой «Апрель 1927 г.»); Собр. соч. М. Худож лит., 1955, т. 2.

ВЕРХОВОД. Рассказ. Впервые опубликован в журн. «Красная нива», 1927, № 41 (под названием «Вождь»). Вошел: в сб. В грозу. М.: Федерация, 1929; Избранное. Симферополь: Крымиздат, 1950 (Сергеев-Ценский изменил заглавие рассказа «Вождь» на «Верховод»); Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 2.

ЖИВАЯ ВОДА. Поэма. Впервые появилась в журн. «Новый мир», 1927, № 7. Неоднократно входила в сборники автора, а также: в Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 2 (Сергеев-Ценский дал «Живой воде» подзаголовок «Поэма»).

САД. Повесть. Впервые напечатана в журн. «Вопросы жизни», 1905, № 10—11. Цензурой изъято несколько абзацев, которые автором не были восстановлены в последующих изданиях. Из гл. III:

«Скажи, почему так легко пошел он в петлю новой кабалы и смирно терпит опыты над прочностью своей кожи? Забитый народ, и тупой, и жалкий, но доколе он будет таким?.. Скажи мне, что если бы не было здесь майората, то были бы люди, потому что бывают такие минуты, когда я и в это совсем не верю; редкие, правда, минуты, но бывают».

Шевардин говорит отцу Мефодию:

«Ты мне сказал, что все не мое дело, что я здесь пришлый и всему этому чужой, но, должно быть, сильна во мне жила общественности, и если я пришлый, не сделаю того, что могу сделать, то не сделать этого здесь никому из своих».

В гл. XV к рассуждениям Шевардина Сергеев-Ценский добавляет:

«То, что сказал он самому себе, было ясно: «Этот человек, кусок испорченного мяса, бремя для нескольких десятков тысяч людей, потому он не должен жить...»

«И вот он (Шевардин.— *В. К.*) вспомнил всех, кто был ему близок, вспомнил и деда Никиту, который назвал

его «Мериканцем», и опять почувствовал, что около него пусто, что он сам за себя один. И сознание этого одиночества его поднимало и ширило» (газ. «Смена», 1965, 7 сент., № 210. Ленинград).

О трудностях публикования повести Сергеев-Ценский писал из Одессы 2 февраля 1905 г. В. С. Миролюбову: «В настоящее время в редакции «Мира божьего» лежит мой довольно большой — в три с половиной печатных листа — рассказ «Сад», признаться, я не особенно надеюсь увидеть его в печати, и только потому, что там герой протестует. Дай бог, чтобы мы когда-нибудь перестали заикаться и посмеялись над собственным косноязычием».

Повесть «Сад» вошла: в Собр. соч. Л.: Мысль, 1928, т. 2 (с датой: «Октябрь 1904 г.»); печаталась в сборниках; в Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 1.

ДВИЖЕНИЯ. Поэма. Впервые опубликована в журн. «Современный мир», 1910, № 1—3, 6. Вошла: в Собр. соч. Л.: Мысль, т. 5 (автор дал подзаголовок «Поэма»); неоднократно входила в сборники и в Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 2.

МЕДВЕЖОНОК. Поэма. Впервые опубликована в «Альманахе петербургских писателей», 1912. А. М. Горький дал высокую оценку повести. В письме к В. С. Миролюбову он писал: «В самоиздательском сборнике превосходен Ценский». А о самом сборнике: «Сборник вывезут, может быть, Ценский с Буниным» (Горький А. М. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Худож. лит., 1954, т. 29, с. 230). Вошла: в Собр. соч. Л.: Мысль, 1913, т. 6 (с посвящением: «Илье Ефимовичу Репину посвящаю. 18 января 1913 г.» и с датой: «Ноябрь 1911 г.»); в Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 2 (Сергеев-Ценский дал «Медвежонку» подзаголовок «Поэма»).

МАЯК В ТУМАНЕ. Повесть. Впервые напечатана в журн. «Красная новь», 1933, № 12 (с подзаголовком «Из

книги «Мелкие собственники»). Неоднократно печаталась в сборниках и собраниях сочинений автора; в Собр. соч. М.: Худож. лит., 1955, т. 3.

ВЕСНА В КРЫМУ. Роман. Впервые напечатан в эпопее «Преображение России», в IV цикле романов и повестей. Симферополь: Крымиздат, 1959. Над романом Сергеев-Ценский работал в последние месяцы жизни, будучи полуслепым и тяжело больным. Находясь в Кремлевской больнице, он прятал от врачей под подушку толстую тетрадь и вопреки запрету, когда никого не было в палате, писал: он не мог даже минуты оставаться без труда. Писал с увлечением, рассчитывая закончить роман к концу декабря 1958 г. Вернувшись в Алушту, Сергей Николаевич попытался диктовать, но, продиктовав мне одну главу, тут же отказался от этой затеи, пояснив: «Не могу диктовать. Я привык свои мысли переносить на бумагу непосредственно через свою руку, обдумывая каждую фразу, каждое слово. Буду писать сам». Писал лежа в кровати. Рукопись была трудно разбираема: строка набегала на строку. «Весне в Крыму» Сергеев-Ценский придавал большое значение. Посвящая меня в содержание, он говорил: «Пожалуй, надо назвать роман, хотя бы в подзаголовке, «Искусство и жизнь», но, конечно, это было бы слишком откровенно. До этого должен додуматься культурный читатель. Роман «Весна в Крыму» может превратиться в самый для меня лично необходимый в настоящее время роман».

Особенности творческого метода Сергеева-Ценского — тщательное обдумывание произведения в целом, каждой главы вплоть до деталей. После такой подготовки он садился за письменный стол и в короткие сроки писал его. Приведем размышления писателя о содержании незавершенной пятой главы романа: «Основная мысль пятой главы — проникновение Сыромолотова в будущее. Его осеняет, что картина его не опоздала, а предупреждает события, которые вот-вот должны наступить. Та революция,

какая произошла, ничего не изменила по существу в жизни России: война продолжается, иностранные послы распоряжаются русскими войсками и диктуют им их действия; хлеба нет, транспорт беспорядочен, на заводах не хватает ни каменного угля, ни железа; неминуемая, по его выводам, революция должна углубиться, и его толпа перед Зимним дворцом (картина Сыромолотова «Штурм Зимнего».— В. К.) — символ новой власти, так же как был он символом власти царей, требует замены буржуазного правительства правительством народа, которое способно будет положить конец этой страшной войне, спасти достоинство России и восстановить в ней созидательную жизнь».

А вот заметки Сергеева-Ценского к заключительной, ненаписанной главе романа «Весна в Крыму»: «И вдруг он (Сыромолотов.— *В. К.*)... слышит: — Здесь (в Петрограде — *В. К.*) Ленин! Эта заключительная картина «Марта» (первоначальное название «Весна в Крыму».— *В. К.*) и будет переходом к повести «Приезд Ленина». Таким образом, в последней главе романа «Март» и будет сосредоточен весь пафос этого романа, что будет вполне соответствовать его замыслу».

Стр. 585 *«Станем стражей вкруг всего земного шара...»* — вторая и третья строфы из стихотворения Н. М. Минского (1856—1937) «Гимн рабочих».

Стр. 586 *«Только песне нужна красота, красоте же и песен не надо»* — заключительные строки стихотворения А. А. Фета (1820—1892) «Только встречу улыбку твою...».

Стр. 591 *Гвельфы* — политическая группировка в городах Италии в XII—XIII веках, в которую входили приверженцы папы римского, преимущественно из высших слоев горожан, из купцов и ростовщиков, боровшихся со сторонниками императоров — гибеллинами.

Гибеллины — сторонники императоров так называемой «Священной Римской империи», преимущественно феодалы, боровшиеся с гвельфами.

Печатается по тексту эпопеи «Преображение России», цикл IV. Симферополь: Крымиздат, 1959.

Валентин Козлов

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

Роман, повести, рассказы

Редактор
В. СЕРГАНОВА

Художник
Г. САЛЕНКОВ

Художественный редактор
Е. АНДРЕЕВА

Технический редактор
Г. БОЙЦОВА

Корректор
Г. ПАНОВА

ИБ № 3546
Сдано в набор 13.11.84. Подписано к печати 6.05.85. Формат 84х108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 32.13. Уч.-изд. л. 34,03. Тираж 300 000 (1—100 000) экз. Заказ 2102. Цена 3 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Отпечатано с матриц Саратовского ордена Трудового Красного Знамени полиграфического комбината Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Саратов, ул. Чернышевского, 59 в Рязанской областной типографии, 390012, Рязань, ул. Новая, 69/12.

Сергеев-Ценский С. Н.

С32 Неторопливое солнце: Роман, повести, рассказы.— М.: Современник, 1985.— 604 с.— (Сельская библиотека Нечерноземья).— На обороте тит. л. сост. и авт. примеч. В. К. Козлов; авт. предисл. В. А. Чалмаев.

В пер.: 3 р. 10 к.

В однотомник выдающегося советского писателя Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875—1958) вошли роман «Весна в Крыму», повести «Сад», «Движения», «Медвежонок», «Маяк в тумане», рассказы «Недра», «Верховод», «Живая вода» и др. Написанные в разные годы, они дают целостное представление о более чем полувековом творческом пути писателя.

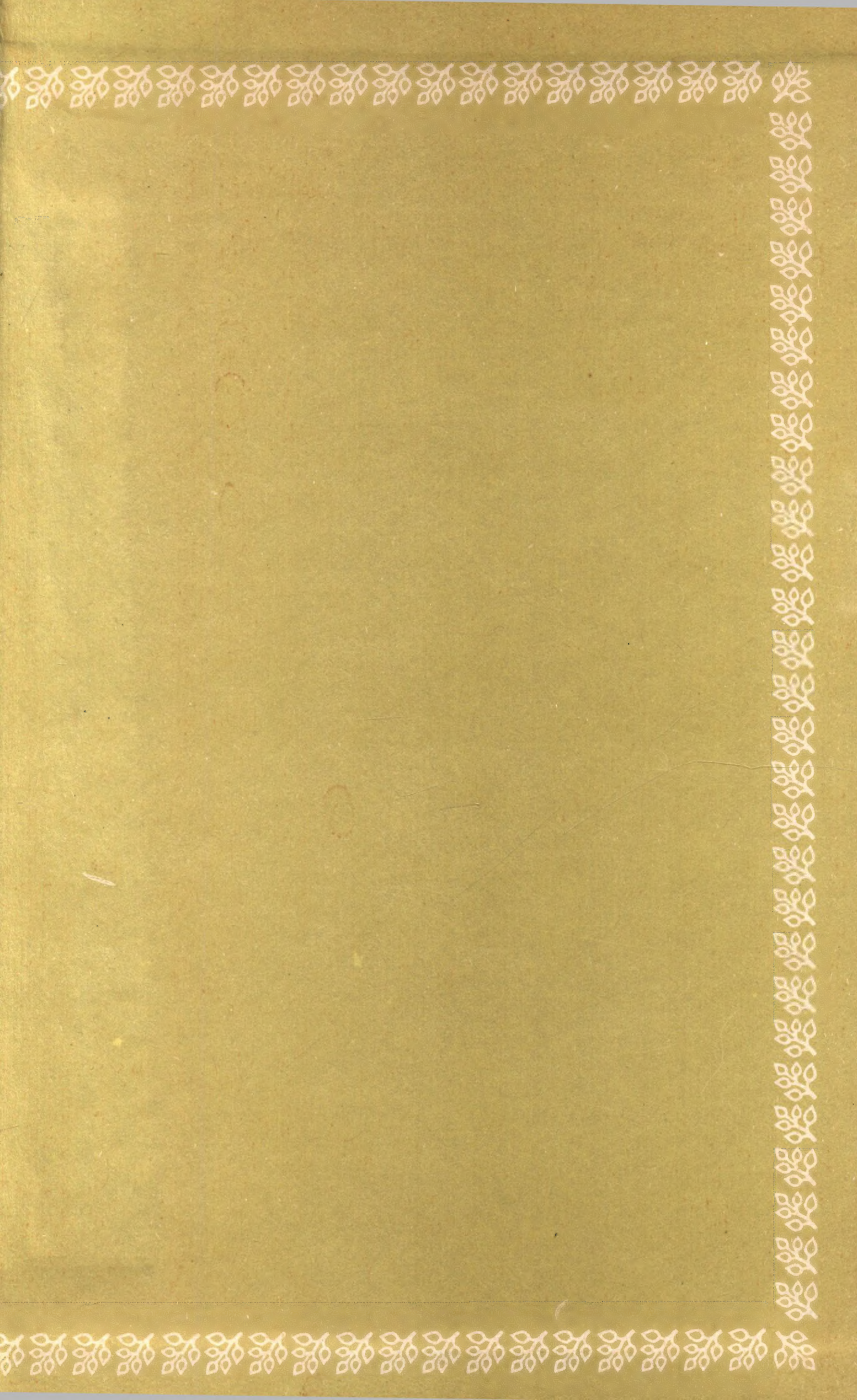
С $\frac{4702010200-186}{M106(03)-85}$ 117 — 85

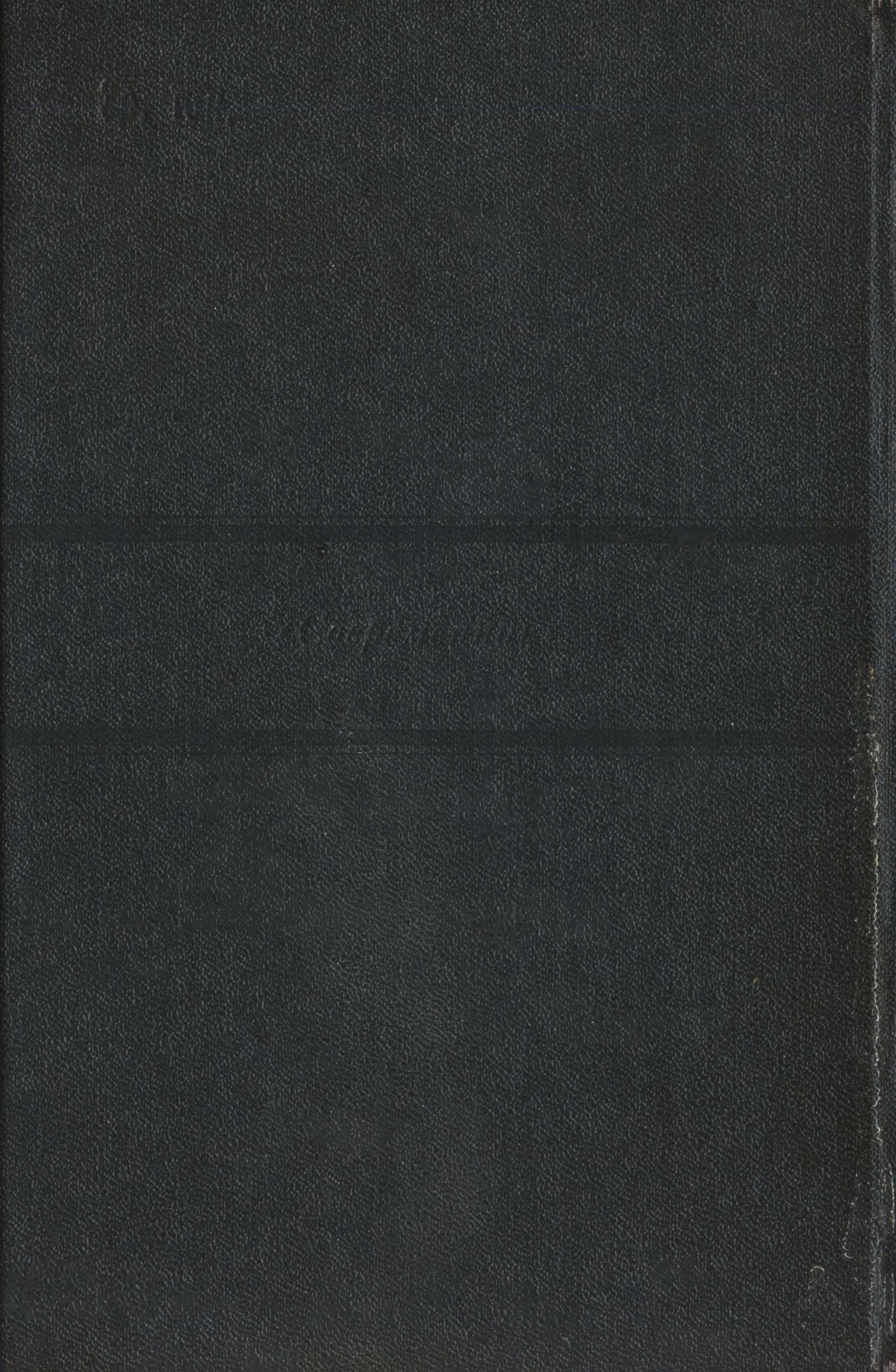
ББК84Р7
Р2

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62 Издательство «Современник»






С.Н.Сергеев-Ценский